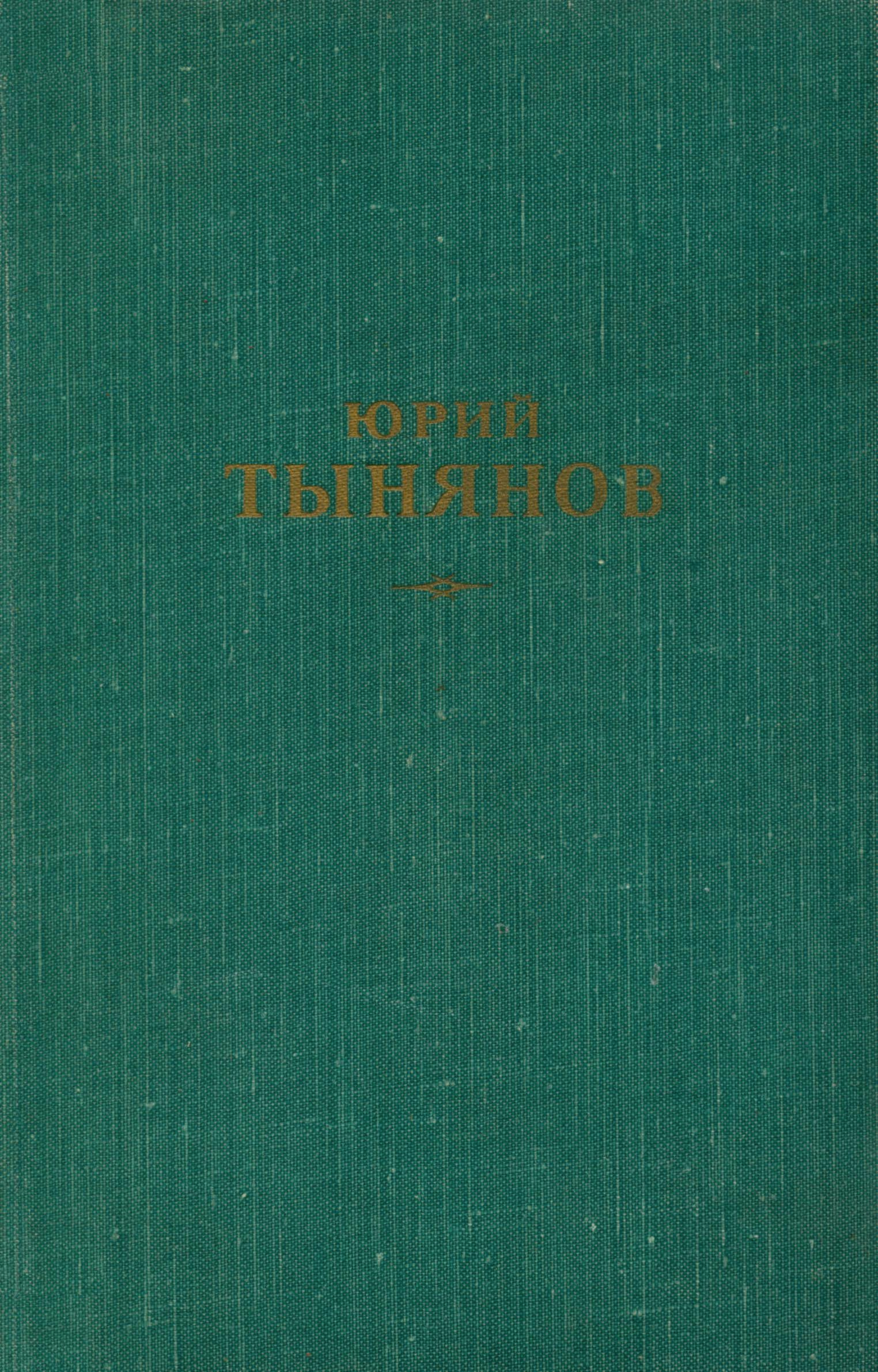

ЮРИЙ
ТЫНЯНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ЮРИЙ
ТЫНЯНОВ

СОЧИНЕНИЯ

В ТРЕХ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · Ленинград
1959

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ТРЕТИЙ

*

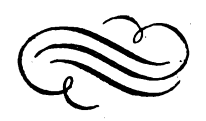
ПУШКИН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · Ленинград
1959

Оформление художника
Д. Л. Двоскина

Пушкин



Текст печатается по изданию:
Ю. Н. Тынянов. Избранные произведения.
М., Гослитиздат, 1956

Часть первая

ДЕТСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Маиор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

— Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменив к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

— Я пойду, душа моя.

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, маиор тихонько открыл дверь, стараясь, чтоб не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Маиор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и — грязь. Дождя давно не было, а грязь все лежала — комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он вышел к Разгуляю — местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым; извозчика нанял до Покровских ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских ворот маиор слез и вышел на бульвар.

Выйдя на бульвар, он преобразился.

В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии.

Так он прошел до Мясницких ворот и добрался до Охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургонского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну Сен-Пере и две лафита, он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие:

— Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну, конечно, не помнишь. Повтори же: рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии маиора Пуш-ки-на. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу, ты у бутошника спроси,

И с легким смехом записал.

Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.

2

Гвардии маиор, или, вернее, — капитан-поручик, уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате, так что и форма его была совсем не гвардейская, но он все еще называл себя: гвардии маиор Пушкин. Время стояло «хладное», и «дул борей» или «норд» для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла.

Поэтому, называя себя гвардейцем в кригс-комиссариатском сертуке, маиор как бы намекал на причины отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку, так же как и брат его Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а кригс-комиссариат давал жалованье.

У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, три тысячи душ, да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единородный сын отца от первого брака и оттягал большую часть земли и душ себе и своей матери.

В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единородного брата изгладил из памяти.

В вотчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала, — не без яду, — что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял, — ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые.

Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, притом, как говорили о нем барышни, *бель-эспри,* [1] Сергей Львович имел постоянный успех.

Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски. Зная все новые французские романсы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литераторская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева, по Тверской.

Два с половиною года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арапкою.

Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей отец бросил ее с матерью в самых ранних летах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядья, генерал-цейхмейстер Аннибал, владевший прекрасным имением Суйдой, да генерал-маиор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да́ и отец их, арап, тоже не был камердинером, а скорее всего другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Аннибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы.

---

[1] Остроумный *(франц.)*.

Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла маиору небольшое сельцо в Псковской губернии; дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее, хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия — он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки; притом не только его, но и семью и даже брата. Мотовство его было удивительное, он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло большую часть его жизни; тяжба со второю тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах, в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрино, приданое молодой африканки.

Императрица Екатерина скончалась. Гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было двадцать девять лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так: увитый плющом, с белыми колоннами (пускай деревянными). И это было первое его смутное недовольство жизнью, — он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва, окраина, — и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы, под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил, — они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев.

От холостого житья осталась клетка с попугаем да другая с канарейкой, но образ жизни круто переменился. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром.

Теперь, после крестин, собирался он устроить «куртаг»,[1] как говорили гвардейцы, — скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.

3

Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей и зятеву родню, она беспокоилась, как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убирали, терли мелом фамильные подсвечники, выметали сор из сеней. И сору было много.

В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, невдалеке от которого была усадьба ее отца и в котором она живала барышнею. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен — горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц — купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А оказался злодей.

Будучи нагло покинутой с малолеткой-дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем.

После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью.

И Марья Алексеевна, которой пришлось потом, ни вдовой, ни мужней женой, жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом, на хлебах у свекра-арапа, и

---

[1] Прием *(нем.)*.

в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места непостоянными и неосновательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра-арапа жила она в Суйде на антресолях. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и перебралась с Надеждою в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж — хоть и злодей — морской артиллерист, и она чувствовала себя военною дамою. Житье было походное: зорю бьют — вставать, горнист — к обеду. Мимо окон бряцали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих.

Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина, и Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них — для порядка, и опять попала она на антресоли, как когда-то у свекра-арапа, только теперь с внучкой Ольгой.

Людей Марья Алексеевна перевидала много, привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось.

А Липецк как был, так, говорят, и стоит.

У ней на руках было теперь все зятево хозяйство, небольшое, но трудное. Дворня не велика, но распущена и отбилась от рук. Повар Николашка — пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки, как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из дворни — испытанную мамку и няню Иришку. Доходы поступали, против ожидания, в эти годы туго. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования: решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ — легко сказать! А сахару в доме нет, и в лавочку задолжали. Все лежало на ней одной, Сергею Львовичу только бы юркнуть из дому. А Надеждины порядки ей не нравились, и она не доверяла ее уменью устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз

подмечала в дочери не свои черты; она и лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод: равнодушие и леность, по целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом—вдруг, как муха укусит, все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить.

А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит.

— Аришка, на кухню сбегай! Николашка поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!

4

Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизонька с мужем да сестрица Аннет. Марья Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизонька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя; Марья Алексеевна делала невольное сравнение между Сонцевым и Сергеем Львовичем, и Сонцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их маиор, — не бегает со двора. Не франтоват, да мил — ходит завитой, как барашек. Действительно, Матвей Михайлович Сонцев был завит по последней моде — а ля Каракалла. Аннету же, Анну Львовну, Марья Алексеевна не любила за фальшь. Анне Львовне было уже тридцать лет (далеко за тридцать — говорила Марья Алексеевна), а она все еще ждала женихов, прихорашивалась и говорила томно, нараспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марьи Алексеевны безделки и ничего боле. Перышки и пряжечки.

В последнее время Анна Львовна как будто дождалась: недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев, человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух.

— Вздоры, — говорила она негромко и возвращалась.

Василий Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол, коляске. И Марья

Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости, — эфемер, — явился на этот раз во всем великолепии: прическа а ля Дюрок и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру, — Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконог. А рядом сидела женщина, которою он тщеславился более, чем своим титлом поэта, своею родословною, коляскою, — неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание.

Чувствуя его, Василий Львович до самого конца Басманной имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и нисколько не к нему.

— Mon ange,[1] mon ange, — пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь, — покройте плечи, ветрено...

И сам накинул шаль на эти плечи.

Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась, щурила глаза, как делали в Петербурге тридцать лет назад, когда хотели выказать расположение.

О Капитолине Михайловне говорили разное и в гвардии ее звали «Цырцея», но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености. «Молодо — зелено, погулять велено», — говорила она и победно поджимала губы.

Гостей Марья Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале.

— Надежда сейчас выйдет, — сказала Марья Алексеевна, и сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры. Братья стали друг другу рассказывать вполголоса одну и ту же историю: мадама Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окривела на правый глаз. Неелов написал на нее экспромт.

---

[1] Мой ангел *(франц.)*.

Экспромт был смешной, не для дам. Они повысили голоса. В Марфине у графа Салтыкова на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водевиле, в интермедии, в прологе, в пиесе своей собственной — прекрасно, — граф его во всем слушался, накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная: сельская любовь, ривалите,[1] и из армии приезжает добрый муж, сам граф, — все захлопали, когда он вышел, — и соединяет любовников. Но как все выражено! Стихи, напев! В Петербурге уже известно. Танцы в легких нарядах исполнили девки неописуемо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит, и как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего.

Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в Марфине и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пиесе, но Сергей Львович его перебил. Название было: «Только для Марфина». Василий Львович кивал досадливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся кругом и увидел, что все свои. Он зевнул.

Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек; ладони и пальцы были у нее в «родимых пятнах», желты, как опаленные, — след африканского деда.

Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось.

И Василий Львович, стихотворец, закосил: взглядом знатока он перебегал с белых плеч своей Цырцеи на смуглые — невестки.

Он все хотел сказать комплимент и, наконец, сказал его. В стихах своих он стремился к логике и поэтому избегал картин природы; главное достоинство свое он полагал в шутливости Но как только видел прекрасных — таял и вспоминал чьи-то стихи, безыменные мадригалы, отрывки, может быть даже свои собственные. И в стихах и в жизни он был эфемер.

Между тем люди накрывали стол в саду, под липою, довольно тощей.

---

[1] Соперничество *(франц.)*.

Ждали двух важных гостей: Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант; происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордоского, который жил с братом казненного французского короля, Людовиком, в Митаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла или, как говорили военные, — «на хлебах».

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локоны и улыбнулись. Анна Львовна улыбалась по-новому: полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или жевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно как дичится этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лабетки.[1] Марье Алексеевне ее улыбка показалась неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко:

— Хаханьки! — и вернулась.

Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто.

— Как щеголять сейчас не в милости, — сказал он тихо, — я к вам запросто.

Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся; он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку; не считая, достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту.

— Никишка, — сказал он торопливо, — вина мало, беги в трактир, какой знаешь, и купи одну-две-три бутылки бордоского, бургонского, что найдется. Живо! Да сертук не замарай.

Он заботливо обдернул кружевные манжетки на Никите. Камердинер Никита был одет в нарядный синий сертук.

— Балладу не забыл? Всю помнишь?

— Помню-с, — ответил камердинер Никита, — своего, чай, сочинения, не чужого.

---

[1] В дурочки *(франц.)*.

Камердинер Никита был сочинитель; недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никитою. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике и Еруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.

5

Все было предусмотрено, и можно было наслаждаться уютом и приятною беседою. Под липою, в саду, всем оставалось чувствовать и вести себя со всею свободой, как в сельском уединении.

Сад был мал, и в этом было его достоинство. Огромность противоречила простоте, а правильные сады более не действовали на воображение. Сельский букет стоял на круглом столе. Лет десять назад такой букет не поставили бы на стол.

Время было тревожное и неверное. Каждый стремился теперь к деревенской тишине и тесному кругу, потому что в широком кругу некому было довериться. Огород, всегда свежий редис, козы, стакан густых сливок, благовонная малина, простые гроздья рябины и омытые дождем сельские виды, — все вдруг вспомнили это, как утраченное детство, и как бы впервые открыв существование природы. Даже участь мещанина или цехового вдруг показалась счастливой. Свой лоскут земли, плодовый при доме садик, на окошке в бурачке розовый бальзамин, — как старые поэты не замечали прелести такого существования! Они пристрастились к войне, пожарам натуры и всеобщему землетрясению. А эти домики походили на чистые клетки певчих птиц. Но ведь таково счастье человека.

Бледный цвет входил в моду, и в женских нарядах получили большую силу нежные переливы, потому что грубые краски напоминали все, от чего каждый рад был сторониться. Даже роскошь постыла всем. Все увидели на опыте ее бренность. Удовольствие доставляла только печаль. И уголок в саду летом, как угол перед камином

зимою, был для всех приятным местом, вполне заменявшим в воображении свет. Были в ходу jeux de société[1] — игры, которые разнообразили время. Играли в шарады, буриме, акростихи, что даже развивало стихотворные таланты. О придворных делах говорили тихо, а о своих только со вздохом.

Сергею Львовичу почудилось, однако, что позабыли что-то приготовить, купить, на Марью Алексеевну нельзя было положиться, на Nadine надежды плохи. И он так занялся этими мыслями, что не заметил, что серебро и вправду было не чищено, а из двух графинов поставлен надтреснутый.

Но Надежда Осиповна всем улыбалась и ровно показывала в улыбке белые зубы.

Он успокоился.

«...И ряд зубов жемчужный», — подумал чьими-то стихами Василий Львович, — у Капы мельче, а у девки, у Аннушки, всех лучше».

Василий Львович разговаривал с французом. Свобода обращения, готовность ко всему и быстрая речь; при этом — полное снисхождение к женскому полу, — он все это брюхом чувствовал, все это было для него родственное, свое. Лет двадцать назад было много французов и в Москве и в Петербурге, но что это были за французы! Хозяйки модных лавок, камердинеры да les outchiteli. Некоторые из них были забавны. Теперь же, благодаря перевороту, прибыли, спасаясь, люди настоящего благородства, а как они были в нужде и стесненных обстоятельствах, то за семь лет к ним привыкли и не очень чинились. Даже принцев крови можно было в конце концов залучить на обед. Теперь шла война с санкюлотами, и они опять вошли в моду.

А впрочем, камзол у графа был довольно затрепан, граф обносился, и дела его были запутаны. Царь в последнее время стал скупиться и упрямиться, и у свиты, да и у самого короля не было денег. Граф, собственно, собирался, для развлечения от скуки, давать уроки французского языка, а если придется — живописи или, пожалуй, музыки. Сергей Львович, по некоторым признакам, заключил, что граф будет просить взаймы, и заранее мысленно перед ним извинился отсутствием денег.

---

[1] Светские игры *(франц.)*.

Главным лицом был, разумеется, не граф. Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года — возраст угасания.

Время нравиться прошло.
А пленяться, не пленяя,
И пылать, не воспаляя,
Есть дурное ремесло.

Морщин еще не было, но на лице, удлиненном, белом, появился у него холод. Несмотря на шутливость, несмотря на ласковость к «щекотуньям», как называл он молоденьких, — видно было, что он многое изведал. Мир разрушался; везде в России — уродства, горшие порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастье человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу он стал холоднее к друзьям. «Письма русского путешественника» стали законом для образованных речей и сердец. Женщины над ними плакали.

Он издавал теперь альманах, называвшийся женским именем «Аглая», которым зачитывались женщины и который начал приносить доход. Все — не что иное, как безделки. Но варварская цензура стесняла и в безделках. Император Павел не оправдал ожиданий, возлагавшихся на него всеми друзьями добра. Он был своеволен, гневлив и окружил себя не философами, но гатчинскими капралами, нимало не разумевшими изящного.

И его грусть вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце.

Пушкиных он называл: «мои нижегородские друзья», — у него были поместья в Нижегородской губернии. Провинциальная или сельская, поместная жизнь сближала людей, живших в столицах.

Сейчас мысли его были рассеяны. Глядя на хозяйку, он сказал, обращаясь к Сонцеву, о том, как милые женщины умеют из простоты делать изящное и, подражая, оставаться собою. Надежда Осиповна была одета по моде, в легкое белое платье, высокая талия и ленты узлом. Подражание в модах французам запрещено: с мужчин еще недавно срывали на улицах круглые шляпы (á la jacobin[1]) и фраки, но женщины уцелели, —

---

[1] Наподобие якобинских *(франц.)*.

и высокая талия перенята у вольных француженок. Эти сомнительные наряды были более в моде, чем тяжелые дамские сертучки, которые император всячески поощрял и которые носили придворные дамы. И Надежда Осиповна вспыхнула от удовольствия.

И он сказал о том, чем он жил и на что надеялся все дни, — о поездке в Карльсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карльсбаде.

— Боже, — сказал он, — представляю себе счастливый климат Хили, Перу, острова святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодоносные дерева и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары.

И все вздохнули, в восторге от того, что слышали, и как бы участвуя в этой для всех важной и приятной печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного.

Карамзин улыбнулся старинному простодушию и, казалось, повеселел. Обед сошел как нельзя лучше. Сергей Львович предался еде. Пастет из дичины был в меру горьковат. Разбойник Николашка готовил лучше, чем в Английском клубе. И если бы за него предложили десять или пятнадцать тысяч, Сергей Львович не продал бы; а если бы и продал, жалел бы. Он ел медленно, страстно, со знанием дела.

После обеда, приятно ослабев, перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. В полутемном зале пахло слегка затхолью, но Карамзин с удовольствием оглянулся по сторонам и сказал, что всякий раз дом их напоминает ему Лондон.

Сергей Львович, никак не могший привыкнуть к дому, почувствовал все его достоинства.

Устроились petit-jeux,[1] играли в буриме: писали стихи на заданные рифмы. Рифмы были: nouvauté — répété;[2] avis — esprit.[3]

Карамзин, разумеется, написал гораздо изящнее и ловчее Василия Львовича и гораздо умнее, чем Монфор.

Все невольно захлопали его катреню.

---

[1] Игры *(франц.)*.
[2] Новшество — повторение *(франц.)*.
[3] Мнение — разум *(франц.)*.

Монфор довольно счастливо рисовал кудрявых, как Сонцев, купидонов с луком и стрелой. Все попросили его показать свое искусство, и он охотно нарисовал в альбом Надежде Осиповне слепого купидона, оттенив выпуклости рук и ног, мелко завив волоса и означив ямки на щеках.

Василий Львович недаром просил нарисовать купидона. Он слышал о надписях: находясь в гостях у одной прекрасной женщины, Карамзин, с позволения хозяйки, исписал карандашом мраморного амура, стоявшего в комнате, с головы до ног. С легкой улыбкой он согласился вспомнить стихи и написал вокруг Монфорова амура по разным направлениям стихи: на голову —

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало,
Там любви и не бывало;
Там любовь — одни слова.

на глазную повязку —

Любовь слепа для света
И, кроме своего
Бесценного предмета,
Не видит ничего.

и, наконец, на палец, которым Амур грозил, —

Награда скромности готова:
Будь счастлив — но ни слова!

Василий Львович заколыхался от удовольствия. Эта людскость, светскость восхищала его и нравилась ему. Дрожа от восторга и страха при одном взгляде на свою Цырцею, Василий Львович одновременно допускал шалости с крепостными девушками, а также на стороне, у известной сводни Панкратьевны,— он любил простонародный тон в любви, — но при всем этом старался соблюсти самую строгую тайну и был скромен. Он досадовал на брата, что в комнате нет мраморного амура; он помнил еще несколько экспромтов на руку, на крыло, на ногу, на спину амура, а альбомный листок был уже кругом исписан.

Заставили сестрицу Аннет, невесту поэта, пропеть его песню, которая была у всех на устах:

Стонет сизый голубочек...

У Анны Львовны был тонкий голос, а тонкие, высокие голоса были в моде. Марья Алексеевна вышла распорядиться чаем и сказала за дверью:

— Голос писклив.

Заставили петь и Надежду Осиповну, и она спела: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире». Она пела низким голосом. Голос был гортанный, влажный, рокочущий на «р». Сергей Львович слушал, скосив глаза, слегка ошалев от грусти и воображения. Прямо перед ним были плечи невестки, и он, повторяя одними губами слова, одновременно как бы и целовал эти славные в гвардии плечи. Василью Львовичу пение Надежды Осиповны напомнило хриповатое пение цыганок, смуглых фараонит, а не песни милых женщин, но, впрочем, очень понравилось.

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире,
С розы на розу в веселье летай!

Николай Михайлович был растроган до слез. Слова романса были связаны с воспоминаниями.

— Коли б не нетерпение, так была б музыкантка, — сказала Марья Алексеевна.

У всех было приятное настроение людей, которые недаром встретились и умеют ценить друг друга.

Густой багровый закат смотрел в окно и предвещал вёдро. Сестрица Аннет сказала:

— Ну, в точности Оссиан!

И Карамзин улыбнулся ей снисходительно, как дитяти.

Появилось вино, и, чувствуя туман, влажность и тепло на глазах, что было всегда для него знаком вдохновения, он сказал не английский тост или спич, а то, чем было полно сердце: он предложил выпить за свою отчизну — Симбирскую губернию, где родился и провел годы невинности, и за друзей — поэтов-симбирцев. Это был Дмитриев. Карамзин получил письмо от поэта, поэт собирается в отставку, кинуть влажный Петербург и будет жить в Москве. Уже присмотрен домик у Красных ворот, вокруг домика садик, — все есть для счастья Филемона, и нет одной Бавкиды.

Все, как по уговору, стали чокаться с Аннет, и Аннет покраснела до самых корней волос.

— Друзья, — сказал Карамзин, — Гораций прославил Тиволи, а я пью за Красные ворота и за Самарову гору!

Самарову гору неподалеку от Москвы, против Коломенского, на берегу Перервы он в особенности любил, здесь он обдумывал «Бедную Лизу» и «Наталью» и твердо решил, — если не удастся за границу, — здесь основать свое убежище, открытое для всех друзей человечества, всех истинно умных, наподобие приюта Жан-Жака.

И после этой легкой грусти захотелось простодушия.

Было самое время показать Никиту, домашнего поэта, и выслушать забавную его балладу. Успех Никиты был полный. Карамзин смеялся от души, потом призадумался и сказал с серьезностью о новых Ломоносовых. Приказом императора родственники Ломоносова были исключены из подушного оклада, и о забытом поэте опять вспомнили, на этот раз с полным уважением, простив ему дикий вкус, который, конечно, был у всех в далекие времена. У младших развязались языки. Все старое было нынче смешно. Заговорили о Державине.

С Державиным у Николая Михайловича был род дипломатической дружбы — старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался. Василий Львович тотчас привел два державинских стиха из оды на смерть старика Бецкого, который умер четыре года назад:

Погас, пустил приятный
Вкруг запах ты...

Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампады, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен. Василий Львович лепетал все это лукаво. Все заулыбались, а женщины не успели или не захотели разгадать шутки.

— Так наш Гаврило Романович любит ладанный дым, — тонко сказал Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах.

Он погрозил ему пальцем.

— Вы старый бриган, разбойник с галеры, — сказал он ему.

Василий Львович даже похорошел от удовольствия. «Галера» — было веселое и слишком веселое общество в Петербурге. О нем и похождениях его членов рассказывали чудеса. Василий Львович был один из главных членов его, и эту петербургскую славу очень ценили в Москве. Все подозревали за ним такие шалости, на которые

он даже был неспособен. Красавица Капитолина Михайловна главным образом и прельстилась этой славой.

И тут Карамзин упрекнул его в лени — самый сладостный для поэта упрек,— напомнив о своем альманахе. Василий Львович захлебнулся и забрызгал мелко слюною: у него ничего нет достойного... а впрочем, есть, много есть... разных... безделок.

Сергею Львовичу также хотелось блеснуть, но он побоялся. В шкафу лежали у него списки вольных стихотворений, не какие-нибудь приказные грубости или похабства, — их он хранил только потому, что редки, — но именно вольные и легкие стихотворения, где все описывалось под дымкою и покровом, а самые пылкие места живописались вздохами: «Ах» и реже: «Ох». В других же стихотворениях осмеивался не только Эрот или женщины, но и важные лица. Сергей Львович досадовал: нельзя, нельзя... Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и... шкуру сдерут.

Когда Никита и Петька зажгли вечерние свечи и все уселись за чайный стол, он успокоился и почувствовал полное довольство.

Карамзин похвалил вишневое варенье:

— Это варенье ем я с истинным удовольствием.

В это время загромыхала какая-то колымага, зазвонил колоколец, и у самых ворот остановились.

Сергей Львович заметно побледнел.

В вечернее время звук подъезжающей колымаги для лиц, хотя бы и невинно пьющих чай, был неприятен. Так ездили фельдъегери. В сенях хрипло и бранчливо заговорили, и бледный Никита, открыв дверь, доложил, глядя испуганно в глаза Сергею Львовичу:

— Его превосходительство генерал-маиор Петр Абрамович Аннибал.

6

Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии; с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темнозеленый допотопной формы военный сертук, а двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился.

Он поклонился и рывком, толчками сказал:

— Дознался от братца... от Ивана Абрамыча... про радость... — Он метнул глазами по гостям. — А как я здесь проездом, долгом почел, — он поклонился Марье Алексеевне, — вас, сударыня сестрица, поздравить и вас, милостивый государь мой, — отнесся он безразлично к Сергею Львовичу, — а внука своего... поглядеть и крестик ему от деда...

Он отдохнул и спросил:

— Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все Аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Петр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относясь с участием к племяннице и судьбе ее, он, однако ж, оказался вполне непригоден к опекунству и понял его как-то странно: ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марье Алексеевне, называл ее сударыней сестрицей, но в отношении денег отмалчивался. Объяснялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кой-как замял скандальное дело. К этому времени Петр Абрамыч, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицей из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы, оттуда послал жене уведомление, чтобы к успокоению его она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения.

Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамовича в денежные счеты; по заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прельстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком сельце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил

двоеженец брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву.

Все были озадачены.

Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, были фамилия по необычайности и известному всем началу не без значения и даже посвоему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с жениной роднею в присутствии лиц, мнением которых дорожил. La belle créole[1] была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа-дяди неуместно. Лицо его было совершенно арапское, и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый арап выказал младенцу, в честь коего Сергей Львович и устроил, в сущности, сегодняшний куртаг, смутило всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех, ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Верней всего, спал на антресолях.

Сам арап тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеваное, глазки живые, коричневые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой, а ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него. Старик вдруг остановил обезьяньи глазки на Сергее Львовиче и спросил хрипло:

— Может статься, я помешал?

Марья Алексеевна вдруг ответила, недовольно, но вежливо:

— Что ж, садись, Петр Абрамыч.

---

[1] Прекрасная креолка *(франц.)*.

Арап улыбнулся; он оскалил белые зубы, и сморщенное печеным яблоком личико вдруг стало детским.

— Благодарю, сударыня сестрица, — сказал он нежно, и женщины увидели, что арап был старый любезник и мил.

Надежда Осиповна подошла к дяде.

— Какая стала, — сказал он комплимент, путая возрасты, и поцеловал ее в лоб. — От отца зов, приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашею, — отнесся он к Сергею Львовичу. — Зовет летом у нас ягод поесть.

Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятней и приличней, чем он полагал: старый арап привез приглашение отца.

Предстоял разговор с тестем, — быть может, о приданом. И летом приятна природа. Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома с детьми.

Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала:

— Тоже, посол явился, — и вернулась.

Петр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку.

Отпив, он серьезно всех оглядел, медленно двигая языком и губами.

Марья Алексеевна все смотрела на него каким-то далеким взглядом. Петр Абрамович попробовал вкус водки.

— Я, сударыня сестрица, — сказал он Марье Алексеевне, — настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь.

Красавица Капитолина Михайловна кивнула ему вежливо; внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами.

Он осмотрел исподлобья комнату.

— Флигель теплый ли? — спросил он и, не дождавшись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке: — Как нарекли?

Он был скор в переходах.

Сергей Львович нахмурился: дядя-арап назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид.

Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

— Великолепное имя, — сказал он. — Два величайших полководца, сударыня сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильич — Суворов. Поздравляю, сударыня сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

— Имя дано более по фамильной памяти, — сказал неохотно Сергей Львович, — по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он — прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, — добавил он тонко и покосился на Карамзина.

Суворов был в чести только у стариков. У него начиналась фликсена, или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо.

Петр Абрамыч посмотрел на него исподлобья и выпил рюмку полынной.

— Не припомню сударь, — сказал он, — деда вашего, не знавал.

С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, — отрывисто и нелюбезно.

— Ан нет, — сказал он вдруг с хрипотой, — и деда помню. Это, помнится, тятенька еще покойный сказывал, Александр Петрович. Жену не у него ли, сударыня сестрица, зарезали?

Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо.

Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, — решительно это было бы оскорблением.

Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах, но зарезал-то ее не кто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоисступлении, и всю остальную жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо.

Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа, это было, вероятно, просто внезапное старинное

воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-маиор еще до наливки сегодня кушал водку.

Карамзин вмешался.

Он давно с любопытством поглядывал на арапа и теперь, тихо и важно, как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-маиору путешествовать.

И по живым кофейным глазкам и по сухости, верткости действительно старик напоминал какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика.

Под любопытными взглядами он сидел спокойно, — видно, что это было ему в привычку.

— Я, сударь мой, всю жизнь был по артиллерии и в царской службе, — сказал он с достоинством, — и точно ездил, а путешественником николи не был. А теперь, как открылась дальная война, на чужой кошт, то беспременно буду проситься в дальные краи... Без стариков обойтись не могут.

Карамзин мог бы обидеться, — он был автор «Писем русского путешественника», — и если б можно было предположить, что генерал-маиор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый арап обиделся самым словом «путешествие». Это показалось ему забавною чертою.

Марья Алексеевна искоса поглядела на деверя.

— Что так захотелось, — спросила она, — в дальные-то краи? Из дому-то. Пустят ли тебя?

Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-маиора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не видав, и даже более, чем свою разлучницу.

— Я, сударыня сестрица, — сказал вдруг тихо и нежно генерал-маиор, — тятенькина княжества хочу сыскать. Затем из дому еду.

Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не подымая глаз. Так он говорил с нею в молодости.

— Какого это княжества? — опять спросила Марья Алексеевна, и с явным недоверием.

— Арапского, — терпеливо сказал генерал-маиор и метнул глазками в Карамзина, — в Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино

княжество по всему быть должно. Тятенькин отец, дед-ат мой, князь был африканский.

Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой.

— Не слыхивала, — сказала Марья Алексеевна, — про губернатора. Что ж, Петенька, раньше за всю жизнь того княжества не нашел, ни братцы?

— Я, сударыня сестрица, занят был, — сказал Петр Абрамович, все так же нежно и отчетливо, — на государственной службе был занят, — повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя, — и не мог тятенькина княжества сыскать. То же и братцы.

Марья Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался в нем. Судьба арапа была презанимательная.

— Жизнь батюшки вашего необыкновенна, — сказал он учтиво. — Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории.

Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишало его всякого доверия к Карамзину.

— У меня, сударь, ничего нет, — сказал он опасливо, — да и тятенька не любил этих бумаг. Может, что и есть у братца, у Ивана Абрамовича.

Растрата снарядов, а теперь тяжба приучили генерал-маиора бояться бумаг.

Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Сонцева, который слыл вестовщиком:

— Правда ли, Кутайсов уезжает?

«Уезжает» означало — впадает в немилость.

Кутайсов был пленный турка, дареный цирюльник, — а теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцех.

— Напротив того, — отвечал с удовольствием Сонцев, — кавалер Александра Невского.

У него были приятели в герольдии, приказ заготовлялся.

Генерал-маиор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.

— Кутайсов, — сказал он сипло, — камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.

Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или

денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.

Он смутился.

— Батюшка мой, — сказал брыкливо старик, — сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации учить. А что он черен, то больше был лицом нагляден, и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.

Согнув палец, он показал перстень с черной печатью.

Он пил теперь непрерывно — стакан за стаканом, и бутыль с настойкою пустела.

— Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.

Он начинал хмелеть.

— Жадный, — сказала Марья Алексеевна.

И опять старик покорился.

— Верьте, сударыня сестрица, я всегда и вечно ваш, — сказал он невестке, — а что тятенька с лица был нехорош, так сердцем-то, сердцем — прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.

Марья Алексеевна вдруг сказала со вздохом:

— Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот куртуази [1] у него было поболе, чем у вас, Петенька. *Он улыбаться* умел, — сказала она значительно.

Петр Абрамович загляделся на невестку.

— Эх, сердце золотое, — сказал он и вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.

— Лучше, лучше был, и зубы белее, — махала ручкой Марья Алексеевна.

Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли.

Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.

Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.

Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы маиоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою ре-

---

[1] Учтивости *(франц.)*.

футацию. Сыновья по приказу старика, скопом, с превеликим трудом, с помощью знакомого немца аптекаря прочли ее и вытвердили.

Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подзорной морской трубою знамена, а надо всем — сова, — ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.

Император Петр, — говорилось в рефутации, — желая показать всей знати пример, старался достать арапчонка с хорошими способностями. Арапчат — Neger,[1] Mohren [2] — употребляли все дворы как рабов, — писал немец, — а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример, — полагал император, — лучше запомнится всей знати — Ritterschaft und Adel,[3] — которая ленилась и Петру противилась. О «губернаторстве Арапии» там не говорилось, но рассказывалось, со слов самого старого арапа, о том, что Ибрагим — или же Авраам — был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамыч был уверен, что кратко обо всем этом рассказал.

Он совершенно разочаровал Карамзина.

Знаменитый арап был креатурой императора, — чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования.

К великанам, карлам, арапам император, по преданиям, питал особое любопытство. Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера.

Теперь генерал-маиор был вполне пьян.

— Как звать? — спросил он отрывисто Никиту.

— Никитой, сударь.

— Ты, Никишка, плох, — сказал генерал-маиор, — вот у меня Гришка мой с гусляром поет — в масть

---

[1] Негров *(нем.)*.
[2] Мавров *(нем.)*.
[3] Рыцарству и дворянству *(нем.)*.

и цвет! В дрожь приводит! Слезы! Сердце золотое! А ты — слова в нос произносишь. Ты плох.

Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен.

Самарова гора, приют друзей сердца, московский английский home,[1] сельское одиночество, — все разом пропало.

Явление арапа, его грубость и нежность, его внезапные манеры, — не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик, — разрушили все милые обманы.

Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал, француз был придворным несуществующего двора, будущность была темна для Карамзина.

Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить взаймы.

Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, и Карамзин ушел в неудовольствии. Словно все пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина.

Всю жизнь старался быть, как все, и чтоб все было, как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бюрлескный тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование.

Старый арап поднялся — и вдруг двинулся к лестнице — к антресолям.

— Мне внука поглядеть, — бормотал он, — и ничего боле. Внук-ат, он где?

Марья Алексеевна загородила ему дорогу.

— Не пущу, — сказала она со страхом и злостью. — Спит ребенок, не прибрано.

Арап отступил.

Глазки его тускло посмотрели на невестку.

— Деда? — прохрипел он. — Дядю? Крестик привез! От деда.

Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком.

Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза, ребенком, видела отца, — и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила

---

[1] Уют *(англ.)*.

цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку, — он отскочил от нее, как мяч. И всю жизнь, все свои двадцать три года она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю.

Вытянув вперед шею, со страшной решительностью, качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоли. Волосы торчком стояли на его седоватой голове.

Надежда Осиповна встала и пошла за дядей.

Тогда Марья Алексеевна отступилась.

Она села у камина и отвела глаза.

— Внука, — сказала она, — тоже дед нашелся...

И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, — как тогда в молодости, когда ирод ее тиранил.

7

Гости не знали, оставаться или уходить.

Василий Львович моргал и посапывал, как всегда бывало с ним в затруднительных обстоятельствах. Сестрицы щурились и украдкой пожимали друг другу руки, следя за переменами в лице Марьи Алексеевны.

Сонцев был искренне огорчен. Он хорошо поел, и какая-то непонятная происшедшая перемена мешала его пищеварению. Он дожевывал, огорченный, кулебяку.

Одна Капитолина Михайловна, как красавица, не давала себе труда тревожиться или сердиться на арапа. Тем более что старый арап, как казалось ей, не был нечувствителен к ее прелестям.

Но и на самом деле ни спора, ни ссоры, в сущности, не было, да и ссориться пока, по-видимому, не из чего было. Всегда вокруг Аннибалов образовывался этот непонятный для Марьи Алексеевны шум, свара, раздражительность, как в бане вокруг человека стоит клубом горячий туман.

Сергей Львович мелкими сердитыми шагами взобрался по лестнице наверх, за всеми.

— Не тревожьтесь, голубушка Марья Алексеевна, — сказала Елизавета Львовна, — стоит ли тревожить себя, душенька!

Марья Алексеевна утерла глаза и нос платочком и, даже не посмотрев на сестриц, пошла на антресоли.

Аннет сжала украдкою руку сестре. Обе стали жадно прислушиваться.

8

Моргала и кланялась сальная свеча, с которой никто не снимал нагара. Окна были не завешены, и в них глядела луна, стены голы. Белье лежало кучей в углу; на веревочке у печки сушились пеленки; распаренное корыто стояло посреди комнаты, и арап споткнулся. Беспорядок был удивительный. Трясущийся пламень придавал детской походный, кочевой, цыганский вид. Эта комната не была рассчитана на внимание посторонних. Пушкины были *пустодомы*.

Маленькая девочка присела перед арапом.

— Это кто? — спросил он изумленный.

— Ольга Сергеевна, батюшка, — сказала нянька, кланяясь. — Здравствуйте, батюшка Петр Абрамович.

Глаза у ней были молодые, она была разбитная, ловкая.

— Здравствуй, — сказал арап, — как звать?

В детской он присмирел, винные пары рассеивались.

— Аришкой, батюшка, из кобринских я, из Аннибаловых.

Арина говорила нараспев. Она была из Ганнибаловой вотчины и девкой отошла к Марье Алексеевне. Она низко кланялась Петру Абрамовичу. У Аннибалов дворня ходила по струнке.

— Дух здесь, Аришка, нехороший. Ты смотри за барчуком.

Сергей Львович подоспел.

Арап наклонился над ребенком.

— Тише, mon oncle,[1] — сказала глухо Надежда Осиповна, — спит.

— Не спит, — сказал арап.

Ребенок в самом деле не спал. Он спокойно смотрел бессмысленными небольшими глазами цвета морской воды, еще не устоявшегося, утробного.

Арап всматривался в него.

---

[1] Дядюшка (*франц.*).

— Белобрыс, — сказал он.

Он посмотрел еще.

— Кулер белесоватый.

Ребенок задвигался, смотря мимо всех.

— Расцелуйте его в прах! — закричал арап. — Честное аннибальское слово, — львенок, арапчонок! Милый! Аннибал великолепный! В деда пошел! Взгляд! Принимаю! Вина!

Сергей Львович выступил. Пьяный арап распоряжался у него в доме, как у себя в вотчине. Несмотря на все свои чувства к жене, он всегда полагал, что несколько возвысил Аннибалов, породнясь с ними и подняв их до своего уровня. С детства он запомнил проезд какого-то вельможи по Петербургу, туман, фонарь, крик: «Пади», и калмыка с арапом в красных ливреях на запятках. Москву теперь клонило к старой знати. Турок Кутайсов был у всех в презрении.

Старый арап спугнул всех гостей и объявил Аннибалом и чуть ли не арапчонком его сына.

— Милостивый государь, — сказал Сергей Львович, вздыхая, с необыкновенным достоинством, — не устали ли вы с дороги и не время ли отдохнуть? И притом отца... отцу... Смею думать, сын мой не... львенок... и не арапчонок, а Пушкин, как я. Я ваше племя люблю и уважаю, — когда оно хорошее, — добавил он строго, — но согласитесь, что сын мой... что отец, как я...

Вдруг неожиданно легко арап поднял ребенка, побежал с ним к свече и поцеловал звонко и влажно на всю комнату.

Одной рукой держа ребенка, он другой сунул крестик в свивальник.

Марья Алексеевна сердито отнимала ребенка.

— Уронишь, — сказала она, отстраняя старика рукой, — прочь от ребенка, ироды.

Она стала качать мальчика, который наконец заплакал.

Арап обернулся к Сергею Львовичу. Он сделал одно короткое движение — схватился рукой за пояс, за саблю. Сабли не было, старик был давно в отставке.

— Как я... как ты! — захрипел он, и было удивительно, сколько низких, влажных хрипов есть в человеческой глотке. — Ты кто таков? Ты, сударь, — фьють!.. — свистнул он. — Свистун ты! А я — Аннибал. Вот мое племя!

Глаза его были влажные и дымные, он был пьян.

Сергей Львович побледнел.

— Не кричите, mon oncle, — сказала Надежда Осиповна глухо, и лицо ее пошло пятнами, — спит ребенок. Я кричать не позволю.

— На девку свою кричи, — тянула Марья Алексеевна далеким певучим голосом.

Арап попятился.

Губы у него прыгали и не находили слова.

— Пушкиных... забываю! — закричал он, сжав кулачки. — Прах отрясаю! — Он пнул ногою стул и сорвался вниз по лестнице.

Слышно было, как он прогремел через залу и выбежал в сени.

Марья Алексеевна уложила ребенка в зыбку и вдруг сжалась в комочек, стала комочком, сухоньким, старым, востроносым; шмыгнула носом и прошла, тряся головой, куда-то.

Сергей Львович, все еще бледный, выпятив грудь, ходил по комнате. Он был ослеплен, оглушен срамом. Потом тихонько открыл двери и глянул вниз. Гостей не было.

Марья Алексеевна присела у окошка.

— Тоже, посол явился, — сказала она негромко, — дед.

Она трудно дышала. Голова ее качалась.

Генерал-маиор шествовал через двор стремительно, неверными шагами.

Колымага ждала его.

— Дед, вишь, — сказала Марья Алексеевна, — сам еле ноги волочит. Горе мое!

А Сергей Львович долго еще хорохорился. Он все ходил, подпрыгивая, по детской и отшвыривал ногою разметанное по полу белье. Он старался понять, как начался, откуда взялся и куда зашел этот нелепый спор.

— Я готов всем жертвовать спокойствию, — говорил он, положа руку на сердце, — готов все стерпеть, и не в моем характере, друг мой... Но уж если меня затронут, и притом — где? — в моем же доме! Я не желаю, душа моя, более встречаться с этим... vieux raifort. [1]

Тут он взглянул на Надежду Осиповну и обомлел.

Она сидела на Аришкиной кровати, ногою качала колыбель, не смотря на него и не слушая. Глаза ее

---

[1] Старым хреном *(франц.)*.

были раскрыты, и она, не мигая, плакала: из глаз текли большие мутные слезы. Она их не замечала. Потом она посмотрела на ребенка, как на чужого. Вдруг она увидела Сергея Львовича, его походку, его прыгающие плечи, все его благородное негодование и вслушалась.

— Подите вон, — сказала она глухо.

И Сергей Львович, изумившись и втянув плечи, пошел из комнаты.

Она впервые его прогнала. Он даже толком не понял, за что.

— Выгнали дядю-то, — говорила шепотом в людской Арина, — надо быть, больше не приедет. Все кричал: мы, Аннибаловы! Меня признал. Двадцать лет не видал, а признал; у них взгляд вострый — беда!

— Пьяный приехал, — объяснял Никита, — характер у них непереносимый. И разговор грубый. Как на большой дороге. Генерал!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Семейный корабль снялся с московского Елохова быстро и неожиданно: во флигельке стала протекать крыша, а съезжать было некуда. Марья Алексеевна собралась к себе в Петербург — продавать свой домик в Измайловском полку («дворня все в пустоту приведет, — знаю их»). А Сергею Львовичу захотелось осмотреться. У него была в крови эта легкость передвижения: он любил освобождаться разом от всех тягот, сев в рессорную коляску или даже в наследственный рыдван. Он все позабывал тогда. При виде облаков и полей во взгляде у него появлялась неопределенная решительность — он любил дорогу.

Под скрип колес, при случайных встречах у него рождалось много счастливых и быстрых мыслей, а когда наступало полное их отсутствие, он сладко дремал.

Не долго думая, Пушкины переехали всей семьею в Петербург, а Сергей Львович, вспомнив приглашение тестя, поехал к нему в село Михайловское, предоставив жене и теще устраиваться на новом месте.

Свидание с тестем его смутило. Он ожидал родственных объятий, слез, раскаяния, воспоминаний и рисовал мысленно сцену прощения. Он прощал тестя от имени жены, да уж и Марьи Алексеевны, и своего.

Ничуть не бывало.

Глубокое равнодушие окружало старого арапа. Равнодушно пожал он руку зятю, машинально спросил о здоровье — и только через минуту улыбнулся долгой, бледной улыбкой. Потом они сидели на скамье, почернелой от дождей, желтые листья лежали по всем дорогам, и арап молчал. Лиловые щеки оползли на воротники, и глаза были застланы красной дымкой, — тесть с утра кушал водку.

Он молчал и, двигая губами, смотрел на дорогу, листья, деревья. Он походил более на почернелое от пожара, оставленное людьми строение, чем на человека. Где его хваленая легкость — «как на пружинах», о которой помнили все, и Марья Алексеевна, и Аришка. Он забыл о собеседнике и, всему чужой, двигал вогнутыми губами. И только когда на повороте показались крестьянские девки в пестрых сарафанах, с кошелками в руках, и проплыли в ближний лесок за грибами, арап перестал жевать. Он проводил их глазами и обратился к зятю; взгляд его прояснился.

— Как хороши, — сказал он зятю и улыбнулся, как все Аннибалы, — зубами.

Потом опять напала на него дремота; он дремал с открытыми неподвижными глазами, с двигающимся ртом и мерно подымающимся животом. Жилет его, дорогого шелка, со стразовыми пуговками, был засален.

В последний день он повел зятя погулять. Опираясь на тяжелую палку, он показал ему лес и границу своих владений, три молодых сосенки росли на пригорке, как ворота в усадьбу. Следы разрушения и заброшенности были везде. Скамья погнила, беседка покривилась, пашни поросли сурепицей. Потом они спустились. Справа и слева синели озера. Они постояли у озера. По озеру шла мелкая рябь, как морщины у старухи; потом их смывало, и вода молодела. Сергей Львович чувствовал одновременно и огорчение от всеобщего упадка и странное довольство тишиною тестевых владений.

— Как море, — сказал он тестю, глядя на озеро.

Он никогда не видел моря. Арап посмотрел на него,

не понимая. Он долго стоял, опираясь на палку, и зять более его не тревожил. Потом он взглянул на зятя и, как будто угадав его мысли, широко повел палкой по озеру, соснам, лесу.

— Все вам оставляю.

Тестевы владения остались для Сергея Львовича загадкою. Господский дом, который по рассказам Марьи Алексеевны был велик и хорош, — крыт был соломою. Длинный, шитый тесом, он походил на сарай. Банька рядом, справа службы, перед домом цветник — и эта соломенная крыша! Но жест старого арапа был широкий, озеро полноводно, — и Сергей Львович уехал с недоумением, увозя на щеке влажный и равнодушный поцелуй тестя. Жирные, бледные льны шли по обеим сторонам, он ехал и думал, что это пшеница.

— Хороший нынче урожай, — сказал он с удовольствием вознице, кривому аннибаловскому Фомке.

В пути он несколько оправился, на ближней станции разговорился с двумя здешними помещиками и, приехав, долго хвалил прием тестя, значительно сказав жене и теще, что тесть одряхлел и видимо угасает, усадьба же запущена.

Теперь настала зима, а они все жили в Петербурге, не решаясь ни осесть, ни перебраться. У всех было в столице сомнительное расположение духа, никто не решался предпринять ничего основательного, и все считали время не более как на месяц вперед. Состояние императора было таково, что все менялось каждый день. Сергей Львович решил быть тише воды, осмотреться, но в Петербурге не оседать. Чем дале, тем лучше.

Так они жили в Измайловском полку, стараясь не слишком часто показываться на гуляньях и главных улицах, которые теперь были полны императором.

Марья Алексеевна жила в самом средоточии военных, и знакомые офицеры, заходившие по старой памяти, рассказывали чудеса.

2

Нянька Арина, укутав барчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по Первой роте, по Второй, переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари, — о всех предметах, попадавшихся навстречу.

— Вот солдат как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеич, какой солдат... Шапочка медная... на солнце блестит... а под бляхой крест горит. Вот так шапочка. Вот вырастете и сами такую наденете.

Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом была на преображенском солдате, шедшем по улице.

— А вот, батюшка Александр Сергеич, и пушечки. Вот какие! Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол. Вы шапоньку-то на уши да покрепче нахлобучьте, мороз, нельзя, заморозитесь. Пушечки. Да.

Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты, солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили.

— Тетка, — сказал один негромко, когда нянька поравнялась, — по грибы, что ль, с барчуком вышла? Пушку не хочешь почистить?

— Без вас, без охальников, обойдуся, — сказала ровно Арина.

Она проплыла на главную, Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел.

— Ай-ай, какие лошадушки — на седельцах кисточки, и кафтаны красные, шаровары бирюзовые, — пела Арина, — и шапочки бахарские, а ребятушки бородатые.

Это были казаки уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна.

— Ай-ай, какой дяденька генерал едут. Да, батюшка. Сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у их белые, и звоночком позванивает и уздечку подергивает.

Действительно, маленький генерал дергал поводья, и конь под ним храпел и оседал.

— Сердится дяденька, вишь как сердится.

И она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводья, генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья, и широкое лицо были красные от холода.

— Шапку, — сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой.

Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали.

— Пади!

— На колени!

— Картуз! Дура!

Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука.

Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. Все проехали.

Ребенок смотрел им вслед, подражая конскому скоку.

Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел.

— Ду-ура! — сказал он, прижимая обе руки к груди.— Ведь это император! Дура!

— Охти, тошно мне, — сказала Арина, — он и есть.

Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать, и хотел немедля скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону Боде, и осторожно описал событие. Барон пришел в восторг, и Сергей Львович осмелел.

Он, под строгим секретом, должен был рассказать все подробности происшествия, как император, грозно крикнув:

— Снять картуз! Я вас! — вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра — и проскакал в направлении к артиллерийским казармам.

— Первая встреча моего сына с сувереном, — сказал он с поклоном и развел руками.

Через неделю он окончательно решил, что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебираться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить: Петербург и Москва.

3

Через месяц после того, как Сергей Львович спасся с семьею в Москву и, ходя в должность, желал одного: быть незаметным, — произошла смерть императора Павла.

Весть о смерти дошла до Москвы как-то необыкновенно быстро, — чуть ли не в те же сутки, скорее самой скорой почты. Потом стали приходить подробности, и все

оживилось. Император был убит, дворянские вольности возобновились. Французские круглые шляпы и панталоны разрешены. Всею душою Сергей Львович боялся двора и поэтому воображал себя в оппозиции. Он очень радовался со всеми забавному падению Кутайсова: как тот в одном белье бежал по улицам. Каково! Обершталмейстер! Москва стремилась в несколько дней наверстать великий павловский пост. В этот год на улицах и в домах болтали больше, чем в три предыдущих вместе. Балы шли беспрерывно.

Когда Надежда Осиповна выезжала, все в доме шло вверх дном. Она была ленива и никогда не одевалась ко времени. Но перед самым выездом начинали шнырять и носиться по дому девки, расплескивая из тазов горячую воду, обдавая паром и шурша отглаженными шелками. Надежда Осиповна покрикивала в своей комнате. Раздавался плеск вылитой воды и треск оплеух. Девки носились с красными опухшими щеками, и у них не было времени плакать. Надежда Осиповна, полуголая, мчалась в соседнюю комнату и вихрем пролетала назад. Сергей Львович жмурился не без удовольствия. Марья Алексеевна пожимала плечами и уходила к себе недовольная.

— На охоту ездить — собак кормить.

Потом Надежда Осиповна выходила из комнаты плавно и медленно, с достоинством, и Сергей Львович, щурясь, оглядывал ее, будто впервые ее видел. Они уезжали, оставляя за собою содом.

На балах теперь держали себя вольно, даже старики приободрились и молодились.

Иногда ночью дети просыпались и слышали: родители ссорились. Спали далеко за полдень.

Все себя в эти два месяца чувствовали героями дня, людьми на виду, все перепуталось — и старая знать и люди помельче. У всех были надежды. Новая французская живописица Виже-Лебрень писала теперь каждый день портреты модных красавиц и написала в два присеста крохотный портрет Надежды Осиповны, очень милый, с локонами. Сергей Львович был недоволен, что нос горбат, но боялся сказать и хвалил.

Считая, что дворянские вольности избавляют его от дел, Сергей Львович прекратил хождение в должность. День был заполнен и без того. Он даже не успевал справиться со всеми делами. Быстро потрепав детей по щекам,

он отправлялся в Охотный ряд. Известные знатоки толпились у ларей, и брюхастые продавцы в синих кафтанах отвешивали поклоны. Все говорили вполголоса. Животрепещущая рыба лежала кучами. Заглядывали в жабры, в глаз, — томный ли, смотрели: перо бледное или красное, принюхивались, обменивались мнениями и новостями. Тут же в ожидании стояли лакеи. Сергей Львович не всегда покупал рыбу, иной раз даже и не собирался. Это было нечто вроде Английского клуба, приятельские встречи. Приятнее таких встреч, да еще, пожалуй, тайных шалостей, не было в мире. Что перед ними блестящие и непрочные карьеры! Сергей Львович вовсе их и не желал.

Так проходило служебное время. Так шло месяца два и три. Потом Москва несколько угомонилась, все огляделись и заняли свои места. Сергей Львович вдруг стал порой огорчаться: надо же удрать такую дичь: переехать со всею семьею (и не без трудностей — сломалась в пути колымага) за месяц до совершения всего и начала нового века, Александрова. В Петербурге шла теперь раздача чинов и мест истинно умным людям; впрочем, и здесь, в Москве, Николай Михайлович Карамзин в несколько дней приобрел необыкновенный вес и получил два перстня с брильянтами. Сергея же Львовича новое царствование почему-то не коснулось, он в комиссариатском штате, да и туда не ходит, а жена опять на сносях.

Надежда Осиповна действительно была на сносях, и вскоре родился сын. Нарекли его Николаем.

Сергей Львович с изумлением увидел себя отцом разраставшегося семейства. У него не было ясных мыслей по этому поводу, и будущее вдруг стало казаться неверным; события шли одно за другим, застав его непредуготовленным. Вообще все в жизни шло быстро и не давало опомниться. Все, например, позабыли о том, что сестрица Аннет — невеста. Иван Иванович Дмитриев, поэт, купил себе и домик и садик в Москве, но не женился. Марья Алексеевна говорила, когда ее не слышали:

— Никогда и не думал. Приснилось ей.

Сестрица Аннет пожелтела и стала носить темные тона. Волосы взбивала по-прежнему, но стала прилежно ходить в церковь. Она считала себя и братьев жертвами; и Надежда Осиповна и Капитолина Михайловна были не из тех, которые могут устроить счастье. То же втихомолку

думал про себя и Сергей Львович. Жена была прекрасная креолка, и все на нее заглядывались. Сергей Львович бледнел от ярости на балах, когда она танцевала с каким-нибудь высоким гвардейцем. Он вполне чувствовал тогда, что его рост мал. А между тем, как она забрюхатела, над ним был учрежден домашний надзор, который становился все тягостнее. Надежда Осиповна стремилась не выпускать из виду Сергея Львовича. Он даже не смел ущипнуть за щеку дворовую девку, — вполне невинная шалость.

В этом неясном состоянии он стремился во что бы то ни стало вон из дому, в гости, от Бутурлиных к Сушковым, от Сушковых к Дашковым, а может, к кому и проще, и гораздо проще. По вторникам он ездил в Дворянский клуб. Он искал рассеяния, как будто гнался за потерянным временем или искал забытую вещь. Больше всего он теперь боялся, как бы новые события не отдалили от него друзей и знакомых и как бы знакомцы не возгордились. Небрежный поклон Дашкова привел его однажды в трепет. Глядя, как он ускользает со двора, Марья Алексеевна тихонько говорила старую песенку:

Мне моркотно молоденьке,
Нигде места не найду.

К обеду или к вечеру, если обедал не дома, — домашние обеды были довольно скаредные, — он чувствовал зато приятную усталость, вспоминал, зевая, bon-mots[1] и нечаянные случаи за день. Надежда Осиповна задумчиво и подозрительно на него поглядывала, и Сергей Львович, заметив недоверие, начинал прилыгать. Она не во всем верила Сергею Львовичу и была права. Привыкнув еще с малых лет к рассказам Марьи Алексеевны о скрытности и уловках мужчин, она подозревала, что Сергей Львович имеет какую-либо низкую страсть на стороне. Жизнь с таким мужем была ненадежная. И действительно, Сергей Львович не все блистал в светском обществе, в последнее время он полюбил общество молодых сослуживцев, все по тому же проклятому комиссариатскому штату, еще мальчишек по возрасту, но душевно к нему расположенных. Он тайно играл с ними в карты. Устраивались светские игры: бостон, веньтэн, макао и

---

[1] Остроты (*франц.*).

новомодные: штос, три и три. Сергей Львович предавался игре всем существом и трепетал от страсти, открывая карту. Когда он выигрывал, ему хотелось обнять весь мир, и опасался одного: как бы игрок не забыл о долге. Дома он упорно скрывал свои развлечения. Но когда бывал в выигрыше, ему стоило большого труда удержаться и не рассказать Надежде Осиповне. Он позванивал монетками в кармане и кусал себе губы. Потом вздыхал: в его собственном доме его не понимали.

4

Раз в месяц Сергей Львович, приняв озабоченное выражение, выезжал с семьею к матушке Ольге Васильевне, которая жила в Огородной слободе. Дом ее был большой, холодный, она никуда не выезжала. После жизни, проведенной в больших страстях, она управляла теперь кучей старух и тремя подслеповатыми лакеями. Управлять жизнью сыновей ей было уже не под силу, она только изредка роптала. Дочери были у нее в совершенном подчинении.

В доме была комната, заставленная разным хламом, превращенная в кладовую, куда она никогда не заходила. Сыновья, когда бывали, с привычной детской трусостью косились на запертую дверь: в этой комнате провел последние годы отец. О Льве Александровиче не вспоминали ни Ольга Васильевна, ни сыновья, по молчаливому сговору. Только подслеповатые лакеи иногда под вечер или ночью, когда не спалось, говорили о нем. Человек он был пылкий и жестокий и первую жену уморил из ревности к итальянцу-учителю, взятому в дом. Она умерла в его домашней тюрьме, в подвале, на соломе, в цепях. Итальянцу же он учинил такие непорядочные побои, что тот тут же на месте и умер.

Ольга Васильевна была его второй женой. Она уцелела. Под конец супруг одичал. Ему была отведена боковая, и Ольга Васильевна стала править домом и детьми. И была самая пора. Лев Александрович вышел в отставку сорока лет, сразу после смерти императора Петра III; он не захотел признать Екатерину императрицей и за это сидел два года в крепости. Выйдя из крепости, он тратил состояние с бешенством и злостью

не то на самого себя, не то еще на кого-то. Он был любитель быстрой езды и загнал за свою жизнь конюшню дорогих коней. Встречные сворачивали в канавы, заслышав пушкинскую езду. Когда Ольга Васильевна принялась за счета и закладные, она почувствовала трясину под ногами: состояние оползало со всех концов. Она положила этому предел, утихомирила заимодавцев, собрала все, что осталось, и вывела детей в люди. Десять лет назад Лев Александрович умер. Давно дожидаясь этого, Ольга Васильевна после его смерти неожиданно почувствовала пустоту и скуку. Она перестала выезжать из дому и решила, что все равно никого не спасешь, ничего не остановишь, да и не к чему. Со времени мужнина падения Ольга Васильевна не переставала осуждать Екатерину и в особенности Орловых:

— Графы! Конюхи, им с кобылами возиться да на кулачки биться.

Законным царем она считала Петра Третьего и ворчала, когда при ней называли из усердия Екатерину матушкой:

— И матушка и батюшка!

Всю жизнь боясь припадков и странностей мужа, она с огорчением видела, что сыновья не в него, мелки. Строго их одергивая, она была бы, может, и рада, сама того не ожидая, большому с их стороны загулу, буйству или же другим крайностям. Нет. Это все кончилось. Сыновья прыгуны.

Старуха протягивала Сергею Львовичу плоскую восковую руку для поцелуя и острыми глазками всматривалась в ненадежного сына. Оба сына были на подозрении в мотовстве и слабости. Она дважды переделывала завещание. Но Василья, Васеньку, она все же почитала, как старшего в семье, и извиняла его неудачи тем, что счастье не служит. О Сергее Львовиче она думала, что просвищется, и очень скоро, в пух. На невестку смотрела с испугом и была уверена, что «Сергея карьер не открывается» именно из-за нее. Детей она осторожно потрепывала по щекам, заглядывала в глаза и, сдержав вздох, тотчас усылала погулять.

— Что им в комнатах шуметь!

Сергей Львович преображался при матушке, как то бывало с ним, когда он приходил в комиссариатский штат. Вид у него был сдержанный. Он рассказывал ста-

рухе о Петербурге и придворных новостях и пугал заграничными событиями: говорил о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке. Матушка косилась: Сергей Львович сыпал именами самых высоких петербургских людей, как будто только что с ними расстался. Случалось, он поругивал их:

— Ce coquin de[1] Кочубей, — говорил он.

Однажды он напугал мать, сильно обругав князя Адама Чарторижского, бывшего в силе.

— Аристократия его фальшивая, — сказал он, — а сам он батард, знаем мы эти дворские гордости. Мать его интриганка и гульливая полька, продалась французам, — вот и все.

Ольга Васильевна расстроилась. Сынок, ни дать ни взять, норовил в крепость, как когда-то отец. И, с другой стороны, какую силу бунтовщики взяли, французы! Сын уже не казался ей более свистуном: в Москве знали, что времена неверные, царь молод, а третья правда у Петра и Павла. Старики теперь падали, молодые возвышались. Вот сидит сын с этим его коком надо лбом и с арапкою своею, а потом, смотришь, и в чести.

Старуха щурила на него глаза. Она была побеждена.

Вечером, лежа в постели, которую ей до того согревала самая толстая девка, Ольга Васильевна говорила своей полуслепой доверенной Ульяшке:

— Арапки теперь большую силу взяли. В Париже у набольшего ихнего, — как зовут, не упомню, — тоже арапка в женах.

А Ульяшка ей поддакивала:

— Все как один — нового захотели, свежинки.

5

Они жили теперь в порядочном деревянном доме, юсуповском, рядом с домом самого князя, большого туза. Сергей Львович был доволен этим соседством. Князь, впрочем, редко показывался в Москве. Раз только летом видел Сергей Львович его приезд, видел, как суетился камердинер, открывали окна, несли вещи, и вслед за тем грузный человек с толстыми губами

[1] Этот негодник *(франц.)*.

и печальными нерусскими глазами, не глядя по сторонам, прошел в свой дом. Потом князь как-то раз заметил Надежду Осиповну и поклонился ей широко, не то на азиатский, не то на самый европейский манер. Вслед за тем он прислал своего управителя сказать Пушкиным, что дети могут гулять в саду, когда захотят. Князь был известный женский любитель, и Надежде Осиповне было приятно его внимание. Вскоре он уехал.

А управитель был в отчаянии от жильцов.

«Маиор господин Пушкин, — писал он в отчете князю, — что в середнем доме, как вперед в маие месяце за месяц уплатил, так почитай уже с полгода ничего не платит, и я трижды заходил, прося уплатить, то велят говорить, что дома нет. И я, вашего сиятельства покорный слуга, прошу мне прислать указ, каково мне именно говорить с маиором Пушкиным или совсем от квартиры отказать».

Между тем у Сергея Львовича случилось горе: скончалась матушка Ольга Васильевна. Заболев, она призвала своих сыновей, долго на них глядела и, погрозив обоим пальцем, умерла.

Сергей Львович, схоронив мать, тотчас же переехал в лучший и более просторный дом неподалеку.

У Надежды Осиповны блестели глаза: она любила переезды. Управитель сам помогал возчикам укладывать мебели и утварь. Пользуясь разрешением князя, детей по-прежнему посылали гулять с нянькой Ариной в Юсуповский сад.

6

Сад был великолепный. У Юсупова была татарская страсть к плющу, прохладе и фонтанам и любовь парижского жителя к правильным дорожкам, просекам и прудам. Из Венеции и Неаполя, где он долго был посланником, он привез старые статуи с обвислыми задами и почерневшими коленями. Будучи по-восточному скуп, он ничего не жалел для воображения. Так в Москве, у Харитонья в Огородниках, возник этот сад, пространством более чем на десятину.

Князь разрешал ходить по саду знакомым и людям, которым хотел выказать ласковость; неохотно и редко допускал детей. Конечно, без людей сад был бы в боль-

шей сохранности, но нет ничего печальнее для суеверного человека, чем пустынный сад. Знакомые князя, сами того не зная, оживляли пейзаж. Пораженный Западом москвич шел по версальской лестнице, о которой читал или слышал, и его московская походка менялась. Сторожевые статуи встречали его. Он шел вперед и начинал, увлекаемый мерными аллеями, кружить особою стройною походкой вокруг круглого пруда, настолько круглого, что даже самая вода казалась в нем выпуклой, и, спустясь через час все той же походкой к себе в Огородники, он некоторое время воображал себя прекрасным и только потом, заслышав: «Пироги! Пироги!» или повстречав знакомого, догадывался, что здесь что-то неладно, что Версаль не Версаль и он не француз.

Сад был открыт для няньки Арины с барчуками.

Арина смело поднималась по лестнице и строго наблюдала, чтоб барчуки и барышня Ольга Сергеевна чего-нибудь не обронили или не поломали какой балясины. Вид у нее был озабоченный. Избегая смотреть на статуи, она все внимание отдавала пруду.

— И не шелохнется, — говорила она, — в такой воде, батюшка, рыбе скучно. Глянь, какая сытая.

Барчук не хотел смотреть на рыбу, он исподлобья смотрел на Диану. Он знал о ней нечто. Управитель однажды сказал ему, что это — Диана, а в другой раз, что это — нимфа. Дома он спросил отца, кто такая Диана. Сергей Львович долго смеялся, а потом значительно объяснил, что это одна из богинь Олимпа, девица. Богиня, равнодушно закинув голову, грела на солнце острые соски и тонкие колени. Большой палец ноги был у нее отбит.

— Тьфу! — огорчалась Арина и тихонько сплевывала. — Может, батюшка, побегаете округ пруда?

Они переходили на просторную площадку, лужок, покрытый жирной травой. Дорожка была усыпана сырым желтым песком. Римский фонтан стоял на самой середине площадки, в каменную чашу спадала стеклом вода.

— Что твоя мельница, — говорила, улыбаясь, Арина. Она любила это место. Фонтан казался ей забавным.

— Богатые татары, батюшка Александр Сергеевич,— говорила она таинственно, — всегда любят, чтоб вода вот так в саду текла.

Он убегал. Нянька возилась с Ольгой Сергеевной, хлопотавшей в песочке, и утирала нос Николаю Сергеевичу.

Он убегал далеко за правильную аллею и шел боковыми дорожками, мимо белых лиц и каменных животов, пока не сбивался с пути. Он издали слышал голоса, зов няньки и не обращал на него никакого внимания. Его искали. Он убегал все глубже. Здесь уж была татарская дичь и глушь, новый правильный сад обрывался — начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом; хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум. Сам того не зная, он долго бессмысленно улыбался и прикасался к белым грязным коленям. Они были безобразно холодные. Тогда, ленивый, угрюмый, он брел к пруду, к няньке Арине.

Лето было удушливое; Москва, как Самарканд, сгорала от жары. Листья висели неживые, запылились. Сергею Львовичу староста из Болдина доносил, что хлеб сгорел. Надежда Осиповна в одной сорочке бродила по полутемным комнатам: днем запирались ставни.

Осенью земля долго не остывала. Дети целые дни проводили в Юсуповом саду. Правильные луга и воды умеряли все, даже самую жару.

Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, как будто пошло на него. Сердце его остановилось. Николай и Ольга заплакали. Арина проснулась. Бессмысленно лукавя, он притворился перед нянькою, что все время смотрел на пруд.

Они пошли домой. Только к вечеру вестовщики разнесли, что в Москве в этот день было землетрясение. Вечером стоял большой туман. Ночью он не спал и прислушивался. Глубоко, протяжно дышала Арина, словно пела. Потом послышались за дверью босые тяжелые шаги, словно шел крупный зверь: мать бродила по комнатам. Потом она звенела стаканом, пила воду и тяжело дышала. Отец что-то сказал или позвал ее издалека, она в ответ засмеялась. Потом босые емкие шаги опять пошли отдаваться по комнатам. Он заснул.

Пять дней в Москве стоял густой туман, и люди натыкались друг на друга. Кругом только и говорили, что о землетрясении. В стене одного погреба нашли трещины, и их ходили смотреть, как достопримечательность. На Трубе оказалась яма в аршин шириной. Бабушка Марья Алексеевна утверждала, что чувствовала, как земля дрожит.

— Только что Николашке наказала пастет запекать, — села, вижу: стол, как студень, ходит, — говорила она, сама сомневаясь.

Единственно крепкою верою в доме Пушкиных была вера в приметы и гаданья. Марья Алексеевна, если встречала бабу с пустыми ведрами, тотчас возвращалась домой. Надежда Осиповна боялась сглаза. Девушкою она всегда на святках лила воск и нагадала суженого с острым носом. Даже Сергей Львович, встречая попа, тихонько складывал кукиш. О чудесных совпадениях бабушка Марья Алексеевна рассказывала по вечерам, не торопясь.

Теперь все в доме имели суровое выражение: землетрясение было не к добру. Сам Карамзин должен был разъяснить в особой статье жителям Москвы, что землетрясение — явление мира физического. Но моральные струны у него самого трепетали. Напрасно он призывал всех наслаждаться жизнью, как делают жители островов Антильских, Филиппинских, Архипелага, Сицилии, особливо Японии, где землетрясение бывает чуть ли не каждый день, — как в Москве гроза летом. Тут же он некстати упомянул о землетрясении, которое до того было в Москве при Василии Темном, когда Москва сгорела дотла.

Физическое же объяснение еще более напугало и Марью Алексеевну и Надежду Осиповну: что это огонь теснит воздушные массы, заключенные, как в тюрьме, в глубине земли, и они с бурным стремлением ищут себе выхода. И что московское землетрясение — эхо другого, что удары всегда имеют один центр, что в земле есть пустоты, имеющие сообщение между собою, в которых свирепствует воспаленный воздух. И что две части мира могут колебаться на разных концах в одно время! Таково было местоположение всех городов на земле, в том числе и Москвы, с Неглинной и Яузой. Единственное утешение было, что, как Николай Михайлович полагал,

может пройти и три с половиной века до нового землетрясения, — как от Василия Темного прошло, — а стало быть, на их жизнь хватит.

Надежда Осиповна воображала по ночам, как огонь ходит по пустым коридорам, вроде их коридора, и толкала в бок Сергея Львовича. Она говорила, что люди непременно подожгут, что Николашка сегодня смотрел, как бриган с галеры, и плакалась, что у слабых бар всегда дворня — разбойники. Такие разговоры ходили теперь по Москве. Сергей Львович ожесточенно сопел и засыпал.

На третий день повар Николашка напился пьян и выпил в людской за здоровье консула Наполеона. Сергей Львович приказал отодрать его и лично распоряжался в конюшне наказанием.

Потом туман исчез, все стояло на своем месте, землетрясение забыто.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Сестрица Аннет не вышла замуж, матушка скончалась, произошло землетрясение, и вскоре случился переворот в жизни Василья Львовича, все в том же году. Жена покинула его, они разъехались.

Сестрица Аннет нашла свое призвание. Она и Елизавета Львовна пришли в волнение, разъезжали непрестанно от Василья Львовича к Сергею Львовичу и даже ездили гадать к одной московской ворожее.

Василий Львович был растерян и потирал лоб.

Дважды при посторонних начинал рыдать; ему оказывали помощь, он тотчас охотно, долго пил воду и затем махал рукой в отчаянии или недоумении.

Все рушилось.

— Первый раз в жизни случается, — говорил он простодушно.

Наиболее строгими в семье защитниками чести старшего брата явились Сергей Львович и сестрица Аннет. Имя Капитолины Михайловны забыто и изгнано; она звалась: злодейка. Когда заходила о ней речь, Анна

Львовна шикала и высылала вон детей, а Сергей Львович щурился значительно.

Из объяснений Василья Львовича, ахов, охов, всплесков, восклицаний и лепета, — ничего нельзя было понять. Впрочем, во всем остальном он был прежний: много ел, завивался и даже между слез сказал экспромт.

— Душа моя, душенька, Basile, припомни, с чего началось, — просила его сестрица Анна Львовна.

И Василий Львович припомнил. Участились посещения кавалергарда князя В., — Василий Львович так и сказал: князя В., prince Double W. Он заподозрил, стал увещевать, увещевал — и однажды не застал ее дома. Бегство из дому он, брызгая слюной, не мог объяснить ничем иным, как изменой. Жена, по его мнению, собирается даже замуж за другого. Это было неслыханно. Жена от живого мужа собиралась замуж.

Сергей Львович отрывисто сказал:

— Имя.

Он требовал имени соблазнителя.

На вопрос Василья Львовича, на что ему имя, Сергей Львович ответил холодно:

— Для дуэли.

Василий Львович, избегая смотреть в глаза брату, отказался назвать имя.

Он не уверен, точно ли это князь В., сказал он. Может быть, князь В. был лишь для отводу глаз, подставное лицо. Хотя он однажды, точно, тютоировал ее, говорил ей: ты, но все остальное неизвестно.

— Он ее тютоировал? — медленно спросила Анна Львовна, — в твоем присутствии?

— Да, но он кузен, — ответил Василий Львович с блуждающим взглядом.

— Le cousinage est un dangereux voisinage,[1] — пропела тонким голосом Анна Львовна, сжав губы. Лицом она была решительно похожа в это мгновение на католического прелата.

— Он-то, может, мой дружок, ее только тютоировал, но она-то, — вспомни, душа моя, — она-то, может статься, строила куры?

[1] Родство — опасное соседство *(франц.)*.

В присутствии Василья Львовича, щадя его, Анна Львовна никогда не называла золовку злодейкой и говорила просто: она.

Вообще здесь была какая-то тайна. Горничная Аннушка, или, как Анна Львовна ее называла, Анка, ходила тихонько, с заплаканными глазами, с новой нарядной брошью. Она была, как всегда, мила, бела и дородна. Анна Львовна выслала ее вон, причем Василий Львович как-то вдруг моргнул и шмыгнул носом.

Внезапно Василий Львович, не глядя никому в глаза, но довольно ясно, заявил, что претензий у него на жену никаких нет; что, не зная в подлинности дела, он желает одного: чтобы жена вернулась, и что он с ней разводиться никак не желает; напротив того, на будущее время хочет жить с ней неразлучно; что он муж и христианин и готов на все.

Сергей Львович был глубоко тронут.

— Мой ангел, — сказала Аннет.

Василий Львович твердым голосом повторил, что он прежде всего муж и христианин. Он заметно ободрился и тут же, надев новый синий фрак и опрыскав себя духами, пошел гулять по бульварам, в первый раз после происшествия.

Сергей Львович отменил свое решение о дуэли. Решено вступить с непокорною в переговоры. Надежду Осиповну уполномочили повидаться с преступницей и увещевать.

Надежда Осиповна против ожидания вернулась с каменным лицом и сухо, даже с каким-то злорадством, сказала, что Капитолина Михайловна не вернется никогда, что она готова умереть в монастыре, на соломе и питаться аредами...

— Акридами, — поправил Сергей Львович.

— ...чем вернуться в этот дом.

Потом Надежда Осиповна пошепталась с сестрицей Аннет, и сестрица Аннет всплеснула руками.

— Если вы, Nadine, можете верить злодейке, — сказала она, — бойтесь за себя!

И брат с сестрой тотчас же поехали к Василью Львовичу.

В Василье Львовиче в этот вечер они застали разительную перемену: он опять малодушествовал, бегал по

комнате и стонал. Испугавшись за его жизнь, Анна Львовна уложила его в постель. У него, видимо, начиналась горячка. Слабым голосом Василий Львович потребовал Аннушку. Несмотря на противодействие Сергея Львовича, Аннушка приведена. Анна Львовна даже усадила ее у постели больного — как сиделку. Послано за доктором.

Доктор объявил жизнь Василья Львовича вне опасности. Горячка не открылась, но Василий Львович к вечеру сказал сестре, что он пропал.

Он рассказал, что к нему явился посланец от Капитолины Михайловны или, может быть, от князя В., — он не желает об этом знать, — и вынудил у него письмо. Упомянув о письме, Василий Львович стал метаться на своем ложе. Анна Львовна спрыснула его водой. Отойдя немного, Василий Львович признался, что в письме он взвел на себя чудовищный поклеп и совершенную напраслину, скрепив все своею подписью.

— Аннушка, выдь,— сказала строго Анна Львовна.— Но, мой дружок, душенька Базиль, как же вы написали такое?

— В полном беспамятстве, — сказал, разведя руками, Василий Львович.

Тут он соскочил с постели и сказал сестре с необычайной живостью:

— Развода нет и не будет — в наказанье, — суда не боюсь, милостивая государыня, и еще увидим!

2

К Капитолине Михайловне послан для переговоров Сонцев. Матвей Михайлович вернулся, пыхтя, и сказал, что сам поверить своим глазам не может: ему показывали письмо, и в письме рукою Василья Львовича ясно написано, что как Василий Львович уже два года и один месяц состоит в противозаконной связи со своею крепостной девкой, то не может по совести противиться разлучению с ним супруги его и дает ей полную мочь делать, что хочет, и даже выйти замуж, за кого ей будет угодно.

Василий Львович сказал, морщась:

— Не помню. Полнейшее забытье и беспамятство. И вовсе не похоже на правду. Ничего не помню.

Он было застонал, но уж гораздо легче, чем в первый раз, и вскоре натура взяла свое, — назавтра же пошел он, как ни в чем не бывало, гулять и стал выезжать в театры.

Общее любопытство, однако, было сильно возбуждено. Распространился слух, что Василий Львович в самом деле сожительствует с некоей горничной Анкой.

Даже толстяк Сонцев однажды вечером, сидя в семейном кругу, рядом с сестрицей Аннет, когда речь зашла о Василье Львовиче, зажмурился, колыхнул животом и сказал, что у Василия Львовича всегда была эта народная русская фибра, жилка, Василий Львович, мол, всегда любил эту известную женскую простоту. Сестрица Аннет тотчас попросила его замолчать.

Василью Львовичу приходилось раз по пяти на день клясться своим приятелям, что он нимало не виноват, но приятели, льстя его самолюбию, называли его селадоном, фобласом и усмехались.

Василий Львович с ужасом почувствовал, что его прежняя приятная репутация стихотворца, человека самого по себе, и не без веса, колеблется. Его вдруг стали тютоировать, — говорить ему ты, попросту тыкать, — люди, с которыми он вовсе не был короток.

Слава петербургского бригана с галеры была очень приятна в Москве, когда относилась к прошлому, так сказать, окружала его издалека. Нынче же она была вовсе неуместна: Василью Львовичу иногда уже мерещился камергерский ключ; он не хотел звания какого-то фобласа и, наконец, в самом деле, по его словам, был не так уж виноват. Во всем виноваты были несчастные обстоятельства.

Он никак не желал этой близости со всеми молокососами, которая грозила ему после скандала. О нем шептались, на него указывали пальцами.

Желая прекратить такое двусмысленное положение, Василий Львович, внутренне негодуя на жену, обратился лично к тестю. Тесть его, старый переводчик, человек в своем роде почтенный, но медленного соображения и незначительный, был перед Васильем Львовичем в долгу: только за год до того Василий Львович сработал для глу-

хого тестева издания «Приношение религии» два вполне приличных духовных стихотворения: «О ты, носившая меня в своей утробе» и о «Жене, грехами отягченной». Второе стихотворение было трогательное и, начинаясь описанием этой блудной жены:

Жена, грехами отягченна,
К владыке своему течет бледна, смущенна, —

кончалось ее полным прощением.

Василий Львович приготовился в разговоре с тестем применить это стихотворение к Капитолине Михайловне.

Но дурак тесть его не принял.

Все попытки взять важный тон и отстранить от себя назойливое любопытство молокососов не привели ни к чему: важный тон сам Василий Львович выдерживал не более получасу, молокососы все более набивались в друзья.

Наконец он увидел себя сказкою всего города.

Тем временем Капитолина Михайловна подала прошение о разводе в суд.

Василий Львович этого не ожидал. Он кое-как отписался, откупился, но жить в Москве становилось ему трудней день ото дня. Даже сестрица Аннет, девотка, негодуя на злодейку, стала ворчать втихомолку и на Василья Львовича, а Сергей Львович решительно отстранился: пожимал плечами и уклонялся, когда его спрашивали о брате, притворяясь непонимающим, а с братом стал разговаривать отрывисто.

Однажды, вернувшись домой из театра, Василий Львович нашел в кармане бумажку, на которой было аккуратным детским почерком написано известное стихотворение Грекура о служанке, в неизвестном переводе: «Пусть, кто хочет, строит куры всем прелестницам двора, для моей нужно натуры, чтоб от утра до утра, забывая ночь ненастну, целовать служанку прекрасну». Василий Львович обомлел.

Перевод был решительно дурной, бессмысленный, с ошибкой против меры. Без сомнения, это было делом рук юных негодяев, набивавшихся в друзья, а чтобы не возбудить подозрений, они дали дитяти переписать стишки. При всем негодовании Василий Львович тут же

исправил безграмотный последний стих на другой, гораздо лучший: «Лобызать служанку страстну» — и только потом изорвал бумажку в мелкие клочки.

Хуже всего было то, что к московским юнцам пристал его близкий приятель, товарищ молодости и собутыльник по петербургской «галере», родственник и однофамилец, Алексей Михайлович Пушкин. Алексей Михайлович был существо необыкновенное. Отец его и дядя были шельмованы и сосланы в Сибирь по суду как делатели фальшивой монеты, и их приказано было именовать: «Бывшие Пушкины». Сын бывшего Пушкина воспитывался у чужих людей и неосновательностью характера напоминал отца. Более того — эту неосновательность он возвел в закон и правило. Он проповедовал в гостиных афеизм, — что все в жизни есть одно воображение, туман и ничего более. В Москве он имел решительный успех и скоро стал незаменим в играх и спектаклях. Он был желчен и зол, но в злости его было нечто забавное.

Встречаясь с Васильем Львовичем в театрах и свете, он усвоил себе особую привычку изводить его намеками и остротами, вместе с тем слишком бурно проявляя любовь и дружбу. Он обнимал его, прижимал к груди, крепко целовал, потом строго смотрел в глаза ошалевшему Василью Львовичу и говорил, содрогаясь:

— О, все тот же! Шелопут! Соблазнитель! — и тотчас отталкивал его, как бы боясь прикосновенья.

Духовные стихи Василья Львовича, изготовленнные им для тестя, вызывали самую неприличную веселость Алексея Михайловича. На людном балу у Бутурлиных, стоя рядом с Васильем Львовичем и отозвавшись о стихах с горячею похвалою, он вдруг неожиданно громко прошипел в сторону, a parte:

— Тартюф!

Василий Львович решительно уклонялся от всяких встреч с кузеном, но, после того как развод его огласился, от афеиста-кузена не стало житья. Он громко вздыхал, завидя Василья Львовича в обществе, и сурово грозил ему пальцем. Василий Львович стал подозревать, что стишки были посланы также не без содействия кузена.

Скандальная слава ему прискучила. Самолюбие его было пресыщено.

3

Василий Львович всем объявил, что едет в Париж.

Кто из приятелей верил, кто не верил; но общее любопытство было занято. Сергей Львович в глубине души не верил. В Москве только и было разговоров, что о поездке Василья Львовича. Юные бездельники-друзья ставили на него куши — поедет или останется?

На одном балу Василий Львович слышал, как старый князь Долгоруков сказал своему собеседнику:

— Покажи, милый, где Пушкин, что в Париж едет?

Василий Львович притворился, что не слышит, сердце его с приятностью замерло, он осклабился, — что ни говори, это была слава.

— Невидный,—сказал князь,—что ему Париж дался?

Так Василий Львович оказался вынужден в самом деле хлопотать о разрешении посетить Париж с целью лечения у тамошних известных медиков. Неожиданно разрешение получено.

Василий Львович преобразился. Он вдруг стал степенным, как никогда, как будто шагал уже не по Кузнецкому мосту, а по Елисейским Полям. Для того, чтобы не ударить в Париже лицом в грязь, он каждый день что-либо покупал на Кузнецком мосту во французских лавках — и накупил тьму стальных цепочек с фигурками, платочков, тросточек. При встречах его спрашивали с уважением, с завистью:

— Вы все еще здесь? А мы думали, вы уже в Париже.

Теперь не только юные бездельники, но и старые друзья вновь заинтересовались им. Карамзин наказывал немедля, как приедет в Париж, писать и прислать ему письма для печати.

— Я буду писать решительно обо всем на свете, — твердо обещал Василий Львович.

Наконец срок отъезда назначен. Общее участие в сборах вознаградило Василья Львовича за месяц болезненных припадков.

За три дня до отъезда Иван Иванович Дмитриев, который тоже был задет за живое поездкой Василья Львовича, написал поэму: *Путешествие N. N. в Париж и Лондон:* «Друзья, сестрицы, я в Париже!»

Поэма тотчас разошлась по рукам, скорей, чем ведомости. Стихи были гораздо лучше всего того, что поэт писал в важном роде; они были в совершенно новом, живом и болтливом роде. Так не только стихотворения, но и самые приключения Василья Львовича давали новую жизнь поэзии.

Один из юных бездельников сунул-таки новую поэму Василью Львовичу, сказав, что это — так, безделка.

Василий Львович впопыхах забыл о ней. Вечером, усевшись у окна и смотря на всегдашний вид улицы, он хотел было писать элегию, но элегия не пошла. Ему стало в самом деле грустно, а в грустном расположении он никогда не писал элегий.

Тут он вспомнил о безделке, данной ему утром приятелем. С первых же строк он понял, в кого автор метит: это было воображаемое путешествие самого Василья Львовича. N. N. и был Василий Львович. Он усмехнулся. Это была слава.

Все тропки знаю булевара,
Все магазины новых мод...

Часть вторая его несколько огорчила: Василий Львович будто жил в Париже — в шестом этаже.

— Вот и видно, что в Париже не бывал, — сказал, усмехаясь, Василий Львович, — там и дома-то в шесть этажей не часто встретишь, а на чердаках отроду не живал.

Затем говорилось, правда мило, и о слабостях его:

Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно, —
Хоть слушай, хоть не слушай их...

— Куплетов не пишу — сказал тихонько, с бледной улыбкой Василий Львович, — а элегии... или басни... как и вы, Иван Иванович.

Люблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, щеголять...

— Как все французы, — еще тише сказал Василий Львович.

Какие фраки, панталоны!
Всему новейшие фасоны...

— Рифма... нетрудная, — сказал, прищурясь, Василий Львович.

Кто был в этом повинен — неизвестно: но слава Василья Львовича, чем громче она становилась, тем более отдавала фанфаронством, в ней не было ничего почтенного.

Горько глядя по сторонам, Василий Львович увидел Аннушку: она умильно на него глядела, как всегда бела, мила и дородна. Он ее обнял и утешился.

— Стихотворец и всегда лицо публичное! — сказал он ей. Аннушка была на сносях.

В день отъезда Василий Львович струхнул. Он впервые уезжал так далеко. Сергей Львович, сестрица Аннет и все родные присутствовали при его отъезде и ободряли его.

Сергей Львович с душевным сожалением и завистью смотрел на увязанные вещи. Аннушка тихо плакала большими бабьими слезами и лобызнула барское плечо, причем Василий Львович, уже на правах заграничного путешественника, громко ее чмокнул и в первый раз назвал Анной Николаевной. Все друзья провожали Василия Львовича до заставы, там распили в честь его бутылку вина, Василий Львович обнял всех, всхлипнул, уселся, махнул платочком, тросточкой и поехал в Париж.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

К шести годам он был тяжел, неповоротлив, льняные кудри начали темнеть. У него была неопределенная сосредоточенность взгляда, медленность в движениях. Все игры, к которым принуждали его мать и нянька, казалось были ему совершенно чужды. Он ронял игрушки с полным равнодушием. Детей, товарищей игр, не запоминал, по крайней мере ничем не обнаруживал радости при встречах и печали при разлучении. Казалось, он был занят каким-то тяжелым, непосильным делом, о котором не хотел или не мог рассказать окружающим. Он был молчалив. Иногда его заставали за каким-то подобием игры: он соразмерял предметы и пространство, лежащее между ними, поднося пальцы к прищуренному глазу, что могло быть игрою геометра, а никак не светского

дитяти. Откликался он неохотно, с досадою. У него появились дурные привычки — он ронял носовые платки и несколько раз мать заставала его грызущим ногти. Впрочем, последнее он, несомненно, перенял от самой матери.

Мать подолгу смотрела на него, когда он замечал это, отводила взгляд. Дяденька Петр Абрамович был прав, он был решительно похож на деда, на Осипа Абрамыча; она не помнила отца и с детства боялась его имени; Марью Алексеевну она не спрашивала, но всем существом понимала и чувствовала: сын пошел в него — и ни в кого другого. Она стала прикалывать булавками носовой платок, который мальчик терял. Это было неудобно, и он начал обходиться без платка. Она стала связывать ему руки поясом, чтобы он не грыз ногтей. Неизвестно, как и откуда могли прийти опасности, проявиться дурные и странные черты у этого мальчика, похожего на своего деда. Мальчик не плакал, толстые губы его дрожали, он наблюдал за матерью.

Вообще он обещал быть дичком. Тетка Анна Львовна верхним чутьем все это почуяла. Она теперь часто бывала у них. Брат Василий был временно спасен, в Париже, приходилось спасать брата Сергея. Надине она ничего не говорила, но все кругом подмечала, все непорядки. Если к столу подавали, случалось, надтреснутый стакан, она говорила:

— Ах, стакан битый!

Когда Никита раз позабыл поставить Сергею Львовичу уксус, она сказала ему холодно:

— Принеси уксус, горчицу и все к сему принадлежащее.

Надежда Осиповна при ней нарочно роняла чашки, чтоб чем-нибудь разрядить гнев, который у нее накипал.

Но в одном они сходились — и Аннет и Надина, — Александр рос совсем не таким, как нужно: в нем не было любезности. Тетка полагала, что воспитание виновато.

— Александр, встаньте, — говорила она.

— Сашка, поблагодари отца и мать.

«Сашкой» звали его отец и мать, когда изображали нежность. Но тетка произносила это имя со злостью, и он не терпел, когда его так называли.

Александр вставал. Он благодарил отца и мать. Однажды, посмотрев на тетку, он вдруг улыбнулся. Тетка обомлела: улыбка дитяти была внезапна, неуместна и дерзка.

— Чему ты смеешься, что зубы скалишь? — спрашивала она с тревогой. — Ну, что смешного нашел?

— Сашка, поди вон, — приказал Сергей Львович.

Александр встал из-за стола и пошел вон.

У дверей наткнулся он на Арину. Глядя на него жалостливо, Арина сунула ему пряник и мимоходом прижала к широкой, теплой груди.

Он пробирался по родительскому дому волчонком — бочком, среди тайно враждебных ему предметов. Он был неловок, бил невероятно много посуды; так, по крайней мере, казалось Сергею Львовичу. Сергей Львович с тоской чувствовал ценность падающих из рук этого ребенка стаканов. Не замечая окружающих вещей и не дорожа ими, он с необыкновенной ясностью ощущал их незаменимость в момент боя. Это было главным страхом семейства Пушкиных — убыль и порча вещей. Сергей Львович приходил в отчаяние из-за пропажи какого-нибудь платочка, он изнемогал от волнения, когда не находил на месте новой французской книжечки. Без нее жизнь казалась нелепой и жалкой. Он во всем винил детей. Книжечка находилась, и он равнодушно швырял ее в сторону. Вещи казались незаменимыми, гибель их неоплатной. Каждый стакан был в опасности.

Надежда Осиповна била непроворного мальчика по щекам, как била слуг, звонко и наотмашь, как все Ганнибалы. Родители склонялись над осколками. Сергей Львович пытался восстановить первоначальный вид стакана и безнадежно махал рукой: невозможно! Александр бил вдребезги. Надежда Осиповна несла свой гнев в девичью; она возвращалась тяжело дыша и с отрывистой речью, но умиренная. Из девичьей доносилось осторожное, тонкое всхлипывание — побитая девка скулила.

Постепенно, не сговорясь, родители начинали глухо раздражаться, если приходилось подолгу смотреть на сына. Это был ничем не любезный ребенок, обманувший какие-то надежды, не наполнивший щебетаньем родительский дом, как это предполагал Сергей Львович.

Вскоре родился третий сын и наречен Львом.

Лев был кудрявый, веселый, круглый. Сергей Львович в первый раз почувствовал себя отцом. Он умилился и поцеловал Надежду Осиповну с чувством. Слезы текли по его лицу. Надежда Осиповна тоже полюбила сына, сразу и вдруг, без памяти. Остальные дети для нее более не существовали. Через неделю все пошло своим порядком.

Иногда Сергей Львович, занятый своими мыслями, вдруг с удивлением замечал своего старшего сына. Он недоумевал, огорчался. Дети кругом были именно детьми, во всем милом значении этого слова. Его сын напоминал сына дикаря, какого-нибудь Шатобрианова Натчеза. Он охотно читал Шатобриана, и самолюбию его льстило, что его брак с Надеждой Осиповной всеми замечен. Но одно дело любовница, даже жена, и совсем другое дело сын. Так жадно стремиться к тому, чтобы все было, как у всех достойных, — и встретить такое жестокое отовсюду непонимание! Сергей Львович втайне сам становился втупик перед своей семейственной жизнью. В квартире, — а они меняли их что ни год, — он прежде всего занимал кабинет и место у камина. В кабинете стоял письменный стол в полкомнаты, на котором всегда лежал лист чистой бумаги. Сергей Львович писал там свои письма. Он смотрел в окно и останавливал всех людей, пробегавших на кухню и в людскую. Он спрашивал их, кто, куда и зачем послан. Писем он писал мало. Чистый лист лежал неделями на его столе. Глаза застилало дымкой, губы шевелились и улыбались. Сергей Львович погружался в мечтательное остроумие: он ставил втупик воображаемых противников неожиданными эпиграммами. Грубая существенность не достигала его кабинета: домашние уважали его занятия. Порою он отмыкал ящик стола особым ключиком и доставал заветные тетради. Они были в зеленых тисненых переплетах с золотыми разводами по корешкам. Он открывал их и медленно, прищуря глаз, читал. Рука его слегка дрожала. Рисунки были исполнены тушью, розовой и красной краской, а то и чернилами, рукою опытной и смелой. Весь Пирон, Бьевриана, избранные отрывки из Дора, а потом шла безыменная мелкая сволочь Парнаса, до того пряная, что у Сергея Львовича застилало взгляд. Были и русские авторы, но Барков был груб, и

до французов ему было вообще далеко. Французы и самую наготу умели делать забавной.

Надежда Осиповна, которая кочевала, как цыганка, из комнаты в комнату, то и дело меняя расположение комнат и порядок мебелей, все изменяя на своем пути, не осмеливалась нарушать его занятий. Ее жизнь, впрочем, сосредоточивалась в спальной: там она сидела, не выходя по целым дням, нечесаная и немытая, и грызла ногти, пока не было гостей. Вдруг находила на нее охота воспитывать детей. Или с месяц подряд каждый вечер изнеможенный Сергей Львович должен был вывозить жену. Потом мать снова погружалась в пустынную спальную.

Сергей Львович молодел при гостях лет на десять, потому что никто, кроме гостей, не мог достаточно оценить его. Он и жил и дышал на людях. Утром, прохаживаясь у зеркал в гостиной, он даже, случалось, мельком репетировал первый момент появления гостя: наклонял голову, легко, почти неуловимо, и тотчас откидывал назад. Александр видел, как губы отца шевелились и улыбались, а взгляд становился любезным и умным. Заметив Александра, он морщился, принимал скучный вид. Ему мешали.

Александр любил гостей. Зажигали свечи, у матери становился певучий голос. Смех ее был гортанный, как воркотня голубей весной, у голубятни. Отец сидел в креслах уверенно, не на краешке, как всегда. Он казался главою семьи, владел разговором; мать безропотно его слушала и ни в чем не возражала. Это была другая семья, другие люди, моложе и лучше, незнакомые. При гостях мать ему улыбалась, как только иногда улыбалась Левушке. В их присутствии о них рассказывали гостям длинные истории, которые он с удивлением слушал, и называли их mon Sachka и mon Lolka с нежностью, которой он боялся.

В особенности часто это случалось при Карамзине, лукавом, медленном и спокойном. Александр понимал, что Карамзин — это не то, что другие. Александра при нем забывали отсылать спать.

Истинный праздник был однажды, когда Сергея Львовича посетил какой-то сосед по нижегородскому поместью, в котором тот так и не бывал еще ни разу. Сергей Львович говорил тонко, а на все хозяйственные

вопросы отвечал значительными умолчаниями,— главные его поместья были, по его словам, в Псковской губернии, — и выказал себя дальновидным хозяином. Дважды, скользнув взглядом по гостю и вздохнув, он упомянул о деде своем, Александре Петровиче. Неуклюжий гость был очарован и смотрел на Надежду Осиповну, как на диво. Потом родители долго, посмеиваясь, вспоминали манеры простака.

Гости уезжали, мать безобразно зевала и расстегивала пояс, который все время теснил. Мебели были серые, не новые.

Но гости все реже показывались: у Пушкиных, как ни билась Марья Алексеевна, масло было гнилое, яйца тухлые. Карамзин был занят важными делами и мыслями. Сергей Львович становился ему неинтересен.

2

Когда случалось, что Сергей Львович почему-либо оказывался дома, он всегда сначала озирался — не ускользнуть ли? Потом мирился, надевал халат и занимал место у камина. Здесь в такие вечера он любил просматривать известия о производствах его былых гвардейских товарищей. Один был генерал, другой командовал полком, третий состоял при Голицыне. Новое царствование открыло карьеру его товарищам. Самая мысль о службе претила ему; он считал единственно ценными дворянские вольности и приятное препровождение времени. Он всегда утверждал это — и все же огорчался.

Камин привлекал его игрой углей и теплом. Брат Василий недаром написал счастливое послание к камину. Теперь он в Париже и наслаждается не только камином и не только игрою углей. Николай Михайлович печатает его письма из Парижа в своем журнале. Парижские театры! Бог мой! Так ошибки приводят к счастию. Он тайно и глубоко завидовал брату, главным образом его ошибкам. У него часто спрашивали о брате, и Сергей Львович каждый раз бывал и польщен и огорчен: Василий Львович ни разу не написал брату. Москва не забывала Василья Львовича; часто и охотно воображали его фигуру на Елисейских Полях, вблизи Бонапарта или мадам Жанлис. Монфор нарисовал картину: Василий

Львович стоит, разиня рот, перед востроносым Буонапартом, и шляпа, выпавшая из рук, лежит тут же на земле.

А Сергей Львович сидел перед камином, в Москве. Он читал здесь иногда роли Мольера, читал благородно, без дурных выкриков новой площадной школы. Особенно ему удавались роли Гарпагона и Тартюфа. Сергей Львович сильно передавал сожаления Гарпагона о шкатулке и тонко — благородную подлость Тартюфа.

Надежда Осиповна не любила его декламации. Может быть, ей казалось смешным актерское самолюбие мужа, а чтение наводило скуку; она любила в театре все, кроме сцены. А может быть, странным образом, во время этой декламации обнаруживались слабые стороны его характера.

Но он нашел слушателя в сыне. Он тревожным взглядом следил за Александром, когда тот появлялся у камина; потом равнодушно вздыхал и начинал тихонько напевать вздор.

Александр слушал. Отец как бы не замечал его присутствия. Тогда Александр просил отца почитать Мольера. Говорил он отрывисто. Сергей Львович непритворно изумлялся.

— Вы хотите? — говорил он неохотно. — Но у меня вовсе нет времени. Впрочем, извольте.

Самолюбие его огорчалось только тем, что сын ни разу не выразил своего одобрения или восторга; впрочем, внимание, с которым он слушал, было лестно.

Сергей Львович был чтец прекрасный, он знал это. Он живьем чувствовал Мольеров стих и всегда соблюдал цезуру; лучше же всего удавались ему Мольеровы умолчания и перерывы.

В «Школе мужей» это у него бесподобно выходило:

Il me semble . . . . . .
Ma foi . . . .[1]

Он смотрел на кресла, где сидел слушатель, не замечая его и кланяясь, когда нужно, входящей Эльмире. Слова и пространство перед камином и даже самый сертук его приобретали необыкновенное достоинство. Когда в дверь входили, он смолкал, оскорбленный. В особенности

---

[1] Мне кажется . . . .
Честное слово . . . . (*франц.*).

не терпел он присутствия Марьи Алексеевны и при ней становился сух и насмешлив, цедил слова.

Кончая сцену, он присматривался к своему слушателю и оставался доволен.

— Мольер превосходно все понимал, — говорил он тоном превосходства.

Еще раз украдкой поглядев в лицо сына, он хлопал в ладоши:

— Петрушка! Снять со свеч!

Он забывал о Мольере, о сыне и возвращался к действительности.

3

В детскую комнату он не заглядывал, считая это для себя смешным и неудобным, ненужным. Только раз просидел он в детской час и более. Дети с интересом наблюдали за отцом, он явно от кого-то прятался. Шикнув на них, чтоб молчали, отец внимательно прислушивался к тому, что говорила мать с кем-то в гостиной. Несколько раз он хмурил брови; раз даже дернул дверную ручку, хотел выйти, но тотчас сдержался. Наконец в гостиной все стало тихо. Не обращая внимания на детей и как-то странно фыркнув, отец выскочил из детской. За все время он не сказал ни слова, как будто их вовсе не было в комнате.

Сергей Львович прятался в детской от заимодавца.

Он был брезглив; когда находил в комнате оброненную детскую вещь, двумя пальцами относил в дальний угол. Надежде Осиповне он не делал никаких замечаний, он давно отвык от замечаний, не звал Аришки, он просто ронял детскую вещь. Этих детских вещей становилось все больше.

Вскоре Сергей Львович наткнулся на неприятность, непредвиденный случай: старший сын попросил у него денег. Александр просил денег для каких-то ребячьих мизерных вздоров; постояв перед сыном и твердо решившись не давать ни копейки, Сергей Львович вдруг так живо представил эти ребячьи вздоры — мяч и проч., — что сразу же дал, и только потом огорчился. Он сделал открытие: сын подрастал. Сергей Львович с тайным беспокойством почувствовал, что сыновья предмет важный, а этому сыну еще не раз понадобятся деньги.

Однажды вечером, проходя мимо детской, Сергей Львович услышал разговор и приостановился. Говорила Аришка. Он прислушался.

Аришка сказывала старшему барчуку какую-то сказку. Говорила она неспешно, иногда прерывала рассказ, зевая, и по всему было видно, что Аришка сидит за чулком. Сергей Львович улыбнулся и послушал. Вскоре он нахмурился: рассказ няньки был бессмыслен и дурного тона. Он приоткрыл дверь. Нянька вязала чулок, а Сашка сидел на скамеечке и смотрел на нее неподвижным взглядом, полуоткрыв рот. Сергей Львович почувствовал себя уязвленным как отец и чтец Мольера.

Ничего не сказав, он удалился. Мальчик, который говорил исключительно по-французски, который, казалось, понимал уже язык Расина, заслушивался дворни.

В тот же вечер тонким, пискливым голосом он сказал Надежде Осиповне, что долее Сашку оставлять на руках у Аришки невозможно, если не хотят в нем впоследствии видеть невежду. Необходимо, чтобы за ним ходила мадама. Мадамы были необходимы; эти няньки-растрепы, с их нелепым говором, утомляли его.

Речь его была такова, что Надежда Осиповна, которая хотела было, как всегда, возразить, смолчала. Сейчас истинное достоинство познавалось в том, насколько удавалась французская тонкость. Надежда Осиповна одна из первых в Петербурге стала целоваться с женщинами в обе щеки, как истая француженка, вместо нелепых старых поклонов. Эта быстрота восхищала Сергея Львовича. Их дом не на шутку мог стать вполне французским домом: и книги французские, и новости, и язык, и Василий Львович в Париже. Сергей Львович иногда с восхищением замечал, что за целую неделю не произнес ни одного русского слова, кроме разве приказов, отдаваемых казачку: «сними нагар» и «подавай обед». По-русски разговаривал он только со слугами или когда бывал сильно чем-нибудь раздражен. Сергей Львович стал даже было Никиту учить французской грамоте, да ничего не вышло. Словом, мадама была до крайности необходима. Но добыть ее было трудно, и притом не по карману. Настоящие мадамы были в большой цене и нарасхват.

4

Сергей Львович всегда был скор на решения, потому что живо все воображал. Он надеялся сбыть мадаме детей с рук, а мадама будет учить их французскому языку и тонкостям. Поэтому взяли, по совету сестрицы Аннет, старушку Анну Ивановну, бедную, но благородную даму, которая легко изъяснялась по-французски и даже могла при гостях сойти за француженку, хоть и не была мадамою в собственном смысле. Востроносая старушка появилась в доме, стала воспитывать детей, пушить их за шалости, лепетать по-французски, водить на гулянье. Марья Алексеевна ее возненавидела. Они с Ариной составили род комплота и стали упорно следить за несчастной. Старушка вскоре была уличена в проступках: жевала тайно сладости, утаенные за столом, во время гулянья заблудилась и потом все свалила на детей, будто бы ее бросивших. «Хороша, матушка», — сказала Марья Алексеевна. Наконец, видя себя теснимой со всех сторон, старушка ожесточилась и стала ворчать по-русски. Арина будто слышала даже, как старушка сказала про себя, что до сих пор у арапов не живывала. В тот же день со срамом отказали ей от места.

Мадам Лорж, которая заняла ее место, продержалась более года. С кудерьками, веселым голосом, могучего сложения, она была настоящей мадамой и даже могла делать чепцы по моде — это примирило с нею Надежду Осиповну. Она все в доме заполнила собою, и ропот прекратился. У ней были сильные руки, быстрота в движениях и вполне французская беззаботность. С утра она напевала песенки, шуршала юбками и смеялась, как только француженки могут. На детей она обращала мало внимания. Сергей Львович был счастлив и охотно беседовал с воспитательницей.

Отказала ей разом и вдруг сама Надежда Осиповна. Причиной был сам Сергей Львович, который начал кидать слишком вольные взгляды на сильные плечи французской воспитательницы. Одного такого взгляда было довольно: мадам Лорж удалилась.

Гувернантки не принялись в доме.

5

Василий Львович приехал с тысячью парижских вещичек, в сапогах á la Souvorov, с платочками, надушенными какими-то воздушными духами, с острым коком, напомаженный и совершенно рассеянный. Он стал еще более косить, не узнавал старых приятелей и много смеялся. Все им интересовались. Говорили даже, что Цырцея собиралась вернуться к своему супругу. Слух, впрочем, оказался ложным: Цырцея выходила замуж, но это его нисколько не обескуражило. Он привез Аннушке высокий гипюровый чепец последнего покроя, чтобы она хоть отчасти напоминала парижскую субретку. О мадам Рекамье отзывался он небрежно:

— Стройна, но лицом нехороша.

Хвалил ее дворец:

— Стекло, стекло и стекло. Везде стекло.

Бонапарт чрезвычайно его занимал. Он должен был подробно описать его наружность. Никто не хотел верить, что Бонапарт так мал ростом.

Василий Львович приседал и подносил ладонь ко лбу, козырьком, чтоб показать рост консула. Потом с законным самодовольством он давал нюхать женщинам свою голову.

Подобно Бонапарту, он учился в Париже у Тальма декламации и в благородной античной простоте, полуобернувшись, декламировал всем, кто желал его выслушать, Расина. Косое брюхо несколько мешало ему.

Он был высокого мнения о парижском балете, значительно отзывался о парижской опере:

— Цивильский цирюльник бесподобен.

Много говорил о соперничестве m-lle Жорж и m-lle Дюшенуа.

— У Жорж жестикуляция, руки! — говорил он и протягивал обе руки.

— Но у Дюшенуа — ноги, — говорил он и вздергивал панталоны, — боже! что за ноги!

Когда вблизи не было дам, — дети в счет не шли, их никто не замечал, а они всё слушали, — он, захлебываясь, рассказывал о кофейных домах и их обитательницах. Потом он переводил дух и обмахивался платочком, платочек отдавал еще парижскими запахами.

По утрам он прохаживался по Тверскому бульвару в особом костюме — утреннем; походка его изменилась; он вздергивал панталоны. Женщины на него оглядывались. Не любя ранее Охотного ряда, он стал его неизменным посетителем. Он рассказывал там о лавочке славного Шевета в Пале-Рояле. У Шевета были холодный пастет, утиная печенка из Тулузы и жирные, сочные устрицы. Знатоки шевелили губами, и Василий Львович прослыл гастрономом. Он сам изобретал теперь на своей кухне блюда, которые должны были заменить парижские, и приглашал любителей отведать. Некоторые блюда любители хвалили, но на вторичные приглашения не являлись. Повара своего Власа он звал отныне Блэз. На деле же он более всего любил гречневую кашу.

Карамзин, вообще начавший забывать Пушкиных, отнесся к нему благосклонно. Василий Львович снова вошел в список модных: Карамзин, Дмитриев, Пушкин; он был героем дня — l'homme du jour.

Когда Карамзин возмутился в разговоре гибельным честолюбием Бонапарта, который желает войн и ничего более, Василий Львович глубоко вздохнул:

— Бонапарт опасен! Весьма опасен! — и тут же рассказал, что самые вкусные пряники зовутся в Париже монашками — nonnettes.

Старый генерал на балу захотел было узнать подробности о войне, которую вел Бонапарт, и ругнул его канальей, но тут Василий Львович наморщил лоб и рассердился:

— Мой бог! Но о войне никто не говорит! Париж есть Париж!

Такой он вольности набрался. Он даже заказал себе кушетку, такую, как у Рекамье; она, полулежа на такой кушетке, принимала гостей и посетителей. На кушетке он и лежал теперь после обеда.

Алексей Михайлович Пушкин утверждал, что Василья Львовича изгнали из Парижа за развратное поведение и что он вывез оттуда машинку для приготовления стихов, состоящую из большого количества отдельных строк. Взяться за ручку, повернуть — и мадригал готов. Князь Шаликов, будучи музыкантом, записывал с голоса Василья Львовича последние парижские романсы.

6

Вскоре Василий Львович испытал такой удар судьбы, от которого другой, более положительный человек не оправился бы. Дошли ли слухи о его вольнодумстве до духовных властей, пустил ли в ход свои связи богомольный тесть, но духовные власти с новым жаром занялись делом о его разводе. Цырцея провозглашена непорочною, а Василий Львович грешником, каковым и был на самом деле. Синод определил: дать супруге развод с правом выхода замуж, а супруга подвергнуть семилетней церковной епитимье с отправлением оной через шесть месяцев в монастыре, а прочее время под смотрением духовного отца. Против ожидания, Василий Львович перенес удар довольно бодро. Он свободно вошел в новую роль невинной жертвы. Милые женщины посылали ему цветы, и Василий Львович нюхал их, удивляясь превратности счастья. Кузен Алексей Михайлович тотчас в смешном виде изобразил епитимью Василья Львовича. Главною чертою в покаянии он выставлял переход Василья Львовича от блюд Блэза к монастырской кухне и утверждал, что Василий Львович в первый же день покаяния объелся севрюжиной. Местоположение монастыря, избранного для епитимьи, было самое счастливое, и Василий Львович, проведший в монастырской гостинице весну и лето, по выражению Алексея Михайловича, как бы снял в наем у господа бога дачу. Вообще Москва лишний раз получила пищу для разговоров. Василий Львович, которому сестрицы передавали все вести, чувствовал себя знаменитым. Иногда какая-то горечь отравляла ему это сознание. В славе Пушкиных не было ничего почтенного, а интерес к ним скандальный.

Сергей Львович, который жил как бы отраженным светом братней и кузеновой славы, принимал участие в судьбе его. Александр отлично понимал все вздохи, недомолвки и ужимки отца, то гордые, то самодовольные, то смиренные, когда отец говорил о дяде. Речь шла о славе, о светской славе. Отец был польщен величием дяди и завидовал ему. Дети знали все фарсы Алексея Михайловича о дяде; Сергей Львович наполовину верил им. Иерей, духовный отец дяди, был тайным гастрономом и поэтому слишком часто приходил увещевать духовного сына; кухня Блэза привлекала его: басня, пущенная

Алексеем Михайловичем. Но сын бывшего Пушкина рассказывал ее для смеха, Сергей же Львович, более хладный и жесткий, негодовал. Все эти иереи раздражали его. Они разоряли Базиля, объедали его, опивали. О, эти vieux renards de синод! [1]

Он, не скрываясь, роптал. Сестрица Анна Львовна, услышав однажды богохульствующего брата, зажала уши и, широко раскрыв глаза, произнесла:

— Брат!

И она приказала детям выйти вон.

7

У него были два брата и сестра. Братец Левушка, малютка, был любимец; сестрица Оленька, остроносенькая, миловидная и сварливая, жаловалась на братца Сашку тонким голоском. Тетушка Анна Львовна возила ей подарочки — куколки, веерки, — она с жадностью их хранила в своем углу. Братец Николенька был болезненный и белесый.

Он относился к ним, как к стаканам, которые не должно было ронять и за которые ему доставалось. Тетушка Анна Львовна говорила ему о Николеньке и Левушке, что это его братцы, что он должен поэтому отдать свой мяч Левушке и во всем уступать Николеньке, как младшему; он никак этого не хотел. Он старался не попадаться ей на глаза.

У дома и у родителей были разные лица: одно — на людях, при гостях, другое — когда никого не было. И речи были разные — французская и русская. Французская придавала всему цену и достоинство, как будто в доме были в это время гости. Когда мать звали Nadine, Надина, она была совсем другая, чем тогда, когда бабушка звала ее Надеждой. Надина — это было похоже на Диану, на нимфу в Юсуповом саду. Это был тот *свет,* о котором иногда говорили за столом родители и откуда мать с отцом возвращались иногда по ночам. Тетушки Анна Львовна и Елизавета Львовна произносили русские слова в нос, как французские. Отец щелкал пальцами: ему недоставало русских слов, и навертывались другие,

---

[1] Старые лисицы из синода *(франц.).*

французские. Когда родители были нежны друг к другу, они говорили между собою по-французски, и только когда ссорились друг с другом, кричали по-русски.

Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотаньем. Ужимки их были чем-то очень милы. Гостьи быстро пересыпали русскую речь, как мелким круглым горошком, французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гостьи говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные, нерусские, маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкою бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, и очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались, как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым, тонким оружием.

По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали: les freluquets;[1] о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих freluquets; даже о митрополите, который служил молебны. Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться — и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух; и болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Сонцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал:

— А французы-то нас бьют да бьют!

Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь, все больше о дворнях, о почте, о деревнях и убытках.

Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты: Карамзин, с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше; косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев, с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил, и в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие

---

[1] Ветрогоны *(франц.)*.

томы, покрытые пылью, от которой он чихал; страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем — они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился: там тоже были рисунки — большие, спокойные женщины в длинных одеждах с открытыми ногами, с глазами без зрачков — это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у животных.

8

— Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди — и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше, летом в окно клен лапой влезет, и заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Левушка и Николенька, тебе одному сна нет.

...Едем, едем — и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: пойдем пешком. Я отвечаю: не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился:

«Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит».

«Он очень боялся отца, — женился на мне не спросясь. Я сказала: я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени. А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись, он в мундир, я надела материны жемчуга, — все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрешку час, другой — нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала —

как ты. Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед — в мундире, при шпаге — пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу — старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное — и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась,— вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением.

«Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал».

Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка.

...А что потом было... Ничего потом не было... Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну, уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоел...

9

Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели, в ногах. Не глядя на него, медленно покрёхтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском, у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу — водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали — все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и защекотал. Вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну, не леший, так домовой. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели — и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего, Михайловской округи.

10

Их водили гулять всех вместе, «табором», как говорила Марья Алексеевна,— Оленьку, Александра, Левушку и Николеньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: «арапчонок!» и убегали в переулок. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал.

В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо вгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят «арапчонок». Он пробормотал, как тетка Анна Львовна:

— Что зубы скалишь?

И пошел догонять своих.

Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце, Льве Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души:

— Любимец общества!

Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом,— дело было в присутствии Марьи Алексеевны,— объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более.

— И бабушка твоя — Пушкина, и мать.

Марья Алексеевна молчала.

Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда бледный как полотно:

— Пропала!

Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовою печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их.

— Там бумаги секретные, — сказал он скороговоркой и нахмурившись, — ...масонские.

Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов.

Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запамятовал, что запер их не в стол, а в особый шкафчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал.

Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру.

— Изволь посмотреть сюда — видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуется вотчина, двести четвертей или около того. А это — судебный лист; это, впрочем, неважно.

И, понизив голос, Сергей Львович сказал сыну:

— Твой дед этою грамотой вовсе уволен от службы, в абшид,[1] за болезнями. Это было, впрочем, более дело государственное.

11

Когда ему было семь лет, дом разом и вдруг распался.

Марья Алексеевна давно махнула рукой на зятя и дочь. Крепилась-крепилась и однажды решилась: наскребла вдовьих денег, достала из шкатулки какие-то закладные и рядные, ездила куда-то, суетилась и вернулась радостная: купила подмосковную. Усадьба была в Звенигородском уезде, с тополями, садом, церковью,

---

[1] Отставку (*нем.*).

все как у людей. Звалась она чужим именем: Захарово, да не в имени дело. Службы и дом каменные, дорога не пылит, цветник, роща, а деревня под горой, и богатая, много девок и овсы. Милости просим на лето с детьми: а сама она, живучи в Москве, голову потеряла от пыли, вони, шуму. Аришку оставляет при барчуках, а с нее хватит.

Никто ее и не удерживал.

Осенью пришла долгожданная весть: Осип Абрамович скончался и оставил Надежде Осиповне село Михайловское.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В последние годы старый арап безобразно растолстел. Походка стала еще легче, — он ходил как бы приплясывая, неся тяжесть своего живота. Последние месяцы, однако, ходить уж не мог и сидел у окна в больших мягких креслах, обитых полосатым тиком, откинув назад голову и задыхаясь от жира, старости и болезней. Здесь он и спал. С братом Петром Абрамовичем он был в ссоре из-за денежных счетов, и все его покинули.

Барская барыня Палашка правила домом; говорили, что от времени до времени она еще сгоняла к барину девок плясать и петь песни. Но теперь он становился все тише, все равнодушнее и часами следил за полетом мухи и скрипом телеги за лесом. В груди его также скрипело.

Стояла осень, красные, в огне, клены и желтые восковые березы осыпались перед самым окном. Дожди уже прошли, и было сухо.

В одну ночь его скрутило. Он мычал таким страшным голосом и его так подбрасывало, что Палашка к утру послала в город за лекарем.

Лекарь, осмотрев больного, запретил ему есть зайца, так как заяц возбуждает похоть, и приказал пить по вечерам декохт.

— Истребите из сердца все досады, — сказал он ему.

Старик лежал в креслах, лицо его было тусклое, он смотрел бессмысленно; глаза как в дыму. И вдруг, помимо его воли, самостоятельно, отдельно от него, начи-

налось в груди хрипенье, булькание, свист, и живот начинал ходить ходенем. Он дышал сипом и криком, как кричат ржавые затворы, когда их проверяют.

Отдышавшись, он спросил лекаря:

— Сколько мне времени жить?

Лекарь ответил:

— Вам, ваше высокоблагородие, жить два дни.

Старый арап легким движением вдруг подскочил в креслах. Скрип прекратился.

— Врешь, — сказал он лекарю и показал ему кулак.

Потом, оборотясь к Палашке, приказал:

— Гнать его и денег не платить. Вон!

Он полежал с полчаса совершенно неподвижно, трудно дыша. Потом стал глядеть на отцовский портрет. Абрам Петрович был на портрете с желчным лицом цвета глины, с анненскою лентой через плечо, в генерал-аншефском мундире.

Он приказал убрать портрет на чердак. Потом велел стопить баню и нести себя туда. В высоких креслах полосатого тика понесла его дворня через весь двор на плечах. На самом пригорке он велел остановиться, осмотрелся кругом и впал в задумчивость. Несли его пять человек, — старик был грузен; сзади шла Палашка. В бане он не стал париться, а полежал в предбаннике.

— Попарь-ка меня, — попросил он Палашку.

Палашка хлестала его горячим веником по черным плечам: он храпел и кашлял. Становилось темно.

Он велел нести себя на конюшню. В конюшне было прохладно, покойно. Три жеребца стояли в глухих загородках и, тяжело посапывая, перебирали ногами. Самый горячий, который закусал конюха, был на цепи, как злодей. Кобыла пила воду, мерно храпя. Он покормил ее с руки овсом, который она шумно, со вздохом убрала мягкими губами.

— В два дня! — сказал он ей о лекаре. — Дурак!

Вернувшись домой, он приказал принести все шандалы, какие есть в доме, и зажечь все свечи. Потом велел набрать листвы в роще и нанести в горницу.

— Для глаза, и дышать легче.

Палашка поднесла ему вина, но он пить не стал и только пригубил. Вспомнив о вине, сказал принести все, что еще оставалось в погребе, в гостиную.

— Девок, — приказал он Палашке.

Господский дом ярко светился и далеко был виден.

— Опять загулял, — говорили в деревне.

— Смерти на него, дьявола, нет.

Все аннибаловские старухи и старики считали старого Абрама Петровича и самого Осипа Абрамыча с братцем Петром Абрамычем дьяволами. Одна старуха говорила, что у старого Абрама Петровича были еще когти копытцами.

Дворовые девки были у Осипа Абрамыча блудным балетом; они плясали перед ним во времена его загула. Музыканты были у него свои — один лакей играл на гитаре, двое пели, а казачок бил в бубны. Он заставил Палашку всем поднести по стакану вина и махнул музыкантам. Музыканты разом ударили его любимую.

— Машка, выходи, — захрипел он.

Маша была его первая плясунья.

Арап сидел с полузакрытыми глазами.

— Безо всего, — сказал он.

Плясала Маша без всего. Он хотел было подняться, но не мог; только пальцы шли у него и дрожали, как подрагивала бедрами Маша, да двигались губы. Музыканты все громче и быстрее играли его любимую, казачок бил в бубны без перерыва, Маша все дробнее ставила ноги.

— Эх, лебедь белая, — сказал старик.

Он взмахнул рукою, загреб воздух полной горстью, крепко сжал пальцы и заплакал. Рука его упала, голова свесилась. Слезы текли у него прямо на нижнюю толстую губу, и он медленно глотал их.

Когда пляска кончилась, он велел раздать дворне все вино. Потом подумал и приказал половину оставить.

— Овса сюда, бадью, — приказал он.

Вином наполнили при нем бадью, овес намочили в вине.

— Лошадям корм задавать!

— Окна открывай!

Лошадей кормили на конюшне пьяным овсом.

— Злодея на волю! Коней отпускаю!

Ветер ходил по комнате. Он сидел у раскрытого окна и ловил ртом ночной холод. На дворе было темно.

Со звонким ржаньем, мотая головами, выбивая копытами комья земли, пронеслись мимо окон пьяные кони.

Он засмеялся без голоса в ответ им:

— Все наше, все Аннибалово! Отцовское, Петрово — прощай.

2

Когда Петру Абрамовичу сказали, что братец Осип Абрамович без голоса и плох, он не пошел к нему. Вчера он видел ярко освещенные окна в Михайловском, знал, что брат гуляет, и сердился на него, что более не приглашает его на сельские пирушки. Порешив, что Осип Абрамович плох с похмелья, сказал, что не пойдет и что так обойдется. Он был не в брата, сухонький и верткий. Он обид не забывал.

Палашка, не растерявшись, сразу после лекаря, по старой памяти, отправила гонца к Устинье Ермолаевне Толстой под Псков, где она жила летом и осенью на даче.

Черною тушею лежал без памяти Осип Абрамович весь день и всю ночь, только по свисту и хрипу Палашка понимала, что он жив. А на следующий день, против всяких ожиданий, прискакала Толстиха, Устинья Ермолаевна.

Она была уже стара, подсохла, но походка еще была та же, что двадцать лет назад. Даже ее враги не могли не признать, что у Устиньи походка хороша.

Легко сойдя со своего экипажа, она прошла в комнаты и попятилась: в комнате был содом. Кленовые листья ворохом лежали на полу, залитом вином.

— Мусор вымети, — сказала она строго Палашке. — Что затхоли развели! Что грязи нанесли!

Только когда комнату прибрали, она присела на стул у окна. Она посмотрела на умирающего осторожно и боязливо. На лиловом лбу были толстые капли и струйки пота; она отерла ему лоб платочком и нахмурилась.

С тех пор как их развел архиерей, больше двадцати лет жила Устинья Ермолаевна ни вдовою, ни мужней женою. Все старания приложила она к тому, чтобы у нее «всего было». Деньги Осипа Абрамыча она с самого начала их любви перевела на себя. Он построил ей во Пскове, по Великолуцкой дороге покойный дом с яблонным садом, купил ей подо Псковом у Чертова ручья дачу, тоже с садом, оранжереями, цветником; подарил

ей экипаж и лошадей. Больше всего она любила золото, яблоки и сливы. У ней был золотой сервиз, а яблоки у нее были белые как кипень.

— У них небось таких нет. Бездельцы! Какая глупость так распускать о людях, — говорила она о своих врагах — псковских помещиках и их женах, которые ее не принимали.

Она почитала себя невинно оклеветанною. Если бы она вышла замуж за влюбленного арапа, это было бы полным торжеством ее над псковской знатью, — всеми «татаровьями», — Карамышевыми да Назимовыми, которые ее чурались, боясь ее дурного характера. Но дело кончилось ничем, и ее связь с арапом стала скандалом, как связь с каким-нибудь заезжим паясом или камердинером. Поэтому, как потерпевшая, она считала себя вправе брать с него деньги и грабить, сколько возможно.

Много раз Устинья съезжалась и разъезжалась с арапом. Последний раз они съехались пять лет назад, и через месяц разъехались: Устинья вдруг заскучала по саду, а старик ей показался скучен.

Когда ей сказали, что арап кончается, она тотчас же, не думая, собралась. Были между ними еще не конченные счеты: годы тлела у нее в секретере дарственная на село Михайловское, составленная по всем правилам ее стряпчим; оставалось только внизу написать год, число и подписаться. Но в этом арап был тверд, и когда заходила речь о Михайловском, становился молчалив. Устинья Ермолаевна прихватила с собою бумагу.

С последнего разъезда осталась у него также ее шаль, которой арап ни за что не хотел отдавать, говоря, что это — память.

Палашка подала ей к завтраку печеную картошку со сливками, стакан брусничной воды, ничего в доме больше не было.

Она ела и поглядывала. Кругом была такая пустота, некрашеные полы были так бедны, потолки низки, что она сама удивилась, как из этой бедной хижины явилось ее богатство: и сад, и сервизы, и лошади. Арап умирал в дикой простоте, как, может быть, умирал его дед где-нибудь в Африке. Она сказала Палашке про шаль.

Палашка лазила по всем шкафам — шали не было. Глядя на беспорядок, в котором умирал арап, Устинья сказала Палашке брезгливо:

— Где тут шаль найдешь? Тут себя потеряешь.

Она поела, а брусничной воды не тронула:

— Горька. Разве так бруснику мочат?

Она посидела у кресел, на которых плашмя теперь лежал старый арап.

— За мной зачем посылали? Я-то здесь кто? Добро бы родная была.

— Всё не чужие, — сказала Палашка.

Она услала Палашку.

Недовольно она посмотрела на полупустую комнату, которую десять лет опустошала. На комоде когда-то стояли часы с Кроносом, который жрет младенца: теперь часы у нее; на бюро была статуэтка фарфоровая, фавн с нимфою, — у нее; и только большие лосиные рога висели над столом, охотничье, мужское украшение.

Приоткрыв толстые губы, арап отмахивался пальцами от чего-то и лепетал. Глаза у него были полуоткрыты.

— Ну, что? Что хочешь? — строго спросила она умирающего и отвела пальцы.

На ногтях была синюха; впрочем, у него всегда были синие ногти. Пальцы были длинные, на левой руке, как у вдовца, перстень с прекрасным камнем. Грань была старой работы, беседкой, камень был желтой воды, она понимала толк в камнях. Шали Палашка так и не отыскала, шаль была турецкая, с бахромой. Ей было жаль шали. Она посмотрела еще раз на перстень и залюбовалась. Потом, взяв его за руку, она стала тихо снимать перстень с пальца. Палец у арапа разбух, и перстень шел туго. Наконец она сняла его и примерила на большой палец. И вдруг онемела: арап спокойно смотрел на нее и на перстень большими мутными глазами. Он очнулся. Потом как будто тень прошла по лицу, — он словно улыбнулся и взял ее за руку.

— Дура, — сказал умирающий внятным голосом, — дура, в губы целуй.

Более в себя он не приходил.

К вечеру заявился Петр Абрамыч, сразу после того Устинья Ермолаевна уехала к себе во Псков и снова положила в ларец неподписанную дарственную, а в ночь Осип Абрамыч Аннибал, флота артиллерии капитан в отставке, скончался.

Петр Абрамыч, надев парадный мундир, хоронил брата.

Арап лежал в гробу в морском мундире времени Екатерины, черный как уголь, и поп сказал крестьянам проповедь о святом Моисее Мурине, который также был эфиоплянин, а смолоду и разбойник; а назавтра прибыл заседатель из города и, помянув покойника вином и пирогами, послал Надежде Осиповне, так же как и Марье Алексеевне, извещение, чтобы приезжали вступать во владение селом Михайловским, понеже отец и супруг их Иосиф Абрамович внезапно волею божией помре.

3

По получении известия о смерти тестя Сергей Львович принял вид серьезный, степенный и принимал знаки сочувствия, как принимают поздравления.

— Que la volonté du ciel soit faite! [1] — говорил он с достоинством.

На панихиде он мелко и часто крестился и дважды глубоко и внятно вздохнул. Сестрица Анна Львовна, обняв Надежду Осиповну, всхлипнула было, но это принято было самым холодным образом.

Усадьба и имущество покойного арапа, а если таковые окажутся, и деньги, принадлежали теперь жене и дочери. Марья Алексеевна, у которой была теперь своя усадьба, не захотела ехать на старое пепелище, откуда бежал от нее некогда муж, и предоставила распоряжаться Надежде Осиповне. Нужно было войти во владение, а для этого нужна была мужская помощь. Сергей Львович, однако же, не изъявил желания поехать принимать тестевы владения, ссылаясь на военное время и нежелание начальника отпускать его. Отпуск мог повредить его карьере.

Надежда Осиповна, самовольно распоряжавшаяся в стенах своего дома, вне его была на редкость бестолкова и даже пуглива. В конце месяца она выехала в село Михайловское, а Сергей Львович остался дома, пообещавшись, как только обстоятельства дозволят, выехать вслед за нею.

---

[1] Да свершится воля неба! *(франц.)*.

Только когда закрылась дверь, Сергей Львович почувствовал счастье: получив наследство, он внезапно оказался на свободе самое малое на месяц. В тот же вечер он исчез со двора.

Время было военное, и везде были перевороты. Вся Москва была в каком-то волнении, и все было неверно. По реляциям, государь бил французов, а вестовщики говорили, что, напротив, «французы утюжат нас». В комиссариатском штате все ходили как ошалелые; много ездили, пили, играли в карты. Воодушевление было общее, к дому главнокомандующего ездили узнавать новые рескрипты, и мнение о Бонапарте как о безумце было вдруг всеми принято. Василий Львович перестал заказывать своему Блэзу французские блюда. Вообще чувствовалось общее потрясение.

Бледный и нахмуренный сидел Сергей Львович за зеленым столом в два часа ночи и спускал в рокамболь вторую сотню. Руки его дрожали, и будущность представлялась потерянной.

В том, что все откроется и Надежда Осиповна узнает, Сергей Львович не сомневался, но не хотел думать об этом. Вначале он просто сговорился провести время со старыми приятелями, затем затеялся рокамболь, и вот с самого начала он, как нарочно, проигрался, дрожа от нетерпения, в пух. Несчастные талии следовали одна за другой.

В четыре часа он был в проигрыше и писал заемные письма: «Обязуюсь уплатить сто — двести — пятьсот рублей. Число. Месяц. Год. Сергей Пушкин». Малодушие его было таково, что он готов был плакать. В пять часов он вернул все и даже остался в выигрыше. Силы покинули его. В совершенной слабости он пил воду. Вся прошлая жизнь, жизнь отца семейства и покорного мужа, исчезла в одно мгновенье. Вся прошлая жизнь была проигрыш, а теперешняя выигрыш. В течение часа душевные силы его заметно восстановились. Он решил, что не будет более играть, а в случае если проиграется, будет проситься на поля сражений. Надежда Осиповна для военного была не так страшна.

Наслаждаясь новою свободою, он позволил приятелям, после короткой заминки, отвезти себя поутру согреться в известный дом на окраине — к Панкратьевне. Панкратьевна, толстая старуха, держала за Москва-

рекой дом с толстыми девками, жирными щами и славилась своею первобытной простотой.

— Масло, — говорили об ее питомицах московские знатоки и жмурили глаз.

Сергей Львович произвел на Панкратьевну самое отрадное впечатление своею вежливостью и ел славные щи с истинным аппетитом.

Пробыв у нее в гостях до полудня, Сергей Львович нашел себя. Открылось, что он создан для приятной жизни, а не для каких-либо дел или семьи. От выигрыша даже осталось несколько; деньги он пересчитал и отложил на счастье в кошелек, решив не тратить. С необыкновенным спокойствием и важностью он вернулся к себе домой. Об обещании приехать, данном Надежде Осиповне, он старался не думать: самое сильное отвращение было у него к разного рода описям, вводам во владение и проч. С детьми возилась теперь Арина, и с этой стороны ничто не беспокоило его.

Грушка у Панкратьевны пришлась ему по нраву. По утрам он ездил с визитами, и ему бывали рады: если кто не принимал на Поварской, он тотчас сворачивал на Тверскую; обедал там, где вся Москва обедала, — у старух и стариков, а вечером тянуло его к Панкратьевне. Являлись юные негодяи и увозили его. Теперь ему никто не мешал.

4

Мать была где-то далеко, в поместье черного деда, о котором родители не говорили, но многое смутно напоминало; он привык к любопытству мальчишек и прохожих. Лицо его было смуглое, волосы светлые и вились.

Ему говорили, что дед умер; теперь он умер вторично. Судьба этого темного деда чрезвычайно его занимала. Теперь у них было поместье, о котором отец сказал, что там прекрасное озеро. Мать была угрюма; она уехала, расцеловав маленьких в щеки, а его — в голову. И теперь он был на свободе.

По утрам он иногда видел виноватую фигуру отца; отец возвращался откуда-то и быстро семенил к себе в кабинет. Он прекрасно знал его походку, — так отец являлся домой, когда боялся матери. К вечеру отец исчезал. Случалось, что кабинет пустовал и день и два.

В кабинете он научился распоряжаться, как в захваченном вражеском лагере. Он перечел много книг, лежавших в беспорядке на окнах. Это были анекдоты, быстрые и отрывистые. Он узнал об изменах, об острых ответах королей, о римских полководцах, о славных женщинах, которые умели прятать любовников; перелистал словарь римских куртизанок; более всех ему понравилась ловкая Лаиса, подруга жирного Аристиппа; прочел о людях, которые, умирая на плахе, делали острые замечания.

Он читал отрывисто и быстро, без разбора. Его очень занял портрет Вольтера: полуобезьянья голова старика с длинными, вытянутыми вперед губами, в ночном белом колпаке. Это был мудрец, поэт и шалун; он смеялся над королем Фредериком и всю жизнь хитрил.

Очень ему понравился также рассказ в стихах о том, как две благочестивые старушки, вернувшись домой и улегшись на постель, нашли там дюжего молодца и подрались друг с другом. Благочестивые старушки, ханжи, девотки напоминали тетушку Анну Львовну, а мать с гостьями жеманничала, как мадам Дезульер.

Стихи нравились ему более, чем все другое, в них рифма была как бы доказательством истинности происшествия. Он читал быстро, выбирая глазами концы стихов и кусая в совершенном самозабвении кончики смуглых пальцев. При каком-нибудь шуме он ловко ставил книжку на место и, вытянув шею, приготовлялся к неожиданности. Вообще осенью этого года он вдруг переменился. Исчезла медленная походка увальня; медленный и как бы всегда вопрошающий взгляд стал быстрым и живым. Ему было семь лет.

Наконец он добрался по лесенке до самой верхней полки в кабинете. На верхней полке стояли маленькие книжки в кожаных переплетах. Он стал читать их, и новый мир перед ним открылся. У каждой женщины были милые тайны; все разнообразно обманывали друг друга; подруги притворно гнали пастушков; вельможи давали забавные ответы; фавны гонялись за нимфами с какой-то сладкой и неясной целью; наездники до изнеможения объезжали горячих кобылиц; охотники убивали таинственную дичь наповал; садовник сажал розан в корзинку Аннеты; шел насмешливый счет ночным победам — одна и две и три победы были смешны, — их должно было быть без счета. Все между тем

изнемогали от томления — всюду шел бой, а о женщине говорили, как о незнакомой стране, которую предстояло открыть, с холмами, лесами, горами, гротами, прохладной тенью. Дыханье у него захватило. Он подозревал чудеса.

Теперь, когда мать уехала, движенья его стали вдруг свободны и быстры.

Ему ничего не стоило без усилия и разбега вспрыгнуть на стол; перескочить через кресло, не опрокидывая. Ему не сиделось на одном месте, неожиданно для самого себя он вскакивал и ронял книгу, менял место. Он играл в мяч на дворе с мальчишками и верно находил цель взглядом и мышцами всего тела.

Почти весь день проводил он в девичьей. Арина вначале на него ворчала, но вскоре перестала. Девушки привыкли к нему, здоровались с ним нараспев, смеялись при нем и фыркали, говоря о Никите и поваре Николашке. Они пели долгие протяжные песни, и лица их становились серьезными. Заметив, что песни ему полюбились, они всякий раз, когда он приходил, пели ему. Так они спели песню про белы снеги, про березу, про синицу.

Раз, когда Арины не было, самая быстрая из них, Татьяна, на бегу вдруг обняла его и стала тормошить. Девки завизжали, засмеялись, но, когда вошла Арина, сразу замолчали. Татьянка закраснелась, Арина сурово ей сказала:

— Ужо тебе, Танька! Барыне скажу.

Как-то ему не спалось, и он попросил Арину, чтоб Татьяна спела ему. Арина была обижена, что Танькины песни ему больше нравятся, чем ее сказки, но с сердцем, ворча, привела сонную Татьяну, босую и простоволосую. Таня запела над ним протяжно, без слов, и, глядя, как она, полусонная, с открытой грудью, дышит и позевывает, он закрыл глаза и уснул.

Жизнь его стала вдруг полна.

Баловень Левушка хныкал без матери; Оленька, во всем похожая на тетку Анну Львовну, по нескольку раз в день заглядывала в комнаты отца, — здесь ли. Востроносый Николенька льнул к Арине, зарываясь носом в ее подол.

А он наслаждался свободой.

Теперь, перед сном, лежа в постели, он долго, тихо

смеялся, зарываясь в подушки. Арина с огорчением на него смотрела; она думала, что он опять напроказил. Проказы его теперь сходили с рук; незаметно был отбит край хрустального графина; он мячом попал в портрет дедушки Льва Александровича в гостиной, так что холст подался и краска посыпалась. Арина обмерла, но обошлось. Сергей Львович редко смотрел на отцовский портрет и ничего не заметил.

— Дед ажно моргнул на стенке, вот горе, — говорила Арина.

Она крестила его и сердилась. Сказок она ему на ночь теперь не говорила, от сказок он еще пуще не спал. Сказки она говорила только под вечер. Он никогда ее не прерывал, ни о чем не расспрашивал. Когда Левушка раз помешал им, он прибил его.

А перед сном он смеялся от счастья.

5

Неподалеку жили Трубецкие-Комод. Так их звали по архитектуре дома. Действительно, грузный квадратный дом Трубецких, стоявший посреди пустого двора, несколько напоминал комод. Москва всех людей метила по-своему. Дом был комод, и Трубецкие стали Трубецкие-Комод, а старика Трубецкого звали уже просто «Комод». Этой кличкой он отличался от другого Трубецкого, которого звали «Тарар», по его любимой опере, и третьего, которого звали Василисой Петровной. Трубецкие-Комод жили в своем доме-комоде тремя поколениями; старик, крепконосый, сухой, был уже очень дряхл и глух; всем в доме распоряжалась дочь, сорокалетняя девица «Анюта». Александр часто встречал на прогулках Николеньку Трубецкого, гулявшего с гувернанткой. Они познакомились, тетка прислала Сергею Львовичу любезное письмо, и Александр стал бывать у Трубецких.

Николенька Трубецкой был мал ростом, ленив и толст, желт, как лимон. Старый дед доживал свой век и крепко зяб, поэтому зимою непрерывно топили, а летом не открывали окон. Слуги ходили по дому как сонные мухи. В комоде было тихо, душно и скучно. Казалось, и молодые вместе со стариком доживают свой век. Николенька не играл в мяч и не бегал взапуски,

он был сластена, лакомка, и нежная тетка его закармливала.

Старик сидел у камина; осень еще только наступила, а он уж зяб. Несмотря на глухоту и дряхлость, дед был разговорчив и во всем требовал отчета у дочери. Увидев как-то Александра, он громко спросил у дочери:

— Кто?

Услышав имя: Пушкин, старик так же громко стал спрашивать:

— Мусин? Бобрищев? Брюс?

Дочь ответила глухому с некоторой досадой:

— Нет, mon père,[1] *просто* Пушкин.

Старик подумал. Потом все тем же глухим, надтреснутым басом он спросил:

— *Бывшего* Пушкина сын?

Дочь вздохнула и сказала, что это сын Сергея Львовича, соседа.

Тогда старик подумал и наконец вспомнил:

— Ах, это стихотворца!

Голос старца был такой, как бывает у человека, припомнившего что-то забавное. Видимо, Сергея Львовича он не помнил, а помнил что-то о Василье Львовиче.

Когда нежная тетка через несколько минут зашла в детскую посмотреть, как дети резвятся, Александр сидел верхом на Николеньке, довольно верно изображая скачущего во весь опор всадника, а Николенька, на четвереньках, терпеливо изображал смирного коня.

Тетке игра не понравилась.

Вечером Александр спросил у отца, кто такие бывшие Пушкины. Сергей Львович обомлел и гордо спросил сына, кто сказал ему о бывших Пушкиных. Он отдерет всех этих Николашек, Грушек и Татьянок, которые осмеливаются пороть всякую дичь. Никаких бывших Пушкиных нет, не было и не будет, и он запрещает говорить о каких бы то ни было бывших Пушкиных. Узнав, что это говорил старик Трубецкой, Сергей Львович сказал сквозь зубы, снисходительно:

— Ах, это бедный Комод! Он, бедняжка, так стар, — и прикоснулся пальцем ко лбу.

Потом он так же снисходительно, сквозь зубы, спросил сына, как ему нравится его новый товарищ.

---

[1] Отец *(франц.)*.

Александр фыркнул и ответил:

— C'est un fainéant, лежебок.

В голосе было такое презрение, что Сергей Львович удивился. Он не без удовольствия посмотрел на сына.

6

Надежда Осиповна вступила в свои владения. Низко кланялась дворня, все в новых платьях, опустив глаза.

Никогда не была она помещицей. Всю свою молодость она провела с матерью в столице, в Преображенском полку, в небольшом домике, изредка выезжая на какой-нибудь гвардейский бал. Жила в тайной горькой бедности. Каждый выезд ее стоил обеим, и дочери и матери, мук и горя. Она не помнила Суйды, где провела свое младенчество, и сельская жизнь была ей неизвестна. Поэтому она с боязнью вступила в дом чуждого ей отца. Крытый соломой, серый, он пугал ее. На людей она смотрела строго и угрюмо. Гарем старого арапа от нее попрятался.

Дом казался ей похожим на сарай: не только не видно было нигде и следов роскоши, но самые комнаты были пусты. Надежда Осиповна удивилась: с детства она привыкла считать отца богатым. Следы разрушения были насколько возможно изглажены Палашкой. В комнате, где умирал отец, стояли у кресел в зловещем порядке нетронутая бутыль с лекарством, недопитая фляга вина, тарелка; лежали сбитые в кучку: трубка, картуз табаку, шелковый шейный платок, какие носили сорок лет назад, и полуистлевшие обрывки бумаги, исписанные ржавыми бледными чернилами; а рядом большой засохший цветок, покрытый пылью и перетянутый шелковой ленточкой. Палашка, усердствуя, выложила всю заваль из кроватного столика. Цветок пах горьким старым сеном.

Она прочла бумаги отца. Это были какие-то случайные счета и письма.

«За серебро чайное, за перстень с алмазом да еще перстень с кошачьим глазом всего остается получить триста семьдесят рублей».

«Милостивый государь мой, Иосиф Абрамович!

Как в прошлый авторник решения достать не мог и секлетарь велел приттить в четверток, то сумневаюсь, что есть решенье, и посему покорно прошу пожаловать Вашу милость на ведение дел, что прохарчился и что секлетарю ранее выдано, все как вы приказывали полностью. А о формальном разводе ничего не говорит и определения не дает».

«Дружок мой, черт бесценный, я всю ночь нынче без тебя заснуть не могла, все кости тлеют, руки мрут, и вся почитай истлела...»

«Но уж такой поступок в Вас обличает последнего человека. Я, сударь, очень поняла и знаю, какой ты изверг, трус, подлец, и самый малодушный ребенок так сделать не мог...»

Все, что лежало на столике, она бросила в печь; цветок затрещал и рассыпался. Она тотчас же позвала Палашку и распорядилась изменить порядок комнат, — отцовский кабинет сделала гостиною, а в гостиной — свою спальную. Девки набили новый сенник, принесли новые козлы, — спать на отцовской кровати она не захотела. Выволокли шкаф из комнаты, но следы от тяжелых ножек, вросших в пол, остались и тревожили ее, как след давно минувшего времени.

Наутро, едва она раскрыла глаза, забрякали под окном колокольцы: прибыл земский заседатель с подьячим. Весь день они шатались по усадьбе, мерили длинным аршином баню и какие-то кусты, и Надежда Осиповна с тревогою смотрела на все это из окна. Подьячий составил опись движимым и недвижимым вещам морской артиллерии капитана Иосифа Аннибала. Явился откуда-то благородный свидетель и нетвердою рукою подписался под актом. Он был крив и пришел с большим псом, которого привязал к крыльцу. Надежде Осиповне он отрекомендовался прапорщиком в отставке Затепленским, живущим по соседству и готовым к услугам. Потом сели, как водится, за стол, и Палашка поднесла им водки. Заседатель к концу вечера ослабел и свалился под стол. Благородный свидетель

кинул ему воду в лицо и велел Палашке с девками свести его в баньку до вытрезвления. Назавтра утром заседатель с подьячим укатили, а благородный свидетель, отвязав пса, откланялся Надежде Осиповне, приложился к ручке и ушел.

— Насосались, пиявицы, — сказала им вслед Палашка, чуть ли не повторяя речь покойного Осипа Абрамовича.

Она не без основания обвиняла заседателя в пьянстве. Он был постоянным дегустатором наливок и настоек Петра Абрамыча.

И Надежда Осиповна в ожидании Сергея Львовича стала жить помещицей. Это оказалось нетрудно. Как в городе, девка приносила ей в постель чай, спала она далеко за полдень, потом обсуждала с Палашкою обед, потом гуляла, в надежде встретить невзначай кого-нибудь из соседей, а там обедала, а там критиковала обед, а потом отдыхала. Дяденька Петр Абрамыч, живший тут же в Петровском, помня ссору, к ней не пожаловал, а она к нему.

Вскоре она познакомилась с соседями, — явились ее звать к обеду к Рокотовым и Вындомским. Рокотовы жили в пяти верстах, оказались скрягами, жена — надутой барыней, говорившей по-русски, как по-французски, в нос; муж писклив и мизерен до крайности; обед плох. Старик Вындомский, вдовец, жил рядом, в селе Тригорском. У него гостила молоденькая дочка, бывшая замужем за тверским помещиком Вульфом. Прасковья Александровна Вульф поразила Надежду Осиповну каким-то мужским удальством, которое вовсе не было в моде в столицах, — с утра гоняла на корде лошадей, скакала верхом, ездила на полевые работы, не обращая внимания на шестилетнюю Аннету и годовалого Алексея. Она была крепкая, говорливая, с кудерьками на висках. Вечером садилась у камина и читала Саллюстия по-французски. Над Саллюстием она, усталая, так и засыпала. Старик с дочкой доводились сродни Надежде Осиповне: двоюродный брат ее по отцу, Яков Иванович, мичман, был женат на второй сестре Вындомской. Надежда Осиповна, впрочем, не знала ни своего кузена, ни жены его.

По вечерам в Михайловском было скучно и страшно. Комнаты были пусты; везде еще держался слабый, заста-

релый запах табака, вина, старого человека — отца, которого она не знала и боялась и с которым теперь было раз и навсегда покончено. По ночам она просыпалась, дождик барабанил в окно; кто-то шуршал по соломенной кровле, словно оступался, — потом раздавался неожиданно птичий крик и грай, звук сильного быстрого ветра, точно над ней раздували мехи; она зажигала свечу. Окна слезились; рассветало; поздние птицы улетали. Она вздрагивала от их близости.

В Тригорском же было весело и светло. В крепком, шитом тесом доме Вындомских, над самой Соротью, копошились дети, трещали свечи и сверчки. Прасковья Александровна лихо бренчала на клавесине, не совсем еще разбитом, и пела самые заунывные романсы; дети плясали и проказничали; и Надежду Осиповну оставляли на ночлег. Здесь ничто не напоминало михайловского бездомовья, и даже птицы, пролетавшие над домом, были, казалось, другие.

У Прасковьи Александровны был прямой взгляд и резкий голос; она была справедлива в своих суждениях. Она завязала с Надеждой Осиповной откровенный разговор. Не стесняясь, она сразу же без обиняков сказала, что Толстиха обобрала старика, как малинку, но затевать скандальную тяжбу со старою сквалыгою отсоветовала, считая дело безнадежным. О Палашке она тоже отозвалась неодобрительно — воровка и сводня.

Вскоре Прасковья Александровна узнала все новые моды, и ее простодушное изумление льстило Надежде Осиповне.

Она же помогла Надежде Осиповне до приезда Сергея Львовича управиться со всеми делами по имению.

Надежда Осиповна ездила с нею во Псков, и приказный, получив на водку, закрепил за дочерью и женой Аннибаловой родовое Михайловское, Устье тож, с деревнями Косохновой, Репщино, Вашково, Морозово, Локтево, Вороново, Лунцово, Лежнево, Цыблево, Гречнево, Махнино, Брюхово и Прошюгово, всего семьсот десятин и более, с пахотой, покосами, лесом и озером, мызами, деревнями, ручьями и огородами, а также душами до ста восьмидесяти мужеска пола и до ста — женского. В этом приказный выдал ей форменную крепость с большой красной печатью, за приложение которой потребовал дополнительно на водку.

Когда, довольная количеством своих и матери деревень, Надежда Осиповна по возвращении пошла их смотреть, она нашла четыре почернелых деревеньки в пять-шесть изб с высокими косыми крылечками на сваях, голые и горькие. Старики в серых сермягах встречали ее у дороги, кланялись в пояс и жаловались на бедность. Старуха вынесла ей на деревянном блюде черный псковский пирог — какору, — чиненный морковью. Надежда Осиповна куснула и пошла далее. Больше деревень не оказалось: видимо, они значились в актах по старой памяти. Пахота была бедна, но ручьи, по описи, действительно лепетали вдоль песчаных откосов. Впрочем, они уже кой-где подмерзли и покрылись тонким льдом.

Испуганная неверностью своих владений, Надежда Осиповна посчитала дворню, но на тринадцатой девке махнула рукой. Никому, ни даже Прасковье Александровне, она ничего не сказала, побоявшись спросить, куда делись деревни. Она решила, что всему виною Толстиха, и вместе со злобой на разорительницу почувствовала и некоторое удивление перед отцом, все отдавшим своей страсти. Она побывала вместе с Прасковьей Вульф в Святых Горах. На могиле отца стоял деревянный крест, по которому ползла толстой слезой смола. На кресте Петр Абрамыч сделал надпись карандашом: «Флота капитан 2-го ранга и раб божий 62 лет, Аннибал». Фамилия была написана, по забывчивости, с росчерком, парафом. Надежда Осиповна постояла с минуту у креста, от которого шел еще сосновый дух. С горы была видна вся окрестность. Она решила положить над отцом черную плиту с более приличною надписью.

Сергей Львович все не ехал, в Михайловском было холодно и голо, и Надежда Осиповна заскучала. Все ей стало тошно, лень стало ходить в Тригорское, она не могла привыкнуть к дому, ни к своим владениям; ей все чудилось, что она не на своем месте и что усадьбу скоро отнимут — та же злодейка Толстиха, жившая во Пскове. Многих деревень как не бывало. Она негодовала на Сергея Львовича, что не едет и бросил ее, беззащитную, в этой глуши. Она заскучала тяжелой, нездешней, непсковской, заморской, желтой скукой. Сидя по вечерам у себя с полузакрытыми глазами, она кусала ногти и пальцы и равнодушно плакала большими мутными слезами. Дом притих, как курятник, на который налетел

большой ястреб, и гарем старика, ожидавший еще своей участи, притаился.

Тут случился храмовой праздник, и предприимчивая Палашка решилась. Все девки разоделись и пришли поздравить барыню. Надежда Осиповна вышла и, скучая, посмотрела на них в лорнет. Девки поклонились и затеяли танцы. Надежда Осиповна велела вынести кресла и уселась. Девка, худая и высокая, вдруг скинулась и пошла дробным шагом, шевеля плечами, за ней вторая, третья. Они плясали вполпляса, — плыли — как при старике, когда он бывал трезв и скучен. Дворня, как в старые дни, собралась в кружок и издали глядела; все молчали, потому что при старике не были приучены к разговорам. Надежда Осиповна все смотрела в лорнет. Постепенно она оживилась, ноздри ее стали вздрагивать, а лицо покраснело. Девки, приученные к барским лицам, пошли быстрее. Погода была ясная, сквозная, кругом все тихо. Надежда Осиповна, смотря в лорнет, неподвижно сидя на одном месте, плясала каждым членом — глазами, губами, плечами, ноздри ее вздрагивали. Она выслала девкам пирога. Скука прошла.

Посоветовавшись со стариком Вындомским, она распорядилась. Палашку сослала на птичий двор, гарем упразднила, а управляющим, по совету старика, назначила благородного свидетеля, прапорщика Затепленского, который был крепок на руку и распорядителен. Он сразу же, как из-под земли, вырос со своим псом и временно занял под жилье баньку, как наиболее теплое помещение.

Провожала Надежду Осиповну до околицы вся дворня; две девки поднесли было передники к глазам, но быстро успокоились. Уезжала Надежда Осиповна с радостью, почти не веря, что через неделю будет плясать у Бутурлиных.

7

Повар Николашка, которого Марья Алексеевна оставила Надежде Осиповне до весны, сбежал.

Он был видным лицом в пушкинской дворне. Разговаривал неохотно и мало, был молчалив и чисто брит. На него не кричали; раз Марья Алексеевна хотела дать

ему пощечину — гусь сгорел, — он повел на нее бесцветными и пустыми, как стеклянные бусы, глазами, и она не осмелилась. Девки его уважали и звали за глаза Николаем Петровичем.

В противоположность Никите, который пил понемногу, но часто, так что всегда бывал весел, Николай Петрович не касался вина.

Незадолго до приезда Надежды Осиповны Сергей Львович подсчитал свой проигрыш и решил обелиться перед супругой. Он не сомневался, что проигрыш откроется. Так он стал искать вора. Вскоре вор был найден — у Николашки ушло непомерно много денег; ссылаясь на то, что собственное масло прогоркло, а говядина и дичь с душком, он покупал в лавочке и т. д.

Сергей Львович призвал его и, стараясь привести себя в ярость и брызгаясь, назвал его вором. Николашка смолчал, Сергей Львович быстрее обыкновенного ушел со двора.

Вечером Александр, проходя в девичью, услышал в людской пение. Он приоткрыл дверь. За столом сидел Николай, бледный, в новом сертуке, перед ним стоял пустой штоф. Он пел долгую, однотонную песню, без слов. Это был как бы вой, тихий и протяжный.

Пустыми, ясными глазами он посмотрел на Александра и ухмыльнулся. Он подмигнул ему и свистнул

— Вы, Пушкины, — сказал он медленно, — род ваш прогарчивый. Прогоришь! Ужо́ тебе!

Он стал медленно подниматься. Александр испугался и попятился.

Через два дня Николай ушел и не вернулся. Вся дворня ходила молчаливая. Сергей Львович заявил в полицию и необыкновенно оживился. Он всем рассказывал о грабеже и побеге. Заехавшая вечером тетка Анна Львовна долго крестилась, когда узнала, и перекрестила Сергея Львовича, — Николашка всех зарезать мог.

Вечером Александр спросил Арину, куда ушел Николай.

С некоторых пор он взял себе за правило ничего не бояться, но неподвижный, пронзительный Николашкин взгляд и негромкий вой, который был русскою песнею, подействовали на него необъяснимо.

Арина развела руками:

— В Польшу. Куда ему идти? Все разбойники в Польшу уходят. Сунул нож в голенище — и ищи ветра в поле! А потом смотришь и объявился — пан, бархатный жупан.

И вскоре приехала Надежда Осиповна.

8

Надежда Осиповна с самого начала почуяла недоброе; ее удивило и уязвило, что как будто все без нее прекрасно обходилось. От дома она отвыкла и не узнавала его.

Николашка сбежал из-за Сергея Львовича; это было ясно. По глазам было видно, что Сергей Львович во многом виноват; денег в доме совсем не было. Сергей Львович все валил на мерзавца Николашку — ce faquin de Nicolachka,[1] плутовок-девок — ces friponnes de Grouchka et de Tatjanka[2] — и на скверного Никишку, ce coquin de Nikichka.[3] Вскоре, однако, все открылось: получена шутливая записка от одного из юных негодяев с приглашением прибыть в известное святилище Панкратьевны; записка, по несчастной случайности, попалась в руки Надежды Осиповны.

Этот день был страшен; дети попрятались, дворни — как не бывало. Надежда Осиповна сидела за столом сам-друг с Сергеем Львовичем и молча била посуду. В гневе она была страшна, лицо ее становилось неподвижно, не белое, а белесое, тусклое; глаза гасли, губы грубели и раскрывались. Она бросала наземь тарелку за тарелкой. Когда полетел графин Сергея Львовича и вино полилось по полу, он, дрожа от страха, обиды и гнева, внезапно разъярился, ощетинился и щелкнул со стола рюмку. Это было неожиданностью для Надежды Осиповны.

— Ах, вы бьете посуду? — сказала она, бледная, спокойная и страшная. — Бейте ее chez votre Pankratievna. [4] —Глаза ее забегали, красные жилки налились в них.

Сергей Львович медленно встал и закинул голову. Во

---

[1] Этот негодяй Николашка *(франц.)*.
[2] Эти плутовки Грушка и Татьянка *(франц.)*.
[3] Этот мошенник Никишка *(франц.)*.
[4] У вашей Панкратьевны *(франц.)*.

всей фигуре его было необыкновенное достоинство. Надежда Осиповна, окаменев, смотрела на него.

— Mon ange, — сказал он тонким голосом, еле переводя дух, но уже с торжеством, — я еду на войну, на поле сражений.

Надежда Осиповна смешалась. Она посмотрела на битую посуду; поведение супруга озадачило ее. Она боялась и мысли о том, что Сергей Львович станет военным, — тогда ее власти как не бывало, а его к обеду не дождешься. Притом мысль о том, что она останется вдовою с кучей ребятишек, пугала ее; с другой стороны, если Сергей Львович действительно собирался на войну, это отчасти оправдывало его действия у Панкратьевны. Все военные вольно вели себя. Сергей Львович перевел дух. Быстрой походкой он направился в переднюю, громко велел казачку подавать шинель и пошел со двора — может быть, определяться в какой-нибудь полк.

Надежда Осиповна верила и не верила. Она бесилась на мужа, который играет перед нею такую недостойную комедию, и на себя, что довела его до отъезда в действующую армию. Больше же всего на то, что он, провинившись, остался победителем, а она в дурах.

Надежду Осиповну словно ветром понесло в девичью. Девки сидели не дыша. В углу она вдруг заметила Александра и широко открыла глаза. В ее отсутствие и у мужа и у сына завелись новые привычки. Она схватила его за ворот и почти понесла в комнаты.

У порога своей спальной она столкнулась с Ариною. У Арины было бледное лицо, спокойное, и глаза как бы сразу выцвели и ввалились.

Надежда Осиповна толкнула ее плечом, Арина охнула и прислонилась к косяку.

— Тварь! — сказала Надежда Осиповна, не смея взглянуть на нее.

Потом Арина отошла от дверей и пропустила мать с сыном.

Когда дверь за ними закрылась, она еще немного постояла.

— Розог! — крикнула Надежда Осиповна.

Арина перекрестилась и пошла. В людской она села на скамью, прямо и сложа руки на коленях. Уже бежал

казачок с розгами на барынин зов; она еще больше побелела и взялась рукой за сердце.

Надежда Осиповна била сына долго, пока не устала. Сын молчал. Потом, отдышавшись, она бросилась в подушки и заснула, усталая. Арина долго еще сидела в темной людской. Потом она пошарила в своем сундучке, нашла пузырек, отпила; полегчало немного; она еще выпила; потом до дна. И только тогда, уже пьяная, качаясь из стороны в сторону, заплакала скупыми, мелкими слезами.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Ни осенью, ни зимою Сергей Львович на войну не пошел. Война шла теперь и с французами и с турками. Старики московские говорили о ней резко. Наполеон побеждал; государь, по известиям, плакал. Главнокомандующий, старец генерал Каменский, в каждом донесении молил его уволить, а вскоре, по слухам, и вправду бежал из армии.

Оды писались и печатались ежедневно; многие из них были посвящены градоначальнику, а под конец всем прискучили. Сергей Львович остыл вместе со всеми.

Между тем в Москве шли маскарады, и на одном из них Сергей Львович и Надежда Осиповна были свидетелями забавной драки, происшедшей между двумя приятелями за прекрасную мадам Кафка; оба вцепились друг другу в волосы. Это было до крайности забавно, но они мало смеялись, потому что были в ссоре.

Зимою был взят к Александру гувернер. Долго выбирали, и наконец Александра взялся воспитывать не кто иной, как сам граф Монфор. Впрочем, это был уже не прежний Монфор: нос его заострился и покраснел, панталоны всегда засалены, убогое жабо трепалось у него на груди; он был по-прежнему любезен, но почти всегда слишком весел и болтлив. По вечерам он играл немного на флейте. Спал он в одной комнате с Александром, и мальчик подружился со своим воспитателем. Шалости Александра француз охотно прощал.

Они много гуляли по московским улицам и садам, и воспитатель при этом лепетал, говорил без умолку. Вскоре Александр узнал о скандальных и забавных историях французского двора, начиная с маркиза Данжо.

Вставая поутру, француз пил целебный бальзам, после чего веселел; пил его и вечером, если не играл на флейте; с удовольствием рисовал на клочках бумаги все, что приходило на ум, чаще всего головы и ножки парижских его подруг; профили были похожи один на другой, а ножки были разные.

Однажды он рассказал мальчику о всех славных поединках двух царствований. Поставив его перед собою на расстоянии трех шагов, он учил его обороняться. Шпаг у них не было, но Монфор пришел в такой азарт, что крикнул Александру:

— Вы убиты!

Вообще он часто рассказывал Александру о парижском свете, театре, а раз, выпив бальзаму, свесил голову и заплакал.

2

Весною всей семьей поехали к бабушке Марье Алексеевне в Захарово. Михайловское было далеко, все там не устроено, и никто их не ждал.

Это была первая дорога и первая деревня в его жизни. Ямщик на козлах пел одну и ту же песню без конца и начала, стегал лошадей, потом пошли полосатые версты, редкие курные избы и кругом холмы, поля и рощицы, еще голые и мытые последними дождями. Он жадно слушал всю эту незнакомую музыку — песню колес и ямщика — и вдыхал новые запахи: дегтя, дыма, ветра. Черные лохматые псы, заливаясь и скаля зубы, лаяли.

Это была столбовая дорога, которую иногда бранили отец и дядя, — холмистая, грязная, с пустыми сторожевыми будками; помещичьи дома белели на пригорках, как кружево.

Александру в пути никто не докучал наставлениями. Француз под действием дороги или бальзама дремал.

Езда полюбилась Александру — он не слезал бы с брички; всех трясло и подбрасывало на ухабах.

Надежда Осиповна молчала всю зиму.

Сергей Львович, зная, что не получит ответа, и все же надеясь, сладким голосом быстро ее спрашивал:

— Где, душа моя, книжка Лебреня, помнишь, маленькая, я еще намедни ее читал, — не могу найти, Александр не взял ли? — встречал чужой взгляд и полное молчание. Даже то, что Александр взял эту книгу, не занимало ее. Она умела молчать. Сергей Львович томился и таял, носил ей подарки, принес даже раз фермуар на последние; не то старался привлечь внимание другим — говорил за обедом, что дичь протухла, со вздохом отодвигая тарелку, не ел дичи. Дичь была своя, мороженая и действительно протухшая, но Надежда Осиповна молчала. Сергей Львович разговаривал с нею единственно вздохами, и вздохи его были разнообразны: то тихие и глубокие, с пришептыванием, то громкие и быстрые.

В пути они заметно стали друг к другу ласковее. Перед самым Захаровым Надежда Осиповна опять надулась; у Звенигорода Сергей Львович умилился: на балконе сидела барышня и пела весьма тонким голосом:

Коль надежду истребила
В страстном сердце ты моем...

Лицо у Надежды Осиповны вдруг пошло пятнами, глаза потускнели, грудь сильно дышала. Она, не отрываясь, жадно смотрела в лицо Сергею Львовичу. Он заметил ее взгляд, сжался, отвернулся и сказал беззаботно ямщику:

— Погоняй, погоняй, — заснул!

Жена его в ревности была страшна, рука у нее была тяжелая.

Заметив, что пение понравилось Сергею Львовичу, Надежда Осиповна сказала сквозь зубы:

— Какая старая! Точно комар.

В Захарове вся семья разбрелась в разные стороны. Сергей Львович с французской книжкою в руках гулял в рощице. Рощица была невелика, но туда девки ходили по ягоды. Надежда Осиповна сидела над прудом и часами смотрела на воду. Что именно привлекало ее внимание, оставалось загадкою для дворни. Александр же с гувернером бродили по дорогам. Марья Алексеевна разводила руками:

— Все врозь!

Дети жили в дряхлом флигеле, в стороне от господского дома. В большой комнате помещалась Оленька

с младшими, у Александра и Николая с гувернером была особая комната.

Оленька, востроносая, желтенькая, миловидная, была ханжой. Тетка Анна Львовна научила ее молиться утром и перед сном за папеньку, маменьку, братца Николеньку, братца Леленьку и братца Сашку. Оленька была в дружбе с Николенькой, она с утра бегала в большой дом приласкаться к бабушке и матери, и Николенька с нею. Она с нетерпением семенила тонкими ножками, пока ее не замечали, и сразу приседала. Бабушка, которая однажды видела, как Оленька молилась, ожидая одобрения, осталась недовольна:

— Вся эта богословия Аннеткина да Лизкина — бог с ней. Мироносицы!

Николенька был любимец отца; с острым пушкинским носиком, который он уже по-отцовски вздергивал, когда горячился, вспыльчивый и слабый. С Александром он, случалось, дирался и бегал на него жаловаться отцу, который, в свою очередь, жаловался матери.

Ссора родителей была на руку Александру — его с Монфором на время забыли. Только бабка брала его за подбородок, смотрела долго, серьезно ему в глаза и, потрепав по голове, растерянно вздыхала.

Из его окна виден был пруд, обсаженный чахлыми березками; на противоположной стороне чернел еловый лес, который своею мрачностью очень нравился Надежде Осиповне, — он был в новом мрачном духе элегий, — и не нравился Сергею Львовичу. Господский дом и флигель стояли на пригорке. Сад был обсажен старыми кленами. В Захарове везде были следы прежних владельцев — клены и тополи были в два ряда: следы старой, забытой аллеи. В роще Сергей Львович читал чужие имена, вырезанные на стволах и давно почернелые. Часто встречалась на деревьях и старая эмблема — сердце, пронзенное стрелою с тремя кружками, — каплями, стекающими с острия; имена были все расположены парами, что означало давние свидания любовников.

Захарово переходило из рук в руки, — новое, неродовое, невеселое поместье. Никто здесь надолго не оседал, и хозяева жили, как в гостях.

Сергей Львович впадал в отчаяние от всей этой семейственной меланхолии и помышлял, как бы удрать.

Только бездомный Монфор чувствовал себя прекрасно: свистал, как птица, равнодушно и быстро рисовал виды Захарова, всё одни и те же — зубчатый лес, пруд, похожий на все пруды, а на месте господского дома — зáмок с высоким шпилем. Он часто водил Александра в Вяземы, соседнее богатое село, где каждый раз обновлял запас своего бальзама. Говорливые крестьянки здоровались с барчонком; в селе много уже перевидали захаровских владельцев. Стояла в Вяземах, накренясь, колокольня, строенная чуть ли не при Годунове, рядом малая церковь, но даже старики не знали, кто их строил и что раньше здесь, в Вяземах, было.

Умирая от безделья, Сергей Львович вздумал в праздник всею семьею поехать в Вяземы к обедне.

Дряхлая колымага, которая привезла Пушкиных в Захарово, загромыхала по дороге, грозя рассыпаться. Бабы с удивлением присматривались к барам и отвешивали низкие поклоны.

— Вот коляска, что колокол, — говорили они, когда Пушкины проезжали.

Колокол в Вяземах был разбитый.

Сергей Львович во время службы заметил бледную барышню, соседскую дочку, и украдкой метнул в нее взгляд, но барышня была пуглива и ускользнула незаметно. Сергей Львович остался недоволен сельским старым, полуслепым иереем, не выказавшим достаточно внимания к захаровским барам.

Вечером затеялся у него разговор с Монфором. Монфор полагал, что вера необходима для простонародья, но из духовных книг твердо знал одну: «Занятия святых в Полях Елисейских», а в ней более всего главу о маскарадах. Сергею Львовичу после вяземской церкви пришлись по душе суждения Монфора. Он решительно почувствовал себя маркизом. Вечер кончился тем, что Монфор прочел стихи Скаррона о загробной стране:

Tout près de l'ombre d'un rocher
J'aperçu l'ombre d'un cocher,
Qui, tenant l'ombre d'une brosse,
En frottait l'ombre d'un carrosse.[1]

---

[1] У тени скалы
Я заметил тень кучера,
Который тенью щетки
Тер тень кареты *(франц.)*.

Сергей Львович был в восторге и потрепал по голове сидевшего рядом Александра.

В Вяземах бывали базары столь шумные, что пьяные песни долетали до Захарова и огорчали Марью Алексеевну:

— Как на постоялом дворе, и никакого на бар внимания!

Она говорила это тихонько, втайне разочарованная своим новым поместьем. На захаровских помещиков окрестные мужики обращали мало внимания.

Александр и Николенька купались, слушали пенье иволги в кустах, ходили с Монфором в Вяземы обновлять запас бальзама, и однажды Александр, отстав, увидел чудесное явление: в реке купалась полногрудая нимфа, распустив волосы. Она то подымалась, то опускалась в воде. Сердце его забилось. Потом нимфу окликнули издалека:

— Наталья!

Она ответила кому-то звонко, приставив к губам ладони:

— Ау! — и снова стала подыматься и опускаться.

Вечером, в первосонье, кто-то поцеловал его в лоб.

Когда через два дня он встретил в рощице барышню в белом платье, с цветами в руках, он обомлел и почувствовал, что жить без нее не может и умрет. Монфор поклонился — это была барышня из соседней усадьбы. Он нетвердо знал ее фамилию — Юшкова, Шишкова, Сушкова, quelque chose [1] на — ова.

Александр стал ходить в рощицу, она долго не являлась. Наконец он решил, что она гуляет там по вечерам, и, обманув бдительность Монфора, при свете луны прошелся по знакомой дорожке. Она сидела на скамье и вздыхала, смотря на луну. Тонкая косынка вздымалась и опускалась у нее на груди. Это была та прозрачная косынка и те бледные перси, о которых вместе с луною он читал в чьих-то стихах.

Она прислушалась; заслышав шорох, закрылась веером и громко задышала. Увидя Александра, она удивилась и засмеялась; она точно ждала кого-то другого. Щеки ее пылали, платье было легкое. Она заговорила с Александром. Он хотел отвечать, но голос у него пропал, и он в смятении убежал.

---

[1] Что-то *(франц.)*.

3

Сергею Львовичу мирная жизнь в Захарове да и самое Захарово очертели. Он не был рожден для сельской тишины. Как-то он сказал за обедом, что должен спешить в Москву, и если в Захарове задержится — карьер его потерян. Уехать, однако, ему не пришлось: в самый день его отъезда заболел Николенька и в три дня умер. Никто не был к этому приготовлен.

Когда хоронили брата, Александр смотрел по сторонам. Было теплое утро; малодушного отца под руки вели за гробом; Надежда Осиповна молча шла до самой церкви, никем не поддерживаемая. Оленька, глядя на отца, много плакала. Когда слезы не шли, она притворно и жалобно всхлипывала; ей в самом деле было жаль братца. Маленького Левушку несли на руках, но и он ничем не нарушал печального чина: он спал. Один Александр был равнодушен. Он вместе со всеми приложился к бледному лбу и не узнал того, кого еще неделю назад дразнил. Странное спокойствие мертвеца поразило его. Это была первая смерть, которую он видел.

Древний старик в сермяге сидел на паперти и опирался на посох. Он низко, истово кланялся, и медяки падали к его ногам.

Пение птиц и белая каменная ограда были для него в это утро новы. Древняя звонница у церкви стояла накренясь, угрожая падением. Довременная тишина и спокойствие были кругом; вяземские бабы теснились молча. Тут же у церкви Николеньку и погребли. Мать прижала Левушку к груди и так вернулась домой.

С этого дня Надежда Осиповна из всех детей замечала одного Левушку. Она не смотрела на Александра. Зато Сергей Львович теперь за него принялся.

Сергей Львович, ведя жизнь эфемера, не был подготовлен к несчастьям. Он ничего, кроме страха, не почувствовал и впал в удивительное малодушие. То болтал как ни в чем не бывало, то за обедом внезапно прыскал и разражался слезами. С горя он стал подолгу спать.

— Que la volonté du ciel soit faite! — говорил он иногда с шумным вздохом и разводил руками.

Встревоженный и раздосадованный тем, что Александр не плачет, а также тем, что сам не всегда чувствует горе, Сергей Львович упрекал его в бессердечии

и черствости. Надежда Осиповна, равнодушная ко всему, прислушивалась. Они примирились после смерти сына и сошлись взглядами на Александра и его поведение. Александр был холодный, бессердечный и неблагодарный; Монфор не имел на него влияния — influence, — которого ожидали.

Не дождавшись осени, Пушкины выехали. В это утро Александр был особенно тревожен и перед самым отъездом пропал. Его нашли в роще; он сидел на земле, прижавшись к скамейке.

Загрохотала несчастная пушкинская колымага, рассыпавшаяся от сухости, немазаная, со стонущими колесами.

Бездомный француз, подкрепившись бальзамом, лепетал, сидя в одной телеге с Александром:

Oh! l'ombre d'un cocher!
Oh! l'ombre d'une brosse!
Oh! l'ombre d'un carrosse![1]

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Рассветало, он просыпался. Ложный, сомнительный свет был в комнате. Белели простыни, Левушка дышал, Монфор сопел. Он прислушивался. Слух у него был острый и быстрый, как у дичи, которую поднял охотник. Медленно скрипела по улице повозка — ехал водовоз. Наступала полная тишина — раннее утро.

Он быстро сползал с постели и бесшумно шел, минуя полуоткрытые двери, в отцовский кабинет. Босой, в одной сорочке, он бросался на кожаный стул и, подогнув под себя ногу и не чувствуя холода, читал. Давно были перелистаны и прочтены маленькие книжки в голубых обертках. Он узнал Пирона. В маленькой истрепанной книжке была гравюра: толстый старик с тяжелым подбородком, плутовскими глазами и сведенными губами лакомки. Он

---

[1] О, тень кучера!
О, тень щетки!
О, тень кареты! *(франц.)*.

сам написал свою эпитафию: «Здесь лежит Пирон. Он не был при жизни ничем, даже академиком». Отчаянная беспечность этого старика, писавшего веселые сказки, смысл которых он уже понимал, понравилась ему даже более, чем шаловливый и хитрый Вольтер. Любимым героем его был дьявол, при одном упоминании о котором тетушка Анна Львовна тихонько отплевывалась. Однако дьявол у Пирона был превеселый молодец и ловко дурачил монахинь и святых. С огорчением он подумал, что в Москве нет человека, похожего на этого мясистого поэта.

Ему нравились путешествия. Он любил точность в описаниях, названия городов, цифры миль: чем больше было миль, тем дальше от родительского дома.

На столе у отца лежали нумера «Московских ведомостей», которые получались дважды в неделю. Он читал объявления. Названия вин, продававшихся в винной лавке, — Клико, Моэт, Аи, — казались ему музыкой, и самые звуки смутно нравились.

Русских книг он не читал, их не было. Сергей Львович, правда, читал журнал Карамзина, но никогда не покупал его.

На окне лежал брошенный том Державина, взятый у кого-то и не отданный; прочтя страницу, он отложил его.

Однажды заветный шкаф привлек его внимание: ящик был открыт и выдвинут, отец забыл его закрыть. Он заглянул. Толстый, переплетенный в зеленый сафьян том лежал там, пять-шесть книжек в кожаных переплетах, какие-то письма. Книги и сафьянный том оказались рукописными, а письма — стихотворениями и прозою. Прислушавшись, не идет ли кто, он принялся за них.

Все было написано по-русски, разными почерками, начиная со старинного, квадратного, вроде того, которым писал камердинер Никита, и кончая легким почерком отца. Тетради эти подарил Сергею Львовичу еще в гвардейском полку его дальний родственник, «кузен», гвардии поручик, который с тех пор куда-то сгинул; а потом уже Сергей Львович сам их дописывал. В тетрадях еще держался крепкий гвардейский дух табака.

Сафьянная тетрадь называлась: «Девическая игрушка», сочинение Ивана Баркова. Он отложил ее, твердо решившись прочесть со временем всю, и листнул тетрадь в кожаном переплете. Он прочел несколько страниц и, изум-

ленный, остановился. Это было во сто раз занимательнее Бьеврианы с ее хитрыми каламбурами. На первой же странице прочел он краткие стихи, посвященные покойному императору Павлу:

Сколь Павловы дела премудры, велики,
Доказывают нам то невски голики...

На бюст его же:

О ты, премудра мать российского народа!
Почто произвела столь гнусного урода!

Дальше следовали стихи о «свойствах министров»:

Хоть меня ты здесь убей,
Всех умнее Кочубей,
Лопухин же всех хитрей,
Черторысской всех острей.
Чичагов из всех грубей,
Завадовский — скупей,
А Румянцев всех глупей,
Вот характер тех людей.

Тут же был написан весьма простой ответ на изображение свойств министров:

Хоть меня ты убей,
Из всех твоих затей и т. д.

Простодушие стихов, их просторечие показались ему удивительно забавны. В них упоминались имена людей, о которых иногда вскользь говорили отец и дядя Василий Львович в разговорах скучных, после которых Сергей Львович всегда был недоволен, — разговорах о службе.

ПОСЛАНИЕ К КУТАЙСОВУ

Пришло нам время разлучиться,
О граф надменный и пустой;
Нам должно скоро удалиться
От мест, где жили мы с тобой;
Где кучу денег мы накрали,
Где мы несчастных разоряли
И мнили только об одном,
Чтоб брать и златом и сребром.

Ему нравились быстрые решительные намеки в стихах, в конце каждого куплета, хотя он и не все в них понимал:

И случай вышел бы иной,
Когда б не спас тебя Ланской.

Сатира на правительствующий сенат поразила его своею краткостью:

Лежит сенат в пыли, седым покрытый мраком.
Восстань! — рек Александр. Он встал — да только раком.

Больше всего пришлась ему по душе длинная песнь про Тверской бульвар:

Жаль расстаться мне с бульваром,
Туда нехотя идешь...

Сначала говорилось о каких-то франтах, которых он не знал. И вдруг наткнулся он на имя Трубецких:

Вот Анюта Трубецкая
Сломя голову бежит;
На все стороны кивая,
Всех улыбками дарит.
За ней дедушка почтенный
По следам ее идет...

Не было сомнения: это было написано о Трубецких-Комод — деде и тетке Николеньки. Стихи, написанные о знакомых, показались ему необыкновенными. А на другой стороне листка торопливым почерком отца была изображена элегия, в которой Александр узнал прошлогоднее стихотворение дяди Василья Львовича. Во всем этом была какая-то тайна.

Все почти в тетрадях было безыменное (только на сафьянной было имя: Барков), иногда только мелькали внизу таинственные литеры, но они не были похожи на подписи в письмах или бумагах.

Уже на двор из людской вышла сонная девка и, позевав, плеснула водой себе на руки, уже кряхтенье Монфора, собиравшегося выпить бальзаму, как будто раздавалось издали, а он, босой, в одной рубашке, читал «Соловья»:

Он пел, плутишка, до рассвету.
«Ах, как люблю я птицу эту! —
Катюша, лежа, говорит. —
От ней вся кровь в лице горит».
Меж тем Аврора восходила
И тихо-тихо выводила
Из моря солнце за собой.
Пора, мой друг, тебе домой.

И правда, была уже пора.

Он не чувствовал холода в нетопленной отцовской комнате, глаза его горели, сердце билось. Русская поэзия была тайной, ее хранили под спудом, в стихах писали о царях, о любви то, чего не говорили, не договаривали в журналах. Она была тайной, которую он открыл.

Смутные запреты, опасности, неожиданности были в ней.

Зазвонил ранний колокол. Чьи-то шаги раздались. Ключ торчал в откидной дверце шкафа. Быстро он прикрыл ее, сжал в руке ключ и бесшумно пронесся к себе. Он успел еще броситься в постель и притвориться спящим. Сердце его билось, и он торжествовал. Монфор, пивший уже бальзам, погрозил ему пальцем.

2

В неделю тайный шкаф был прочтен. Всего страшнее и заманчивее был Барков.

По французским книжкам он постиг удивительный механизм любви. Тайны оказались ближе, чем он мог догадаться. Любовь была непрерывной сладостной войной, с хитростями и обманами; у нее даже были, судя по одной эпиграмме, свои инвалиды, которые переходили на службу Вакху. Но у Баркова любовь была бешеной, кабацкой дракой, с подножками, с грозными окриками, и утомленные ею люди, как загнанные кони, клубились в мыле и пене. В десять лет он узнал такие названия, о которых не подозревал француз Монфор. Он читал Баркова, радуясь тому, что читает запретные стихи; над тетушкой Анной Львовной, которая приказывала ему выйти всякий раз, когда Сергей Львович намекал за столом на чьи-то московские шалости, он смеялся, скаля белые зубы. Вообще в этом чтении была та приятность, что он стал более понимать отца. Он принимал войну, которую объявили ему отец, мать и тетка Анна Львовна.

Сергей Львович не заметил, что заветный шкаф не заперт. Все бóльшая оброшенность была везде в доме; ничто не исчезало, все было на своем месте, но ему вдруг иногда казалось, что люди воруют, что кто-то залил его новый цветной фрак, и тогда, сморщив брови, он затевал бесконечные и тщетные споры и жалобы, кончавшиеся

громкими вздохами и воплями. Так как он не мог кричать на Надежду Осиповну, он кричал на Никиту, который к этому привык. Новый фрак был старый, а залил его сам Сергей Львович.

Александру уже шел десятый год. Ольге — двенадцать. Пришлось поневоле нанять учителя, потому что Монфор не мог со всем управиться. Учителю платили, его по праздникам приглашали к столу, а успехи были сомнительны. Поп из соседнего прихода, которого рекомендовала Анна Львовна, говорил, что Александр Сергеевич закона божия не разумеет и катехизиса бежит. Надежда Осиповна и Сергей Львович, которые тоже мало разумели катехизис, с немалым отчаянием смотрели на Сашку.

Кроме того, детей нужно было одевать, и это было сущим проклятием и для Сергея Львовича и для Надежды Осиповны. Покупать для Сашки и Ольки сукно на платье во французской лавке! Дети ходили в обносках. Арина кроила какую-то ветошь для Ольги, а Никита, который отчасти был портным, строил из старых фраков одеяния для Александра. Прохожий франт, зашедший в Харитоньевский переулок, до слез смеялся однажды над курчавым мальчиком в худых панталонах стального цвета.

3

Василий Львович вел светскую жизнь и шел в гору. Парижское путешествие поставило его в первый ряд литераторов; наезжавший в Москву молодой, но сразу ставший известным Батюшков подружился с ним. Очень часто говорили: Батюшков и Пушкин, а иногда даже: Карамзин, Дмитриев, Батюшков и Пушкин. Пирушки его вошли в моду. Повар Блэз готовил пирожки, а Василий Львович заготовлял шарады и буриме. Гости охотно смеялись и ели, а Сергей Львович, измучась постной жизнью, находил у брата все то, что по существу могло и должно было быть и его жизнью. По вечерам Василий Львович лобзал Аннушку и трудился над экспромтами. Аннушка все хорошела, родила дочку, которую Василий Львович нарек Маргаритою и за которую друзья беспечно чокнулись, сшибая стаканы. Цырцея была забыта. С кудрявой головой, в парижском фрачке, с экспромтами в кар-

манах палевых штанов, он бросался в московский свет, картавил напропалую, как в Пале-Рояле, а ночью падал без памяти в теплые объятья Аннеты, то есть Аннушки.

Время вполне способствовало этому. Все были на поводу у французов, которых вчера еще ругали. Царь ездил в Тильзит и Эрфурт на свидание с Наполеоном («на поклон», как говорили в Москве, а старики даже ехидничали: «к барину»), и все разделились на партии: молодые «ветрогоны» были очень довольны этим порядком вещей, а старики негодовали; в одной молодой компании старого генерала, который вздумал назвать Наполеона «Буонапарте», все покинули, и старец, опираясь на костыль, сам принужден был кликнуть своего лакея.

У дам московских Василий Львович имел громкий успех.

— Oh, ce volage de[1] Василий Львович! — говорили они и грозили ему пальцем, от чего он сразу сопел, таял и ерошил надушенную голову.

Аристократия, и старая и новая, давно махнула рукой на все русское, была на отлете и единственным местом, достойным благородного человека, почитала международные странствия. Иезуиты учили в петербургском пансионе молодых Гагариных, Голицыных, Ростопчиных, Шуваловых, Строгановых, Новосильцовых латынским молитвам и французской божественной философии. Барыни принимали спешно католицизм. Аббаты мусье Журдан и мусье Сюрюг были их наставниками. Соседский сынок, Николенька Трубецкой, тоже теперь отвезен был к иезуитам в Петербург.

Сергей Львович с удовольствием прислушивался к французскому говору сына. Василий Львович полюбил с ним подолгу разговаривать, — говоря с ним, он словно чувствовал себя на бульваре Капуцинов.

Московские старики шли, впрочем, на примирение. Они более не имели веса в Петербурге, были в отставке и небрежении и поэтому в оппозиции. Вскоре они принуждены были отнестись со вниманием к новому гению.

Он был близок к славе и упивался ею. Он был приглашен к Хераскову, московскому Гомеру, ныне жившему в отставке. В старинной гостиной, в полной тишине

---

[1] О, этот ветреник *(франц.)*.

прочел Василий Львович свое подражание Горацию — обращение к любимцам муз. Хозяин дома, названный в этом стихотворении Вергилием, знал его заранее и одобрял.

...Где кубок золотой? Мы сядем пред огнем!
Как хочет пусть Зевес вселенной управляет.

Это вольнодумство восхитило всех старичков — пускай там в Петербурге управляют без них вселенною, как хотят! Где кубок? Василий Львович читал с присвистом и, как Тальма, с сильным, но быстро преходящим чувством.

Где лиры? Станем петь. Нас Феб соединяет,
Вергилий российских стран присутствием своим
К наукам жар рождает!

Эти науки были — университет московский, куратором которого состоял хозяин, а не пиитический вымысел.

Херасков видимо затрепетал, седины его зашевелились. Бывшие в доме дамы все, как одна, обратили свои взгляды к нему.

И я известен буду в мире, —

бодро произнес Василий Львович.

О радость, о восторг! И я, и я пиит!

Он совершенно обессилел и отер платком лоб. Вергилий подымался в своих креслах. Все дамы, присутствовавшие на вечере, знали: сейчас поцелуем своим он передаст лиру Василью Львовичу.

Но тут Василий Львович ощутил в руке вынутый вместе с платком из кармана экспромт. Восторг охватил его. Экспромт удался ему вчера, как может удаться только раз в жизни. Он почувствовал, что сделал все для прославления Гомера и Вергилия, и ему захотелось прочесть что-нибудь приятное и легкое для улыбки дам, — обращение к любимцам муз было, может быть, несколько высоко для них. Не видя поднявшегося Хераскова, он сделал знак рукою. Все притихли. Поэт стал читать. Так важный миг был пропущен: Херасков снова уселся в кресла. Впрочем, услышав название, он принял вид благосклонный. Увлечение стихотворца! Он узнавал его! Поэт читал свое «Рассуждение о жизни, смерти и любви»,

С первых же строк произошло замешательство.

Чем я начну теперь? Я вижу, что баран
Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан;
Известно вам, друзья, что галка — не фазан,
Но вас душой люблю, и это не обман.

Василий Львович, чувствуя, что сейчас милые женщины и сам Гомер-Херасков улыбнутся, читал далее свое буриме:

...Что наша жизнь? — роман,
Что наша смерть? — туман,
А лучше что всего? Бифштекс и лабардан.
А если я умру, то труп мой хищный вран
Как хочет, так и ест...

Выпучив черные глаза и надувшись, сидел старец Херасков, московский Вергилий, пригласивший к себе для чтения нового гения.

...Смерть лютый зверь — кабан...
...Могила не диван,
И лезть мне в чемодан...

Тут все московские дамы, из нежных и знающих литературу, бывавшие на вечерах у Хераскова, разом и вдруг прыснули. Чтец был счастлив. Медленно, опираясь дрожащею рукою на свою трость — посох, старый поэт поднялся в негодовании. Щеки его раскраснелись, как у дитяти. Он залпом выпил стакан холодной воды — кубок — и покинул свою залу, не только не передав своей лиры, но даже не простившись.

Назавтра старый поэт отозвался холодно о Василье Львовиче:

— В голове туман.

И прибавил неожиданно:

— И завит как баран.

4

Соперничество братьев кончилось. Один был в блеске и славе, признанный поэт и московский ветреник; другой опускался, в неизвестности и, как говорила молодежь: раб Гимена, под пантуфлею.

Два известных чудака составляли всегдашнее общество Василья Львовича: «кузен» Алексей Михайлович Пушкин и князь Петр Иванович Шаликов. Один был

вольтерьянец и насмешник самого острого свойства, другой, с косматыми бровями, — меланхоличен, нежен и вместе вспыльчив до бешенства. Первый одевался небрежно, второй щегольски и всегда носил цветок в петлице. Оба были в высшей степени оригиналы. Втроем с Васильем Львовичем они появлялись во всех гостиных и возбуждали общее внимание. В особенности сблизился Василий Львович с «кузеном», подтрунивавшим над ним, они оба были как бы дуэт; их так и звали: «Оба Пушкина». Сергей Львович был лишний в этом дуэте, его, если он где-либо появлялся, звали: «брат Пушкина», собственное бытие и имя Сергей Львович утратил. Он чувствовал это во всем, в том, как его осматривали в лорнет, как представляли. Он стал избегать мало-помалу «обоих Пушкиных» и норовил попасть на такой вечер или детский праздник, где их не было. Надежду Осиповну замечали, о ней шептались московские старухи, показывали на нее друг другу глазами, и Сергей Львович на минуту обретал прежнюю независимую походку. Втайне «брат Пушкина» мучительно ревновал брата к Алексею Михайловичу и завидовал братней славе. Он злобствовал и охладевал, теряя милые черты, а свет этого не прощал.

Василий Львович был очень рассеян, подобно всем московским поэтам, он догадывался последним о том, что было для всех ясно. Положение старшего брата льстило ему. Но когда Сергей Львович перестал являться в домах, где бывал ранее, он обеспокоился. Тут только он оценил выражение «раб Гименея» и почувствовал братнее падение в глазах общества. Будучи от природы косоглаз и быстр, он мало обращал до сих пор внимания на всех этих Sachka и Lolka, которые прыгали в комнатах брата. Как-то он увидел одного из них наряженным в странный костюм, изделия домашнего портного, придававший юнцу вид шута, d'un bouffon. Он рассмеялся тогда:

— Oh, c'est un franc original. [1]

Теперь он вдруг призадумался. Судьба Сергея до сих пор мало занимала его, но Пушкины должны везде быть приняты и блистать. Легкая неудача у старика Хераскова вовсе его не опечалила, — ныне все были на

---

[1] О, это настоящий оригинал *(франц.)*.

отлете, полуфранцузы, и на мнение закоснелых старцев он чихал. Он стал чаще бывать у брата и заставил себя обратить внимание на Сашку и Лельку, — ранее он путал их. Лелька, еще младенец, оказалось, обладал редкою памятью. Василий Львович прочел однажды в его присутствии один из своих экспромтов, и Лелька тотчас все повторил:

Мы, право, весело здесь время провождаем!
И день и ночь в бостон играем,
Или всегда молчим, иль ближнего ругаем...
Такую жизнь почесть, ей-богу, можно раем...

Беспримерная, быстрая память! Это обещало в будущем стихотворца. Тогда к «обоим Пушкиным» впоследствии мог прибавиться третий, юный наперсник. На Василья Львовича произвел большое впечатление мадригал, который сказал обоим Пушкиным один француз на балу у старухи Архаровой:

— Имя Пушкиных благоприятствует остроумию, — esprit, — и любви к словесности в вашей стране.

Лелька был резов, Сашка упрям и дик. Впрочем, сестрица Аннет была, кажется, слишком строга к нему. Братец Серж тоже был в детстве несносен; авось и этот образуется; в нем иногда приметен здравый смысл.

5

Родители кочевали по гостиным. Здесь, дома, были только обрывки их существования. Дом был для них как бы постоялым двором, где можно дремать, зевать, ссориться, кричать на девок, на детей и наконец расположиться на ночлег. Они не догадывались, что этот дом и это существование было жизнью их детей и слуг.

Александр любил час перед выездом. Он присутствовал при вечернем туалете отца. Сергей Львович одевался в кабинете. Старый, славный франт просыпался в нем. Быстро чистил он ногти пилкой и щеточкой, наблюдал, как Никита горячими щипцами завивал ему волосы а ля Дюрок, управлял его движениями и делал весьма дельные и тонкие замечания. Потом, плотно обдернув новый фрак, он прохаживался по комнате,

принимая разные выражения и цедя отдельные отрывистые слова. Мимоходом он взбивал волосы перед зеркалом и, увидя перед собой Александра, говорил фальшиво и снисходительно, с удивлением, относившимся к кому-то другому:

— А! И вы здесь?

И вылетал, щелкнув каблуками, из кабинета.

И вдруг все затихало. Мать выходила с блестящими глазами, быстро и легко. Отец, тоже нарядный, обращался с ней почтительно и небрежно, как с какой-то другой женщиной. Раз в полуоткрытую дверь Александр увидел, как отец, уже нарядный, завитой и напрысканный, дожидаясь матери, напевая тоненьким голоском какой-то мотив и не зная, что за ним наблюдают, вдруг стал, что-то лепеча и улыбаясь, плавно приседать. Он танцевал. Вышла мать — как всегда перед вечером с быстрым дыханием и блестящим взглядом. Отец, все так же плавно приседая, подхватил ее, и она тоже готовно и покорно поплыла рядом с ним на своих быстрых коротких ногах, сильно дыша тяжелой грудью. Потом мать остановилась, и они уехали.

В девичьей пели протяжную песню, Арина вздыхала и тихонько ворчала; в комнатах было холодно — топили редко, скупились, дрова были в Москве дороги.

Иногда он спрашивал отца, куда они едут. Отец отвечал неохотно, цедя слова:

— К старику Белосельскому.

К старику Белосельскому, доживавшему свой век шумно и разнообразно и уже давно разорившемуся, ездили все.

— К Бутурлину.

Бутурлин был старый знакомый.

Голос сына был ему в такие минуты неприятен — отрывистый и резкий, и самые вопросы он почитал неприличными. Он ревниво оберегал от сына светские тайны. Но сын знал: это был свет чудесный, непроницаемый.

6

Но было и в этом холодном доме и в этой кочевой семье время, когда все менялось, получало свой запах, цвет, вкус и значение. Это была зима.

Первый снег производил впечатление неотразимое. Арина входила в комнату с важным выражением.

— Снег на сонных напал, — говорила она сокрушенно.

Снег выпал ночью, когда все спали.

— К чему бы это, — говорила неуверенно Надежда Осиповна. Она смерть боялась всяких примет и верила им безусловно. Арина слыла у Аннибалов смолоду плясуньей и певуньей, а потом — первой гадалкой.

— Зима тяжелая будет, — говорила тихо Арина.

Дети приумолкали. Сергей Львович тревожился и возражал:

— Как и чем она может быть тяжела?

— Снегу много будет, — говорила Арина нехотя.

— Все вздор, — говорил Сергей Львович, бледнея.

— Разумеется, вздор, — повторяла в отчаянии Надежда Осиповна, чувствуя, что Арина недоговаривает.

К обеду первый лед оказывался крепким, не ломким по краям, и год объявлялся крепким. А снег, напавший на сонных, был только к большому снегу — и более ничего. Все веселели.

Нянька Арина знала многое, чего не знали родители, которые явно ее робели. Суеверная радость наполняла дом, и Александру втайне хотелось, чтоб нянька была права, чтобы зима оказалась тяжелая.

Белые хлопья покрывали черный, всеми к осени забытый и оставленный садик. Улица белела. Рано зажигались огни, в печке трещал десятками голосов огонь. Свечи горели особенно ясно, а дыхание, треск и щелканье разгорающихся дров заполняли комнаты. В камине тлели сизые угольки.

А там — наступали святки, плясала по улицам метель, звенели бубенцы, мчались тройки, гусары пролетали в розвальнях, смеялись и пели песни. Наступало время гаданий.

У Надежды Осиповны сон был всегда дурной и чуткий. Сергей Львович спал сном младенца, насвистывая носом одну бесконечную жалостную мелодию. К зиме учащались сны. Каждую ночь Надежде Осиповне снилось что-нибудь. В доме водился затрепанный том славянского письма, с черным Соломоновым кругом, к которому Александр питал суеверный страх. Это был толкователь снов мудреца Мартына Задеки — сонник.

Каждый сон имел свое значение. Сны у Надежды Осиповны были длинные, путаные, и если начало сна сулило разорение и обман, то конец его предвещал нечаянное богатство. Сергей Львович тоже видел сны, но как ни пытался их запомнить, всегда забывал. Только однажды удалось ему запомнить: он видел во сне старую адмиральшу Аргамакову. Надежда Осиповна раскрыла вещую книгу. Старуха сулила неприятности и обман друзей. Тогда она посмотрела на «адмиральшу» — и сон был разгадан. Адмиральшу видеть, — сказал ей сонник, — к ласкам. И сон Сергея Львовича сбылся.

Вообще сны Сергея Львовича были гораздо хуже и беднее, чем сны Надежды Осиповны. Иногда было трудно даже понять их значение. Раз во сне назвал он Надежду Осиповну каким-то посторонним женским именем и был к ней особенно ласков. Он было снова сказал, что видел во сне адмиральшу, но уж ему не верили. Долго потом он клялся, что все это попритчилось Надежде Осиповне, что он назвал ее, как всегда, — Nadine, и не мог убедить. Две недели был он презрен, и только выезд в свет рассеял гнев Надежды Осиповны.

В сны свои Надежда Осиповна верила. Раз вышло ей свиданье с старинным любовником, слезы, клятва, быстрый отъезд, дальний путь. Она проплакала весь день и часть ночи не спала. Сергей Львович, вздыхая, так и не осмелился спросить, кто таков старинный любовник. Надежда Осиповна и сама этого достоверно не знала — может быть, это был гвардеец, с которым было у нее тайное свиданье еще задолго до Сергея Львовича, свиданье, едва не кончившееся катастрофою. Впрочем, вряд ли могло это быть. Он был давно женат и горький пьяница, а Надежда Осиповна никогда о нем не думала. Надежда Осиповна не знала, кто бы это мог быть, и плакала. Прошел месяц, два, и старинный любовник не явился; но все же он мог явиться, сны никогда не лгали. Подмена сна другим, подтасовки допускались.

Так они изменяли и дополняли жизнь своими снами.

Иногда Надежда Осиповна после таких снов вдруг загоралась непонятным азартом, девки переставляли столы, гремели и скрежетали передвигаемые шкафы,

расположение комнат менялось, как будто они переехали в другой дом, другой город.

Ничто в их жизни не менялось, и никуда они не переезжали.

Арина садилась с замусоленной колодой карт, вид которой всегда производил приятное волнение в Сергее Львовиче, давшем зарок не играть. Все вистовые онеры чередой выходили перед ним.

— Для дома, для сердца, что сбудется, что минется, чем сердце спокоится.

Сбудется, выходило, дорога, а сердце спокоится хлопотами. Если выходил черный туз острием кверху, Надежда Осиповна без дальних разговоров смешивала карты, и Арина начинала снова. Для сердца выходил бубновый король, еще молоденький, а сердце успокаивалось деньгами и письмом из казенного дома. Может быть, какое-нибудь наследство? Так решалась судьба, так ее обманывали.

Монфор, приняв вид меланхолический, просил вежливо Арину погадать и ему, и Арина нагадала мусье опасность и бой от червонного короля.

Монфор не на шутку рассердился, когда ему перевели, и более не гадал.

Затаив дыханье, Александр сидел в уголке и следил за нянькиными умелыми руками. Лица родителей менялись — то бледнели, то улыбались. Такова была судьба.

Девки гадали и страшнее, и покорнее, и печальнее.

Однажды он видел их гаданье. Родители уехали со двора, Арина проводила их. Монфор выпил своего бальзама и поднес стаканчик Арине.

— Слаб ты на ноги стал, мусье, — сказала Арина, поблагодарив, — все балзам да балзам.

В этот вечер было все тихо, братца Лельку и сестрицу Ольгу уложили спать. Арина сказала на ушко Александру, что сегодня будет гаданье, чтоб он спал и не тревожился. Когда она тихо притворила дверь и вышла, он подождал немного, пока сестра и брат заснули, быстро оделся и бесшумно скользнул из комнаты. В сенях он накинул шубейку и напялил картуз. Он вышел во двор и притаился за дверью. Тут нагнал его Монфор. Монфор был любопытен не менее Александра, и оба стали поджидать за дверью. Сердце у Александра билось.

Арина шла двором, по скрипучему снегу; он прокрался за нею. Она приоткрыла дверь в девичью и тихо, сурово сказала:

— Девки, выходите.

Теплый пар шел из людской, и одна за другой выбежали на мороз Танька, Грушка, Катька, держа в руках сапоги. Босиком бежали девки по чистому снегу, добежали до ворот и бросили каждая свой сапог далеко за ворота.

— Шалые, — сказала строго Арина, — нешто так здесь гадают, в городе? Кто ваш сапог сомнет? В какую сторону ни глянь — все Москва. Покрадут ваши сапоги, вот тебе и все гаданье. Бери сапоги со снега, дуры вы, горе с вами. Мне и отвечать. Здесь по голосу гадать.

Тут она только заметила Александра и охнула. Он ухватился за нянькин подол, и с него взято обещание ничего не говорить родителям.

— Не то пропаду я с вами, старая дура, — Лев Сергеич не проснулся бы, да и с вами, батюшка, горе.

Девки застыдились и не хотели гадать при барчонке и учителе.

— Александр Сергеич еще дите, — сказала Арина, — при нем можно, а мусье блажной и не нашей породы. При них можно.

И девки рассыпались по переулкам.

Загадала Катька. Все было тихо, и вдруг издали послышался мелкий, чистый, дробный колокольчик — летели сани, летели и пропали.

Все девки громко дышали, а Катька заплакала и засмеялась.

— На сторону пойдешь, — сказала Арина одобрительно, — колокольчик чистый, к счастью, только далекий, не скоро еще.

Загадала Грушка,—и вскоре из переулка послышался разговор и смех, три молодца шли, смеялись вполпьяна, и один говорил: «Ух, не робей!» — увидев девушек, засмеялись, один запел было и вдруг довольно внятно, с какой-то грустью и добродушием выругался.

Грушка стояла, расставив ноги и смотря на Арину каменным взглядом.

— Ничего, разговор хороший, не со зла, — сказала Арина, — к большому разговору это, надо быть, к сговору. Голос хороший. А что ругался — так без сердца.

И Грушка тихонько всхлипнула.

Загадала Татьяна, — и совсем недалеко, из соседнего дома, выбежал черный лохматый пес и залился со злостью, привизгивая, на мороз.

Девки засмеялись. Арина на них шишкнула. Они оробели и замолчали.

— Муж сердитый, — сказала важно Арина, — гляди, лохматый какой собачище. Здесь такого раньше и не бывало.

Татьяна заревела вполрева, уткнувшись в рукав. Монфор погладил ее по голове.

— Не плачь, — сказала Арина, — стерпится еще, — вот и мусье тебя жалеет.

— Горькая я, — сказала Татьянка, захлебываясь и дрожа. Потом она вдруг повеселела и влепила звонкий поцелуй Монфору. Девки засмеялись.

— Эх, пропадай!

И она обняла Монфора за шею. Монфор смеялся со всеми.

Арина рассердилась и плюнула.

— Будет вам, охальницам, — сказала она сердито и повела Александра спать. — Не годится, маменька наедет, осерчает, и нам с вами, батюшка Александр Сергеевич, отвечать.

Он спросил няньку быстро — отчего Татьяна плакала.

— Сердитого мужа нагадала. Вчера лучины девки жгли, ее лучина неясно горит, невесело. Вот она и плачет. А вы, батюшка, подите спать, не то мусье заругает.

Александр долго не спал; Монфор не являлся. Наконец он появился, веселый, и тихо засмеялся в темноте. Он тихо окликнул Александра. Александр притворился, что спит, и француз стал раздеваться, тихо насвистывая какую-то песню. Потом он выпил бальзаму. Стараясь не разбудить детей, он бормотал свою нескладную песенку:

Oh, l'ombre d'une brosse,

и протяжно, счастливо зевнув, француз сразу же заснул.

А Александр не спал.

Мороз, босые девичьи ноги, хрустящие по снегу, звук колокольчика, собачий лай, чужое горе и счастье чудесно у него мешались в голове. В окно смотрел московский месяц, плешивый, как дядюшка Сонцев. В печке догорали

и томились угли; Арина тихонько заглянула в дверь, вошла и присела у печки погрести их.

Он заснул.

Он говорил и читал по-французски, думал по-французски. Лицом он пошел в деда-арапа. Но сны его были русские, те самые, которые видели в эту ночь и Арина и Татьяна, которая всхлипывала во сне: все снег, да снег, да ветер, да домовой возился в углу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Ему было десять лет. Нелюбимый сын, он жил в одной комнате с Монфором, учился всему, чему учились все в десять лет, и оживал только за книгами. Вдвоем со своим наставником они много гуляли, и Александр знал теперь Москву лучше Монфора. Знал и переулки, где дома были подслеповаты, как старички, сидевшие тут же, на скамеечках, и нарядный Кузнецкий мост и широкую Тверскую — дома там были большие, просторные, почти все в два этажа. Дрожки и кареты стояли у подъездов; мужики бойко торговали пирогами. Во французской лавке на Кузнецком мосту блистали яркие шелка.

Прогулки были для него праздником. Однажды он видел странный выезд. На великолепном коне, окруженный богатою свитой, ехал старик. Конь был покрыт шитым золотом чепраком; сбруя вся из золотых и серебряных цепочек. Свита, верхами, молча ехала. Старик курил трубку; лицо его было сморщенное. Ошеломленный Монфор поспешил поклониться, думая, что это прибыл турецкий посол. Оказалось: это старый Новосильцов гулял перед обедом; свита была его дворня. В другой раз они видели, как медленно ехала по Тверской карета кованого серебра, сопровождаемая толпой любопытных: старик Гагарин ехал в Марьину рощу.

В щегольских каретах, цугом, с арапами на запятках, проезжали московские бары; у Благородного собрания на Тверской была толпа колясок: съезжались московские чудаки, опальные вельможи роскошно доживали век свой, не надеясь на непрочное будущее.

Монфор оглядывал в лорнет прохожих; походка его

была неверная, руки дрожали. Он все более опускался. Арина защищала его и покрывала его слабости. Когда, с раскрасневшимся от бальзама лицом, пробираясь однажды вечером в девичью, он столкнулся с Надеждой Осиповной, Арина отвлекла ее вопросами хозяйственными. Случалось, француз наливал ей в кружку своего бальзама, и она, не морщась, осушала ее за здоровье мусье и Александра Сергеевича.

У Монфора были сильные связи, граф де Местр, философ и иезуит, проживавший в Петербурге, покровительствовал ему. Даже когда Татьянка, плача, призналась в преступной склонности к графу, дело замяли, главным образом по лени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор. Сошло с рук и другое — француз угостил раз воспитанника своим бальзамом. Рот приятно жгло, голова у Александра кружилась, и с губ сами рвались небывалые слова, стихи и смех. Учитель и ученик, мертвецки пьяные, заснули глубоким и приятным сном.

Погубило Монфора другое: он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никитой и был застигнут Надеждой Осиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с холуем. Никакое графство не спасло его. Сергей Львович говорил, презрительно пожимая плечами:

— Сначала в дурачки, потом в хрюшки, потом в Никитишны, а там — и в носки! Не угодно ли?

Так он рисовал постепенное падение Монфора; старый игрок в веньтэн говорил в нем.

Назавтра, увязав в баул свое имущество, француз простился с Александром, нарисовав ему на память борзую, а внизу написав по-французски: «Главное в жизни честь, и только затем счастье», и проставив под этим изречением свой полный титул и фамилию.

Было и еще одно обстоятельство, погубившее Монфора. Николенька Трубецкой, воспитанник иезуитов, приехал к родителям в краткий отпуск и посетил соседей. Черный бархатный камзольчик с кружевными манжетками был на нем. Говорил он теперь ровным, как бы сонным голосом, ни на миг не повышая и не понижая его, и, слушая этот ровный, приличный говор, Сергей Львович вдруг огорчился: его сын говорил по-французски резко, обрывисто, кратко и, как показалось ему, грубо. Для обоих французский язык был как бы родным, но Николенька говорил как аббат, а Сашка как уличный забияка.

Николенька, рассказывая о чем-то, назвал Поварскую. как француз, «Povarskaja», а у Харитонья в переулке «Au St. Chariton».[1] Прощаясь, он сказал приятелю полатыни: vale.[2] Сашке было далеко до него. Монфор был посрамлен как воспитатель.

Новый воспитатель был не похож на Монфора. Звали его Руссло.

С усиками, широкими ноздрями, гордый, он был самого высокого мнения о себе, и Арина с самого начала его возненавидела.

— Тот мусье был простец, — говорила она со вздохом, — пошли ему бог здоровья, теперь небось загулял, а этот — жеребец.

Надежда Осиповна и Сергей Львович зато были другого о нем мнения. Надежда Осиповна мало теперь выезжала. Раз сидела она в утреннем чепце и кофте, рука ее приоткрылась, и француз не мог или не хотел скрыть своего восхищения. Она улыбнулась: обожание льстило ей. С этих пор мусье Руссло стал в доме царьком, султаном, ходил петухом. С Александром он говорил кратко и отрывисто. Выдавая себя за старого рубаку, он задавал ему уроки, точно командуя. Раз он выследил походы Александра в отцовский кабинет и, наказав его, прекратил их. Они мало гуляли теперь. Руссло засадил его за французские вокабулы и арифметику. Руссло был автор, стихотворец, он с достоинством присутствовал при чтении Расина; Сергей Львович изредка еще позволял себе декламировать. Затем он сам читал свои стихотворения, которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все без исключения они были посвящены гордой даме, прелести которой свели поэта с ума и которая недоступна. Одна элегия кончалась вздохом умирающего от любви поэта:

'Ah, je meurs! je meurs![3]

Надежда Осиповна за обедом подкладывала ему куски пожирнее. Мусье Руссло заметно порозовел и округлился.

Раз черная каретка остановилась у пушкинских ворот. Человек в черном, с желтым старческим лицом,

---

[1] У святого Харитония.
[2] Прощай.
[3] Ах, я умираю, я умираю! *(франц.)*.

изжелта-седой, с молодыми глазами, выглянул из кареты. Старый слуга-француз в облезлой ливрее сошел с запяток и спросил, дома ли граф Монфор, которого желает видеть граф де Местр.

Сергей Львович засуетился. Граф де Местр был бессменный посланник короля сардинского, лишенного, впрочем, владений, по слухам — иезуит, лицо видное в Петербурге и загадочное, философ.

Сергей Львович пригласил зайти графа де Местра. Старик пробыл у него всего минут пять. Услышав, что Монфора давно уже нет, и увидев мусье Руссло, низко ему поклонившегося, старик посмотрел пронзительными живыми глазками на него. Сергей Львович обомлел: взгляд был умный, таким он и представлял себе иезуитский взгляд. Он стал бормотать о том, что граф Монфор, к сожалению, выехал, и о трудности в настоящее время дать детям воспитание. Постепенно Сергей Львович разговорился. Он очень любил графа Монфора и не переставал сожалеть о его слабостях, вполне извинительных, но нетерпимых в воспитателе. Законы требуют все больших познаний, и голова идет кругом, когда думаешь о воспитании детей.

Привычным, внимательным взглядом старик посмотрел на мальчика и, рассеянно улыбнувшись, снова воззрился на Руссло.

— Воспитывать должно не ум, — сказал он, глядя на Руссло, — Руссло приосанился, — это притом очень трудно; и не то, что слывет умом, — Руссло посмотрел в сторону, — не должно обременять дитя пустыми знаниями. Воспитывать должно совсем другое. Вы знаете плоды воспитания в Париже.

Потом он поежился от холода, натянул на худую шею черный платок и ушел, оставив всех в недоумении.

Вскоре каретка де Местра скрылась в Харитоньевском переулке.

Сергей Львович стал всем рассказывать о посещении графа де Местра. Не обращая внимания на Сашку, на Лельку и почти ничего не зная о существовании Ольки, он стал повторять, что воспитание в теперешнее время — дело претрудное и что иезуиты совершенно правы, когда утверждают, что главное — это не ум, а вкус. Бог с ними, с науками! Граф де Местр трижды прав.

Мнение это и в особенности сообщение о визите графа де Местра выслушивали со вниманием.

— В последний раз, когда граф де Местр был у меня... — говаривал Сергей Львович.

2

Неожиданно все в Москве переменилось; самый воздух, казалось, потеплел. Гордости у стариков как не бывало; всех стали приглашать, всем улыбаться, обновились старые связи, припомнилось родство. Сергей Львович вдруг вспомнил, что их дворянству шестьсот лет, а то и без малого тысяча, и опять развязал свой список грамот. И вскоре согрел его сердце давно им не виденный Карамзин.

Причина всему — государственная, Петербург.

Москва была на отшибе, доживала; старики громко ворчали, как ворчат на людях глухие, думающие, что их не слышат; как человек выходил в отставку, он норовил переехать в Москву, чтобы иметь возможность ворчать. Всем в Москве правили старухи. Москва была бабье царство. Жабами сидели они в креслах в Благородном собрании и грозно поглядывали вокруг. У каждой был свой двор и свои враги; они все помнили, всех знали. Суждения Офросимовой и анекдоты о Хитровой заменяли Москве ведомости, которые читали только во время войн. Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в возки и бережно подоткнув со всех сторон, везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав возки останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест ёкали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под свое покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась. Старухи судили, рядили, разводили и вновь сводили. Все рабы Гименея, мужья под пантуфлею, разорившиеся игроки, люди, у которых почему-либо не открылась карьера, составляли средний возраст Москвы. Сергей Львович прекрасно себя чувствовал в Москве и бранил Петербург. Ворчать и переносить новости было его страстью, страстью среднего возраста и состояния Москвы.

Молодежь в Москве — вздыхатели, лепетуны, ветрогоны. Разговор у них изнеженный, все мужчины избегали грубых звуков и сюсюкали. Говорили: женшина, нослег.

В Петербурге был двор, было государство, и самая литература была в Петербурге другая: там сидел сухопутный адмирал Шишков, который издевался над московскими вздыхателями, не щадил и самого Карамзина; он ополчился на всех учителей-французов, на модные лавки и советовал читать Четьи-Минеи. На Фонтанке еще кряхтел Гаврило Романович Державин и писал длинные реляции потомству об оде.

Но дело было не в них, не в стариках, и даже не в молодых. Дело было в том, что пока Москва вздыхала, обжиралась на масленой блинами и удивлялась пирожкам Василья Львовичева Блэза, к власти пробрался нежданно-негаданно и сел крепко подьячий.

Так называли старики Сперанского. Сначала пошли слухи о том, что царь везет с собою «на поклон» подьячего, потом слухи подтвердились. Потом прошел слух, что сам Буонапарт говорил с подьячим и был будто до крайности любезен. Тут старики, хотя и всячески корили Наполеона, почувствовали себя обойденными, а потом решили, что подьячий с Наполеоном спелись. И когда последовали указы — один за другим, — всем старцам стало ясно: Наполеонова эра настала. Первый указ был о придворных званиях, второй — о гражданских чинах. Со времени Екатерины существовал высокий свет. Высокие светские люди проводили жизнь в светских занятиях; в колыбели получали звание камер-юнкера и с ним чин пятого класса; младенцы улыбались дородным мамкам, переходили в руки нянь, становились камергерами и получали чин четвертого класса. Зато свободное время образовывало их вкус, со временем они могли быть замечены статс-дамою Перекусихиной, а если этого не случалось, они наконец приступали в высоких чинах к государственным делам. Таковы были дворянские вольности.

3 апреля 1809 года подьячий, который теперь утвердился в Петербурге, издал указ и всему положил конец. Звания камер-юнкера и камергера впредь не давали никакого чина и считались только отличиями. Вместе с тем, всякий был обязан избрать в течение двух месяцев род

действительной службы, а не изъявившие желания считались в отставке. Множество благородных людей, которые ни в чем не изменили ни своего образа жизни, ни мыслей, вдруг, через два месяца, оказались в отставке. Три поколения Трубецких-Комод, которые все имели звания и числились на службе, сидя, как всегда, у себя в Комоде, оказались отрешенными. Везде в домах было сильное волнение. Тот самый старик, который звал Наполеона Буонапартом, грозился поехать в Петербург бить кутейника. Более же всего озлобили налоги, которые росли со дня на день.

— Отъедается, — говорили не то о Сперанском, не то о царе, — хуже покойничка Павла.

Летом, когда в Москве старики только и говорили что о налогах и грозились умереть, только бы не платить, подьячий издал второй указ. Впредь никто не мог быть произведен в чин коллежского асессора без экзаменов и какого-то свидетельства. Сословие чиновников приглашалось бросить все застарелые привычки, все свои цели и вместо домашних бесед с доброхотными дателями готовиться к экзаменам по праву естественному и начальным основаниям математики.

Теперь восстало все крапивное семя.

Говорили, что один повытчик публично плакал в присутственном месте, на Прудках, отирая слезы большим красным фуляром и привлекая этим общее внимание. Вместе с тем, не видя перед собою дальнейшей цели существования и отчаявшись в сдаче экзаменов, а стало быть, и в получении чина коллежского асессора, приказные стали требовать такой мзды, что уж это одно само по себе могло поколебать основы государства. Все это имело важные последствия.

Московские бары, которые при издании первого указа во всем винили «крапивное семя», стали теперь звать Сперанского поповичем и расстригой.

Разные вкусы и наклонности в виду общей опасности временно забыты. Движение на улицах Москвы усилилось: с утра все выезжали, чтоб узнать общее мнение. Сергей Львович стал ходить по утрам в должность. Все канцелярии теперь были заняты тем, что переписывали новые стихотворения на Сперанского. Сергей Львович каждый день приносил что-нибудь новое и по прочтении запирал в свой тайник.

Стихотворения были довольно острые. Одно — о канцелярском плаче, называлось «Элегия»:

Восплачь, канцелярист, повытчик, секретарь!

В нем был едкий стих, который сразу вошел в поговорку:

О чин асессорский, толико вожделенный!

Стихотворение было, впрочем, написано более в насмешку над приказными и, видимо, в защиту указа, но чиновники на первых порах не разбирались и переписывали все, что попадалось об указах, «яко противудейственное».

«Мысль унылого дворянина» более понравилась Сергею Львовичу; все написано дурными стихами, но сильно выражено:

От Рюрика поднесь дворян не утесняли,
Зато Россию все владычицей считали.

О «сыне поповском» там было сказано, что он «как мыльный шар летает» — а далее: «искусственным мечом Россию поражает и хаос утверждает».

Эпиграмма на Сперанского была в другом роде — коротка, ее писал брат того генерала, который звал Наполеона Буонапартом:

Велики чудеса поповский сын явил,
Науками он вдруг дворян всех задавил.

Наук испугались все. Лекари учились медицине, попы богословию. Бывали и среди дворян чудаки или меценаты, которые читали по-латыни, но учиться по обязанности наукам, как лекари, — не дворянское дело. Дворянин получал чины по душевным качествам и заслугам. Не было никакой связи между наукой, дворянством и званием. Семинарист учредил хаос и все перевернул.

Сергей Львович негодовал почему-то более других. Мысль, что камер-юнкер и камергер теперь будут не чины, а звания, была особенно для него невыносима, хотя ни он и никто из родни не были ни тем, ни другим. Он не находил слов для возмущения.

— Этот приказный, cette canaille de[1] Сперанский, — говорил он о Сперанском, как будто тот служил у него ранее под начальством, и произнося эту фамилию в нос.

Вообще это было в характере Сергея Львовича — он охотно ввязывался в любую оппозицию. Порою он ворчал перед камином, совсем как матушка Ольга Васильевна. Однажды он даже дословно ее повторил: фыркая, сказал, что все несчастья начались с Орловых, — полезли в знать, и началась неразбериха. Что ни говори, а звание дворянское дает право на светскость; светскость же, или, как маменька Ольга Васильевна говорила, людскость — все! Это и любезность, и уменье блистать, и остроумие. А кто этого не понимает, с тем говорить не стоит. И хотя исторические понятия Сергея Львовича были смутны, у него были сильные чувства.

В эти месяцы много перьев скрипело в Москве — приказные переписывали стихи, дворяне писали царю. Даже Сергей Львович, сидя в своей комнате над чистым листом бумаги, написал как-то тонким пером:

Всемилостивейший Государь!

но далее у него не пошло.

Все ждали, что скажет Карамзин.

3

Старые друзья говорили, что он сделался молчалив и горд. Чувствуя, что связи со всеми рушились и что предстоят важные труды, он подолгу покидал Москву. Наконец удалось ему основать свой Эрмитаж, наподобие Руссова, в тестевом имении Остафьеве. Обширный сад, проточный пруд, густые липы заменили ему там друзей. Молодая добрая жена стала теперь для него Клией, музой истории. В Москве начали относиться к нему с боязнью. Изредка приезжал он сказать два-три важных слова, обронить замечание, улыбку. Снисходительность к людским порокам была в нем теперь главною чертой. Добряк Сонцев, муж сестрицы Лизет, боялся его как огня. Теперь смятение московское вызвало его на несколько недель из уединения.

---

[1] Этот негодяй *(франц.)*

С радостью заявился к нему Сергей Львович. Они давно не видались. Он долго думал, какой час избрать для посещения, потому что боялся помешать, и выбрал час меж волка и собаки. Московские стишки, после некоторого размышления, он сунул в карман, надел новый фрак, вздохнул и поехал.

Он был принят прекрасно. Никого не было. В полутемной комнате, на простой мебели сидели они в полутьме, и Карамзин не зажег свечей. Карамзин мало говорил. Казалось даже, он дремал, сидя в глубине покойного кресла. Зато говорил Сергей Львович — обо всем. И прежде всего о диких выходках петербургского адмирала Шишкова, шумно ругающего Николая Михайловича и недавно написавшего, что братец Василий Львович — безбожник, распутник и враг престола.

Карамзин улыбнулся, слабо выразив одобрение. Он вовсе не был галломаном. Соседство имен его и Василья Львовича было несколько смешно.

Он спросил Сергея Львовича о здоровье милой жены его. Сергей Львович поблагодарил сердечно и пожаловался на трудность воспитания детей. Теперь, когда требуются от дворянина экзамены и науки, дрожишь за их будущность. Граф де Местр, который недавно был у него, пожалуй, прав: важно воспитание чувства вкуса, уважения к родителям, а остальное — о, бог с ним! Он, как отец подрастающего сына, очень это чувствует.

Тут Карамзин мягко предостерег его — нельзя смешивать понятия, различные в существе своем, — одно дело экзамены, и другое — просвещение. Ни Шекспиров, ни Боннетов без него быть не может. Изящный ум ближе к природе, чем невежество. Благородные должны это наконец понять. О графе де Местре он сказал с некоторой холодностью, что не знал о пребывании графа в Москве. Но экзамены — увы! — как надолго повредят они самим наукам!

Сергей Львович вскоре не утерпел и прочел Карамзину «Мысль унылого дворянина».

Карамзин, казалось, оживился. Он со вниманием слушал стихи и попросил листок, чтобы перечесть. Щеки его окрасились. Вскоре тихим голосом он стал объяснять Сергею Львовичу с терпением и кротостью смысл происходящего.

Сидя в полутьме, Сергей Львович не шелохнулся. Он с жадностью вслушивался во все, что говорил Карамзин, и все это возвышало его, укрепляло. Он сидел, важно оперши щеки на белые воротники, позабыв о Надежде Осиповне, Сашке и Лельке, долгах и своей квартире. Он был снова тем, чем ему быть надлежало, — шестисотлетним дворянином, человеком светским, одним из тех, с которыми говорят, которых приглашают. От приятности этого сознания он половины из того, что говорил Карамзин, не слышал. Он только смеялся от души тонким насмешкам над подьячим.

В полутьме, не зажигая свечей, Карамзин говорил, что ныне председатель гражданской палаты обязан знать Гомера и Феокрита, секретарь сенатский — свойства оксигена и всех газов, а вице-губернатор — Пифагорову фигуру...

Сергей Львович тихо засмеялся.

— ...надзиратель же сумасшедшего дома — римское право...

Это Сергей Львович постарался запомнить.

— Оксиген, Пифагор, надзиратель, — повторил он одними губами.

Между тем никто не заметил, что указ и «разум указа» — написаны безграмотно, слогом цветистым, лакейским — семинарским, если так можно сказать.

Сергей Львович вспомнил чистый лист бумаги и на нем обращение:

Всемилостивейший Государь!

Он признался в своей дерзости Карамзину, краснея как школьник, сознающийся в шалости, счастливый, уверенный, что все это вызовет одобрение. Он собирался писать государю... голос сердца! Великий боже! Но все почти собираются в Москве писать государю...

Карамзин замолчал. Он молчал, отвечая на лепет и смех Сергея Львовича осторожным кашлем.

Стало совсем темно. Карамзин не шевелился в своем кресле. Не дремал ли он? Только когда Сергей Львович стал прощаться, он слабым голосом, но совершенно холодно попросил передать поклон милой жене его.

Сергей Львович вышел, недоумевая, почему, вначале почтя его такой задушевной беседой, Карамзин охладел к нему в конце. Но Карамзин и сам уже много недель

сидел над листами бумаги в своем остафьевском уединении; он и сам писал государю о том духе, который подьячий вносил в течение истории государства российского.

4

Вернувшись от Карамзина, Сергей Львович в сенях наткнулся на Александра. Вид сына озадачил его.

Тотчас, решительно, брызгая и торопясь, он рассказал Надежде Осиповне о своей беседе и передал поклон.

— Воспитывать должно изящный вкус, — сказал он решительно, — это образует человека.

Надежда Осиповна в важных делах не возражала мужу. Он ставил ее в тупик странной решительностью: Сергей Львович не всегда решался на поступки, но если уж решался, не терпел промедления, горел и фыркал, как ракета. В тот же день отдали портному на Немецкой улице шить из фрака Сергея Львовича новый костюм для Александра. Надежда Осиповна прикупила кружева во французской лавке. Она долго одевалась перед зеркалом и с утра уходила делать покупки. Все оживилось. Детей начали воспитывать по-новому. Наконец костюм был готов. Надежда Осиповна в лорнет оглядела Александра и повздорила с немцем-портным. Сергей Львович успокоился на неделю. Но, побывав у Бутурлиных, Сушковых и еще у кой-кого, он однажды вдруг обнаружил, что благородных детей учат танцам у Иогеля.

Иогель был модный танцмейстер, он первый в Москве начал по-настоящему учить детей танцам, у него устраивались детские маскарады, родители свозили своих сыновей и дочек к Иогелю; костюмы шились по его совету — английские адмиральские и а ля тюрк; парики, треуголки, все предусматривалось заранее нежными матерями и портными.

Зала Иогеля была ярко освещена. Сам Иогель, высокий, сгорбленный старик в черном фраке, выступал и играл на крохотной, карманной скрипочке. Дети прыгали с равнодушием, свойственным этому возрасту, в правильных танцах. Вокруг сидел ряд московских старух, которые осуждали родителей и, подзывая детей, кормили их пряниками, тут же доставаемыми из мешочков. Вечера Иогеля постепенно вошли в моду. Старухи

ругали немца за то, что плохо учит детей: мальчишки толкутся, а девчонки мечутся как угорелые; матери семейств ругали его за дорогую плату — и, поставив мушку на щеку, ездили к нему на вечера.

Сергей Львович сказал Надежде Осиповне, что они должны свезти Александра и Ольгу к Иогелю. Надежда Осиповна с восторгом согласилась. Решено нарядить Александра туркою, а Ольгу гречанкой. Надежда Осиповна три дня ездила по модным лавкам. Шелк, который она купила для детских маскарадных платьев, был очень дорог. Она любовалась им два дня и наконец решила оставить для себя. Сергей Львович закусил губу. Ему смерть хотелось побывать у Иогеля. Однажды за обедом он объявил, что детей согласился обучать танцам славный танцмейстер Пэнго.

— Гораздо лучше Иогеля, — сказал он неуверенно. — Иогель — старый мошенник и ничего более.

Тетушка Анна Львовна, приехавшая к обеду, была поражена братом, ничего не жалевшим для воспитания детей.

— Ах, Сергей, Сергей, ты пожалеешь, — говорила она.

Сергей Львович и сам немного был озадачен приглашением Пэнго.

Он ходил из угла в угол, а Анна Львовна внимательно смотрела на детей. Они, казалось, не в состоянии были оценить родительских забот.

Никита зажег в гостиной свечи, и славный Пэнго появился. Он был малого роста, худ, с точеными ножками, в башмачках с пряжечками, в шелковых чулках. Он был очень стар, но бодрился, хотя голова его и дрожала.

Мать взяла за руку Ольгу и Александра и вывела их на середину комнаты, Анна Львовна села за клавир, и урок начался.

— Глиссе,[1] глиссе, — говорил разбитым голосом славный Пэнго и шаркал. Ноги его были нетверды, он приметно тряс головою и был похож на кузнечика, который хочет прыгнуть и не может.

С непонятным отвращением Александр вел испуганную Оленьку, которая старательно приседала и лепетала беззвучно:

---

[1] Скользите *(франц.)*.

— Un, deux, trois...[1] un, deux, trois...

Сергей Львович смотрел на славного Пэнго, не обращая внимания на дочь и сына; Анна Львовна прилежно стучала в старый клавир.

— Тур сюр пляс![2] Тур сюр пляс!

Пэнго остановил детей. Они шли, сбиваясь с такта, не в ногу и не умели вертеться. Приподняв фалды фрака, он изобразил на лице своем улыбку. Так улыбаться должна была Оленька. Холодно поблескивая глазками в морщинах, он прошелся независимой, легкой петушиной поступью, все время качая от старости головой. Так должно было выступать Александру. Потом медленно стал кружиться. Угрюмо и равнодушно, поглядывая исподлобья на родителей, мешковатый и рассеянный, Александр путался и сбивался с такта.

Тетка играла и кланялась при каждом такте, упрямо пристукивая каблучками.

— Ан аван![3] Ан аван!

Пэнго утомился и вытер лоб белым кружевным платочком. Он уселся в кресла.

Тут Надежда Осиповна поднялась. Давно уже она покусывала платочек, и лицо у нее шло пятнами. Она смотрела на детей сквозь туман, слезы стояли у нее в глазах. Весь день ей было не по себе, — так сказали потом Пэнго. Теперь она смотрела на своих детей, оскорбленная, сбитая с толку. Она всегда была или казалась самой себе красавицей, ее звали франты la belle créole. Этот мальчик с обезьяньими глазками и матовой кожей, с угловатыми движениями, почти урод — был ее сын. Худенькая длинноносая девочка с сутулой спиной, с бегающими глазками, с плоскими бесцветными волосами, была ее дочь. И чувствуя непонятное отвращение, гнев, горькую жалость к себе, она поднялась, крепко схватила за ухо сына, за шиворот дочь и швырнула их за дверь, как швыряют котят.

— Урод, — сказала она, сама не слыша.

Пэнго поднялся.

— Дети бывают способны и неспособны, но по пер-

---

[1] Раз, два, три *(франц.)*.
[2] Поворот на месте *(франц.)*.
[3] Вперед *(франц.)*.

вому менуэту нельзя судить танцора. Славный Дюпор также в нежном возрасте был неловок.

Пэнго говорил, как танцевал, — машинально. Он двадцать лет учил одному и тому же и привык ко всему.

Анна Львовна насильственно улыбалась французу. Она была оскорблена странным поведением невестки: при французе не следовало так вести себя.

Сергей Львович помчался к Надежде Осиповне, как всегда ничего не понимая. Она уже успокоилась.

Славный Пэнго более не приглашался. Оленька немного похныкала, но быстро успокоилась: она привыкла к выходкам матери. Перед сном, в постели, Александр вдруг громко вздохнул — так не вздыхают дети.

Мать не любила смотреть на него, иногда отводила взгляд, как бы смущаясь; он всегда уклонялся от ее прикосновений. Он не думал об этом и все вдруг понял. Он был урод, дурен собою. Это глубоко его тронуло. Он вспомнил, как шел под музыку с сестрой Ольгой, и заплакал от унижения. Никто в этот час не подошел к его постели: Арина была где-то далеко. Француз сидел у стола и с внимательным, угрюмым видом, отрешась от всего, чистил ногти маленьким ножичком и щеточкой.

5

Василий Львович пригласил брата к обеду. Надежда Осиповна была больна; Сергей Львович взял с собою сына. Он не хотел его брать, да Надежда Осиповна навязала. Если бы Сергей Львович отказался, она бы подумала, что ее обманывают и обед — с какими-нибудь вольными балетными или французскими актерками. Скрепя сердце, он взял с собою Александра. Между тем обед у Василья Львовича был без дам. Новые его приятели даже славились по Москве тем, что не любили женщин, были мизогины.

Приятели эти были самые модные люди. Все они занимали должность «архивных юнкеров», а звали их просто «архивные». Самая должность их также была модной: они служили или числились в архиве иностранных дел, который был теперь питомником благородных юношей. Все они обучались у немцев, в Геттингенском университете, и поэтому их звали еще «геттингенцы» или

просто «немцы». Теперь их одного за другим переманивал из Москвы в Петербург Иван Иванович Дмитриев, который был «в юстице», как говорили старики, министром. В Москве они бывали наездами. И манеры их, и привычки, и вкусы — все было новостью. Они были вежливы, много и тихо говорили между собою по-немецки, как бы воркуя. Меланхолия была у них во взглядах, они с нежностью смотрели друг на друга и с высокомерием на остальных.

Василий Львович вздумал было на первых порах возмутиться, потом удивился, но вскоре понял, что это самая новая, самая последняя мода, а он со своими фрачками и фразами из Пале-Рояля уже несколько устарел. По природе и сердцу своему он был модник. Он признал новые светила. Они к тому же были вежливы, «милы», — как стали о них говорить, — не то что юные московские негодяи из клубов, от которых он едва отделался. Они слыли в Москве «тургеневскими птенцами» и «дмитриевским выводком», а он, как и все, уважал старика Тургенева и Дмитриева. Больше всех подружился он с Александром Тургеневым, с которым нашел какое-то сродство душ: молодой Тургенев был охоч до еды, хлопотлив, непоседлив и мил, с висячими щеками и обширным животом; он всюду носился и развозил новости. Характер его был безмятежный: он любил умиляться, и крупные слезы тогда падали у него из глаз, а за столом, после обеда, часто задремывал. Геттинген и немцы были у него на языке, но по свойствам он был вполне понятен Василью Львовичу: прожорлив, забывчив и скор.

Другие геттингенцы были не столь любезны: Блудов — болтун, но хитер; Уваров имел холодно-доброе сердце и был кисло-сладок; Дашков был пухлый, спокойный, гордый и медленный. Со всеми Василий Львович подружился. Впрочем, он отчасти не мог взять их в толк: у них были какие-то тайны, косые взгляды, недомолвки. Он смерть не любил их смешков — тихих, ядовитых и как бы блудливых. Иногда вдруг появлялась важность, как будто они знали что-то ему недоступное, и он пугался. Вдруг, среди шуток, все начинали говорить вполголоса, и Василий Львович знал, что это о делах государственных. Они на мгновенье переставали его замечать, не слыша его вопросов. Он робел и начинал заискивать. Тогда они

успокаивали его самолюбие: хвалили его стихи. На похвалу эту он всегда откликался всем существом, шел на нее, как рыба идет на наживу.

Вообще он был ими озадачен, сбит с толку. Эти молокососы были гораздо устойчивее, solide,[1] чем старики. Они как-то рано созрели и подсохли. Молокосос Уваров ездил по каким-то важным поручениям за границу и вошел там в тесную дружбу с самим немцем Штейном. Штейн! Предводитель пруссаков! Имя его было всегда у них на устах. Он изгнан Наполеоном, скрывается в Вене, пламенно любит отечество и под носом у Наполеона заводит между тем свой ландвер и ландштурм. Изгнанник открыто мечтает о свободе человечества — свободе от Наполеона; но и Наполеон ведь тоже, однако, судя по «Монитеру», который изредка читал Василий Львович, мечтает о какой-то свободе человечества, и в первую очередь — свободе от Штейна. Для Василья Львовича все это была китайская грамота, ахинея и тарабарщина. Тем более он уважал новых друзей.

Суеверный страх у него возбуждали их занятия: Уваров возился с какими-то греческими делами и свободно писал по-гречески; Дашков даже по-турецки понимал. Между тем Василий Львович из греческих дел знал только Анакреонта, да и то в переводе, а о турках знал, что у них гаремы и в гаремах множество жен; протоиерей, с которым Василью Львовичу приходилось еще иногда обедать, отбывая епитимью, всегда приводил это как пример бесчестья и разврата, но Василий Львович не понимал, что за охота этим молодым старцам возиться с греками и турками и разбирать их закорючки и каракули, в которых он не понимал pas un brin.[2] Это не входило в круг благородного образования. Они были деловые, но это и не дельно, только потеря времени и более ничего. И только когда открылась война с турками, понял дальновидность юнцов: вот каракули и пригодились. Все они были дипломаты. Василий Львович боялся дипломатического сословия.

Эта ученость геттингенцев угнетала, пугала его. Вообще в них было много странностей — они почти не говорили о женщинах, не любили их, признавали только

---

[1] Солиднее *(франц.)*.
[2] Ничего *(франц.)*.

дружбу и писали все о меланхолии. Друг их, вдохновенный и трудолюбивый Жуковский, признавал любовь платоническую. Это была теперь последняя, тоже немецкая мода, — молодые люди впали в уныние и говорили о самоубийстве. Уваров написал французские стихи о выгодах умереть в молодости, и все их переписывали и читали друг другу. Дамы плакали, читая эти стихи: выгоды казались им неоспоримыми. Дашков напечатал статью о самоубийстве, благородно опровергая друга. Они пламенно хотели умереть и быстро продвигались по службе.

Обнаружились какие-то новые виды службы. Василий Львович никогда не подозревал, что можно, например, заведовать какими-то иностранными исповеданиями — иезуитами, шаманами, магометанским и еврейским племенем. Это казалось ему мрачно. Однако в этой должности теперь состоял Александр Иванович Тургенев при князе Голицыне; да и сам Голицын был сначала известный шалун и непотребник, любил ганимедов, а теперь занимал самую готическую должность — обер-прокурор синода! Вся жизнь оказалась наполненной самыми различными должностями. А новые друзья, меланхолики, прекрасно разбирались в этом лабиринте и незаметно оказались нужными людьми, деловыми малыми.

Василий Львович очень скоро оказался, несмотря на несходство характеров, их единомышленником, сотоварищем в литературной войне.

Уже давно, несколько лет, шла литературная война в обеих столицах и не прекращалась, а разгоралась все более. Казалось, не могло быть иного вкуса, кроме истинного, иных стремлений, как быть изящным, и не было пророка литературы, кроме Карамзина. Вдруг выступил в Петербурге сухопутный адмирал Шишков и поднял свирепую войну против друзей добра и красоты; самому Карамзину досталось, за ним Дмитриеву, за ним Василью Львовичу.

Поход против французов был объявлен Шишковым; добро бы, если б то был поход против несчастного французского переворота и якобинства, — Василий Львович к нему охотно бы пристал. Но старик ополчился и против старых французских «маркизов», как называл он светских поэтов; если бы он восстал только против

французских outchiteli, кто б с ним стал спорить: пропадай они — Василью Львовичу было все равно, как его Аннета будет воспитывать плод своей любви к барину; но уж Шишков шел войной и против французских модных лавок! Да уж и против языка чувств! И против элегии!

Вел он себя как истый варвар — в альбом одной милой женщины, которой друзья писали стихи, он полууставом написал варварские вирши:

Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты — честь отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.

Особенно разъярила всех эта «девка».

— Cette noble[1] «девка»! — говорил Василий Львович.

«Геттингенцы» были в дружбе с Дмитриевым, а Блудов и в родстве, чтили Карамзина, смеялись над адмиралом с его «девкой», и Василий Львович счел себя во всем их единомышленником. Сердце его открылось для новых друзей. Князя Шаликова также. Только Алексей Михайлович Пушкин звал их непочтительно плаксами; но он был вообще известный ворчун и афеист.

Василий Львович не без трепета ждал новых друзей. Он их побаивался. Обещались быть Тургенев, Блудов, Дашков; Жуковский отдыхал под Москвою, в Мишенском, и весь был занят природою и платоническою любовью; на него надежды не было. И к лучшему: Василий Львович робел перед ним. Уваров сбирается в Петербург и тоже не приедет; не велика потеря — он мало ел и плохо разбирался в еде. Из старых друзей ждал он Шаликова и кузена Алексея Михайловича. Вот и все. Да еще брат Сергей с его желторотым птенцом Сашкой: его навязала Надина-мулатка. Василий Львович чувствовал все преимущества своего семейного положения: он султаном, петухом ходил по дому, Аннушка, как верная раба, ни в чем не выходила из его воли. Она обо всем пеклась, заботилась о барине и доме, а когда приходили гости, скрывалась в дальной комнате.

Гости потрепали по плечу юного Александра, а Тургенев даже обнял.

---

[1] Эта благородная *(франц.)*.

Встреча новых умников и старых остроумцев была преприятная. Умники, как все деловые люди, любили побездельничать. Все они были даже отъявленные шутники. Умник Блудов написал признание в любви портного:

О ты, которая пришила
Заплату к сердцу моему, —

и это стихотворение лежало в бюро у Сергея Львовича.

Все были без ума от этого портного. Тотчас появилось объяснение в любви приказного, дьячка, врача, квартального и прочих сословий.

Сословия, их язык, степень образованности, — всем этим уши прожужжал Сперанский. Вот они и объяснялись все по-разному в любви. Это было смешно и тонко.

Правда, безделье новых друзей было другое, не такое, как у Василья Львовича. Они ленились и роскошествовали на какой-то восточный манер. Может быть, это было потому, что и Блудов и Дашков были богачи, получали по полста тысяч в год доходу. Да и веселье их было другое. Это не было остроумие, esprit Вольтера и Пирона, это была немецкая шутка, неуклюжая, мясистая, замысловатая — витц. Василий Львович насильственно улыбался, когда умники острили. Поэтому он припас драгоценную новость: новое собрание сочинений графа Хвостова.

Граф Хвостов был замечательное лицо в литературной войне. Среди друзей Карамзина, особенно молодых, были люди, которые как бы состояли при Хвостове, только им и жили и с утра до вечера ездили по гостиным рассказывать новости о Хвостове. Все в этом стихотворце соответствовало учению афеиста Алексея Михайловича о мнимостях. Начиная с графства: графство его было сардинское, и выпросил его Хвостову Суворов у короля сардинского. Хвостов женат был на племяннице Суворова, и генералиссимус, который любил вздор, покровительствовал ему. В стихах своих граф был не только бездарен, но и смел беспредельно. Он был убежден, что он единственный русский стихотворец с талантом, а все прочие заблуждаются. Он называл себя певцом Кубры, по имени реки, протекавшей в его имении, и охотно сравнивал себя с Горацием, по разнообразию: писал басни, оды, эклоги, послания, эпиграммы и много переводил. Он был и ученый, собирал и отмечал всякие

известия по старинной литературе. У него была одна страсть — честолюбие, и он бескорыстно, разоряясь, ей служил. Говорили, что на почтовых станциях он, в ожидании лошадей, читал станционным смотрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей. Многие, уходя из гостей, где бывал граф Хвостов, находили в карманах сочинения графа, сунутые им или его лакеем. Он щедро оплачивал хвалебные о себе статьи. Он забрасывал все журналы и альманахи своими стихами, и у литераторов выработался особый язык с ним, не эзоповский, а прямо хвостовский — вежливый до издевательства. Карамзин, которому Хвостов каждый месяц присылал стихи для журнала, не помещал их, но вежливо ему отвечал: «Ваше сиятельство, милостивый государь! Ваше письмо с приложением получил» и т. д. «Приложением» называл он стихи графа.

В морском собрании в Петербурге стоял бюст графа. Бюст был несколько приукрашен: у графа было длинное лицо с мясистым носом, у бюста же были черты прямо античные. Слава его докатилась до провинции. Лубочная карикатура, изображающая стихотворца, читающего стихи черту, причем черт пытается бежать, а стихотворец удерживает его за хвост, висела во многих почтовых станциях. В Твери полагали его якобинцем. Непрерывно выходили в свет сочинения графа, издаваемые его собственным иждивением. Недавно вышло новое собрание его притч. Василий Львович нарочно купил его. В баснях и притчах граф был наиболее смел.

Тотчас устроилась игра: каждый по очереди открывал книгу и, не глядя, указывал пальцем место на странице, которое надлежало прочесть.

Начал Блудов, разогнул — открылось:

Суворов мне родня, и я стихи плету.

Блудов сказал:

— Полная биография в нескольких словах.

Лучше начала сам Василий Львович не мог бы придумать. Все просияли, и охота за стихотворною дичью началась.

Книга перешла к Алексею Михайловичу. Он ткнул пальцем и прочел:

Ползя,
Упасть нельзя.

Сергею Львовичу попалась басня «Змея и пила». Самое название было смело. Граф любил сопрягать далекие предметы. Сергею Львовичу особенно понравились первые стихи:

Лежала на столе у слесаря пила.
Не ведаю зачем, туда змея пришла.

Он сказал без всякой аффектации фразу, которую недавно слышал, но не вполне понимал:

— В глупости его есть нечто высокое.

Фраза имела успех, ее благосклонно выслушали, а Дашков даже, видимо, удивился тому, что Сергей Львович так хорошо сказал.

Сергей Львович, весьма довольный собою, хотел было продолжать игру, но Василью Львовичу не терпелось. Он все ерзал в своем кресле, потом наклонился над книгою так близко, что нос его мешал Сергею Львовичу листать. Сергей Львович не без досады и краткой борьбы уступил брату книгу. Он придержал было ее, но Василий Львович, рискуя порвать, потянул к себе, и так Хвостов перешел к нему.

Краткая борьба двух братьев была замечена. Александру показалось, что Блудов подмигнул Дашкову.

Василью Львовичу попалась счастливая басня. Он, захлебываясь и брызгая, стал читать — и не мог.

Щука у́ду проглотила;
Оттого в тоске была...
И рвалася и вопила...

Пароксизм овладел им. Слова вылетали, как пули, со слюнями и икотой:

Ненавижу... я... себя...
Щука... восклицает...

Все хохотали. Александр оскалил белые зубы. Но вскоре ему показалось, что смеются уже не над баснью и не над Хвостовым, а над самим дядюшкой. Василий Львович весь осклиз, обмяк от смеха, чихал громко и непрерывно, пытался что-то сказать и лепетал в промежутках между чохом и икотой какой-то вздор. Положение его было жалкое. Ему дали воды, и, вздохнув, икнув напоследок, он пришел в себя. Дашков читать не стал, у него были на то свои причины: Дашков был заика.

Очередь была за князем Шаликовым. Шаликов открыл, поискал глазами и прочел, к удивлению всех, какие-то стихи, ничем не забавные и даже изрядные. Это был эпиграф к «Притчам»:

Вот книга редкая: под видом небылиц
Она уроками богато испещренна;
Она — комедия; в ней много разных лиц,
А место действия — пространная вселенна.

Все недоверчиво покосились.

Тургенев попросил у него книгу, открыл, перевернул страницу и прочел:

Мужик представлен на картине;
Благодаря дубине
Он льва огромного терзал.

Листнул наугад и снова прочел:

Летят собаки,
Пята с пятой.

Попала книга к Шаликову, и, как по волшебству, стихи оказались разумными. Тургенев лукаво прищурился и вдруг вздохнул. Блудов и Дашков переглянулись. Игра прекратилась, потому что приняла дурной для Василья Львовича оборот: Шаликов вступил в спор с молодыми его друзьями.

Дело было в том, что, соратник и последователь Карамзина, князь Шаликов в последнее время вошел в тайные сношения не с кем иным, с самим графом Хвостовым. Эти умники не жаловали и князя; до него дошли слухи, что они над ним посмеиваются, как над Хвостовым. Он видел карикатуру на себя в одном альбоме милой женщины, к которой умники хаживали: чернобровый франт на тонких ножках, с громадным носом и цветком в петлице. Это был он. Он вскипел и выругался тогда, мгновенно потеряв расположение милой. На бульварах, бывало, провожали его почтительные и завистливые взгляды, он слышал за собою шепот: «Шаликов, Шаликов», а теперь, когда он появлялся, все франты посмеивались. Он старел. Карамзин не печатал стихотворений, которые прислал ему князь, как не печатал стихов графа Хвостова.

Князь Шаликов был против всех насмешников. Он чуял: в литературной борьбе друзья всего прекрасного,

друзья Карамзина, продадут его ни за грош, отступятся и выдадут с головою врагам. Он написал осмеиваемому сардинскому графу письмо и заключил с ним тайный союз.

Перед Александром разыгрывалась литературная война и измена по всем правилам стратегии.

Василий Львович почуял недоброе и тотчас переменил род оружия — он стал показывать гостям свою библиотеку. Собирал он только редкие книги, а обыкновенные какие-нибудь сочинения презирал. Он показал редчайший экземпляр, привезенный из Парижа, со столь вольными изображениями, что Шаликов сначала ухмыльнулся, а затем закрыл глаза платочком. Все с удивлением смотрели на изображения, и Александр со всеми.

Тут все дело испортил Алексей Михайлович.

— Сколько у тебя, братец, здесь картинок? — спросил он.

Василий Львович посмотрел в книжке чистую страничку, где записывал, как библиоман, разные разности о каждой книжке, и ответил:

— Тридцать.

— А у меня сорок, — равнодушно сказал кузен, — тебя, братец, надули в Париже.

Василий Львович побледнел. Книги были его страсть, и если у кого-нибудь была такая же, она теряла для него всякую цену.

— У тебя другая, — сказал он с досадой.

— Такая же, только без пятен, и углов никто не слюнявил, — возразил кузен.

Дашкову, Блудову и Тургеневу заметно начинало нравиться общество обоих Пушкиных. Василий Львович что-то пробормотал, заторопился и повел гостей к столу.

Обед был хорош, стол заботливо убран; Аннушка с утра хлопотала. Впервые Блэзу удалась рыба по-французски во всех тонкостях. Василий Львович сам с утра давал Блэзу указания; парижские рецепты были записаны у него в книжечке. Мателота была точно такая же, как ел он в Gros-Caillou.[1] Трактирщик лично рассказал Василью Львовичу секрет приготовления. Только самая рыба была другая, не морская — налим. Это не делало существенной разницы. Все дело было в перце, соли, уксусе, горчице, в их соотношении.

---

[1] Название парижского ресторана.

Гости ели охотно и много, за исключением Дашкова.

Василий Львович спросил, нравится ли ему мателота. Это точный отпечаток мателоты в Gros-Caillou.

Дашков ответил медленно и равнодушно:

— Н-нет.

Дашков был заика, самолюбив, важен. Василий Львович обиделся.

Алексей Михайлович, кузен, сидел с видом бесстрастным, насупясь, как всегда. Он сказал, что в мателоте чего-то не хватает, и что-то проворчал об английской кухне. Василий Львович насторожился: впервые кузен хвалил английский вкус. Он был в Англии, но, кроме сырости, бычачины и яиц во всех родах, по его мнению, ничего там не было. Блудов улыбнулся. Он тихо сказал, что есть и бифстексы. Тем же скучным, надтреснутым голосом Алексей Михайлович спросил Василья Львовича, не при нем ли была изобретена в Англии новая машина...

— Да и не ты ли мне это рассказывал? — сказал он вдруг, глядя строго и с нетерпением на Василья Львовича и припоминая:—Точно, ты! А теперь ты англичан ругаешь.

— Что я рассказывал? — спросил сбитый с толку Василий Львович.

— О машине, — ты ее в Лондоне видел...

Кругом сидели путешественники. Самолюбие путешественника, первым рассказавшего о предмете занимательном, заговорило в Василье Львовиче.

— Не помню, может и видел, — небрежно сказал он.

Все стали просить Алексея Михайловича рассказать о машине. Но он ел как ни в чем не бывало мателоту и кивал на Василья Львовича. Василий же Львович пожимал плечами и предоставлял рассказывать кузену. Он решительно не помнил, о какой машине рассказывал ему, и с самолюбием автора ожидал своего собственного описания.

Гости ждали.

Наконец Алексей Михайлович отрывисто и неохотно, кивая на Василья Львовича, рассказал о машине. В Англии, в Лондоне, изобретена машина, простая по виду: железные прутья, лесенка, вроде возка. Василий Львович что-то смутно вспомнил. По лесенке вводят быка... Это было, по-видимому, воспоминание Василья Львовича о лондонском зверинце.

— ...быка живого. Этого быка вводят...

Василий Львович точно рассказывал о перевозке зверей, которую видел. Он кивнул головой кузену.

— ...и дверь запирают. Это с одного входа, а с другого через полтора часа подают из машины выделанные кожи, готовые бифстексы, гребенки, сапоги и прочее...

Василий Львович сидел, разинув рот. Он был поражен рассказом.

Алексей Михайлович, по всему, говорил серьезно. Он, видимо, спутал Василья Львовича с кем-то. Впрочем, машины теперь в Англии действительно изобретались что ни день, одна другой страннее. Сергею Львовичу, который был рассеян и слышал только последнюю фразу о гребенках и сапогах, показалось, что он где-то читал о машине.

— Кажется, в «Вестнике Европы» была такая статья, — сказал он.

Тургенев с каким-то стоном оторвался от тарелки и, быстро дожевывая, прыснул. И сразу всех прорвало.

Василий Львович тоже смеялся, но почему-то тотчас вспотел и отер лоб платком.

— Нет, — слабо возразил он, — этой машины я не видывал и машинами, признаюсь, мало увлечен. А вот в кофейном доме я видел там бабу, так ее за деньги показывали. — И Василий Львович, захлебываясь и пуская пузыри, рассказал об английской бабе. От смущения он несколько прилгнул.

— Ты ее где видел? — отрывисто спросил кузен.

— В Лондоне, — ответил Василий Львович.

— Сколько взяли с тебя за посмотренье? — спросил кузен.

— Фунт стерлингов, — сказал Василий Львович неохотно и посмотрел на кузена, свирепея.

Но Алексей Михайлович, казалось, этого не замечал.

— А хочешь без всяких денег такую бабу видеть?

— Хочу, — свирепо сказал Василий Львович.

— Тогда, братец, поезжай на Маросейку, в доме Кучерова, направо. В Лондон далеко ездить.

И опять, как тогда, когда дядя с отцом боролись из-за «Притч» Хвостова, Александру показалось, что над ними смеются. Блудов, казалось ему, прищурился и подмигнул Дашкову. Но Дашков был невозмутим и только краешком губ позволил себе улыбнуться на миг.

Дядя Василий Львович и в самом деле был забавен; Александр не удержался, засмеялся быстро и коротко,

когда уже все замолчали, и сразу прикусил язык. Гости посмотрели с некоторым вниманием на белозубого шалуна; глаза его были живые. По всему было видно, что он понимал гораздо больше, чем можно было ждать, и, может быть, лучше, чем следовало.

Тотчас Сергей Львович пожаловался на трудности воспитания. Нужна армия учителей! Нет такого человека, который совмещал бы знание всех этих оксигенов и пифагоров, которые теперь обязаны знать даже надзиратели, ибо такова воля monsieur de Speransky, французской литературы, которая, вопреки ce diacre de Speransky, [1] нужна для воспитания чувства, и танцев, которые, что ни говори, развивают изящество. О, прав, трижды прав граф де Местр, который его посетил в свой последний приезд: бог с ними, со всеми этими физиками и газами. Да и Николай Михайлович находит очень полезным для юношей танцы — и недаром! Но каждый учитель знает либо только оксигены, либо танцы. И для того, чтобы образовать сына, он пошел на все, в доме толчется армия учителей: Пэнго учит танцам, протоиерей закону божию, m-r Руссло французской литературе, — с утра до ночи, без конца. Кажется, одни иезуиты способны дать благородное воспитание.

— Старая скотина Пэнго учит детей менуэту, который козел с Ноем танцевал, — равнодушно сказал Алексей Михайлович.

Беспричинная злость бывшего Пушкина была всем в Москве известна и так же естественна, как горчица и уксус к ужину. Но Сергей Львович не терпел его реплик и, как всегда, обиделся.

— Пэнго — ученик Вестриса-старшего,— сказал он сухо.

Обед кончился. Все, выпив черного кофею, сидели в покойных креслах, более добрые, чем когда бы то ни было. Тургенев и Блудов расстегнули жилеты. Вопрос о воспитании занял бы их, если бы они не были так сыты.

— А почему вы не отдали его в Университетский пансион? — спросил Блудов равнодушно.

Сергей Львович смутился. Действительно, Сашка вырос, его сверстники были определены кто куда, и он один слонялся, как недоросль. Университетский благородный пансион был тут же, рукой подать, и проще всего было бы отдать Сашку именно туда. Но Надина ни о чем не

[1] Этому дьякону Сперанскому *(франц.)*.

заботилась, и все бременем лежало на нем одном. Он помолчал и тонко взглянул на Блудова. Нет, этот пансион... бог с ним. Он предпочитает... Петербург.

— Вы хотите определить его в коллеж, к иезуитам? — спросил Блудов.

Сергей Львович ответил с некоторым раздражением. Ни словцо о Сперанском, ни его дружба с де Местром не были замечены.

— Да, — сказал он со вздохом, — разумеется, в коллеж. Куда же деться, только коллеж и остается.

Сергей Львович не собирался отдавать Александра в какой-либо коллеж, ниже́ посылать в Петербург. Он был недоволен, что затеял весь этот разговор о воспитании.

Тургенева одолевала тайная внутренняя икота, с которой он, видимо, боролся, то подавляя ее, то уступая природе. Оборотясь к Сергею Львовичу, положив руку на брюхо и посмотрев туманным взглядом на Александра, он торопливо сказал:

— В Петербург его, в Петербург...

Тут и Дашков, неподвижный, как монумент, невозмутимый, обратил свое внимание на Пушкина-племянника. Потом, скользнув косвенным взглядом по Сергею Львовичу, он сказал:

— Иезуиты дороги.

Сергей Львович почувствовал себя оскорбленным. Слегка откинувшись в кресле, он быстро повернулся к Дашкову и сухо спросил:

— Сколько же берут святые отцы, ces révérends pères, [1] за воспитание?

Дашков опять поглядел на него спокойным взглядом и еще короче ответил:

— Не знаю.

Тургенев, который по должности своей мог бы это знать, тоже позабыл.

— Тысячи полторы, две — сказал он.

И вдруг Александр увидел, как отец весь изменился. Легкая улыбка появилась у него на губах, он слегка прищурил глаза; что-то похожее на гордость, на отчаянную гордость лгуна и завистника появилось во всем его существе, и с искренним удивлением, не повышая голоса, Сергей Львович спросил Тургенева:

---

[1] Эти преподобные отцы *(франц.)*.

— Это за все?

— Да, — сказал Тургенев, — за все.

— Но это вовсе не много, — спокойно и медленно сказал Сергей Львович.

Дашков поглядел на него. Полторы и две тысячи были плата непомерная, и иезуиты в Петербурге ее назначили единственно с той целью, чтобы привлечь в свой пансион избранное юношество и чтоб к ним не совалась всякая дворянская мелочь и голь. Сергей Львович в это мгновение забыл все цифры в мире — и сколько денег задолжала Nadine во французскую лавочку и сколько задолжали в лавке за масло, уксус и яйца. Впрочем, он ждал вскоре из Болдина пополнения.

Шаликов, который давно ждал своего часа, решил, что он настал, и хриплым голосом стал читать какой-то свой романс; не было гитары, и он, к сожалению, не мог спеть его; гости слушали и не слушали. Каменное равнодушие было на обширном лице Дашкова; глазки Блудова смежились; Тургенев мерно дышал, все реже борясь с икотою. Сергей Львович, безмерно довольный собою за свой ответ Дашкову, один внимал поэту.

Александра никто не замечал. Он пошел бродить по дому. В боковой комнате, которую он всегда считал нежилою, он нашел молодую женщину, сидевшую за пяльцами. Она, завидев его, быстро встала и поклонилась. Они разговорились. Лицо у нее было доброе, широкое, белые руки быстро и проворно бегали по пяльцам. Александр смутно знал из разговоров, что у дяди Василья Львовича живет Анна Николаевна, которую тетушка Анна Львовна еще иногда называла по старой памяти Анкой. Он все вдруг понял.

Она спросила его об обеде и покраснела от удовольствия, узнав, что все вкусно. Скоро он стал помогать ей разматывать шелк. Потом она стала гнать его.

— Как бы не заругали, — говорила она с опаской, — дяденька заругают, — и вдруг несмело погладила его по голове и улыбнулась.

— Уходите, уходите, Александр Сергеич, — заговорила она быстро и замахала на него руками.

Ему ни за что не хотелось уходить из комнаты. Гости ему не нравились; они были чванные. Дашкова он не-

---

[1] Эти преподобные отцы *(франц.)*.

взлюбил. А здесь, в комнате, было тепло, и глаза у Аннушки были веселые, и эта смиренная затворница и эта комната вдруг необыкновенно ему понравились. Дядя Василий Львович, который теперь хлопотал в гостиной и над которым посмеивался Дашков, снова возрос в его глазах. Он не хотел идти прочь, упрямился и упирался. Тогда Аннушка, обняв его и закрутив руки, вдруг с неожиданной силой и ловкостью вытолкнула его за дверь.

Была пора; его звали; гости уже разъезжались и шумно одевались в передней. Шаликов, красный и недовольный, сумрачно влезал в рукава шубы. Романсы его не имели успеха; все некстати засмеялись на самом нежном стихе из-за урчания, вдруг раздавшегося: Александр Иванович не совладал с природою. Новые друзья смеялись, казалось, над всеми — и над петербургскими стариками и над друзьями Карамзина. Шаликов решил сегодня же писать графу Хвостову, который умел ценить друзей, не так, как эти молокососы.

Уже зажгли фонари, когда они возвращались домой. Москва засыпала.

Сергей Львович на вопрос сына, кто таков Блудов, долго молчал и потом неохотно, со вздохом и брюзгливо сморщась, ответил:

— Все они дипломаты.

Александр ничего не спросил об Аннушке. Он чувствовал, что не нужно, нельзя спрашивать об этой веселой затворнице.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Среди забав родители приметно состарились. Мягкие, как лен, волосы Сергея Львовича редели, сквозили по вискам, и на макушке розовела уже лысина. Надежда Осиповна раздалась, и ее лицо огрубело. У них родился сын Павел, который, впрочем, вскоре скончался.

Они вели жизнь эфемеров, считали втайне дворню, учителей и детей крестом, и если бы кто спросил внезапно Сергея Львовича, богат ли он, знатен ли и как себя понимает, — на все было бы два ответа. Он в глубине души считал себя богатым, а скупился из осторожности; считал

себя и знатным — по происхождению, а чин его и звание были: провиантского штата комиссионер, седьмого класса. Это была грубая существенность, от которой он отворачивался. Давая иногда полтинник старшему сыну для отроческих забав — дитяти исполнилось уже десять лет, — он тревожился, не потерял ли деньги сын, и проверял иногда целость полтинника. Как только заводились деньги, он шил себе у портного модный фрак и покупал жене перстень, память сердца.

И вот однажды они разорились.

Беда, как и всегда, пришла от Аннибалов.

Дяденька Петр Абрамыч не забыл обиды и вдруг выступил как прямой злодей.

Марья Алексеевна надеялась провести остаток дней в своей усадьбе и не хотела более помнить о черных днях своей молодости. Она не поехала даже в Михайловское получать наследство. Самая память об Аннибалах была ей, казалось, несносна.

И вот ее усадьба и покой, как в дни молодости, опять оказались прах и дым, и она без крова. Более того — самое Михайловское оказалось под ударом.

Угомонившийся, казалось, в своем сельце Петровском, мирно кончавший, казалось бы, свои дни любителем настоек и наливок, африканец внезапно предъявил ко взысканию в Опочецкий суд заемные письма покойного брата Осипа Абрамыча. Письма эти были даны покойным в дни жестокой страсти к «Толстихе», как звала ее Вульф, и, казалось, забыты обоими братьями. Деньги по ним причитались большие, потому что покойному арапу всякая жертва казалась мала для женских прелестей: по одному письму (золотой сервиз и сад для Устиньи) — три тысячи рублей, по другому (гнедые в яблоках кони и хрусталь) — восемьсот сорок два рубля.

Петр Абрамыч явился как бы мстителем за все обиды, когда-либо претерпенные Аннибалами. Вскоре в Михайловское прикатили тот же заседатель с приказным, которых Палашка называла пиявицами, и, несмотря на сопротивление кривого поручика, заявившего, что ни гроша в доме нет, и выпустившего было на них пса, учинили опись с оценкою.

В то же время предъявили и Марье Алексеевне иск, и вскоре Захарово пошло с молотка. Сергей Львович и Надежда Осиповна, получив письмо поручика, долго не

хотели ему верить и, только увидев в окно въезжающую повозку, на которой сидела Марья Алексеевна, поняли происходящее. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и заплакал, как ребенок. В течение дня он дважды принимался ломать руки и хрустеть суставами, а потом впал в ярость и, брызгая слюной, кричал, что Иван Иванович Дмитриев не оставит так этого дела, грозил старому арапу Сибирью и монастырем; к вечеру притих и дал Никите увести себя в спальную.

Назавтра приступили опять к чтению поручикова письма. Место, где поручик упоминал о своем псе и сражении с заседателем, вызвало общее одобрение.

— Молодец, — сказала Марья Алексеевна, — сразу видно, что честный человек.

К сумме долга она отнеслась недоверчиво и махнула рукой.

— Знаю я его. Больше двух тысяч ему было уплачено; второй раз на водку, пьяница проклятый, требует!

Сразу же после этого Сергей Львович сел писать письмо Ивану Ивановичу Дмитриеву. Первые две страницы, в которых он выразил негодование на людей бесчестных, холодных сердцем и жестоких, а также надежду на дружеское попечение, были сильны, сдержанны и превосходны. Далее предстояло изложить обстоятельства дела. Он написал о деньгах, которые старый и впавший в пороки генерал-маиор нелепо требует с людей, ни в чем не повинных и никем, кроме бога, не одолженных: три тысячи восемьсот сорок рублей, тогда как по этим счетам почти уже все — более двух тысяч рублей — уплачено. Здесь Сергей Львович привел слова Марьи Алексеевны; он почти верил в это, и так подсказало ему чувство оскорбленного достоинства. Так что долгу осталось всего тысяча рублей. И за какую-нибудь тысячу рублей злодейски описали обширные угодья.

Далее следовало написать о количестве деревень и людей, описанных злодеями.

Он спросил Надежду Осиповну, сколько деревень у них под Михайловским.

Надежда Осиповна вспомнила выпись, выданную приказным, сургучную печать, черный крестьянский пирог, чиненный морковью, и, ни за что не желая сознаваться в небытии деревень, ответила:

— Двадцать.

Сергей Львович так и написал.

— А сколько, мой ангел, там душ и людей?

Надежда Осиповна подумала. Толпа дворовых и мужиков в сермягах припомнилась ей.

— Двести, — сказала она.

Сергей Львович с горечью написал и об этом поэту: за тысячу рублей описаны родовое село Михайловское, двадцать деревень и двести душ; и это сделано против закона, без стыда и совести. Об имении Марьи Алексеевны он министру написал, но как о деле безнадежном не ходатайствовал, а она его об этом не просила.

Марья Алексеевна снова ютилась на антресолях и тенью ходила по дому, тихая и тоненькая, не находя себе дела и робея. Она, вздыхая, гладила детей по головам, присматривалась к ним с удивлением:

— Выросли.

— Тает, — сказала о ней тихонько детям Арина, — что свеча, — и махнула рукой.

Письмо Сергей Львович долго и старательно запечатывал перстнем и, запечатав, вздохнул с облегчением.

Никита послан к Василью Львовичу с извещением о случившемся несчастии, и прибыли сестры.

Аннет припала к голове брата и поцеловала его в розовую лысину. Сергей Львович был тронут до слез и только теперь почувствовал всю глубину несчастия. Он всплеснул руками и замер.

Приехал Василий Львович, извещенный Никитою. Он в сильном волнении сбросил шубу на пол и просеменил к брату, на ходу поцеловав руку невестке.

Сергей Львович склонился к нему на плечо.

— Oh, mon frère,[1] — сказал он, невольно вспомнив Расина, и голос его пресекся.

Потом он обнял Сашку и Лельку, смотревших на него со вниманием, прижал их к груди, точно ограждая от нападения, и, явив, таким образом, Лаокоона с сыновьями, воскликнул, обращаясь к брату:

— Не о себе сожалею.

Сыновние носы были крепко прижаты к отцовскому жилету, пропахшему смешанным запахом духов и табака. Сыновья задыхались.

— Брат, брат! — лепетала Анна Львовна.

---

[1] О, брат мой (*франц.*).

Василий Львович почувствовал зависть, благородную зависть артиста. Тальма оживился в нем. Он и сам готов был к этим движениям сердца — к объятию и стонам. Брат предупредил его.

Внезапно он сказал, холодно прищурясь и цедя слова:

— Cela ne vaut pas un clou à soufflet.[1] Все это не стоит медного гроша, выслушай меня.

Сыновья почувствовали, как отцовские объятия слабнут. Они с любопытством покосились на дядю. Все смотрели на него: Сергей Львович — разинув рот, сестрица Лизет — со страхом.

Василий Львович прошелся по комнате, высоко подняв голову.

— Pas un clou à soufflet, — повторил он еще раз медленно. Он сам не понимал, как это сказалось. Едучи к брату, он считал его погибшим и теперь придумывал, что бы такое сказать или сделать и как объяснить свои слова.

— О брат, брат, — трепетала Анна Львовна.

— Я напишу Ивану Ивановичу, — сказал Василий Львович, все так же сощурясь, — и завтра же все отменится. Будь покоен, — продолжал он, — они в наших руках.

И Сергей Львович успокоился. Василий Львович, старший брат, выказавший такую твердую решимость, казался ему прочнее и могущественнее, чем даже сам этого хотел. Легковерие Сергея Львовича было поразительное. Но выйти из состояния печали он не хотел или не мог. Перстом указывая на Александра, он вздохнул:

— О, коллеж!..

Мечты об иезуитах и гордый ответ богачам припомнились ему. Ныне это рушилось. Таков был смысл восклицания.

Видя кругом восторженные взгляды сестер и недоверчивые глаза невестки, удивляясь сам себе, Василий Львович сказал спокойным голосом:

— Я сам везу его в Петербург к иезуитам.

Он осмотрелся кругом. Надежда Осиповна, полуоткрыв рот, сидела притихшая, как девочка, и смотрела во все глаза на него.

---

[1] Это не стоит выеденного яйца *(франц.)*.

— Будьте покойны, друзья мои, — сказал скороговоркою Василий Львович, — я все беру на себя, и все это... но все это — pas un clou à soufflet.

Он кисло ответил на поцелуи сестер, повисших у него на шее, обмахнулся платком и вышел, оставив всех в оцепенении. Сев в свои дрожки, он с недоумением закосил по сторонам. Доехав до Тверской, он потер себе лоб и развел руками. Он сам ничего не понимал. Великодушие опять увлекло его. Он выпятил губу, как школьник, застигнутый на шалости. Проезжая по Тверской, он велел остановиться у кондитерской, нашел приятных и милых знакомцев и сообщил приятелям, что везет в Петербург племянника определять к иезуитам. Приятели посмотрели на него с интересом и были, казалось, довольны. Вскоре явился князь Шаликов. Он теребил, как всегда, в руках белоснежный платочек и приятно всем улыбался. Панталоны его были в обтяжку и сшиты по последней моде; Василий Львович иногда завидовал его новым панталонам. Услышав, что Василий Львович везет своего племянника, юного птенца, в Петербург к иезуитам, князь поставил свою чашку шоколаду, обнял Василья Львовича и крепко, троекратно его расцеловал. Он крикнул кондитерского ганимеда, и тот принес холодного бордоского. Все выпили за здоровье Василья Львовича и сердечно с ним расцеловались.

Князь просил его передать поцелуй души несравненному. Все чокнулись за здоровье несравненного, чувствуя и зная, что пьют за Ивана Ивановича Дмитриева.

Спросили Василья Львовича, надолго ли едет он?

— Надолго, — ответил Василий Львович меланхолически. Самое слово «надолго» было полно печали и значения.

Потом спросили еще бургонского, потом аи, а затем был обед.

Подъезжая к дому, отяжелев, Василий Львович чувствовал себя решительно счастливым, задремал на своей кушетке, такой, как у Рекамье, и, только к вечеру проснувшись, хлопнул себя по лбу, и Аннушке послышалось, что ее султан как бы произнес:

— Что наворотил!

Оборотясь к ней, он сказал со вздохом, чтоб собирала вещи, что он едет в Петербург.

Аннушка спросила, надолго ли, и Василий Львович, мрачно и загадочно посмотрев на нее, ответил:

— Надолго.

Аннушка, испугавшись, стала было собирать его в дорогу, но Василий Львович, махнув рукой, сказал, что поедет через месяц.

Недовольный собою, он провел дурной вечер и долго не мог заснуть.

Назавтра утром, лежа в постели, он ясно представил себе петербургскую жизнь, увлекся воображением, пришел в восторг от того, что можно будет пройтись по Невскому проспекту, прочел наизусть свое последнее стихотворение, воображал себя уже в гостиной Ивана Ивановича Дмитриева, произнес еле слышно за каких-то прекрасных слушательниц:

— Bravo! Bravo! — а потом, встав, набросив халат и попив чаю, стал соображать: не ехать ли в самом деле в Петербург всем домом — и с Аннушкою?

Эта мысль ему чрезвычайно полюбилась. В Петербурге было много приятелей, и это была, что ни говори, столица государства. Василий Львович, коренной москвич, вдруг почувствовал, что Москва никак нейдет теперь в сравнение с Петербургом. Она устарела.

Как все Пушкины, он был скор на переходы.

2

Часто Александр бродил по комнатам, ничего не слыша и не замечая, кусая ногти и смотря на всех и на все, на мусье Руссло, на Арину, на родителей, на окружающие предметы отсутствующим, посторонним взглядом. Какие-то звуки, чьи-то ложные, сомнительные стихи мучили его; не отдавая себе отчета, он записывал их, почти ничего не меняя. Это были французские стихи, правильные и бедные: рифмы приходили на ум ранее, чем самые строки. Он повторял их про себя, иногда забывая одно-два слова и заменяя их другими; вечерами, засыпая, он со сладострастием вспоминал полузабытые рифмы. Это были стихи не совсем его и не совсем чужие.

Сергей Львович недаром хвастался Руссло. Руссло был педагог во всем значении слова, он строго требовал от ученика правил арифметических и грамматических;

прежде же всего правильного распределения времени. Когда уроки были выучены, он допускал игры и шалости. Он мирился с бегом взапуски, если Александр не избирал для этого товарищами каких-нибудь дворовых мальчишек, как то дважды случалось; мальчики в пору развития своих телесных способностей должны резвиться. Прыжки и скачки через кресла и табуреты менее ему нравились; он совершенно не одобрял, наконец, дикой беготни и суматохи, когда Александр, как одержимый, все ронял и опрокидывал на своем пути, при этом крича или напевая какую-то бессмыслицу, нестройный вздор.

Но его выводила из себя эта дикая рассеянность, молчание, немота, когда Александр не откликался на окрики, занятый какими-то странными мыслями; но и мыслей у него не было — это выдавал его неровный взгляд. Да в таком возрасте и не должно быть. Мусье Руссло стал за ним наблюдать и подстерег: мальчик что-то писал, озираясь и, видимо, боясь, что его застигнут.

Вскоре дело разъяснилось; Руссло нашел несколько листков, спрятанных от постороннего взгляда под матрас. Это оказались французские стихи, а по легкой несвязности строк мусье Руссло заключил, что это собственные стихи Александра. Он прочел их, улыбаясь без всякой приятности. Руссло и сам был автор. Трижды пытался он проникнуть в печать и посылал свои стихи в «Альманак де мюз». Трижды он встречал отказ и как автор озлобился. Он подозревал интриги и козни печатавшихся поэтов, из которых многие, по его мнению, писали хуже его. Поэтому Руссло кисло прочел стишки дьявольского мальчишки, который был еще дитей и уже осмеливался марать бумагу, сочинительствовать. В особенности уязвило его, что стихи были правильные; однако в них была куча ошибок противу правописания. Руссло их исправил, а наиболее грубые ошибки подчеркнул двойной чертой. Кроме того, он сбоку начертал карандашом большой знак вопроса, выразив этим свои сомнения в уместности стихов.

Надежда Осиповна покровительствовала французу, который чувствовал себя у Пушкиных привольно. Сергей Львович искусно пользовался влиянием француза для того, чтобы устраивать свои дела; он нарочно вызывал его на рассказы, когда хотел улизнуть. Надежда Осиповна любила послушать Руссло и не замечала от-

сутствия мужа. Так мусье Руссло стал необходимым членом семьи, и ему случалось даже бывать посредником между супругами при ссорах. Надежда Осиповна советовалась с ним при шитье платьев; комплименты француза она принимала с удовольствием; замечания его обнаруживали совершенное понимание бывалого бульвардьера и всегда касались высоты тальи и глубины выреза.

После обеда Руссло приступил к делу. Он скучным голосом сказал, что как честный человек вскоре принужден будет отказаться от своих обязанностей и чувствует себя лишним. Надежда Осиповна и Сергей Львович изумились: ничто не предвещало такого заявления; с утра Руссло был, казалось, весел и тихонько насвистывал, за обедом, хотя и задумчив и чем-то, видимо, занят, но ел так много, с таким аппетитом, что Сергей Львович под конец даже огорчился. На вопросы, обращенные к нему, Руссло долго не хотел отвечать, но затем неохотно, взвешивая слова и выражения, пожаловался на Александра, на его леность и праздность, победить которую он не в состоянии. Александр насупился и вдруг коротко и грубо сказал:

— Неправда.

Надежда Осиповна хотела было прогнать его из-за стола, но француз удержал ее.

Вынув из кармана аккуратно сложенные листки, он начал читать стихи, медленно, с эмфазою, подражая какому-то трагическому актеру, а в конце каждого стиха изумленно вздергивал брови. Успех был разительный — Надежда Осиповна звонко захохотала, а Сергей Львович, которому редко приходилось смеяться, был рад, что Руссло остается и все оказалось фарсою.

Тут они взглянули на автора, Сашку, не без благодарности за то, что он доставил им это развлечение. Мальчик сидел у края стола и мял в руках край скатерти. Мать постучала по столу, как всегда делала, призывая детей к порядку. Он не слушал и продолжал быстро наматывать скатерть на палец. Она его окликнула. Тогда он встал и посмотрел на них, не видя их и как бы ничего не понимая. Лицо его было белесое, тусклое, рот подергивало, глаза налились кровью. Мягким внезапным движением он бросился к Руссло, как бросаются тигрята, плавно, и вдруг — вырвал у него из рук стихи и со стоном бросился вон из комнаты.

Все остолбенели. Руссло, оскорбленный как педагог и как остроумец, молчал и ждал, что скажут родители. Но Надежда Осиповна притихла, а Сергей Львович молчал. Что ни день, приходилось ему либо ссориться, либо унимать ссоры. Пообедать не дадут. Он негодовал решительно на всех — что ни день, то нелепости. Как на вулкане.

Руссло вспомнил о своих обязанностях. Он сам отправился объясняться с питомцем. Надежда Осиповна сидела скучная, отяжелевшая и ждала. Сергей же Львович с тоскою вспоминал о невозвратных днях, когда он ел славные щи у Панкратьевны и Грушка прислуживала ему со всей безыскусственной готовностью. Жива ли она и, главное, здорова ли? Он почувствовал, что его снова тянет к этой беспечной жизни, к обществу холостяков, рогоносцев и вольных дев. А между тем он сидел за столом, пообедав, скучая и ожидая конца очередной ссоры. И тут из детской донесся тонкий жалобный крик. Они опрометью бросились туда. Кричал Руссло, призывая на помощь.

Топилась в детской печка; у самой печки лежали брошенные охапкой дрова, и корчилась на углях, то бледнея, то чернея, сгоревшая бумага. Руссло стоял тут же, у печки, прижавшись в угол, выставив обе руки вперед для защиты и призывая на помощь. А перед ним, как маленький дьявол, стоял, оскалив радостно зубы и высоко занеся круглое полено, — Александр. Положение француза было самое жалкое. Надежда Осиповна бросилась к Александру и стала отнимать полено. Против ожидания, она не могла с ним сладить, сын оказался неожиданно сильным. Выгнувшись, как пружина, он крепко сжимал свое оружие, и мать не могла разжать его пальцев.

Наконец он сам метнул полено в угол и бросился вон из комнаты.

Руссло отдышался. Он был оскорблен до глубины души; вскоре он рассказал: войдя, он заметил, что Александр сидит на корточках и жжет эти свои бумажонки, paperasses. Он попросил его встать. Мальчик не повиновался. Тогда он притронулся к его плечу, повторив приказание. Вместо того чтобы исполнить приказ учителя, мальчик схватил полено и напал на него, не дав даже времени для того, чтобы принять меры обороны.

Руссло увернулся от удара счастьем и всем был обязан своей ловкости; старый рубака сказался в нем. Руссло просил освободить его от обязанностей воспитания этого маленького монстра.

Родители вздохнули оба разом и стали его упрашивать остаться. Француз был непреклонен. Наконец Надежда Осиповна заговорила о прибавке жалованья, и упорство воспитателя поколебалось. Сергей Львович, скрепя сердце, прервал переговоры, опасаясь, как бы жена не прибавила лишнего. Наконец учитель с чувством поклонился и заявил, что остается единственно из благородных чувств, проявленных родителями.

Александра искали и нашли у Арины.

К его удивлению, его не тронули.

Но по ночам он часто просыпался; сердце его гулко билось, глаза застилала ненависть. Он вглядывался в лицо спящего с холодом и бешенством. С тех пор как он затолкал в печку свои листки, опозоренные рукою француза, он не переставал упорно, страстно желать его смерти. Будь он старше, он вызвал бы его; Монфор недаром рассказывал ему о дуэлях и показывал выпады в терцу и кварту. Но шпаг не было, и его осмеяли бы.

Незаметно воображение увлекало его. Он бежал из этого дома, из Москвы; бродил по дорогам; слава окружала его. Он воображал глупый вид Руссло, который проснулся и не нашел его утром в комнате. Однажды он тихонько встал, дождался за дверью Русслова пробуждения и сквозь щелку наслаждался растерянным видом сонного Аргуса. Француз, казалось, что-то понял, заметил в маленьком монстре; он присмирел и стал обращаться с ним как со взрослым, льстя его самолюбию. Перед сном, ссылаясь на то, что из окна дует, он передвигал свою постель к дверям, переносил урыльник и спал, как цербер, у самого порога.

3

В двенадцать лет, в своем наряде, сшитом домашним портным, с острыми локтями, он казался чужим в своей семье. Как затравленный волчонок, поблескивая глазами, он шел к утреннему завтраку и с принуждением целовал у матери руку. Ему доставляло радость превратно тол-

ковать смысл родительских разговоров. В двенадцать лет он беспощадно судил своих родителей холодным, отроческим судом и осудил их. Они не подозревали об этом. Но и они стали тяготиться и с нетерпением поджидали, когда уж Василий Львович вспомнит о своем обещании. Как все не клеилось в этом году; пусто и холодно в этом доме.

4

У Сергея Львовича была драгоценная черта, которая помогала ему жить, была залогом счастия: он был неспособен к долгой печали. Пролив слезу, он тотчас же оживлялся, вспоминая острое слово, слышанное вчера, или забавный случай. Забавных случаев было в Москве всегда много. Царь, посетивший Москву, в Дворянском собрании вел в первой паре старуху Архарову, и в это время дама почувствовала, что теряет исподнее. Как древняя римлянка, старуха, не подавая вида, пренебрегла, наступила на упадшее исподнее и с гордой осанкой села рядом с царем. Старики московские гордились, хвастались и утверждали, что ни одна из нынешних модных красавиц не способна на такой поступок:

— Глазом не сморгнула!

Все это Сергей Львович рассказывал уже на второй день после потери Михайловского.

Письма Ивану Ивановичу посланы, этим самым приняты необходимые меры, и оставалось ждать. По вечерам Сергей Львович вспоминал, как гостил у тестя, и в воспоминаниях село Михайловское казалось обширным владением, окруженным дремучими лесами, с озером, которое по пространству более всего напоминало море; «морцо», — сказал Сергей Львович; дом был большой, уютный и теплый, старинный; службы удобно размещены. Леса кругом необъятные. Надежда Осиповна слушала и не возражала, а Марья Алексеевна, утирая слезы платочком, горевала о своем Захарове и все сказанное зятем относила именно к нему. Наконец она дала совет зятю и дочери написать прямо самому злодею.

— Может, это на него так, нашло, а теперь уж и передумал. У них у всех это бывало — от мнения. Может быть, опомнился и уж сам жалеет.

Сергей Львович нахмурился и наотрез отказался.

— О нет, — сказал он с недобрым спокойствием, — он пожалеет! Нет. Я писать не стану.

В тот же вечер, не без трепета и отвращения, он написал письмо генерал-маиору, прося его взыскание отложить, а самое дело прекратить. Если же сие невозможно, его превосходительство благоволит потерпеть короткое время, по неимению в наличности денег. Надеясь на благородство дворянина и дяди, он ждет от его превосходительства ответа, а впрочем, пребывает с совершенной преданностью и проч. Надежда Осиповна сделала к письму краткую приписку.

Ответа ни от Ивана Ивановича, ни от арапа не было.

Сергей Львович начинал роптать. Он так отчетливо воображал свою потерю, что более не ожидал спасения. Он роптал на Ивана Ивановича Дмитриева, который так занесся, что и ответить не может старым друзьям, роптал на правительство. Наконец он дошел до того, что объявил единственным царствованием прямо благородным недолгое царствование Третьего Петра.

— Поцарствуй он еще года с три, — сказал он однажды, — не я у Ивана Ивановича просил бы заступничества, а он у меня.

Как отнятое Михайловское в воспоминаниях становилось обширным поместьем, так и потерянное еще его отцом значение становилось в прошлом решительным могуществом Пушкиных.

— А потом пошли tous ces coquins,[1] все эти плуты, конюхи, которые кричат во все горло, — à gorge déployée, — а о чем кричат? Бог весть. И теперь с кем говорить? Chûte complète! [2]

Все эти должности, департаменты, присутственные и судейские места он строго теперь осуждал:

— Ябеда есть ябеда, а приказный всегда крючок и более никто.

И вдруг, когда уж перестали ждать, получен пакет от Ивана Ивановича, запечатанный толстою сургучной печатью.

Сергей Львович распечатал пакет. Руки его дрожали, как в ту памятную ночь, когда он был в проигрыше и вдруг ему повезло: открылась счастливая талия.

---

[1] Все эти негодяи *(франц.)*.
[2] Полное падение *(франц.)*.

Иван Иванович посылал Сергею Львовичу копию с рапорта псковского губернского прокурора. Сергей Львович прочел, бросил на пол и растоптал ногой. Он был бледен.

Прокурор, по-видимому, был поклонник наливок и настоек старого арапа; рапорт его был неприличен и груб. Прежде всего были странны цифры — он насчитал, — «видимо, с пьяных глаз», — сказал Сергей Львович, — всего в Михайловском дворовых людей и в деревнях крестьян мужеска 23 и женска пола 25 душ, а не двести, как полагали Сергей Львович и Надежда Осиповна. Господина Пушкина жалоба вовсе несправедлива, — писал далее этот негодяй, — ce faquin de prikazny, [1] — поелику от него платежа двух тысяч рублей нигде не видно.

— Не видно! — сказал, бледнея и усмехаясь, Сергей Львович. — Превосходно написано: не видно.

А кроме того, генерал-маиор Ганнибал представил в суд племянницы его Надежды и мужа ее Пушкина письмо, коим они просили его, Ганнибала, по неимению денег...

Сергей Львович пропустил две строчки... но он, Ганнибал, на это никак не согласен. И, видимо, все написанное теми же Пушкиными есть одно напрасное затруднение начальства в переписках.

— Я поеду к государю, — сказал Сергей Львович и крикнул Никите: — Одеваться!

Только после этого прочел он письмо Ивана Ивановича. Поэт был любезен и писал, что отдал прокурору, рапорт коего в копии он посылает Сергею Львовичу, приказ исполнение дела отсрочить и притеснений не чинить. К пересмотру же дела он, к сожалению, поводов не находит. Далее он просил кланяться милым его сестрам. Василью Львовичу он будет писать особо.

Сергей Львович мгновенно успокоился. Взяв с полу щипцами рапорт мерзкого прокурора, он бросил его в камин и уничтожил самый пепел.

Назавтра никто бы не сказал, что еще недавно Сергей Львович был готов ехать к государю и бранил правительство. Исполнение дела отсрочено — а это было самое главное. Могло пройти и пять и десять лет до этого ис-

---

[1] Этот плут приказный *(франц.)*.

полнения, а там наконец — глядь, — с божьей помощью и дядя умер. Нет, и после Третьего Петра с грехом пополам можно было жить. Конечно, Иван Иванович, пожалуй, мог бы и вовсе истребить это дело, но уж бог с ним. Впрочем, совершенно излишне посылать какие-то копии, рапорты всех этих каналий, над которыми он начальствует. Можно быть вельможей, не будучи светским человеком, и поэтом, не понимая истинного приличия. Самые стихи Ивана Ивановича вдруг стали менее нравиться Сергею Львовичу: в них встречались натяжки.

Михайловское опять принадлежало им и уж более не было тем громадным поместьем, которым казалось, когда его отняли. Дом был, может быть, и уютен, но крыт соломой.

А о Сашке и устройстве судьбы его можно было не думать. Все складывалось превосходно: братец Базиль везет его в Петербург, к иезуитам, и Сашка будет воспитываться вместе со всеми этими юными бездельниками Голицыными, Гагариными и tutti quanti.[1] Ces révérends pères, святые отцы, образуют его характер, который, правду сказать, несносен. Вечная возня в доме, драки с Лелькой и ссоры с Русссло — хоть кому надоест.

5

Оленька двигалась по дому неуверенно, всем существом чувствуя и зная, что она нелюбима. Она боялась матери до дрожи в коленках и бледнела от сурового взгляда; она хитрила, скрывала и во всем лгала, — даже тогда, когда это было не нужно.

— Parole d'honneur, честное слово, — лепетала она, когда ей не верили.

Если бы не ее мелкая походка, походка девчонки, которая знает, что нашалила, и боится наказания, да не блуждающие взгляды, по которым было видно, что она лжет, да не бесцветные ресницы, она бы, может быть, была миловидной. Она была вся в Сергея Львовича и разве грубоватым носом да еще чем-то вокруг рта — в мать. Волосы ее вились по вискам. Мимолетные гу-

---

[1] Другими *(лат.)*.

вернантки, которые раза два появлялись в доме то на месяц, то на неделю и исчезали бесследно, ведали ее воспитанием. Монфор не замечал ее. Руссло как рачительный член семьи учил и ее изредка французской грамматике и правилам арифметики. Ходил к ней одно время какой-то вечно пьяный немец-танцмейстер и учил стучать на клавикордах; играл он плохо, да был дешев. Оленька сбивалась с такта, он пребольно бил Оленьку за это по руке линейкой, она хныкала, музыка эта надоела Надежде Осиповне, и музыкальное образование Оленьки было закончено. На клавикордах в будни стояли тарелки с объедками, а когда ждали гостей, тарелки и все другое убирали и стирали пыль; но клавикордов никто не касался; как гроб, стояли они в гостиной.

Оленька любила Сашкины выходки: ссоры его с матерью и Руссло были для нее праздником; она со сладострастием, спрятавшись за дверью, слушала выговоры Руссло, крики матери и в ответ это странное, короткое фырканье — Сашкины ответы.

Она была безмолвной свидетельницей Сашкина нападения на Руссло и, втянув плечи, с горящими глазами, открыв рот и затаив дыхание, подсматривала в замочную скважину. Комнаты их были рядом. С этого времени, — в особенности потому, что Сашку не наказали, — она питала к нему боязливое уважение.

Вдруг, в одно утро, оказалось, что она уже не ребенок, что-то новое появилось в походке, вечером ее заметили гости, сказали: как выросла! Невеста! — и Надежда Осиповна испугалась. Неужто ей впрямь тридцать шесть лет, и дочь ее — подросток, девушка, скоро, может быть, невеста? Она до полдня сидела у зеркала неодетая и пристально на себя глядела. Кроме глаз да зубов, ничего молодого в лице не было. Но шея, но грудь, но тяжеловесный стан, который прельстил Сергея Львовича, — неужто впрямь она уже старуха? Сыновья росли, это ее не старило, она не много и не часто о них думала. У Сашки был дурной характер, его вскоре отвезут к иезуитам, Левушка толст и прелестный. Но она не желала, чтоб ей говорили: у вас дочь невеста. Жизнь пролетела и канула без страстей, без измен, без событий. Она жалела, что когда-то, до Сергея Львовича, не было у нее катастрофы с тем гвардейцем, с пьяницей. Он, кстати, тогда и не был пьяница. Как надоели ей эти

мужнины декламации перед камином, его остроты, его шлафрок, его походка.

Она стала строже к Ольге; дети разоряли их — одни наряды сколько стоили! Ольга отныне ходила в затрапезе. Арина штопала ей чулки, зашивала дыры и молчала. Ольга шепотком, быстро ей жаловалась, но Арина привыкла к ее жалобам и помалкивала.

Однажды Оле некому было пожаловаться, был вечер, родители уехали, Руссло ушел со двора. Она нашла Сашку в отцовском кабинете за книгами и быстрым шепотком, как всегда, начала жаловаться на маменьку и папà, на братца Лельку, которому достаются за обедом все лучшие куски, а потом сказала с чувством, что она в восторге от Сашки, что все его проделки — прелесть, а Руссло — скотина.

Дружба была заключена.

Ему польстило признание Ольги и почти суеверный страх и восторг в ее глазах. Но он презирал ее быстрый шепоток, ее трусость, и ему не нравилось, что она всем на всех жалуется и так умильно смотрит на маменьку, желая заслужить ее расположение.

Ему было жаль ее и досадно.

— Ты плакса, а я шалун, я их не боюсь, — быстро сказал он ей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Он знал, что скоро уезжает. Все в доме на него смотрели по-другому; к нему не придирались более, и он был предоставлен себе самому. И сам он со стороны взглянул на этот дом, на свою комнату, на тот угол, между печью и шкафом, где он, грызя ногти, читал книги, а раз чуть не убил своего воспитателя. Все показалось ему беднее, меньше, жальче. Отец, которого он считал высоким, оказался маленького роста. Впрочем, он мало думал о них всех. В мыслях своих он уже мчался по столбовой дороге, обгоняя всех путешественников, а там уже был в Петербурге, чудесном городе, о котором вздыхал отец, завидовавший ему, и который ругали все знакомые старики.

Походка его незаметно стала более быстрой.

У него была особая, плавная походка: тело подавалось вперед, а шаги растягивались. Он много гулял теперь по Москве, и самолюбивый Русско напрасно напоминал ему об экзаменах. Экзамены более пугали Русско, чем его воспитанника.

На Москву, на московские улицы, дома, людей он тоже теперь глядел по-иному — чужим, быстрым взглядом. Бесконечные обозы тянулись по Москве, медленно кряхтели возы, медленно шагали рядом мужики, везущие деревенскую дань. А там, вдруг — гремел из переулков смех, и московские шалуны на тройках, с бубенцами, пролетали, махнув на все рукой. Дома то прятались в садах, то здесь и там лезли каменными ступнями на обочины, словно строптивые глухие старики, наступающие прохожим на ноги.

Широкие улицы Москвы показались ему теперь нестройными.

Шли дома вельмож, спрятанные в глухие, как лес, дремучие сады, московские замки, в которых смеялись над Петербургом и над франтами и старели среди войска старух, отрядов дворни, арапов, мосек; и вдруг в неурочный час доносилась оттуда роговая музыка: старый Новосильцов кушал чай.

С криком: «Пади» пробежали скороходы, и тяжело прогрохотала странная карета. И Александр с изумлением, со стороны — заметил этот выезд: стояли на запятках пять арапов, а впереди, в странных нарядах, с белыми перьями на шляпах бежали скороходы и, задыхаясь, кричали:

— Па-ди!

Пошли главные улицы, и один дом был страннее другого. Стоял по Неглинной китайский дворец, зеленый и золотой, как павлин. Драконы разевали пасти на прохожих москвичей, а в спокойных нишах стояли желторожие болваны под зонтиками — мандарины. Роскошь, сон и прохлада были в мутных стеклах дома, в котором, казалось, никто не жил. Но медленно, с московским хрипом, открылись ворота, — старик Демидов отправился на прогулку.

Он пошел по Тверской.

Насупив брови, проехал мимо князь Шаликов, его не заметивший, — в кондитерскую. А вскоре он увидел: с беззаботной улыбкой, закатив бледно-голубые глаза, еще не старый, хоть и обрюзгший, семенил по улице его

отец и смотрел, щурясь, в лорнет на проезжавшую старуху. На коленях у старухи была моська; Сергей Львович поклонился ей, и старуха остановила свой дормез. Быстрее молнии Александр свернул в переулок.

Через месяц был назначен его отъезд. Он уезжал с дядей Васильем Львовичем в Петербург.

2

Была весна, время птичьих прилетов. В кустах на бульваре и на деревьях в садике появились задорные пискливые птахи, имени которых Василий Львович как горожанин не знал. Соловья он дважды слышал у графа Салтыкова под Москвой, и его болтливые трели нравились Василью Львовичу так же, как и подражанье соловью: у Позднякова на балах дворовый, скрытый в тени померанцевых дерев, щелкал соловьем.

Птицы прилетели, и Василий Львович собрался в Петербург.

Он написал петербургским друзьям, и на Мойке у Демута сняли для него удобные нумера, не очень дорогие. В Петербурге Василий Львович намеревался прожить несколько месяцев, побывать в свете, обновить дружеские связи с Дмитриевым, которые начали уж угасать, — и, наконец, определить племянника в пансион к иезуитам. Дел было много.

Приближалось время отъезда. Уже на почтовом дворе справлялись от Василья Львовича об удобной коляске для бар и телеге для поклажи и людей.

Сергей Львович встрепенулся. Отъезд сына приближался; между тем, как нарочно, случилась история с старым арапом. Пришлось откупаться, чтоб заткнуть временно глотку жадному африканцу, которого отныне Марья Алексеевна звала не иначе, как злодей. А сколько дано приказным! Сергей Львович лишний раз убедился в черствости и корыстолюбии приказного племени, которое всегда ненавидел.

Как бы то ни было, пересчитав свою казну, Сергей Львович нашел ее поредевшею. Решено пойти на жертву: не был сшит превосходный зеленый с искрой фрак, с высоким лифом, который Сергей Львович собирался шить к лету; была уже выбрана модная картинка,

и Сергей Львович уже воображал себя облеченным во фрак: оставалось только сунуть в петлицу цветок. Подумывали о том, чтоб продать Грушку, которая разленилась и вообще стала не нужна в доме. Родители скопидомничали; обеды у Пушкиных становились все гаже. Болдинская дань не помогала. Стоял июнь месяц. В один день Сергей Львович круто все изменил: заложил болдинские души, разбогател и успокоился; тотчас фрак был заказан. Александр мог воспитываться у иезуитов.

Между тем, раздобывшись деньгами, Сергей Львович, как всегда бывало, занесся. Сам черт был ему не брат. Он с загадочным выражением поглядывал иногда на Надежду Осиповну, и Надежда Осиповна холодела от страха: предприятия Сергея Львовича всегда казались ей сомнительны и даже опасны. В один из таких дней он прочел постановление об открытии в Царском Селе лицея и взволновался. Он неясно представлял себе, что такое лицей, но внезапная мысль пришла ему в голову. Он поговорил с приятелями. Ходил слух, что в заведении будут воспитываться великие князья.

Случай, который управлял жизнью и давал неожиданное счастье в два предыдущие царствования, снова представлялся. Молодой человек мог стать товарищем игр будущего кесаря или, гуляя, случайно повстречать в роще императора с императрицей; так или иначе, судьба его решилась. Вспоминали всем известные анекдоты прежних царствований. Сергей Львович представлял себе, что Сашка воспитывается в Царском Селе, чуть не во дворце, и понял, что это случай единственный. Иезуиты показались ему уже не так привлекательны. Вместе с тем, в глубине души он был почти уверен, что Александра не удастся определить в новое заведение. Честолюбие его было сильно занято. Он трепетал. Тайком от жены он решился попытать счастья. Чин и вес его были недостаточны, прошений, он понимал, будет подано много, и боялся отказа. Таясь от Надежды Осиповны, он послал прошение о принятии сына его в новое учреждение. Труся, он решил не сдаваться: либо коллеж, либо Царское Село. Прошение было хорошо написано, но этого одного было мало.

Самая справка о древности его рода нелегко ему далась. Пришлось прибегнуть к сильной защите Ивана Ивановича Дмитриева. Нужное свидетельство было прислано.

Представительство поэта, однако, убедило еще раз Сергея Львовича, что поэт и министр был педант. Подписи министра юстиции Дмитриева и графа Салтыкова значились под свидетельством незначащим и даже двусмысленным. Вельможи свидетельствовали, что недоросль Александр Пушкин есть действительно законный сын служащего в комиссариатском штате 7-го класса Сергея Львовича Пушкина. Подобное свидетельство, без всякого сомнения, могло быть добыто по приходской записи.

Старинное слово «недоросль», осмеянное еще Фонвизиным и примененное к его сыну, не только обидело, но и несколько испугало Сергея Львовича.

— Законный или нет в собственном смысле, это вас, сударь, не касается, — прошептал он.

Однако подписи и титло министра говорили за себя.

Скрепя сердце Сергей Львович открыл свои планы брату Василью Львовичу, предоставив ему выбирать между иезуитами и лицеем, да написал короткое, чрезвычайно любезное письмо Александру Ивановичу Тургеневу. Самому Александру отец раза два туманно говорил о Царском Селе, в котором открывается лицей, но сразу же уклонялся в описания природы и умолкал.

Иезуиты были вернее, все у них менее официально, а впрочем, и они не верны. Все должен был решить Василий Львович на месте. Как старый игрок, Сергей Львович верил в удачу, и вместе самолюбие его было заранее уязвлено.

Он с легкой досадой смотрел теперь на сына — стоил ли сын таких попечений, забот? Это был сын первой страсти, — и вот рос бесчувственным. Иногда по вечерам он подробно, с житейской мудростью человека, много видевшего, давал сыну наставления. Постепенно он до тонкостей и мелочей вспомнил Петербург, Невский проспект, гвардейскую молодость, потерянную карьеру, и ему самому вдруг смерть захотелось туда, на место несмышленого юнца. Что Сашка найдет в Петербурге? Зачем ему, в самом деле, понадобился Петербург? Мог бы отлично воспитываться и в Москве. Скольких трудов стоит ему воспитание детей!

Было, однако же, поздно менять.

Со вздохом и горечью давал он сыну наставления:

— Саек в Гостином дворе и пирожков отнюдь не покупай. Тебя обступят купцы и станут кричать: «Саек, саек горячих!» Эти сайки — яд, и я однажды чуть не умер от них.

— На Невском проспекте, помни, ты можешь встретить государя, он, говорят, нынче каждый день гуляет по Невскому проспекту. Завидя его, ты должен стать вот так и поклониться вот так.

Сергей Львович учил Сашку кланяться и оставался недоволен.

— Так, а не так!

Он побывал в герольдии: и там толстяк Сонцев выдал свидетельство Александру в том, что он происходит из древнего дворянского рода Пушкиных, коего герб внесен в общий гербовник. Судьба Александра была устроена. Сергей Львович сделал для сына все, что мог, и временно забыл о нем.

Во всем этом и сестрицы — Анна, а за нею и Лизета — принимали участие. Анна Львовна недаром читала «Утренник прекрасного пола», который был ее настольной книгой. Он был очень удобен: в конце книжки шли чистые разграфленные листы — одна графа для визитов и посещений, балов, другая — для записи карт, выигрыша и проигрыша, а третья — самая большая — для записи анекдотов и острых слов. Анна Львовна довольно регулярно вела эти записи. В анекдоты она помещала все сведения о женской неверности по Москве, а в отдел острых слов — изречения своих братьев. Первый отдел книжки «Славные женщины» — был любимым ее чтением. Ужасные нравы Поппеи, Фульвии и Клеопатры были ей знакомы. Цезония или Милония, которую наглец Калигула показывал приближенным в виде Венеры, нагою и увенчанной розами, — всегда вызывала ее сожаление. Но тут же был помещен обзор героинь более тихого нрава, и среди них императрица Катерина I, пожертвовавшая для выкупа своего супруга из плена от турков все свои украшения. Анна Львовна стремилась играть в среде родных именно такую роль, роль спасительницы.

3

Прошел май, прошел июнь, а Василий Львович все никак не мог тронуться в путь. Сергей Львович боялся напомнить ему, — неравно раздумал. Александр томился и часто просыпался среди ночи в холодном поту. Фран-

цуз, желая блеснуть познаниями питомца, морил его вокабулами и правилами арифметическими. Александр был рассеян и дик. Время шло медленно.

Наконец, когда уже кончился июль, Василий Львович объявил, что едет. Был назначен день отъезда.

В этот день Арина встала пораньше; все было давно починено, заштопано, уложено. Учебные книжки, которые брал с собою Александр Сергеевич, она разложила поровней, чтоб не развалились при тряске; на окне нашла она забытый томик и, подумав, тоже сунула его в чемодан. Томик был — мадригалы Вольтера. Потом осторожно сняла с полок Сергея Львовича самые малые книжечки в кожаных переплетах, — Александр Сергеевич ими более всего занимался, да и книжечки были махонькие. Сергей Львович давным-давно не подходил к полкам. Она уложила тихонько в чемодан и эти книжечки, числом не меньше двадцати.

— Кому здесь нужно, — проворчала она сурово, но не без робости.

Книжки были самого веселого свойства: Пирон, Грекур, Грессе, новейшие анекдоты. Александр Сергеевич, читая их, всегда посмеивался.

— Все веселее будет, — решила она. Ей не сиделось. Сбегала на кухню, где жарили телятину на дорогу; еще раз почистила платье.

Больше делать было нечего, и она пригорюнилась. Заглянула тихонько в дверь: Александр Сергеевич спал спокойно и ровно. Такая беспечность поразила ее.

— Молод, совсем дите еще, — сказала она Никите,— на кого посылают-то.

Никита не любил с нею разговаривать, почитая женщин вообще бестолковыми.

— Для образования, — сказал он неохотно.

— Для образования, — повторила с сердцем Арина, — у чужих людей! Плох был мусье, что ли?

Монфор как воспитатель произвел на Арину самое отрадное впечатление.

Никита не счел нужным ей возражать.

— Всякий обидит, — сказала Арина и поднесла передник к глазам.

— Мусье не обижает, — ровно возразил Никита.

Дворня терпеть не могла Руссло.

— Всё дома, — сказала Арина.

Никита махнул рукой и пошел.

Было жаркое утро, солнце припекало. Мать, отец, тетки сидели чинные, притихшие и смотрели на отъезжающего косвенным, посторонним взглядом. Арина стояла бледная, ни кровинки. На пороге она перекрестила его и пошептала, — он не расслышал. Сердце его сжалось.

Уезжали они по Тверской дороге.

Провожали их до самой заставы.

Василий Львович, осмотрев коляску, остался недоволен и разбранил смотрителя. Таково было обыкновение всех путешественников.

В самый миг расставанья Анна Львовна, смотря не на племянника, а на братьев, вручила Сашке запечатанный конверт.

— Здесь сто рублей, это тебе на орехи, — сказала она значительно, — смотри не оброни.

Сергей Львович всплеснул руками и нежно попенял сестре. Она расточительна. Василий Львович был заметно удивлен. Он сказал, что берет деньги на сбережение; взял конверт, который Александр держал в руках, не зная, что с ним делать, и положил в карман.

Анна Львовна осталась довольна впечатлением, произведенным на братьев. Сашка поблагодарил, но, казалось, не был тронут или поражен. Ничего другого, впрочем, она от него и не ожидала.

Ямщик уселся, колокольцы залились, и он уехал.

На повороте Василий Львович обратил на него важный взгляд свой — юный птенец впервые покидал отеческих пенатов. И обомлел: глаза юнца горели, рот был полуоткрыт со странным выражением, которого Василий Львович не мог понять; ему показалось, что юнец смеется.

Часть вторая

ЛИЦЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

День министра кончался.

Сегодня он не ездил ни в государственный совет, ни во дворец к государю. После обеда были у него посетители; последний посетитель, незаметный чиновник секретной экспедиции, передал ему молча пакет и удалился. Этот посетитель обычно не задерживался.

Немец-секретарь, бесшумно заглядывая в дверь, видел громадную сутулую спину министра. Он писал, неподвижно сидя, и по спине секретарь знал — к кому: к государю. Так шло час и два. Без остановок и промедления, как машина, исписывал он ровным круглым почерком лист за листом. Тишина стояла в доме; он требовал тишины абсолютной, нерушимой. Большие английские часы методически ходили. В мягких туфлях

сердито передвигалась по дому старая хозяйка, мистрис Стифенс. Десять лет назад, когда он был экспедитором, незначительным чиновником, умерла после родов его жена-англичанка. Не взглянув на ребенка, он ушел из дому и пропадал две недели. Он не был на погребении жены, и все считали его погибшим. Вернулся он домой в виде истерзанном, мокрый и грязный. Глаза его блуждали. Из всех живых существ он замечал только свою дочь. Он молчал с месяц, а потом стал ходить в должность. Он никогда не заходил в комнату покойной. Сердце его было разбито, и жизнь, казалось, кончена. В действительности она только начиналась.

Теперь ему было сорок лет, он был министр и государственный секретарь. На деле все государство, за исключением дел военных, лежало на нем. Власть его была обширна, и границы ее стали теряться. У него было много врагов: его кляло дворянство, проклинали чиновники, боялись и ненавидели придворные. Он жил теперь на Сергиевской улице, в небольшом двухэтажном доме, куда переехал после смерти жены. Дом был уютный, с английскою мебелью. Кабинет наверху невелик; тут же на кожаном диване он и спал. Окна кабинета выходили на пустой замерзший Таврический сад; приземистый дворец Потемкина, уже четверть века необитаемый, с заколоченными окнами, виднелся из-за деревьев. Только иногда, в именины Александра, Константина, Елизаветы, дворец вдруг оживал и далеко светился. Все дорожки бывали тогда в саду расчищены, по саду снова гуляли нарядные люди, посматривая на Сергиевскую улицу с разнообразными чувствами. Потом именины, дни тезоименитств кончались, окна надолго заколачивались; снег заносил дворец Потемкина, как пустой театр, в котором представление кончилось, а бродячая труппа уехала.

Он жил в стороне от света, вдалеке от движения и никого не принимал. Изредка посещали министра ближайшие приятели: горнозаводчик Лазарев, откупщик Перетц. Лазарев был предприимчивый и сильный армянин, осевший со всем своим родом и близкими в Москве, в переулке, оттого назвавшемся Армянским. В последнее время он был занят мыслью об устройстве обширного восточного училища для своих соотечественников и часто советовался с министром. Перетц был столь из-

воротлив и смел по финансовой части, что часто забавлял министра неожиданными мыслями.

Наконец он перестал писать и разом встал.

Он был высок ростом, с длинными руками, ширококостый. Лицо его было белое, лоб покатый, а глаза полузакрытые, китайские. Он бережно сравнял листы, запер их в секретер и, позвонив в колокольчик, велел позвать к себе секретаря.

Франц Иваныч, личный секретарь, явился.

— Илличевский прибыл?

— Два дня как приехал и сегодня просился принять. Завтра, как слышно, уезжает.

— Илличевского бы сегодня не нужно.

— Невозможно отменить, не обидев.

— Франц Иваныч, милый друг, — сказал министр, — распорядись вином; мне нужен портвейн добрый, но обыкновенный. В прошлый раз прислал Бергин портвейн чрезвычайный. Такого не требуется. Он невкусен. А шатомарго всем надоело. Я не знаю, для чего он стал слишком разборчив.

Министр улыбнулся. Улыбка его была влажная: десны с крепкими желтыми зубами обнажились.

Сегодня вечером он ждал гостей. Илличевский, однокашник его по семинарии, был назначен томским губернатором и отправлялся к месту служения.

Министр положил громадную руку на листы.

— Подумайте и изберите другого докладчика, со штилем, несколько грамотным; посмотрите, что пришлось сделать с сим.

Длинные узкие листы были согнуты пополам; написанное писарскою рукою до сгиба было все, по строкам, ровно зачеркнуто, а рядом — на другой половине листа — все написано самим министром.

— Ищем год и найти не можем. Не о штиле приходится думать, но о простой связи.

— Экие чудаки, — сказал министр с сожалением.

— Я покорно прошу вас переменить ваших людей, — сказал вдруг Франц Иваныч потише.

Оба помолчали.

— Говорите, — сказал министр другим голосом.

— Достоверно, что Лаврентий сулил вчера графа Кочубея камердинеру сто рублей, чтобы узнать, куда граф ездит по вечерам. Он шпион.

Министр и секретарь опять замолчали.

— Я с охотою отпустил бы, — сказал министр скучным голосом, — но кем заменить? Нет верного человека.

Он опять остался один; наступил час самый важный — час корреспонденции.

Он достал пакет, который давеча принес экспедитор, и стал просматривать. Это были копии перлюстрованных писем, для него одного снятые. Вести были дурные. Французскому эмигранту писали из Австрии о войне как о деле решенном и так, как будто она уже шла. Письмо из Твери подтверждало все, что было ему известно, — царю вручен еще один «вопль», объемистый, и на сей раз действие ожидается верное.

Великая княгиня Екатерина Павловна, любимая сестра императора, живя в Твери, стремилась руководить братом и передавала ему записки от угнетаемого дворянства, которые министр называл «воплями» и к которым привык. Автором последнего «вопля» назывался в письме Карамзин. Он бросил листок в камин. Взяв щипцы, он смешал пепел. Кроме имени Карамзина, ничего нового для него в письмах не было. Карамзин был враг страшный. Он однажды сумел от него оградиться: Карамзин не был назначен министром просвещения только по его настоянию. Впрочем, Разумовский был не лучше его. Война же была еще не решена, и это он знал лучше, чем автор письма.

Он посидел перед камином, посматривая на пламя, щипцами мешая и уравнивая уголья и наблюдая постепенное превращение их в прах. Войну он ненавидел как беспорядок и случайность, последствия которых не мог предусмотреть. Война путала все планы и нарушала размеры. Он был человек статский: произойди война, и система его — уголь и прах. Война предстояла решительная, и он не сомневался в поражении и гибели всего. Но он давно решил, что в политике, как в жизни, нельзя и, главное, не нужно обо всем сразу думать и все додумывать до конца. Это было правило, им самим установленное и которому он заставлял себя подчиняться, как школьник.

Он вдруг перестал думать о войне, которая уже с год грозила государству, как будто опасности вовсе не было. Но Карамзин, Карамзин был страшнее всего. И это надлежало обдумать сегодня же и нимало не медля.

Он взял с полки «Дон-Кихота» и, раскрыв наугад, стал читать. Как всегда, любимая книга его успокоила. Дружба толстого Панса с сухопарым дворянином была самой высокой поэзией, какую он знавал. Одиночество исчезло, все приняло опять вид прочный и удобообозримый. Почитав с полчаса, он отложил книгу и своим ровным круглым почерком написал на листке: «Об особенном лицее. *Все* состояний».

Дело было новое и важности чрезвычайной: о воспитании великих князей, из которых один был, возможно, наследник престола. Оно было поручено ему как бы вскользь, среди других важных разговоров, в прошлое свиданье самим императором и так, как умел делать император: словно это не было поручение, а только ни к чему не обязывающий вопрос с его стороны.

2

Было замечено, что в последний год император вдруг несколько раз начинал говорить о своих братьях. Братских чувств у него не было. Со времени смерти отца его вскоре исполнялось десять лет, и за это время он видел братьев всего два раза. Они были всецело на попечении матери и жили теперь то в Гатчине, то в Павловске, занимаясь военными играми. В Гатчину же он не ездил. Он, может быть, иначе относился бы к ним, если бы как-то раз, заговорив о них с матерью, не заметил на ее лице хорошо знакомого выражения: страха и гадливости. Он прекратил разговор.

Собственная вежливость угнетала его. С детства он был перед всеми виноват. Перед императрицею за то, что при ней ласкался к отцу, чего не делать не мог, потому что боялся отца более всего на свете, и перед отцом — сначала без вины, а потом и в действительности. Он знал о заговоре, стало быть участвовал в убийстве отца; короче, был отцеубийцею. Теперь он уже десятый год нес свою вину перед матерью, которая молча считала себя естественною наследницею убитого, а сына — преступником, и перед женою. Его женили еще мальчиком. Он относился к жене, холодной и меланхолической баденской принцессе, с легким отвращением. Несмотря на то, что жена его уже много лет была русскою

императрицею, она все не могла привыкнуть к этому и по-прежнему оставалась баденской принцессой. Со злостью он принуждал себя появляться в ее обществе. Полька Нарышкина была его любовницей. У любимой сестры, Екатерины, которая ни перед чем не останавливалась и необузданностью напоминала брата Константина, он также находил некоторое утешение. Теперь она была выдана замуж и жила в Твери.

У него был сиплый голос и бешеный нрав его отца; но он с детства привык владеть собою и улыбаться своему воспитателю, придворным, иностранцам. Потом появилась любовь к чтению, тонкость разговора и, наедине с собою, мечтания. Он часами, привыкнув к улыбке, не сгонял ее с лица и сидел, созерцая и ничего не видя. Видевшие его в такие минуты фрейлины говорили, что у него ангельская улыбка. Глаза его были бледно-голубые, лицо обширное, девически белое, блаженная немая улыбка, пухлые губы. Взгляд его был рассеянный, с особым, загадочным выражением — он был близорук. Собачий прикус придавал ему выражение капризное, вовсе не противоречившее признанному прозвищу: «ангел».

Подлинная любовь была у него к самому себе: к своей походке, к своему стану, который тяжелел, к белым рукам; придворная жизнь приучила его к тонкому, почти женскому кокетству, к скромному щегольству, еле заметному: он очень любил черные форменные сертуки, оттенявшие белизну его кожи. Теперь он был стареющий щеголь и, как женщина, ревниво следил за появлением морщин; волосы его редели; он сначала носил тупей, но потом белая, сияющая кожа черепа ему понравилась. Вскоре ранние лысины вошли в моду. Походка его была шаткая, потому что ноги были нетверды; но сам он был уверен, что это от его желания казаться и быть легким.

Смолоду отцом он был приучен к фрунту и любил его не только потому, что он своею точностью успокаивал его, но главным образом по отсутствию мыслей во время разводов. Его считали вероломным. И действительно, ему ничего не стоило вдруг нарушить данное обещание и даже поступить без нужды вопреки и наперекор ему. Это случалось по уклончивости ума: он говорил, обещал, возражал машинально, а думал только спустя некоторое время. За границей, где он впервые понял, что управляет

и владеет половиною мира, он слыл непроницаемым. Он любил только иностранные города и иностранцев, потому что там чувствовал себя вполне государем. В России, кроме дворцов, в которых жил или останавливался и из которых некоторые были удобны, кроме городов — по большей части малых и неправильных, он более всего помнил дороги, варварские, ухабистые, грязные, с отвратительным запахом навоза. У поселян был вид звериный. Он ценил внушительность пространств в цифрах верст на карте, которая висела у него в кабинете, да количество жителей: пятьдесят миллионов. Это количество и пространство пугали его, когда он был в России; в Европе же он любил говорить о них, и сам, случалось, пугал.

Чтение, образованность и долгая придворная жизнь среди враждующих бабки и отца развили в нем тонкость, уклончивость мыслей, понимание характеров и умение пользоваться случайностями. Он тонко чувствовал все, что угрожало или было полезно власти. Мало разбираясь в вопросах политических и будучи в центре дел европейских, он сдал государство как бы в аренду Сперанскому. Потребность все время свое посвящать Европе открыла много вопросов, ему ранее неизвестных; всякое приличное правление, или хотевшее им быть и казаться, должно было ими заниматься. Сперанский именно был расположен к этим занятиям по своей странной для поповича образованности; он был способен мыслить логически и учреждать. У него был дар письмоводства.

Скромность поповского сына, его плавная речь, глубокая почтительность и невиданное трудолюбие были ему приятны, но в последнее время у него было много доказательств противного. Они были представлены врагами Сперанского и в высшей степени правдоподобны. Кроме того, Сперанский был слишком способен. Наполеон подарил ему свой портрет, что было излишнею короткостью и даже оскорбительно, потому что поповский сын был избран и отличен именно за его смиренномудрие. Он скрепил своей подписью два указа Сперанского, направленные против невежеств знати; помня советы друга своей молодости Строганова, он не усомнился подписать и указ об обложении дворянства налогами.

Общий ропот, поднявшийся со всех сторон после указов, о чем Сперанский, впрочем, его предупреждал, вдруг

испугал его. Тильзитский мир возмутил дворянство; налоги озлобили. Поляки подбросили ему пасквиль в Вильне, неслыханный по дерзости. Война с Наполеоном приближалась. Он не был храбр; пять последних лет провел он в войнах и никак не мог привыкнуть к виду сражений, крови, трупам и вони бранных полей. Случалось, он плакал во время боев, как женщина. Теперь он не сомневался, что, если война произойдет, русских побьют; тогда его власть неизбежно падет. Он стал сомневаться в преданности государственного секретаря; тот мог изменить ему, воспользовавшись войной и желая нового государственного порядка. Дружба его с Наполеоном и преклонение перед ним министра были слишком известны; по всем донесениям было видно, что то и дело он превышал власть. Все это были опасные признаки. За домом Сперанского уже полгода следил Санглен из тайной канцелярии. Император приблизил к себе верного отцовского слугу Аракчеева, простого и необразованного дворянина, не иначе называвшего себя в разговоре, как «верный раб». Его умиляла эта старомодная верность. Говоря со Сперанским, он чувствовал, что говорит, как говорил бы в Европе, и что обо всем, что он подпишет, отзовется с похвалою один из следующих номеров «Монитера». Это была слава, но все это было опасно, утомительно, а для него самого, по его убеждению, ненужно и вредно. Иногда Сперанский удивлял его внезапностью и верностью мнений, и он подозревал, огорчался, завидовал.

Аракчеев не знал французского языка, но знал артиллерийское и фрунтовое искусство — и в последнем они были бескорыстные соперники. Кругом были люди, либо знавшие об убийстве его отца, как он сам, либо принимавшие в нем участие. Аракчеев был единственный верный слуга отца, и дружба с ним оправдывала, снимала грех отцеубийства. Говоря с Аракчеевым, он как бы говорил со старым дядькой, с отцовским слугой и становился моложе.

Скоро исполнялось десять лет со дня убийства его отца и начала его царствования. Его стан и бока отяжелели, живот опустился, и он принужден был носить корсет; лицо его еще более побелело. По рождению своему он был немец, но в путешествиях лицо его утратило ха-

рактер, как лицо всемирного актера. Только улыбка да бледный жир лица остались немецкие.

Он угрюмо и сосредоточенно смотрел на своих младших братьев. Разговоры в Москве были ему известны. Все поджидали только случая, чтоб заменить его одним из них. Двух дочерей он потерял младенцами. Англичанин лейб-медик вздумал его утешать: император молод, у него еще будут наследники. Он внимательно посмотрел на англичанина и призадумался.

— Нет, друг мой, — сказал он ему, — бог не любит моих детей.

Де Местр, узнав об этом, говорил, что император не хочет детей, чтобы не иметь преждевременных наследников, каким был он сам.

Братья тревожили его. Он сам знал, что, может быть, это только казалось ему, но смутно чувствовал опасность. Особенно странно было поведение матери в две последние зимы: из близкого Павловска она перебралась с сыновьями в забытую Гатчину; фрейлина Волконская недавно рассказала, что императрица удалила от сыновей всех товарищей, будто бы чрезмерно их развлекавших. Так был удален маленький Бенкендорф, сын ее приятельницы. Император не мог даже знать и следить за людьми, окружавшими их; мать, как тигрица, охраняла своих тигрят. Единственный способ прервать или ослабить эту связь — было перевести их из Гатчины, которой по детским воспоминаниям он боялся, в свой дворец. Он уже и присмотрел для них помещение. Новый флигель дворца, где жили ранее его сестры, пустовал. Сестры выданы замуж и уехали. Должен был быть найден предлог, иначе мать ни за что не согласилась бы. Тут произошло событие, о котором стали говорить кругом и о котором он узнал: великий князь Николай, которому исполнилось уже четырнадцать лет, искусал своего воспитателя Аделунга. Аделунг преподавал ему мораль и латинский язык. Императору рассказали, что великий князь, наскуча моралью, подошел к Аделунгу и, притворно к нему ласкаясь, стал кусать учителя в плечо и больно наступать на ноги. Предлог был найден — воспитание. Дикие нравы братьев были нетерпимы. Он сказал вскользь Сперанскому о желательности нового, *особого* учебного заведения.

3

К приходу гостей министр оделся. Он любил и умел одеваться и смолоду был щеголь. Дымчатый фрак, белые чулки; в моде он подражал англичанам.

Спустясь вниз, на женскую половину, он прошел в гостиную. Комната была просторна, обставлена по стенам и вдоль окон цветами в горшках.

Здесь ничто не напоминало государственного человека. Цветущее чайное деревцо стояло у окна; слабый запах его наполнял комнату. Бюро здесь стояло закрытым уже два года, и в нем был заперт план большого предприятия, о котором министр никому не говорил, решив вполне отдаться ему, когда освободится от разных мелких дел. То был план романа, философического и нравственного: «Отец семейства». Дела все прибывали, и план ждал своего осуществления; это было сердечной его тайной и надеждой. Втайне считал он себя созданным для деятельности литературной.

Первым пришел Илличевский. С ним министр сидел на одной скамье в Александро-Невской семинарии. Недавно он вспомнил о старом товарище и назначил его губернатором в Томск. Товарищ, вызванный из Полтавы, где читал в семинарии риторику, пришел благодарить его.

Он был высок ростом, в плечах узок, волосом белес, лицом бледен, с хитрыми оловянными глазками. Звали его в семинарии «свеча» и по имени — «Патер Дамианус». Министр не видел его пять лет.

Товарищ, видимо, робел, глазки его поблескивали.

— Отец премилосердый, — сказал он, окая, Сперанскому, хитро и смиренно на него посматривая, взглядом спрашивая, как с ним держаться.

— Здравствуй, Дамиан, — ответил Сперанский, ответом показывая, что семинарии не забыл и старых товарищей помнит. Оба были лучшими учениками в семинарии; Илличевский считался первым в поэзии и риторике, а Сперанский — в элоквенции и философии. Оба были соперники по искусству обращения, любезности, вкрадчивости, и обоих старый ректор называл «угри», ибо они, «как угри, ускользают из рук».

Но Илличевского губила жадность. С полуопущенными ресницами он уже все в комнате приметил. Скром-

ность обстановки, видимо, его удивила. Серебряные канделябры на круглом столе привлекли его внимание. Друг далеко обогнал его в жизни.

— От брата Козьмы и от матушки благополучны ли известия? — спросил он министра. — Как поживают?

— Здоровы, благодарствую, — ответил Сперанский.

Брат Сперанского был уездный иерей, а мать, старушка-просвирня, жила в селе на покое.

Верный своему правилу — рассевать по империи людей близких для получения сведений, из которых впоследствии могли возникнуть новые важные следствия, министр назначил губернатором в Томск Илличевского, несмотря на его корыстолюбие, и сегодня готовился поговорить об искоренении с его помощью лихоимства в Сибири.

Скоро прибыли два других гостя — старик Самборский с зятем своим Малиновским. Министр встретил старика низким и быстрым поклоном. Старик Самборский был благодетель Сперанского с самого детства. Жену министра с ее матерью именно он вывез из Лондона, где был священником при миссии; потом был он духовником Александра, когда тот был наследником, затем в Венгрии при его сестре; много странствовал и теперь жил на покое, пользуясь влиянием при дворе.

По внешности он ничем не напоминал русского священника, был брит и говорил по-английски. Малиновский, его зять, был худ и прям, застегнут на все пуговицы; розовым лицом, сединою и ясными глазами напоминал англичанина. Лондон, в котором он долго жил, его любимый город, навсегда на нем отразился. Он вел под руку престарелого тестя.

Сперанский позвонил в колокольчик, подали чай; чай пили по-английски — тут же, за круглым столом. Пришел и Франц Иваныч.

Беседа, полуоткровенная-полуделовая, которую министр любил и в которой, как старый ритор и диалектик, был мастером, началась. Самборский знал обо всем, что делалось при дворе. Никогда не задавая прямых вопросов и не добиваясь прямых ответов, Сперанский умел узнать все, что было нужно. Малиновский был зять старика и человек верный, но Илличевский был сегодня лишний. Министр повел беседу. Улыбаясь, он вспомнил, как обыграл его в семинарии Илличевский в карты.

— Но еще гибельнее были для меня ранее суздальские риторы, которые, прибыв к нам, играли в носки. Риторика однажды чуть не повредила мне носа.

Малиновский засмеялся, и Илличевский приободрился.

— Я давно отказался от игры, — сказал Сперанский, — ибо стал замечать, что легко раздражаюсь и делаюсь врагом меня обыгравшего. В моем положении это опасно. Но иногда, признаюсь, жалко. Ветхий Адам силен.

И с тою же улыбкою, без всякого перерыва сказал Самборскому:

— Итак, кажется, быть статскому образованию.

С разных сторон, через разных людей Сперанский добивался, чтобы образование великих князей было статское, а не военное, и они, подав пример дворянству, поступили в университет. Тогда *указ об экзаменах,* вызвавший столько шума и злобы, стал бы непреложным и непременным. Самборский знал о его намерениях и сочувствовал им.

Для подготовки в университет великие князья могли бы учиться в каком-либо училище. Это изъяло бы их из придворной сутолоки, сплетен и неустройств и было бы для всех полезно. «Особое училище» было бы именно таким местом.

Илличевский смиренно сидел. Люди были свои, да несколько высоки для полтавского профессора поэзии. Глазки его светились; он поглаживал в самозабвении пальцами подножие серебряного канделябра. Сперанский заметил и улыбнулся. Он вдруг заговорил о Сибири и о лихоимстве, там вкоренившемся; генерал-губернатор Пестель управлял на расстоянии, сидя в столице, а между тем — чудеса, в один прекрасный день Сибири не окажется на месте, ибо она вся будет разворована.

— Вот на кого, на Дамиана, надежда. Он упорядочит, сначала в Томске, а потом и...

Илличевский снял руку с канделябра.

— Нет людей, Андрей Афанасьевич, кроме разве малой горсти своих, нет людей, — сказал Сперанский Самборскому. — Старый люд погряз, новые — кто честен, тот бессловесен. В начале бе слово, но чиновник по сю пору у нас двух слов связать не умеет.

Это была любимая беседа и жалоба. Должно было обнять, охватить, осмыслить и упорядочить все системою. Законы должны были быть стройны и строги. Генералы, расширявшие пространство империи, не только не могли создать равновесия, которое есть средоточие управления, но и были врагами его, ибо не умели понять, что такое порядок. Но не было людей, способных к низшей службе, и подавно не было помощников, способных понять его.

— Недостает общего духа, — сказал вдруг Малиновский.

Сперанский с удовольствием на него поглядел. Он знал его мысли.

Он заговорил, круглые китайские глаза были полузакрыты, как будто не видели ничего кругом, покатый лоб разгладился. Он говорил безостановочно, тихо и ровно, и его собеседники, как зачарованные, смотрели на него. В конце беседы, которая требовала безусловного молчания всех собеседников, непременно возникала у него новая мысль, порядок статей, новое значение или учреждение, не имевшие, впрочем, видимой связи с беседою. Когда-то в молодости говорил он проповеди, и теперь, как тогда, ему было приятно совершенство, которое он воображал.

Кабинет был привычным местом. Он смотрел на английские часы; и большой маятник, ходивший медленно, по механическим правилам, ему не известным, видневшийся в стеклянной дверце, был ему нужен, как и молчаливые собеседники, окружавшие его.

Министр говорил и знал, что его никто не прервет. Он знал силу своей речи и пробовал ее во дворце. Император никогда его не прерывал и к концу беседы казался и был убежденным, согласным на все; стоило министру удалиться, и логика рассыпалась в прах: царь тяготился ею и забывал.

Министр говорил о людях, которые ему нужны; говоря о характерах, он думал об императоре. Нужны люди чувствительные или с правилами? Казалось бы, важнее всего доброе сердце. Но кто говорит: человек чувствительный, тот мыслит: человек без правил. Чувствительные люди — это машина, не понимающая своего хода, идущая по слепой привычке, заведенная воспитанием.

Этого не могут понимать читательницы Карамзина.

Тишина была за окном. Это были те места, где двадцать лет назад отдыхал Потемкин во времена своей хандры, когда грыз ногти и бил дорогие вазы. Тишина была кругом — дочка притаилась с ворчливою бабушкой в задних комнатах. Франц Иванович, самый безмолвный привычный собеседник, сидел сбоку. Часы глухо и медленно пробили одиннадцать и помешали министру.

И он кончил быстрее, чем думал: нужен человек, добрый по началам; нужен разум, подчиняющий чувствования и постановляющий им правила. А без того порядка быть не может. Разум должно воспитать так, как воспитывают ныне одни привычки. Привычки воспитывают домашние. Но разума воспитать они не могут. У дворянства дома — разврат, у духовных — невежество.

Глазки Илличевского светились; старый семинарский философ и ритор вспомнил проповеди ректора и диспуты. Погладив узкую бородку, он сказал, как говорил в семинарии:

— Отец премилосердый! Разум есть соображение частей, но целое постичь может лишь добродетель.

— Да, — сказал его бывший товарищ, — да, Дамиан, ты в совершенстве понял меня — la vertu est un élement, peut-être, le plus rare, [1] — и семинарское слово «добродетель» вдруг приняло якобинский вид во французском переводе.

Илличевский пожаловался Сперанскому. У него возрастает сын Олося, преострый и с преизрядным воображением, пишущий гладко, борзо и с правильностью чудесные стихи, но для университета молод, а к семинарии негоден, ибо наклонности имеет статские, не духовные. В Томск его брать — гасить дарование.

Жалоба была как нельзя более кстати.

Сперанский охотно, не медля, ответил:

— Есть здесь отличные французские заведения, английское Колинсово, французов Мюральта, Дебоа, а не хочешь к французам — повремени. Мы найдем, быть может, Дамиан, место и для твоего Олоси.

Томский губернатор стал вскоре прощаться. Простился он со Сперанским, как в былые времена, по-латыни:

---

[1] Добродетель — свойство, быть может, редчайшее *(франц.)*.

— Pax tecum. Ave.[1]

Старика же Самборского с Малиновским Сперанский задержал. И как только закрылась дверь, тихим голосом он сказал то, о чем по частям думал и что вдруг надумал полностью.

Если отдавать великих князей в университет, следует их подготовить ранее. Дабы их отвлечь от маршировки и дворских привычек и изъять из рук угодников-кавалеров, заведующих их воспитанием, должно для них учредить особое училище, русское; он уже отчасти думал о названии училища и набрел, читая Плутарха, на приличное, кажется, название: лицей, или ликей. Это училище князья будут посещать, как и другие ученики. И из этих-то учеников со временем образуются помощники по важным частям службы государственной.

Дело было новое.

Самборский сомневался, захочет ли царь, а главное — какого мнения будет тверская сестра. Малиновский же заинтересовался этим необыкновенно. Лицо его порозовело. Вопрос о нужных людях, новых людях и способе их воспитания последние пять лет занимал его, как многих других. Он был на шесть лет старше Сперанского и, проведя тридцать лет на службе, всегда чутьем чуял новые места и новых людей. Он был основатель Филантропического комитета в Москве и директор Дома трудолюбия. Он и сам был смолоду новым человеком; три года провел в Англии, при миссии, где женился на дочке Самборского. Лондонская жизнь произвела на него глубокое действие. Он сделался на всю жизнь похожим на англичанина; говорил ровно, как они. Но когда умилялся — становилось видно, что из духовных. Он изучал в Англии новое для русского дело — мануфактуры — и убедился в пользе их. Был потом по дипломатическим делам в Турции; знал турецкий язык; переводил с еврейского языка библию. Но готовил себя к деятельности политической. Живя в Англии, он пришел к твердому убеждению, что русское правление есть деспото-аристократия или владыко-вельможное, народ в низком состоянии, подавлен суеверием, невежеством, рабством и пьянством. Рабство развращало и рабов и господ, депутаты должны быть собраны, чтобы создать

---

[1] Мир с тобою, прости.

новые законы, и общий дух, которого недостает России, возникнет. Только теперь мечты его молодости близились к осуществлению, — если ненасытный Бонапарт не помешает. Была и еще помеха: старые чиновники были все развращены, секретари брали взятки, начальствующие ленивы и роскошны. Нужно было не только нечувствительно переменить чиновников, но и создать новых людей. Откуда же всему взяться в юношах? Отобрать одних достойных не придется — все та же великая беда России: случайность и покровительство. Буде нет случая и покровительства — праведник не попадет, а буде есть — и злодей устроится, вот в чем трудность.

Ни на один его вопрос не было у Сперанского ответа. В самом деле, как и из кого создать новую породу? Но он улыбнулся, как человек, давно уже эти сомнения разрешивший.

Тотчас у министра в руках оказался лист бумаги и карандаш; безмолвный Франц Иваныч остро его очинил. И вскоре начертание *особенного лицея* составилось. Новое училище должно было носить название древнего лицея, вернее — ликея, загородного афинского портика, где Аристотель, гуляя, создавал своих учеников. Новая порода главных людей государства должна была возникнуть в полной разлуке с домашними. Молодые люди брались из разных состояний; их испытывали в нравах и первых познаниях. Они составляли одно общество, без всякого различия в столе и одежде, как древний ликей, преподавание велось на русском языке; в их образе жизни и взаимном обращении наблюдалось совершенное равенство. Так появлялся общий дух, о котором говорил Малиновский. Они никогда не являлись при дворе. Двор хотел бы перенести училище в самый дворец. Но занятия должны протекать в училище. Иначе все расстроилось бы, и дворские, камер-лакейские привычки исказили бы новую породу людей. Воспитанники появлялись при дворе только разве в домашнем виде — для вольных, приватных игр с князьями. Товарищество без всякой подлости было священно. Число? Число в обратной пропорции к совершенству, молодых людей было всего десять и никак не более пятнадцати. Возраст их был — возраст великих князей Николая и Михаила. Изучив бель-летр, историю, географию, логику и красноречие, математику, физику и химию, системы отвлечен-

ных понятий, право естественное и народное и науку нравов, постепенно переходя от одного к другому, они своими силами постигли все. Им никто ничего пространно не толковал, токмо вопросами возбуждались их способности. Великие же князья, заразясь примером сверстников, делались со временем добродетельны, если и не даровиты. Ибо здесь уж был голос природы, и вдохнуть дарование туда, где его не было, министр не полагал возможным. Судьба будущего государства ими подготовлялась. Младший, в котором замечались черты гнусные, исправлялся. Не было у него вспышек и судорог гнева, какие были у всех братьев, — наследство отца, — ни лицемерия и вероломства, как у нынешнего кесаря.

С разумом ясным и открытым, лишенные косных привычек их отцов, выходили из этой школы для служения государству и отечеству молодые люди, умные и прямые, угадывающие его мысли; они окружали его, стареющего. Главные места заполнялись ими.

— А будут ли там телесные наказания? — вдруг осторожно спросил Малиновский.

Практик сказывался в нем, его существенность была любезна Сперанскому.

— Нет, Василий Федорович, — сказал он кратко, — и не ради вольностей дворянских, а потому, что это уничижительно, обидно и на всю жизнь запоминается. Нам счастие повезло: ради великих князей лозу отложим.

Предстояло, однако, главное — выбор учителей.

Где люди, способные быть наставниками этой новой породы? Иностранные холодны, далеки, не поймут. Для чего оставаться вечно в опеке? Найдутся небось и без иностранных: всему должно учить на родном языке. Пусть будет наставником их Малиновский, который стоял сегодня у купели новой породы и нового учреждения. Министр ранее об этом не думал, эта мысль явилась сама собой, внезапно.

— Поговорю о вас с Мартыновым, и все решится.

Малиновский покорно благодарил; младой Куницын, быть может, более его достоин и подготовлен?

Куницын был тверской семинарист, в судьбе которого Сперанский принимал участие. Уже третий год учился он в Гейдельберге и Геттингене, и успехи его были,

по слухам, блистательны. Он изучал там право и философию. Недавно он возвратился.

— Куницын сам по себе.

Было вписано имя Куницына.

Уйдя в покойные кожаные кресла, маленький Самборский сидел неподвижно. Худенький лик его был безмятежен. Он спал.

Часы пробили полночь. Малиновский осторожно вынул из кресла старца, как берут из колыбели младенца; его облекли в большую пушистую шубу и бережно усадили в возок. Министр провожал своего наставника до самых ворот.

Какая-то тень метнулась напротив у Таврического сада и пропала. Вероятно, ночной забулдыга возвращался домой или слонялся грабитель. А быть может, и соглядатай? Но ворота были крепкие, засовы тяжелые.

Он вернулся к себе. Франца Иваныча он услал спать. В соседней комнате спало дорогое ему существо — дочь — с ворчливою, злой бабкой, которую провидение послало ему, чтобы показать пример женского неустройства. Он походил большими неслышными шагами по комнате, по пушистым коврам. Все кругом спало. Он один был в кабинете, один бодрствовал. Постепенно вдохновение прошло. Он прибавил пункт о смотрителе нравов, по одному для каждых четырех человек. Разврат мог погубить новое учреждение. Смотрители должны действовать по одному плану и отдавать отчет главному начальнику. Предпочтение ученикам разрешалось оказывать только по успехам, дабы не развелись любимчики и шпионы, как у них в семинарии. Один из таких совсем недавно сидел здесь за столом — Илличевский. Не проворовался бы он в Томске: смолоду Дамиан был жаден. Сына его можно в лицей — пусть будет лучше отца. Главная задача была, чтоб новое учреждение, проект его не попал в руки Разумовского, министра просвещения, злейшего врага. Он решил просить об этом государя откровенно.

Он положил новое начертание в папку дел особенных и стал читать и править листы, которые написал утром, — докладную записку государю. Постепенно лицо его изменилось. На Александра действовала лесть прямая, безусловная, неограниченная, когда собеседник как бы растворялся, таял, не существовал сам по себе, С бледной улыбкой он изменял стиль: вставлял без

нужды, но у места обращение к императору: «государь!» и «всемилостивейший государь!» Он называл это комплиментами. Перебеляя рукописи, он любовался своим почерком, простым и ясным. Этому почерку некогда он был обязан своим началом.

Кончив, он вздохнул, хрустнул пальцами и подошел к окну. Глухой и пустынный, лежал меж мертвых деревьев замок Потемкина, московского студента, выгнанного некогда за леность и нехождение в классы, непомерного в дарованиях и пороках.

Он постоял у окна, созерцая.

И вдруг медленно улыбнулся, и десны его обнажились.

— Все я, все я один, князь Григорий, — сказал он еле слышно, улыбаясь, — ты уж не взыщи.

4

Они стояли у окна, и император, прислонив ладонь к уху, как делал, когда хотел казаться внимательным, слушал.

Великие князья будут воспитываться в полном равенстве с детьми всех российских состояний, а по окончании поступят в университет. В осуществление проекта Сперанский предлагал назначить директором Малиновского, человека опытного, и рекомендовал в профессоры молодого ученого геттингенца, лично ему известного, Куницына.

У императора не было еще никакого собственного взгляда на все это, но он прекрасно представил себе изумление и гнев императрицы-матери. Они стояли у окна его кабинета. Его покои в обширном дворце Екатерины были нежного цвета. Он хотел, чтобы все в них казалось скромно, с некоторою томностью, без азиатской пестроты, которую так любила Екатерина. Не было смешения китайских шелков, голландских печей, индийских ваз. Мало золота и только самые нужные вещи. В противность двору Наполеона, чрезмерно пышному, император стремился во всем к простоте линий, к пустым пространствам и голубизне. Он и одевался просто: из всех военных форм он выбрал для себя черный сертук с серебряными пуговицами. Бабка построила для него особый дворец, но он его не любил по некоторым

воспоминаниям и предпочитал громадный старый дворец, в котором чувствовал себя моложе.

Ему показалось, что по аллее прошла комендантская дочка, привлекательное существо. Он слушал министра и насвистывал; поглядывая мельком в окно, щурился; он всегда немного преувеличивал свою близорукость, красуясь. Взгляд его стал загадочен. Он был глуховат, и многое из доклада все равно пропустил бы, будь даже не так рассеян сегодня. Мысль отдать братьев в университет и так отдалить их от армии смутно ему понравилась, но вместе показалась абсурдною.

Сперанский в особенности настаивал, чтобы не передавать нового лицея в министерство просвещения, потому что учреждение особенное и требует особого попечения и надзора. Разумовский и Сперанский были враги. Император обещал не передавать начертаний Разумовскому. Говоря со Сперанским о детях или семье, он всегда чувствовал превосходство и относился к нему снисходительно. Министр говорил о них с каким-то умилением; эта слезливость была теперь в моде. Семейная жизнь Сперанского занимала его, и он имел о ней точные сведения. Министр был вдов, жил в маленьком доме, обожал дочь и проч. Все это было невинно и нравилось Александру, вместе с тем вызывая в нем чувство превосходства. Единственное, что внушало ему некоторое уважение, был слух, что министр близок с сестрою своей покойной жены.

Из окна видна была перспектива старого парка, очень далекая. Комендантская дочка, почти девочка, с розовыми щеками, более так и не показывалась. Он предложил Сперанскому посмотреть новый флигель и вдруг прищурился по-настоящему: ему показалось, что на неподвижном китайском лице его министра бродит улыбка. Он нахмурился и увидел: улыбки нет. На лице Сперанского, как всегда, было неопределенное выражение, которое скорее всего можно было назвать выражением искательности. Камердинер помог императору надеть толстый, на вате, сертук.

Снег уже начинал таять. Львиные морды на стенах дворца разевали пасти — вкус прошлого века, ныне казавшийся нелепым. Часовые, завидя черный царский сертук и рядом шубу министра, беззвучно вытягивались

вдоль стен. Он смотрел на часовых и невольно оценивал выправку. Было свежо, он поеживался.

Осмотром флигеля остались довольны. Требовался, однако, ряд перестроек.

Флигель был на виду, надзор за учениками легок, вопрос об образовании братьев решен.

Император неясно представлял себе будущий лицей: товарищи его братьев, сказал он, могут ездить раз или два в неделю в Петербург. Но извозчик от Царского Села до Петербурга стоил двадцать пять рублей. По-видимому, он полагал, что у воспитанников всех состояний есть лошади, или не знал, сколько стоит извозчик. Министр, однако, не возражал. Он никогда не утомлял императора мелкими соображениями.

Между тем во фрейлинском флигеле засуетились — показались в окне и пропали в одно мгновенье женские головы. Когда царь с министром возвращались, они встретили старуху Волконскую с молоденькой племянницей; обе присели. Он услышал за спиной обычный шепот: «notre ange».[1] Шепот этот он ненавидел, но не знал, что бы стал делать, если бы его не слышал. Он отпустил Сперанского и поднялся к себе. Он собирался пройтись потом по парку. Он искал случайной встречи с комендантом, дочь которого была еще юное создание.

Камер-лакей подал на подносе письмо. Он пробежал его. Письмо было от матери. Она всегда писала о себе в третьем лице, как было принято при старом прусском дворе для лиц подчиненных. Через неделю была годовщина смерти отца. Мать назойливо, который уже раз, напоминала ему, как будто он забыл или мог забыть этот день. Этот день был теперь всегда днем ее торжества и был для него невыносим не только по воспоминаниям. Шла бесконечная служба в Петропавловской крепости. Мать на особом возвышении стояла рядом с могилою отца, а он и все остальные внизу. Это был род спектакля, для него невыносимый, как бы его публичное унижение.

Это напоминание матери было грубо.

Прогулка по парку и встреча с комендантом вдруг стали невозможны. Он побледнел от ярости, большой подбородок задрожал. Слезы были у него явление физическое: они, как град, прыгали на грудь. После этого

---

[1] Наш ангел *(франц.)*.

становилось легче. Но он сдержался и только еще больше побледнел. Камер-лакей стоял и ждал распоряжений.

Он громко дышал. Сиповатым голосом он вдруг спросил, спотыкаясь:

— Опять нюхал табак?

Он больно ущипнул лакея и, грохоча сапогами, которые вдруг стали тяжелы, прошел несколько шагов и повалился в кресла.

Слезы показались.

С него снимали сапоги, корсет распустили, и тяжелый белый живот, освободясь, стал дышать свободнее. Он глядел на его белую поверхность, поросшую золотыми волосками, и постепенно успокоился.

Через пять минут все прошло. Он снова владел собою. Он вызвал Волконского и спокойно отдал разные распоряжения. Потом он передал пакет для министра Разумовского; в пакете было начертание особенного лицея. Сперанского должно было проверить. Фраза о «разных состояниях» в начертании лицея была дерзка до такой степени, что выглядела разумной.

5

Старый Разумовский, к которому попал проект нового — еще одного! — воспитательного учреждения, вначале не обратил на него никакого внимания. Как раз в это время у него была хандра, которой боялись слуги, дочь и чиновники.

Вызванный в прошлом году из Москвы для исполнения скучной должности министра просвещения, он никого не принимал, будучи занят устройством своих палат и скучая по московскому жилью. В Москве, на Гороховом дворе, были у него построены палаты истинно боярские, из цельных дубовых брусьев; сад был в четыре версты, и в прудах плавала редкая рыба. Он жил среди картин, книг и цветов, изгнав жену, заточив сына в Шлиссельбургскую крепость и не допуская к себе никого, даже родственников, жил в гордости и одиночестве, пугавших хлопотливую Москву. Говорили о жестокости графа.

Сын пастуха, пасшего волов и ставшего вскоре одним из первых вельмож, Разумовский не полагал

людьми ни дворовых людей, ни чиновников, ни простых дворян. Он любил цветы. В Горенках, под Москвою, разводил он их в своем саду. Иностранцы-садовники вырастили там новое растение и назвали его «Razoumovskia». Это был можжевельник, тонколистный, синеватый, удивительно колючий. Осенью тяжелые красные ягоды поспевали на нем. Родительское чувство граф питал именно к этому растению, носившему его имя, а не к дочери. По обеим сторонам дорожки стояли в оранжерее шеренгой кустики «Razoumovskia», нарочно тесно составленные. Они цеплялись колючками за платье гостя. Старик улыбался: это его забавляло. В бытность императора в Москве он ему представился. Александра прельстил французский говор старика — выговор старого маркиза, его усмешка, почти плотоядная, худые руки, игравшие лорнионом, его сутулый зыбкий стан, который казался станом маркиза тому, кто не видал южных певчих. Так Разумовский был назначен министром.

Переехав в Петербург, он строил и перестраивал палаты, купив место и громадный сад на Фонтанке, между Обуховским и Семеновским мостами, и не бывал в здании министерства. Он тосковал по Горенкам, и только устройство новых палат и сада развлекало его. Доступ к нему имел только один человек — граф Жозеф де Местр, посланник несуществующего сардинского короля. С ним старик запирался в своей библиотеке, где не было ни единой русской книги, и часами слушал пылкого француза, иногда тихим голосом прерывая его. Сюда, в библиотеку, подавался старым лакеем черный кофе — старик презирал модный среди выскочек «шоколат»; здесь же стояла в фарфоровом китайском горшке «Razoumovskia», его любимица и гордость.

Только через несколько дней он обратил внимание на присланный от императора пакет: начертание особенного лицея. Самое название *особенный* поразило его. Он вспомнил, что речь идет о молодых великих князьях, и послал за де Местром. Они заперлись. Граф был еще в хандре; тоска по Горенкам, отсутствие любимых книг, частью еще не перевезенных из Москвы, вид нелюбимого им Петербурга тяготили его. Однако проект лицея внезапно заинтересовал его: он и сам когда-то был воспитан в особой игрушечной «академии» на десятой линии Васильевского острова, которую составляли несколько

юношей и которою был сильно занят старый двор, называвший это «академией десятой линии».

Название «лицей» ему понравилось. Оно напоминало ему молодость, так неожиданно пропавшую и сменившуюся сразу старостью. Тогда шумел в Париже лицей — академия для женщин, которой покровительствовали король и граф д'Артуа. Там учили литературе Мармонтель и Лагарп, математике Кондорсе. Дамы, самые прекрасные, назначали там свидания. Переворот все прекратил. Головы доброй части профессоров и слушательниц упали.

Де Местр замолчал, удивленный. Он улыбнулся: граф припоминал парижскую песенку о лицее и тихонько мурлыкал:

Là, tout le beau sexe s'amuse
Du carré de l'hypothénuse
Et de Newton. [1]

За это-то он и любил Разумовского. Когда они сидели в его оранжерее или библиотеке, старый порядок Франции продолжался в покоях русского вельможи: не было ни переворота, ни злодея Бонапарта. Он знал сомнительную родословную Разумовского; нужды не было: это был тот же маркиз, по-детски жестокий, ученый и легкомысленный.

Де Местр замурлыкал, напоминая:

Voulez-vous savoir la chimie,
Approfondir l'astronomie. [2]

Они поговорили. Де Местр был поэт придворных сплетен; они называли людей по кличкам. Нарышкин, жена которого была любовницею императора, был «счастливый супруг». Сперанского француз называл «ваш якобинец», и министр, следуя ему, говорил: «наш якобинец». Постепенно лицо министра почерствело. Самое упоминание о поповиче было ему ненавистно.

— В наружности всех этих семинаристов, — сказал он, — есть нечто древовидное, но они, не правда ли, лишены достоинства деревьев — молчаливости.

---

[1] Здесь прекрасный пол забавляется
Квадратом гипотенузы
И Ньютоном *(франц.)*.

[2] Не желаете ли узнать химию,
Углубить знания астрономии *(франц.)*.

Когда де Местр уходил, «Razoumovskia» вцепилась колючками в его рукав. Они опять засмеялись — француз на этот раз с принуждением: граф де Местр дорожил своим костюмом.

Через две недели проект особого лицея был переработан. К проекту министр приложил начертание Сперанского, ему посланное, краткий свой доклад и обширную записку де Местра, писанную в форме, которою он владел, как никто из новых писателей, — форме дружеских писем.

Император, получив проект, тотчас его прочел, Он любил чтение и был приучен к тонкой словесности; он порицал соблазнительные романы, прочитывая их до доски, а некоторые места, особо недозволительные, перечитывал и отмечал карандашом. Подобно этому его приятно возбуждали некоторые философы. Век обязал его быть вежливым; он говорил о просвещении и добродетели, так же как и многие короли Европы. В манифестах, которые он подписывал, всегда говорилось о русском народе, православном воинстве, добродетели граждан и высоком назначении России. Он подписывал их, не читая. Поэтому философы, которые опровергали то, о чем в силу своего звания он принужден был твердить, — величие России, любовь ко всему русскому и проч., — были ему приятны.

Де Местр, мысли которого разделял Разумовский, восставал против разума и знаний доказательствами разума, подкрепленными обширными сведениями. Созданы ли русские для знания? Они еще ничем этого не доказали. Римляне были совершенные невежды, у них не было ни великих живописцев, ни ваятелей, ни математики, но они были великие воины. Цицерон называл Архимеда ничтожеством; знание и разум делают человека вообще неспособным к великим предприятиям, презирающим мнения других, критиком властей, нововводителем. Знание для России ненужно, государство разоряется на школы, а они пустуют. Школы — это прекрасные гостиницы в стране, по которой никто не путешествует. Там набивают головы юношам хламом лишних предметов, из которых самое вредное для ума молодого — изложение систем, история отвлеченных понятий.

Французская система есть введение в материализм. Юность должна знать одно: что бог, создавший чело-

века, в обществе сделал правительство необходимым, а повиновение ему неизбежным. Все прочие учения, пробуждающие рано философические мысли, будучи даже излагаемы людьми благонамеренными, опасны. Роковые следствия этих изучений во Франции известны.

Бесполезна, далее, естественная история. Молодой человек хорошей фамилии согласится лучше сделать три кампании и быть в шести сражениях, нежели изучать химию. Химия — наука пустая. Для России, как страны воинственной, вообще науки не только бесполезны, но и вредны. Они лишают мужества. Лучшие воспитатели — священство, разумеется, не русское, полуграмотное. Новые воспитательные учреждения должны быть устроены по образцу иезуитских новициатов; у юношества не должно быть никаких сношений с внешним миром. Они должны жить как бы на острове. Юноши должны быть гибки и послушны. Надзиратели должны следить за ними непрерывно. Закон строгого молчания господствует везде. Ночью ученики спят каждый в отдельной комнате, дабы избежать какого-либо общения. Все двери в дортуар стеклянные. Самый дортуар освещен с обоих концов. Надежный человек ходит по дортуару всю ночь до рассвета и блюдет покой юношей, как блюдут покой больных. Каждые пятнадцать дней выдается для поощрения преуспевшим крестик, похожий на орден Владимира и Анны, но простого металла.

Он листнул записку Разумовского и прочел о цели лицея — подготовлении юношей из среды знатнейших фамилий для занятий важнейших мест государственных. К проекту было пришито и начертание Сперанского. Первый пункт был о занятии важнейших мест и о юношестве всех состояний. На особом листке были написаны имена Малиновского и Куницына.

С волнением император читал листок, исписанный ясным почерком де Местра. Он отчеркнул карандашом особо понравившееся ему место о сне юношей, стеклянных дверях и ночных дежурствах. Галерея во флигеле вполне подходила для этого. Разврата не следовало допускать ни в коем случае. Он питал отвращение к грубой литературе, которою упивался брат Константин, похохатывавший и потиравший руки при чтении. Он любил дымку неизвестности, приличие двусмысленности;

он перечитывал иногда некоторые законы своего государства, касающиеся проступков противу нравственности: его привлекали не только самые положения, коих касался закон, но и то, что при всех шалостях воображения — это был закон и изучение его было почтенно. Умственные сии удовольствия были, по-видимому, доступны только избранным: для этого был груб и простодушен его брат Константин. Место, где говорилось о крестиках, он, улыбаясь, зачеркнул. Француз не знал русских нравов: поднялся бы шум среди всех кавалеров Владимира и Анны, а юнцы стали бы задирать носы и дисциплина нарушилась бы. Он кончил первые два письма, прошелся по кабинету, вышел в белую залу, вернулся к себе и, для того чтобы продлить наслаждение, отложил чтение. Все для того же он спустился и стал гулять по парку, заложив руки за спину. Адъютант сопровождал его, но император не пожелал с ним разговаривать. Он только делал отрывистые замечания, на которые молодой человек отвечал почтительно длинными фразами.

— Свежо.

— Да, ваше величество, давно уже следует быть весне, но ее все еще нет.

— Ветрено.

— Да, ваше величество, с самого утра дует сильный ветер, может быть потеплеет к вечеру.

Он любил эти беспредметные разговоры.

Резко, по-военному, повернув, он прервал прогулку. Его дожидался Аракчеев.

Генерал стоял прямо: увидев императора, он потянулся к нему всем корпусом, и, как всегда повелось при встречах, император обнял его. Между ними начался разговор, который оба любили, полный вздохов, внезапных улыбок и значительных умолчаний. Аракчеев смотрел на царя неподвижно, не отрываясь; глаза его были тусклые; увядшее лицо печально. Всегда этого простого, сурового и дельного начальника артиллерии, на которого можно было положиться во всем, угнетала какая-то тайная печаль — не та ли, что иногда вызывала слезы и гнев у него самого? Император находил особую приятность в том, чтобы утешать генерала. Все чаще во время разговоров случались у них перерывы — признак душевной усталости,—когда император подолгу смотрел

бессмысленным взглядом. В такие минуты Аракчеев важно молчал, как бы понимая значительность молчания. После перерыва оба улыбались.

Император перевел генералу несколько фраз из записки де Местра. Отзыв француза о математике внезапно встревожил Аракчеева.

— Нет, батюшка, ваше величество, — сказал он вдруг, задумавшись, голосом тонким и носовым, — без геометрии нельзя фортификации учить, а без чертежей артиллерии знать не будешь. Это только статскому не нужно.

Генерал почитал статских людей, главной добродетелью которых было — не мешать и не вредить военным делам и порядку. Он понимал, впрочем, важность создания таких людей.

Зато естественная история и история показались ненужными и генералу.

— О естестве чем мене думаешь, тем спишь спокойнее. А история — уж бог с ней.

Оба посмеялись.

— Батюшка, ваше величество, — сказал, разнежась, певуче Аракчеев, — я на медные деньги учен, но если молодые люди готовятся к главным местам в государстве, то кого брать? Верный слуга — тот, кто благодетелем сочтет. Беден, да верен, я так разумею.

Император кивнул. Государство со всеми его пространствами, которое в беседах со Сперанским было громоздкою частию Европы, в разговоре с Аракчеевым становилось его большой вотчиной, где были верные и неверные слуги.

— А телесному наказанию, полагаю, там не быть.

Тут Аракчеев почесал лоб.

— А надо бы, — сказал он лукаво. — Великие князья — отрочата еще, посмотрели бы, как других наказывают, и сами бы лучше стали.

Тут император, не сдаваясь, потряс головою и видимо повеселел.

Вскоре со знанием дела оба занялись выбором мундира для лицея. Перебрали цвета, которые бы, не смешиваясь с цветами войск, были бы приятны, и остановились на форме старого татарского Литовского полка, давно отмененной: однобортный кафтан, темно-синий, с красным стоячим воротником и такими же обшлагами. На ворот-

нике по две петлицы: у младших — шитые серебром, у старших — золотом.

Император вычеркнул в проекте Разумовского фразу о знатнейших фамилиях, а в записке Сперанского фразу о всех сословиях и подписал все одним росчерком, без имени, что было знаком прочтения и одобрения.

Образование князей должно было ограничиться лицеем, который сравнен был в правах с университетами. Товарищи избирались из отроков дворянского происхождения. Числом не менее двадцати и не более пятидесяти. Каждому воспитаннику отводилась отдельная комната, под особым нумером.

Директором был назначен статский советник Малиновский. Здание лицея приказано спешно ремонтировать.

Ожидалось согласие императрицы-матери.

6

Павловское, где этим летом жила императрица-мать, было, в противоположность Царскому Селу, мало, во всем соразмерно и доступно для взгляда. Таков был вкус его отца, во всем противоположный вкусам бабки.

Император наклонился и подставил щеку под поцелуй обоих братьев. Сухонький, стройный, стянутый в рюмочку в военном мундире, Николай сказал приветствие ломающимся голосом. Император взглянул на него не без удивления: он вырос. Мать, как всегда, встретила его окруженная своим двором, свитою, толпою своих старых немок: старухи Ливен и Бенкендорф были бессменно при ней, как телохранительницы. Она была одета, как при отце, и держалась на высоких толстых каблуках прямо, как часовой. На голове у нее был ток со страусовым пером, на голой шее ожерелье, а у левого плеча черный бант с белым мальтийским крестиком. Она была в коротком не по возрасту платье с высокой тальей; топорщились буфчатые рукавчики; толстые руки в лайковых перчатках выше локтя. Она была туго зашнурована и, проговорив приветствие скоро, невнятно и картавя, задохнулась.

Старый двор был враг нового; здесь жили слухами из Царского Села и неясными толками о переменах. Обо всем этом, впрочем, император знал.

Более часу прошло в обычных прогулках по парку, где все напоминало его отца, и незначащих разговорах. Братья, опасливо поглядывавшие, вскоре осмелели. У озера они отделились и стали довольно громко между собою говорить. Шедший рядом с ними воспитатель Ламздорф был дряхлый немец, морщинистым лицом напоминавший статую старухи в Эрмитаже. Они, видимо, не обращали на него никакого внимания. Другой кавалер, Глинка, человек тщедушный, казалось, был умнее и настойчивее.

Мать и старухи беседовали с императором, стараясь его занять, а он прислушивался. Будучи глуховат, он не слышал разговора, а только голоса братьев.

Николай несколько раз прерывал брата в разговоре; голос его был резок; забывшись, он вдруг громко и грубо захохотал. Михаил был, видимо, обижен и говорил плаксиво и собираясь заплакать. Старуха Ливен, вдруг покраснев, побежала вперед и, задыхаясь, резко его оборвала. Император слышал, как она быстро сказала что-то братьям по-немецки, видимо забыв, что этикет требовал французского языка, а они отрывисто и капризно ей ответили.

Братья были невоспитанны и грубы.

Мать шла теми медленными шажками, которыми выступала всегда при жизни отца в официальных случаях.

В некотором отдалении шел камер-паж, неся простой стул с соломенным плетеным сиденьем, — императрица садилась только на него, — привычка, которую она сохранила со времени своего царствования: такая безыскусственная простота была тогда в моде. Императрица была тучна и привыкла к соломенному сиденью. У пруда они присели; император на скамейку, императрица на свой стул. Они полюбовались на багровый цвет воды. Солнце зашло. Привыкнув к определенным чувствам, императрица в Павловском всегда любовалась на закаты, восходы, как делала это во времена своего прежнего житья здесь; в Гатчине же, более напоминавшей ей воинственные и мужественные нравы супруга, она стреляла зайцев, которых выгоняли прямо на нее охотники.

Когда в круглой зале зажгли сальные свечи в высоких жестяных подсвечниках, самая молодая из фрейлин села за клавесин. Камер-пажи прислуживали. Вдруг, не поворачивая головы, она протянула назад, через плечо, руку,

и камер-паж положил в нее веер. Так точно делал его отец. Сальные свечи шипели, коптили и брызгали. Император предложил Николаю сыграть с ним на бильярде; это было знаком милости. Бильярд был детский, уменьшенного размера, делан для великих князей, а шары точила сама императрица, умевшая и любившая точить по кости. Старая Ливен, льстя ей, говорила, что в России только двое из царствующей фамилии занимались этим искусством: Петр Великий и она. У императора была слабость, о которой знали оба двора: во всех играх он любил брать верх. Ламздорф наклонился к великому князю, чтобы предупредить об этом. Но Николай в нетерпении и довольно сильно оттолкнул старика.

Игра началась. Николай был меток, а император, как нарочно, терял шар за шаром. Свита следила за ними, и постепенно все притихли. Николай в увлечении бегал вокруг бильярда, целился и громко смеялся, попадая в цель. Щеки его разгорелись, и было видно, что воображение его разыгрывается. Императрица более всего боялась этой наследственной черты: как и отец, он забывался. После одного счастливого рикошета Николай воскликнул:

— Hourra!

У императора сделался принужденный вид. Он вдруг положил кий и прервал игру.

Императрица, привыкшая к этой борьбе честолюбий еще при муже, казалось начала тревожиться. Впрочем, беседа продолжалась. Император спросил Ламздорфа, как учатся братья и на какую тему писано последнее упражнение. Императрица покосилась на воспитателя. Воспитатель ответил, что успехи показывают перемену к лучшему, а последнее упражнение было написано на тему о превосходстве мирного состояния над войною. Император кивнул, одобряя. Он спросил, глядя на присмиревшего Николая, что он написал о важном вопросе. Императрица сидела без улыбки, с видимым неудовольствием прислушиваясь и не принимая участия в беседе.

Старик Ламздорф, помолчав, вдруг ответил:

— Ничего.

Император молча посмотрел на него и на брата и вдруг отвернулся, словно никогда не задавал вопроса. Зато императрица, густо покраснев, тотчас выслала всех.

Действительно, великий князь, которому было задано кавалером сочинение на тему, о которой говорил Ламздорф, не написал в тетради ни строки, выказав этим свою отроческую строптивость. Недовольство императора было слишком явное.

Они остались одни.

Не поднимая глаз, император спросил мать, не находит ли она нужными какие-либо изменения в воспитании и образовании ее сыновей. Он обращает ее внимание на открывающееся во дворце императрицы Екатерины особенное заведение под названием лицей, состоящее под его личным покровительством. Директором он хочет назначить Глинку, кавалера, состоящего при братьях. Каково ее мнение о нем? Последняя мысль пришла императору во время прогулки. Все это потому, прибавил он, что случайностей предугадать невозможно, и неизвестно, кому придется впоследствии стать на первую ступень.

Последнюю фразу он прибавил, не веря ей. Вопрос о наследнике он всегда обходил. Брат Константин, который был моложе его всего на два года, был человек невоздержанный, но он любил его. Мать же его ненавидела и ласкалась мыслью о том, чтобы наследником престола был назначен Николай. Он знал также, что мать втайне надеется пережить его. Намек о том, что он, возможно, назначит наследником Николая, мог ее убедить. На деле он не собирался этого делать, во всяком случае в близком будущем.

Тут он поднял глаза. Мать сидела с багровым лицом и плечами, налившимися кровью, и смотрела на него исподлобья, опустив голову на грудь. Она тяжело дышала. У нее было хорошо знакомое ему выражение: жадности, нерешительности и страха перед ним.

Она ответила ему, задыхаясь, что кавалер Глинка известен ей с самой лучшей стороны, учен и скромен, но она не находит возможным прервать воспитание великих князей, ею начатое.

Через несколько минут императора не было в Павловском.

Лицей, который был основан для пребывания и обучения в нем великих князей, должен был открыться, хотя великие князья оставались по-прежнему при императрице.

В январе 1811 года было обнародовано постановление об учреждении лицея.

7

Как в Москву везли девиц на ярмарку невест, так в Петербург стали возить сыновей для воспитания.

Время менялось. Отцы вдруг поняли, что птенцов без этого петербургского воспитания затрут, забудут, обойдут; их стало невозможно и даже опасно держать при себе, как некогда недорослей. Без образования карьера не давалась; при этом было для всех неясно, а для многих и неважно, что будут изучать сыновья. Только некоторые застарелые вельможи воспитывали сыновей попрежнему на свой манер, за границей.

Постановление о лицее внезапно возбудило надежды и честолюбие родителей.

В особенности были заняты этой мыслью отцы, карьера которых не удалась или прервалась.

Сын голштинского капитана, впавшего в ничтожество сразу после падения Петра Третьего и добравшийся отлично-благородной службой до звания плац-маиора; коллежский асессор; томский губернатор из духовных; князь-рюрикович, родовые поместья которого пошли с молотка еще до его рождения; бывший директор Павловского, которого Павел приблизил к себе накануне дня смерти и потому не успевший возвыситься, — все хлопотали о принятии сыновей в новое училище. По горькому опыту все знали, что необходимо покровительство и без сильной руки ничего не добьешься. Родство и связи обновлялись.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Едва проснувшись, он в одном белье подбежал к окну. Черный глубокий канал лежал внизу, в каменном гладком русле. Кругом был камень и стены. Друзья наняли для Василья Львовича три комнатки, довольно мрачные, в Демутовой гостинице, на Мойке. В комнате побольше спал теперь дядя, рядом была комната Александра, а сзади темная клетушка с перегородкою, там помещалась Аннушка; за перегородкою же повар

Блэз с камердинером. Кровати были тяжелые, оконные завесы плотные.

Напившись чаю в боковушке у Аннушки, он устремился на улицу и уже не слышал ее напутствия:

— Не заблудитесь, батюшка Александр Сергеич.

Дядя еще спал. По коридору сновали горничные девушки, одни простоволосые, другие принаряженные, в чепцах, и сонные слуги; дом был битком набит.

Он спустился на каменные плиты набережной, не зная названия улиц, за исключением Мойки, где они остановились. Вид незнакомого города поразил его. Ничто не напоминало Москвы. Не было широких бульваров, ни усадеб, прячущихся в зелени, ни переулков, где цвела сирень весною, ни ворот, которые придавали московским улицам вид проходных и проезжих дворов, ни церквей больших и малых, где у завалинок толпилась московская нищета в рваных телогреях. Две-три латынские церкви попались ему на бесконечной улице, более похожие на обыкновенные дома, чем на церкви. Это был Невский проспект, о котором говорил Сергей Львович. Стражи с блестящими топориками прохаживались. Он свернул, прошел один по какой-то правильной площади и увидел пустынную реку — как и канал, в гранитном русле. Он пошел по набережной, великолепной и молчаливой в этот час, все дальше и дальше, и наконец перешел мост; пошли низкие домики. Самая беднота была здесь, казалось, другая — страшнее и явственней, чем в Москве. В изодранном рубище стоял у моста человек, и тело виднелось сквозь дыры его посконной дерюги. Худые ноги были босы, лицо равнодушно.

Он зашел далеко, но не заблудился. Ни у кого не спрашивая, он вернулся тем же путем. Здесь не было московских тупиков: прямые улицы, сады, камень, река. По Невскому проспекту проезжали легкие коляски. Народу заметно прибавилось.

Дядя уже давно встал и сердился: Александр, не спросясь, исчез неизвестно куда. Он начинал понимать Сергея Львовича, которому невмоготу было справиться с диким характером семейства. Поворчав, он стал объяснять племяннику, что такое Петербург.

— Если ты пойдешь влево, то выйдешь на улицу, которая напоминает Bond-Street в Лондоне, а впрочем, должна быть длиннее. Итак, если ты выйдешь на улицу

и не увидишь ни начала, ни конца, знай, друг мой, это Невский проспект. Ну, а Летний сад — есть Летний сад. Ты и сам догадаешься. Кончишь повторять свои правила и можешь пройтись с полчаса. Но не долее. В полдень не ходи — государь гуляет в это время. Далеко не ходи, потому что заблудишься. А чтоб не заблудиться, спрашивай почаще у бутошника: Демутов трактир. Тебе всякий укажет.

Дядя Василий Львович говорил ему об улицах, по которым он уже ходил и которые знал, по-видимому, лучше, чем дядя.

Василий Львович спал долго за полдень, а потом пропадал из дому. Возвращался он поздно ночью, когда Александр спал. А Александр бродил днем по городу и возвращался домой, только когда чувствовал голод. Так в первые дни они почти не видели друг друга. Дядя возобновил свои связи: побывал у Дашкова, Блудова; приятели наперерыв звали его, кто на обед, кто на ужин. Литературная война кипела; у него было дел по горло. А племянник должен был повторять все свои правила, всю эту арифметику и грамматику, чтобы быть готовым к вопросам отцов-иезуитов. Говорили, что у них правила стеснительные. Василий Львович за обедом жаловался приятелям на иезуитов:

— Если требовать заранее от воспитанников образованности, как это делают все эти святые отцы, ces révérends pères, тогда на кой же черт они дались? Бедные мальчишки изнемогают от наук. Я привез племянника. Остер и любознателен. Но вместо того, чтобы удовлетворять свою любознательность, он принужден повторять все эти правила. Черт бы взял святых отцов!

Василий Львович был рад придраться к случаю, чтобы обновить славу петербургского бригана, вольнодумца. Впрочем, он не имел случая, ни охоты проверять племянника. Однажды нашел он на столе у него мадригалы Вольтера и поэмы Пирона, сперва удивился, зачитался, а там взял мадригалы себе и позабыл сделать Александру внушение.

Через два дня никто бы не узнал нумеров, занимаемых Васильем Львовичем: на окнах, на полу — везде были брошены книги. Книги врагов дядя не разрезал ножом, а взрезал вилкою, как бы вспарывая им животы, и Александр их тотчас узнавал: это они валялись на полу

в небрежении. Дядя Василий Львович и жил и дышал литературной войной. Недаром Шишков со своими варяго-россами его задел: дядя рвался в бой.

Однажды ночью Александр проснулся: в соседней комнате кто-то тихо фыркал, урчал и стонал. Он подкрался к двери. Дядя в одной сорочке сидел посреди комнаты на табурете. Свеча стояла на полу. В свесившейся руке его была книга. Косое брюхо его ходило. Он посмотрел на пораженного Александра и продолжал смеяться. Наконец он отер платком лоб, вздохнул и сказал Александру:

— Двоица!

Он прочел:

Но кто там мчится в колеснице
На резвой двоице порой?

— Двоица — это пара, — объяснил он наконец. — Это на их языке, на варяго-росском, означает пару. Так их бард, князенька Шихматов, шут полосатый, пишет: двоица. Это желтый дом, это кабак, друг мой! «Рассвет полночи»!

Дядя брызгал во все стороны.

Он прочел Александру все стихотворение.

Кроме «двоицы», к огорчению его, ничего примечательного в стихотворении он не нашел.

— Скука, — сказал он, — скука-то какая! Вот так бард! Такому барду — на чердак дорога. Там ему место.

Дядя, к удивлению Александра, оказался сквернословом. Брань так и сыпалась. Он взял с полу еще одну книгу. Это был словарь Шишкова.

— Рыгать, — прочел дядя и вдруг вскипел: — Вот! Площадное, кабацкое слово тащит в поэзию! И все это поощряется! Печатается! Старый хрыч собирает шайку приказных и холуев. Это дьячок в кабаке! Вот что такое его «Беседа»! Пусть все это знают! А что будет с тонким истинным вкусом! Страшно и подумать!

— Вы меня, милостивый государь, зовете «вкусоборцем», — кричал он, — да, я вкусоборец. Ваше слово нелепо, подло, это слово дьячка, но отныне я его принимаю. Я вкусоборец! Таким родился, таким и умру.

Литературные страсти преобразили его. Александр впервые видел его в таком раздражении.

— Ногти — смотреть: нога; нож — смотреть: нога, — читал дядя словарь Шишкова, — нагота — смотреть: нога; все нога да нога. Прах — смотреть: порох. На кой мне прах смотреть порох!

В соседнем нумере тоже не спали; по коротким словам, звону денег слышно было, что за стеной идет игра.

— Храпеть — смотреть: сопеть, — прочел дядя и развел руками.

— Одно дело храпеть во сне, — сказал он Александру, — и совсем другое сопеть в обществе. Первое есть несчастная привычка, второе — невоспитанность. Из того, что мне случается храпеть во сне, вовсе не следует, что я соплю при женщинах. Шишков так воспитан, что для него все равно — храпеть или сопеть.

Потом он тут же, из той же книги, что и «двоицу», прочел новую басню Крылова, грубую, по его мнению, и отверженную гармонией:

Предлинной хворостиной
Мужик гусей гнал в город продавать!

— Иной — и́ной — ы́к — гу́ — гна́л, — бормотал Василий Львович. — Что за звуки!

Новая басня и моралью своею возбудила в нем сильное негодование.

— Да, наши предки Рим спасли! Да! Да! Да! — кричал дядя. — И спасли! А ваши, милостивый государь, гусей пасли! Различие очевидное! Далеко тебе и с баснями твоими до Дмитриева.

Дядя был в вдохновении. Он не называл более по именам врагов своих: Шишков был Старый Хрыч и Старый Дед. Какой-то Макаров звался у него Мараков и просто Марака.

— Библический содом и желтый дом! — сказал он и сам изумился.

Он соскочил со своего табурета и записал внезапную рифму. Сам того не замечая, в защите тонкого вкуса, дядя употреблял весьма крепкие выражения.

В соседнем нумере кончили играть — кто-то насвистывал сквозь зубы и вдруг запел вполголоса:

Старик седой, зовомый Время,
В пути весь век свой провождал.

Дядя вдруг успокоился.

Он вслушивался некоторое время и с торжеством указал племяннику на стену:

— Шаликов. Шихматова стихов небось не поют.

Александр наслаждался. Ему нравилось все — ночь за окном, и дядино буйство, и песнь за стеной, и литературная война, в которой дядя участвовал. Литературные мнения дяди казались ему неоспоримыми, он был всею душой на его стороне. Наконец дядя рухнул в постель, послал его спать, и через минуту оба спали.

2

Демутовы нумера, выходившие на три улицы, их разнообразное население, горничные девушки, бегавшие по коридорам, сумрачные камердинеры, звон стаканов, вдруг раздавшийся из открытых дверей, — все в высшей степени занимало его. Глаза его вдруг раскрылись. По узенькой пятке, быстро мелькавшей по коридору, и торопливо накинутой шали он узнавал свидание. Молчаливый иностранец в угловом покое оказался скрипач и по утрам играл свои однообразные упражнения. Это был мир новый, ни в чем не похожий на Москву, на Харитоньевский переулок; ничто не напоминало ему сеней, где дремал Никита, кабинета отца, его собственного угла у самой печи. Как-то вечером, найдя у себя в вещах черствый пряник, сунутый Ариною, он вспомнил Арину, подумал и съел пряник.

Василий Львович был недоволен столицею. Жара одолевала его. С утра он садился у окна и, отирая пот, глотал лимонад. То и дело маршировали по Невскому проспекту полки, напоминая, что время военное: война с турками продолжалась без побед и поражений. Дядя читал «Северную пчелу» и роптал. Только в Париже были маскарады и карусели в честь новорожденного короля римского, а везде в других местах — пожары и пожары. Везувий то и дело опять грозил извержением. В «Европейском музее», который Василий Львович купил, желая узнать новости поэзии и моды, была статья о приготовлении сушеных щей для солдат в походах да еще одна, философическая: «Можно ли самоубийцев почесть сумасшедшими?»

— Разумеется, можно,— раздражался Василий Львович и глотал лимонад.

У Демута немилосердно драли. Утром на приказ Василья Львовича трактирному слуге принести стакан — слуга принес стакан шоколада: хозяин не давал порожней посуды. Как истый злодей, он стремился отовсюду извлекать корысть.

Дядя сказал слуге дурака и крикнул ему вслед:

— Разбойники!

В Петербурге Василий Львович, как славный франт, надеялся обновить запас английских ножичков, щипцов для мелочной завивки кудрей, напильничков для ногтей, но вскоре убедился, что ничего нет: суда не ходили по причине континентальной системы, и приходилось заворачивать кудри в папильоты. Это вызывало смех у Аннушки и прислуги, убегавших при виде барина в бумажных папильотах, отходящего ко сну. Во всем рабски следуя моде, Василий Львович купил круглую шляпу с плоской тульей и маленькими полями, отчего лицо его казалось круглым. Отправляясь гулять, он с отвращением натягивал на себя узкие панталоны и гусарские сапоги. При его тонких ногах и брюхе новая мода не шла Василью Львовичу, но все так одевались в Петербурге. Не хватало то розовой воды, то фабры, и камердинер Алексей сбился с ног. Самая кухня Василья Львовича, оказалось, отстала от века. В моде был сыр, распространявший удивительное зловоние, да воздушный пирог. Жаркое недожаривали, как те кровожадные дикари, приключения которых описывались в романах. Открылось множество блюд, которых не знал Блэз.

С утра, за завтраком, дядя заказывал обед повару, Блэз ворчал:

— Слушаю. Как угодно. Можно сбить и поставить на вольный дух, будет воздушный пирог. Оранжей, сказывают, в этом городе нет. Жаркое недожарить можно, здесь хитрости нет.

Он смотрел в сторону, обиженный и злой.

Барин строго спрашивал с Блэза. Тайным его честолюбием, которое было глубоко поражено, была всегда его кухня. В Петербург он привез Блэза недаром: самый опасный соперник был устранен; опаснейшим соперником Блэза был славный повар Тардифф, который сделал баснею стол французского посла Коленкура. Ходил рассказ

о семи чудесных грушах из царской оранжереи, которые два года назад купил к столу Тардифф за семьсот рублей. Царь было послал Коленкуру десять штук, но по дороге их украли и свезли в Москву. Вора нашли, забрили, а там нашлись и груши. Три груши погнили, а семь штук Тардифф купил в Петербурге за семьсот рублей. Василий Львович пожимал плечами и говорил, что все это выдумано самим Коленкуром, который сильный интриган, а что его Блэз ничуть не хуже самого Тардиффа. Теперь, после отозвания Коленкура, которое Василий Львович, не сочувствуя славе его Тардиффа, одобрял, он хотел удивить петербургских друзей скромным дарованием Блэза; он сам его создал, но оказалось, что преувеличил достоинство своей кухни. Она устарела. Он во всем шел в ногу с веком. Однажды домашний обед его был отвергнут. Анна Николаевна послала в трактир за обедом. По ночам он кряхтел: желудок донимал его, новые блюда не шли ему впрок, все было наперчено, сухо или воздушно. Таков был новый закон вкуса, и рассуждать не приходилось.

Вскоре Блэз взволновал его известием, что нигде в городе нет устриц, потому что корабли не ходят. Василий Львович еще в пути рассказывал Александру об иноземных устрицах и заглазно учил его есть их: кропить лимоном и глотать. Рот его сводило от воспоминаний. В Петербурге надеялся он в погребке достать их. Теперь устриц не оказалось. Тут Василий Львович вышел из себя.

— Нева гола, comme mon cul,[1] — сказал он Александру с отчаянием однажды утром. — Нет устерсов. Английских кораблей французы не пускают, а французские запрещены указом. Вот плоды континентальной системы. Я лично знал императора Наполеона, и, признаюсь, в нем были черты почтенные. Но уж это последнее дело. Какая низость!

8

Однажды Василий Львович сказал Александру с особым выражением, которое Александр знавал и у отца:

— Сегодня мы с тобой поедем к Ивану Ивановичу Дмитриеву. Он велел сказать, что меж шестью и семью дома.

---

[1] Как мой зад *(франц.)*.

Он посмотрел на племянника и остался недоволен.

— Будь с ним, Александр, особенно любезен. Помни, что от него зависит судьба твоя.

Александр исподлобья смотрел на дядю, ничего любезного не было в лице племянника.

Василий Львович пришел мгновенно в отчаяние и озлобление; у юнца ветер в голове. Между тем дела его плохи. Аббат Николь, слышно, закрывает свой пансион; Тургенев в таких хлопотах, беготне, суете, что стал неуловим. Вообще в Петербурге каждый так занят собою, что в чужие дела вовсе не желают входить, не то что в Москве. Между тем о лицее нечего и думать; без важного покровителя туда никак не попасть. Иван Иванович Дмитриев был давний патрон семьи; связи литературные, несостоявшаяся женитьба его на сестрице Анне Львовне — все, казалось, сближало с ним Василья Львовича. Он объяснил положение дел племяннику и повторил, чтоб племянник был особенно любезен. Было бы хорошо Александру невзначай прочесть в знак внимания перед Дмитриевым что-нибудь дмитриевское: тотчас же он стал соображать, что именно. «Чужой толк» был длинен, «Модная жена» соблазнительна, апологи коротки. Он выбрал из последних творений две басни: «Бык и корова», «Слон и мышь» и, предложив племяннику прочесть, приготовился слушать. Александр все так же исподлобья смотрел на дядю и, казалось, не торопился читать басни Дмитриева. Дядя подождал и сам прочел.

Ровно к шести часам они отправились к Дмитриеву.

Дмитриев встретил их с улыбкою. Он был сед, у него было розовое лицо и косые глаза, подозрительный взгляд. Он попросил Василья Львовича извинить его: не может уделять дружбе более часу.

— Я здесь не у себя дома; дом мой в Москве, — сказал он и стал жаловаться, как видно, не впервые: — весь в мелочных переписках, в отправлении текущих дел; этикетные выезды ко двору; закидываю непрестанно визитные карты, и все отнимает у меня часы, которые я мог бы проводить если не с пользою, то, по крайней мере, с сердечным весельем. Сколько мелочей в этой дворской науке!

Принял он их в простом домашнем платье и сам об этом с первых же слов сказал:

— Не стыдно ли Жуковскому выдать мой портрет со звездою? Я для публики не министр, а литератор.

— Поэт, — поправил Василий Львович.

— Для поэзии потребно время,— сказал Дмитриев.— Как мой садик у Красных ворот? — спросил он с приметною грустью и тут же осведомился о Карамзине: здоров ли, почему не пишет писем и навсегда ли охолодел к поэзии?

— Какие вечера проваживали мы в Москве! — сказал он Василью Львовичу, покачав головою.

За все время он не обратил никакого внимания на Александра.

Он выражался намеренно просто, на простоту своей речи обращал большое внимание, славился этим и поэтому говорил не так, как все. Кабинет его также был убран с простотою: бюст императора у длинного стола, в углу под стеклянным колпаком статуя Фемиды с завязанными глазами, настенные простые часы, шкаф с книгами, да у окон большие горшки с бальзаминами и с восковым деревом — хозяин любил цветы. Но кабинет был при этом слишком просторен, а штофные обои и мягкие кресла роскошны. Дмитриев жил в казенном доме. Большие картины висели по стенам. На одной изображен был ночной пир в полутемной, тусклой роще; другая была изображение какой-то битвы.

— Иногда прихаживало мне на мысль, что рожден жить только в Москве и более нигде. Иногда здесь думаешь быть вне России.

Василий Львович тотчас пожаловался на петербургскую жизнь: нигде нет устриц, ни туалетных предметов, мелких, но весьма необходимых: все из-за того, что не ходят корабли.

Дмитриев посмотрел на него внимательно косыми глазами и пропустил без ответа его слова.

— Да, Москва, Москва, — повторил он, и на сей раз Василий Львович почувствовал, что бывший друг его — министр, занятый своими мыслями и не желающий беседовать с ним о важных предметах.

— Казалось бы, где и быть устерсам, — растерянно сказал он.

— Друг мой, — ответил наконец укоризненно Дмитриев, — если бы вы в моей отчизне, Сызрани, поели стерлядей, вы бы не вспомнили более об устрицах.

В Сызрани он не был много лет и в послеобеденные часы любил предаваться воспоминаниям. Между тем Василий Львович не мог заставить себя в Петербурге думать о Сызрани. Он приготовился поговорить о «Беседе» и начал было пофыркивать, но успеха не имел. Иван Иванович был во всем несогласен с «Беседою». До него дошли досадные слухи о насмешках: будто бы в «Беседе» приватно смеялись над названием его сборника «И мои безделки». Название имело в свое время смысл, так как Карамзин издал тогда сборник «Мои безделки». Назвав свое собрание «И мои безделки», Иван Иванович выражал свое полное согласие с Карамзиным и вместе авторскую скромность. Впрочем, слухи надлежало проверить, а пока нельзя было «Беседе» отказать в вежливости: они избрали Ивана Ивановича попечителем, наравне с Завадовским, Мордвиновым, Разумовским.

— Если они и заблуждаются, — сказал он Василью Львовичу, — то цель, однако, у них по-своему почтенная. Карамзин у них избран почетным членом.

Дмитриев был и по годам и по положению старший; будучи теперь другом Карамзина, он когда-то дружил с Державиным. Он стоял за мир в словесности.

Василий Львович сказал кстати, что новые басни Ивана Ивановича «Три путешественника» и «Слон и мышь» возбудили толки. В Москве ими объедаются. В особенности «Три путешественника» — даже не должны называться баснею, по всему это поэма.

Иван Иванович вдруг, на глазах у Александра, преобразился: косые глаза его заблистали.

— Басни — род неблагодарный, никак не дается, — сказал он с улыбкою, — язык наш неподатлив.

— А «Бык и корова»? А «Три путешественника»? — возразил дядя с укоризною.

— Точно, эта баснь, или, по-вашему, поэмка, на счету лучших моих стихотворений, — сказал небрежно Дмитриев. — Москва, видно, еще помнит меня.

Тут же Василий Львович сказал о баснях Крылова, что о них язык сломаешь; о морали их ни слова — все для приказных.

— Мужик гусей гнал в город продавать... И гурт гусиный! — Ык-гу-гнал-гугу!

Дмитриев смеялся.

— Подражательная гармония! У них в «Беседе» только и слышишь! Гусиный крик!

Тут Василий Львович осмелел и сказал, что грех Шишкову тревожить старость Гаврилы Романовича. Воображение отказывается представить, сколько хлопот причиняют ему заседания «Беседы»! По Фонтанке, говорят, ни пройти, ни проехать в дни их сборищ. Заседания вражеской «Беседы» происходили на дому у престарелого Державина, который отдал для них большую залу в своем доме. Члены «Беседы» называли это жертвою на алтарь российского слова, противники говорили, что старик рехнулся.

Постепенно все сановное исчезло в Дмитриеве. Видимо, он был чувствителен к литературным похвалам.

С глубокой грустью, покачав головой, он сказал о своем великом друге:

— Теперь он в Званке, отдыхает. Состарел. Иногда только пропоет по-старому. Но бодр. Ездит ко двору, входит во все. Критикою занят. Пишет все об оде, — сказал он со вздохом, покачав головой.

И прошептал, глядя косыми глазами в разные стороны:

— Не приведи господь пережить себя!

Наконец дядя вспомнил о цели своего посещения. У него растет племянник с быстрою памятью и почитатель Ивана Ивановича; начинает кропать уж стихи.

Дмитриев посмотрел в первый раз на Александра. Казалось, ему было неприятно, что мальчик кропает стихи: взгляд его был суров.

— Пусть подождет заниматься рифмованием, — сказал он, — молодому лучше читать чужое, чем писать свое.

Дядя скороговоркою сказал, что привез своего племянника с тем, чтобы определить в лицей.

— Я одобряю, — сказал Дмитриев, посмотрев на часы, — это учреждение. Наконец-то начали детей обучать на отечественном языке! Не то нигде не оказывается людей, хотя немного способных к письмоводству!

Дядя, с трепетом ожидая боя часов, не решался прервать своего друга.

— Михайло Михайлович Сперанский, как, впрочем, и граф Алексей Кириллович в том согласны, — говорил

Дмитриев. — Я тоже со временем хочу учредить в разных местах училища законоведения со всеми пособиями. Без одобрительного свидетельства я более не буду допускать стряпчих к хождению по судам. Довольно с нас невежества и ученичества.

Все литературное и авторское вдруг исчезло в нем. Никто бы не сказал, что еще тому полчаса говорили здесь о стихах.

Наконец Василий Львович попросил о прямом представительстве за племянника.

Часы пробили семь.

Важным взглядом косых глаз Иван Иванович посмотрел на недоросля. Недоросль был кудряв, несколько сумрачен лицом, с быстрыми глазами. Любезности в нем не было.

— Я поговорю, — сказал министр, вставая, — с графом Алексеем Кирилловичем при встрече. Но он стал так увалчив, нелюдим и скользок, что предвидеть не могу, когда его встречу.

Он улыбнулся гостям, потрепал жесткой, точно деревянной рукой Александра по голове и проводил их.

Выйдя, дядя осмотрелся кругом и сказал об улице, где жил министр:

— Мрачная местность.

Петербург казался им чужим, громадным и незнакомым городом. Дядя сердился на Александра. Племянник был нелюдим и несколько диковат. Собираясь к Дмитриеву, Василий Львович совсем иначе представлял себе это свидание.

Все шло хорошо, а расстались холодно.

Александр вдруг спросил, где живет Державин.

— Там, — ответил дядя и махнул рукой, — по Фонтанке. Рядом с домом Гарновского. Дом хорош, да старик, говорят, совсем одрях. Ходит по двору в чепце, как старуха, и в полосатом халате. Мурза татарская. Воет под нос псалмы, как дьячок.

Они долго молчали. Затем дядя, повеселев, сказал Александру:

— Бог с ним, с лицеем. Не попадешь в лицей, поступишь к иезуитам. Ты видел их дом? Это прекрасное здание. А басня о трех путешественниках, что ни говори есть простая баснь, а никак не поэма.

4

Наконец Тургенев явился. Он был по уши в хлопотах. Обмахиваясь платком от мух, он рухнул в кресла и сообщил, что пригласил было к себе аббата Николя, для того чтоб свести его с Васильем Львовичем и представить ему будущего воспитанника, но на днях все переменилось: аббат Николь закрывает свое заведение. В нем появилась странная повальная болезнь, которая скосила многих воспитанников. Аббат недоволен Петербургом, а Петербург — аббатом. Ему сильно противодействует Сперанский; Разумовский за него; главный учитель его пансиона, иезуит отец Септаво, умер. Николь с отчаянья едет в Одессу к своему другу Ришелье. Иезуиты заменят там капуцинов, францисканцев и кармелитов. Это хорошо, по мнению Голицына, а ему, Александру Ивановичу, все равно, и он не видит особых причин для удаления кармелитов. Они полезны были для устроения Крыма. Аббат Николь, чтобы досадить новому лицею, хочет назвать свой пансион в Одессе также лицеем. Между тем на иезуитский коллеж ожидаются гонения. Вообще время для определения Александра выбрали самое неудачное: подождать бы с год, и все разъяснилось бы. Жара такая, что мочи нет.

Василий Львович был как оглушен. Он не отличал капуцинов от иезуитов, и ему не было дела до Крыма. Новый лицей и одесский лицей сбили его с толку. Он понял одно: что пансион Николя, в который он надеялся определить Александра, более не существовал. Все в Петербурге быстро менялось. Он пожалел, что, повинуясь безотчетному порыву родства, взялся определить племянника в пансион, который теперь закрылся. Глубокий смысл любимой маменькиной поговорки «Не твоя печаль чужих детей качать» открылся ему. Он внимательно посмотрел на Александра, недоумевая, как быть с ним и куда девать.

Александр, казалось, был смущен: разговор шел о его судьбе. Он совершенно примирился с мыслью, что будет жить у иезуитов. Самая новость этой жизни привлекала его. Он воображал высокие своды иезуитского дома, молчание унылых товарищей, латынскую речь, строгость монашеских правил, которые втайне готовился ежеминутно нарушать. Теперь все это рушилось. Мысль,

что снова придется быть в родительском доме, возмутила его. В тот же миг он, не думая, решил не возвращаться в родительский дом любой ценою. Он исподлобья следил за дядею и Тургеневым; Тургенев заметил его смущение.

— Надо отдать его в лицей, — сказал он. — Там будут воспитывать по новой методе, может быть великие князья будут там. Сперанский покровительствует и даже, слышно, сам император. Иезуиты бесятся.

Он пообещал замолвить слово Голицыну. Нужно только выждать удобный миг: князь в унынии и в такое время всегда раздражителен.

— Лицей тем хорош, — пояснил Александр Иванович, — что это не пансион, не училище, не университет, а все вместе. Пансион, потому что все готовое; училище, потому что там переростков не будет; университет, потому что там профессоры. Куницын, Николашин знакомец, только приехал из Геттингена и уже назначен.

Василий Львович ожил: Голицын был сильнее Разумовского, да уж и Дмитриева. Он обнял Александра с чувством и пожал руку другу, как бы передавая племянника его попечению. Судьба Александра в один миг была решена.

Оказалось, иезуиты давно были Василью Львовичу подозрительны. Так, он слышал, что, для того чтоб развить в питомцах слепое повиновение, они заставляют их сажать в гряды на огороде трости, обыкновенные трости с набалдашниками. И что же? Они заставляют бедняг ежедневно поливать эти трости, словно набалдашник может прорасти. Экие скоты! Общество Иисуса всем, признаться, давно надоело. И тут же Василий Львович, счастливый и беззаботный, вспомнил острое слово Буало. Буало поссорился с отцами иезуитами. Иезуиты прислали к нему для увещания двух своих членов. Буало спрашивает у них, что они за люди. Они отвечают: из общества Иисуса. Тогда Буало спрашивает: Иисуса рождающегося или Иисуса умирающего? Потому что Иисус родился в хлеву средь скотов, а умер средь двух разбойников.

Василий Львович был в восторге. Мысль, что племянник будет воспитываться во дворце, восхитила его. Он с невольной гордостью посмотрел на Александра, которого за миг до этого считал обузою. Эта легкость петер-

бургской фортуны, игра случая, его внезапность ужаснули его. Он говорил без умолку.

Тургенев тоже смеялся. За это он и любил Пушкиных. Возиться весь день с петербургскими делами и людьми, все знать первым, чувствовать все петербургские перемены, быть преданным важной философии, немецкой и итальянской, — было нелегкое дело. Александр Иванович брюхом любил и чуял московскую душу. Василий Львович, на глазах меняющий свое мнение об иезуитах, был очень мил.

Впрочем, посмеявшись, он не согласился с мнением Василья Львовича: иезуиты могут быть полезны. Среди саратовских немцев, кавказских народов, в Моздокской степи, на границе Китая деятельность их не лишняя: туда ни один человек добровольно не поедет, а иезуиты ни от чего не отказываются.

Василий Львович махнул рукой. Иезуиты более его не занимали. Лицея или лицей — вот куда поступит племянник. Кстати, как говорить: лицея или лицей?

Тургенев и сам хорошенько не знал. Решили, что лучше: лицей, и звучит мужественнее.

Дядя послал за вином и заставил Александра выпить до дна свой бокал. Петербург казался самым счастливым городом. И тут Тургенев вспомнил вдруг, с какою новостью ехал к Василью Львовичу. Он вез новые стихи Батюшкова.

Батюшков был яблоко раздора меж петербургскими и московскими друзьями: Жуковский и Вяземский никак не отпускали его из Москвы. Гнедич в Петербурге бесился и ревновал. В последнее время более нежные связи приковали его к Москве: жена Алексея Михайловича Пушкина, Елизавета Григорьевна, женщина умная и прекрасная, стала его другом. Впрочем, поэт, из-за которого спорили Петербург с Москвою, устал от этого. По временам он спасался в свою усадьбу, бывшую как раз посередине между обеими столицами. Новое стихотворение, которое Александр Иванович ухитрился узнать раньше москвичей, было именно послание к московским друзьям — Жуковскому и Вяземскому. Александр Иванович был уверен, что Василий Львович стихов еще не знает, но забыл листок дома. Послание называлось «Мои пенаты», и в нем больше двухсот строк. Василий Львович всплеснул руками:

— Двести строк! Каково!

Тургенев помнил только первые две строфы:

Пока летит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,

Мой друг, скорей за счастьем
В путь жизни полетим,
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим!

— Прелесть, — сказал вдруг Александр.

— Прелесть, — повторил озадаченный дядя, — всех обскакал!

Заставили его еще раз прочесть:

Упьемся сладострастьем
И смерть опередим...

Василий Львович был растерян.

— А в Москве ничего не знают, — сказал он, досадуя на молодых друзей, которые не показали ему стихов.

Глаза Александра горели. В Москве он вовсе не знавал этой петербургской поэтической горячки. Вино, стихи Батюшкова мешались у него в голове. Не помня себя, он попросил Тургенева повторить, Тургенев прочел снова. Зажгли свечи. Луна светила. Окна были открыты. Воздух понемногу стал остывать. Все трое сидели, пораженные петербургской новостью.

Ночью он проснулся. Голова у него шла кругом. Было светло, как днем. Батюшковские стихи были в комнате.

5

Василий Львович вдруг изменился до неузнаваемости. Бывало, он нежился в постели, долго мелодически зевал, хлопал в ладоши, зовя то слугу, то повара, — вообще до выезда он с каким-то самозабвением предавался лени. Вдруг на час-другой налетал на него счастливый сон, с таким громким, внезапным храпом, что Анна Николаевна каждый раз, заслыша его, вздрагивала. Ныне все изменилось. Он не спал по ночам. Перо скрипело, чернила брызгали, живот ходил: дядя хохотал. Анна Николаевна со страхом иногда просовывала голову в двери и видела каждый раз одно и то же:

Василий Львович, накинув халат с небрежностью, так что он сползал на землю и еле прикрывал его косое брюхо, сидел за столом и, похохатывая, исписывал лист за листом. Скудные волосы стояли дыбом на его голове. Анна Николаевна тихонько крестилась и укладывалась. Александр с любопытством и наслаждением смотрел иногда на дядю. Однажды случилось ему помешать дяде, и он тотчас попятился: Василий Львович, глядя на него и, кажется, не видя, издал какой-то стон, похожий на мычание. Часто из-за стены слышалось шипение и присвист: дядя читал стихи. Потом потирал руки, хохотал и внезапно останавливался. Тишина — и вскоре слышался скрип пера. Так, не вылезая из халата, забыв обо всем на свете, дядя просидел дома две недели. Через две недели Василий Львович преобразился. Он завился, напомадился, опрыскался духами и исчез из дома. В нумер явился старый писец с пуком перьев и стал переписывать бумаги Василья Львовича. Анна Николаевна, не терпевшая приказных, не без злобы на все это поглядывала. Но писец чинил перья, высунув слегка язык, и усердно переписывал, и она смирилась: иногда приказывала поднести ему стаканчик водки. Одно вскоре ее обеспокоило: писец, переписывая, хихикал. Анна Николаевна обиделась и прекратила выдачу водки. Назавтра, отправляясь в гости, Василий Львович не сумел скрыть радости: он с явным торжеством затолкал в карманы панталон листки и посмотрел на Александра. Сощурясь, он признался ему: явилась на свет новая поэма в самом чрезвычайном роде — шутливая, но героическая. Александр еще, разумеется, не искушен в этом роде, — и поэтому дядя, к сожалению, ничего ему прочесть не может. Всем поповичам, холуям, деду седому и шишковскому дому — конец. Имя автора поэмы ему, к сожалению, неизвестно.

Было ясно, что автор — дядя.

Так, неожиданно в Петербурге, куда он приехал определить племянника к иезуитам, в лицей и еще бог знает в какие воспитательные заведения, нашло на него вдохновение. Это случилось внезапно, он сам не знал как. Он с такою страстью ругал приверженцев Шишкова, восставших противу тонкого вкуса, то дьячками, то холуями, так часто уподоблял в разговоре собрания «Беседы» то кабаку, то непотребному дому, что

поэма сама сделалась. Он был как бы под властью какого-то демона. Произошло это так. Раз с обычною ленью присел он к столу, чтобы намарать на листе бумаги какую-то пришедшую ему о Шишкове мысль, — и вдруг вместо этого набросал несколько стихов. С некоторым изумлением, захлебываясь от восторга и брызгаясь, он прочел их: стихи были счастливые. И они полились. Он с открытым ртом писал их. Вот и все. Отделка заняла больше времени, чем написание. Место поэмы — был дом, вроде святилища известной Панкратьевны, столь памятной и ему и брату Сергею Львовичу. Дело кончалось побоищем, истинно гомеровским, между гостями дома. Одним из гостей был приходский дьячок, ему особенно досталось. Василий Львович выместил на нем все свои старинные обиды, которые претерпел от приходского духовенства во время своего славного развода с Цырцеей. Да и теперь дьячки не унимались: Шишков ославил его безбожником. Добро же!

Что касается сводни, то она и две дюжие гостьи были поклонницы комедий Шаховского, члена «Беседы», друга Шишкова и врага Жуковского и Карамзина. Наружность их и телосложение Василий Львович описал сильными чертами. Он назвал поэму «Опасный сосед». Василий Львович разъезжал теперь по Петербургу и читал свою поэму.

Успех был неописуемый. Все крапивное семя, писцы в канцеляриях, были заняты тем, что переписывали поэму Василья Львовича. Это была настоящая слава, наконец-то пришедшая. Когда он проезжал, все взгляды обращались к нему. Одно его огорчало: о печати нечего было и думать. Он как-то затеял разговор с Александром, который был несколько загадочен: Василий Львович вдруг принялся доказывать, что лучшие произведения не созданы для печати; сам Гомер писал не для печати, ибо печати в то время еще и не было. Как и цензоров, — добавил он не без яду. Василью Львовичу смерть хотелось прочесть племяннику свое творение: юнец, что ни говори, понимал стихи. У него был вкус — свойство, по мнению дяди, в высокой степени присущее Пушкиным. Вместе с тем, дядя совестился посвящать юнца в то, что он называл солью поэмы. Он испытал было действие поэмы, прочитав ее Анне Николаевне в первый же вечер, когда остался дома, а Александр

был у Пущиных. Действие было самое неожиданное: Анна Николаевна заплакала. Некоторая грубость выражений ее вовсе не смутила, литературных намеков она, кажется, не поняла, но она приняла некое вымышленное поэтическое лицо, от имени коего вел Василий Львович повествование, за самого Василья Львовича. Так как это лицо принимало участие в драке, добрая женщина испугалась за Василья Львовича. Он и сам был несколько смущен: это вымышленное лицо, которое якобы посетило непотребный дом и испытало все дальнейшие приключения, ни дать ни взять походило на него самого, — так было живо его раскаяние в том, что он якобы не устоял перед искушением:

Свет в черепке погас, и близок был сундук...

Анна Николаевна начала плакать во время чтения сцены, когда в кабак вступает полицейский служитель.

— Ах, душа моя, — сказал раздосадованный Василий Львович, — но этого на самом деле не было.

— А зачем тогда такое написали? — сказала Анюшка, утирая слезы.

Василий Львович махнул рукой и закаялся что-либо читать ей. Зато он оставил как бы случайно на столе листки, на которых была переписана поэма. Александр прочел ее. «Опасный сосед» был действительно прекрасен и необыкновенно забавен. Александр с невольным уважением, даже с восторгом смотрел теперь на дядю.

Василий Львович не остался нечувствителен к этим взглядам племянника. Он нутром чувствовал, знал: это слава. Невольно он щурился и посапывал.

— Логика, друг мой! — восклицал он. — Трудно достичь совершенства! Я сам прочел всего Дюмарсе, Бюффона, Руссо, Попа, Гюма, Буало, Фонтенеля — пока не стал тем, чем... чем меня считают!

6

Теперь он ходил по Петербургу с новым чувством. Он знал, был уверен, что в Москву не вернется. Все поражало его в этом городе, и прежде всего пространство. Глядя на дома, он сам себе казался выше; походка его стала решительнее.

Он был один.

На углу он покупал у бойкого разносчика пирожки, забыв наставления отца, а однажды выпил кружку молока у молчаливого чухонца. Дядя вскоре по приезде дал ему три рубля и предостерег, как некогда тетка Анна Львовна, давшая сто рублей:

— Смотри не потеряй.

Но наставления отца и тетки и даже сама тетка разом изгладились у него из памяти. Василий Львович с трудом заставил его написать письмо родителям.

Ничто в новом городе и временном жилье Василья Львовича не напоминало ему Москвы. Детство исчезло, как будто упало с плеч, никогда не существовало. В первую неделю он забыл о существовании сестры и брата, точно не с ними гулял еще неделю назад.

Однажды, проходя по Невскому проспекту, он услышал вдруг говор:

— Государь...

Тотчас же, забыв наставления Сергея Львовича, он устремился вперед, любопытствуя, и ничего не увидел.

Шли двое в белых султанах, впереди в черных фуражках, почти рядом с ним толстый розовый щеголь, обмахиваясь платком, и все кругом друг с другом раскланивались.

— Нет, — сказал кому-то толстый щеголь, — он теперь на Каменном острове.

Обычно он шел вправо по каналу. Слева стоял Зимний дворец с черными сторожевыми статуями на кровле. Он шел Мойкою, окруженный стенами, словно это было продолжение коридора в Демутовой гостинице; однажды вышел он на Царицын Луг. Царицын Луг был пустынею. Впервые он увидел и понял, не подумав, что города построены на пустом месте и окружены пустынями. Голова у него закружилась. Впереди, за однообразным полем, была Нева, обложенная камнем, медленная и тоже пустынная. Все было однообразно, стройно и пустынно в этом городе.

Забор из чугунных кольев окружал Летний сад. Зелень была влажная: Нева, невидимая из-за деревьев, здесь присутствовала. Статуи стояли. Гуляли дети, нимало его не занимавшие. Он выходил к Лебяжьему мосту. В канаве, выгибая шеи, плавали еще два лебедя, старые и грязные. Пустынный замок, похожий на неприступную крепость, стоял на острове, со всех сторон

окруженный каналом; признаков жизни в нем не было. Он узнал от гуляющего старика, что это Михайловский замок, в котором жил и скончался десять лет тому назад император Павел. Он знал, что император был убит. По рассказам отца, император встретил Александра, когда он был еще младенцем, и разбранил.

— Вас, сударь, тогда еще на свете не было, — сказал старик, заметя его задумчивость.

— Нет, был, — сказал он упрямо и пошел дальше.

В Москве от всего было далеко; здесь все было близко, ближе, чем он представлял себе ранее.

В этот вечер он рано улегся и не захотел разговаривать с дядею; а когда тот окликнул его, закрыл глаза и притворился спящим.

Ночью он прислушивался к петербургским звукам: не было трещоток ночных сторожей, ни говора запоздалых прохожих, чьи-то шаги внизу звучали по плитам. Он заглянул в окно: ночь была светла; поздний гуляка возвращался домой, и плиты звучали под его шагами. В соседней комнате заворочался и закряхтел дядя Василий Львович, не так, как отец, ворчливее и громче. Он внезапно обрадовался его соседству.

7

Вскоре дядя познакомил его с двумя будущими товарищами, Ломоносовым и Гурьевым.

— Вот тебе, друг мой, сопутники в лицею, — сказал он и, предоставив отроков самим себе, упорхнул.

Они посмотрели друг на друга.

Ломоносов был белокурый, любезный и очень ловкий. Поклон его Василью Львовичу был непринужденный. Он часто улыбался. Гурьев был томный, пухлый. Они с удивлением посмотрели на Александра, а он на них исподлобья. Они заговорили по-французски, он тоже. Ломоносова, в числе семи, переводили в лицей из Московского университетского пансиона, и он говорил о своих товарищах: мы, московские. Он нарочно говорил Гурьеву, с которым был уже ранее знаком, полузагадками:

— Ты помнишь, что я тебе говорил о Данзасе?

И оба смеялись.

Гурьев спросил Александра, кто его рекомендует в лицей?

Александр немного смутился. Он понимал и значение своего визита к Дмитриеву и все, что дядя говорил ему о Голицыне и Разумовском, но он решительно не знал, кто же, наконец, ему покровительствует, и старался об этом не думать. Отцовская гордость в нем заговорила. Он вспомнил косой взгляд Сергея Львовича, когда тот говорил с ним о Дмитриеве.

— Никто, — сказал он.

Оба удивились и вдруг замолчали.

— А меня великий князь Константин, — сказал Гурьев, — он мой крестный.

Потом они вдруг стали прыгать через стулья, погнались друг за другом, не замечая его, сунулись в комнату Анны Николаевны и, занятые собою, быстро простились и ушли.

Александр иначе представлял себе новых товарищей. Ему вдруг стало жаль тех унылых послушников в монастырских одеждах, среди которых он готовился жить у иезуитов. Этот холод, равнодушие, быстрота новых товарищей смутили его. Он чувствовал втайне обиду, хотя его никто не обижал.

8

Лето неприметно кончалось. Уже зелень в Летнем саду стала скучной и пыльной. Вялые желтые листья кое-где виднелись. Наступил август. Лето было в этом году бурное, с частой грозой. Мостовая в одно мгновение белела от града, точно покрытая снегом. Александр был избран кандидатом в лицей; весть эту привез утром все тот же Тургенев. Дядя, оборотясь к Александру, сказал ему кратко:

— Ты кандидат.

Предстояло представиться министру, а на восьмое августа были назначены экзамены; кандидаты, которые не успели прибыть, должны были явиться двенадцатого и самое позднее восемнадцатого августа.

Как только Тургенев уехал, Василий Львович, сидя за чашкою шоколада, захотел проверить познания племянника.

Грамматическое познание русского языка и логику спрашивал он по сочинениям Шишкова.

— То же ли самое, друг мой, меч и мяч? — спросил он.

Александр изумился. Он прекрасно знал, что такое мяч. Дядя был доволен его ответом.

— Очень хорошо. А вот Шишков, друг мой, полагает их во всем одинаковыми: оба от глагола мечу, метать, поелику употребление их состоит в сем действии. Экая дичь!

— А что, друг мой, ты можешь сказать об общих свойствах тел? — спросил дядя, с удивлением глядя в расписание.

Ответ племянника удовлетворил его краткостью и точностью. Тела были твердые, текучие и газообразные. Василий Львович убедился с удивлением, что влагал совсем иной, неуместный смысл в понятие свойства тел.

По начальным основаниям географии дядя спросил Александра, какая самая славная река во Франции и точно ли исток Волги так ничтожен, как об этом говорят, а также из какого уезда Тверской губернии она вытекает. Василий Львович помнил эти места по своему пребыванию в Осташковском уезде в бытность его гвардейцем. По истории спросил он об Александре Великом. По арифметике Василий Львович не проверял племянника. Ответ, что знает до тройного правила, успокоил его. Как и все люди среднего возраста, он не помнил ни одного арифметического правила. Изливающиеся и вновь тщетно наполняемые водоемы, а также торгашеский дележ доходов вызывали в нем отвращение. Кроме того, он продиктовал Александру по-русски и по-французски два катреня своих стихов, чтобы посмотреть, силен ли он в грамоте. Оба катреня Александр написал свободно и легко, без приказных крюков и утолщений; перо летало, и почерк был хоть небрежен, но правилен. Зато наделал тьму ошибок против правописания. И в ошибках и в почерке сказался ученик Монфора.

Дядя решил, что лучше ему сказаться запоздавшим и явиться двенадцатого августа. Экзамены в новом их понятии, данном Сперанским, пугали его своею неопределенностью.

9

В день представления министру Василий Львович встал засветло. Дюжий камердинер ждал его с щипцами, завернул его, как в тогу, в пудермантель и стал завивать. Наконец дядя опрыскал жабо, взбил его слегка, так что оно стало еще более воздушным, и, внимательно окинув взглядом племянника, точно в первый раз видел, велел его причесать. Камердинер дядин был угрюм и неразговорчив. Помолчав, он сказал Александру:

— Вам щипцов не требуется. От натуры все завито, — прошелся щеткою по плечам и обдернул жилет.

Александр с любопытством посмотрелся в зеркало, и оба отправились. На пороге дядя вдруг остановил его.

— Александр, — сказал он ему, — главное, не будь мешковат.

Александр, который думал, что строен и выступает непринужденно, тотчас запнулся.

Дядя огорчился.

— В свете, друг мой, походка значит многое, если не все. На тебя смотрят тысячи глаз, твой карьер может открыться и не открыться, а ты проходишь легко и свободно. В противном случае ты пропал.

И кособрюхий Василий Львович легко и свободно прошел в двери.

По дороге он дал еще один совет Александру: не пускать петуха. Голос у Александра ломался.

Представление министру длилось одно мгновение, но они с толпою кандидатов, сопровождаемых родными и воспитателями, дожидались министра в его приемной зале добрых два часа: Разумовский поздно спал. Александр был как в тумане: ранний час, длинная зала, множество сверстников поразили его. Дядя познакомил его между тем с каким-то новым товарищем, который тоже, казалось, был смущен и, посмотрев на Александра туманным взглядом, надолго задержал его руку в своей.

Наконец важный миг настал: его вызвал чиновник, и он предстал перед министром, едва посмотревшим на него. Потом все смешалось, все спустились вниз, где грузный швейцар с булавою отдал им приветствие, — и судьба его была решена.

Ему казалось, что все заняло десять минут, никак не более, а между тем они опоздали к обеду.

Дядя ворчал:

— Свет, друг мой, ни в чем не переменился. Ночь напролет, верно, играл, а утром, созвав к себе людей почтенных, спит. Заедем, друг мой, в кондитерскую лавку, — мочи нет как голоден. Хоть шоколату выпьешь. Все они таковы: сына в крепость посадил, из-за отца его дед твой сидел в крепости. Это у них в крови. Твой дед исполнял свой долг, а певчим, точно, не был.

Выпив шоколаду в лавке, дядя поуспокоился.

— Гора с плеч, — сказал он. — Экзамены, полагаю, пустая форма. Надо тебе написать домой, родителям, что принят в лицей.

10

И в самом деле экзамен, который он держал двенадцатого августа, длился всего несколько минут: все уже было решено.

Запоздали, кроме Александра, трое: Есаков — смуглый и тщедушный, все время беззвучно что-то лепетавший, видимо повторявший правила; белый, пухлый Корф и Гурьев, которого Александр уже знал. Их поодиночке вызывал чиновник в небольшую комнату, где за столом сидел министр и несколько чиновников, по всей вероятности профессоры. Дворец Разумовского на сей раз показался Александру сырым, неконченным зданием, вовсе не таким великолепным, он сам — скучным и старым. Чиновник, наглухо застегнутый, бесшумной тенью скользил по комнате и, изгибаясь, что-то говорил шепотом на ухо министру, который ничего не отвечал. Он пристально смотрел на отделку своих ногтей и только однажды рассеянно приложил к глазам лорнет и улыбнулся. Александру велели что-то прочесть. Маленький, немолодой уже француз, сидевший за столом, спросил с живостью, какого французского поэта знает он лучше всего, и, получив ответ: Вольтера, улыбнулся с неудовольствием.

Спустя два дня министерский сторож принес форменный пакет, в котором было извещение, что Александр Пушкин принят за № 14 в Императорский лицей. Ему

надлежало явиться на квартиру директора для обмундирования.

Дядя был доволен.

— Брата твоего директора я очень знаю: помогает Николаю Михайловичу читать все эти грамоты, летописи и родословия. Труд адский. Я встречал его. Молчалив, но полезен. Поклонись от меня своему директору.

У директора встретил он товарищей, которых видел мельком и как бы в тумане на приеме и экзамене у Разумовского. Сын директора, мальчик его лет, который также поступал в лицей, играл роль хозяина, встречал, провожал и знакомил всех.

Просторная комната поразила его наготою: мебель самая необходимая, на стене ни портрета, ни гравюры. Все было чопорно и скудно в квартире директора. За высокой английской конторкой стоял бородатый мужик в поддевке и записывал мерку. Трое или четверо кандидатов стояли в одном белье посреди комнаты. Александр остановился в нерешительности, стыдясь своего белья, чиненного Ариною. Однако и у товарищей было не лучше. Он осмелел. Пущин, с которым познакомил его дядя у министра, был здесь. Все присматривались друг к другу, как рекруты, которым забрили лбы. Бородатый мужик совещался с экономом о прикладе. Рост одного из юношей, казалось, вызвал его недовольство.

— Одного прикладу сколько пойдет, — говорил он эконому, морщась.

Вообще на квартире у директора ничто не напоминало лицея, каким он представлялся ему на приеме у Разумовского. Шитье мундиров производилось самым домашним образом; рябой эконом упрашивал портного поставить сукно, чтоб стояло, и не задержать.

— Будьте покойны, — говорил портной,— сукно дворцовое, на жилет поставлю белое пике. Примерим, а там и построим. Их благородия двадцать лет носить будут.

— Хоть бы шесть проносили, — говорил эконом.

Эти цифры их поразили. Бородатый мужик держался величаво и смотрел на эконома свысока. Голос у него был густой. Александр никогда не видал таких. Когда он ушел, Горчаков спросил у эконома:

— Кто этот мужик?

Эконом, оглянувшись, зашептал:

— Они точно мужики и сохраняют все мужицкое обличье; но только — они главный портной его величества, господин Мальгин, человек не простой.

Александр держался Пущина: он не привык к такому скоплению сверстников и легко смущался. Они ходили вместе к примерке, и наконец одежды их были готовы. Как зачарованные смотрели они друг на друга, примеряя круглые пуховые шляпы. На них были летние куртки с панталонами из бланжевой фуфайки, полусапожки. Вид их внезапно изменился. Директор показал и велел примерить парадные треуголки и суконные фуражки на каждый день, а потом эконом все запер на замок. Многие держались стороной, приходили осторожно и уходили неслышно; завязывались знакомства. Он познакомился с Горчаковым.

Горчаков был щеголеватее других и старался быть со всеми одинаково любезен. Он щурился, потому что был близорук или из гордости. Александр вспомнил тетрадь отца в потайном шкафу, где именем Горчакова был подписан «Соловей»; это имя часто там попадалось, и притом под самыми опасными пиесами. Он спросил товарища, все еще дичась, как ему приходится поэт.

— Дядюшка, — сказал небрежно Горчаков, и Александр понял, что это неправда.

Малиновский, сын директора, ни на шаг не отставал от маленького, сухонького, веснушчатого лицейского, которого звали Вальховский. Тот был страшно молчалив и не улыбался. Когда примеряли треуголки, он составил носки и выпрямился по-военному. Он был решителен, и они с Малиновским были, видимо, во всем заодно.

Тот, кто был выше всех, чей рост смутил портного, был старше Александра и других. Он был очень худ и вертляв. Вид у него был неспокойный. Звали его Кюхельбекер.

Сразу же обнаружились шалуны. Бесстрастный вид и медлительная походка выдавали их. Таков был Данзас, белобрысый, сумрачный, со вздернутыми бровями, вздернутым носом и торчащим на затылке вихром. Он был внимателен и, видимо, выжидал случая. Таков же был Броглио, француз, жирный, черный, с ястребиным носом. Видно было, что они в лицее покажут себя. Позвали к чаю. Все сидели, поглядывая друг на друга искоса,

исподлобья. Равная участь всем предстояла. Тот, которого звали Кюхельбекером, был неловок; пролив чай, он побледнел и дернулся. Шалуны быстро и молча обменялись взглядом, Александр понял, что участь высокого решена. К его удивлению, вскоре таким же взглядом многие посмотрели на него: в забывчивости он сел, поджав ногу под себя, как часто делывал дома. Надежда Осиповна тщетно старалась его отучить от дурной привычки. Он почувствовал, как нога его тяжелеет, но досидел до конца и выдержал общие взгляды. Он решил не сдаваться.

11

Василий Львович написал брату письмо: он устроил Александра в лицей; о судьбе его, кажется, более думать нечего, в октябре начинаются занятия, и все довольны. Тургенев много помог. Дмитриев отнесся как должно. Был на спектакле у Юсупова; князь спрашивал о здоровье Надины и велел кланяться. Исполняли старый-престарый спектакль, танцевали ни хорошо, ни худо, но в Москве никто не поверит: как по мановению жезла с фей упали одежды! Эффект неописуемый и успех полный. Более ни слова. Что было, расскажет с подробностями, когда вернется в Москву. Дмитриева новые басни много уступают прежним. «Беседа» шумит и грозится. Невский проспект много выиграл против прежнего: дома крашены, посажено много новых деревьев. Но устриц, вопреки ожиданиям, нигде в Петербурге не достал, не ходят корабли. Театр ничего не стоит противу Московского. Шаховской шумит безбожно и всем в театре правит, как тиран. Его зовут Картавиным, потому что в разговоре картавит и брызгает. Видел хваленую Семенову меньшую. Как и большая, недурна: в ней приметна приятная полнота. Бобров в роли Пиритоя потирал рука об руку, как камердинер Никита, что неприлично для героя. Новые батюшковские стихи счастливы по мыслям, в них заключающимся. В послании его к Жуковскому и Вяземскому двести строк.

Василий Львович возвращался теперь засветло: Петербург оживлял его и напоминал ему молодость. Вставал он поздно. В новом халате с длинными кистями сидел он у стола и набрасывал свои мысли и замечания. Александр не однажды был свидетелем находа дядиной музы.

— Ты мне нисколько, мой друг, не мешаешь, — говорил дядя и записывал на чистом листе: «Истинной поэзии помешать трудно». Затем подавали завтрак, дядя повязывал салфетку и ел с удовольствием; потом одевался и уезжал со двора.

Однажды за завтраком он долго жмурился и кусал губы, что-то, видно, скрывая от Александра. Это было назавтра после спектакля у Юсупова.

— Как многое в танцах зависит от одежды! — сказал он, вздохнув.

Жажда высказаться тяготила его. Помолчав, он прибавил:

— И чем легче, тем лучше.

Странное дело: Александр посмотрел на него так, как будто обо всем догадывался или знал. Взгляд юнца был коварный. Василий Львович обомлел, что-то записал в книжечку и уехал со двора пораньше, на пороге встретив Пущина и величаво его обняв.

12

Одиночество Александра кончилось. Пущин жил тут же неподалеку, на Мойке, в темном, старом родовом доме. Каждый день с утра приходил он к Александру. Толстый, круглолицый, с ясными серыми глазами, он ни в чем не был похож на Александра. Однажды, когда Василий Львович суетился и охорашивался перед зеркалом, как всегда, позабыв о присутствии юнцов, они переглянулись и оба остались довольны собою. Глаза нового приятеля были совершенно плутовские. Оба они не рассказывали о родном доме. Ответы их, как вопросы, были кратки. На вопрос, где его отец, Пущин ответил кратко. «В сенате». Они узнали, как зовут отцов и матерей. Отца Пущина звали Иваном Петровичем, мать Александрой Михайловной. Потом они посмотрели друг другу в глаза, и Пущин отвел взгляд. Больше о родителях они друг друга не спрашивали. Зато охотно говорили один о деде-адмирале, другой о дяде-стихотворце. Александр прочел Пущину «Опасного соседа». Пущину поэма необыкновенно понравилась. Оба они поговорили о том, что напечатать ее нельзя, потому что она вольная, но это ей нисколько не мешает. Дед Пущина был тоже необыкновенно занимате-

лен: строптив, угрюм и с причудами. Это он приводил внука представляться министру и, оказывается, распек чиновника за то, что министр заставил их ждать. Пущин говорил, что без деда Разумовский бы их томил до вечера. Очень неохотно упомянул он о сестрах, которые, по его словам, начальствовали более, чем нужно.

Родители Пущина мало могли заниматься своими детьми. Отец его, человек пылкий и суровый, был интендант флота и недавно назначен в сенат. Несчастные страсти мешали ему. Любовь к женщине низкого состояния была причиной его отдаления от семьи и детей. Мать помешалась и жила взаперти, не выходя из комнаты. Всем правили в доме сестры, которых братья не любили.

Они теперь бродили по Петербургу вместе, иногда удивляя друг друга своими знаниями. Таковы были их познания о любви. Каждый из них полагал ранее, что только он один знает все удивительные подробности и что никто из сверстников об этом не знает и знать не может. Александр был удивлен, что Пущин знает то же, что и он. Они почувствовали друг к другу уважение.

Проголодавшись, они шли домой, а Анна Николаевна кормила их.

Анна Николаевна в Петербурге не находила себе места: ее томили жара и безделье. У заезжей французской модистки из соседнего нумера она переняла модную прическу: d'Anne d'Autriche[1] и с утра трудилась перед зеркалом, пригоняя волосы к вискам и завивая их, чтобы волосы вились штопором. Косы у нее были длинные, и она их в пять рядов укладывала толстою короною на маковке. Василий Львович одобрял ее труды. В тяжелой прическе Анны Австрийской Анна Николаевна лебедкой ходила, переваливаясь, по нумерам. Скучая по своем полубарчонке, оставшемся в Москве, она заботилась об Александре и Пущине и поила их чаем с морошкой; варенье обоим нравилось, они съедали, что ни поставь, и это льстило ее самолюбию.

— Будьте здоровы, кушайте, пожалуйста, — говорила она.

Она вздыхала, глядя на них, и продолжала вязать на спицах. Василий Львович приказал ей, чтоб Александр Сергеевич с Иваном Ивановичем не слишком резвились.

---

[1] Как у Анны Австрийской *(франц.)*.

Между тем оба оказались резвы. В первый же вечер, когда вернулись с гулянья, стали бороться и возиться, вывертывая друг другу руки и стараясь повалить на пол. Боролись они долго и упорно, пыхтя, не смотря друг на друга, занятые всецело мыслью о том, как бы одолеть: свалить противника, а затем сесть на него верхом или вскочить на плечи. Пущин был при этом медлен и упорен, а Александр быстр и увертлив. В конце концов Пущин начал побеждать, и подножка должна была вскоре решить дело. Анна Николаевна вздумала было исполнить приказ Василья Львовича и бросилась разнимать приятелей. Через минуту она лежала на полу; один скрутил ей руки, а другой обнял и прижал, чтобы лишить возможности сопротивляться. Потом оба закраснелись, в глазах у обоих что-то потухло, и, тихие, присмиревшие, они отправились гулять. Анна Николаевна, смутясь, поправила волосы и сказала тихо, с удивлением, как говаривала иногда Василью Львовичу:

— Какие, право, шалые...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЕТРАДЬ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КУНИЦЫНА

Просвирня, у которой живу, сказывала, что на рынке объясняли ей значение звезды: якобы она недаром появилась на самом возу. Под возом, как видно, она и наперсница ее понимают Большую Медведицу, близ которой ныне сияет комета.

Напрасный труд было объяснять ей, что комета — явление мира физического; старуха озлилась.

Все полно темными слухами о предстоящей войне, и все затаились. Не верю, хоть в Париже уже не брали от меня русских денег в размен.

Был сегодня у Кошанского. Он живет на неопрятной квартире, половину которой занимает собою дебелая стряпуха. Щеголяет он только на людях, — дома франт наш сидит в балахоне, дабы не привести в дряхлость одежду. На все Н. Ф. смотрит свысока, мрачно и, кажется, мнит быть первым поэтом на Руси. Сурово судит Батюшкова за новые стихи, в которых будто бы тяжкие

грехи против правил. Полагаю, что от зависти. «Придется, видно, уж мне, — сказал он, — издать курс правил поэтических». Боюсь, что Геттинген надул его гордостью, а ума, ни таланта не прибавил.

Кошанский замучил меня чтением своих стихов. Философия его самая простая — прославляет тишину, как уже, впрочем, сделал Ломоносов. Последние пять строф посвящены Михайле Михайловичу Сперанскому.

Наконец на столе появился шнапс, вовсе не геттингенский, стряпуха подала редьки — и поэт стал совершать возлияние Бахусу, а я убрался домой, завтра — день воскресный: увижусь с братом.

Только что, кажется, уехал я из Геттингена. Только что Тургенев, Галич, Карцов проводили меня с Кайдановым до Ландер-шенкен, все провели последнюю ночь хоть со стесненным сердцем, но весело. Ночь была месячная. Тургенев со всегдашним хладнокровием разбудил хозяина и заставил его таскать бутылки красного вина. Жаль, что Каверин отлучился в Иену, — то-то помянули бы мы эту последнюю ночь безумствами! Луна, густые липы, воспоминания прошедшей жизни даже самого Николая Тургенева оторвали от чубука и лишили высокомерия. И все вдруг исчезло, как сон.

Где я, что с моими товарищами? Их не узнать. Все брошены из великой опрятности и мечтаний в грязь существенности.

Был я у Александра Ивановича Тургенева. Узнал: всех нас, геттингенцев, «тус ле вьез етюдиантс», [1] как говорит Кайданов, проэкзаменуют и всем стадом определят профессорами в лицей. Что такое лицей? Александр Иваныч на мой вопрос сказал, что положительный ответ на сие труден, но отрицательный легок: лицей не училище, не университет, не корпус, что это, однако, и то, и другое, и третье, что пока бог знает, что такое, а там, впрочем, будет видно. На том и покончили.

Ал. Ив. не похож на своего брата, нет у него гордыни праведника, этого холодного всеведения и верховного презрения к непосвященному бедному человечеству. Напротив, хлопотлив, угощает напропалую, говорлив. Очень верно сказал, что ни я, ни Николай Иванович русского языка не знаем: письма наши неуклюжи, с натяжками,

---

[1] Всех старых студентов *(франц.)*.

надо короче да проще. Я и то стараюсь говорить без фигур.

Я перед ним в долгу по гроб. Чем отплачу и когда? Мне нельзя быть в долгу, потому что нечем отплатить. Брат Михайло, рассказывая об ордонансхаузе, где был, доселе дрожит и щелкает зубами. Доднесь получает он от Александра Ивановича по пять и по десять рублей в месяц, одет в шинель с его плеча. Я благодарил, как умел, дал ему читать Флассона, книгу, редкую в Париже, рассказал о Париже и Геттингене — Александр Иванович сказал: «Со мной что за счеты, но необходимо вам нужно благодарить Аракчеева. Напишите письмо покраснее, поживее, а потом представьтесь». И сам, кажется, покраснел от смущения. Составляя послание, я почитай что плакал, только не от чувствия благодарности. Брат Михайло — солдат при графской канцелярии, и, следственно, все равно, что его слуга. Более того — дали мне понять стороною, что есть в Петербурге веселая нимфа советница Пукалова, графское утешение, и хорошо ее бы почтить какой-нибудь иностранной новинкой. Я купил для матушки в Гейдельберге шаль, истинно на крохи и отказывая себе в хлебе. Узнав адрес, послал прелестнице при довольно учтивом письме.

Граф меня не принял, и спасибо. И что же? Брат унтер-офицер, и жалованье ему велено выдавать по шестьдесят рублей.

К чему готовлюсь — не знаю. Спрашивал Малиновского. У него большие планы. Создание общего духа, воспитание без лести, раболепства, короче воспитание *достоинства.* — Но ведь им потом придется всем быть чиновниками, пригодится ли? Не пропадут ли даром труды? — Если б я так думал, я отказался бы. Просьба к императору и справка к губернатору. Этого и без воспитания достигают. — Кого же и для чего мы будем воспитывать? — Для работы законодательства. Эту работу придется рано или поздно предпринять, чтобы облагородить русских людей, показать их разум перед целым светом и уверить их в самих себе. А мы подготовим людей и проч. По уставу должны готовить для важных постов в государстве, а самый важный пост будет скоро — депутаты. Он признался, что восемь лет ничего не публикует, готовясь к деятельности гражданственной. Готовит записку о созвании депутатов. Земледелие недоста-

точно — много пустых земель; мешает, что захватили их господа, кто берет землю для себя, тот и обрабатывает ее. Рабство развращает, опустошает. Величайшая обида россиянам почитать их неспособными для составления своих законов. — Поспорили об общественном договоре и теории гражданской. — Первоначальное общественное условие есть токмо идеальное; русские могут основать свои права надежнее на созрении *своего* ума, а не иностранного и т. д. Я с одним согласился, с другим нет. Между тем восемь лет молчания! Вас. Фед. дал мне речь свою, которую прочтет при открытии лицея. Я диву дался. О благорастворенном воздухе Царского Села. Из того, что говорил, — ни слова. Осторожен и, кажется, излишне. Предложил и мне написать речь. Я тотчас согласился.

Карцов зол, как пес; Галич — добрая душа, пьет запоем, Каверин, милый безумец, еще в Геттингене.

Встретил у Вознесенья Кайданова. Деловит, печатает, говорит, книгу. Какова-то будет? Немилосердно ввертывает французские словечки и произносит все буквы: «нус, ле вьез етюдиантс де Геттинген», что должно означать: «мы, старые геттингенские школяры». Либо не французь, либо выучись. Зачем подавать повод к насмешкам, отразить которые ты не в силах? Проклятый след нашего семинарского воспитания, невежества и хвастовства.

Бродил по Петербургу. Всегда ли он таков? Я немного отвык от наружности домов, улиц и прохожих. Город тих, сумрачен. У всех походка торопливая. Вдруг настала осень. Права ли просвирня, и точно ли быть войне? Воображаю Париж, Латинский квартал, любезных школяров, которые меня по-братски встречали, румяную Мари, которая поднесла мне букет простых полевых цветов, — и не верю.

Рассказывая сегодня Малиновскому про Париж, упомянул о громадных лампах-реверберах, которые освещают улицы. Тут же бывший старичок схватился за голову: «Где уж нам с ними воевать». Я возразил: первое — лампы не пушки, и не ими стреляют, второе — и пушки не дают победы, а дает победу дух войска, а третье — может быть, обойдется и без войны. Василий Федорович только вздохнул.

В одну ночь написал свою речь. Не знаю, как примут. Писал при свете ночника, со слезами. Отдал Малиновско-

му; но одобрения не получил, за излишнюю смелость, с которою противопоставлены истинной доблести знатные потомки, основывающие свое бытие только на предках. «Это прекрасно. Россия переходит в аристократию еще с Анны, но ведь будет государь, Государственный совет, первые чины; поосторожнее бы; время тревожное». Мне обидно стало за чувство сердечное, которое пошло на бумагу.

Долго не мог попасть к Михайлу Михайловичу. Занят выше всякой меры, и ворота, говорят, на запоре. Наконец принял. Побледнел, похудел, стал холоднее. Но улыбка на лице и теперь прекрасна. Кто видел картины старых художников итальянских, как я, тот знает эту власть улыбки. Ничто не победит моего чувства к этому человеку — ни опыт, ни годы, ни даже знание некоторой его извилистости. Таково государство. Беседа наша продолжалась полчаса и более. Жаль, что вместе со мною присутствовал некто Гауеншилд, человек самой мрачной наружности, австрияк, едва говорящий по-русски, и друг Уварова, — так рекомендовал его мне Михайло Михайлович. Сам же он рекомендовался мне членом Венской академии. Что такое Венская академия? После сего он поднял мизинец, сурово глядя на меня. Знаю, это масонское приветствие, но не счел нужным отвечать венскому академику. Итак, разговор наш шел наполовину по-немецки. Впрочем, я по-русски изложил, что думаю сказать в речи своей на открытии лицея; М. М. оживился. Речь ему понравилась, в самом деле она, кажется, удалась. Особенно то место, где говорю, что знаменитые предки не дают человеку достоинства и что человек мыслящий сам волен себе выбирать предков. Попросил кое-что добавить. Вот Василью Федоровичу и сказ. Взял в руки карандаш и стал подчеркивать, что более всего нравится, а под конец сказал мне с улыбкою:

— Это хорошо! Давно пора нам сделаться русскими!

Ему нравится, сказал он, что я говорю везде об *отечестве*, которое приемлет обязанность блюсти и воспитывать, а не о щедрости правительства, государя и проч.

Что присутствующий при нашем разговоре Гауеншилд ничего не понимает по-русски, кажется, его забавляло, и он прибавил, что это его мысль самая задушевная и утешительная: «мало ли у нас людей русских, кроме немцев? И каких людей!» Тут он поглядел довольно

насмешливо на портреты; один — кисти очень порядочной, изображающий И. А-ра в юности: наружности пухлой, девичьей, с алыми губами и усмешкой (Лизль в геттингенском кабаке «У золотого оленя» могла бы быть натурою, ежели бы не эта усмешка); по правую руку от стола висит портретик Ломоносова: обоим портретам на стене тесно. Сперанский покачал головою, видя, что я понял его, и погрозил мне пальцем. Потом, все так же скользя взглядом по портретам, рассказал мне о воспитании «полуигрушечном», которое было в великой моде при дворе Екатерины: на детей смотрели как на забаву. Нынешний министр наш, граф Разумовский, оказывается, обучался в полуигрушечной «академии» на 10-й линии Васильевского острова, называвшейся «l'académia de X ligne». К детям, почти младенцам еще, ездили академики, иезуиты — и к пятнадцати годам они забыли русский язык и вполне пресытились роскошью полузнаний. При дворе забавлялись сею «академиею 10-й линии», как собачками. М. М. предостерег меня, что в иных руках лицей может также стать игрушкою; всего вреднее любование детскостью.

Венский академик напрягал все мышцы лица своего и много сжевал лакрицы, стараясь понять смысл разговора, также отчасти и его касающийся. Но взгляд, брошенный на портрет, и он понимает. Я удивлен этой детскою беспечностью в характере великого человека. К тому же в комнате толчется еще и хитрый лакей. На прощание Сперанский сказал продолжать как начал, по тому же плану, воспитывать разум, а не слепую и томную чувствительность, которая не что иное, как механический навык, «и авось нашего полку прибудет — найдутся люди!»

Гауеншилд мешал: столь мрачная харя не может, кажется, принадлежать порядочному человеку. Он много повредил свиданию нашему.

М. М. сказал, что в особенности хорошо, что скажу свою речь именно *теперь*. Может быть, он разумел войну, которая у всех на уме, если не на языке?

На прощанье: «Люди мне понадобятся ранее окончания курса в лицее. Вы понадобитесь мне очень скоро. Будет издаваться политический журнал наподобие «Moniteur», и вы будете редактором его». Похвала меня

окрылила. Придя домой, я тотчас набросал план журнала. Я более не молод, через два года стукнет тридцать, и тайком, ночами, когда не спалось мне в Геттингене, я всегда думал, признаюсь откровенно, не о воспитании детей, а о деле гражданина. Только бы не война, неразумная и слепая.

Выражения, которые Сперанский подчеркнул в моей речи как особенно удачные, кажется отвечают его мыслям:

...Не искусство блистать наружными качествами, но истинное образование ума и сердца... Если граждане забудут о должностях своих и общественные пользы подчинят корыстолюбию, то общественное благо разрушится и в своем падении ниспровергнет частное благосостояние... Отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо... Жалким образом обманется тот из вас, кто, опираясь на знаменитость своих предков... Отечество, благословляя память великих мужей, отвергает их недостойных потомков... Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны презрение, ненависть или проклятие?.. Древние россы, прославленные веками... Среди сих пустынных лесов, внимавших некогда победоносному российскому оружию, вам поведаны будут славные дела героев, поражавших враждебные страны. Вы не захотите быть последними в вашем роде, смешаться с толпою людей обыкновенных, пресмыкающихся в неизвестности... Любовь к славе и отечеству... Дважды подчеркнуто — *в сих пустынных лесах*. Назвать так Царское Село, быть может, смело, но нужно разбудить их воображение: так недавно эти парки были пустынею. Говорить о предках — отвергнуть пустую кичливость ими, а с другой стороны — заставить с ними состязаться, кажется, единственный способ заставить обеспеченных трудиться. Другой, более тяжкий — бедность. Но это уже не дело воспитателей.

Сегодня у меня было странное посещение. В дверь постучались. Я думал, что Никитишна опять пришла толковать о комете. Вошел незнакомый человек. Я был в халате, но гость не дал мне одеться, и я принял его в ха-

лате, чем был немало смущен. Фигура необыкновенная: тощ как скелет, глаза впали, черный сертук до пят. Он сказал мне тихим и приятным голосом, что, прослышав, что я, как и все мои товарищи по Геттингенскому университету, буду учителем лицея, пришел познакомиться как будущий надзиратель, или, что то же, инспектор лицея, и назвал себя: Мартин Пилецкий. Оказывается, и он учился в Геттингене, пять лет назад.

Я ожидал вопросов об этом городе, о профессорах и осведомился, где, на какой улице он жил там. Он посмотрел на меня с улыбкою, в которой нет ничего неприятного, и сказал, что не смеет утруждать мое внимание своею личностью без всяких на это прав. Впрочем, если мне угодно рассказать о Геттингене, то его просьба сообщить мне, жив ли еще профессор Герен. На мой ответ, что Герен жив и по-прежнему читает лекции, гость тихо засмеялся и сказал, что он в жизни своей не видел большего болтуна и глупца.

Я не знал, что подумать, и это показалось мне насмешкою. Тут гость приступил к делу. Он спросил меня, знаю ли, кого готовлюсь учить. Я вынужден был сказать, что не знаю.

Гость вынул из кармана кучу маленьких листков, сложенных со всем тщанием, и предложил мне прочесть список всех учеников и их родителей с краткими о них сведениями.

Я поблагодарил, часть прочел, но вскоре убедился, что сведения эти свойства чисто полицейского. Каждого ученика узнан возраст, а о родителях собраны все слухи: с кем живет отец, с кем мать, или короче: отец — картежник; отец — лихоимец и т. д.

Я с негодованием отказался. Он, казалось, не удивился. Затем, спрятав листки, с заметною сухостью сказал мне, что до занятий остался всего месяц, а как он будет отвечать и за нравственную и за учебную части, то «времени терять нельзя». Он понимает, сказал он с усмешкою, мое недовольство, но как добиться цели, если не знаешь, каков воспитуемый, из какого семейства, и даже возраста? (Это довольно убедительно, хоть и низко.) Он продолжал и вскоре изложил мне главную мысль: добрая половина учеников из семейств развратных, обнищалых и проч. Для того чтобы вырасти людьми

совершенными, они должны уничтожить самую память о семье.

— Но не о себе же? — спросил я его наконец.

— И о себе, — сказал он твердо. — Они должны быть очищены от всего и представлять чистую доску. — Постепенно все оживляясь, он сказал, что мысль о какой-либо привязанности должна быть истреблена, кроме одной привязанности — к богу.

Щеки его закраснелись. Он был как бы в самозабвенье, ни разу не повышая голоса, он изложил мне, что думает о *моральном надзоре*. Он не будет докучать воспитанникам, но они будут чувствовать моральное его присутствие. Уединяясь, ведя тайные разговоры и пошепты, даже во время молчания, только мимически друг другу выражая свои тайные мысли, они будут знать, что их слышат и видят. И это спасет их от порока и соблазна, который иначе неминуем. Днем и ночью невидимое — или, иначе, моральное — присутствие, то есть наблюдение, будет мешать им предаться разврату, что же касается классов, — будут присутствовать гувернеры.

— Что называете вы развратом? — спросил я.

— То же, что и вы, — ответил он язвительно.

Лицо его горело.

— Добрая половина развратна, сказали вы, — прервал я его сколь мог спокойно, — но зачем же страдать другой половине, добродетельной?

Он, казалось, опомнился и, помолчав, ответил неохотно, что не будет ни развратных, ни добродетельных в училище, как не должно быть богатых и бедных. Все смирятся перед высшим начальством.

Кого он разумел под высшим начальством: себя, доброго Василья Федоровича или господа бога, осталось мне неизвестным. Я сказал ему прямо, что он хочет готовить *монахов* и что в этом случае должен быть прав. Что до меня, я никогда бы не взялся образовывать святого монаха, но только берусь читать лекции по нравственной философии, с тем чтобы сделать молодых людей разумнее. Да и это нелегко.

Гость мой, заметив на столе моем томик Руссо, «Эмиля», с улыбкою взял его в свои длинные, истинно не человеческие пальцы и, сжав в ладонях, отложил.

— Иже во святых отец Жан-Жак? — спросил он с плутоватою улыбкой.

Как только он вышел, я открыл окошко и впустил в комнату холодный воздух. Чистый воздух скоро рассеял тень его посещения. Моральное отсутствие сего господина действует животворно. Однако гг. Гауеншилд и Пилецкий — товарищи отрадные. Одной логики противу них, кажется, будет мало.

Провел приятный вечер у Тургенева. Там был стихотворец Пушкин со своим племянником, моим будущим студентом. Говорили много о городских сплетнях и слухах. Я должен был рассказать Пушкину несколько геттингенских историй о Каверине, его дуэли и проч. Ни Тургенев, ни Пушкин в войну не верят.

Сказал о политическом журнале, который затевает Сперанский, и тотчас пожалел. Александр Иванович очень занялся этой мыслью. Едва ли не сам он метит в редакторы. Г. Пушкин зевнул, икнул и спросил, будут ли печататься в журнале стихи и как название журнала?

Как не похож Пушкин на существо, которым мы привыкли представлять себе поэта! Он просто старый франт, притом прожорлив и неряшлив. Дважды, говоря о Шишкове и Державине, употреблял сильные выражения, вовсе неуместные при юном племяннике. Пушкин сильно возмущен высылкою содержательниц петербургских модных лавок. Они хоть и француженки, да нужны, по его мнению. «Помилуйте, — говорил он, — где будут одеваться наши красотки? Они скоро будут ходить в сарафанах. Притом, каждый порядочный человек, который хотел увидеться с прелестницей, находил в этих лавках комнату, канапе, стакан оршаду, и все это недорого, с удобством и вежливостью. Поверьте, они о Наполеоне и не думают» и проч. И это все при племяннике. Но все и, кажется, племянник к этому привыкли. Если б сюда заглянул Пилецкий — несдобровать бы нам! Все говорится здесь в семьях при детях без всякой утайки. Племянник не в дядю молчалив и несколько диковат, спотыклив, ни словечка не проронит. Я немного поговорил с ним, и он, кажется, повеселел. А о названии для моего журнала я и в самом деле не подумал — поэт прав, по крайней мере, в этом.

Между тем закончил начатую еще в Геттингене свою диссертацию: «Ифика, или наука о нравах». Глава о страстях и равнодушии, разуме и суевериях мне удалась. Не знаю, кто согласится издать?

Познакомился с кучей народа у Василья Федоровича: с Иконниковым (гувернером), французом г. де Будри и Калиничем. Иконников малый добрый, но пугливый, и пахнет от него водкою. Калинич будет учить каллиграфии, а у самого руки дрожат. Громаден и бессловесен. Г. де Будри в завитом парике, толст и горд. Пригласил меня к себе.

Брат Михайло отпросился на день ко мне. Увидя меня во фраке, приготовляющегося идти куда-то, так оробел, что стал говорить мне: «Вы». Едва я его усадил и едва сдержал слезы. Что с ним сделали, с Мишею! Он солдат, словно солдатом родился, руки по швам, и уныние на лице. Не знаю, может ли сделать воспитание из животного человека, но что из человека может сделать животное — верю.

Был у Давида Ивановича де Будри и не могу опомниться. Признаюсь, насаленный и напудренный парик, бархатный камзол и гордый привесок к фамилии «де» — не по мне. Я видел обнищалых французских вельмож. Эти птицы, которые с места подняты стужею, учат вместе с французским языком наших барчат и манерам, как держать вилку, кланяться и проч. Нищета их еще более надувает гордостью, а знания невелики.

Старый де Будри живет на Разъезжей. Подойдя к дому, я сразу увидел его голову в окне первого этажа: он сидел без парика, в очках, курил трубку и читал книгу.

Сначала он меня не узнал и встретил с важностью; я помешал ему. Я напомнил о себе, старик тотчас оживился, и важности как не бывало.

Разговор зашел о моем путешествии по Германии. Я вспомнил свое возвращение, Дрезден и имел неловкость заговорить о тамошней статуе Густава II, которая меня поразила: пресмешной немецкой работы, в огром-

ном парике, похожем на лошадиную гриву. Тут г. Будри взглянул на меня довольно свирепо. Как я поставил себе за правило признаваться в оплошностях, то и сказал ему, что смеюсь не над париком, а над статуей.

Г. де Будри хоть остыл, но еще долго молчал.

Я сказал, что не думаю долго пробыть в лицее, так как цель моя — издание журнала. Он ответил довольно сурово, что ни смолоду, ни позднее тоже не думал, что будет учителем. Здесь, в России, у него была галунная фабрика, но император Павел, произведя перемены в костюмах, разорил его.

Де Будри слышал от Василья Федоровича о моей речи, еще не сказанной. Он спросил меня, какую нравственную философию буду я читать, потому что слышал, что это будет то же, что и закон божий. Кто наплел ему? Я возразил, что закон божий не трактует ни о страстях, ни о разуме, ни об общественном договоре, то есть то, что говорю в начале своей Ифики. Тут де Будри вдруг стал быстро похаживать по комнате, заложив руки за спину и молча. Потом, остановившись передо мною, стал так быстро говорить, что я попросил говорить не так шибко, потому что во французском языке не скор. Он повторил: это было суждение одного его друга, математика. По суждению этому — рост человека то же, что и рост бабочки, а молодость больше всего опасна неподвижностью и отсутствием жизни, бывающим у куколки. Дать вылететь бабочке — вот вся задача учения. Но для этого нужно правильное мышление. Мне понравилась эта мысль, но я сказал, что иной раз бабочка вылетает не та, которой ждут, с чем он согласился. Друга своего он назвал Роммом. Портрет его висит на стене. Лицо сумрачное, глаза впалые. Старик объяснил, что встретился с Роммом уже в Петербурге, — почти тридцать лет назад, где они были les outchiteli: де Будри в доме графа Салтыкова, а друг его — воспитатель молодого Строганова. Ромм вскоре с воспитанником уехал в Париж; и более они не виделись, затем что Ромм умер.

Тут старик ударил себя по шее, которая у него довольно крепка, пальцем. Так он дал мне понять род смерти своего друга и сказал хладнокровно, что Ромм стал по приезде в Париж председателем Конвента.

Тут вошла его жена, еще молодая немка, и мы сели ужинать.

За столом Давид Иванович заметно повеселел и, выпив вина, признался, что охотно бы побывал в Швейцарии, на своей родине, где не был уже тридцать лет. Он родился и вырос в городе Будри, а потом изучал философию в Женеве и видел однажды самого Жан-Жака, но подойти не посмел. Всего только и запомнил, что сутулую спину мудреца да его серый сертук. Я с невольным уважением посмотрел на него.

Старик прихлебывал вино с видом знатока: любимый его напиток в молодости было вино фронтиниак, которого он уже двадцать лет не пробовал. Постепенно он как бы помолодел. И стал вспоминать свою семью. Отец его был сардинец, сказал он, а мать швейцарка. Он ничего не знает об участи любимой сестры Альбертины. На стенке висит портретик ее, рисованный неумелой рукою. — Я изобразил черты ее по памяти, — сказал мне г. де Будри. Лицо сестры худощавое, а глаза большие и черные: впрочем, рисовальщик г. де Будри плохой. Рамки делает также он сам: рамка хороша.

Рядом другой такой же портрет человека немолодого, со стриженой головой, глаза как угольки и улыбка беглая.

— Это мой брат, — сказал г. де Будри. — Он был великий человек.

Далее он рассказал мне, что брат его был знаменитый врач, который издал трактат об ужасных болезнях сифилитических. Более всего он был враг корысти и заслужил ненависть медиков тем, что требовал объявления во всеуслышание всех медицинских секретов, которые лекари скрывали от человечества, наживая на несчастных больных состояния. Мысль эта была нова, и я стал расспрашивать Давида Ивановича о трудах его ученого брата. Старик заметно смягчился: видно было, что старое честолюбие взыграло в нем. Он гордился братом. Брат его, сказал он, был высокий ум; его изыскание о природе электрического огня могло бы принести великую пользу, если бы Французская академия не восстала противу его. Брат его стал жертвою салонных ученых, избивших великого мужа на заседании. Его поносил и Вольтер, и лишь Дидро признал его достоинство. Вообще жизнь его брата была полна несчастий и бурь. При покойной императрице приглашали было его на службу в Россию — воспитывать младое поколение, но

он отказался. Давид Иванович очень сожалел об этом. «Мы могли бы жить в одном городе, под одним небом», — сказал он, попивая вино.

Меня немного удивило, что я нигде не встречал имени брата его г. де Будри, столь им прославляемого. Удивило меня также, что название его родного города схоже с его фамилиею, о чем я и сказал. Тут Давид Иванович посмотрел на меня с удивлением и спросил, не принимаю ли я его за дворянина по титулу? Я смешался, ибо, конечно, принимал, но не столько по фамилии, сколько по парику. Увидев в моих чертах некоторый вопрос, старик объяснил, что фамильное его прозвище «de Boudri» означает только: «из Будри» и потому схоже с названием его родины. Я все более недоумевал. Наконец Давид Иванович, видя это, неохотно проворчал, что подлинную фамилию его считают здесь неудобной, ибо она: *Марат*. Я пришел в такое замешательство, что ничего умнее не нашел, как спросить, давно ли расстался он с братом, и, только спросив, понял, что вопрос мой глуп. Марат неохотно ответил, что оставил брата своего в молодости и более не имел случая видеть его до самой его кончины.

Я невольно взглянул на пустой стул, стоявший у круглого стола рядом с пригожею хозяйкой, и, вообразив на нем Марата — в Петербурге, в гостях у брата, вздрогнул. Старик косо на меня посматривал и молчал, как кажется, жалея, что некстати предался своим воспоминаниям. Он, видимо, не ожидал столь сильного действия своих рассказов и насупился. Более ни слова не было сказано за обедом, и я, еле дождавшись конца его, наконец убрался, не чувствуя ног под собою.

Бродил сегодня по Петербургу и не узнал его. На артиллерийской площади и по Литейной улице пушки несутся марш-марш, заезжают и строятся, канониры с фитилями в руках подбивают клинья; мостовые стонут.

Мне сказали, что Аракчеев производит смотр артиллерии, но по виду это уже сущая война — та война, в которую не верю.

Долого бродил в задумчивости по городу и вдруг увидел Гауеншилда. Я хотел было поклониться, но он меня не заметил, поднял по самые уши воротник

и, оглянувшись, прошмыгнул. Поведение его мне показалося странным. Я посмотрел на дом, из коего он вышел, и на дверях увидел герб австрийского посольства. Меттернихов дом имеет довольно мрачную наружность. Не обратив вначале никакого на это внимания, я, вернувшись, за чаем, который мне подала просвирня, вдруг остолбенел; глупая мысль забралась мне в голову: я вообразил, что Гауеншилд — австрийский шпион. Начал вспоминать венского академика у Сперанского и чуть ли не утвердился в этом. Каково?

Сегодня ночью я долго не спал: ветер свистел в трубе. Потом попробовал холодно рассудить и не мог.

Война все более похожа на правду. Лицей не открывается. Учителя в нем: иезуит, якобинец, шпион и я, Александр Куницын. Вспомнил Геттинген и никак не могу поверить, что всего полгода, как пил вино под зеленым дубом геттингенской заставы, и всего десять месяцев, как в Латинском квартале поднял стакан за милую Мари!

Придумал несколько названий для журнала: «Атеней», «Дух просвещения» и др.; кажется, не годятся.

Уже неделя, как открылся лицей, шум улегся, а все в головах суета. Занятия начались, но воспитанники ничего не слушают.

Между тем событие описано в «Северной почте» и журналах, и всюду упомянута моя речь. Это сослужит мне службу, когда приступлю к своему изданию.

Василий Федорович вызвал меня за два дня, но как добраться до Царского Села, не сказал. Я стал нанимать извозчика, но стоит непомерно дорого — 25 руб. Каково будет родителям платить сей налог за свидание с возлюбленными чадами! Кажется, это лучшее средство, чтобы отвадить родных и для уединения студентов, требуемого программою. Можно бы дождаться казенной оказии, но о нас, кажется, забыли, а проситься на дворцовую линею вместе с камер-лакеями не позволяет мне род гордости: боюсь высокомерия дворцовой челяди.

Нанял я задешево молчаливого чухонца и поехал инкогнито, закутавшись плащом.

Тряска жестокая, но ни грохота, ни звона, какой подымали геттингенской заставы извозчики, — затем, что нет мостовой. В зной — пыль благословенная, мирозданная, а в дождь — грязь. Каменные верстовые столбы, похожие на кладбищенские монументы и, может быть, более приличные кладбищу, напоминали мне, что я еду в знаменитый дом Екатерины. Вскоре мы нагнали обоз, который растянулся больше чем на версту. Свиные туши, кади с маслом, окорока, а затем и звонкие возы с вином не давали нам проезду. Чухонец покорно поплелся за последним возом и ничего не отвечал на мои просьбы и даже приказания ехать поскорей и обогнать обоз. Наконец я, озлясь, плюнул и спросил, для чего везут столько пищи? Чухонский автомедонт [1] ответил без всякого выражения: «Чтобы кушать». Это достойно Диогена.

Я выехал в Царское Село во вторник вечером, когда уже темнело. Только в день открытия я узнал, что проклятая кладь, которая меня задержала, была снедь от графа Разумовского. Это были туши для того самого завтрака почетным гостям, который так теперь прославлен в повременных изданиях и который сравнивают с потемкинским пиром. Туши, которые я видел, были подражанием потемкинским жареным быкам. Разумовский, говорят, истратил на двухчасовой завтрак одиннадцать тысяч рублей и в лоск уложил и родителей, и учителей, и всех ведущих к познанию блага. По кухонной суете можно было подумать, что открывается ресторация, а не учебное заведение.

Признаюсь, дух мой волновался, и я сам себя, сжав зубы, бранил за это. Василий Федорович молчалив, сух и в большой робости. Глядя на него, я приободрился.

С утра стали прибывать кареты. Мундиры поистине слепили глаза. В половине двенадцатого приехали из Гатчины старая императрица со статс-дамами и дочерью, великой княгиней, и очень рассердилась, узнав, что государя еще нет. Она даже хотела ехать назад, не желая дожидаться, и среди придворных сделалась суматоха. Едва ее уговорили.

Наконец он со свитою прибыл, и, отслужив молебен, лицей открыли. Василий Федорович сказал свою речь.

---

[1] Возница.

Он был бледен, запинался, и голос был не слышен. Прочли список воспитанников и проч. Тут настал мой черед.

Перед тем как мне выступать, вдруг поднялся шепот. Я прислушался и ушам своим не поверил: ждали графа Аракчеева, и имя его проносилось по рядам.

Я начал читать свою речь с неприятным чувством. Читал я громко, ибо, как меня предупредил Василий Федорович, государь глуховат. Действительно, на лице его было вначале рассеяние; он посматривал в лорнет туда и сюда и что-то сказал рядом сидящему Константину, а последний довольно громко ответил, — что неучтиво. Обе императрицы были чрезвычайно внимательны, может быть потому, что не понимают по-русски; даром, что императрица Елизавета берет уроки русской литературы у профессора Глинки (как слышно, больше всех писателей русских ценит она Екатерину Вторую). Рядом с нею — баденская принцесса Амалия, сестра, по всему похожая на императрицу, но более толста и простодушна: как ни силилась, — вздремнула. Из всех лиц более всего запомнилось мне лицо графа Варфоломея Толстого, без всякого выражения. Лицо белое, бабье, глаза грустные, губы сладострастные. После всего сказал мне Малиновский, что он содержит гарем крепостных актрис. Речь моя должна быть ему дика.

Студенты, а иначе говоря — дети, стояли смирно и этим подавали пример. Впрочем, все они смотрели на государя. На двух-трех детских лицах я уловил тень внимания, а как речь была обращена не к кому другому, как к ним, то и стал смотреть на них, не так, как Василий Федорович, который, говоря: «Любезные воспитанники!» — все время невольно смотрел на государя.

Постепенно стеснительность моя исчезла. Вдруг сделалась тишина. Я понял, что Аракчеев действительно приехал. Пилецкий без шума прополз к двери. Все лица обратились к дверям. Сам царь, подняв лорнет, посмотрел туда. Я не знал, как мне быть, и на несколько мгновений замешкался. Его имя при той таинственности, которой он себя окружает, слухи, которые о нем ходят, поневоле вяжут язык. Я, впрочем, по истории с шалью знаю его больше, чем другие. Я собрался с силами и вскоре бросил думать о нем, а когда сделал нападение на аристо-

кратию, только и гордящуюся, что своими предками, снова поднял глаза. Некоторые гости хмурились, граф Разумовский смотрел на меня в лорнет, не скрывая неудовольствия, но государь, прислонив ладонь к уху, слушал внимательно. Константин дремал и обе императрицы с ним. Аракчеев не приехал. Когда я кончил, всеобщая тишина была мне ответом, но государь мне хлопнул, а за ним и все захлопали: граф Разумовский двумя перстами о два перста. Графское двоеперстие я очень понял и добра не чаю.

В коридоре меня нагнал Василий Федорович, жал руки, говорил, восхищаясь, что в речи моей ни разу не упомянуто о государе, — вещь неслыханная! — и счастье, что так все кончилось благополучно. А я так напротив думаю, что это именно и понравилось; лесть едва ли не приелась.

Потом пошли к завтраку, который так мешал въезду моему в Царское Село. Началась суета — студентов в классах кормили, и мать-императрица отведала их супу — я заметил бледного человека, который дрожал, как в лихорадке: это был эконом. Но суп оказался хорош. Потом был знаменитый фрыштык, который продолжался до вечера. Камер-лакеи подавали во дворце, наемные в лицее, от Разумовского. Нас угостили поскромнее, кажется остатками от славного фрыштыка.

Потом, говоря камер-лакейским языком «Северной почты», после обеденного стола во внутренних покоях взаимно распрощались и соблаговолили отсутствовать, те в Гатчину, а сии — в Петербург. А мы остались наконец одни и вышли с Васильем Федоровичем, который пригласил меня ночевать к себе.

Воздух был свеж, снежок подтаял. Все уж разъехались. Только двое-трое важных лиц оставались, в мундирах и звездах, поджидая своих карет, и о чем-то переговаривались довольно тихо. Вдруг один из них, коему надоело, видимо, ждать, громко хлопнул в ладоши и крикнул почти прямо над самым моим ухом:

— Холоп! Холоп!

Сие — был призыв к вознице, и сим восклицанием закончился у меня день.

Не помню, как завалился спать.

Потом узнал, что вчера за Аракчеева приняли ста-

рика из сената, который, узнав, что опоздал, повернул восвояси и исчез как дым.

Сегодня Василий Федорович поздравил меня орденом — *за речь*.

Запишу еще случай, в день открытия.

18-го Нева стала, и вдруг повалил снег, мягкий и мелкий, как пух, — деревья занесены. Воспитанники прибыли 19-го на санках — те, что с родителями. А те, коим средства не позволяют, — на дворцовой линее, для сего случая отряженной. (Таков Вальховский, о котором говорил мне Василий Федорович. Он принят по *личному* ходатайству Василья Федоровича; сам явился к нему и столь откровенно и смело изъяснился, что тронул его.)

Всех прибывших обрядили в мундиры, но они, невзирая на дядек, тут же выбежали и стали играть в снежки, так что прибежал Пилецкий и, чуть не шипя, стал всех разнимать. Кто-то и в него попал снежком. Он было потребовал штрафной журнал, дабы внести двух особо провинившихся, но ему не дали, потому что *лицей еще не открылся.*

1812. Январь.

Давно ничего не писал.

Я вовсе не ожидал, что придется читать лекции сущим детям. Присмотревшись к ним, я решил ничего не менять и составлять лекции, как намеревался ранее.

У всех, видимо, вывезено немало вздора из отчих домов, и почти все кой-что понаслышке знают, а стало быть, почти ничем не отличаются в знании нравственной философии от других.

Первое, с чем я встретился, — необыкновенное хладнокровие моих слушаталей, вовсе не расположенных слушать. Я порешил с сим бороться. Кайданов, которого я повстречал, мрачен, как туча. Он сказал мне, что «ругает хлопцев аж до трясцы» и за невнимание обзывает их «животными».

— Так и вызываю: Яковлев-господин, животина-господин, и ничего, терпят. Их учить надо.

Он сам становился похож на того семинарского своего ментора, которого любил изображать. Не нравится мне эта грубость. На него и на Карцова злы более всего.

Я решил вести себя так, как будто всерьез считаю юнцов студентами, и не допускать никакой короткости. Убедился, что это льстит мальчишескому самолюбию. Я заставляю слушать этих куколок, по выражению Будри, дремлющих на лекциях и показывающих гримасы, — авось-либо вылетят из них бабочки.

Сегодня рассказал об Аристиппе, а к концу — о стоике Зеноне.

Перья скрипели. Одни записывали об учителе наслаждений, другие о Зеноне, учившем побеждать страсти. Я не сказал им о том, что сам у него сему не научился. Мясоедова, который не только глуп, но и груб, я просил выйти вон. Другие не слишком поражены. Вальховский после классов просил что-либо почитать о Зеноне-стоике. Пушкин — об Аристиппе. Я обещался им привезти «Апофегмы» Левека.

Полагая, что без знания логики никакая философия, тем паче нравственная, невозможна, вздумал разъяснять правила ее и силлогизмы. Невнимание общее было ответом. Более того — вызвав к ответу в классах некоторых, убедился, что не понимают.

Кажется, им забавно самое содержание силлогизмов; например: «Все люди смертны, господин N — человек, следственно, г. N — смертен». Слишком простая истина, что г. N — человек, вызвала у Пушкина улыбку. Я спросил у него о причине этого. Он ответил:

— Признаюсь, что логики я, право, не понимаю, да и многие, лучше меня, не знают. Логические силлогизмы странны, невнятны.

Зато они с увлечением и жаром малопонятным произносят перечисление фигур силлогизмов, кажется принимая их за нового Вергилия:

Barbara, Celarent, Darii ferioque, prioris
Caesare, Camestres, Festino, barocco, secundae.

Такого же труда стоит доказать, что силлогизмы имеют смысл, как и то, что эти стихи — бессмыслица, составленная для легкости запоминания. Имена Дария и Цезаря, кажется, их поражают.

Сегодня говорил о златом веке естественной свободы, и опять удалось рассеять дремоту моих студентов.

Обыкновенно внимательны не те, кто понимает.

Я уразумел еще у нас, в Тверской семинарии, что такое показное прилежание. Это лицемерие довольно отвратительное. Ничего не прочтешь в глазах, за исключением рассеянного желания похвал. Поэтому я не буду ничего говорить о Саврасове, Тыркове, Мясоедове (совершенный облом), Костенском и прочих. Но те, кто понимает и могли бы понимать, обычно не внемлют ничему.

Горчаков умен, но прихорашивается, точный Нарцисс, глядящийся в воду. Вальховский без всякого упрека. Матюшкин тих, Кюхельбекер, видимо, посмешище для товарищей. Во всем чрезмерен — пишет с усердием, так, что перья ломает, не то разговаривает, а как он глухой, то громко переспрашивает. Броглио отпетый; Данзас тоже: делает гримасы, ему все трын-трава. Кажется, это так и есть. Пушкин грызет перо и царапает на бумаге рисунки, так углубясь в сии занятия, как будто в классе никого, кроме него, нет.

Дельвиг спит — в точном смысле сего слова. Корф приличнее всех.

Я рассказал им о первобытной свободе, естественном состоянии человека, о младенчестве его, когда еще не был заключен общественный договор и тем паче не был осквернен тиранами. Они слушали на сей раз с вниманием, и некоторые, кажется, были поражены. Кюхельбекер и Вальховский записывали. Пушкин, который никогда не задает никаких вопросов, вдруг спросил меня после классов: есть ли еще на земле народы, находящиеся в этом состоянии? Я ответил ему, что некоторые дикари сохранили первоначальную невинность, но их становится все меньше: образованность проникает в самые шалаши, а вместе с образованностью — пороки, общие всем; дики и невинны, как кажется, индейцы, о которых пишет Шатобриан. Я был несколько удивлен этим вопросом: они не только мыслят, но сразу же и прилагают мысли к настоящему.

С Иконниковым все более дружусь. Он очень беден, проще скажу: нищ. Более странного гувернера никто не мог придумать, но вместе — действие его на детей должно быть истинно полезно. Это — новый Кандид: он всем говорит правду, и только правду. Я слышал его разговор с Горчаковым. Горчаков стал говорить с ним, чтобы озадачить, по-французски и говорил насмешливо. Иконников долго слушал и вдруг по-французски же от-

ветил, что если Горчаков сейчас же перед ним не извинится, он будет считать его невеждою. Тот переконфузился. Теперь он всеми любим. Они ему читают свои сочинения и ценят его откровенный вкус. Кстати, Илличевский, говорят, пишет отличные стихи. Кроме того, пишут Яковлев, Пушкин и еще кто-то, пять-шесть воспитанников. Одного из них, Яковлева или Пушкина, Иконников лобызал за переложение «Розы» Анакреонта, в переводе Жироде, о чем мне рассказал Чириков.

Только бы Кошанский не дознался, — Иконникову несдобровать. Судьба его самая странная: он внук знаменитого актера Дмитревского и сам недурно играл, служил в коллегии иностранных дел переводчиком. Был в горном корпусе дежурным офицером, читал там географию, историю, французский язык — и нигде не удержался. Он так неряшливо одет, что не однажды приходило мне на мысль помочь ему, но его гордость останавливала меня.

Сегодня мы гуляли. По паркам ходить не люблю, ибо внезапно натыкаешься не только на статуи меж деревьев, но и на часовых, а то чувствуешь на себе чьи-то взгляды: здесь постоянное внимательное дежурство, — так сказать, моральное присутствие. Насколько уютнее улицы маленького городка, домики жителей, лавчонки. Везде глубокий снег, но улицы прочищаются. Иконников прочел мне несколько своих стихотворений — и поразил меня. Это все краткие элегии, написанные с истинным чувством, не чета нашему Кошанскому. Но все недокончено, небрежно. Я спросил его, почему не отдает он их в печать. «Чтоб не получить отказа». Он слишком горд и беден.

Наконец он признался мне, что пишет большую поэму, и от успеха ее зависит все дальнейшее его счастье. Но прочесть что-либо из нее решительно отказался. Мне он открылся, — заметил он, — потому, что я «кажусь ему честным человеком, более, чем другие». Это признание Кандидово заставило меня засмеяться. Он обиделся и зашагал от меня в сторону. Я догнал его и помирился, но не добился более ни слова. Сегодня говорил о нем с Васильем Федоровичем, который тут же под честным словом, что никому не скажу, прочел мне донос Пилецкого на Иконникова. В доносе указывается, что Иконников уже два года не был у причастия, что он кощун и пьяница, преданный всему французскому. Я уговорил

Василья Федоровича не давать хода доносу. О пьянстве Иконникова наш инквизитор, может быть, и не все налгал — кажется, точно, иногда пахнет вином от него.

Мой рассказ о Зеноне, учившем подчинять страсти разуму, всех моих студентов задел за живое. Все просили меня говорить с ними о страстях. Я вспомнил свою прогулку с Иконниковым — и сказал, что буду говорить о гордости. Тут некоторые стали просить, — Кюхельбекер, чтобы я прочел о справедливости, Горчаков — о малодушии, а Пушкин попросил прочесть о скупости. Кто-то засмеялся, но я нашел из всего названного скупость единственною страстью, потому что справедливость и малодушие не суть страсти в подлинном смысле, и обещал в следующий же раз говорить о скупости.

Кюхельбекер с горячностью возразил, что справедливость есть страсть. Его поддержал и Вальховский, заявивший, что добро — страсть. Дельвиг пустился в софизмы и стал доказывать, что самая сильная страсть — бесстрастие, чем вызвал смех.

Под конец я сказал им, что *добрый* означает сообразность вещи с каким-либо назначением, ни более, ни менее. Вещи *добры,* хороши, когда могут служить средством к достижению цели. Так и добро есть стремление к счастью. Они, казалось, были поражены столь простым разрешением вопроса. Василий Федорович назвал бы его циническим. Цель моя достигнута: я задрал их за живое. Пока же я рассказал им, что можно, о гордости и начал с того, что привел мнение Вейса: надлежало бы по гордости ограничить свои издержки и быть спартанцем, когда невозможно быть Сатрапом.

Говоря о гордости, я сказал также, что ложная гордость основана более всего на воображении, которое без всяких на то оснований порочит окружающих и возвышает гордеца. Как пример воображения привел императора Константина, который, будучи мал ростом и тщедушен, во время своего триумфа, подъезжая под громадную триумфальную арку, склонил голову, желая показать, что иначе арка заденет его. В это время произошло в классе замешательство. Горчаков невольно наклонил голову, а Малиновский начал пальцем указывать на Горчакова и Мясоедова и довольно громко восклицать: «Вот они! Вот они!»

Я не ожидал такого сильного действия моих объяснений и такого быстрого приложения. Хуже всего, что гувернер Илья, Мартинов брат, стал тут же распекать крикуна, увещать, улещать по правилам иезуита, брата своего, и вынудил у него «раскаяние». Прошу директора унять его. Гордость Горчакова основана на титуле и, кажется, на быстрой памяти. Мясоедова отец служит в сенате.

Сегодня была тревога: у одного из воспитанников, Пушкина, Пилецкий нашел мадригалы Вольтера, поэта Пирона и прочие, как он выразился, пакостные книжки. Он настаивал на полном отобрании их и даже сожжении. Василий Федорович по его уходе схватился за голову и сказал мне, что этак житья не будет, тем более что воспитанник этот вовсе не овечка. В лицее еще библиотеки нет, а мадригалы Вольтера — чтение позволенное. Только б не эпиграммы! Страх и трепет! Это более всего похоже на дьячка Паисия из лицейской церкви, который считает Вольтера диаволом.

Новое распоряжение, глупее первого: запрещается воспитанникам писать стихи, ибо они отвлекают от занятий. Это выдумка, как кажется, гувернера Ильи и Кошанского; может быть, Калиничу надоело чинить перья? Теперь учеников не узнать: особенно Пушкин — грызет на лекциях перья и пишет непрестанно. Я говорил Василью Федоровичу, чтоб унял Илью наконец. Кажется, взамен запрещения Пилецкий (автор сего закона) намерен издавать журнал среди воспитанников.

Слухи о войне. Слышал в Царском Селе, что не только моя просвирня занята кометою, но и сама императрица запросила астрономов. Скоро моему учительству конец: уже вчерне составил нумер журнала. На будущей неделе буду просить приема у Сперанского.

О войне никто не знает: идет ли или нет? «Северная почта» о ней ничего не пишет, а говорить никто не решается, и, видимо, не без оснований. Государь путешествует. Наполеон путешествует. Неясность положения

мучает людей, как гроза, которой еще нет, — овец. Жмутся друг к другу. Кошанский уже другой раз перемарывает конец «Нашего века» — сначала написал его сапфической строфой, а теперь в виде кантаты. «Студенты» (или, по Кайданову, «хлопцы») чуют все не хуже нашего, но на прогулках и в классах все по-прежнему.

У Пилецкого много хлопот. Наушничество в лицее такое, что, право, гадко. Я заметил, что его ненавидят, уже не скрываясь. Один Будри спокоен, как всегда. Я спросил его как-то (предварительно оглянувшись, — вот до чего дошло!), что он думает о войне? Он сказал, что войны нет. «Все говорят о ней», — возразил я. «On dit — c'est un menteur», [1] — отвечал он. «А если война начнется?» — спросил я. «Если она начнется, будут большие потрясения, но не больше, чем были». Старик столько видел, что лишить его спокойствия невозможно. «Говорят» — это лжец.

Войны *не должно быть.* Между тем никто, кажется, не сомневается в том, что мы будем разбиты: лица царскосельских царедворцев вытянулись. Говорят, что кое-кто укладывает вещи и проч. Какая трусость!

О журнале моем Сперанский более не напоминает. Я сделал план и закончил нумер первый. Будут: часть официальная — события — философия — просвещение, история древнего права русского; афоризмы. Смесь.

Морозы вдруг ударили.

Вчера ночью Сперанский взят и как злодей скрыт неизвестно куда. Никто ничего не знает.

Гауеншилд, как ворон крыльями, хлопает фалдами по коридору. Пилецкий ведет на рекреациях свои записи. Рядом, во дворце, все тихо; камер-лакеи с равнодушием выколачивают ковры. Лакеи вообще последними откликаются на потрясения истории. Неужто все начинания М. М. кончены, прерваны? Кажется, так. Существует ли в таком случае достоинство, которое одно дает силу жить, мыслить, действовать? Я, как и М. М., как Малиновский, как все мы, «геттингенцы», — дьячков внук. Но

---

[1] «Говорят — это лжец» *(франц.).*

я просветил свой разум, верю в благодетельную его силу, в святость общественного договора, хочу видеть новую отрасль людей, — и неужто можно возвратить меня в первобытное состояние дикости и отсутствия желаний? Я в смятении подвел итог этому году. Гражданская арена вдруг закрыта для меня, как для Кошанского поэтическая. Я вдвое прилежнее стал читать лекции: пример Будри меня заражает. Этот старик, кажется, понимает всю важность перемен, но его ничто не смущает. Он был свидетель слишком больших происшествий, сказал он мне. Сегодня была во дворце суматоха: по саду шныряли люди, которых ранее здесь не видали.

Сейчас окно открыто, чернеется парк, в нем два-три огонька: лицей и фрейлинский флигель. Тихо. Луна светит, как светила год назад. Ночую у одного из обывателей, затем что Василья Федоровича жена больна. У хозяина вид простодушный, домик удобный, в камине трещат уголья. Как люблю я эту любезную привычку к бытию.

Не знаю сам, для чего пишу, потому что, кажется, все сейчас сожгу. Страсть передавать впечатления свои хоть листку бумаги — не есть ли это та же жажда общественная, жажда бессмертия?

Был у Александра Ивановича Тургенева. Подробности: вина М. М. не ясна; Разумовский говорил, что это якобинец, который сам хотел сесть на престол, не замечая, что здесь явное противоречие — либо якобинец, либо престол. Многие называют его республиканцем. Мать нашего лицейского, госпожа Бакунина, говорила при свидании сыну, что близ М. М-ча всегда ей казалось, что она слышит серный запах, а в его глазах видела синеву адского пламени; празднуют падение как первую победу над французами и как смерть самого лютого тирана. Уныние, впрочем, также велико.

Сколько времени прошло от Геттингена и где мы теперь очутились? Как камень, пущенный из пращи, в полгода я свидетель возвышения и падения, надежд и безнадежности. Война приближается. Я подумал о питомцах своих, которых мне завещал Мих. Михайлович. И они за эти полгода испытали столько, сколько другие дети и за пять лет не испытывают: перемена

родительского дома, а теперь вскоре война, которая все потрясет.

Расставаясь, Александр Иваныч в особенности спрашивал меня о Пушкине, в судьбе которого принимает участие, и просил меня быть внимательным к нему, ибо детство его было безотрадное. Зная родителей Пушкина как людей весьма забывчивых, Ал. Ив. просил меня не оставить его. Это меня тронуло, я обещал, но сказал с откровенностью, что здесь нужен бы человек более душевный, чем я: я стремлюсь повлиять на *разум* их. Гувернеры наши плохи. Я всего более надеюсь на дружбу между собою; но, правду сказать, совершенная разность в первоначальных впечатлениях отчуждает их друг от друга. Пушкин, о котором Ал. Ив. печется, носит на себе все несчастные следы своего первого воспитания. Умен, но застенчив; упрям, слишком скор, вспыльчив до бешенства и смешлив. Больше ничего сказать пока не умею.

После крушения — мне кажется, не на что более надеяться, как на место профессора для малолетних. Займусь же им. Я хочу прочесть им лекцию об отечестве и о долге гражданском. Сел за Карамзина. Никто с таким красноречием у нас, конечно, не пишет. Но холод в *разделении* любви к отечеству на три любви: физическую, нравственную и политическую — мне не нравится. Первая есть дело природы и обща всем; вторая — дело лет; а третья требует рассуждения и доступна лишь людям образованным! Любовь, которая делится на три любви. Фальшивая нота раздражает слух, а мнимая логика — ум.

Все в том же унынье пошел я проведать брата Михайлу. Он болен и в гошпитале. У них теперь строгости, меня не хотели было пропустить, и я сидел недолго. Бедняк мне обрадовался. Хотя начальство еще скрывает о войне, но военные приготовления очевидны для всех. Он был в оживлении; вспоминал детство наше в Тверском сельце — далеко и давно прошедшее: как матушка сажала хлебы в печь и как запах хлеба казался нам тогда самым прекрасным из всего существующего. Я было про это забыл. Слухи о войне его не пугают. Он просил об определении в армию и, кажется, его получит. Рассуждал довольно здраво о невыгодах для французов движения в неприятельской земле. Он сказал мне,

что когда его угнетает печаль или обида, то сам себе говорит: «Не робей, Михайло Петров» — и это его поддерживает. Так и теперь: «Не робей, Михайло Петров» — взденет ранец, тесак в руки и пошел.

Какой же вид любви карамзинской присутствует у бедного солдата Михайлы?

Только ли людям образованным дан сей разум, без которого любовь к отечеству невозможна? И что такое образованность? Истинная, как небо от земли, далека от светской, мелочной.

Прочел у Жан-Жака о воспитании: «Чем подвигаются сердца и как они начинают любить отечество и законы его? Осмелюсь ли сказать? Играми детей, предметами бездельными в глазах людей поверхностных, но образующими драгоценные привычки и непобедимые связи».

«Воспитание должно дать сердцам форму народную и так направлять мнения и вкусы, чтобы они стали патриотами по склонностям своим, по страстям, по необходимости. Республиканец истинный да всосет с молоком своей матери любовь к отечеству, к законам его и к свободе. Ежели он одинок — он ничто; ежели он не имеет отечества — он более не существует; и ежели он не умер — он хуже, чем мертвец» (Жан-Жак).

Вспомнил о брате Михайле; подумал о Михайле Михайловиче; о полуигрушечном воспитании, о котором говорил он мне. Нужно обращаться без всякой детскости, они, кажется, все лучше понимают, что о них думают. Беда потакать их слабостям: нынче в моду вошли томные взгляды, старчество (Горчаков), меж ними какая-то щеголеватая шаткость.

Я все еще не сжег записок своих. Перечел их, и надежды, которыми одержим был тому за полгода, и некоторое самодовольство молодости показались мне смешны. Пора остепениться. Был у Василья Федоровича, говорили откровенно. Он по-прежнему в унынии и напуган: кажется, сжег свою записку «О созвании депутатов» — плод восьмилетних трудов. В случае, если война откроется, хотел пойти сражаться простым ратником, как брат мой Михайло. В. Ф. пришел в ужас, что останется в лицее Гауеншилд, а ему не справиться, и еще одно

начинание рушится, и я обещал подумать. Вспоминали о Михайле Михайловиче. Говорит, что должен быть у него роман, написанный Сперанским в молодости: «Отец семейства», — по заглавию должно быть подражание Дидероту.

Передал сегодня поклон Пушкину от Александра Ивановича Тургенева и, исполняя обещание, поговорил с ним. Дичится свыше всякой меры, но вовсе не зол. Теперь зачислен гувернерами в шалуны, и в самом деле шалун. Видимо, гордится сим званием. Просил Ал. Ив. прислать ему книгу Грессе. «Откуда вы знаете Грессе?» — «Я читал в библиотеке отца и у дяди». — «Что же вам более всего понравилось?» — «Налой». Поэма неприлична: верно, дядя дал прочесть. От него *ничего* не скрывали и, кажется, всегда обращались наравне со всеми. Он замысловат и остроумен, знает Вольтера, Грессе, Пирона и, кажется, всю французскую насмешливую литературу. Кошанского вкус ему не нравится (мне тоже). К удивлению моему, полюбил мудрецов древних. Я дал ему о стоиках и циниках книгу «Философические апофегмы» — в сих анекдотах больше толку для отрока, чем в иных учебниках. Он спросил меня, почему я назвал в речи своей царскосельские сады *пустынными лесами?* Я сказал, что здесь недавно еще были леса, а кругом — пустыня, что сады и теперь сохранили девственный образ свой. Он ничего не ответил, но, кажется, был доволен. Впрочем, они довольно далеко заходят на прогулках и иногда углубляются в глушь, выходят на пустую дорогу. Удивляюсь, что он помнит так отчетливо выражения речи моей, сказанной при открытии, тому боле полугода. На прощание я спросил, не хочет ли он что-нибудь передать родителям через Александра Ивановича. Он было задумался. «Нет». Он, видно, не скучает по родительскому дому. Кошанский ошибся: он вовсе не зол. Верно смеется над его декламацией; Н. Ф. уязвлен. Пушкин с улыбкой прямо детской. — Говорил еще сегодня с Вальховским. Этот гораздо более дельный и после классов подошел ко мне и спросил. . .

. . . .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В первый же день он увидел в нескольких шагах от себя то, о чем Сергей Львович говорил с беспокойством в глазах и закусив губу: двор. Прямо перед ним была сутулая жирная спина государя, которую плотно облегало мягкое сукно; государь, старухи и несколько молодых женщин с шифрами на плечах были тут же. Люди в мундирах и фраках сидели в небольшом зале, и среди них он видел дядю Василья Львовича. Дядя казался тем, чем был на самом деле: человеком небольшого роста, косоглазым и, кажется, смешно одетым.

Небольшой, широкоплечий, решительный человек, во фраке, с тонкими бачками, прочел речь по листкам. Это был первый и единственный человек, который в этот день обратил на них внимание: он говорил, обращаясь к ним и смотря на них; они стояли сзади всех. Когда он кончил, многие обернулись и посмотрели на них с удивлением, как бы впервые их заметив. Это был Куницын, профессор. Он запомнил легкий говор, который вдруг прошел и смолк; вечером Горчаков сказал ему, что это ждали Аракчеева, но тот не приехал. Александр спросил, кто таков Аракчеев, но Горчаков оглядел его, лукаво сощурясь, пожал плечами и с самодовольствием усмехнулся. Горчаков все знал.

А потом сразу, на другой же день, о них позабыли. Каждый день они вставали засветло, в шесть часов, — и дежурный гувернер Илья строил их «в порядок» и вел во второй этаж в столовый зал, где они пили жидкий чай. Строже всего Илья по заветам брата наблюдал, чтобы перед классами наверху, в спальнях и во втором этаже, где пьют чай, отнюдь не было игр, ибо они рассеивают без нужды. Потом с семи до девяти были лекции, после лекций они шли гулять, обедали, репетировали уроки в классном зале; потом опять лекции — счетом три; после лекций — вторая прогулка, полдник, ужин, третья прогулка — и в десять часов они снова шли «порядком», почти никогда в этот час не соблюдаемым, к себе наверх, в четвертый этаж, и расходились по своим кельям, носившим каждая свой нумер. Нумер Александра был —

четырнадцатый; рядом, за дощатой перегородкой, тихонько посвистывал нумер пятнадцатый: Пущин. Его уже прозвали по-французски Jeannot[1] после одного французского урока.

Они жили во дворце, во флигеле, их комнаты были расположены рядом, и в каждой стояло то же бюро, или, как называл его дядька Матвей, конторка, тот же комод и железная кровать, из-под которой выглядывали те же ночные туфли; и полутемные переходы, сводчатые потолки, крадущийся у дверей надзиратель, у которого глаза были пронзительные, а обличье монашеское, все иногда ему казалось монастырем иезуитов, в который он так и не попал.

Каждый день их трижды водили гулять, и прогулки были важнее, чем лекции: Малиновский полагал важным для развития детей воздух Царского, который и он и больная жена его считали чудодейственным; отроки должны быть на воле, комната же — для приготовления уроков и сна. Их водили гувернеры попарно, в ногу, но вскоре порядок расстраивался. Постепенно он свыкся с садами, прекраснее которых ничего не было; он научился отличать старый, елизаветинский, спокойный и широкий сад от нового, екатерининского, затейливого, с постройками, памятниками и английскими сюрпризами. Елизаветинский сад между дворцом и Эрмитажем был со стриженою версальской изгородью, с купами деревьев, и когда они проходили мимо боскетов, — ему вдруг казалось, что он узнавал эти места, может быть, принимая за Юсупов сад, который часто видел в детстве.

Праздные, странные мысли приходили ему в голову. Он никогда их не помнил и к ним не возвращался. Иногда он улыбался им. Пущин, который шел с ним в паре, привык к этому и говорил непрерывно, не заботясь, слушают ли его.

Их водили к Розовому Полю. Из кустов виден был сквозной и легкий домик — турецкий киоск; старинные чужеземные камни были вделаны в одну беседку; им сказал Чириков, что это древнегреческие камни. Те турки, о которых Кайданов говорил на своих лекциях не иначе, как прибавляя слово «свирепые», здесь не были свирепы,

---

[1] Жанно.

Небольшие пруды были вырыты лунками — память о турецкой луне.

Раз, когда их водил гулять Чириков, который был всегда занят собственными мыслями, он отстал и заглянул в узкое окно. Он увидел ковры и диваны в пустой и полутемной храмине, в которой, может быть, жил какой-нибудь владетель сераля. Все убранство было такое, словно хозяин, важный турок, только что ушел и скоро вернется курить кальян, стоявший в углу. Никто никогда здесь не жил. Екатерина, любившая затеи, верно здесь сиживала.

Над прудами в хижинах зимовали лебеди, — в каждой хижине пара супругов: на сухой камышовой подстилке, зарывшись носом в перья подруги, лежал старый лебедь и, чуя их приближение, шипел и глухо бормотал сквозь сон — сонный грязный Зевес, который из-за своей Леды принужден был дрогнуть зимою в шалаше.

Они проходили мимо громадного, пустынного дворца, Чириков хмурился и просил, понизив голос, проходить стройно и быстро. Рябое смуглое лицо его подергивалось. Александр посматривал на окна; тяжелые занавеси были на окнах. Молчаливая стража стояла у дверей. Они шли к Розовому Полю.

Розовое Поле было правильной лужайкой. На нем еще зябло несколько розовых кустов, которые посадила Екатерина, но за ними никто уже не смотрел, они дичали, и дни их были сочтены.

Не обращая внимания на гувернера, все сворачивали сюда с дорожки и начинали играть в снежки. Чириков, выведенный из задумчивости, метался от одного к другому, прижимая руки к груди и хрипло умоляя прекратить беспорядок: Пилецкий особенно не любил безобразной и нестройной игры в снежки, допуская порядочные игры: загадки, шарады и проч.

Каменные розовые ворота в честь Орлова, прекратившего некогда в Москве моровую язву, были справа — на мраморе была неторопливо изложена история героя. Все было в таком порядке, словно герой должен сейчас въехать, и растерянный, насторожившийся вид Чирикова, шикавшего на них, как будто это подтверждал. Сад был гораздо более населен и жив, чем дворец с занавешенными окнами. полумертвый, опустелый.

2

Обыкновенно он просыпался, когда еще было темно. В дверь тихо стучал сонный дядька Фома и говорил, кряхтя:

— Господа, вставать! Господи, помилуй!

Потом его голос слышался рядом, у двери Пущина, и дальше, по всему коридору, с тем же крехтом и непременным прибавлением: господи помилуй.

Ему было лень проснуться, и Пущин стучал к нему в стенку. Вставали они задолго до света, в шесть часов, в коридорах горели свечи, а за окнами была еще ночь — полутемное раннее зимнее утро. Напротив, в фрейлинском флигеле — второе окно от угла — появлялся слабый огонек: это Наташа, горничная старой Волконской, являлась уже одевать свою барыню, которой не спалось. Они встречали Наташу на прогулках, и он привык вставать по ее огоньку.

Он проснулся от слабого стука, открыл глаза и прислушался. Было темно, в соседней комнате все тихо, Пущин еще спал. Он взглянул в окно — Наташиного огонька не было.

Между тем стук повторился, слабый, тихий, — дядька Фома стучал обыкновенно в дверь корявым пальцем не так. Он быстро вскочил, сунул ноги в туфли, поправил на голове колпак и тихонько выглянул.

Обыкновенно у печки сидел ночью в шлафоре дежурный гувернер и спал. Это был либо Калинич, человек громадного роста, с громадным лицом, который спал в креслах, раскинувшись, крепко, безмятежно, либо маленький, верткий Чириков, который, прикорнув, тихонько постанывал. Иногда им не спалось, тогда они в мягких туфлях шлепали дозором по коридору. Иной раз он чувствовал чужой взгляд на себе: верхняя половина дверей была с решеткою; кисейная занавеска только до половины закрывала ее. Он вздрагивал и ворчал во сне. Гувернеры мало-помалу отвыкли заглядывать к нему в комнату. Чаще всего они скрывались в свою дежурную комнатку, где и спали до утра.

Теперь кресла были пусты, вся галерея темна и пуста. И вдруг тот же стук повторился — почти рядом, близко. Он вгляделся и увидел человека в черном, длинную

тень; человек стоял на коленях у стены, прижавшись лбом к каменным плитам, и медленно, беззвучно бил поклоны.

Он вспомнил, что сегодня вызвался дежурить сам инспектор, и постоял, не шевелясь. Мартин Пилецкий, подостлав носовой платок, стоял на коленях на каменном полу, прижимая руки к сердцу, изгибаясь и всем своим положением показывая полное уничижение. Одни только огромные ступни в черных туфлях сохраняли человеческий вид: были похожи на ступни мертвеца.

В коридоре было холодно; самая молитва иезуита, казалось, была, несмотря на усердие, холодна; лоб стучал о каменный пол, как маятник.

Александр постоял. Холод пробрал его, и он вернулся к себе. Непонятное отвращение мешало ему уснуть. Стук прекратился, шагов не было слышно: может быть, Мартин заснул на полу.

Он еще поворочался на постели, озлился, что мешают спать, — и неожиданно заснул. Ему почудилось, что он у иезуитов, к которым хотел было определить его дяденька Василий Львович, и в тихом утреннем полусне он ничуть не удивился.

Скоро церковный колокол пробил шесть часов, и он услышал знакомый корявый стук в дверь; дядька Фома заглянул в решетку и сказал:

— Господа, вставать! Господи помилуй!

Он посмотрел в окно; Наташин огонек мерцал. Ночное происшествие вдруг показалось ему смешным и странным. Большие ступни иезуита, распростертого на каменном полу, занимали его. Он вдруг припомнил старую французскую поэму, которую любил дядюшка Василий Львович, поэму о налое, — зад склонившегося в молитве послушника служил налоем аббату, читавшему требник на этом налое; верно, у послушника туфли так же торчали, как у Мартина. Монах был сущий черт, о котором Арина говорила, что он великий притворщик, и самое упоминание о котором так строго запрещала бабушка Марья Алексеевна. Теперь никто не мог ему здесь запретить думать обо всем, что он желает. Пастырь душ с крестом, иезуит, монах, который, оседлав черта, совершает ночью путешествие по закоцитной стороне, — таков был инспектор Мартин Пилецкий.

3

Он рос один, и ему трудно было теперь привыкнуть к товарищам. Горчаков изображал старичка:

— Ах! Опять мои старинные болезни! — говорил он со вздохом и ковылял.

— Мы, старички, — говорил он насмешливо.

Все давалось ему легко. Он гордился этим. У него были уже поклонники. Ломоносов и Корсаков во всем подражали ему. Профессора были к нему благосклонны: он сразу занял первое место; у него была память, которая без всяких усилий и понимания, как в зеркале, повторяла все, что он читал. Он учился усердно. Во всем остальном он был забывчив, особенно на имена, но, казалось, был даже доволен этим.

— Этот... как его... да: Фома, никак не могу припомнить, — говорил он о дядьке Фоме и щелкал пальцами, как старик, может быть как его дядя, новгородский губернатор.

Александр завидовал ему и побаивался.

Вальховский ночей не спал и старался также занять первое место.

Броглио лучше всех подставлял подножку, и Александр дважды чуть не попался. Броглио и Данзас были отчаянные, — так их аттестовал Мартин.

Они также соревновались между собою — в наказаниях. Данзас поставил себе за правило ухмыляться, когда делал ему замечания Мартин. Монах менялся в лице при этой наглой улыбке отчаянного воспитанника. Раз найдя уязвимое место инспектора, Данзас стал злоупотреблять своею смелостью. Обычные наказания на него не действовали, и для него было найдено новое: он был одет на сутки в свой старый детский сертук, в котором прибыл в лицей. Сертук был до того узок, беден, дурно сшит, что вызвал смех и произвел действие. Форма спасала их от бедности, младенческих сертучков и штанишек, скроенных родителями. Александр, поглядев на Данзаса, радостно засмеялся. Данзас был смешон, как шут. Но он очень скоро припомнил свой собственный наряд и притих: ему ни за что не хотелось, чтобы его одели в старый его сертучок.

Они повторяли заданное всегда в классной комнате, каждый за отдельной конторкой. Посредине стоял чер-

ный стол. Данзас и Броглио в наказание за нескромное поведение и особенно странные, неприличные и бессмысленные гримасы сажались гувернером Ильею за черный стол. В последнее время он перестал дожидаться с их стороны проступков и прямо усаживал их. Они привыкли к этому столу, и Данзас имел наглость заявлять, что за ним удобнее, чем за конторкой. За незнание немецких разговоров Дельвиг был однажды оставлен Гауеншилдом без завтрака, а в другой раз — за некое пренебрежение к урокам, которые не учил, дан ему за завтраком вместо чаю стакан воды с черным хлебом. Дельвиг в особенности был преследуем за лень.

Воспитанник Пушкин тоже бывал сажаем за черный стол в наказание за громкий смех в классе чистописания, чем г. Калинич был недоволен, и за пустые фигуры, которые чертил в классе немецкой словесности у г. Гауеншилда. Но у него не было дружбы с отчаянными. Он был угловат, диковат, ни с кем, кроме Пущина, пока не дружил.

У него не было княжества, он был не так силен, как Данзас и Броглио. Зато он говорил по-французски, как француз. У него были книжки, взятые из дому, — презабавные. Вечером его попросили прочесть что-нибудь. Он сначала отказался, но потом прочел им несколько стихотворений Вольтера; из них одно было забавное и, кажется, недозволенное, а другие не забавны, но, по-видимому, чем-то замечательны: он читал их с удовольствием, немного заунывно и улыбаясь неизвестно чему. Кой-кто зафыркал, он тотчас захлопнул книжку и взглянул исподлобья. Горчаков сказал, что у него есть вкус.

Вскоре все заметили: он грызет перья на уроках — что-то чертит и записывает; думали, что он записывает лекции. Пробовали приставать к нему после лекции, он выходил из себя и, не помня себя, готов был тут же подраться. Между тем гувернер, присутствовавший на лекциях, дважды сделал ему строгий выговор, и постепенно отчаянные стали его уважать. Он был занят на лекциях, видимо, чем-то посторонним и, кажется, ровно ничего не слушал. Однажды он не мог, да и не желал ничего повторить, когда его спросил Гауеншилд. Немец рассвирепел, но Пушкин не испугался; он, видимо, не боялся быть последним учеником, и у него были какие-то свои,

посторонние занятия. Шалуны стали к нему присматриваться. Может быть, он писал стихи? Илличевский, рослый, но тщедушный, огорчился; он тоже писал стихи, но он не сердился, когда ему мешали. Он откидывал свои стихи в сторону, бегал, шел на прогулку, готовил упражнения, как все, — а потом, в свободное время, когда другие ходили по коридору, читали книги или рисовали, он писал стихи. В этом не было ничего странного или смешного. Яковлев передразнивал всех профессоров. Корсаков пробовал петь, Дельвиг врал, а Илличевский писал стихи. Это было провождение времени, забавное и даже чем-то полезное. Заставили его прочесть стихотворение, и оно понравилось: это была басня, очень похожая на ту басню Дмитриева, которую им прочел в тот день Кошанский. Попросили прочесть Пушкина, и он отказался; вспыхнул, точно его ударили, и застыдился. Недаром он грыз перья — всем стало ясно, что он пишет хуже и у него ничего не выходит.

Потом обнаружилось, что Кюхельбекер, который почти не знает русского языка, тоже пишет стихи.

Номер четырнадцатый дичился; шалуны решили взяться за него. Однажды, когда Броглио припер его к стене, он вдруг побледнел, задохнулся и так грубо выругался, что Броглио смутился. Видимо, до лицея он уже кой-чему научился. Они не знали, что так почти всегда ругался его дядя Василий Львович. И они оставили его в покое.

Его знаний стали побаиваться: он был и чудак и шалун, хотя не такой, как Данзас и Броглио, а другой. Все по вечерам писали письма домой — некоторые каждый день; он не писал писем.

Однажды они пили вечерний чай, вошел своей быстрой походкой надзиратель Пилецкий и объявил им, что домой они отпускаться вовсе не будут, а родственники могут их посещать по воскресеньям и праздничным дням.

Сначала они не поняли. Корсаков и Стевен спросили, когда же их отпустят домой? Пилецкий ответил:

— По окончании лицея.

Стало тихо. Корф всплакнул; все сидели, растерянно друг на друга поглядывая. Чай остыл. Кюхельбекер надулся, стараясь не плакать, и слезы капали у него в стакан. Александр с любопытством на них смотрел. Потом он вспомнил голую стену детской комнаты,

угольки в печке, отца, — нахмурился и допил свой стакан до дна. Вечером, ложась спать, он взял томик Вольтера, который сунула ему Арина, прочел краткое стихотворение о Фрероне, которого укусил змей, от чего издох змей, а не Фрерон, улыбнулся от удовольствия и прижал книгу к щеке. Она была в ветхом кожаном переплете; кожа была теплая, как старушечья щека. Он еще улыбнулся и заснул.

4

Они часто гуляли вдоль прудов — к озеру: плотина между первым и вторым прудом называлась Чертовым мостом, и в этом нагромождении камней были мрамор и гранит, которые, казалось, лежали от века, являя искусственную дикость. Внизу вода бурлила и пенилась, низвергаясь. Простой, дикий памятник стоял здесь серою скалою, носы кораблей торчали во все стороны, напоминая о море. Только когда озеро замерзло, они подошли к самому памятнику и прочли надпись на медной доске. Надпись была длинная, как все вообще старые надписи, которые отливались в бронзе и высекались на камне, с многословием и повторениями дедовских разговоров. Это была память морской победы, которую Федор Орлов одержал некогда у Мореи. Упоминались полуостров Морея, порт Витуло, Модона. Говорилось о капитане Баркове, который взял Лассаву, Бердони и Спарту; о капитане Долгоруком, который покорил Аркадию. Последним значился бригадир Ганнибал: «Крепость Наварин сдалась бригадиру Ганнибалу».

Он ничего никому об этом не сказал; он слышал, как глупый Мясоедов, прочитав, сказал Тыркову бессмыслицу:

— Бригадир — Ганнибал, — наварил, —

а Тырков ответил:

— Ганнибал, это — из древней истории.

Он и сам хорошенько не знал, какой это Ганнибал. У них в доме мало говорили о Ганнибалах. Может быть, это был тот дед, вспоминая которого плакала бабушка Марья Алексеевна частыми, мелкими слезами? Или тот дед, который хотел отнять у отца имение? Все они были моряки. Он хотел было сказать о своих сомнениях Пущину, да отложил. Но каждый раз, когда они проходили

мимо озера, он смотрел на простой темно-синий с прожилками камень; темные носы кораблей старой зеленой бронзы торчали во все стороны; старый камень одиноким столбом торчал у Чертова моста. Это был его дед.

Тайком, чтобы не заметили, он надвигал фуражку на лоб. Парадные треуголки были у них отняты и заперты экономом в шкаф.

Он кланялся деду.

5

Дядя Василий Львович так и не отдал денег, данных ему сестрицею Анной Львовною на хранение. Александр написал родителям; от Сергея Львовича получил он письмо, полное родительской любви. Сергей Львович пенял ему на то, что письма сына редки: всего два письма за столько времени; мать просит передать ему, что она в отчаянии при мысли, что ее Александр вынужден вставать так рано: шесть часов выше ее понимания. Тетушка Анна Львовна по-прежнему лишь о нем говорит, им дышит. Памятуя обо всем этом, в своем хранительном приюте, опекаемый добрым директором, Александр должен быть прилежен и не раздражать своих нынешних опекунов. Сергей Львович чувствует, что разлука вскоре станет несносной, и — решено! — он посетит сына. О деньгах — ни слова.

Между тем в ходу были вольности, — ловкого дядьку, черноусого Леонтия, Корф посылал в немецкую кондитерскую за пряниками. Леонтий даже устроил у себя под лестницей в каморке польскую кавярню: у него стоял там столик, покрытый чистой салфеткой, и по требованию вмиг появлялась там чашка кофе, столбушка сухарей. Воображение разыгрывалось. Они завтракали у Леонтия так, как их отцы в пале-рояльском кабачке. Горчаков однажды выпил у него маленькую рюмку ликера и два дня ходил, когда никого из надзирателей вблизи не было, покачиваясь: он воображал себя пьяным. Они важно рылись в кармашках и благосклонно давали Леонтию на чай. Только у Александра, Вальховского и у Кюхельбекера не было денег — у Александра и Вальховского никаких, а у Кюхельбекера было два рубля, которые он дал себе обет хранить до конца первого курса.

По приказу Пилецкого стали отнимать у них книги, привезенные из родительских домов. Гувернер Чириков ходил из кельи в келью. Александр решил не отдавать книжек, которые сунула Арина, не понимая, как будет обходиться без Вольтера, Пирона с картинкой. Гувернера Чирикова, который пришел отнимать книги, он встретил с таким видом, что Чириков отступил. Он был хил и тщедушен, с смуглым лицом, порченным оспой, в обхождении всегда ровен и вежлив. Он со вздохом искоса посмотрел на Александра и развел руками. И Александр отдал ему книги.

За завтраком сказали им, что книги вернут, когда они вырастут, и что есть надежда, что вскоре государь пожалует свою библиотеку, которую он читал в молодости, тогда библиотека эта будет в галерее, что меж лицеем и фрейлинским флигелем, которую называли аркой.

Теперь у него ничего из родительского дома не было.

6

Сергей Львович посетил лицей.

Это не легко ему далось. Надежда Осиповна, узнав, что он собирается в Петербург, молча стала укладываться. Сергей Львович обомлел. Он собирался ехать один, и теперь поездка теряла для него много прелести. Наконец они уговорились: Надежда Осиповна сошьет себе для поездки новую шубку, потому что в старой ей ехать никак нельзя, и приедет к супругу в Петербург. Сергей Львович сам это придумал, но тотчас почувствовал, что разорится. Между тем поездка его имела цель служебную. Комиссионерство 7-го класса в Московском интендантстве, что ни говори, было для него унизительно, да и приносило страх как мало денег; он ехал в Петербург, чтобы навестить Александра и заодно узнать, нельзя ли перевестись в столицу, а буде нельзя, — куда угодно, на место, более его достойное. Шаткость нынешнего курса внушала ему некоторые надежды: близость войны была очевидна для всех, происходили то и дело перемещения, назначения и проч. Интендантская должность была военная. Он не мыслил более о карьере, которая могла бы открыться, — она слишком долго не открывалась, но как старый игрок не мог забыть, что

все есть дело случая. В Москве ничего более его не удерживало. Далеки были те времена, когда он хаживал к славной Панкратьевне, бог весть, существовала ли она. Он едва мог удовлетворить свою страсть к игре, проигрывая иногда безденежно в штосс со своим старым гвардейским товарищем, служившим теперь в департаменте и впавшим в ничтожество. Более того — он пристрастился к пасьянсу, игре одинокой и безвыходной, без проигрыша, но зато и без удач, правила которой довольно точно знала сестрица Анна Львовна, говорившая, что игра — грех, а без карт скучно. Давняя мечта его: побывать в Париже, которая сначала возникла из благородной зависти к брату, была окончательно забыта. Время было не такое. Ему теперь даже трудно было собраться в Петербург.

Между тем перед самым отъездом он вдруг с решимостью отчаяния заявил Надежде Осиповне, что денег на ее шубку у него совсем нет и придется ждать оброка. Надежда Осиповна поняла, что ее обошли, и дала ему пощечину. Она надулась и сверкнула глазами, но Сергей Львович, к удивлению ее, перенес все это довольно бодро, наскоро облобызал детей и уехал.

Дорогу он провел отлично. На первой же станции разговорился с проезжим чиновником о новостях политических и сказал ему, что хотя он ни в чем не одобряет Наполеона, но последнее известие, что Наполеон приказал арестовать модистку жены своей, дабы положить предел мотовству, все же заслуживает уважения. Чиновник, видимо напуганный вольномыслием Сергея Львовича, ответил ему односложно: «Да-с».

В Валдае он был свидетелем загула проезжего гусара, к которому в почтовую избу нагнали валдайских девок, славившихся вольностью обращения. Гусар не обратил на Сергея Львовича никакого внимания и не пригласил его к участию в играх, впрочем весьма непристойных. Посмотрев на себя в большое кривое зеркало, висевшее в избе, Сергей Львович понял причину этого: вид его был слишком почтенный, лицо оплыло, отяжелело. Он был отец семейства. Пожав плечами, он решил на обратном пути вознаградить себя. В Петербурге все шло у него хорошо, хотя о службе своей Сергей Львович не спешил говорить, а его никто не спрашивал. Он посе-

тил Ивана Ивановича Дмитриева и передал поклон от Карамзина.

Слуги в Демутовых нумерах славились вежливостью обращения, и Сергей Львович окончательно здесь почувствовал свою независимость.

Тургенев, с которым он надеялся поехать вместе в Царское Село, был занят. Это было вдвойне досадно, потому что извозчики меньше чем за двадцать рублей решительно отказывались везти.

Свидание с Александром могло по строго соблюдаемым правилам состояться только в воскресный день, и Сергей Львович в первое же воскресенье поехал в Царское Село.

Дорога развлекла его своею новостью — он впервые ехал по ней. Встретив по дороге несколько проезжих, он принял вид равнодушный. Он приказал своему вознице остановиться у въезда в парк.

По дороге ко дворцу Сергей Львович подтянулся, подобрался и засеменил ногами. Мысль, что он может встретить государя, поразила его. Воображение его разыгралось. Он с благородной откровенностью излагал государю все невыгоды своей службы, просил об устройстве своих дел, получал внезапно приятное и довольно важное назначение и проч. Подойдя к дворцу и никого, кроме часовых, по пути не встретив, Сергей Львович невольно почувствовал робость, обмяк и распустился.

В лицее его встретил пренеприятный человек с пронзительным взглядом и весьма недоброжелательный. Он объявил Сергею Львовичу, что свидание должно отложить, потому что утренний час, для этого отведенный, уже прошел, а теперь скоро прогулка. Итак, придется ждать до вечера, а лучше — следующего воскресного дня. Сергей Львович раскричался. В комнате было несколько родителей, беседовавших с сыновьями, Сергей Львович никого из них не знал. Родители с удивлением на него посматривали. Неприятный человек, впоследствии оказавшийся инспектором или, что то же, смотрителем, вместо ответа усмехнулся и послал за Александром.

Александр столкнулся на лестнице с Пилецким. Мартин посмотрел на него с улыбкою, которой Александр терпеть не мог: улыбка была беглая, и глаза не смеялись. Так Мартин всегда улыбался, смотря на него.

Спустясь, он застал отца в сильном волнении, ходящим взад и вперед по комнате мелкими шажками.

На Сергее Львовиче был серый с искрою фрак, и одет он был не по летам тщательно: тугие воротники подпирали его увядшие щеки.

Александр отвык от отца. Он заметил, что отец Моденьки Корфа, недвижный и завитой как баран, бывший тут же в зале, с любопытством поглядывал на отца. Ему стало вдруг жаль его и стыдно его толстоты, чрезмерной тщательности его одежды; старый брелок — печатка — болтался у Сергея Львовича на животе. Он обнял сына довольно чинно. Сознание, что они во дворце, мешало ему прижать сына к груди, прослезиться и проч. Потом он сказал ему громко и с заметной горечью:

— Ваш прадед, сын мой, встречал здесь иной прием.

Сергей Львович не сказал: дед, потому что прием, который оказали бы в Царском Селе отцу его, был более чем сомнителен. Вообще по всему, было видно, что Сергей Львович вовсе не отличал лицея от дворца, а лицейского начальства от дворцового. Рассказы об открытии лицея, на котором был двор, сильно врезались ему в память.

Он вскоре успокоился. Поглядывая на Корфов, он спросил сына, каковы его успехи, выразил желание поговорить с директором и, несколько возвыся голос, осведомился, посетил ли сына Александр Иванович Тургенев, как обещал и как он о том слышал от Николая Михайловича Карамзина.

Сергей Львович не слыхал этого от Карамзина, ему сказал об этом братец Василий Львович, просивший Александра Ивановича не забывать племянника. Карамзина же он перед отъездом действительно посетил. Имена произвели свое действие: Корф оживился, и общий разговор завязался. Инспектору Пилецкому досталось. Корф был против системы обращения с родителями.

— Сын — мой,— говорил он,— следовательно, я имею на него право, как на свою собственность, а не допускать пользоваться законной собственностью есть преступление.

Корф был законовед.

Александр спросил о матери и сестре. Мать жаловалась, что письма его кратки. Он спросил об Арине — где она?

Сергей Львович нашел вопрос неуместным.

— Cette begueule d'Arina et toute la dvornia,[1] они здоровы,— сказал он, усмехаясь.— Что им делается? Вы не спросили о своем брате, мой сын.

Впрочем, Сергей Львович спросил, не нуждается ли Александр в чем-нибудь?

Неожиданно Александр ответил, что ему нужны деньги.

Сергей Львович был неприятно поражен.

— Но ведь тетушка твоя, Анна Львовна, дала тебе, помнится, сто рублей, — сказал он мрачно. — Сумма немалая. Кстати, она просила у тебя, друг мой, не отчета, ибо деньги твои, — но рассказа, как расходуешь ты их.

Узнав, что Александр получил от дядюшки Василья Львовича всего три рубля, которые потратил на орехи, Сергей Львович оторопел.

— Точно ли, друг мой, ты помнишь? — спросил он, задохнувшись.

Потом, сразу уверясь и глядя в сторону, он сказал скороговоркой:

— Пришлю тебе с первой оказией, а дядюшке напомню. Пиши матери, друг мой.

Больше им не о чем было говорить. Корф-отец давно удалился. Но тут случился опять неприятный человек и сказал Александру собираться на прогулку. Сергей Львович нахмурил брови и побледнел. Александр побежал одеваться. Раздался звонок. Сергей Львович все стоял на месте. Свидание, собственно, кончилось, и говорить ему с сыном было более не о чем, но никто — будь то инспектор, придворный или сам генералиссимус — не имел права прервать свидание человека почтенного с сыном ранее звонка. Прошли гурьбой юнцы — на прогулку. Сергей Львович сорвался с места, накинул внизу шинель и опрометью устремился. Лицейские брели по парку под командою невзрачного человека; Александр шел в паре последним. Путаясь в шинели, он догнал его. Невзрачный человек, которого Сергей Львович мысленно назвал капралом, построил их небрежно и не уравнивал шага.

«Видно, mon cher, в гвардии не служил, — с неудовольствием подумал Сергей Львович, — все здесь на живую нитку, — стыдно!»

---

[1] Эта тихоня Арина и вся дворня *(франц.)*.

Дорожка была узкая, и он принужден был семенить окрай дороги, пробираясь меж деревьями, чтоб не отстать. Юнцы смотрели на него с изумлением. Тут он заметил, что, догнав Александра, он ничего ему не говорит, и обратился к нему с важностью:

— К тебе скоро будет Александр Иваныч Тургенев. Он известит тебя о дальнейшем. Прости, друг мой.

И взглянув на ничтожного капрала, каким окрестил он Чирикова, Сергей Львович, недовольный, побрел к своему вознице, поглядывая на дворец. Встреча с его обитателями и внезапный поворот карьеры, который он с такой живостью воображал, не состоялись. Сын был в лицее — и только. Грубый и заносчивый состав преподавателей лицейских — tous ces inspecteurs, instructeurs etc.[1] — не нравился ему.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Мартин Пилецкий старался его не замечать. Стремительный, он всегда проходил мимо него своей быстрой походкой, почти задевая, словно перед ним было пустое место. Откуда-то он вынес ежедневную потребность во власти и особую, смиренную гордость иезуитов, винившихся только перед богом. Все его боялись.

Брата своего Илью он пристроил в лицей гувернером. Брат обожал его и при всех кланялся Мартину со всею униженностью подчиненного. Он тенью бродил по коридору, неслышимый, невидимый сидел в углу во время уроков и, не слушая профессорских лекций, прислушивался к шороху, шепоту. Всегда при нем была длинная узкая тетрадь в черном переплете, куда он поминутно вносил свои наблюдения.

У Мартина были свои любимцы, он вел с ними длинные беседы. Моденька Корф с белыми щеками и румяными губами, казалось, заботил его. Ломоносов был понятлив, любезен и исполнителен. Юдин был хорошо воспитан и остроумен. Корсаков был искателен. Мартин

---

[1] Все эти надзиратели, наставники и т. д. (*франц.*).

незаметно приблизил их к себе. С Моденькой Корфом он вел беседы, уединяясь в нише у окна или в длинной уединенной галерее, что вела во фрейлинский флигель. Он просил его быть осторожным: Моденька был миловиден, товарищи могли вредно повлиять на него. Дружба их была пагубна. Он должен был довериться Мартину как своему духовному отцу, забыв отца плотского. Монах гладил его по голове и отпускал. Это было замечено, — Моденька смущался доверием, ему оказываемым. Данзас стал его поддразнивать. Он прозвал Модю девчонкой. Моденька Корф плакал, и Мартин утешал его, гладя по голове.

Когда из лицея был изгнан Гурьев за развратное поведение, никто не опечалился. Гурьев был глуп и не имел друзей. Моденька Корф на него пожаловался.

Корсакову он разрешил издавать журнал. Он кратко написал предложение: учредить собрание всех молодых людей, которые довольно способны к исполнению должности сочинителя. Всякий член должен сочинить что-нибудь в продолжение, по крайней мере, двух недель, без чего его выключить. А вне сего собрания — сочинять что-либо запретить. Брат Илья донес ему, что Пушкин непрестанно на уроках записывает не имеющее отношения к занятиям и однажды скомкал написанное и бросил. По исследовании оказалось, что на бумажке было написано: «Не владетель я сераля» — и густо зачеркнуто, что, по мнению Ильи, указывало на какое-то сочинение в стихах, всего достовернее самого Пушкина. Запрещение ни к чему, говорил Илья, окроме озлобления не ведет, а отнятие бумаги сомнительно, потому что Пушкин шалун и как бы не вышло неожиданного. Вообще Илья просил распоряжения.

Мартин знал, что Илличевский, Дельвиг и Пушкин пишут стихи. Из стихов можно было сделать употребление ужасное. Вольтер и Пирон, отобранные у Пушкина, доказывали это. В одной из книжек, отнятых у Пушкина, нашлись даже отрывки, озаглавленные: «Завещание». Отрывки принадлежали площадному висельнику, парижскому богохулу, кабацкому повесе Франсуа Вильону, история которого была вкратце рассказана как анекдот.

Мартин был терпелив со своими любимцами, но ни в чем им потачки не давал. Он решил постепенно приру-

чить всех и так дойти до последних учеников. Последними были Данзас, Броглио и Пушкин. Но с Пушкиным должно было справиться раньше, чем с остальными, ибо влияние его могло быть гибельно.

Журнал Корсакова он назвал просто: «Царскосельские газеты». У Корсакова был прекрасный почерк, поэтому он сделал его редактором. Журнал свой Корсаков должен был показывать Кошанскому для отзывов о достоинствах статей и Мартину для цензуры нравственной.

Между тем Мартин потребовал от своих любимцев доверенности: они должны были рассказывать ему обо всех поступках — своих, товарищей — и даже помыслах. Он не обещал им прощения, но обещал, как духовный отец, справедливость, а они добровольно должны были признать его отцовскую власть. Моденьке Корфу и Корсакову начинало это нравиться: у них был заступник, всегда готовый их защитить, а при случае отличить.

2

У Корсакова был хороший крупный почерк, и он был заправским редактором. Лучше почерк был только у Данзаса.

Уроки чистописания они любили. Калинич, громадный, неподвижный, с лицом величавым, был судья, знаток и любитель своего дела.

Он тоже был неудачник. Как рослый, видный собою певчий, он доставлен был в царствование Екатерины с юга в придворный хор — для *случая*: пример певчего Разумовского, Елизаветина любимца, был у всех в памяти. На грех он спал с голоса, случай не представился, и он навсегда остался живым памятником неверного дворцового счастья прежних времен. Почерк его был прекрасный: он переписывал партитуры.

Он требовал твердой линии и был враг нажимов и утолщения, а в особенности не любил задержки пера на началах и концах букв, от чего получалась точка. Это он считал чертою подлою, приказною и писарскою. Не любил он также «кудрей» — букв широких, раскидистых. Так писали Корф и Кюхельбекер, обучавшиеся дома немецкой грамоте.

— До парафа не дойдете, — говорил он им.

Параф, росчерк в подписи, он считал самым трудным, завершением всего дела.

— Кто неясно пишет, тот, видно, смутно и думает, — говаривал он, ничем, впрочем, не подтверждая этой своей мысли.

К почерку Александра он относился снисходительно:

— Новейшей французской школы — есть полет, но мало связи. Илличевский четче, но склонен к завитку.

Теперь они часто и помногу подписывались, везде, где придется, на первом попавшемся клочке бумаги. Собственная подпись занимала Александра. Он не был более сыном господина Пушкина 7-го класса или племянником известного стихотворца Пушкина, он сам был Пушкиным, стихотворцем.

Они всячески переиначивали свои фамилии и фамилии товарищей. Кюхельбекера, фамилия которого на самом деле была не без трудности, они писали: Бехелькюкер; кличка его была: Гезель. Гауеншилд же безбожно перевирал все фамилии, за исключением Кюхельбекера. Так, Илличевского он называл Иллишийший. Сам Илличевский теперь стал изображать свою фамилию: — ийший.

Александр любил свою подпись. Он подписывался — *официально,* с парафом, кратко, одной, двумя буквами, перевертнем: НКШП, номером 14 — по своему лицейскому номеру, цифрами 1... 14... 16... — по месту букв: первая буква имени и конечная с начальной — фамилии: А. Н. П. Однажды, переписав свои стихи, он вспомнил, глядя на свой черновик, корявый дедовский памятник и подписался: Аннибал. Это разнообразие имен и подписей было для него удивительно: каждый раз не только имя, казалось ему,— он сам принимал новый вид.

Ему нравились загадочные и ложные имена в тетрадях отцовского бюро. Автор прятался за буквами, цифрами, анаграммами. О нем спорили, гадали.

Более всего Калинич одобрял почерк Данзаса:

— Упруго, кругло и мелко. Годен к писанию реляций и приказов.

И, задумавшись, прибавлял о Данзасе:

— Вот он и шалит, и жалобы всеобщие, и во всех науках только что не последний, а дал же бог руку: с таким почерком нигде не пропадет.

Калинич, впрочем, учил их писать на два манера.

— Буде пишете для себя, нужно стараться едино о ясности напечатления, чтоб понять самому то, что написал. Но, пишучи для других, нужно льстить воображению. Парафом, у места поставленным, большего достигнешь, чем убеждением. Сразу видно, кто писал: если квадратами, в коих еще виден полуустав, — это приказный. Если упруго и черно — воин. Но если почерк ровен, без кудрей, нажимов и лишнего полета, — тот человек далеко пойдет. Это есть почерк публичный или, иначе сказать, официальный.

У Корсакова был почерк официальный. Он был скор, уклончив, замкнут, и ему льстило звание редактора. Когда его спрашивали, о чем говорил с ним Пилецкий, он никогда прямо не отвечал. Видно было, что он ценил доверие, ему оказываемое. Он часто лгал без всякой нужды и подражал во всем Горчакову, а так как тот подражал в походке императору, то Корсаков был двойным притворщиком.

Пилецкий одобрил первый нумер газеты, но заметил, что нужно бы побольше стихов, например взять у Пушкина стихи. Александр ничего не дал в журнал.

Между тем, надув губы, наморщив брови, с быстрым, бессмысленным взглядом, он украдкою свирепо грыз ногти во всех углах: на уроках Илья Пилецкий, гувернер, стал делать ему слишком часто замечания. А когда его окликали или трогали, вздрагивал и смотрел с отвращением и испугом. Его скоро все оставили. Когда он писал, — все, что говорили кругом, казалось ему в такие минуты жалко, нахально, притворно, недостойно того, кто говорил. Ломоносов однажды дернул его за рукав, — он разразился бранью.

8

Походка у Малиновского была всегда ровная, прямая, он вывез ее из Англии. В эти дни он стал тороплив и шаток.

Однажды утром он вышел из своего дома, что был напротив лицея, и перешел было, как всегда, улицу. Двое лицейских видели его из окна. И вдруг им показалось, что директор посмотрел пустыми глазами на небо и закрыл лицо руками. Это продолжалось одно мгновение. Они смутились и ничего другим не рассказали.

Куницын был бледен в этот день; рот его был сжат с решительным выражением, как бывало, когда они переставали его слушать на лекциях: он не терпел, когда его прерывали. В этот день он не отвечал на вопросы, с которыми они всегда любили к нему обращаться, — они думали, что он на них сердит, он их не слышал.

Гувернеры молчали. В эти-то дни Пилецкий и отнял у них книги, привезенные из родительских домов. Математик Карцов, любивший мрачно шутить, молчал и, как бы ожесточась противу кого-то, скрипел мелом на доске, и мел осыпался под грузной рукой. Гауеншилд в самозабвенье жевал лакрицу так громко и быстро, что не успевал прочесть немецкие стихи Опица, чему они и были рады.

Это был день падения Сперанского. Они узнали об этом через неделю: важный родитель Мясоедова, толстый, как сын, сказал сыну при свидании.

Только дядьки по-прежнему растапливали печи, отдирая с треском бересту и ворча: печи дымили. Это было обязанностью дядьки Матвея, который из-за печей воевал с экономом. Эконом говорил, что и так тепло, а дядька Матвей возражал:

— Мне едино, что тепло, что холодно, да и вы у себя небось топите, — вот и печь накалили, а они растут, им тепло нужно. Закупайте, что ли, дрова.

Царское Село опустело: император Александр странствовал. Он выехал в армию. Ходили слухи, непонятные для лицейских: Сперанский внезапно пал — казнен или заточен; он оказался изменником. В Москве открыт заговор мартинистов. Они хорошенько не знали, что такое мартинисты. Пилецкий разъяснил им. Глядя бесстрастно на Пушкина, он сказал, что мартинисты — это французы и люди, приверженные ко всему французскому, насмешники и философы, непочтительные и готовые на все; дух непочтения и своевольства — вот что такое мартинизм; ныне ему приходит конец. Главные очаги разврата — московские и петербургские модные лавки и книги французские уничтожаются. Более ничего знать им не нужно.

Во время классов Будри, когда старик кончил объяснять периоды, Пушкин спросил у него, что такое мартинизм. Будри откинулся в кресле. Он посмотрел строго на воспитанника.

— Где вы слышали это слово? — спросил он.

Вдруг, грозно на всех поглядев, он сорвал с головы парик и бросил его на кафедру. Никто не засмеялся. Открылся коротко стриженный череп, квадратный лоб; черные, как угольки, глаза поблескивали. Он заговорил отрывисто и хрипло, грубым голосом, точно был не в классе, а на улице или площади.

— Мартинизм — пагубное суеверие, — сказал он, — подобное иллюминатству. Мартинисты — мистики. Злоупотребляя понятием божества, суеверы во все века затмевали разум. Приносились человеческие жертвы — и сколько людей было предано огню одной инквизицией! Не напоминают ли суеверы новейшие старых? Пустые таинства, предрассудки роковые! Мольер превосходно изобразил могущество и пустоту сего суеверия в Тартюфе. Вот что такое мартинизм.

Затем он преспокойно нахлобучил на голову парик, поправил его и приказал Пущину спрягать неправильный глагол coudre во всех временах и наклонениях. Пущин сбился, и Будри заворчал:

— Больше прилежания! Больше внимания! Вы никогда не научитесь говорить, а разве только болтать!

Он был добродушный старик и строгий учитель.

Итак, мартинисты были святоши. Мартином звали Пилецкого; отныне все, что делал Мартин, было мартинизмом. Его наушники: Корф, Ломоносов, Корсаков, Юдин — были *мартинисты*.

Тотчас после урока Александр обозвал Корфа мартинистом и захохотал. Корф не понял, но обиделся. Он распустил губы, его голубые глаза помутнели.

Корф очень легко обижался и плакал.

Он был плакса.

4

Это было похоже на болезнь; он мучился, ловил слова, приходили рифмы. Потом он читал и поражался: слова были не те. Он зачеркивал слово за словом. Рифмы оставались. Он начинал привыкать к тому, что слова не те и что их слишком много; как бы то ни было, это были стихи, может быть ложные. Он не мог не писать, но потом в отчаянии рвал.

Стихи иногда ему снились по ночам, утром он их забывал. Однажды приснилась ему Наташа; всю ночь про-

должался бред, пламенный, тяжелый; к утру он проснулся, испуганный и удивленный, — что-то произошло, чего он не мог объяснить, что-то изменилось навеки: он помнил строку, полстиха: «Свет-Наташа», а вместо рифмы был поцелуй. Так он и не понял, что ему снилось в эту ночь — Наташа или стихи? Но записал на клочке: «Свет-Наташа».

Он ничего никому не читал. Казалось, ему тяжело было сознаться в стихах, как в преступлении.

В журнале, кроме Корсакова, участвовали уже Илличевский и Горчаков, который отнесся к новому предприятию снисходительно и даже помирился с некоторыми «смирными», которых обижал своей надменностью. Так как Пушкин ничего не дал журналистам, они, раздосадованные, его скоро *выключили*. Он рассмеялся, когда узнал об этом, а потом разозлился.

У него было теперь любимое место в лицее: там он прятался от Пилецкого, туда внезапно скрывался. Это была галерея, соединявшая лицей с фрейлинским флигелем: арка висела над дорогою. В галерее наконец устроили библиотеку, и там выдавались им книги, по большей части скучные: история крестовых походов, путешествия по Нилу, Вольтера — только история Карла XII. Но он полюбил скучные книги. Ему нравилась их неторопливость и точность, даже в тех случаях, когда описывались события быстрые или малоизвестные. Особенно он полюбил книги философические и сборники изречений; краткие истины, иногда до странности очевидные, стоили стихов.

Так и то, что говорил Куницын о разуме, страстях и гражданстве, гораздо более напоминало Александру о стихах, чем лекции Кошанского, который только о стихах и говорил: в определениях Куницына не было ничего лишнего; самые слова «свобода», «разум», «страсть» казались предназначенными для стихов — рифмы сами приходили и доказывали правильность мыслей. Путешествие юного Анахарсиса в Афины заняло его.

Он начал читать, наслаждаясь медлительностью описания встреч и впечатлений юного скифа. Скиф был почти из тех же мест, что Малиновский: древнее Меотийское озеро, на берегах которого он жил, было не что иное, как Азовское море. Дикий и девственный умом

и сердцем, он становился, наравне с мудрецами афинскими, другом Солона; он чутко внимал проповедям афинских софистов, не доверяя им.

Пилецкий наблюдал. Он видел однажды, как Пушкин играл в зале во время рекреации в мяч, движения его были быстры, он был меток и горяч. Предаваясь игре со страстью, он тем не менее замечал все происходящее кругом. Пилецкого он не заметил, ибо, верный системе морального и незаметного присутствия, Мартин скрывался то за колонною, то за дверью. В другой раз Пушкин беседовал о чем-то с Яковлевым столь быстро и живо, что Пилецкий ничего не мог расслышать. Яковлев был весь внимание и, открыв рот, с каким-то удивлением его слушал. Пушкин о чем-то рассказывал быстро, охотно и даже слегка захлебываясь. Потом он вдруг разом замолчал и ни слова более не прибавил.

Однажды он видел, как Пушкин встретился с воспитанником Дельвигом, бывшим на замечании по лености. Пушкин шел, как всегда, «дичком, торчком», как говорил о нем гувернер Чириков. Вдруг Пушкин нечаянно увидел Дельвига, который шел навстречу без всякого дела или занятия. Лицо его вдруг изменилось, улыбка появилась на нем, глаза засветились, он засмеялся безо всякой видимой причины, они обнялись и пошли нога в ногу. Пушкин, обычно молчаливый, неохотно отвечавший на вопросы товарищей, смеявшийся редко и отрывисто, без добродушия, теперь болтал, смеялся то и дело. Он был говорлив, как птица; Дельвиг, видимо, был ему приятен. Пилецкий смотрел на них, оставаясь для них невидимым, с некоторым недоумением. В Пушкине приметно было добродушие. Противоречия в характере его были непонятны.

Шкафы иногда забывали запирать, и он, примостясь к окну, читал. Здесь он прятался от лекций математики и немецкого языка. Он ни за что не мог себя заставить учить немецкие вокабулы. Немецкий язык казался ему плох; Гауеншилд, жуя лакрицу, читал стихи Опица; он надувался, выкрикивал несколько слов, остальные шипел: Опиц казался не стихами, но бранью.

Пилецкий выследил его. Он было спрятался от него в глубокую дверь, что вела к фрейлинской половине, но был извлечен с торжеством. Ему погрозили пальцем, но, впрочем, ничего не сказали. В этот день Куницын

читал им о златом веке невинности человечества. Она сохранилась ныне только у дикарей.

Пройдя мимо него, Пилецкий вдруг круто повернул, улыбнулся, взял его за плечи, что было знаком доверенности и желания поговорить наедине. Александр увернулся довольно неловко. Он был щекотлив и не любил прикосновений. Пилецкий улыбался по-прежнему. Он спросил Александра, почему он не хочет давать стихотворений своих Корсакову: может быть, ему недостает пособий и он хочет их получить; ежели пособие будет надежное — пусть назовет, и все ему доставится.

Александр, ничего не ответив о стихах, назвал вдруг быстро одну за другой книжки, которые Арина сунула в его баул и которые Чириков отнял по приказу Мартина. Таковы были пособия, которые он желал получить.

— Знаете ли вы, мой любезный, — спросил его Мартин, — что это за книги?

Не дожидаясь ответа, он сказал все тем же ровным голосом и улыбаясь:

— Забудьте эти книги. Я даю вам три дня на забвение. Потом приходите ко мне — я буду ждать вас.

Уже зашагав, он быстро спросил Александра, откуда взялись у него эти книги, кто дал их ему?

Узнав, что книги из отцовской библиотеки, Пилецкий усмехнулся.

— Не многим же вас снабдил родитель, — сказал он, улыбаясь и кивая головой.

Потом, посмотрев на Александра с какою-то грустью, он тихо спросил его: не случалось ли ему читать «Путешествия в Иерусалим»? Если Александр захочет — он достанет ему эту книгу, и Александр не пожалеет о времени, им потраченном. И Пилецкий быстро зашагал прочь: вечно деятельный, ко всем душам прокладывающий путь, всех направляющий.

Александр смотрел ему вслед и вспомнил, как торчали его громадные ступни ночью, когда монах бил поклоны.

Путешествия в Иерусалим он не прочел. Зато он с наслаждением вспоминал тетради Сергея Львовича. Вот бы их привезти да спрятать. Ямщик Елеся, герой одной крепкой поэмы, вспомнился ему. «Налой» был тоже хорош: штаны послушника служили налоем для благочестивого монаха.

Встреча с отцом была холодная; Александр редко и мало вспоминал его. Он стыдился Сергея Львовича, во фраке, в тугих воротничках, с заплывшим взглядом, величавою осанкой, скороговоркой и мелкой походкой. Но косой взгляд — тогда на лестнице — и теперь насмешка Мартина все решили.

Пилецкий, видимо, посмеивался над Сергеем Львовичем; он говорил о нем: «родитель». Александр вдруг задрожал, вообразив, как он назовет и мать, Надежду Осиповну, родительницей. Чем хуже были его отец и мать, тем неприкосновеннее. Он вспомнил угол у печки, куда часто забивался, землистые руки Арины, мешавшей дрова, — он вспоминал это теперь все реже и только в тот самый миг, когда засыпал, а ни в какое другое время не помнил, — и вдруг рассвирепел. Никто не имел права смеяться над его отцом — никто, кроме него самого. Отец, Сергей Львович, этот плотный маленького роста человечек (он оказался маленького роста, а ранее, дома, казался таким большим), который растерянный стоял в лицейской приемной, был беззащитен. Пилецкий насмехался над ним.

Пилецкого он отныне ненавидел.

В этот день, когда Горчаков прыгающей, немного развинченной походкой, которую он теперь избрал, подражая походке императора на открытии лицея, покашливая, прихрамывая на правую ногу, — он жаловался на свою старую подагру, — кудрявый, розовый, прошел по коридору с Корсаковым-мартинистом, — он обозвал его вольною польскою кокеткою.

Горчаков не обиделся, он удивился: полуоткрыв розовый рот, он посмотрел на Пушкина, прищурился, а потом быстро пошел прочь. Хромота прошла. Александр захохотал ему вслед. Все это произошло на глазах гувернера Ильи, Мартинова брата.

В тот же день Мартинов брат заметил, что Пушкин смеялся над отцом Мясоедова, который служил в сенате, о чем сам Мясоедов неоднократно упоминал в разговорах и даже был упрекаем от некоторых в гордости. Но Пушкин при этом смеялся не столько даже над отцом Мясоедова, сколько над самым сенатом, что было неприлично. Он слышал, как Пушкин произносил со смехом и как бы фыркая какие-то стихи, относящиеся собственно до сената и явно недозволенные. Но стихов

он не мог расслышать, только созвучие, впрочем непристойное: «мраком» и «раком». Спрошенный, Мясоедов показал, что Пушкин действительно сказал ему стихи:

Лежит сенат в пыли, покрывшись мраком,
«Восстань», — рек Александр; он встал, да только раком.

Похвалив Мясоедова за память, гувернер Илья Степанович приказал ему стихи забыть. Откуда Пушкин мог сии стихи, относящиеся собственно до восстановления мощи Правительствующего сената, достать или узнать, гувернер недоумевал. Впрочем, и вообще Пушкин показывал себя в эту неделю неопрятным и нерадивым, как, например, ронял носовые платки, не застегивал верхней пуговицы на сертуке, ссылаясь, что якобы сшит тесно, а также грыз в некоей задумчивости перья, отлично очиненные Фотием Петровичем, господином Калиничем, и уже сгрыз немало.

Мартинов брат требовал точной и немедленной инструкции, как поступать с Пушкиным. Ежели его ожесточать замечаниями, то первое: он их не слушает, а противустоит с некоторою отчаянностию, и можно от него ожидать крайностей, а другое, что придется слишком часто выговаривать. Черный стол для него средство недостаточное, как, впрочем, и для Броглио с Данзасом, которые похваляются, что привыкли.

5

Кошанский был уязвлен. Он жаждал обиды. Нахмуря брови, прислушивался он, идя по залу: не говорят ли о нем. В самой одежде его было нечто мрачное: тугие воротники, черный бант, который наподобие вороньих крыльев хлопал при ходьбе. Он был щеголь новой породы — печальный. Жуковский первый пустил в ход эту новую мрачность: расстегнутый ворот, свисающий на лоб локон, в блуждающем взгляде рассеяние. Впрочем, локон прикрывал у Кошанского накладку: волосы его редели; он был лыс. Не приближаясь к женщинам, мрачные поэты решили, что любовь не для них. Кошанский начал с подражания, но потом постепенно стал мрачен и вправду.

Поэзия и милые женщины, которым он собирался посвятить свою жизнь, действительно от него отвернулись. Стихи его успеха не имели, женщинам он казался смешон. Может быть, обдуманная тщательность наряда и искусственный беспорядок в наружности были причиной этому. Женщины и поэзия были самые неблагодарные предметы. Он восхищался и стихами и женщинами, а толку не было: он не имел счастья. Он писал теперь в самом мрачном роде — на смерть особ женского пола. Стихотворение его на смерть княгини Касаткиной-Ростовской напечатали «Новости литературы». Скорбь его заставляла предполагать, что поэт был более близок к прекрасным при жизни, чем это было на деле. Вскоре некоторые особы стали его избегать, и однажды одна, наморщив уста при виде его, прошептала, если только это ему не почудилось:

— Гробовщик.

Вино, воспевание коего он почитал развратом, несколько утешало его. Он добился для воспитанников, юнцов без знаний, запрещения писать стихи. Напрасно: они писали. Он сам стал им задавать темы, переводы и проч. Критика этих упражнений стала его страстью. Знания его были обширны, и критики его стали бояться. Он чувствовал неизмеримое свое превосходство и иногда бывал снисходителен. Мысленно он называл свою критику «спасительною лозою».

В последнее время нелепые стишки стали сочиняться и распеваться в стенах лицея. Как главное после директора лицо, как старший профессор, он надеялся вскоре после отставки Малиновского занять его место. Отставку же Малиновского после падения Сперанского он почитал неизбежной. Поэтому, для того чтобы ближе войти в жизнь лицея, он часто оставался дежурить, заменяя Пилецкого.

Он уже хотел удалиться к себе и расположиться на отдых, когда услышал тихую песенку. Он прислушался вначале не без удовольствия: юнцы думали, что их никто не слышит, и можно было назавтра поразить их своею проницательностью, притом в стишках довольно метко осмеивался Гауеншилд, который почему-то метил в директора. Но скоро удовольствие пропало: для них ничего не существовало запретного, и они всем забавлялись. И в самом деле, после тихого пения нача-

лось представление в лицах. С некоторых пор завелись в лицее паясы. Неумный Тырков старался обратить внимание товарищей гримасами. Но Яковлев был настоящая язва и так схоже представлял в лицах кого угодно, что это следовало запретить. Будущий директор вдруг услышал свое имя. Вслед за этим голос Яковлева произнес:

— Бант! Бант!

Это была, видимо, просьба дать бант для представления. Профессор ощупал бант на своей груди.

Представление началось. Дыхание зрителей, неровное и прерывистое, это доказывало. Он мог нагрянуть, но любопытство превозмогло.

Между тем Яковлев зашептал гортанным и носовым голосом, который вовсе не был похож на голос профессора:

— Венчанна класами хлеб Волга подавала — свое произведение! Подавала через каналы! На громадном расстоянии! Золотистые колосья! — Рифей, нагнувшися, — чего ему стоит нагнуться, сущая безделица! Нагнулся и все тут — лил в кубки мед — и тому подобное!

Это была дичь, бессмысленный набор фраз, и однако же — в точности то, что говорил он, объясняя Державина. Он ставил себе в заслугу, что, говоря о поэзии, давая понять ее необычайность, он намеренно заставлял голос свой замирать при чтении стихов, пересыпал их вдохновенными пояснениями, комментариями, дабы заставить мальчишек понять, вкусить сладость, в сих стихах заключающуюся, но доступную для немногих. Он старался этим довести их до некоторого, если так можно выразиться, в благородном смысле слова, опьянения, восторга, необходимого для приятия стихов. Он никогда не позволял стихам Державина, например, приблизиться к слушателю без комментариев. Ибо что он поймет без них? Он недавно попробовал прочесть два стиха:

Венчанна класами хлеб Волга подавала, —
Рифей, нагнувшися, лил в кубки мед.

Никакого впечатления. Раскрытые рты, занятия делами посторонними. Равнодушие полное, Пушкин в задумчивости кусал ногти, а Данзас пытался навести стеклышком солнечный зайчик. Он указал на них гувер-

неру Илье, тут же сидящему. Вслед за этим, когда порядок водворился, он поднялся с места, уронил стул, стал быстрым шепотом пояснять, и все лица преобразились.

Юнцы полагали, что все это ему даром дается. Напрасно! Он отирал пот со лба батистовым платком. Но таким образом он доводил стихи до сердца и мозга их. Казалось, его старания достигли своей цели: общее внимание было его наградой.

Теперь мальчишки — вслед за неверными женщинами — смеялись над ним. Оказывается, они смотрели на него не как на поэта, не как на наставника, а как на актера. Насмешливое направление в лицее было новою язвою просвещения. И он не сомневался, кто истинный виновник этого направления, виновник наследственный, насмешник потомственный: это был Пушкин. Он расслышал теперь его смех, внезапный, обрывистый и неприличный, среди других смешков, по крайней мере более тихих. Подобно тому, как дядя его наводнил Парнас непристойными и пустяшными стишками, так заражает все вокруг себя и племянник. А стишки дяди вот уж подлинно легкая поэзия: дунешь, и нет — одуванчик.

Куплетов о себе он не услышал. Но кто поручится, что этот дьяволенок, делающий сомнительное употребление из своей счастливой памяти, завтра не настрочит какой-либо эпиграммы, куплетца, шарады — одного из негодных поэтических родов, с младых ногтей ему знакомых? Приученный к насмешкам, тершийся между поэтами, печатавшимися в повременных изданиях, в которых дельного теперь не встретишь, — он, всеконечно, был автор пакостей, теперь певшихся в лицее. Профессор не сомневался в этом, полагаясь на свое чутье. Он воображал уже стихи, сочиненные на свой счет. Это были ужасные стихи, нелепые и язвительные. Мысленно он уже подчеркивал в них грубые ошибки против меры. Он полагался на свое чутье: автор, пусть это даже мальчишка, может быть узнан по своему частному слогу, как виновник дела или проступка по характеру. Слог — есть физиономия автора, лицо его. В бессвязных строках чувствовалась размашистость и отчаянная беспечность именно Пушкина, шалуна. Пушкин был автор всех насмешливых песен; никто другой не имел столь

быстрого, лукавого взора, высматривающего слабости других: сущая чума. Он решил проучить его. О Яковлеве он, странное дело, не думал. Яковлев был кривляка, с него взятки гладки. Никто на него не обижался. Пушкин же и Дельвиг *мнили* о себе. Из чего это можно было заключить? Из гордости: они писали, грызли перья, но не подходили и не спрашивали совета. Они, подражая кому угодно, не желали подражать никому в особенности. А только такое подражание есть основа. Между тем был и среди них воспитанник, подававший действительно надежды: Илличевский. Он не шумел, не принимал участия в куплетах, знал свое место, а между тем просил совета и помощи. Стихи его по чистоте, мелочности отделки, некоторой поэтической обстоятельности, обещали со временем стихотворца. Они и сейчас были вне сравнений с опытами товарищей. Исправляя одну за другой мелкие свои погрешности по указанию старших, он близился к совершенству.

Назавтра лекцию свою он начал с достоинства слога. Профессор недаром бессонными ночами, когда думал о своей судьбе и повторял любимые стихи: Державина и свои собственные, более всего размышлял над тем, что такое достоинство слога. *Простой слог был способ писать так, как говорят.* Некоторые его ложно называли низким только потому, что он не был высок. Но выражения, слова, мысли в сем слоге вовсе не низки, они *обыкновенные,* но благородные.

Он добился внимания. Кюхельбекер, скрипя пером, записывал. Более того, Пушкин, обычно небрежный, со взглядом быстрым, но неуловимым, доказывавшим рассеяние, смотрел на него, соображая и, видимо, запоминая.

Простота мыслей, чувств и слога соблюдаются в письмах, разговорах, повестях, романах, ученых сочинениях, баснях, сказках, комедиях, сатирах, пастушеских и мелких стихотворениях. Но где учиться простому слогу?

Он наслаждался: ему внимали прилежно и в самом деле ждали ответа на этот вопрос, Илличевский писал басни, а Пушкин, кажется, комедии и сатиры. Самое трудное была простота, и юнцы уже чувствовали это: недаром рвали в клочки по углам свои рукописанья,

не зная, что им нужно, чего недостает. Недоставало не мыслей, которых пока им неоткуда взять, не звуков, которыми полны их головы, звуков заемных, — недоставало простоты.

Он помедлил.

— Не на площадях нужно искать простоты, ибо от сего стиль площадной, а в разговорах высшего круга людей.

Высшего круга людей многие из них и не нюхали, а он только третьеводни был на приеме у Разумовского. Василья Львовича Пушкина, брызжущего слюною поэта, он ни в коем случае не мог причислить к высшему кругу. Дмитриев — дело другое. Он заставил их записать правила ясности слога: знание предмета, связь мыслей, точность слов. Правила были неоспоримы, но он любил облагородить сухую теорию прозаическую образами поэзии и поэтому заодно продиктовал, что ясность слога бывает дневная, лунная и солнечная. Мысли его вообще были дельны, а наблюдения разумны, пока страсть к поэзии или гордость не овладевала им. Он огорчился, увидев, что некоторые не сочли нужным последнего записать, и между ними Пушкин.

Тогда он перешел к порокам слога.

Он вытащил из кармана сочинение Кюхельбекера — перевод из «Грозы» Сен-Ламберта — и прочел медленно, наслаждаясь:

Страх при звоне меди
Заставляет народ устрашенный
Толпами стремиться в храм священный.
Зри, боже, число, великий,
Унылых, тебя просящих...

Все заулыбались, Пушкин и Яковлев захохотали, но ему самому надлежало сохранять спокойствие.

— Это есть бессмыслица, — сказал он, — не простая, а высший род ее, ибо если стараться, сего не достигнешь. Здесь нет связи в сочленениях. Это могу уподобить только Тредиаковскому.

Не называя автора, он сказал и о причинах бессмыслицы:

— Ничего столько не пленяет воображения молодых людей, как возвышенный слог. Они стремятся к подражанию и впадают в темноту, пустословие, бессмыслицу,

галиматью. Слог их тяжелый, грубый, дикий, шероховатый, холодный, надутый, натянутый, топорный, водяной; булыжный!

Слова пленяли его, и осторожность исчезла. Кюхельбекер сидел, бессмысленно глядя на него, надутый, с диким выражением в глазах. Взгляды всех на него обратились. На высший род бессмыслицы был способен только он. Спасительная лоза поделом ему досталась. Не связывая еще слов, он сломя голову лез в поэты. Не спросясь броду, не суйся в воду. Надлежало наказать упрямство. Однако насмешки не должны были идти слишком далеко. Общая веселость была неприлична. Яковлев был смешлив, но и Пушкин, и Дельвиг, и Малиновский смеялись открыто. Только Илличевский вел себя более прилично: тихонько хихикал. Следовало обратиться к другому предмету, дать мыслям другое направление, и он перешел к слогу *неприличному*.

Небрежность неприлична. Галлицизмы, бессвязность, смесь низких слов с высокими, шуточных с важными. Неприличия в предмете: вино, сладострастие — таков новейший модный порок поэзии. Слог водяной, пустой, развязный, мысли скачущие — ни плавности, ни постепенности. Над всем смеются, добродушия никакого. Краткость, обрывочность. Песенки или брань.

Это была не только лекция, это была жалоба сердца. Он не терпел этой насмешливой, легкой, язвительной, шаткой, песенной, болтливой поэзии, которая всех вокруг очаровывала. Пушкин-стихотворец был в этом роде. Племянник его шествовал, видимо, за дядею. Важность, даже некоторая мрачность — вот существенные достоинства поэзии. Пушкин, видно, отлично чувствовал, о ком идет речь: на сей раз он заерзал за своей конторкой. Профессор, впрочем, никогда бы ему не отказал в руководстве. Связь частей — предмет важный — была особенно им изучена.

И, покончив с критикой, профессор сказал о слоге, который приличен, которым немногие одарены и который он хотел бы видеть у неоперенных еще, недозрелых еще, не излетавших еще из гнезда талантов:

— Слог плавный и нежный, гармонический, приятный, слог обработанный, иногда затейный и колкий, всегда живой, свежий и натуральный, слог живописный, размашистый, добротный, огневой!

Он зажмурился и с тою улыбкою, которую всегда употреблял в дамском обществе, раздельно, тихо произнес:

— Слог шелковый, слог бархатный... жемчужный!

Никто из юнцов этого слога не имел.

6

Вечером Кошанский дежурил. Спускалась темнота над зданием царей, и в приятных полусумерках он отобедал. Обед, который подавал ему дядька Матвей, был нехорош, и он решил, как только станет директором, удалить эконома. Эконом был сущий вор, и мальчишки, посвятившие ему отчаянные стишки, были, собственно, правы. Он не роптал: вино, которое он привозил с собою из города в плотном громадном портфеле вместе с риторикою Блэра и тетрадками своих лекций, утешало его. Однажды ему показалось, что гувернер Илья при прохождении его на дежурство навострил уши. Ему и самому показалось, словно бы вино булькало. Он не подал виду тогда, и теперь, не зажигая огня, отобедал и отдохнул. Приятнее всего была мрачная плавность, которую он ощущал после обеда. Добродушие возвращалось к нему: знания его были обширны и всеми признаны, место, им занимаемое, и то, в особенности, которое вскоре предстояло занять, — почтенно. Он был строг, но снисходителен. С сумрачною улыбкою, не торопясь, он прошел в залу, где еще толпились и гонялись друг за другом воспитанники. Пушкин о чем-то беседовал с Дельвигом, — верно, о лекции, ими слышанной, быть может об уроке, тайно ему преподанном. Кошанскому захотелось приободрить его. Вино всегда смягчало его. Юнец не мог отвечать за грехи дяди своего и другого дяди. Разговор завязался. Подошли Малиновский, Корсаков, другие, чтобы послушать беседу руководствующего. Кошанский не хотел его обижать, давеча он хотел его направить. Лоза была спасительна для этих жадных к славе, марающих бумагу молодых талантов. Он спросил Пушкина, что он читает сейчас и что хотел бы прочесть?

Пушкин, оказалось, прочел только что «Модную жену» Дмитриева. Кошанский улыбнулся довольно неохотно. Дмитриев был поэт образцовый, но именно «Модная жена» было стихотворение сомнительное, соблазнительное.

Это было легкое пятно на физиономии безупречного поэта: соблазненная жена, обманутый муж и все черты водевиля. Пушкин, без сомнения, вывез книгу из дому, утаил ее или добыл непозволительным путем. Может быть, модная жизнь любопытна была Пушкину как предмет для его комедии; он бредил комедиями. Оказалось далее, и пьеса Крылова о модных лавках ему известна. Час от часу не легче. Простонародный слог в этой пьесе то и дело переходил в площадной, а в завязке и развязке было много неприличия. Он сказал ему об этом.

Тут Пушкин, смеясь довольно весело, ответил, что на деле еще неприличнее, что Крылов верно описал комнату, имеющуюся у всех marchandes des modes [1] петербургских и московских, а что площадной его слог точно надоедлив.

Гувернер Илья Пилецкий спешил из дальнего угла. Пушкин был на особом замечании: он требовал строжайшего надзора, Мартинов брат неустанно пекся о нем и не терял его из виду, следуя за ним по пятам. Он помнил наставление брата своего: следить даже мимические разговоры, пошепты и мгновенные урывки. С Пушкиным к этому прибегать было излишне: он был поврежден в самом существе, был озорник, — с ним нужно было не моральное ухо или моральный глаз, а глаз и ухо простые, обыкновенные. Заслышав смех воспитанников и увидя, что профессор в негодовании пожимает плечами, он приблизился и, вытянув шею, прислушался. Разговор Пушкина был необычайно дерзок. Он говорил о каких-то обстоятельствах, происходящих в модных лавках, за что содержательницы оных высылаются, но о каких именно обстоятельствах — не расслышал и даже побоялся расслышать, трепеща за воспитанника. Кошанский краснел все более и сказал в негодовании:

— Я повыше вас, я опытнее, а, право, не выдумаю такого вздора, да и вряд ли кому придет это в голову.

Мартинов брат не мог более доверяться своей памяти: тихонько раскрыл черную тетрадь и стал записывать.

Кошанский как бы впал в задумчивость, но, увидя гувернера Илью, вносящего в свой журнал его слова, вдруг погрозил ему пальцем. Гувернер Илья спросил было:

— Чаво-сь?

---

[1] Модисток *(франц.)*.

Но профессор, круто повернувшись, удалился. При крутом повороте он пошатнулся, и гувернер поддержал его.

Приятное расположение духа, в котором Кошанский находился, было потеряно. Повеса, столь рано искушенный во всех родах бесчинств, ставил его в тупик. Он хотел приободрить шалуна, которого косвенно подверг критике жестокой. Шалун догадался, но нимало, оказывается, не был смущен. Гувернер Илья, кажется, заметил его шаткость. «Чаво-сь?» — бормотал Кошанский. Ставят гувернерами невежд и хотят от воспитанников образованности. Внезапное подозрение пришло ему в голову: не потому ли Пушкин заговорил о таком предмете, как модная лавка, что считал его, подобно многим в лицее, — он знал об этом, но считал ниже себя опровергать, — щеголем и хотел это показать? Он все более мрачнел. Он хотел было сегодня обойти, как рачительный воспитатель, будущий директор, всех воспитанников. Но отменил решение. Пройдя к себе, он размотал свой бант и рухнул в постель. Он не успел даже перечесть на ночь свое стихотворение «На смерть княгини Касаткиной-Ростовской», напечатанное в «Новостях литературы», — и заснул. Воспитание юнцов утомляло его.

7

Критика Кошанского подействовала. Все в Кюхельбекере возбуждало, даже у самых смирных, желание дразнить: походка, рост, глухота. Он был трудолюбив, упрям, тщеславен, обидчив. Дурно зная язык, он читал и писал по целым дням, не отходя от своей конторки, вскакивал по ночам и писал в темноте. Илличевский учил его писать стихи. Он требовал от него легкости, а сам между тем украдкою писал на него эпиграммы. У Кюхельбекера были задуманы романы, драмы, поэмы, оды, элегии.

Теперь, после критики Кошанского, стихи его вошли в пословицу.

Заслышав звон колокола в лицейской церкви, возвещающий утро, они произносили:

Страх при звоне меди
Заставляет народ устрашенный...

Строясь в ряды при прогулке, они говорили:

Зри, боже, число, великий...

Ходил по лицею листок, где в описании летнего вечера употреблялось слово *сидюл* вместо *сидел*. Яковлев клялся, что это написал Кюхельбекер.

Вместе с тем его боялись дразнить открыто: нрав его был бешеный. Он готов был на месте убить обидчика, проткнуть его вилкою, если это было за обедом, пустить чернильницею в классах, сбить с ног во время прогулки. Составился заговор: смеялись тайком и тайком сочиняли на него стихи. Его звали Дон-Кишотом, Вилею, Виленькою, Вильмушкою. Они любили его. И каждый вечер они шушукались теперь и читали друг другу на ухо эпиграммы. Он был жертвою, приносимой богу смеха Мому. Штаны его, нос, упрямство, стихи осмеивались. Имена его героев, из старых немецких книжек, были удивительны: Зами, Зульма, Теласко. Он был во всем странен.

Эпиграммы писали, кроме Александра, Илличевский, Миша Яковлев. И тут произошла неожиданность. Стихи никому не удавались. Этот род оказался самым трудным. Легче всего дался он Мише Яковлеву: он писал эпиграммы на случаи из жизни Кюхельбекера: у Вили лопнули штаны — эпиграмма; Виля учил английские диалоги по книжкам, которые прислали ему из дому, — другая. Все вызывало общее веселье:

Ах, батюшки, какой урод!
Широкий нос, широкий рот!

Добрый Матюшкин и Комовский были переписчики.

Кюхля подозревал, что над ним смеются, но чем более смеялись, тем с бо́льшим упорством он писал стихи. Он где-то вычитал, что и вообще над поэтами смеялись; переписывая громадную поэму Шапелена о девственнице Иоанне д'Арк, он в предисловии прочел, как смеялся над злосчастным поэтом Буало и засмеял чуть не до смерти. Он не любил насмешливого рода. Буало написал на трагедию Корнеля «Агесилай»:

J'ai vu l'Agésilas, —
Hélas! [1]

По мнению Кюхли, такие стихи писать было легко. И правда, Броглио, — самый беззаботный, последний

---

[1] Я видел Агесилая, —
Увы! *(франц.)*

ученик, всегда слонявшийся по лицею и насвистывавший песенки, знать не хотевший ни о Буало, ни о Шапелене, — пустил по лицею стишок о Дельвиге.

Ха-ха-ха, хи-хи-хи,
Дельвиг пишет стихи.

Однажды Кюхельбекеру сунули эпиграмму на него и ждали, затаив дыхание, действия. Кюхля дважды прочел и сказал отважно, хотя и побледнев, дернувшись, раздув ноздри, что эпиграмма дурна: слог площадной, без остроты, и рифма плохая.

Яковлев, оскорбясь, предложил ему самому попробовать.

Тотчас появилась эпиграмма на «нового Лагарпа». Кюхля был смешней всего в гневе.

Но Александр, продолжая вместе со всеми писать на Вилю эпиграммы, уверился, что они и впрямь плохи.

Он сел за Лагарпа.

По Лагарпу, нынче каждая язвительная черта в разговоре называлась эпиграммою. Но предмет подлинной эпиграммы была мысль остроумная и простая. Каждый может сочинить эпиграмму, но талант заключается в применении точном и остром каждого стиха.

Эпиграммам на Кюхлю недоставало краткости и простоты.

Александр не давал своих стихов Кошанскому. Глубокое уныние, в которое впадал непризнанный поэт при чтении чужих стихов, его бесстрастный голос, когда он делал свои замечания, почти всегда дельные, самые похвалы, жеманная улыбка — отучили Александра. Заметя погрешность, Кошанский с некоторой хищностью вырывал листок из рук юнца-поэта, со сладострастием зачеркивал ненужное или бессмысленное слово и тут же надписывал исправление. При этом обнаружилась важная черта: для него были погрешностями равно ошибки противу слога и правописания. Для его самолюбия была чем-то оскорбительна скороспелая поэзия. Они посягали на священное ремесло, предназначенное для людей ученых, зрелых, искушенных. Удачные стихи, которые вдруг попадались у мальчишек там и здесь, были дело несправедливого случая и заставляли его сомневаться в себе.

8

Александр привык в отцовском доме к разговорам о стихах: особый блеск в глазах появлялся у дяди, отца, друзей их, когда они говорили о стихах, театре, женщинах и счастье в картах. Счастливый стих вызывал смех, восхищение, зависть, как красавица, увезенная из дому, из-под носу у родителей, шалуном, или талия, пригнавшая игроку счастье. Если славный стих был печален, все смотрели друг на друга сощурясь, с видом таинственным и важным, как заговорщики. Если поэма была зазорная, все замолкали, когда мать, тетка или гостья приближались к столу; лукавые, счастливые своими знаниями, они обиняками подзадоривали любопытство. Кошанский читал стихи плавно, покрикивая в главных местах, понижая голос до шепота в других, прерывая стих и останавливаясь для пояснений; он знал куда больше, чем дядя Василий Львович, но знал не то. У Александра почти на глазах писалась дядина поэма. Он видел листки, на которых еще не высохли чернила; он знал, что поэты хвастают, когда стихотворение удается. Кошанский более всего бранил нескромность и тщеславие. Дядя ругал Державина, ворчал на Дмитриева. Кошанский ругал только Тредиаковского. Кто был славен, тот вызывал его почтение во всем. И он не верил Кошанскому, когда тот критиковал его стихи. Каждая строчка была неверна, рифмы бедны, не было плавности, но он никогда не говорил обо всем стихотворении. Он был прав и неправ. Когда он говорил о высокой поэзии, он закатывал глаза. То же, когда говорил о женщинах. Изящность его была жеманная.

У Александра был свой критик — гувернер Иконников. Любитель правды, сумрачный, бледный, с дрожавшими от пьянства руками и диким взглядом, — был несчастный безумец. Он любил стихи и свои и чужие, но мало о них говорил и почти вовсе не делал дельных замечаний. Подняв палец к бледным губам, он слушал их — и бледнел еще больше. Он дважды сухо сказал Александру, что стихи дурны, и Александр не подумал обидеться. Он вдруг понял, что стихи и в самом деле дурны. В третий раз Александр прочел стихи, которые считал вздором, и Иконников бросился его обнимать. Этот бедный безумец, Дон-Кихот, знал, казалось, какой-то секрет,

быть может точно у этого вздора, который он прочел, были свои достоинства.

Вскоре в лицее стало известно, что Иконникова изгоняют за дурные привычки и дурное действие на учеников. Подозревали и Кошанского и Пилецкого. Бледный, с длинными дрожащими пальцами, любитель правды сунул в карман единственное свое имущество — стихи Горация в кожаном переплете — и пришел проститься.

Он простился с Чириковым. Всегда чинный, маленький Чириков упал к нему на грудь и хриплым голосом пророкотал:

— Прощай, друг!

Они все собрались кругом и посматривали: нейдет ли Пилецкий. Любитель правды обратился к ним.

— Льщу себя надеждою, милостивые государи, — сказал он, — что связь наша не прервется, — басни господина Яковлева и Дельвига, песни господина Пушкина всегда пребудут в моей памяти. Уважая ваши занятия, поручаю себя вашему благоволению.

Иконников поставил себе за правило говорить с ними без всякой короткости. Они не были для него юнцами, отроками и проч. Маленького Комовского он обнял и прижал к груди.

— Прости, любезный мой, — сказал он, — дружба наша утвердится разлукою.

Пушкину и Дельвигу он сжал крепко руки, раскланялся чопорно и удалился мерным военным шагом.

Александр видел дружбу, безумие, честность, гордость, нищету, — он никогда не видел ранее такого *бедного человека.*

9

Мартином были недовольны Дельвиг, Мясоедов и другие. Родители приносили в лицей все неустройство отчего дома: давно уже они никуда не выезжали, и старомодные выходцы из другого мира толпились чванно, с некоторою робостью, по праздничным дням в приемном зале. Длинная немецкая шаль госпожи Кюхельбекер волочилась по полу: в Павлово царствование она была, быть может, прилична; родитель Вальховского был беден, как церковная мышь. Немудрено: фамилии давно утратили

первоначальную цель своего существования, либо ее не достигли.

Дед Дельвига, голштинец, как дед Александра, был верен Петру Третьему, и с тех пор фамилия утратила блеск, а состояния не имела; отец Кюхельбекера, ученый немец и поэт, чуть не попал в милость к императору Павлу, который в последние дни своего царствования его приблизил. Он мог стать графом Кюхельбекером, но так и не стал. Отец Вальховского всегда пребывал в средних чинах и бедности. Больших трудов стоило им привести в порядок свои сертуки, шинели, шали. Лицейские все это знали лучше, чем Мартин, стремившийся истребить родительскую власть.

В часы приемов, редких свиданий, со своею кошачьей повадкою, неопределенною улыбкою, иезуит всегда оказывался в приемной зале. Он не вступал в разговоры, но слушал все, что говорилось, и не скрывал этого. Иногда, когда матери слишком долго обнимали сыновей, он бледно улыбался. Как бы деля с родителями и матерями родительскую власть, он обнимал воспитанника, уводя его от отца или матери. Он с добродушием говорил о родителях, родительницах и даже давал им шутливые прозвища, показывая, что и он не вовсе чужой.

— Однако какой он у вас... брамарбас, — сказал он, умильно улыбаясь, Мясоедову о его мешковатом родителе.

Мясоедов после этого стал говорить, что стоит папеньке захотеть, и от лицея мокрого места не останется. Простой и глупый, он был упрям. Он то и дело громко ворчал под нос бранные слова, и все знали, что Мясоедов говорит об инспекторе. Малиновский его стал останавливать.

— Да, ты не хочешь слушать, — сказал плаксиво Мясоедов, — а знаешь, как он твоего отца обзывает?

— А как? — спросил пораженный Малиновский.

— Да так, — ответил Мясоедов.

— Как? — наседал на него дюжий Малиновский.

— А вот так, — отвечал несколько перетрусивший Мясоедов.

И он сказал Малиновскому, что инспектор надеется «поддеть» директора и «ссадить», а самому сесть на его место. И что он слышал, как Мартин ругал директора брату своему Илье:

— Он-де, директор, такой — он слаб, он баба, — будто бы сказал инспектор Мартин, — где ему.

Малиновский сжал кулаки, и Мясоедов зажмурился.

— Добро ему, — сказал Малиновский, и слезы показались у него на глазах.

Кой-кому и здесь повезло.

К Горчакову, например, мать не ездила, затем что была почти всегда за границей, где лечила младшего сына. Дяденька, покровитель, писывал племяннику. Письма его писаны были черно и кругло — почерк воина, как говорил Калинич. Тетушка писала по-французски. Горчаков писал письма засветло и жаловался тетушке, что его бедные глаза слипаются.

— Тетушке на папильотки, — говорил он об этих письмах.

— Матушка недовольна Веною, — говорил он, — дует теплый ветер, она простужена.

Ему ничего не стоило получить письмо из Вены, Бадена, Парижа. Мартин не спрашивал его о родителях и этим выказывал некоторое уважение.

— Дяденька Пещуров, — говаривал Горчаков с улыбкой Пушкину, — пишет, чтобы я присылал лицейские стихи, собираюсь послать, да все не соберусь. Нет ли нового? У меня есть эпиграмма на трех депутатов, — уморительна.

Мартин щадил и Бакунина.

К Бакунину являлись мать с сестрою. Все заглядывали в приемную и, несмотря на запрещение, часто пробегали мимо. Бакунин останавливал их и представлял. Сестра была стройна, большеглазая. Мать же была дородна и болтлива. Она была известная придворная сплетница, и прибытие ее означало, что двор переехал в Царское Село. Пилецкий не был недоволен, когда они заходили. Он задерживал пробегающих и с удивлением спрашивал их, зачем они здесь. Лицо его оживлялось. Может быть, он готовился искоренять грехи, а быть может, молоденькая Бакунина ему нравилась. По крайней мере, Пушкин и Дельвиг именно так полагали.

Однажды, задержав таким образом Пушкина, иезуит его спросил:

— А наш поэт, скоро ли опять пожалует?

Александр побледнел. Дядюшка Василий Львович после открытия лицея с ним не виделся. Иезуит говорил

не о нем, а о Сергее Львовиче. Он прозвал его сейчас поэтом, как месяц назад отца Мясоедова — брамарбасом.

Александр посмотрел на Пилецкого, и ноздри его задрожали. Лицо его вдруг пожелтело и стало безобразно. Ни слова не сказав, он скрипнул зубами, повернулся на каблуках и пошел прочь.

— Ого, — сказал ему вслед Пилецкий.

10

Пилецкий знал трудную науку физиогномики. Его нельзя было обмануть. Неподвижные лица и уклончивые взгляды, которые он стал встречать, бездушные и краткие ответы не показывали откровенности. Вообще поведение их изменилось. Спасительный страх исчез. Родители жаловались в своих письмах, что сыновья не пишут; видно, письма задерживались на почте. Пушкин, который почти не писал писем домой, которому приходилось даже об этом напоминать, громко утверждал, что инспектор берет их письма из ящика и читает, оттого и теряются. Пилецкий как духовный отец действительно предложил своим любимцам проверять их письма, более со стороны грамматической отделки, — но это касалось только заслуживших его доверенность, и они делали это вполне добровольно. Илья Пилецкий донес брату, что Пушкин дважды громким голосом изобличал инспектора. Илья не знал теперь покоя ни днем, ни ночью. Что-то в лицее готовилось. Они собирались теперь кучками то в зале, то в коридоре, спорили о чем-то. Завидев Илью, тотчас расходились. Корф и Ломоносов, усердные как всегда, не скрыли, что на инспектора пишутся куплеты и какое-то прошение. Однажды, когда Илья исполнял свою обязанность воспитателя — подслушивал за дверью, он был застигнут Пушкиным, Дельвигом и Малиновским.

Они стали подходить к нему с видом недобрым. Малиновский даже как бы стал засучивать для чего-то рукава; Дельвиг спросил его со всегдашним притворным спокойствием, которое не внушало доверия, что гувернер от них хочет, — может быть, ему что-нибудь здесь нужно. Илья был человек простосердечный. Увидя недобрый вид воспитанников, он переспросил:

— Чаво-сь?

И поразился: гнева как не бывало. Пушкин смеялся с добродушием, Дельвиг тихонько. Приободрясь, Илья в свою очередь спросил, не нужно ли каких пособиев, и он мигом все доставит.

Пособия были не нужны, и все спокойно разошлись. Оставшись один, Илья Пилецкий тихонько прошептал, глядя им вслед:

— Разбойники.

Пушкин, когда сердился, говорил Илья, более всех напоминал ему разбойника. И он тотчас пошел докладывать брату.

11

Корф был благопристоен и избегал скандалистов. Услышав от кого-то, будто инспектор назвал его родителя бычком, он запыхтел, долго не решался что-либо предпринять и наконец, проливая слезы, отправился к Пилецкому. Инспектор успокоил его и удостоверил, что ничего грубого не было сказано. Вместе он узнал, кто главные виновники и зачинщики. Горчаков ни во что не входил, всего касался слегка, и страсти охлаждались при виде его невинных глаз, поднятых беспечно бровей, зевающего рта. Глаза были серые, холодные, как льдинки. Ломоносов подражал Горчакову. Они стремились во всем — и в выговоре и в походке — быть людьми светскими, они, видимо, знали свет и его правила: беспечность, отсутствие неприличной горячности и равнодушие. Горчаков пожимал плечами. Ломоносов также пожимал плечами.

— Инспектор есть инспектор, — говорил Горчаков уверенно. Он полагал, что это mot, словцо, наподобие дворцового: как будто было сказано много, а если угодно, этим ничего не было сказано. Они держались в стороне и делали вид, что ничего не знают.

Александра удивляли не они, а хладнокровие старого друга Пущина, спокойствие Вальховского, осторожность Илличевского. Пущин морщил брови, когда при нем ругали инспектора; он с неудовольствием слушал Александра; Вальховский и Матюшкин трудились, как всегда; они не любили Пилецкого, избегая его, как и Александр, вовсе не добивались его расположения, а Пущин назвал

однажды Ломоносова доносчиком. Но они были добродетельны, а он шалун. Они были мудрецы, он безумец. Их тихие взгляды, умеренные речи выводили его из себя. Он был оскорблен жестоко. Они слушались во всем директора Малиновского, может быть он втайне руководил их спокойствием, желая избегнуть шума, беспорядков? Ему было все равно. Совершенно были с ним согласны только Дельвиг, слушавший его с удовольствием и ненавидевший Пилецкого не меньше Александра, глупец Мясоедов да дюжий Малиновский. Броглио и Данзас, последние ученики, были готовы на все.

Пилецкий, все время скользивший теперь по лицею, со всеми затевавший беседы, обходил их, избегал. Александр видел, как Мартин долго беседовал с Вальховским и Пущиным, увещевал их и как они расстались друзьями. Он слышал последнее напутственное слово иезуита Вальховскому:

— Ваше доброе имя тому порукой.

За обедом он спросил его громко и с насмешкой, не таясь, так что слышали не только товарищи, но и гувернер Илья:

— Ты боишься за свое доброе имя?

Вальховский грустно посмотрел на него и ничего не ответил. Эту привычку он усвоил в последнее время. Друг его Малиновский не слушал более его советов и предался всецело на сторону Пушкина.

— Мартин тебя увещевает, — сказал Пушкин, усмехаясь, — ну, а мы — шалуны, мы над его увещеванием смеемся!

Броглио и Данзас фыркнули, подтверждая.

Казалось, ему доставляло теперь наслаждение задирать благоразумных. Ему было приятно, что Пилецкий, как чумы, избегал его, — до времени, как все знали. Он толкнул однажды глупца Мясоедова, своего теперешнего единомышленника, тот разозлился и полез драться. Он толкнул его еще раз. Пущин стоял тут же, он толкнул Пущина. Пущин весь залился краской, но ничего не ответил — из благоразумия или гордости. Александр сказал Мясоедову и своему старому другу, задирая:

— Будете жаловаться, сами останетесь виноваты. А я вывернуться умею.

12

Мартин, обычно не обращавший внимания на свою одежду и презиравший суетную светскость, явился одетый во все новое, тугие воротники блистали, чуть заметный орденок был на его груди. Дядька Фома поклонился ему в пояс, как хозяину. Мартин был тих и кроток весь этот день и долго беседовал с отроками ровным голосом. Сначала он обратился к Корфу, к Ломоносову, к тихому Есакову, — он знал их кротость, знал, что их бранят льстецами и хуже, но господь более их страдал и им приказал. Далее обратился он к Вальховскому, Илличевскому, Пущину. Он сказал им, что твердость их ему известна и будет вознаграждена. Кюхельбекера он не стал отрывать от занятий — трудолюбец сидел и переписывал длинную поэму Шапелена.

К Пушкину, Малиновскому, Броглио и Данзасу Мартин не обратился, а прошел мимо, смотря вперед ясным взором, как если бы перед ним было пустое место.

Тотчас же прошел слух, что Пилецкий едет к министру Разумовскому, что Малиновского вскоре сменят, а директором будет назначен Мартин. Любимцы имели вид скромный, довольный: беспокойные воспитанники были посрамлены. Тотчас беспокойные гурьбою пошли к директору Малиновскому и сообща принесли жалобу на инспектора Пилецкого.

13

Начав с самой хлопотливой деятельности, всюду появляясь и во все входя, Малиновский очень быстро погас. Помня блестящее начало и свои беседы со Сперанским, он пытался хоть в самом бледном виде поддерживать первоначальное начертание лицея.

С самого начала он натолкнулся на трудности, им не предвиденные: ненависть высшего начальства. Захотев к концу первого года отличить успешных, он придумал для них награды: написание имен золотом на белой доске. Белая доска была выставлена в зале, имена Горчакова и Вальховского были на ней вычеканены, приглашая всех прочих дополнить список. Это было полезно. Министр Разумовский в особом указе приказал доску уничто-

жить и от преждевременнх наград воздержаться. Министр стал вникать во все относящееся до лицея, и постепенно почти все профессора стали обходить опального директора, стараясь лично рапортовать министру. Падение Сперанского решило все. Малиновский тенью ходил по лицею, и все кругом, за исключением дядек, стали к нему относиться как к тени. Эконом Золотарев крал столь безбожно, что ропот воспитанников перешел все меры. Гауеншилд, профессор немецкого языка, не скрываясь, таскался к министру для личных докладов. Он не имел пока успеха, но постепенно все почти, исключая Будри и Куницына, стали открыто мечтать о занятии директорского места: у Кошанского проснулось служебное честолюбие, он представлялся министру; Пилецкий, видимо, рассчитывал стать директором очень скоро и делал все, что хотел.

Самый лицей был в опале: нечего было и думать о том назначении, к которому хотел готовить воспитанников Малиновский. Осталась одна опора: старец Самборский не вовсе потерял свое значение при дворе. И лицей все оставили до времени. Было не до него.

Сперанский пал, война готовилась. Деятельность его прекратилась, не успев начаться. Занятия в лицее шли, но цель была потеряна. Запираясь дома, директор все чаще стал предаваться тайной слабости, которую преследовал ранее так сильно как одну из причин российского бедствия, — одинокому и мирному, но безнадежному пьянству. Он редко заходил теперь в свой кабинет, где в полном порядке стояли книги; в бюро были заперты бумаги, в папках и под нумерами. Порядок он соблюдал теперь в другом: самая слабость его была размеренна. Он с редкой точностью соразмерял количество вина в стакане, выпивал положенное количество, а оставшееся сливал в бутыль. Порядок, к которому он стремился всю жизнь, о котором писал с юношеских лет, он ныне нашел в падении.

В движениях его появилась осторожность и медленность тайных пьяниц. Он приобрел спокойствие, которого раньше не имел. Из профессоров только двое бывали у него, как прежде: Куницын и Будри. Куницын был молод, остер, пылок, исполнен еще надежд. Директор его стыдился. Внимая молодому профессору, он теперь во всем с ним соглашался, не слушая, хотя ранее со многим бы

спорил. Собственная молодость вспоминалась ему. Будри был недоволен директором, часто морщил брови и однажды напрямик сказал ему, что слабость есть порок не меньший, чем зло, но более опасный. Малиновский любил его слушать. Это был голос добродетели, которому он не всегда уже мог следовать. Но, утратя хлопотливость и успокоившись, видимо угасая, Малиновский приобрел доверенность воспитанников. Сын Иван часто приходил с Вальховским, и Вальховский стал у него вполне домашним человеком, как бы вторым сыном. Приходил и глуховатый, не без странностей Кюхельбекер, тихий Матюшкин, трудолюбец; Пущин был с умом живым, хоть шалун. Но иногда директору вдруг надоедало Царское Село с его статуями и природою, сделанною руками художников. Было у него вдалеке, на Донце, имение, женино приданое, в семи верстах от Изюма, — Каменка. Он в нем почти не бывал, занятый делами важными. А с него было довольно хаты, хатинки, да огорода, да двух-трех тополов в Каменке: он занялся бы там земледелием и просвещал бы соседей, невежественных и бедных. Но он отлично понимал, что исполнение этой его мечты было бы для него новым искусом. Село было ранее, до того как попало к Самборскому, выморочным, а еще раньше туда ссылали в наказание буйных крестьян. И все же иногда просвещение их казалось ему легче, чем воспитание отроков в Царском Селе; общий дух не создавался: сношения с министром, которого он ненавидел, становились тягостны. Подвиг просвещения преступника был, к тому же, знаком ему по дому трудолюбия.

Старец Самборский, покровитель сосланного Сперанского, тесть директора, навещал его. Ум его был ясен, как прежде; положение его не пошатнулось при дворе и после опалы и ссылки мощного его питомца. Старец все еще говорил о полезной сельской деятельности и настоятельно советовал Малиновскому испробовать в его Каменке сельский плуг, который выписал из Англии. Защитник сохи, московский главнокомандующий Ростопчин, выступавший в печати противу английского плуга, вызывал сильное негодование старца. После крушения Сперанского — сельская деятельность, по мысли его, была единственное место для человека полезного. Все другое снова стало шатко и переменчиво, как во времена Павла.

Однажды старец мирно заснул у своего друга, прикорнув в громадном английском кресле. Тогда Малиновский, слушавший его со вниманием, тихо встал, бесшумно достал из шкафа бутыль, налил немного вина, точно отмерил и, косясь на спящего старца, быстро вздохнув, выпил до дна, опрокинув стакан одним движением. Старец ничего не слышал, не проснулся.

Вдруг директор испугался своего падения. Он посмотрел на спящего старца, не знающего о слабости его, с раскаянием. Вся его прошлая безупречная жизнь и будущий подвиг были отменены одною подписью на полицейском приказе, сгубившей Сперанского. Все осталось, как прежде. Русский человек без достоинства. Царь, возбудивший такие надежды вначале, не желал расставаться со старою властью царей русских: ссылать в Сибирь и сечь, рубить и вешать равно и правого и виноватого, — продолжалась великая обида россиянам: народ от пьянства погибал. Вот однажды, напившись, возмятется народ и разрушит насильственные узы рабства! Все, как прежде, и к старым обидам прибавляются новые. Помина нет о том, чтобы созывать депутатов, — и он воспитывал детей тщетно.

Война приближалась, неистовая. Восемь лет назад он написал проект вечного мира.

Самборский проснулся.

— Бонапарт оседлал неукротимого коня, — сказал ему медленно Малиновский, смотря на него воспаленными глазами. — Восплачут сыны России, разлучаемы с матерьми и женами, — сотни тысяч рекрут! Не забуди звания убогих твоих!

И он рухнул на колени, всплеснул руками и заплакал. Все английское вдруг в нем исчезло.

14

Впав в слабость, он еще более полюбил добродетель. Но во дворце, в зданиях министерства, на улицах Петербурга она была, видимо, невозможна. Добродетель была свойство сельское и частное, — вот как он понимал ее теперь. Избави бог от страстей — все, что мирно, то и добро. Новую поэзию он пробовал было читать и бросил в негодовании — все это были страсти. Он ненавидел

большой свет: россиянки забыли старорусские спокойные и чинные одежды, стали одеваться с образца статуй — и, кроме обнажения шеи, платье теперь так тонко, что все части видны в своей фигуре. Дунет ветер, — и нет стыдливости. Светские мужчины — нынче сами как нагие: короткий узенький хвостик у кафтана, все тело в штанах, на груди жабо, и сам подобен жабе или, вернее, угрю. Один такой короткохвостый пиит был на открытии лицея: Пушкин, дядя одного из воспитанников. Ветер в голове; ветер развевал хвосты фрака. К женщинам взывали, как к божеству. В соседней комнате лежала его бедная жена. Какое заблуждение! Женщины — те же дети: нагрешат, а к вечеру каются. Он любил философические оды Державина, без излишней нежности, модных вздохов и без этих любовных крайностей.

Вздев очки, он часто читал их.

Всюду кругом были страсти: рядом, во дворце, брошенная мужем и неверная ему императрица, вероломный император, в самом лицее — сколько страстей. Братья Пилецкие день и ночь старались извести его. Кошанский пил горькую. Только и было двое порядочных людей — Куницын и брат Марата.

Ему стало известно, что иезуит был у министра с доносом. Он побледнел, хрустнул пальцами и ничего не сказал.

Пилецкий посетил его. Директор боялся Пилецкого, его бледная улыбка, горящий взгляд, гибкие движения вселяли страх, и он терялся. Будучи непоколебим и горд в решениях, принятых наедине с собою, он слабел перед иезуитом и многое ему позволял неожиданно для самого себя. Мартин вел себя в кабинете директора без всякой робости и даже с заметным высокомерием; он осматривался кругом как человек, который вскоре займет это место.

Пилецкий требовал мер решительных. Нравы среди воспитанников учреждаются опасные. Если не удалить отчаянных — всем грозит зараза. Разврат явен. Данзас — отчаянный, Броглио — безрассудный, Пушкин — развратный. Исключение этих трех воспитанников принесло бы большую пользу.

Малиновский спросил о происшествиях. Происшествия были дурные. Один крикнул кроткому Есакову только за

то, что тот, не игравши, поднял чужой мяч в зале: «Я тебе рожу разобью!»

— Это грубость, — сказал Малиновский и поморщился, — а еще что?

— Еще, — сказал инспектор, — в классе Гауеншилда все знали урок, за исключением Малиновского.

— Следовало бы меня тотчас уведомить, — сказал, нахмурясь, директор Малиновский. И он и Пилецкий были нелицеприятны.

Пилецкий успокоился. Голос его стал тише, движения вежливее: директор оказывал сопротивление. Он заметно смягчил аттестации: Броглио — шалун, Данзас и Дельвиг ленивы. Шалости их вообще непристойны. Пушкин предан страсти всех осмеивать, но сметлив и словоохотлив, иногда выказывает и добродушие.

— За что же выключать их из лицея, — спросил директор, — не лучше ль их вразумить?

На исключении двух первых Пилецкий и не настаивал, хотя и Броглио и Данзас были не только шалуны, но и весьма туги на приятие наук: ничего из курса не знают и подают мало надежды. Пушкина же следует выключить немедля. Он противоборствует и озлился.

— Сочиняются насмешливые стихи на всех профессоров, и Пушкин приемлет в сочинении сих пакостей важную роль.

— Не единственную, — сказал, вздохнув, директор.

Они помолчали. Потом иезуит посмотрел на директора с каким-то сожалением и нехотя, тихо сказал:

— Пушкин должен быть выключен из списков за безверие.

Малиновский вдруг побледнел. С тихим удовольствием смотрел Мартин на директора.

Пилецкий сказал так же тихо, что преданный страсти сочинительства отрок знает наизусть все безбожные и бесстыдные стихотворения осьмнадцатого столетия, и заставить его забыть их невозможно. Бездна, которая открыта перед острым, самонадеянным, вспыльчивым до гнева отроком, не ясна даже ему самому. Разговоры ни к чему не ведут, ибо, как он заметил, все крайности, в том числе и совершенное бесстыдство и безверие, доставляют ему видимое наслаждение, и по этому самому он неисправим. Все это, а в особенности безверие —

заразительно, и воспитанник Дельвиг подозрителен, хотя леность его делает гораздо менее опасным.

Малиновский бледнел все больше. Он не сомневался более, что иезуит прав. Пилецкий принес записи гувернеров о воспитанниках. Он предупредил директора, что попытки исправления вызвали в последние дни большое озлобление; повторив, что меры нужны скорые, оставил записи и ушел.

Директор прочел со вниманием записи гувернера Ильи, удивился количеству ошибок противу правописания, некоторые машинально подчеркнул, как в упражнении, и призадумался. Поглядел в окно, выходившее на балкон, и сквозь редкий сад увидел: Чириков вел воспитанников на прогулку. Все были разные, с различною походкою, шли занятые своими мыслями, разговорами. Пушкин, которого Пилецкий почитал кромешником, был мал и проворен. Семья, из которой он происходил, точно славилась беспутством и каким-то пересмешничеством. Он был весел — видно, вольный воздух действовал на них благотворно и располагал к веселости. Директор всегда полагал, что воздух Царского Села целителен. Вдруг Пушкин засмеялся и указал на что-то идущему рядом Пущину. Директор вгляделся, куда указывал Пушкин, и ничего не разглядел. Улыбка его была добродушна, взгляд открыт. Директор Малиновский усмехнулся. Кюхельбекер шел, подпрыгивая, дергая головой и болтая руками.

— Вишь какой, — сказал директор с удивлением, точно в первый раз его увидел. Он смотрел на них, как курица на утят, которых вывела: с тревогой.

И он запер записи Мартинова брата в шкаф, где стояла пустая бутыль.

15

Когда Пушкин и другие пришли к нему в необычный час и со всею горячностью стали требовать удаления инспектора, Малиновский выслушал их жалобы, казалось, не без удовольствия. Он смотрел на сына своего, бывшего в числе депутатов: Иван вырос. Он держал себя перед отцом без всякой короткости, как и все остальные. Малиновскому было это приятно.

Он медленно объяснил, что удалять, как и назначать, дело министра, а никак не воспитанников; при этом усмехнулся и вдруг хладнокровно заметил, что все это не что иное, как открытое непослушание, за которое министр не похвалит. Что посему — не противоборствуя своим начальникам — следует им вернуться в классы и заняться науками. В остальном он надеется на добронравие и хода делу не даст никакого ни об их непослушании, ни, тем паче, об удалении инспектора, как о деле несбыточном.

— Идите, — добавил он задумчиво, — с миром.

И вдруг, широко улыбнувшись, он сказал два русских стиха, неизвестно к кому относящихся:

Не хвались, на пир едучи,
Хвались, с пира едучи.

Малиновский любил старые песни и поговорки, но относились ли эти два стиха к лицейским, восставшим противу инспектора, или к самому инспектору, было не ясно никому.

С этого дня слабость директора кончилась. Он опять стал являться в лицее — с утра, застегнутый на все пуговицы, с прямою походкою, которую вывез из Англии. За время болезни он ссохся и пожелтел, как тяжело больной.

16

Все было по-прежнему. Малиновский ничего не предпринимал, Пилецкий тоже. После посещения министра он стал реже появляться среди воспитанников.

Каждый вечер беспокойные собирались теперь вместе.

В лицее стали распевать песни, куплеты — следствие тайного сочинительства.

Наконец в классе профессора Гауеншилда после лекции гувернеру удалось обнаружить сочинение: оно было у Дельвига, который с обычным своим спокойным видом даже не спрятал его от гувернера.

Дельвиг давно был на замечании; его спокойствие было плутовское и вовсе не доказывало хороших намерений. Благонравие его было чрезмерно и похоже на насмешку. Так, он вовсе не готовил уроков, но охотно

являлся к профессорам перед праздничным днем, изъявляя готовность добровольно повторить или выучить что-либо, заслуживал поощрение и ничего не делал.

Однако завладеть сочинением гувернеру не удалось: потребовав его у Дельвига после лекции, он получил прямой отказ, а попытавшись, невзирая на это, ухватить сочинение рукою, ощутил толчок со стороны.

Мартинов брат уверял, что пнул его Пушкин, который тут же, с блестящими глазами, раздутыми ноздрями, задыхаясь и с бешеным видом, наскакивал на него, крича:

— Как вы смеете брать наши бумаги?

Гувернер притворился было непонимающим и спросил:

— Чаво-сь?

Но обычного действия не последовало. Тогда он был вынужден объяснить, что берет только для проверки, а после отдаст. Но тут Пушкин закричал на него:

— Значит, и письма наши из ящика будете брать?

Что поразило гувернера более всего, это то, что Вальховский, до тех пор тихий, благоразумный и во всем исправный, весьма отчетливо подговаривал робких не отставать и изъявлять претензии. На лице его было мнимое равнодушие, но твердость характера, конечно, поколебалась.

Он говорил тихонько, но внятно:

— Не робейте, не сдавайтесь,

Поведение воспитанника Кюхельбекера было самое странное. Всю неделю, когда воспитанники собирались по вечерам для сочинения насмешек, Кюхельбекер вел себя более чем пристойно: он не любил насмешливой лицейской литературы, потому что большая часть ее относилась теперь прямо к нему, и не принимал поэтому в сочинении никакого участия. Более того — всю неделю он с великим усердием переписывал громадную поэму Шапелена об Иоанне д'Арк — хотя и осмеянную, но благонамеренную. Будучи глуховат, он не принимал особого участия в перешептываниях, а во время лекций был погружен в обычную свою задумчивость. К концу недели гувернер заметил в его поведении некоторые колебания. В особенности возмутила Кюхельбекера мысль, что инспектор Мартин Степанович читает его письма, и Мартинов брат слышал, как Кюхельбекер употребил при этом негодное выражение.

В день отнятия сочинения он был спокоен и тих. Неожиданно, услышав брань Пушкина и говор многих столпившихся вокруг гувернера Ильи Степановича, Кюхельбекер, размахивая руками, бросился в самую гущу, добираясь до гувернера, стал кричать, требовать немедленного удаления не то гувернера Ильи Степановича, не то самого инспектора Мартина Степановича криками: «Вон его!» — а потом, обернувшись к Корфу и Ломоносову, проходившим мимо, обозвал их подлецами за то, что они не участвуют в общем начинании.

Не ограничиваясь этим, он подталкивал более робких, теснившихся сзади, как бы желая их столкнуть с самим гувернером. Лицо его было в совершенной ярости, он кричал с ожесточением:

— Не уступай!

По всему — он, как и Пушкин, был способен на худшие поступки. Илью напугало более всего именно это внезапное поведение Кюхельбекера. Видя себя стесненным со всех сторон, он более не пытался завладеть сочинением — целью долгих поисков — и вдруг нырнул между Мясоедовым и Дельвигом. Обернувшись, они более его не увидели. Зато спокойный, неподвижный, с бледною улыбкою стоял в двух шагах от них сам иезуит, монах, пастырь душ — инспектор Мартин Пилецкий.

17

Он стоял спокойно, заложив руки за спину, и, когда они от неожиданности попятились, улыбнулся. Он молчал, и они молчали. Они стояли у самого окна в коридоре. Солнце светило; сквозь большое окно видна была прекрасная, деревьями обсаженная царскосельская дорога. Никого в этот час на ней не было. Все место казалось пустыней, ничем не возмущаемой.

Они его ненавидели и были готовы на все. Но его спокойный вид, его рассеянная улыбка показались им странны. Они впервые заметили, как худа его шея с громадным кадыком, как бережно скручен шелковый черный платок. Он посмотрел на них, выжидая, и они наконец осмелели.

Мясоедов забормотал неожиданно громко:

— Что вы родителя моего брамарбасом ругаете — на то я не согласен.

Мартин посмотрел на него с любопытством, как смотрят на животное или насекомое. И этот холодный, как бы нечеловеческий взгляд все решил. Они боялись этого холода и стали дерзки. Робкий Корсаков, приставший к беспокойным, кричал:

— Это из-за вас Иконников вышел, из-за вас его прогнали, — и плакал.

Малиновский, не торопясь и несколько уныло, смотря по сторонам, сказал тихим голосом, что они просят первое, чтоб он ничего не говорил об их родителях, другое, чтоб не читал писем, третье, чтоб вернули в лицей Иконникова.

Пилецкий все ждал.

Тогда Дельвиг, самый спокойный из всех, сказал, что если он на это не согласится, все они тотчас покинут лицей.

А тот все молчал и с тем же любопытством смотрел на непокорных воспитанников, на эту беспорядочную смесь. Здесь были: буян, мнивший себя уже поэтом, — пуговичка на его сертучке болталась; ленивый воспитанник Дельвиг; сын директора, дюжий увалень. Все последствия частого его общения с отцом были налицо, а между тем он вовсе не подлежал изъятию из общего правила и не должен был видеться с родителями чаще других.

Иезуит вдруг улыбнулся. Они ждали его ответа сумрачно. Пушкин исподлобья, волчонком смотрел на него. Глаза его блестели, он видимо побледнел. Длинные руки воспитанника Кюхельбекера болтались.

Мартин молчал в задумчивости. Он смотрел не на них, а на их ноги, на лицейский каменный пол — взглядом чужим и далеким. Быть может, деятельность воспитателя вдруг показалась ему жалкою, и другое поприще мерещилось ему, другая толпа: дрожащая паства, среди которой было много нарядных женщин, в прахе лежащая у ног его.

Пилецкий улыбнулся.

— Оставайтесь, господа, в лицее, — вдруг сказал он и пошел к выходу.

Они слышали, как он спускался по лестнице, молчали и ждали, что произойдет.

Они долго стояли так, пораженные, не понимая, что произошло, и тихо говорили о том, что теперь монах сделает. Потом они посмотрели в окно: по дороге медленно ехала коляска. В ней сидел Мартин со связкою книг. Сомнений не было: монах уезжал; он покинул лицей.

Пушкин вдруг засмеялся, как смеялись Ганнибалы: зубами. Это была его первая победа.

Тотчас он спрятался в своем любимом уединении в библиотеке. Он выглянул в окно: дорога была пуста, Мартина и след простыл. Как ни в чем не бывало, он открыл шкаф, достал «Путешествие юного Анахарсиса», примостился у окна и, грызя ногти, стал читать с той самой страницы, на которой прервал его Мартин.

Еще долго думали лицейские, что все это козни Мартина, что иезуит вдруг вернется. Спорили. Корф, Ломоносов и Юдин были поражены внезапным его поведением. Но он в самом деле исчез, ни с кем из начальства и учеников не простившись, исчез как тень или видение. В памяти у всех осталась широкая дорога и медленно удаляющаяся коляска, на которой, сгорбившись, сидел со связкою книг, смотря вперед невидящим взглядом, иезуит.

18

Впервые он нашел товарищей. Ранее его звали французом, потому что никто, даже Горчаков, не писал и не говорил по-французски, как он. Горчаков иногда мимоходом говорил своим клевретам, что Пушкин говорит не по-французски, а по-парижски, и только раз прибавил без всякой задней мысли: «там на бульварах все так говорят». Еще его звали Обезьяной. Прозвище это, как и многие другие лицейские, первым пустил Миша Яковлев. Сам Миша Яковлев звался Паясом. У него был приятный голос; они с Корсаковым пели на крылосе лицейской церкви, и дьячок Паисий говорил, что он далеко пойдет, если не будет возносить тоны слишком поспешно. Он имел особенное дарование и склонность к музыке. Новые романсы он схватывал на лету, но настоящий талант у него был в искусстве изображения людей; если бы существовало такое искусство, Яковлев был бы в нем со временем первый, несмотря на то, что в Петербурге

давно гремела слава одного гвардейца, умевшего очень похоже представлять молнию во время грозы.

Миша Яковлев угадывал в походке и в незаметных привычках существо человека. На уроках, когда одни занимались разговорами, другие рисовали карикатуры и прочее, он неподвижно, косо посматривал на товарищей, профессора, гувернера, как смотрит художник на натуру, избирая черты для рисунка.

О Пушкине он сказал, что не Пушкин похож на обезьяну, но обезьяна на Пушкина. Так он и изобразил его: одиноко прыгающим по классной комнате, грызущим перья и внезапно, в задумчивости, видящим на кафедре профессора. Заодно он изображал профессора — Кошанского, скрестившего руки на груди и мрачно его озирающего.

В особенности хорошо удавался ему смех Пушкина: внезапный, короткий, обрывистый и до того радостный, что все смеялись.

Теперь, после выгона Пилецкого, Яковлев прозвал его Тигром: может быть, потому, что, когда он сердился, его походка становилась плавная, а шаги растягивались.

У Александра нашлись льстецы. Маленький Комовский, с лисьим личиком, верткий, хитрый и доброжелательный, ранее его горячо осуждавший, теперь оказывал полное внимание и ссужал своими тетрадками, затем что Пушкина тетради были не в порядке. Любил он только Дельвига. Дельвиг был ленивцем, во всем повторявшим древнего Диогена; на уроках созерцал учителя, не слушая, но и не болтая. О чем он думал? Взгляд его был туманный, но вдруг становился озорным: проказы его были замысловаты. Дельвиг писал унылые песни, которые были почти всегда приятны. Он с удовольствием их читал, но, кажется, не придавал важности ни своим песням, ни чему другому.

Малиновский был дюж, рассудителен и смешлив. Яковлев был шут. Кюхельбекер — ученый чудак и безумец. В поэзии его привлекал Шапелен, всеми осмеянный. Матюшкин был добрая душа. Пущин, с ним было поссорившийся, вдруг протянул руку, посмотрел на него ясным взглядом, и Александр его обнял. Остальных он обходил. Вальховский был спартанец, наложивший на себя строгий искус: он был стоик и с трудом научил себя спокойствию; когда с ним ссорились, он бледнел, но го-

лос его был тих. Александр его побаивался. Вальховский был добродетелен; Горчаков был горд и весел, во всем несравним с ним. Корсаков и Ломоносов старались ему подражать. Беловолосый «швед» Стевен, глупец Мясоедов, рыжий Тырков — Тырковиус, дельный Костенский, молчаливый и белесый Гревениц и многие другие его вовсе не занимали, и вряд ли случалось им сказать друг другу два слова. Они для него не существовали, и все они превосходно чувствовали это.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Сергей Львович, привезший поклон от Ивана Ивановича Дмитриева, снова вошел в некоторую близость к Карамзину.

Время становилось тревожнее со дня на день. Сперанский пал, столь дружно ругаемый, внезапно пал, распространив некоторый ужас самою легкостью, стремительностью падения. Московские старички, отчасти из ненависти, отчасти из того упоения, которое ощущали, как лица давно бездейственные, открыто негодовали, почему изменник не был ранее предан казни, а только теперь сослан. Все ждали, что Николай Михайлович Карамзин получит важное назначение. Сергей Львович не без удовольствия видел, что долгожданный час его карьеры пробил: Николай Михайлович, как муж государственный, не забудет людей, его обожающих. Через месяц после падения Сперанского старику Шишкову поручено написать манифест о рекрутском наборе, и он сделан государственным секретарем. Те, которых друзья изящного почитали дикарями и староверами, приободрились. Карьера Сергея Львовича вновь замедлилась. Более того — времена столь круто изменились, что и Сергей Львович и Василий Львович вскоре почувствовали шаткость своего положения. Главнокомандующим Москвы сделан граф Ростопчин. Вскоре после этого открыт заговор мартинистов. С одной стороны, мартинистами давно уже звали Сперанского и всех его друзей; с другой стороны, мартинисты — это были московские

масоны, друзья молодости самого Карамзина. Кроме того, мартинисты и якобинцы были вольнодумцы.

Между тем Сергею Львовичу вдруг как-то показалось, что мартинистами зовут попросту людей, которые привыкли ко всему иностранному. Ничего не понимая, он встревожился и стал ездить к братцу Василью Львовичу. В эти дни братья вновь сблизились. Но и сам Василий Львович был в большом упадке и искал поддержки. Шишков ославил его безбожником, а теперь был на верху славы и значения. Он было дал достойный отпор Шишкову, звал его в суд в послании к одному из друзей. «Мой разум просвещен, — писал он в ответ на обвинения Деда, — и Сены на брегах я пел любезное отечество в стихах», — и ставил свидетелями тому Сен-Пьера, Делиля, Фонтана, которые были там с ним знакомы и могли при случае подтвердить, что он гордился русским быть и русский был прямой.

Но свидетели, что ни говори, были в Париже, а Шишков в Петербурге и теперь государственный секретарь.

Василий Львович покорился.

Все обстоятельства, на которых он основывал свою славу: парижское путешествие, удостоившееся стихов самого Дмитриева, дружба с милою m-me Рекамье, свидание с самим — легко сказать! — Наполеоном, наконец тонкий вкус и некоторое вольномыслие, легкая поэзия, — все вдруг стало не только неинтересным, но и прямо подозрительным. Он сурово отклонил при случае честь, которую воздавали ему как певцу «Опасного соседа», и даже выразил предположение, что эта поэма принадлежит покойному Баркову. Когда изумленный собеседник сказал, что Барков умер полвека назад, а в «Опасном соседе» осмеивается Шишков, Василий Львович с досадою возразил:

— Вовсе не Шишков, а Шаховский, — но, впрочем, остался при своем мнении.

Он отрицал при случае как нелепую басню, кем-то пущенную, слух, что он некогда представлялся Наполеону, когда тот был первым консулом, хотя ранее любил об этом рассказывать.

— Стал бы я ему представляться, — говорил он с видимым презрением.

Он нашел вынужденным умалчивать также о давнем гастрономическом влечении, и однажды, когда в дво-

рянском собрании один приятель по привычке обратился к нему как к знатоку французской кухни, Василий Львович раскричался. Он заявил, что решительно не любит ни одного блюда французской кухни и что всему предпочитает гречневую кашу. В сущности это была чистая правда, но для того, чтобы Василий Львович в ней сознался, должна была приблизиться война. Василий Львович весь день разъезжал теперь по городу и разузнавал самые верные вести. Он ничего не понимал в начинающейся войне. Слухи тяготили его. Впрочем, он со страстью толковал о новых передвижениях, читал дома вслух реляции, а о мартинистах утверждал, что всегда был против умствователей, что одно дело логика, а совсем другое — заблуждение. Он появлялся везде, был бодр, ругал французов, но как-то раз вернулся домой потерянный, туманно посмотрел на Аннушку и признался в смертельной тоске.

— И чего им, проклятым, дома не сидится? — сказал он о французах, и добрая Аннушка заплакала.

Слава его, так внезапно разгоревшаяся, столь же внезапно, разом померкла, оборвалась. Он был в упадке.

Братья часто теперь ездили к Карамзину, но иногда им казалось, что ими тяготятся.

2

Карамзин в самом деле тяготился старыми друзьями. Наставали страшные времена, и он с некоторым ужасом и удивлением смотрел на суету друзей изящного, своих поклонников. Казалось, живя со дня на день, они вовсе не понимали смысла и значения событий наступающих. Он давно уже к ним приглядывался. Они казались ему безнадежно погрязшими в мелочах, и, к удивлению своему, он все более раздражался от того, что еще пять лет назад вызывало его умиление: самая тонкость их претила ему, чувствительность казалась ребячеством. Он с беспокойством угадывал насмешки староверов при каждом изящном жесте Сергея Львовича и при чтении счастливых стихов Василья Львовича. Попытки Василья Львовича настроить на важный лад свою лиру были большею частью смехотворны: он слыл и был признанным главою верхолетов, шаркунов. Раздражало

несколько и его легкомыслие в важных вопросах религии и морали. Он был непочетник и, весьма возможно, безбожник, — кто знает, Шишков, чего доброго, был прав. Теперь, когда ярый враг дворянства, личный враг историка, попович Сперанский изгнан, — все ожидали важного назначения Карамзина. Братья Пушкины даже ездили поздравлять Николая Михайловича, и так неловко, что чуть ли не накануне важного назначения, которым был удостоен общий их литературный неприятель — Шишков.

Так чувство некоторой горечи тяготило Карамзина: он одерживал победы, плодом которых пользовались другие. Вновь назначенный московским главнокомандующим Ростопчин был некогда его приятель, но со всех сторон идущие слухи о раскрытом заговоре мартинистов, под которыми разумели не только приверженцев Сперанского, но и вообще философов московских — старых учителей и друзей Карамзина, ставили историка в положение двойственное. Все менялось, а он, описатель перемен истории, стоял в стороне.

Он хорошо знал, что литературные староверы, с которыми он столь мирно воевал и которые сейчас все вдруг заняли места государственные, пишут на него доносы, в которых утверждают, что все его сочинения исполнены вольнодумческого и якобинского яда, что сам он метит в Сийесы или первые консулы, — увы, все это он сам мыслил и говорил о Сперанском, — что он безбожник, чтитель Вольтера и Руссо и что надобно его истребить. Правда, его пока оставляли в покое. Но Василья Львовича, например, все стали решительно сторониться и перестали принимать.

Карамзин не знал, как избавиться от легковерных и жаждущих наставления друзей, среди которых были всегда братья Пушкины. Они особенно были легковерны и трепетали более всех. Вместе с тем, его поражала одна черта, общая обоим братьям: предаваясь трепету и будучи донельзя чувствительными и пугливыми ко всем событиям, или, как говорили, «сенсибельными», Пушкины через две минуты вполне осваивались с положением и, как бы оно несчастно или величественно ни было, могли тут же вспомнить анекдот или заспорить с пеною у рта о сравнительных достоинствах двух известных

танцовщиц: худой и толстой. Эта жизненность обоих братьев была загадкою для нравоописателя.

Как только начались события, у Сергея Львовича внезапно появился азарт и некоторое упоение военными опасностями. Он читал все реляции вслух, громко, понижая голос лишь на фамилиях отличившихся и негодуя на Палашку, мешавшую ему скрипом двери, как негодовал, когда прерывали его чтение Мольера.

Он теперь носился весь день по Москве и пугал притихшую Надежду Осиповну выкриками:

— Негодник отступает!

Причем Надежде Осиповне сперва неясно было, о ком говорит Сергей Львович: о Наполеоне или Барклае, которого он, как и многие, сильно порицал за тактику отступления.

Однажды он прибежал домой, задыхаясь, и, подозрительно посмотрев на Никиту и горничную девушку, отослал их; потом он посмотрел на Надежду Осиповну и сделал ей знак приблизиться; Надежда Осиповна, не терпевшая преувеличения и жестов, однако же приблизилась.

— Ни Никишке, ни Аришке не доверять rien de rien,[1] — сказал ей значительно Сергей Львович, — дворовые — первые наши злодеи.

Это была важная новость: надлежало стеречься всех дворовых, как врагов. Надежда Осиповна вспомнила некоторые несправедливости, еще недавно учиненные ею в девичьей, и побледнела. Далее Сергей Львович, бегая по комнате, изложил ей свой план действий. Неизвестно, куда двинутся враги — на Петербург или на Москву; если на Петербург — следует ждать; если же на Москву — следует немедля укладываться. В квартире был, однако, такой беспорядок, столько густой, старой пыли лежало на полках, у Надежды Осиповны было столько разной мелочи — флакончиков, шкатулок, что тут же стало ясно: укладываться на всякий случай, без крайней нужды, нельзя. Надежда Осиповна никак не хотела расстаться со своим большим зеркалом. Сергей Львович изменил решение: ничего не вывозить, а в случае опасности самим выехать, оставив все

[1] Абсолютно ничего *(франц.)*.

имущество под присмотром тех же злодеев. Он успокоился, настолько это было покойнее и легче.

— Детей отослать, — сказал он вдруг отчаянным шепотом, вспомнив внезапно о детях.

— Куда? — таким же шепотом спросила Надежда Осиповна.

Оказалось: детей отсылать некуда.

Сергей Львович возмутился:

— Ах, не знаю, душа моя, — сказал он, — все отсылают детей. Может быть, в Михайловское? Туда ворон не долетит.

— Я с Левушкой не расстанусь, — сказала глухо Надежда Осиповна.

Отсылать же одну Оленьку не имело смысла и было слишком хлопотно.

Сергей Львович вдруг утомился от этих хлопот. Ничего не было на свете более громоздкого и нескладного, чем семья в опасное время, все эти сборы, отъезды.

— Авось, подождем, друг мой, — сказал он довольно спокойно Надежде Осиповне, — может, они еще на Петербург пойдут. Я сегодня обещался быть у Николая Михайловича и все узнаю. Но заклинаю: при этой разине Аришке и при этом Никите ни слова, pas un mot.[1] Никита мне очень подозрителен. Вид у него за последнюю неделю самый двусмысленный. Не нужно отсылать их из дому. Они на улицах толкутся со всею этой сволочью, toute cette canaille, и заражаются. До того дошло, что сам Ростопчин, — сказал он и поднял палец, — составляет афишки для успокоения и направления tous ces Nikichka, Palachka![2] Никита, одеваться!

Он поехал к Карамзину.

О том, что будет, если враг пойдет к Петербургу, — они не говорили. Петербург был далеко. О Сашке они на этот раз не вспомнили. Там был Александр Иванович Тургенев — и бог мой! Он был, наконец, во дворце, в самом дворце, и мог разделить судьбу только с его обитателями; впрочем, он был и не один — с кучею ровесников, воспитателей, всех этих lycéens, гувернеров, дядек.

---

[1] Ни одного слова *(франц.)*.

[2] Всех этих Никишек, Палашек *(франц.)*.

3

Их водили гулять трижды на дню, как всегда. Снег, который выпал в день открытия лицея, когда они играли вечером в снежки, еще не стаял. Быстрая Наташа, горничная старой мегеры Волконской, часто попадалась им по дороге: она шла, как всегда, опустив глаза. Она была черноглазая, широколицая. Случалось, они дрались; за шалости на лекциях Будри, строгий старик, ставил их подле себя. За грубость или незнание математики оставляли их без чаю, или сажали за черный стол, или одевали на несколько часов в старое платье.

Они всего полгода были в лицее, — еще снег не стаял. Но родительский дом был оставлен навсегда: они жили во дворце и знали обо всем ранее и точнее, чем их родители, а главное, ранее чувствовали эту тревогу, которая, они знали, была знаком важных перемен.

Однажды ночью Александр услышал звонкий топот копыт. Этот одинокий топот внезапно раздался, пронесся и смолк. Может быть, проскакал фельдъегерь. Если бы они вернулись в свои дома, многих родители не узнали бы, родительская власть, о коей толковал законовед Корф, нечувствительно поколебалась.

4

Был март месяц, когда, сидя на лекции у Будри, они услышали слабые звуки далекой трубы; они сначала не поняли, что это такое. Но Будри вдруг задумался. В своем парике, нахохлившись, он сидел, не смотря на них, угрюмо сжав тонкие, упрямые губы, и слушал. В это время Яковлев пересказывал ему отрывок из «Маленького Грандиссона»; Будри заставлял учить наизусть тех, кто не знал французского языка до поступления в лицей... Яковлев давно уже кончил, а Будри все сидел и прислушивался. Наконец он очнулся, кивнул Яковлеву и сказал — не то о «Грандиссоне», не то о чем-то другом:

— Итак, это кончено.

Назавтра во время прогулки они, не слушая возражений Чирикова, свернули на большую дорогу.

По всей большой дороге, куда ни хватал взгляд, двигалось войско — тяжелая кавалерия. Ни одежды,

ни конская побежка, ничто не напоминало того медленного движения, которое Александр однажды видел в Петербурге на смотру. Лошади осклизались. Не было блестящих киверов, — все солдаты в фуражках, шинелях, теплых наушниках. Медные котелки позвякивали у седел. Холод был жестокий, дул ветер.

— Особое благоволение полку, — сказал Чириков, у которого были знакомые кавалеристы, — все в шинелях. Ан вот и без шинели — штрафные.

— За что их штрафовали? — спросил Вальховский.

— Мало ли за что. Вон — у второго справа седло подвернулось. На первой стоянке шинель снимут.

Офицеры ехали в теплых оберроках, делавших их немножко похожими на кучеров. Музыка впереди заиграла, и эскадрон прошел.

Вслед за эскадроном тащились несколько городских экипажей, медленно и безнадежно, — несколько матерей из провожающих никак не могли остановиться. Они сидели в темных бурнусах и смотрели по сторонам, устав смотреть вперед, где видна была все та же конская поступь да круглые спины в оберроках и колетах, не похожие ни на мужей, ни на сыновей; но они все еще ехали за эскадроном, не решаясь ни повернуть, ни остановиться.

Теперь они каждый день, гуляя, провожали войска. Они узнали, что войска идут в Гатчину и Лугу; потом — что на Порхов и, наконец, Опочку. Александр знал, что имение матери, Михайловское, где-то близ Опочки. Имение дяди Горчакова, Пещурова, было неподалеку.

Война была еще не объявлена, а войска шли каждый день через Царское Село. Скоро вид их изменился — гвардия прошла, теперь шли казачьи полки. Бородатые казаки — вощеные усы торчком — сидели в седлах, избочась, с отчаянной беспечностью, крепче и плотнее, чем сидят иные в креслах. Они пели медленную песнь с гиканьем и присвистом. Лица их были неподвижны, и они не смотрели на лицейских. Двое передовых казаков их заметили. Храня все то же равнодушие, они мигнули друг другу, одним движением вырвались из седла и, сменясь, уже ехали каждый на лошади другого, так же спокойно, как будто все время сидели в седле, с лицами неподвижными и бесстрастными. Только глаз у правого был прищурен: казак смеялся.

Калинич смотрел им вслед как пригвожденный, забыв обо всем. Когда он к ним обратился, они его не узнали: довольство и какая-то непомерная гордость были на его лице, глаз прищурен.

— С рушницей в руках, с патроном в зубах, — сказал он им и подмигнул, как давеча передовой казак, — эх, буяны вы мои, пичужки любезные.

Малиновский сказал ему, что он тоже казак, — сельцо у них близ Изюма. Калинич долго смотрел на него, восхищаясь и, казалось бы, не доверяя, а потом засмеялся:

— Казак и есть. Дух кавалерский. Казаки все наголо атаманы.

Так Малиновский был посвящен в казаки. Сразу же после прогулки он стал ходить как-то особенно вразвалку, избочась, и часто прищуривался, как, по его мнению, прилично было истому, испытанному казаку. Он рассказал о казачьем проезде отцу, директору Малиновскому, и еще более повеселел. Вольное прозвище казака, данное его сыну, понравилось директору. Старая казачья вольность, самая хитрость, удальство, иногда отчаянное, безудержное, — сказал он сыну, — суть черты любезные. В открывающейся войне он возлагал надежды на черты русских войск, неизвестные неприятелю. Сын всегда был дюж, лукав. Теперь он полюбил удальство. Дядька Матвей был из старых казаков и, только окривев, поступил в статскую службу. Малиновский с ним теперь беседовал и вскоре набрался лихих казачьих поговорок.

Получив строгий выговор от Гауеншилда за полное незнание немецких разговоров и будучи записан гувернером в черную книгу, он подмигнул и сказал:

— Казаки в беде не плачут.

Эконом худо их кормил. Малиновский, садясь за стол, говорил теперь:

— Из пригоршни напьемся, на ладони пообедаем.

Всем этим он очень утешал Калинича. После казачьего проезда Калинич затосковал. Вещь неслыханная — он на дежурстве взял себе привычку посвистывать и мурлыкать под нос какие-то песенки. Когда входил случайно кто-нибудь из гувернеров или профессоров, он словно в рот воды набирал, но «своих», как называл

он некоторых лицейских, не стеснялся нимало. Однажды Александр слышал, как Калинич, грустя, напевал:

Ой, на грече белый цвет
Опадает,
Любил казак девчиночку, —
Покидает.

Голос у него был густой, но напевал он, не желая нарушать тишину, дискантом.

Три дня шло ополчение. Ополченцы были в серой одежде, напоминавшей тот хлеб, которым их кормил теперь скряга-эконом. Они не были похожи на гвардию, понурые, запыленные, без той повадки и посадки, которая была у гвардии, — прямые мужики.

Не смотря по сторонам, с землистыми лицами, они шли полчаса и час, а земля охала глухим грудным звуком под тяжелыми шагами. Они шли вразвалку, лица их были не военные, а мужицкие. Они пели. Песнь была долгая, протяжная: «Не белы снеги забелелися». Александр помнил песню ямщика, который вез его с дядею в Петербург; то была тоже протяжная песня, негромкая, неторопливая, в лад тряской коляске, с перерывами, бесконечная дорожная ямщичья песнь, похожая на лень. Эта песнь — военная — была громка, глуха и более похожа на крик и вздох, чем на песнь.

— Ополчилась нужда, — бормотал о них Калинич, пытаясь построить своих кое-как в ряд, — пичужки любезные, буяны мои горькие!

Однажды шло конное ополченье; молоденький ополченец-офицер во всю прыть пронесся у самого края дороги и чуть их не измял; он рубил шашкой мокрые ветки, ветки хлестали его по лицу, закрыв глаза, он смеялся. Повернув коня, он подъехал к лицейским и спросил, где живет Куницын. Зеленая ветка была заткнута у него за крестик, вода и слезы текли по лицу. Он жевал белыми зубами зеленый листик и, видимо, был пьян. Лицо его было совершенно детское. Он улыбался.

Несколько человек, не слушая увещаний Калинича, впрочем понимавшего, что порядок теперь сохранять не приходится, и махнувшего рукой: «Идите, пичужки, идите, буяны, да смотрите не попадитесь, попрошу», — пошли указать домик, где останавливался теперь Куницын.

Ополченец спешился, и все вошли.

Он обнял Куницына. Это был геттингенец Каверин. Через пять минут он всех знал и, беспрестанно путая имена, говорил с лицейскими, не выслушивая того, что ему говорилось. Пушкин ему понравился. Он его обнял.

— Пушкин, как ты мил, душа моя, едем со мною воевать? Не хочешь — оставайся!

Пущину он сказал:

— Ты толст, душа моя, тебе верхом не ездить, просись в артиллерию.

Вообще, он, видно, считал, что все, как он, идут на войну. Куницын с улыбкою на него глядел, а он не всегда был добр.

— У тебя вина, Саша, нет, — сказал Каверин, — дай мне хоть воды напиться. Ты филистер!

Он медленно выпил большой кувшин и кивнул Пушкину:

— Пущин, ты готов?

Он обнял Куницына и сказал ему:

— Едем, не ленись, ты лентяй, негодяй, филистер.

Потом обнял Пушкина:

— Едем, Саша!

Сашей он звал Куницына и случайно назвал Пушкина верно.

Когда они вернулись в свои комнаты, каждому показалось, что у него ушел старший брат на войну. Пушкину ночью вдруг захотелось его тотчас догнать — посматривая на дорогу, он стал думать, где бы взять коня. Потом нехотя уснул.

5

Гвардейцев они провожали еще в ботфортах. Ополченцев они встречали уже в серой одежде. Вместо панталон выдавали им серые брючки, а потом отняли и синие полувоенные сертуки с красными воротниками и выдали серые, куцые, кургузые сертучки. Вид их изменился: они не узнавали себя на прогулках. Однажды они встретили старуху Волконскую. Старуха шла медленно, грузно опираясь на руку Наташи и сильно дыша. Нос у нее был сизый. Наташа, увидев школяров, потупила, как всегда, свои плутоватые глаза. Она была

широколица, черноглаза, с высокой грудью, стройна и, шествуя со старухой, напоминала урок из мифологии — Психея, Душенька, ведомая Прозерпиною. Старуха, как всегда, остановилась, чтоб их пропустить. Наташа стояла, потупив глаза, но, кажется, хорошо всех видела.

— Что ты мне, Наташка, не сказала, что сегодня молебен? — спросила густым скрипучим голосом старуха: — видишь, певчих ведут.

Они это слышали. Посмотрев друг на друга, они убедились, что форма их ничем теперь не отличается от формы малолетних придворных певчих вне службы. Этих певчих в сереньких кургузых сертучках часто водили мимо лицея в придворную церковь. Гордости Горчакова, да и всех прочих, был нанесен сильный удар. Они возненавидели старуху Волконскую.

Они не были более баловнями, школярами, студентами, не были даже *отшельниками, монахами*, как они любили себя воображать в своих «кельях», они попросту были придворные певчие.

Встреча с ополченцами их утешила: все были теперь серые; это была походная форма. Такова была война. Кормить их стали скудно. Ранее, когда эконом кормил их пустыми щами и выдавал жидкий чай, они искали его по всему лицею, а он от них прятался. Теперь он не прятался от них, а, напротив, охотно появлялся. Когда они говорили, что щи пустые, он разводил руками и важно говорил:

— Приказ.

Рыжие бакенбарды его были расчесаны.

Во всем соблюдалась скупость почти походная.

Изменилось, казалось, и Царское Село, о котором Малиновский при открытии говорил как о мирной обители; они не замечали ранее, что все наполнено здесь свирепою памятью войн и побед: Турецкий киоск, Кагульский мрамор и Чесменская колонна, Орловские ворота с надписями. Дворец был пуст и глух. Павильоны, всегда необитаемые, казались теперь брошенными, искусственные развалины — настоящими. Камни, из которых была составлена греческая беседка, оказались настоящими древними камнями, которые были увезены от турок. Дафна, Хлоя, Филиса — давно уже мелькали в стихах; только старик Державин называл дев так, как их звали, — Парашею и Натальей, по-домашнему. Ныне

греческие и римские имена стали воинской славой: Багратион был Эпаминонд; Кульнев — Деций; Раевский и Коновницын — совместники древней Спарты.

В обращении к войскам было сказано, что Неман станет для французов другим Стиксом — подземною адскою рекою, которую переходят только раз.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Война началась в ночь с 22 на 23 июня: Наполеон с четырьмястами тысяч войска перешел невдалеке от Ковна Неман. Войска его вступали в Россию. Половина войск его были французы, половина — немцы, невольники и данники Наполеоновы. Шли пруссаки, саксонцы, баварцы, вюртембержцы, баденцы, гессенцы, вестфальцы, мекленбуржцы. Шли австрийцы, поляки, испанцы, итальянцы. Шли голландцы, бельгийцы с берегов Рейна, пьемонтцы, швейцарцы, генуэзцы, тосканцы, бременцы, гамбуржцы. Они скакали день и ночь, давая лишь краткую передышку лошадям. Они нашли путь открытым; война, которой еще ни разу не вел Наполеон: с покинутыми селениями, пустыми городами, без жителей и фуража, с мнимыми победами, началась, вызывая сильное негодование полководца, ждавшего войны обыкновенной — открытых и громких битв с врагом, затем генерального сражения, занятия столицы и быстрого мира, им диктуемого. Старики московские также негодовали на отсутствие громких сражений.

Враг шел стремительно, в больших силах направляясь не то к Петербургу, не то к Москве. Неизвестность была полная.

2

Директор Малиновский заперся с Куницыным в кабинете. Свечи были зажжены, окна в сад открыты. Кругом было тихо, зеленые листья свежи, пламя свечи клонил легкий ветер, — все как в мирное время. Насупротив, в лицее, уже спали.

— Горько мне, — сказал директор, хрустя пальцами и поламывая руки, — в такую ночь средь стольких красот думать о наших обстоятельствах.

Он был уныл, и Куницын, сожалевший о его слабости и сердившийся на почти постоянный упадок духа, ждал с неудовольствием жалоб и приготовился к возражениям. Падать духом в такое время было едва ли не преступление. Стоит Малиновскому пасть духом, и в лицее воцарится хаос. Все сразу же опять это почувствуют, как было уже при Пилецком и как всегда в таких случаях бывает; все — от воспитанников до служителей, не говоря уже о врагах: Гауеншилде. Куницын решил покинуть лицей, это хрупкое и подверженное всем колебаниям училище; впрочем, он собирался идти на войну ратником; он успел полюбить свои обязанности, некоторых воспитанников — и не столько даже их, сколько их любознание, постепенное их изменение — к совершенству, привык даже к самому зданию. Ему не хотелось, чтоб лицеем завладел Гауеншилд, как некогда Пилецкий. Но смятение умов было кругом общее и такое, что можно легко впасть в слабость и всех кругом заразить. Более всего не любил он бледные лица, растерянность в глазах, нестройность мыслей, — все, чем сказывается страх или ужас. Он верил в разум и законы его, а страх был отпадением от разума, чисто животным. Будущность, к которой он так деятельно готовился и которая ныне стала невозможной, вновь была для него ясна. Он готовился теперь к войне. Отчизна, любовь к ней, долг гражданский — все понятия, о которых он важно толковал лицейским, стали теперь страстями, и он подчинился им, не раздумывая.

— Навалились, — сказал Малиновский и побледнел, — все навалились, — слышно, идут уже без остановок. Если так далее пойдет — через месяц нам нужно будет отсюда уходить; место — Ревель. Об этом никто не знает и знать не должен. Вам нужно приготовиться.

Он сказал, что не хочет везти весь лицей в Ревель; кой-кто не захочет, и слава богу. Гауеншилду, например, нельзя из Петербурга отлучиться; тем лучше. Он предвидит, что добрая часть профессоров не поедет. Тогда Куницын принаймет профессоров, а главная надежда на него самого. Вообще в его руки, и только в его, передает он это училище, которому так не повезло счастье

с первых же шагов. По словам Малиновского выходило, что сам он не собирается ехать.

— Я не поеду, — подтвердил Малиновский, — не желаю, мне поздно, я устал.

— Без вас они от рук отобьются в изгнании, а я с ними не слажу.

Малиновский походил по комнате.

— От брата есть ли вести, что Тургенева намерения? — спросил он.

Брат Куницына уже с месяц как выступил в поход и не слал вестей; Николай Тургенев, геттингенец, зимою еще прибывший в Москву, теперь жил в Петербурге и был в тоске: попеременно то ужасался, то опять обращался к надежде и не знал, что с собою делать. Куницын с ним ежедневно виделся. Он плакался, что лица, на которых печать рабства, грубости и пьянства, непросвещение высшего сословия, суровая зима, сменившаяся жарким летом, делают невозможной жизнь в отечестве, но как выбраться — не знал. В последнее время он сильно приободрился, и надежду внушали ему действия Витгенштейна.

Малиновский усмехнулся.

— В Ревель или в Або, куда случится, поедут с вами все дядьки наши, — сказал Малиновский. — Питомцы наши вместе с ними начинали здесь бытие свое, вместе с ними и продолжат. Сергей Гавриловичу, — сказал он о Чирикове, — я уж дал наказ — все грубости со служителями заносить в журнал поведения. Намедни Данзас ругал Матвея и гнался за экономом — трепать его. Я прошу обращать на это сугубое внимание. Заносчивость, запальчивость, а купно и низкость с раболепствием, — все от воспитания, житья и обхождения с рабами. Готовые жертвы гнева, и сами к тому привыкли. Подчиненному иностранцу никогда не посмеют того сказать, что своему, потому что свой — раб. А брат его или земляк — секретарь. Так гибнет везде достоинство русское. Я не для того с вами говорю об этом, что вы этого не видели или не знаете, напротив; но скоро это вам придется исправлять на деле, как нынче мне.

Подверженный всем слабостям, директор говорил на сей раз твердо.

— Вы пожарища не видали, — спросил он Куницына, — военного, ветром распространенного? Когда

города пожигаются? А я видел. Поле, поле довременное, — и на нем почернелые трубы — вот дом, вот семья, родня. И теперь уже трубы российские торчат! И чтоб не лишить малых сих в изгнании, как сказали вы, самой мысли о доме, нужно будет вам опекать все затеи их — журналы, песни, даже самые куплеты, безделицы, для того что не годится в этом возрасте терять свой дом.

Куницын впервые видел его в таком расположении.

— Я на них между делом посматривал, —сказал Малиновский, — некрепки дома у них, а теперь и этот валится.

И они поглядели на лицей с темными окнами, который казался бы в этот час нежилым, если бы не фонарик, светившийся желтым светом.

Вдруг Куницын сказал ему решительно:

— Без вас ехать нельзя, а вам оставаться негде.

— Силы мои уже не те и даром ушли, — сказал директор тихонько, — мне самому утешение нужно. Нет его. Разом открылись все прикровенные язвы — казнокрадство, мародерство, — точно во вражеском лагере. Все на поток и разграбление. Смолянин, мой знакомец, пишет мне: барон Аш, губернатор, принимает возами, и возы запрудили площадь. Не пройти, не проехать. На две стороны кто может воевать? Государь неспособен. Обдержание вельмож, прелюбодеяние затмили его.

Ночь была черная, словно за директорским садиком — тут же, сразу начиналась пустыня. Он похрустел пальцами и посмотрел на Куницына, вопрошая.

— Паче всего опасаются рекрут, — сказал он, разводя руками, — не хотят верить в достоинство россиянина и думают, что страх — главное его побуждение.

Куницын, бледнея, молчал, и директор вдруг остановился.

— Я верю, — сказал он вдруг с каким-то негодованием, — и не только в Витгенштейна, который точно превосходный генерал, а и в земледельца, в казака, в поревнование его и удальство. Мы-то черты сего духа знаем, и самое раболепствование, все искажающее, его не уничтожило. Враг не знает.

Он перевел дух.

— Все может случиться, — сказал он, стихая, — но россиянин докажет свое достоинство, и ему наконец поверят и враги и свои. Иначе жизнь была бы мне в тягость.

Поверят, — и рабство отменится, отпадет, как короста. Вы тогда в три года русской земли не узнаете. Дело мое — земледелие, мануфактура, а не профессорство собственно, не директорство.

И он усмехнулся.

— Все это, правда, одно смешное мечтание, когда враг уже около Смоленска. Но расстаться с надеждою — значит расстаться и с жизнью. Я из гордости сохраняю всю силу рассуждения. Беда с Разумовским: распоряжение его о переводе преждевременно, боюсь, как бы не разгласилось. Я уж с ним приустал.

И они расстались.

— Решительного ответа сейчас не прошу, — сказал он Куницыну, — но прошу вас пока не оставить малых сих и понемногу приучиться заменять меня. Главное — надлежит нам стараться, чтоб воспитанники и не догадывались, что все нарушено.

3

На карте, которая была приколочена гвоздиками в зале, Калинич красным карандашом медленно и верно обозначил рукою каллиграфа движение войск, — и толстая красная черта поползла со скоростью вверх; он долго стоял перед картою.

Грузный, неподвижный, без всякого выражения на лице, он каждый день отмечал на ней движение войск и на этот раз был поражен ее видом. Он внимательно смотрел на нее — и оглядел всю. Пущин, Малиновский, Пушкин подошли.

Он шепотом читал название городов и, очнувшись, произнес:

— Как ножом.

Они стояли перед красною чертою, проведенною Калиничем, и ни слова не говорили. Малиновский посмотрел на того и другого и тихонько сказал:

— Теперь к Аристарху в классы.

И, обнявшись, ни слова не говоря, они побрели медленно, не торопясь, в класс Кошанского, забыв о шалостях.

Малиновский умел молчать, как никто, молчание его было чисто казачье. Они понимали друг друга.

Назавтра карту убрали.

Дорогу от Москвы до Петербурга Александр запомнил навсегда: низкие станционные домики, посеревшие от дождей, с надтреснутыми и облупившимися деревянными колоннами, воробьи, нахохлившиеся под застрехой; старик смотритель, избегавший смотреть прямо в глаза, а дорогой — ямщик, который тянул бесконечную песню, мерно позвякивавшие колокольцы; встречные обозы со скрипом колес и запахом дегтя. Теперь по этим дорогам скакала чужая конница, станционные домики были заняты неприятелем, несущимся беспрепятственно во весь опор. Мысль, что по этой дороге, которая, вероятно, ничем не отличалась от той, по которой он ехал с дядей Васильем Львовичем, скакали чужие лошади, чужие всадники, тяготила его. Они узнавали теперь географию по этому движению. Россия оказалась полной городов, сел и деревень, названия которых они с удивлением читали в реляциях. Враг был уже около Смоленска.

4

Лицейские журналисты наперебой писали теперь, подражая во всем Ростопчину. Герой прозы Миши Яковлева был ныне нижегородский помещик, служивший капитаном при Суворове, Сила Силович Усердов. Суворовские отрывистые разговоры были теперь законом вкуса. Миша Яковлев усердно подражал Ростопчину. «Французы, — писал он, — заповеди топчут ногами; ерошат лишь голову, скалят зубы, а путного нет ничего, бормочут о вздоре, да как еще втянутся: так и соколик. Всех бы их батожьем!»

Александр прочел и ничего не сказал. Ничто не напоминало здесь стремительности врагов, тайных и быстрых движений, падения одних, возвышения других, разлучения, смерти, пожара городов, станционных домиков, на которые налетали теперь неприятельские разъезды. Остроты были грузны и не остры, площадный язык вял и раздут, как бормотанье старика. Миша Яковлев обиделся: Пушкин кичился своим вкусом. Тотчас он стал изображать Пушкина гордецом. Всего больше, как истый художник, он любил наблюдать именно за Пушкиным. Это был один из самых трудных его нумеров. Быть вертлявым, быстрым и плавным было не легко. Этот ну-

мер требовал особого вдохновения; перед тем как изображать Пушкина, он долго прыгал через стулья, вертел головой и раздувал ноздри. Он не мог изобразить его так, как других, сидя на месте, без репетиций. Этот нумер требовал разгона, вдохновения. Александр наслаждался его игрою. Паяс совершенно его понимал. Он иногда вдруг узнавал в его отрывистых движениях не себя, а отца, Сергея Львовича. Миша Яковлев только не любил и не понимал, когда тот сочинял: угрюмо и в каком-то самозабвении, «как полоумный». Он сам тоже был поэт и хорошо знал, что сочинять легко. Он напевал и насвистывал, когда сочинял, и строка шла за строкою.

Героем Вальховского был Суворов, которому он стремился подражать: ел черствые сухари, спал на голых досках, каждый вечер снимая матрас с кровати. Он был стоик, ставил себе цели, о которых говорил только другу своему Малиновскому, добивался их, строго осуждал шалости.

Героем Горчакова был император: он во всем стремился подражать ему — завивал перед зеркалом кудри, наворачивая их на гребень, ходил развинченной походкой и щурился. День открытия лицея ему запомнился.

5

Героем Малиновского был ныне атаман донских казаков Платов. Платов объявил, что отдаст свою дочь и в приданое пятьдесят тысяч червонцев казаку, который доставит ему Наполеона живого или мертвого. О Платове, его удивительной простоте и храбрости рассказывал сыну директор Малиновский.

Героем Кюхли был Барклай, главнокомандующий. Он доводился ему родней. Кюхельбекер прибил гвоздиком его портрет к своей конторке у себя в комнате; голый лоб, голое лицо, глаза без блеска — таковы были черты героя. У одноглазого Кутузова был крепкий, как орлиный клюв, нос, и сам он был похож на сильную, старую птицу, у которой в воздушной драке выклевали глаз. У Багратиона были тяжелые, пламенные глаза воина. У Платова — толстая шея и открытое лицо. И только у Барклая не было отличительных признаков героя.

Кюхельбекера спрашивали о Барклае, и он хвалил его.

— Он высокий, — говорил он.

Этого было мало. Сам Кюхельбекер был длинный, Илличевский тоже.

— Он ни с кем не разговаривает, — рассказывал Кюхельбекер, — он только погладил меня по голове и ничего не сказал. И сразу ушел. Вот и все.

Главнокомандующий, который все молчал и теперь стремительно отступает перед врагами, не возбуждал к себе сочувствия. Мясоедов, со слов своего отца, сообщил однажды, что фамилию главнокомандующего переиначили в «Болтай, да и только». Но Александр знал теперь от Кюхли, что он молчалив.

— Он все молчит, — говорил растерянно Кюхельбекер.

6

Александр помнил портрет Наполеона, висевший в кабинете у дяди Василья Львовича: пустые, как у кумиров, стоявших в саду, глаза, отсутствие улыбки, необычайная правильность всех черт, простота мундира. Тогда черты эти казались просты и прекрасны.

Лицо, припоминавшееся ему теперь, было равнодушно и холодно — лицо мертвеца. Куницын сказал, что тиран, презревший общественный договор, должен погибнуть и что есть возмездие в жизни людей и народов. Кайданов, называвший Суллу роскошным убийцею, сказал, что Наполеон ко всему равнодушный и холодный кровопийца. Мир устал от его убийств.

Спросили у Будри о Бонапарте и, столпившись вокруг него, строго ждали ответа.

Старый француз хмуро на них поглядел и, казалось, не торопился отвечать. Какая-то важная печаль была на его лице, и маленькие тусклые глазки были полузакрыты. Потом он ударил коротким, как обрубок, пальцем по кафедре и проворчал хрипло:

— Он будет наказан. Для его победы нет ни одного достаточного или разумного повода, но все — для его поражения, ибо он и наследник вольности и ее убийца.

И, как бы не желая более говорить и думать о нем, старик заворчал на них свирепо:

— Сесть на места. Вы забросили «Диалоги» и не учите «Маленького Грандиссона». Вы должны более

упражняться, иначе вы никогда не достигнете равенства даже во французском языке. Синтаксис и периоды! Это для вас недоступно — вам все еще нужно учиться орфографии. Мы будем сегодня читать поэзию Жана-Батиста Руссо, чтобы несколько облагородить вашу память. Следите за мною. Броглио ненавидит труд, — он в хвосте всего класса. Небрежность! Лень Данзаса! У Дельвига — добрая воля, но он не знает слов! Горчаков — первый ученик, но суетность! Корсаков уверен, что много знает. Самодовольство! Пушкин, полагаясь всецело на свою память, вовсе перестал учиться. Беспечность!

7

Была жара нестерпимая. Калинич, который водил их гулять, обыкновенно молчаливый, вдруг пробормотал, утирая пот с лица пестрым фуляром:

— Зима, пичужки; морозы, буяны; вот кто покажет!

Все засмеялись. Малиновский сказал Калиничу:

— Какая тут зима!

Но Калинич, с обширным неподвижным лицом, усмехнулся и возразил:

— Чем лето жарче, тем зима холоднее.

Это была примета старая, знание, проверенное не ими; они замолчали.

8

Все было полно слухами. Говорили, что три полка баварских передались, что немцы и испанцы взбунтовались и сам Наполеон ускакал во Францию. Решительные бои близились. Передавали слова генерала Раевского: «Лучший способ закрыть себя от неприятеля есть — разбить его».

В июле одно известие поразило лицейских. «Северная почта» переходила из рук в руки. Армия Багратиона соединилась с армиею Барклая. Помог этому Раевский, который командовал авангардом Багратиона. Одиннадцатого июля Багратион приказал ему атаковать армию маршала Даву, чтобы задержать неприятеля, без чего армии не могли соединиться. У Раевского было десять

тысяч солдат против шестидесяти тысяч неприятеля. Бой шел вокруг пруда. Во время последней атаки Смоленский полк шел к плотине без выстрела, с примкнутыми штыками, под неприятельским огнем, но, подойдя к самой плотине, наткнулся на сильную неприятельскую колонну. Раевский, уезжая в армию, взял с собою, при общем беспорядке, своих сыновей: старшему, Александру, минуло шестнадцать лет, меньшому, Николаю, еще не исполнилось одиннадцати. Он записал их в один из своих полков. Во время атаки Раевский пошел с сыновьями в голове колонны. Младшего он вел за руку. В одну из атак убили знаменосца, знамя лежало на земле рядом с убитым. Старший, Александр, поднял знамя. Войска бросились и опрокинули неприятеля. Багратион достиг цели: отныне соединению обеих армий под Смоленском враг не мог помешать.

На вопрос отца: знают ли сыновья, для чего он взял их в бой, меньшой ответил: чтобы вместе умереть.

9

Смоленск был оставлен. Говорили, что сам главнокомандующий предал его огню и что город являет собою груду развалин. Пожар продолжался более суток, и его ужасный вид сами французы уподобляли извержению Везувия. Жители бежали в леса; в городе остались старухи и больные. Вязьма горела, подожженная с нескольких концов.

Смоленские крестьяне прятались в лесах; неприятель находил их и грабил последнее, чтобы добыть себе продовольствие. Помещикам, также прятавшимся, неприятель возвращал права над крестьянами, поколебленные было бегством и обстоятельствами войны, и обещал воинскую охрану и защиту от мародеров под условием, что они будут доставлять муку, водку, зерно, скот, овес и сено. Фуража не было; началась зараза, более страшная, чем война. 17 августа Смоленск сгорел, за ним Вязьма. Та же участь грозила в недалеком будущем Москве. Барклай, отступавший перед врагом и не принимавший боя, был непонятен и страшен.

Часто навещала сына Бакунина, толстая, важная барыня, проживавшая в Царском Селе. Глаза у нее были живые и бегали. Бакунина подозревала сына в тайных шалостях; когда лицеем правил Пилецкий, она часто шепталась с иезуитом; любопытство ее было ничем не ограничено. В одно из свиданий она сказала сыну, что Барклай — изменник, что это доподлинно известно, что его скоро сменят.

Все заволновались. Кюхля, бледный, противился общему мнению, но, уверясь, вдруг сорвал со своей стенки портрет Барклая, разорвал его в клочки и растоптал ногами. Потом, с отчаянием посмотрев на растоптанные клочья, он собрал их и положил в шкафик.

В эти дни в лицее шептались о падении Барклая, Пушкин молчал и слушал. В нем неожиданно проявилось качество, о котором никто, при его известной горячности, не подозревал: осторожность. Он, кажется, не одобрял Мясоедова, который звал теперь полководца походя: «Болтай, да и только». Он молча слушал, как бешеный Кюхельбекер говорил теперь о своем прежнем кумире, что он заслуживает казни. Под Смоленском платовские казаки заставили отступить французский корпус, — французы понесли потери, и отступление казалось необъяснимым. Но он не ругал военачальника, как теперь это делали самые смирные, и даже, казалось, с некоторою брезгливостью слушал брань. Безостановочное движение неприятеля, которого ничто, по-видимому, не могло удержать и остановить, угрюмые лица профессоров, всегда бледное лицо Малиновского и особая тишина, которая была теперь везде, на всех улицах, тишина места, которое они скоро покинут, — все кругом переменилось.

В лицее ходили теперь тихо, стараясь не шуметь, как в доме, где есть покойник. Профессор математики Карцов, который оглушительно, бывало, кашлял, сморкался, смеялся, — точно в рот воды набрал. География, которую читал им Кайданов, внезапно изменилась: в самой середине страны был неприятель.

Несколько воспитанников — Корф, Корсаков и Комовский — настолько пали духом, что стали проситься домой, и гувернеры несколько раз должны были их утешать. Они тосковали по матерям и обливали слезами получаемые

письма. Данзас был замечен Калиничем в том, что усмехался при виде плачущих. Кто-то из шалунов обозвал Корсакова трусом. Пушкин неожиданно для гувернера ничем за неделю не проявил дурного нрава. Вид плачущих его озадачил: он притих, смотрел на них с каким-то любопытством и ничего не говорил. В эти дни он был неразлучен с Дельвигом.

Он его любил. В беспечности и лени Дельвига была какая-то храбрость, дерзость, и Чириков говорил о нем, что он отчаянный. И это несмотря на то, что Дельвиг никого не задирал, ни на кого не нападал. Он учился плохо, собственная лень доставляла ему, видимо, наслаждение; память его была тупа.

— Я успею выучить из «Маленького Грандиссона» и диалоги, — говорил он, — у меня весь день впереди.

В лени его была система.

К вечеру он говорил:

— Как время тянется! Еще вечер впереди. Я не стану понапрасну терять времени и учить до вечера диалоги.

Вечером он говорил:

— Будри не приедет. Это уж верно. Диалоги полежат.

Он никогда никого не дразнил, но Калинич говорил о нем:

— Смешлив и задирает.

Однажды после скучного карцовского класса робкий Корсаков со слезами на глазах признался, что хочет домой: война может затянуться, и он боится быть оторванным от родного дома.

Дельвиг сказал, смотря на него туманными глазами и немного кося:

— Это не страшно. Я уж однажды потерял и отца своего и мать и в битве едва не был взят в плен, а потом опять всех нашел.

Все на него с удивлением посмотрели. Он не шутил. Корсаков отер слезы и разинул рот. Пушкин был удивлен.

Тогда Дельвиг медленно и равнодушно, смотря в разные стороны туманными голубыми глазами, рассказал, что во время похода 1807 года он был с матерью в обозе отца своего. Смеркалось, когда мать вспомнила, что забыла дать отцу ладанку, по ее мнению спасающую от ран.

Она была в отчаянии и, оставив сына на попечении денщика, простилась, и одна, с горничною девушкою и фельдфебелем, отправилась разыскивать своего мужа. Дельвиг вздремнул. Во сне показалось ему, что кругом гремит, лошади ржут, а он не то плывет на корабле, не то скачет в телеге.

Но как все это однажды уже ему снилось, то он не почел нужным просыпаться, и каждый раз, когда начинало греметь, утыкался в жесткую походную подушку. Однажды только он проснулся, но денщик сказал ему: «Спите, ваше благородие» — и он снова заснул. Проснулся он утром в лесу — под телегою. Рядом лежал денщик с окровавленной рукой. Оказалось, неприятель ночью захватил часть обоза, но денщик, помня наказ — не бросать маленького Дельвига и никуда далеко не отлучаться, счел за лучшее понестись вместе с несколькими другими телегами вскачь до ближнего леса и здесь, сняв сонного Дельвига, залег вместе с ним под телегою и так переждал бой.

— И ты проспал весь бой? — спросил его ошеломленный Вальховский.

— Проспал, — ответил Дельвиг, разводя руками.

И правда, Дельвиг спал необыкновенно крепко. По утрам отчаянные вопли дядьки Фомы: «Господа, вставать! Господи помилуй» едва могли пробудить его. Спал он, случалось, и на лекциях и, несмотря на это, мог с точностью повторить последние слова профессора, впрочем их не понимая. Рассказывал он о своем приключении медленно и без малейшей болтливости. Все молчали, пораженные. Вальховский попросил Дельвига рассказать новые подробности о походе. Дельвиг рассказал о денщике своем, о его проворстве, удальстве, храбрости, пьянстве и любимых поговорках: «Воевать — не горевать», «Служи сто лет, не выслужишь ста реп» и проч. Робость Корсакова и других заметно рассеялась. Все разошлись, толкуя о странных приключениях Дельвига. Пушкин догнал его. Он сказал ему тихонько:

— Ты все выдумал.

— Нет, ей-богу, — сказал Дельвиг, — клянусь, черт меня побери.

Вечером, ложась спать, Александр услышал, как дядька Матвей, прислуживавший Дельвигу, ворчал в коридоре на эконома, с которым и он и Фома враждовали:

— Служи здесь сто лет, выслужишь сто реп.

Он засмеялся. Приятель его не врал. Просто он был поэт — в самом неторопливом и приятном роде.

11

Директор Малиновский все чаще теперь по вечерам приглашал их к себе. Он приглашал не всех, с выбором. Чаще других бывали у него Вальховский, Пущин, Матюшкин. Это были его любимцы.

Вальховский был мал, узкогруд и справедлив. Голос его был тих. На уроки, еду и сон он смотрел как на долг, иногда неприятный. Он был готов жертвовать собою с хладнокровием, в котором никто не сомневался. В лицее звали его спартанцем. Когда изгоняли Пилецкого, он переносил насмешки товарищей за бездействие, как древний стоик, — он стоял за порядок. Директор нашел в нем второго сына. Пущин был рассудителен, все подвергая испытанию и ничего не принимая на веру. Ум его был здрав, сам он шаловлив, но умерен. Матюшкин был скромен, прилежен и жаден к путешествиям. Директор, живший в Турции и Англии, любил вспоминать страны, в которые более не надеялся попасть. Внимание Матюшкина ему льстило. Кюхельбекер был вспыльчив, безрассуден, сумасброден, косноязычен в поэзии, подвержен крайностям; впрочем, добродушен и необыкновенно жаден к справедливости. Сын Иван обещал быть помощником. Всех их директор как бы избрал из среды лицейских. Они собирались у него теперь по вечерам. Жена умирала, — добрая дочь Анна угощала молодых чаем с хлебом, иногда черствым. Вальховский воображал бивак; он находил особую приятность в простоте и скудости теперешней жизни. Они не были баловни фортуны, искатели счастья, любители большого света. Директор молча признавал таланты Горчакова и охотно их преувеличивал, но как бы избегал его общества.

— Он в беседах не нуждается при блестящих его дарованиях,— говорил он.

Безусловно лишены были общества его шалуны: Броглио, Данзас. Они были слишком предприимчивы, скоры, неуемны.

— Есть надежда, что Броглио со временем переменится. Но ему нужно время, — говорил он, — много времени.

Из поэтов был приглашаем Илличевский. Его прилежание, чистый вкус, рассудительность и скромность нравились директору.

— Совершенно знает свои силы и на многое не дерзает, — говорил он.

Дельвига и Пушкина он не избегал, говорил с ними в лицее всегда охотно, но к себе не приглашал, боясь насмешек. Пушкин был умен как бес и все, казалось, понимал с самой смешной стороны. Это было совершенною новостью для директора. По всему — на Пушкина сильно действовала поэзия; однажды он видел, как, читая стихи Батюшкова, Пушкин побледнел. И однако ж — в нем словно сидел бес насмешки. Яковлева директор понимал лучше: тот был расположен к музыке, напевал, посвистывал, был скор на рифмы, имел легкую память, был пересмешник, но зато и не бледнел при чтении стихов.

Теперь в лицее распространилась робость, а Пушкин с Дельвигом вели себя изрядно.

Назавтра после посещения сплетницы Бакуниной, называвшей открыто Барклая изменником в неделю взятия Смоленска, Дельвиг и Пушкин вместе с Вальховским, Кюхельбекером, Пущиным сидели у директора.

Горящие свечи, малолетка дочь, хозяйничающая за столом и заменяющая больную мать, воспитанники за его скудным столом напоминали директору английский колледж, и не верилось, что в этот час неприятель опустошает русские села и скачет по большим дорогам, загоняя лошадей.

— Нынче у нас публика для удовольствия получения новостей негодует, что нет громких сражений, требует побед немедленных. Но воин и гражданин познаются терпением. Это не игры военные, а весь народ восстал.

И, обратясь к Дельвигу, он заставил его рассказать о приключениях его младенчества. Дельвиг этого не ждал. Как ни в чем не бывало, он повторил рассказ свой, приведя некоторые подробности, о которых умолчал ранее, и даже кое в чем изменив их. Так, например, он сказал теперь, что очнулся под телегою один-одинешенек, и откровенно описал свой страх. Денщик только позднее пришел, неся в окровавленной руке,

замотанной в тряпицу, краюшку хлеба и горсть соли. Оказалось, что, почувствовав голод, денщик пошел в окрестную деревню за хлебом и там был ранен шальною пулею. Так, лежа под телегою, они и позавтракали.

— А как звали денщика и каков он был нравом? — спросил директор, улыбаясь и занятый, казалось, рассказом.

— Его звали Иваном, — сказал быстро Дельвиг и задумался. Глаза у него стали туманные.

— Он все пел, бывало, — сказал он и зашептал скороговоркой:

Получил письмо от девушки сейчас,
Стал читать,. так полились слезы из глаз.
Пишет, пишет раскрасавица моя:
«Приди, батюшка, я очнено больна».

Александр смотрел на него: эту самую песню Дельвиг только вчера переписал и показал ему. Теперь он сидел притихший, пораженный своею собственной ложью.

— Он умер, — сказал он тихо, — в гошпитале.

Рот его перекосило. Ему стало жаль Ивана.

Возвратясь, Дельвиг рассказал Пушкину, что, натирая мелом отцовскую амуницию, Иван каждый раз пел: «Не белы-то снеги».

— А еще что? — спросил Пушкин, с жадностью на него глядя.

— Еще он пел про казаков, — сказал Дельвиг:

Как на грече белый цвет
Опадает,
Любил казак девчиночку, —
Покидает.

Он это и перед смертью еще пел.

И они взялись за руки и так походили перед сном, вспоминая: Дельвиг — сестру, Пушкин — Арину, и оба вместе — Ивана.

12

Враг подвигался к Москве; негодование и ужас стали всеобщими. Барклай был сменен. Кутузов, общий любимец, назначен главнокомандующим.

Через десять дней они прочли реляцию о победе бородинской. Никто еще не смел ей верить. Бледный, в на-

глухо застегнутом сертуке, Малиновский взобрался на кафедру и, прочтя реляцию, хриплым голосом поздравил их с победою. Он постоял на кафедре, как бы желая что-то прибавить, пошевелил бледными губами, смотря в самозабвении на воспитанников, и сошел долой. Вечером он позвал к себе гувернера Чирикова и сказал, что нужно отпраздновать победу над врагами. Воспитанники должны почувствовать радость победы, слишком долго жданной. Он предложил устроить в лицее спектакль, поставить какую-либо пьесу, которую под его руководством должно разучить в два-три дня. Чириков возразил, что такой пьесы нет. Малиновский перебил Чирикова неучтиво и настойчиво, с некоторым озлоблением сказал, что пьесу могут сочинить воспитанники в два дня, а что спектакль должен быть приготовлен. Чириков возразил, что сочинять воспитанникам вообще запрещается и что они давно просят, чтобы запрещение это было снято. Малиновский тут же при нем написал прошение министру о беспрепятственном дозволении воспитанникам сочинять, ссылаясь на просьбу их, переданную через Чирикова.

— Прошу немедля приступить, — сказал он Чирикову. — Запрещение это смысла не имеет, и нечего с ним считаться.

Он часто дышал, не терпел возражений, руки его дрожали.

Чириков подчинился. Он хотел было представить в лицах поэму свою «Герой Севера», но вскоре отложил это намерение, — в два дня никак было не успеть, да и играть такую пиесу было некому. Будри говорил как-то, что ранее сочинял пиески для воспитанников. И правда, у Будри нашлась пиеска, пристойная и нехитрая: «L'Abbé de l'Epée», [1] предметом которой был славный аббат, воспитатель глухонемых. Главная роль была глухонемого, и чувства изображались не языком, но жестами. Эту пиеску можно было разучить в один присест, а глухонемого играл бы Яковлев. Бедный Иконников, посещавший друга своего Чирикова, принес ему пиесу собственного сочинения «Добрый помещик», и она признана годною. Добрый помещик, господин Добров, спасал в ней брата своего и слугу от неожиданной и незаслуженной кары.

[1] «Аббат военный» *(франц.)*.

Великодушие торжествовало. Действующие лица были: помещик господин Добров, добрый, но заблуждающийся брат его Альберт, унтер-офицер и комиссар называвшийся также заседателем. Роли были розданы. Альберт Добров был Пущин, живость и ясный голос коего более всего подходили для этой роли. Унтером был сделан по росту своему Илличевский, а комиссаром Яковлев, сильный в комических гримасах. Угрюмый, бледный, с тусклыми глазами, директор распоряжался. Чириков с каким-то ожесточением занялся спектаклем, резал и расписывал декорации. Дядька Матвей отпер громадным ключом двери парадного зала, не открывавшегося со дня открытия лицея. Расставили кресла, приколачивали занавес. В лицее была суета, дядьки бегали по лестнице вверх и вниз.

Куницын не принимал участия в праздничных хлопотах. Он ходил бледный, в лице ни кровинки, и на вечер не явился.

13

Вечер кончался. Было жарко, и потому окна открыли. Воздух был недвижен. Женщины были в легких платьях. Уже полгода шла война с французами, но моды не успели перемениться: это были все те же французские моды — серые неаполитанские шляпки, завязанные лентами; платья из марсельского шелка и лионские — с цветами, кружевные корсажи. Кадриль любви и времен года, которую танцевали в прошлом году сестры Наполеона, определила закон мод, который с тех пор не менялся.

В креслах сидели незнакомые старухи с колючими локтями, с обнаженными старушечьими плечами, присыпанными пудрою, с черными мушками на набеленных щеках. Они, не смотря на сцену, рассматривали лицейских. Вдруг лорнет повисал на цепочке: старухи громко переговаривались. Они неблагосклонно смотрели на школяров, перенесенных по капризу в их обитель. Не было ни манер, ни воспитания, ни развязности, заслуживавшей внимания, — неуклюжие, мешковатые школяры. Все привыкли к этим капризам и знали: все это скоро кончится, забудут и этих школяров. Время военное, их переведут куда-нибудь подальше и там забудут. Горчакова подозвали, с ним поговорили. Граф Толстой был знаком с Васильем Льво-

вичем. Он заметил Александра и кивнул ему. Александр не мог победить робости: это был свет, тот самый, о котором всегда с тайной завистью, какой-то радостью говорила мать. Темные глаза ее разгорались, на щеках румянец; она глухо посмеивалась. Он помнил этот смех матери. В антракте Толстой стал его представлять.

У Толстого было грустное лицо и пухлые губы. Он смотрел на Александра не без удовольствия: Александр, как все Пушкины, казался ему забавен. Старуха с пепельным лицом с каким-то вниманием поглядела на Александра. Она была стара, как смерть. Александр был представлен, расшаркался и оробел.

— Как они все нынче неловки, — сказала старуха.

Две дамы оглядели его: дочь одной была еще девочка. Он встречал ее раза два на прогулках; она была с маленькой головою, тонка, как тростинка. Это были Кочубеи, жившие неподалеку от лицея. С ним поговорили, спросили о дяде Василье Львовиче, но, едва дослушав, забыли о нем.

Он убежал из зала, забился в угол и оттуда смотрел на прелестницу. Он, как бывало при Русло, вдруг стал дичиться. Дядька Фома, проходя мимо, чуть не задел его.

Гости разъезжались, он сбежал вниз и дождался: она прошла мимо, и ему показалось, что она ищет его. Она оглянулась вдруг кругом, ища кого-то; в самом деле она искала его, и он прикоснулся к ее руке, зная, что все это увидят. Никто не увидел, и она попрощалась с ним, кивнув ему своею маленькой головой.

Ночью он не спал: прощанье, его собственная внезапная робость, которой он себе не мог простить, не давали ему уснуть. Он вышел в галерею и прошел мимо спящего в коридоре с открытым ртом Калинича. Он прошел не скрываясь и чуть не задел его, ничего не боясь. Калинич не проснулся. Он спустился вниз по лестнице, и никто его не удерживал. Холодный камень жег его ноги. Он искал хоть следа ее и прошел медленно всю лестницу, до самых выходных дверей. Ничего не было. Он толкнул тяжелую дверь, и дверь открылась, — в суете забыли ее закрыть. Он постоял у двери, смотря на желтый свет фонаря, в отчаянье. Мысль о бегстве пришла ему в голову. Он хотел попрощаться с нею, обнять ее, сесть на коня и бежать. Он нашел бы в пути Каверина.

Ее тоже звали Натальею.

14

Было поздно, кончился спектакль, с таким упорством придуманный директором Малиновским. Радости не было. Куницын был бледен, недоволен. Эту победу не следовало праздновать светским спектаклем, и ничего, кроме скуки, которую все чужие, дворские люди принесли с собою, не было. Какая несчастная мысль! Он зашел в неурочный час к директору просить об отпуске: брат его был ранен в грудь навылет под Бородином. Он хотел видеть его, быть может в последний раз, и завтра уезжал. Он постучал, ему не ответили. Он заглянул.

Малиновский сидел за столом в халате, согнувшись в три погибели, обхватив обеими руками голову. Он поднял голову и поглядел на Куницына тусклым взглядом. Слезы текли по его лицу, и он их не замечал, не утирал.

— Сколько легло, — сказал он хрипло. — Теперь весь мир видит, с кем дело имеет. Прими в славу народ твой!

15

Все в лицее после внезапного и нестройного праздника поколебалось. Вскоре директор Малиновский получил от министра Разумовского строгий выговор. Разумовский был в эти дни в жесточайшей хандре и гневе. Он всегда был того мнения, что тягаться с Наполеоном было безумие. Нынче он получил известие от своего ученого садовника Стевена, сын коего, по его рекомендации, воспитывался в лицее: вюртембержцы из Наполеоновых войск налетели на Горенки и ограбили дочиста. Садовода угнетало, что сделали это не безбожные французы, а именно вюртембержцы. Как бы то ни было, все в Горенках было перебито, разрушено и вытоптано, и только выкуп, предложенный садоводом, заставил победителей покинуть сады. Получив известие о несвоевременном спектакле, Разумовский нашел выход своему гневу. Разыгрывание каких-либо пьес в присутствии посторонних лиц воспитанниками впредь строго воспрещалось. Директору, как неопытному юнцу, ставилась на вид неуместность вечера, данного в лицее 30 августа. Просьба воспитанников через гувернера Чирикова о дозволении им в свободные часы

сочинять и представлять театральные пьесы — отвергалась даже в том случае, если бы это происходило без посторонних зрителей.

Директор Малиновский впал в явную, более ни от кого не скрытую немилость. Тотчас Гауеншилд посетил министра, и для всех стало ясно, что ему даны сильные обещания, если не полномочия. Он ходил по лицею торжествуя, все быстрее жевал лакрицу и много говорил с Корфом, которого любил за благонравие. Он однажды ему сказал, как всегда отрывисто и попыхивая, что вряд ли из них образуются актеры. И он посмеялся немного над их актерством. Потом, заложив руки в карманы и оттопырив фалды фрака, он, тихо мурлыча, прошелся по залу. Его редко видели в столь приятном настроении.

16

Кюхельбекер получил письмо от матери: Барклай, отставленный, преданный непониманием и завистью, безропотно подчинился новому главнокомандующему, поступив под его начальство и этим принеся величайшие жертвы самолюбия, чем и явил пример мужа, любящего свое отечество, а в Бородине бросался, подобно простому солдату, в самые опасные места, под пули и ядра, ища смерти, — но не нашел ее. Он все сделал под Бородином для спасения людей, коими командовал, как ранее спасал их во время своего главнокомандования. Дальнейшее покажет, прав ли он был, отступая без боев, но душа его невинна, и не дело юнцов судить военные замыслы и распоряжения мужей, не понимая смысла и значения их. Слово «измена» не должно омрачать их умы, и они должны ждать решения суда высшего начальства и истории.

Кюхля тотчас прочел все это Пущину, Пушкину и Вальховскому. Вальховский ранее принял горячее участие в осуждении полководца. Он почитал героем Суворова и был за штык и пулю, за горячий старинный бой и немедленные движения. Но поведение Барклая вдруг круто переменило его суждение о нем. Упражняясь перед сном в изнурительной гимнастике, Суворочка приучал себя к *справедливости*. Пущин был совершенно согласен

на оправдание полководца. Пушкин молчал; оклеветанный и несчастливый полководец искал под Бородином смерти. Вдруг он закусил губу, вспыхнул, что-то проворчал и в замешательстве убежал. Он так поступал всегда, когда бывал сильно тронут.

17

Осень стояла теплая, ясная, сквозная. В лицейском садике кучею лежали листья, и ему доставляло тайную радость бродить по охапкам, наметенным дядькою Матвеем, под присмотром коего садик находился. Тишина была полная, ни ветерка, ни дождика. Они стыдили Калинича, который предсказывал жестокие холода, и Калинич разводил руками.

— Я не об осени говорил, — сказал он упрямо, — а о морозе, стало, о зиме.

Листва опадала; кой-где желтые сквозные листья слабо шевелились под теплым ветром.

Калинич подозвал Яковлева к дубу и указал ему молча на редкие дубовые листья, которые все не хотели опадать. Яковлев не понимал.

— Лист не чисто падает, — сказал важно Калинич, — стало, зима будет строгая.

Он был уверен в своих приметах и более распространяться не хотел. И правда, назавтра вдруг подул ветер, налетела буря, деревья в саду кланялись и стонали.

В один такой день Москва была оставлена войсками и занята неприятелем.

18

Они услышали о пожарах, опустошающих Москву: она горела со всех сторон. Загорелось на Солянке, у Яузского моста и на противоположной стороне города. Вскоре пожар стал всеобщим. Самые сады московские не были пощажены огнем: деревья обуглились, листы свернулись.

Горели великолепные дворцы вельмож московских, гостиный двор превратился в пепел, Воспитательный дом сгорел, за Москвою-рекою стояло пламя; сильный ветер дул в эти дни.

Куницын привез из города известие от Тургенева о родителях; они были целы и невредимы, в Нижнем Новгороде, как и дядюшка с тетушкою. Отец бодр, и вскоре Александр получил от него подробное письмо.

Назавтра Малиновский спросил о поведении воспитанников у Чирикова, дежурившего ночью. Чириков сказал, что в ночное дежурство он заметил, что некоторые ворочались и не спали, — вздыхают, ворчат и вообще беспокоятся, а на оклик гувернера не отвечают и показывают себя спящими, в чем, однако, видно притворство. Другую половину ночи сам Чириков спал и поэтому о ней не говорил. На вопрос о том, кто именно не спит и беспокоен, — Чириков назвал в первую голову Пущина и Пушкина.

Он в самом деле не спал. Он по реляциям знал о страшных опустошениях Москвы, которые причинил неприятель, но сначала не мог их себе представить.

Гнездо у Харитония не существовало; оно показалось ему прекрасным. Там у печки лежал истертый коврик. Но было сожжено и разрушено *все* — самые улицы, по которым он гулял, более не существовали. Москва или большая ее часть объята пламенем.

Он пошел знакомым путем — по бульвару и никак не мог вообразить, что кругом дымятся развалины. *Самые сады обуглились,* — сказал Куницын. Он слышал в темноте однозвучный ход часов в коридоре и содрогнулся. Он привык ничего не бояться, не плакал, как Корсаков. Он не думал ни о родителях, бежавших на Волгу, ни даже об Арине, — он думал о Москве, о пепелище, где родился, где рос, куда должен был некогда вернуться; теперь некуда стало возвращаться. Он был один как перст и с широко раскрытыми глазами лежал и смотрел в темноту, со всех сторон его обступившую. Он вспоминал знакомые дома, один за другим, и сомневался в их существовании. Даже спросить было не у кого. Царское Село было в этот час пустынно. Он тихо постучал в стенку, и тотчас ему ответили слабым стуком: Пущин не спал. Он поуспокоился. Москва не могла быть уничтоженной, и он решил еще раз повидать ее, чего бы это ему ни стоило. Он сказал об этом Пущину, и Пущин его одобрил. Бегство, путь, Москва, враги, мщение мерещились ему. Пущин еще раз постучал ему и пожелал доброй ночи.

Дядька Фома, пришедший их будить, взглянул сквозь оконную решетку и не стал стучать: и курчавый и толстый, — оба не спали. Он только сказал, как всегда:

— Господи помилуй, — и отошел.

Директор Малиновский пожелал видеть Александра. Он спросил его, давно ли он получал письма из дому, и вдруг тихонько поправился:

— От родителей.

Дома более не существовало.

Малиновский внимательно на него посмотрел.

— Теперь все скоро кончится, — сказал он ему спокойно. — Все думают еще, что Москву жгут французы. Ошибаются. Французы не безумны. Москву жжет россиянин. Задрали его за живое, остервенили, ранили, поиздевались, и он все свое сожжет, сам в огне погибнет, но и гости живы не будут.

Александр, раскрыв рот, смотрел на него. Это была совершенная новость, и он ее еще не понимал. Малиновский был спокоен, как никогда, со странной усмешкою.

— Вы Игореву смерть и Ольгину месть помните? — спросил он Александра. — Иван Кузьмич только древнюю историю вам еще читает, к концу года, видно, объяснит и про Ольгу, ибо она относится уже к средним векам. Нужно вам почитать хоть Глинкино переложение. Для послов древлянских, виновных в смерти Игоревой, истопила Ольга баню жарко и спросила гостей: хорошо ли им? И гости ответили: «Пуще нам Игоревой смерти». А потом пошла к древлянам и велела варить меды в Коростене, а за Игореву смерть взяла с них легкую дань: с каждого двора по три воробья и голубя. И радовались древляне, что так легко откупились. А Ольга велела привязать зажженный трут с серою к птицам и пустила их на волю: вернулись к домам своим, к гнездам, и сожгли Коростень. Так-то бывало. Не хвались, на пир едучи, хвались, с пира едучи. Идите, не скучайте, я вами много доволен.

Последнее директор сказал неожиданно для себя самого, вопреки табели, потому что нужно было сделать Пушкину строгий выговор за то, что, полагаясь во всем на свою счастливую память, он, по общим жалобам, вовсе перестал готовить упражнения. И он обнял его.

19

Сергей Львович, так же как и Василий Львович, бежал из Москвы вместе со всем обществом в Нижний Новгород. Василий Львович был в бедственном положении — как раз в это время не было у него в Москве денег, — и он ничего не успел вывезти. Никто не пришел к нему на помощь. Ехал он в простой телеге. Все то, что скопилось у него в течение всей его жизни, все драгоценные по памяти и достоинству вещи остались на произвол врага. Он вспоминал дрожки, на которых ездил еще в ту эпоху своей жизни, когда был бриганом, с приятелями к московским сводням, — дрожки были оставлены в сарае и, вероятно, похищены; вспоминал карету, недавно подновленную, — карету, которая еще покоила прелести жестокой Цырцеи, — бог весть, где она! Мебели, с которыми он сжился, как с друзьями, кушетка, подобная той, на которой живописец Давид изобразил улыбавшуюся когда-то Василью Львовичу Рекамье, — достались, по всей вероятности, ее же соотечественникам. Он был немолод и, привыкнув ко всему этому, не воображал, как обзаведется новым. Да к тому же не было и денег.

Осталась там и библиотека, полная драгоценных книг, известная всей Москве. Странное дело — Василий Львович почему-то вначале менее жалел о ней, чем о карете. Библиотека у него была громадная, редкая, и потеря слишком велика, чтоб ее часто вспоминать. И только потом, вспомнив экземпляр Аретина с картинками, единственными в своем роде, всплеснул руками и замер. Убивало Василья Львовича более всего, что он выехал в легком плаще, а весь гардероб, шуба и прочие вещи, к которым он привык, как к собственной коже, погибли.

Вместе с тем, у него была тайная легкая надежда, что все это как-нибудь вернется, — невозможно, чтобы все эти предметы погибли! Об этом он никому не говорил. Он громко жаловался Аннушке на отсутствие любимых предметов — каждого в отдельности: недоставало то трубки, то халата.

— Эту трубку просил у меня князь Шаликов, — я не отдал.

Или:

— О! Сколько добра награбят злодеи! Вот и мой халат пропал!

Он избегал говорить о своих потерях среди беглых московских жителей; их, казалось, ничем нельзя было удивить; среди них возникло даже соревнование в бедствиях. Они собирались первое время у Бибиковых или Архаровых, которым были отведены весьма приличные дома, и препирались: кто более всех потерял имущества? Василий Львович в первый же вечер со вздохом сказал, что погибло все его движимое имущество, но это было принято сухо. Здесь были люди, у которых погибло гораздо больше.

— А что же именно потеряно? — спросил с неприязнью старый Архаров.

Услышав о драгоценной библиотеке, он сказал задумчиво:

— Библиотека что? Можно в лавке новую прикупить. У меня паркеты погибли.

С этих пор Василий Львович говорил о своих потерях только нижегородским дамам. Они приняли в нем участие. Самый говор их казался Василью Львовичу необыкновенно забавен, любезен: они растягивали все слова на о. Вскоре он стал волочиться за прекрасной Елизой Саламановой. Нижегородские прелестницы были более угловаты и неловки, чем московские, но это восхищало Василья Львовича своею новостью.

Жил он в избе, осень была холодная, а он ходил без шубы. Но день постепенно стал заполняться, возобновились старые, давно оставленные связи: появился в Нижнем Новгороде кузен — другой Пушкин, Алексей Михайлович. Кузен стал еще неопрятнее и злее, обращался с Васильем Львовичем небрежно, слишком звучно и долго целовал его и проч. Осведомлялся при всех о здоровье домашних, особенно напирая на это слово и разумея, по-видимому, Аннушку. Василий Львович называл его теперь везде однофамильцем и решительно отказывался от родства. Однофамилец с утра до вечера играл в карты, непрерывно куря табак, кашлял и кричал. Однажды он окликнул из окна какого-то дома, где вторые сутки играл, Василья Львовича, который шел к прелестной Елизе.

— Mon cousin! Ты трубку мою нашел?

Василий Львович остолбенел от наглости. Он пожал плечами и прошел, не говоря ни слова, мимо. Его трубка была, точно, подарена ему Алексеем Михайловичем много лет назад, но именно подарена, в именины. Кстати, она погибла со всем движимым достоянием. Вскоре рознь кузенов заняла нижегородское общество: Карамзин улыбался, завидев их вдвоем, как в былые годы. Он говорил с каким-то удовольствием, вздыхая:

— Все меняется на земле, одни Пушкины остаются неизменны.

Между тем общество привыкло к своему положению и даже стало находить приятности в бродячем существовании; начались развлечения: балы, маскарады. Василий Львович, которого всецело заняла Елиза Саламанова, решил выступить в качестве поэта. Он сочинил патриотическое и очень милое обращение к жителям Нижнего Новгорода, где оплакивался московский пожар. Здесь не было надутых восклицаний и уподоблений военачальников древним римским героям, а чистота, опрятность слога и некоторая жалобность; после каждого куплета прибавлялось:

Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Стихи ему удались. Славный любитель музыки, московский профессор Фишер, который тоже бежал со всеми из Москвы, положил их на музыку. Куплет исполнял один голос, а припев — хор. На балу у губернатора Крюкова романс Василья Львовича имел успех оглушительный. Слава певца поразила доселе холодную Елизу. О вечере было написано в Петербург, и Василий Львович был упоен. На улице нижегородские дамы толкали друг друга чуть заметно под локоток, показывая глазами на проходящего в легкой одежде поэта. Василий Львович косил и хладнокровно проходил мимо.

Вскоре он стал предметом низкой зависти однофамильца. Алексей Михайлович озлел и стал говорить, что куплеты Василья Львовича с припевом напоминают ему колодника, который под окном просит милостыню и оборачивается с ругательством к уличным мальчишкам, которые дразнят его. Ругательствами однофамилец назвал сильные, но приличные куплеты против врагов, имевшиеся в стихотворении. Василий Львович прене-

брег — в который раз — клеветою и притворился, что ничего не слышал. Между тем даже Николай Михайлович Карамзин, говорили, улыбнулся отзыву развратника. Василий Львович сказал об этом Аннушке:

— И в избе не спасешься от клеветы.

Аннушка сразу же начала хлопотать о шубе для Василья Львовича. Вскоре она где-то раздобыла купеческую поддевку, но он решительно, с негодованием отказался от нее. Аннушка с нижегородским портным долго ее перешивали. Василий Львович напялил шубу, посмотрел на себя в зеркало и вспомнил Велизария, как он его видел на парижской сцене. Ему удалось задрапироваться так, что шуба окончательно утратила свой подлый вид. Он махнул рукою. Начинались морозы. Денег не было ни гроша. Особенно его раздражало, что однофамилец не только был везде принят, но и выиграл за это время тысяч до восьми.

Впрочем, горевать ему стало вскоре некогда. На одном вечере он ввязался в литературный спор. Зашел разговор о французской литературе. Иван Матвеевич Муравьев-Апостол, человек почтенный, но со странностями, говорил против нее. Василий Львович дал себе еще в Москве зарок не говорить слишком горячо и остро, боясь, что Ростопчин его уничтожит как мартиниста. Но здесь было далеко от Москвы и Ростопчина, и Василий Львович, дрогнув, ввязался в спор. Для него не было секретом, что Муравьев был сопричтен лику «Беседы» и был у Шишкова директор разряда — вещь немаловажная. Но Нижний Новгород, эта любезная республика беглецов, смешала чины и возвратила свободу мнений. Василий Львович сказал, что Никону всегда предпочтет Вольтера как стилиста и что без логики изящным быть невозможно. Грессе есть поэт, а Шихматов — нет.

Спор завязался. Все общество было поражено и заинтересовано модным спором и горячностью Василья Львовича. Он, видя себя снова предметом общего любопытства, зажмурился, как человек, бросающийся в пропасть, и прочел на память две странички Грессе, а потом пояснил довольно твердо, что одно — дела военные, а другое — вкус поэтический. Придя домой, он разбудил Аннушку и приказал ей быть готовой ко всему. Аннушка, взглянув на его мрачный вид, заплакала тихонько. Ва-

силий Львович дрожал — не то от легкости своей шубы, которую он называл плащом Велизария, не то от страха. Аннушка согрела его, и он уснул.

Назавтра он получил с утра, сидя в своей избе, три приглашения: на вечер, маскарад и спектакль у Бибикова. Василий Львович приободрился, и страха как не бывало. С этого дня он был в великой моде, всюду теперь был зван, а обеды, ужины, балы, маскарады шли непрерывно, так что горевать вскоре не стало времени. Он едва успевал прочесть реляции.

Он нашел любезные черты в самой волжской кухне. Налимья печень и стерляжья уха, о которых однажды говорил ему Иван Иваныч Дмитриев, окончательно вытеснили в его сердце парижскую матлоту. Он вполне успокоился и снова приобрел приятную уверенность в себе и сознание своего значения. Да, он пресмыкался ныне в стране, где Волга, соединясь с Окой, обогащает всю Русь мукою и рыбой. Так было угодно судьбе! Что делать! И он давал некогда ужины — и какие! И он воспевал граций, которые были известны Петрополю. И он щеголял дорогою каретой, лихой четверкой. И он, как все прочие, имел диваны и паркеты — и не хвастает ими, так же как кенкетами и своею бронзою. Как он умел транжирить, боже! А здесь — дело иное. Здесь он пресмыкается, как беглец. Но все не так, как другие. Он презирает бубновый туз, который приносит некоторым по восьми тысяч, — в особенности, если игра не чиста. Изба, рублевая кровать, два стула, перо и бумага — вот его достояние. Добрая служанка, из тех, коих особенно любил Пирон, блюдет его покой. Он поэт и марает бумагу. Однофамильцы пользуются его славой и набиваются в родню. Знаменитые писатели смеются, слушая этих шутов. Что делать! Он молчит. Терпение и чистый вкус, бедность и спокойная совесть — таково его достояние, достояние поэта. А этого достояния неприятель не может его лишить, как лишил дрожек, новой кареты, мебелей и драгоценной библиотеки.

Так, или почти так, говорил он прелестной Елизе и нескольким другим прекрасным, умалчивая, однако, о служанке Пирона. Елиза грозила ему пальчиком, как, видела она, делали московские прелестницы. Он снова был бриган, поэт, вертопрах, хоть и стареющий, но готовый к боям — литературным.

20

Иначе обстояло с Сергеем Львовичем.

Сергей Львович, который был принужден спасать прежде всего женины платья, приоделся во все самое лучшее, взял в руки батистовый платок, прихватил по дороге шифоньерку, потом накинул на мужика, которого удалось принанять, свою шубу — и так бежал в мужичьих дрогах с Надеждою Осиповною из Москвы. Он с озлоблением затолкал в самый угол узел с жениными платьями, а затем, под предлогом, что его трясет, уселся на узел. Надежда Осиповна сама этого не сделала, потому что боялась измять платья. Она заметно присмирела. С собой она взяла свой портрет, рисованный известной Виже-Лебренью в тот год, когда гвардеец Боде сказал ей, что две самые прекрасные женщины sont les deux belles créoles[1] — она и Жозефина, супруга Бонапарта. Теперь Бонапарт жег Москву, а она тряслась в мужицкой телеге. Левушка и Оленька подпрыгивали на передке, а Арина сидела, свеся ноги, сбоку. Никита был оставлен в Москве для спасения вещей.

Только что отъехали от Москвы — произошло неожиданное неповиновение Арины, которое Сергей Львович иначе не мог назвать, как бунтом. Арина уже ранее, как только почуяла, что собираются уезжать неведомо куда, хмурилась, морщилась и тайком по вечерам прикладывалась к пузырьку, о чем Надежда Осиповна хорошо знала, но не подавала виду; она иногда робела ее. Накануне перед выездом Арина поссорилась с Никитою.

— В Петербург ехать надо! — сказала она ему тихонько. — А то неведомо куда.

— А кто вас, Арина Родионовна, в Петербурге ждет? — холодно спрашивал ее Никита, подняв брови.

— На кого оставляют-то? Сиротят раньше время, — говорила Арина, не обращая внимания на Никиту Козлова, и добавила, шипя: — С глаз долой, из сердца вон.

— Куда люди, — сказал Никита.

— А ему-то куды деваться, бесстыжий ты человек, — прошипела Арина и шмыгнула носом, — что в лесу.

— Ну, а что ж, — окрысился Никита, — что делать-то? Вы, что ль, за ним поедеге? Один разговор.

---

[1] Это две прекрасные креолки *(франц.)*.

— И я,— сказала Арина.

Собиралась она, впрочем, безропотно, но, отъехав верст с двадцать, начала утирать глаза и даже слегка тихонько подвывать.

Надежде Осиповне и самой хотелось завыть, она кусала платок, и Сергей Львович, не терпевший женского плача, как угорь вертелся в повозке. На первой же остановке Арина исчезла. Хватились — и увидели: увязав в платочке сухари, она идет по дороге. Ее догнали и привели. Сергей Львович растерялся.

— Это есть побег и бунт,— говорил он тихо Надежде Осиповне.

— Ты куда надумала? — спросила ее спокойно Надежда Осиповна.

— В Петербург,— отвечала Арина,— Александра Сергеевича повидать, не затерялся б там один.

— Вы рехнулись, Ирина? — спросил ее Сергей Львович, изумленный и выйдя из себя.

Сам того не замечая, он стал называть ее на вы и Ириною.

Арина вздохнула, уселась в повозку, и все поехали.

Привыкнув к пути, Сергей Львович внезапно почувствовал радость, ему надоело московское жилье донельзя. Общая суета и неизвестность, полная возможность перемен и некоторое значение, которое он получал в глазах жены ввиду грозных обстоятельств,— нравились ему. Он, который бледнел при виде разбитой рюмки, теперь, когда утратил все, почувствовал удивление, и только. Дорожные встречи развлекали его: москвичи, кто в чем, бежали. Подводы тянулись.

В Нижнем Новгороде грубая существенность сразу окружила его: грязная изба, которую удалось нанять, оскорбляла его.

— C'est une[1] скотная изба, mon ange,[2] — говорил он Надежде Осиповне.

Он — в своем лучшем платье, она — в вечернем наряде выводили кипятком клопов, сновавших по стенам.

Впрочем, он, как и в Москве, охотно пропадал из дому. Он бродил по берегу Волги, в том месте, где Ока

---

[1] Это *(франц.)*.
[2] Ангел мой *(франц.)*.

впадала в нее, встречался с московскими знакомыми, знакомился с нижегородскими обитателями.

Он был человек не без значения и, по всему, состояния независимого. Сын его был в Царском Селе, в лицее, в этом полупридворном учебном заведении, находившемся в самом дворце. Сын часто писал ему письма. В Царском Селе теперь большое оживление: обе императрицы, двор. Конечно, бог знает, не двинется ли злодей на Петербург, — и тогда, несомненно, первым делом на Царское Село; но одно, что утешает родителей, — Иван Иванович Дмитриев печется о нем и всецело заменяет ему там отца. Находящийся во дворце, под попечением Дмитриева, отрок разделит судьбу своего государя. Que la volonté de Dieu soit faite! [1]

Словом, он был один из трех Пушкиных, не то поэтов, не то игроков, занимавших внимание нижегородского света. Однако странная холодность возникла вдруг между братьями. Василий Львович, казалось, думал лишь о себе и своих успехах. Когда-то давно он посвятил брату стихи, которые Сергей Львович помнил как символ веры:

В семействе нашем,
Где царствует любовь,
Играли мы, как дети,
В невинности сердец.
Не унывай, любезный,
Чувствительный мой друг!
Не все нам быть в разлуке,
Не все нам горевать!

Теперь братья-беглецы соединились, но любви как не бывало. Более того — Василий Львович с первых же пор постарался сбыть с рук Сергею Львовичу сестрицу Анну Львовну, под предлогом, что у него ничего нет, а в его избе тесно. Сергей Львович возмутился: у него тоже ничего не было, а изба была еще хуже. Впрочем, дамы переглянулись и дали понять Сергею Львовичу, что все дело в щекотливости пребывания Анны Львовны под одною кровлею с Аннушкою. Анна Львовна была теперь с ними. Второе обстоятельство, способствовавшее холодности, было старинное соревнование. Сергей Львович всегда чувствовал себя поэтом, с раннего

---

[1] Да исполнится воля божья! *(франц.)*

детства. Французские стихи его были решительно хороши и лучше братниных. Когда-то брат не стыдился ставить себя в ряд с ним, вспоминая, как оба в юности

Творцу вселенной
На лире пели гимн.

— Поэзия святая! — восклицал тогда Василий Львович, —

Мы с самых юных лет
Тобою занимались;
Ты услаждала нас!..

Теперь Сергей Львович, чувствуя себя в новой обстановке обновленным, как бы помолодевшим, чего с ним давно не бывало, узнал старое вдохновение. Нижегородские дамы сперва путали его с братом, принимая и его за поэта, каковым он на самом деле и был в душе. Он первый познакомился с Елизою, и когда та попросила начертать несколько строк в своем альбоме, он не отказался. Во французском, кратком и легком, стихотворении он сравнил ее с ручьем, дающим возможность напиться беглецу. Василий Львович, который также сочинил небольшой экспромт и должен был записать его в альбом по повелению Елизы, был неприятно поражен соседством брата и омрачился. Как бы то ни было, появляясь в обществе, братья вели себя как чужие. Сергей Львович в злую минуту вздумал сыграть в карты с кузеном и проигрался. Сестрица Анна Львовна ссудила его деньгами, но тут же, невзначай, поинтересовалась, как распоряжается своими деньгами племянник в Царском Селе. Сашка так молод, скор и неопытен, что, верно, давно все спустил на какой-нибудь вздор.

Сергей Львович холодно ответил, что Сашка ничего спустить не мог, затем что братец Василий рассудил оставить деньги при себе.

Анна Львовна ничего не ответила, но стала относиться с тех пор с подозрением ко всем нижегородцам и прятала «Утренник прекрасного пола», в котором страницы были переложены ассигнациями, к себе под подушку.

Вскоре Сергей Львович, не подавая виду, что судьба Александровых ста рублей ему известна, попросил

у братца Василья Львовича сто рублей, рассчитывая долга не отдавать и таким образом с братом счесться. Василий Львович отказал наотрез, всплеснул руками и заявил, что первое — он никогда не ссудит брата для его же погибели, чтобы деньги перешли в карман однофамильца, а другое — денег у него нет.

Когда-то Сергей Львович любил стихи Карамзина:

Должность, нежность и любовь
Купно верность награждают.

Как не так! Ни слова о должности, ни слова о нежности брата, не возвращающего денег, о любви, которая более не к лицу, — но и сам Карамзин, автор этих строк, стал еле удостоивать при встречах вниманием.

Вскоре Сергей Львович, сначала так везде хорошо принятый, с ужасом убедился, что его ни во что не ставят, — последствие ссоры с братом, а брата — с кузеном, злого языка которого Сергей Львович боялся, как огня. Имев неосторожность вначале выдать себя за поэта, он почувствовал себя разоблаченным. На него посматривали как на какого-то самозванца. Елиза и ее приятельницы перестали его приглашать.

Однажды он вернулся к вечеру в избу. Надежда Осиповна сидела разряженная, напудренная, поставив на щеку мушку, в открытом туалете, и держала в руках портретик, нарисованный Виже-Лебренью. Их сегодня никто не пригласил. Слезы текли по ее увядшим щекам. Сергей Львович вдруг содрогнулся и почувствовал, что никогда не вернется в Москву: ежели бы Сергея Львовича униженно просили об этом жители, он никогда не вернется в этот город, который не сумел его оценить. Он не в чинах, но независим, чужим не пользуется, никем не одолжен. Война грозит всем одинаково, и судьба его ничем не ниже, чем судьба его брата, судьба Карамзина и всех других. Перед лицом судьбы все они теперь беглецы. Притом судьба детей его устроена — Александр в Царскосельском лицее, во дворце, и если уцелеет дворец, уцелеет и Сашка. Он на виду. Пора положить конец злоязычию. На край света, но только вон из Москвы. Москва не существует ныне, — но в таком случае — вон из Нижнего Новгорода!

21

Осень ударила вдруг: ветер завывал, мокрый снег лепился по веткам и бил плетьми по лицу, когда они выходили на прогулку. Пустынные сады стояли кругом, небо было мутно; Большой Каприз, как надгробный холм, темнел вдали; торчали носы кораблей на седом дедовском граните. Луна всходила багровая, кровавая. Он нашел книжку Парни, где все это было названо. Сады назывались лесами Морвена, пещера — пещерою Фингала. Обо всем этом некогда пел бард Оссиан.

Однажды появился у них тот самый молчаливый мужик в синей поддевке, с окладистой бородой, который шил для них мундиры при поступлении, — придворный портной. Он быстро и ловко снял с них мерку и записал, держа складной аршин в зубах и не отвечая на вопросы. Потом бородатый мужик посмотрел на них, ухмыльнулся и ответил всем сразу:

— Не беспокойтесь, ваши благородия, понапрасну. Новых мундирчиков не будет. Шью вам на холодное время, в дальнюю дорогу тулупчики: китайчатые, на заячьем меху. Сто лет стоять будут.

Сомнений не было: они уезжали.

Пущин, самый дельный из них, стал тотчас все приводить в порядок и даже укладываться. Корф всплакнул.

Москва была сожжена. Харитоньевский переулок более не существовал. Царское Село не было более «стройными садами», а пустынею, лесами; начиналось, быть может, бродячее существование. Товарищи, верно, теперь разбредутся по домам. У него дома не было, и дядя и отец были неведомо где, в Нижнем Новгороде, а дворня, верно, бродила, одичалая, по пустынным лесам. Он был покинут на самого себя, отрезанный ломоть. Он решил не поддаваться страху, стиснул зубы и с какою-то радостью приготовился ко всему. Одного существа ему было, быть может, здесь жаль — Наташи, горничной Волконской. По ее огоньку он и теперь вставал.

Во время прогулки он нашел где-то суковатую обледенелую палку и, портя казенные варежки, нарушая порядок в парке, стал сбивать замерзлые ветки. Он прощался с этими местами. Назавтра они встретили

у самого лицея горничную Наташу, и он нашел случай ей шепнуть два слова.

Вечером он прокрался в арку. Все уже разошлись по своим комнатам. Проходя мимо комнаты Корсакова, он услышал тихий звон: у Корсакова был обнаружен учителем пения талант, и Корсакову доставили из дому гитару. Ложась спать, он осторожно пробовал ее: более громкий звук привлек бы внимание гувернера. Чириков возился в дежурной комнате или даже ушел спать к себе. Вообще строй жизни видимо был поколеблен, — вскоре предстояло им перебраться в другое место, и порядок сам собою отменился.

Он прошел вдоль арки, заглянул в мутное окно, там была тьма, хоть глаз выколи, фонари на дороге мигали, иногда проносился ветер, и стекла звенели. В арке было холодно, в ней давно уже не топили.

Дверь была не заперта; Чирикову, который жил в комнате рядом, было предоставлено право пользоваться этим входом. В последнее время он был весь погружен в сочинение поэмы «Герой Севера» и стал рассеян: несколько раз уже забывал запереть двери.

Он приоткрыл дверь и заглянул. Столетняя тяжелая дверь скрипнула, и он замер. Так он простоял некоторое время. Было так холодно, что дрожь его пробрала. Он не сомневался, что Наташа не придет; он услышал, как в лицее дядька Фома ворчал на кого-то, может быть на эконома, и, вздохнув, сказал: «Господи помилуй». Потом все опять стало тихо. Он вспомнил, что сказал Наташе только: «в арке, вечером», — и она, может быть, была уже здесь и никого не нашла. Потом он подумал, что дядька Фома может запереть его с другой стороны, — раньше дверь запирали. Он стоял неподвижно, а в углу завозились мыши. Ветер позванивал стеклом. Трудно было поверить, что тут же рядом спят Пущин, Кюхельбекер, Корсаков, Горчаков, должен спать и он сам.

Дверь приоткрылась. Он не поверил себе, сердце его забилось. Наташино лицо просунулось. Она посмотрела кругом, раскрыв рот, и было видно, что она боится. Увидя его, Наташа охнула и, кажется, на самом деле перепугалась, несмотря на то, что шла для того, чтобы с ним встретиться. Потом неуверенно шагнула, опустила глаза, задышала и стала перебирать кружева на пе-

редничке. Он ее обнял; она стояла неподвижно, опустив руки, и только сказала:

— Ох, барин, заругают.

Она была вовсе не такая, какой казалась на прогулках, лицо шире, белее, простонароднее, она сама больше; он никогда не слышал ее голоса. Тогда он обнял ее и вдруг почувствовал, что ни за что никуда ее не отпустит. Рука его отяжелела. Он почувствовал ее тяжесть, так непохожую на тяжесть товарищей, с которыми он только сегодня боролся: Броглио и Малиновского.

В самом углу, близко, завозились мыши. Вдруг она прижала его к груди так, что он услышал ее сердце, и сказала, задохнувшись:

— Ох, барин, баринок, милый мой! Заругают! Что вы, разве можно?

Она прижалась губами к его глазам, видимо не умея целоваться, и он услышал, как ходит ее сердце, она оттолкнула его, вырвалась с силой, которой он не ожидал, и юркнула в дверь так стремительно, как могут на свете одни горничные девушки. Он побежал за ней, но ее и след простыл. Он ощупью пробрался по какому-то коридору с холодными голыми стенами до какой-то двери и, не думая, сунулся туда. Голова его пылала, сердце сильно билось; он прошел какую-то комнату и ногою нащупал лестницу. Прислонясь к стене, он стоял, вытянув шею, готовый на все. Он не думал о том, что если его найдут, — он будет прогнан из лицея с позором, как глупец Гурьев; ему нужно было сейчас же найти Наташу, а он заблудился.

Вдруг, стиснув зубы, он куда-то толкнулся, взбежал по ступеням и сразу очутился в арке. Он удивился, видя, что был от нее в нескольких шагах. Он был растерян, ошеломлен. Он боролся с товарищами, и с ним справлялись только Броглио и Малиновский, он был ловчее Пущина, почти наравне с Данзасом, он был *шалун,* и то, что Наташа вырвалась от него, а он ее не догнал, был для него позор.

Он собирался с ней проститься, приготовил несколько первых слов: «друг Наташа», «свет-Наташа», «бог весть, приведется ли увидеться», «спит ли твой Аргус?» и проч., но вдруг онемел, когда ее обнял, и не нагнал, когда она убежала. Он подошел к своему окну, стараясь понять,

куда могла так скоро скрыться Наташа, — верно, у нее была какая-то лазейка. Нигде не было видно Наташина огня, все было мутно и мертво. Там спала старуха Волконская, с сизым носом, пепельным лицом, которую он назвал бы Аргусом, и где-то невдалеке от нее прекрасная, тяжелая и проворная Наташа. Он посмотрел исподлобья на окно, за которым, так близко, спали Прозерпина и Душенька.

Завтра они уезжали.

Между тем Чириков не спал, он шатался в толстых войлочных туфлях по коридору и, кашлянув, заглянул сверху в решетку его двери. Ночь была темная, свеча горела тускло, он ничего не увидел и, подумав, что Пушкин Александр спит, пошел далее.

22

Стало известно, что они дождутся годовщины открытия лицея, которая, впрочем, не будет празднована, затем что торжества или даже просто развлечения, учреждаемые директором Малиновским, вызывают строгие выговоры и какое-то озлобление министра, а там сразу же соберутся в путь. Их повезут не в Ревель, как ранее думали, а в финский город Або; профессора с ними не поедут. Наблюдать над ними и учить их будут профессора тамошнего университета, немцы. Гауеншилд был весьма доволен.

— Это будет как бы Геттинген, — сказал он.

Малиновский заметил это Гауеншилдово довольство. Он куда-то однажды поехал и вернулся с маленьким бритым старичком. Казак сразу же сказал им под секретом, что с ними едет старый Самборский, который выразил желание сопровождать их и взять под свое смотрение в Або. Он много путешествовал, долго жил на чужбине и охотно согласился на новое, последнее путешествие. Малиновский же временно останется в Царском Селе, капитан покидает последним тонущий корабль, сказал Матюшкин.

19 октября прошло. Горчаков с утра начинал прихрамывать и, слегка пришептывая, говорил:

— Год уже! Год, как мы здесь! Мы — старики. О, моя старая подагра!

День 19 октября, год тому назад такой шумный, прошел незаметно. Назавтра с утра все шло своим порядком. Они выпили горячего сбитню, — ссылаясь на военные времена, скряга эконом вместо чаю давал им теперь сбитень, по их мнению, немилосердно наживаясь на этом. Они роптали на сбитень, — этот напиток окончательно уравнивал их с придворными певчими.

Никто не сказал им после чаю собираться, и эта новая проволочка многих заставила нахмуриться: почти все примирились с мыслью об отъезде. Царское Село стало им чуждо: они уже с ним простились.

Учитель истории Кайданов не был никем любим. Все его существо, грузное и приземистое, не имело ничего любезного. Он ходил, переваливаясь с боку на бок, и во всем сохранил отпечаток Переяславской семинарии, в которой до лицея преподавал. Он был хитер: глазки его были плутовские. Он был озлоблен, — воспитанники, при которых приходилось скрывать семинарские привычки, утомляли его. Он, может быть нарочно, из озлобления, сохранял их. Он читал свои лекции по книжкам, протяжно и певуче, напоминая иногда сам себе своего семинарского ректора, а Миша Яковлев говорил, что похоже на дьячка Паисия. Тайная лень и равнодушие одолевали его. Он был лукав и груб, и самое большое наслаждение было для него озадачить. Но его слушали. Быть может, важное равнодушие его голоса и неожиданность сравнений были главною тому причиною.

В этот день он прочел им лекцию о Фабии Кунктаторе. Фабий, избранный диктатором, решился утомлять Аннибала, сего страшного врага мира, беспрестанными движениями и не вступать с ним в решительное сражение. Карфагенский полководец употреблял все военное искусство, дабы принудить его к сражению; но Фабий, несмотря на обиды, несправедливые подозрения, жалобы и насмешки своих сограждан, не переменил своего плана. Прозвище «Кунктатор» дано ему было в это время в насмешку: он был медлитель.

И старый семинарист пояснил:

— Cunctátor — медлитель. Прошу запомнить сие прозвище, ибо оно пригодится в дальнейшем.

Заплывшими глазками Кайданов посматривал подолгу и с видимым удовольствием на лицейских.

Все его слушали. Насмешки над полководцем, который медлит и не дает сражений, были им очень знакомы. Даже Мясоедов был озадачен. Данзас, который свернул бумажный шарик с очевидною целью швырнуть кому-нибудь, так и слушал с шариком в руках. Кайданов долго ожидал Данзасова проступка и уже хотел, как всегда, сказать Данзасу:

— Данзас-господин, животина-господин, — но так и не дождался.

Сенат избрал Минуция товарищем благоразумному Кунктатору. Минуций был полководец опытный, великий недоброжелатель Кунктатора.

Новый полководец решился вступить в сражение с неприятелем. Аннибал с нетерпением ожидал сего: вдруг окружил он Минуция со всех сторон. В сию решительную минуту обиженный Фабий спас Минуция и явил величие души своей: забыв его обиды и поставляя благо отечества превыше всего на свете, он устремился с высоты гор на Аннибала, разбил его и, не сказав Минуцию ни слова, вернулся в свой лагерь.

Тут Кюхельбекер встрепенулся. Письмо матери о Барклае при Бородине он сам читал Пущину, Пушкину и Вальховскому. Ужас и изумление были на его лице.

Кайданов с удовольствием поглядел в его сторону.

Ничто не могло защитить Фабия от подозрений и негодования его сограждан. Вновь назначенный по требованию сограждан, Варрон решился вступить с Аннибалом в сражение при Каннах, и римляне потерпели поражение. Южный демон ликовал уже.

Наслаждаясь вниманием и тем, что лица самых отчаянных шалунов казались смущенными, Кайданов помедлил. Он посморкался, не торопясь. Лицо Пушкина, сего отчаянного насмешника, показывало внимание, глаза его блестели. Он что-то вдруг быстро и кратко сказал Пущину. Кайданов нахмурился. Он забарабанил пальцем и предупредил нетерпеливого:

— Тише, Пушкин-господин, молчать, Пушкин-господин!

Его, Горчакова, Вальховского он не называл животинами. Потом он встал и приосанился. Живот его сильно выдавался. Он заметил, как Данзас — сей животина, с бесчувственным вниманием смотря на него, стал его срисовывать. Он не сделал ему замечания.

— Характер народа, — сказал он, — познается в опасных обстоятельствах, и римляне по справедливости заслужили в сие время имя великого народа. Среди всеобщего смятения и ужаса Рим представил зрелище, какое девятый-надесять век видит ныне в нашем отечестве: каждый римлянин предлагает свое имущество и самого себя в жертву отечеству, честь и чувство мщения воспламеняли всех. Карфагеняне желали заключить мир, но римляне не хотели слушать о нем. Карфагенский полководец при всем великом уме сделал великую ошибку: он вошел в Кампанию и решился провести холодное время в Капуе. И вскоре Маркелл со славным Сципионом принудил ужасного воителя оставить Италию...

Тут, ухмыльнувшись и скрестив руки на груди, подобно герою, Кайданов посмотрел на Пушкина, бесенка по проказам и понятливости, на Данзаса-животину и с бесстрастным видом, как если бы сам он был Кунктатором, который всех перехитрил, сказал, не торопясь:

— А теперь после окончания сей лекции пройдите в залу для внимательного прочтения реляции: в годовщину основания сего лицея, вчера, девятнадцатого сего октября, Наполеон Буонапарт ушел из Москвы.

Они никуда не уехали.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Взрывая снаряды и ящики с порохом, чтоб не достались русским войскам, зарывая пушки в землю, бросая их по всем дорогам, бежала Наполеонова армия. Из четырехсот тысяч осталось сорок тысяч. Кавалерия бежала пешею, потому что лошади пали первыми.

Солдаты бросали обледенелые ружья наземь. Гвардия брела в рубищах; гренадеры ковыляли в рваных женских телогреях, в юбках всех цветов, завернувшись в рогожи, шкуры, мешки. Головы были укутаны в мундиры, снятые с убитых товарищей, распухшие от холода, помороженные ноги обернуты в сукно, увязаны в старые пуховые шляпы. Они брели по дорогам, мерзли, грабили и погибали. Армию, разбитую русскими войсками, добивал мороз. Русские почернелые деревни не жгли огня

и встречали их вилами. То была еще одна война, крестьянская. Все знали о русских холодах, но надеялись победить до их наступления. Осень в Москве была теплая. Полководец говорил, что в Москве теплее, чем в Фонтенебло, и что о русской зиме лгут путешественники. О деревнях русских знали меньше и меньше думали.

Куницын говорил об этом лицейским, и глаза у него блестели. Он не сомневался, что рабство будет отменено месяца через два-три.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Кошанский прочел им реляцию: Париж взят русскими войсками. Сегодня целый день скакали всадники из Петербурга в Царское Село и Павловск и обратно. Весна еще не наступила, но дни становились дольше, закаты медленнее.

Все изменилось — враг, казавшийся непобедимым, бежал, судьба всего мира решалась. И все они стали вдруг не по годам старше. Средоточие всего оказалось близко, здесь под рукою.

Били вдали зорю на гауптвахте. Он стоял у окна в арке; он слушал прилежно, внимательно привычный звук, живой и бедный. Книгу, томик Лагарпова лицея, он давно выронил.

Он прошел в келью к Корсакову. Миша Яковлев сочинял теперь музыку к его стихам, а Корсаков пел их и играл на гитаре. Миша Яковлев оказался славным музыкантом, а Корсаков — певцом. Детские потасовки кончились. Детство вдруг ушло, и у всех оказались таланты. Миша Яковлев был подражатель до такой степени смешной, что обещал быть некогда славным актером.

Даже у Данзаса открылся талант: почерк. Он затмил Корсакова. Всегда готовый ко всяким бессмысленным поступкам, Данзас, который, казалось, был прост и туп, писал почерком столь ровным, мелким и прекрасным, что Калинич долго смотрел на листки, им написанные, и говорил, улыбаясь:

— Живет!

Он переписывал теперь единолично журнал «Лицейский мудрец», и тот же Калинич, почти никогда не читавший журнала, листал его внимательно и отзывался:

— Не хуже печатного!

Однажды он нарисовал Мясоедова в виде осла и Кюхельбекера, мучимого страстью стихотворства, — и всем стало ясно: Данзас — художник. Он много теперь рисовал. Самого себя изображал он медведем, весьма похоже.

В лицее были свои художники, типографы, поэты.

Соперничество Горчакова и Вальховского занимало всех. Память Горчакова была необыкновенная. Он смотрел в книги, почти как Калинич, как бы не интересуясь их содержанием, и все запоминал; ровным голосом он рассеянно их излагал, как бы читая по невидимым листам; французский язык его был безупречен. Он был прилежен, но любил притворяться лентяем и всегда жаловался, что ничего не успел.

— Моя старая подагра меня одолела, и я ни строчки не прочел.

Он отвечал на вопросы верно и обстоятельно, с такою небрежностью, что одни профессоры считали его гением, другие легкомысленным, но вообще не доверяли его знаниям. Он был первым. Вальховский все постигал с трудом и упорством, как спартанец, не смущаясь неудачами, и ночи напролет просиживал над учебниками. Учение было его страстью. Многие угадывали в нем честолюбие, тихое, но опасное. Он тоже был первым. Горчаков улыбался, встречаясь с бледным честолюбцем, но тот был всегда спокоен. Спор баловня счастья с бедным упрямцем всех занимал. Горчаков стал показывать при встречах с Александром, что отличает его от прочих. Александр никак не мог устоять перед его улыбкою; они стали приятелями. Дельвига Александр любил; при встрече они целовались. Ему одному он любил читать стихи. По выражению бледных глаз своего друга он видел, каковы стихи. Потом Дельвиг встряхивался, как под дождем, и говорил, подражая Кошанскому:

— Приметно дарованье.

Горчаков терпеливо переписывал все, что сочинял Александр. Глядя на него, то же стал делать и миловидный Моденька Корф, который ненавидел Александра, потому что боялся его насмешек.

А к нему вдруг пришла слава.

Журналисты, которых звали «лицейскими мудрецами», потому что название журнала было «Лицейский мудрец», выпрашивали у него стихи, подражая понаслышке настоящим журналистам. Корсаков пел его песню «Измены», которую положил на музыку Миша Яковлев.

Однажды стихи ему не давались; он написал первый куплет, стал зачеркивать слова, потом зачеркнул все, потерял терпение, рассердился, скомкал несчастные клочки и бросил в угол. Это было в зале. Олося Илличевский, поэт, подобрал, разгладил листок и дописал стихи.

Кошанский попросил его прочесть ему какое-либо стихотворение, на выбор. Он уже давно, порывшись в лексиконе, прозвал сурового критика Аристархом и Зоилом. Он не любил читать стихи Зоилу. Все же он прочел те же «Измены». Читал он, еще помня корсаковское пенье, и Кошанский в удивлении смотрел на него. Пушкин читал, подвывая, ничего логически не поясняя, повышая и понижая голос на цезурах. Впрочем, и читать сии короткие прыгающие или, лучше сказать, пляшущие строки, состоявшие почти единственно из рифм, было, как полагал Аристарх, невозможно иначе. Стихи трактовали женские измены и были скорее всего род любовной песенки или модного пляса — вальса. Ни важности Державина и его простодушия, ни изящества, пределом коего был Карамзин, — одна развязность и заразительность: все начали так вот подпевать, подвывать, и стихотворцев нынче развелось тьма. Такие стихи были доступны всем, как и модный пляс — вальс. Живость их была неуместна. И откуда сей отрок мог знать женские измены?

Кошанский с любопытством на него смотрел. Все с чужого голоса, заемная страсть. Он попросил повторить чтение. Подперши лоб рукою, закрыв припухшие глаза и надув губы, Аристарх вслушивался в стихи юнца. Он просил почитать стихи, как просил Илличевского и даже Яковлева, — дабы сделать замечания, которые могли бы просветить, быть полезны и проч. Но он молчал. Прищурясь, он посмотрел на своего ученика и в первый раз заметил его наружность: глаза были живые, быстрые, лицо весьма осмысленно и, кажется, лу-

каво. Он хотел было сказать, что трехстопный ямб не следовало избирать мерою, потому что он дребезжит, как бубенцы лошадей, загнанных ямщиком, — он давно уже приготовил это сравнение, — и вдруг не сказал. Поправив тугой воротник, он еще раз посмотрел на отрока, и Александру взгляд этот показался грустным, сам Аристарх словно побледнел, поник. Так ничего и не сказав чтецу, он вдруг тяжело вздохнул и медленно, волоча ноги, пошел по залу. Он был трезв и угрюм. Это была новая школа поэтов, которую он не признавал и про себя прозвал эротико-вкусо-музыкально-верхолетной. Все они писали песни, и он не мог не сознаться, что по сравнению с их стихами все остальные стали казаться жестки и тяжеловаты. Музикусы тотчас клали их песенки на музыку, прочие распевали, а там приходила слава, секрета коей он не мог постигнуть. Батюшков ставил его в тупик: бросать в публику одно-два стихотворения, вовсе не безупречных, возбуждать шум, удивление, потом скрываться на год и на два — такова была слава, сорванная даром и на лету. У них был вкус — слово, ожесточавшее Аристарха. Он сначала так уподобил этот загадочный вкус: вкус в стихах то же, что слух в музыке, и даже записал это; однажды он услышал, как глупец Калинич, любитель гитары, говорил Чирикову, что первая ступень слуха — слышать, как другой фальшивит, а вторая — самому не фальшивить, и что это гораздо труднее, чем других критиковать. Критиков много развелось. Эти нападки глупца на критиков его чем-то раздосадовали, и он зачеркнул свое определение. Это была какая-то новая соразмерность или стройность, о которой нынче много толковали, уподобляя стихотворения зданиям.

О память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной.

Эти строки батюшковские поражали его; грамматический смысл их был просто неясен: кто кого здесь сильней? Сердце, память, рассудок? А между тем они действовали на женщин неизъяснимо. Это-то, должно быть, и был вкус, такова и была слава. А трехстопные ямбы, похожие на все эти новейшие развинченные походки? Их можно было наделать пропасть, и всегда

они нравились. У Батюшкова были стихи, в которых сряду рифмовало по три строки вместо обычных двух. Для чего не четыре? Это была болтовня. Между тем сей поэт мог создавать и сильные строки.

Он пытался объяснить Пушкину, в котором видна была любовь к поэзии и приметно дарованье, в чем действие этих строк, но не умел. Пушкин не слушал; может быть, он и сам, без него, об этом догадывался. Внезапная слава этого юнца была оскорбительна и ничем не заслуженна. Женщины поистине как мотыльки, устремлялись на огоньки модных стихотворцев, будь то мальчишки. Бакунина спрашивала его о Пушкине и Илличевском. Эти отрочата уже пользовались вниманием слабого пола. Граф Толстой как-то при встрече сказал, что он хотел бы слышать романс, который сочинили лицейские. Дама, которой Кошанский втайне готовил небольшую оду, дожидалась только какого-либо семейного праздника, чтобы пригласить «поэтов», и спросила его о лицейских слагателях стихов. Это было невыносимо.

Слава доставалась не тем, кто искусился в строгих правилах письма и умудрен опытом, она, как неверная прелестница, дожидалась любого встречного мальчишки. Более того — она как бы искала, кому поднести титло поэта. Чем, например, Илличевский, правильно и складно изъясняющий свои мысли и чувства в стихах, хуже Пушкина? Но нужно было произойти случайности: другой юнец положил на музыку, третий спел, — и автор «Измен» выдвинулся. Между тем поведение его заносчивое, судит свысока, посмеивается над Гаврилом Державиным, и все в силу *вкуса*, как будто кто вручил ему сей вкус как власть. Дошло до него и о какой-то насмешливой адской поэме, которую сочинил юнец, но он заставил себя не заниматься сею мыслью: сделался бы шум, юнца, быть может, изгнали бы и на самый лицей легла бы тень подозрения. Это было ниже его как поэта и литератора.

Мартынов, директор департамента, справлялся у него, Кошанского, о юнце, — способен ли к важному стихосложению. Он, разумеется, ответил пожатием плеч. Директор, впрочем, и сам не одобрял верхолетства. А поди ж ты — и он подпадал под эту моду. С удивлением Кошанский чувствовал, что и на него самого начинала действовать сия легкость, развязность, воздушность, механическая подвижность, общежительность,

болтливость нового стиха. Новый стих ему нравился, и он негодовал.

И он отправился к директору Малиновскому, который был болен и которому по всему осталось недолго жить. Тайное честолюбие, в котором он сам боялся себе признаться, снедало его: он сам надеялся быть директором.

2

Директор Малиновский не сознавался в том, что болен. Париж был взят, новая эпоха начиналась. Он хотел устроить праздник в лицее.

Он оделся в свой форменный сертук и вышел. Короткое пространство от своего дома до лицея, царскосельскую улочку, он перешел шаг за шагом, преодолевая пространство, как некогда учение. Дядька Леонтий дожидался на лестнице и проводил директора до зала. Бледный, тощий, с горящими глазами, задыхаясь, директор, как привидение, обошел все здание, и лицейские разбежались при виде его. Он заметил, что холодно, и отдал приказание исправно топить печи. Озноб бил его. Потом подписал прошение о ремонте.

После многократных унижений от министра, делавшего ему выговоры, он предпочитал заботы хозяйственные. Подписав прошение, он устал, и его проводили домой. А он пришел распорядиться о празднике, торжестве, от которого ждал многого. Он хотел положить новое начало всей лицейской жизни и приготовился сказать большую речь воспитанникам, наставникам и гостям на будущем празднике. Он хотел сказать речь о победе. Теперь все говорили об этом, но он хотел сказать по другому.

«Враги думают, что страх — главное побуждение россиянина, — приготовился он сказать, — бесстрашные его дела доказывают тому противное». Дальше о достоинстве русского человека, упорно отрицаемом Европою, себялюбивою и мелочной, и о том, что в будущем воспитанники должны, каждый в своей области, доказать его, как ныне доказали русские войска на поле брани. Он не сомневался, что после того, как народ русский завоевал славу, рабство отменится. Проходя по залу, он заметил, что лицейские смотрят на него с каким-то испугом,

и забыл, какие именно приготовления к празднику хотел начать первыми.

Придя домой, он тотчас занялся приведением в порядок дел. Новая эра должна была застать все в полном порядке. Он помнил свою речь при открытии лицея и стыдился ее. Все было тогда в унижении и страхе. Ныне победа давала новое значение народу русскому. Несчастное правление Михайла Михайловича было только начало, и вскоре начнется новая эра — соберутся российские генеральные штаты. Если же не сбудется, он оставит эту пустую деятельность и удалится в уфимские степи для трудов иных, более строгих, как он уже давно собирался. Праздник лицейский многое покажет. Следует его соединить с экзаменом, дабы показать собравшимся успехи воспитанников. В успехах этих он и сам немного сомневался, но не сомневался в одном: в лицейском духе.

Порядок был его страстью. Он мечтал в течение десяти лет о порядке государственном и начертал обширный проект о двух палатах депутатов, об общем духе, воспитании граждан, проект вечного мира и составил обширный алфавит всем важным статьям, над коими размышлял всю жизнь, от «А» до «Я».

Усевшись за стол, он теперь приводил все в порядок, как будто куда уезжал. Все проекты, записи, выписки из турецких и еврейских книг он перевязал бечевкой. Рука его дрогнула. «О достоинстве россиянина» он долго перечитывал. Искоренение раболепствия и лакейского духа должно было начаться с освобождения крестьян, ибо вызывалось рабством. Даже к иностранцу-слуге все, заметил он, относились иначе, чем к слуге русскому. Причина была та, что русский слуга был раб.

«Воспитание граждан» должно было создать общий дух, которого в России нет. Тут он долго сидел над проектом, ослабев. Сын Иван был в лицее, дочь Маша у тетки, никто не мешал. Заглянув в «Алфавит», он насладился порядком: от «афеизма» до «язвительности» человеческие свойства были описаны, и на оборотной стороне написано средство развить — если свойство благое, уменьшить — если злое. Он покачал головой. Собственные его проекты отвлекли его далеко в сторону. Все более тревожась, он взялся за дела лицейские. Он давно уже хотел составить алфавитную табель ученикам, с показанием их дарований.

Быть может, эта табель пригодится на празднике? Можно бы, не называя фамилий, нечто огласить.

Написав о Броглио, что он простосердечен, крайне упрям, чувствителен с гневом и признателен, а о Дельвиге, что он в полезном медлен, а в шалостях скор, насмешлив, нескромен и добродушен, — он растревожился. В свойствах получались противоречия разительные, привести табель в порядок не было сейчас никакой возможности. Он надеялся три года назад создать новую породу людей. Почем знать? Раболепства ни в ком, кажется, не было. Он вдруг зачеркнул графу «характеры», а оставил только «дарования». Тут он вздохнул с облегчением. Горчаков был чрезвычайных успехов и легок в памяти, Вальховский — многих способностей, Пущин — твердых успехов и осторожен, Корф — скромен, как дитя, и отлично прилежен, но искателен, Данзас — не видно было никаких способностей, кроме рисунков. О сыне его его же рукой было написано: редкое простосердечие и неосторожность. Кюхельбекер — под знаком nota bene: пылких чувств, честолюбия и труда в словесности ненасытного, Пушкин — под тем же знаком: вкус холодный, проницательность совершенная, с насмешливостью, любовь к словесности уединенная и к славе — тайная. «Холодный» и «насмешливость» вписано вскоре после посещения Пилецкого, и директор вспомнил о безверии. Взволновавшись, он походил по своему кабинету и уселся писать две речи: к воспитателям и воспитанникам. Он хотел указать первым, что важные времена, которые застигли воспитание в самом почти начале, представили много испытаний, но при умелом водительстве пошли на пользу: отвлекая от мелочных интересов, указывая важный смысл дел государственных и воинских, они готовили возрастающих к будущему поприщу. Остальное он решил сказать Куницыну на словах, лично: холодность двора к добру. Раболепствия среди воспитанников не замечается. В речи это можно упомянуть с осторожностью. На Куницына он решил возложить распоряжение всем праздником и вместе с ним составить список лиц приглашаемых. Старое, давно им забытое чувство довольства охватило его. Голова его пылала, перед глазами плыло, но он все писал и писал, позабыв обмакнуть перо в чернильницу: перо скрипело; он тяжело дышал. Наконец он расписался, поставил точку, засыпал лист песком и свалился.

Очнулся он поздно, велел позвать сына Ивана и Вальховского, сказал им что-то незначащее и с тоскою на них посмотрел.

Прибывшему Куницыну он сказал, что ныне, по благополучном исходе войны, в которой русский народ доказал свое достоинство, приступлено будет к созванию депутатов, что, жаль, птенцы лицейские не готовы, а впрочем, тем временем подрастут. Глас народа — глас божий. Он попросил Куницына сделать все необходимые приготовления для праздника всенародного. Куницын подумал, что директор опять предался своей несчастной слабости, и насупился. Малиновский вздохнул, посмотрел в окно: был уже март на дворе.

Ему становилось все труднее дышать, мысли его путались, и он с трудом, сбиваясь, сказал Куницыну о сыне Иване и дочери и о их дружбе с Вальховским.

— Он мне как сын нареченный.

План Михайла Михайловича, по его мнению, несмотря ни на что, сбывался: отсутствие семейств помогло новой общежительности, которая их сильно и дружно свяжет. Только бы не через меру: Пушкин в крайнем, насмешливом роде, да и Яковлев тоже, — я за них тревожусь.

Помолчав, он заговорил о врагах: Разумовском и Аракчееве, которые будут сильно противиться, и о генеральных штатах российских. Он был взволнован, впал в забытье, и вскоре Куницын распорядился всех удалить из комнаты больного.

Больной бредил долго и быстро, говорил на незнакомом языке, видимо по-турецки, и спросил, очнувшись, Куницына о башкирском старосте, сказав твердо, что вещи уже отправлены и что он едет в Уфимскую губернию, где будет заниматься отныне земледелием и просвещением жителей. Теперь уже весна, путь скоро откроется, и все готово. Он просил Куницына остаться в лицее и взять его под свое попечение после его отъезда. Тоска мучила его, он ломал худые руки и плакал.

Вдруг он сказал Куницыну, прижимая руки к груди, смотря на него оловянным взглядом и, видимо, принимая его за другого:

— Ваше превосходительство, в вверенном мне воспитательном учреждении есть главное — нет духа раболепствия.

Вскоре прибыл Самборский. Голова его тряслась, его вели под руки. У двери он спросил привычно:

— В памяти?

И тотчас, выпрямившись, твердым шагом прошел к умирающему. К вечеру рядом с кабинетом директора собрались почти все профессоры, за исключением Гауеншилда.

3

Все было тише, чем всегда. Они посматривали изредка в окно на домик директора. В шесть часов вечера Чириков построил их в ряды, и все пошли в директорский кабинет, где еще несколько дней назад директор с ними беседовал. Отряд драгун стоял у дома. Директор лежал в мундире. Лицо его выражало полное довольство, высокий лоб разгладился. Кошанский, Куницын, Карцов и маленький Будри вынесли гроб и поставили на дроги.

Впереди ехали драгуны, за ними шел в трауре лицейский швейцар, перед гробом певчие. Два ассистента несли на подушке единственный директорский орден, дядьки вели лошадей и поддерживали гроб.

Лицейские провожали директора до заставы. Здесь они простились. Пятеро депутатов поехали провожать его в Петербург: сын Иван, Вальховский, Пущин, Матюшкин, Кюхельбекер — добродетельные.

4

Они расхаживали по зале, по коридорам, по арке, входили в свои кельи. Никто их не останавливал. Александр с Дельвигом говорили о том, что теперь с ними будет, и назначат ли директором Кошанского. Оба сошлись на том, что не назначат, потому что им этого не хотелось. И, тихонько расхаживая по теплому коридору, они впервые посмотрели по-новому на стены, сводчатые потолки, свечи, только что зажженные дядькою Матвеем: они были у себя дома.

Это не был более монастырь, по которому крался иезуит, не была игрушечная «академия», которую хотел бы видеть министр Разумовский, — это был дом, хозяин которого умер.

Александр с Дельвигом, взявшись за руки, смотрели на опустелые директорские окна. Все менялось в этом году со страшною легкостью. И этот дом, с лестницей, с его комнатой, где было старое, привычное и можно было постучать в стенку к Пущину, — был его родной дом, вторая родина.

Вальховский, Кюхельбекер, Матюшкин сидели в углу, не отходя от Казака, горевавшего со всем простосердечием.

Казалось, директор еще вчера проходил по этому коридору тяжеловесною походкой. Озабоченный, добродетельный, директор словно собирался жить вечно, разговоры его были обдуманны, занятия прочны. Он был справедлив и строг. Александр слышал однажды, как он делал выговор сыну и назвал его по фамилии: Малиновский. Как плебей, он соблюдал в лицейской республике равенство. Все светское было ему ненавистно. Шалости были ему неприятны. Он дважды выговаривал Александру, и оба раза сурово. Только тогда — во время войны — он однажды улыбнулся ему, широко и простодушно, и обнял его. Теперь опустелый, вымерший стоял директорский дом, который вскоре займет Кошанский или Гауеншилд, как жадные заимодавцы, торопливые наследники.

5

Все в лицее вдруг изменилось. После смерти Малиновского все профессоры, одолеваемые честолюбием, стали поочередно добиваться приема у министра, излагая свои взгляды на ведение дел в лицее. Только Будри и Куницын не ездили к нему. Министр хмуро занимался отделкою ногтей и всех отпускал кивком головы, а то и слабым манием руки. Он и сам недоумевал: долго ожидал случая сменить Малиновского, а теперь, когда он умер, заменить его оказалось некем. Чем был этот лицей, чем должен быть? Все было неизвестно: лицей был причуда, вроде оранжереи, питомника, где ученые садоводы должны были вырастить новые плоды. Когда участь Царского Села была неверна, сменить Малиновского было нельзя, он должен был все охранять и возиться с мальчишками. Но теперь, когда Париж был взят, — с одной стороны, неуместно было затруднять государя, там находившегося, с другой

же — неизвестно было, чем быть лицею, — на какую степень возвести его. По всему он должен был стать теперь учреждением европейским по духу, но все большую силу приобретал теперь, с другой стороны, Аракчеев, нимало Европы не напоминавший.

Кошанский понравился министру щегольством — и был назначен, к неудовольствию его, не директором, но замещающим должность. Кроме того, в правлении должны были заседать еще Куницын и недавно назначенный надзиратель Фролов. Последнее уязвило Кошанского сверх меры. Как было в литературе, где его уважали, но не печатали, так ныне и по службе: не директор, но замещающий, то есть черт знает что такое. Он гордо прошелся по залу, благосклонно ответил на поклоны, но через неделю запил горькую.

Куницын нашел его в жалком положении.

— Чту в тебе заслуги, — прохрипел Кошанский, глядя на него мутными глазами, — признаю тебя равноначальствующим, но что за фигура сей Фролов? И даже фигурою не назову его, но фи́-гу-рою!

Последнее имело свой смысл, ибо Фролов, бывший военный, часто употреблял слово *фигура*, произнося его на особый лад.

Так лицей остался без директора, и каждый был предоставлен самому себе. Новая *фи́гура* появилась в нем и заняла общее воображение: Фролов.

Надзиратель классов и нравственности, он появился в лицее, только что сняв военную форму, прошелся грудью вперед и тотчас же распек дядьку Леонтия Кемерского, известного ему, по-видимому, заранее: он потакал лицейским слабостям.

Вытаращив глаза, он стал наступать на него, повторяя:

— Этта што? Этта што?

Леонтия он выгнал бы, если бы не заступился Кошанский. Зато по его требованию был тотчас введен новый дядька: Сазонов, Константин, молодой, почти еще мальчишка, с глазами белесыми и блуждающими, большими руками и угрюмый. Перед Фроловым он тянулся настолько, что тот, проходя, тихонько говорил ему:

— Вольно!

Тотчас он ввел военные порядки: утром Сазонов Константин звонил усердно троекратно в колоколец, затем появлялся сам полковник (он был артиллерии

подполковник, но Сазонов и все другие дядьки звали его полковником), строил всех в три ряда и, командуя:

— С богом! —

вел на молитву, где строго наблюдал строй и шеренгу.

Вообще он сразу проявил деятельность. Сбитень был отменен, появился чай и булки. За обедом — кислый квас.

— В армии и корпусах повсеместно принято, — прохрипел он эконому, и тот не посмел возражать.

Ранее они свободно ходили в свои комнаты, занимались там чем хотели, — Фролов стал пускать туда только по билетам, выдаваемым им самим, за своею подписью.

Подпись его была подписью воина — черна и кругла. Всему он предпочитал военную службу и кадетов ставил в пример.

— У нас в корпусе,— говаривал он,— строй! Здесь — одна поверхность.

Он сожалел и презирал лицейские вольности.

Газеты и реляции Сазонов приносил ему на прочтение, и все излишнее полковник удалял ножницами.

— Магомет недаром говорил, — хрипел он, — лишнее удали.

Он охотно ссылался на Магомета и Алкоран.

Уступая светскому направлению обучения, он при случае затевал разговоры с воспитанниками. Фролов любил Руссо. Так, он сказал Кюхельбекеру:

— Эмилия его бесподобна. Эту Эмилию у нас в корпусе наизусть знали.

Эмилией называл он Эмиля, принимая героя за героиню.

Фролов был строг к дядькам. Они, по его мнению, все потеряли дисциплину. Он выгнал одного из Матвеев, и теперь Александру прислуживал Сазонов, Константин. С белесым взглядом, длинными руками, он был вечно погружен в задумчивость. Иногда он улыбался по-детски. По утрам он обычно ходил сонный.

— Константин — человек верный, — говорил Фролов, — недалек, да верен.

Фролов мечтал о верховой езде.

— Конный строй! — говорил он задумчиво. — Манеж недалеко, удивляюсь, почему бы не ввести: развязность и осанку дает только конный строй.

И вскоре он завел верховую езду. Они ездили в манеже. Александром, Вальховским, Броглио он был доволен:

— Над лукою склоняются, коня не боятся, и конь их понимает.

О Горчакове он отзывался с легким презрением:

— Езда хороша, но дамская. Стремя на носке.

Кюхля, который с превеликим трудом раздобыл себе шпоры, вызывал его негодование:

— Пророк разрешит: конь ли его боится, он ли коня?

6

Теперь на Розовом Поле они не слушали Чирикова.

Боролись, да так отважно и дерзко, что Чириков удалялся в беседку и, махнув на все рукою, набрасывал строфы поэмы, которою был занят всецело. Но шума не было: они пыхтели, падали, ворочались, извивались змеею — пока один из них, торжествуя, не попирал коленом падшего противника. Тогда общий шум начинался. Александр ввязывался в борьбу с любым противником, но часто несчастливо. Броглио был силен, руки у него были стальные. Однажды он предложил Александру бороться. Тот не отказался, но сразу же был схвачен в объятия, лишен возможности двинуть рукою — и побежден. Он побледнел, был в бешенстве, но больше с ним не боролся. Он стыдился своего роста: меньше Броглио, Малиновского, Данзаса, и завидовал им.

Комовский был еще меньше. Однажды Комовский боролся с Броглио. Они клубком катались по лугу. Все дело было в том, чтобы высвободить правую руку, — рукою можно было схватить противника за шею, отвести его руку, неожиданно разомкнуть объятия и вскочить на ноги. Маленький тщедушный Комовский угрем вился в сильных руках, и вдруг, неожиданно силач Сильвер выпустил Комовского из рук, и все опомниться не успели, как тот уже сидел на нем верхом.

Александр крикнул:

— Браво!

Он любил в этот миг Комовского, хитрого, маленького, верткого, столь ничтожного, что Яковлев, изобра-

жавший в лицах двести нумеров, никогда не изображал его.

Зато Александр любил фехтовать. Проволочные маски, рапиры, тяжелые перчатки, — здесь Броглио мог и не устоять. Он был силен, высок, широкоплеч, но неподвижен и отступал перед комариным жалом Александровой рапиры.

Вальвиль, старый француз с крашеными усиками, был в восторге от Александра.

— Вотр кор труа! [1]

— Авансе! [2]

— Ан кар! [3]

Рапиры сгибались, звенели, хлопали, каблуки топали. У Александра не хватало терпенья ждать выпада, и Вальвиль его останавливал.

Броглио бывал побежден.

— Дьявол тоже небольшого роста, господа, — говорил довольный Вальвиль, — тут рост не имеет значения. Почему Пушкин хорошо фехтует? — спрашивал он. — Никто не знает? Тогда я объясню: он бьется всерьез, как в настоящей дуэли. Однажды, когда я в году семьдесят девятом был вызван...

Фролов посещал занятия Вальвиля. Воодушевляясь, он хрипел тихо:

— Не туда! Права!

Пушкин неожиданно завоевал его расположение.

— Напорист, увертлив, неожидан и быстр, —говорил он о нем с уважением.

Узнав, что Пушкин — пюэт, и в самом насмешливом роде, он помрачнел, а потом, однако, приободрясь, с важностью сказал:

— Пускай смеется, но только вне стен лицея. Державин был хват, рубака, и ежели бы не стал министром, то, верно, был бы генерал. А писал в насмешливом роде. Теперь, слышно, в отставке и, конечно, к службе более неспособен. А у Пушкина большая ловкость: выпад хорош. Есть у него в выпаде это чертовское стремление, воображение.

---

[1] Защищайте третью! *(франц.)*

[2] Шаг вперед! *(франц.)*

[3] В четвертую! *(франц.)* Условные обозначения различных положений — позиций — корпуса при фехтовании.

И это же воображение делало Александра предпоследним в танцах. Последним считался Кюхельбекер. Танцам их обучал теперь толстый старичок Гюар, который не находил в них развязности, нужной для движения. Кюхельбекер не держал такта, махал руками, при команде долго колебался то вправо, то влево и проч. Он был старателен, но от этого было не легче: возбуждал смех товарищей и расстраивал фигуры. Гюар просил уволить Кюхельбекера от танцев.

— Как бывают немые, — говорил он, — которых должно освобождать от пения, так бывают немые и в танцах. Кюхельбекер — такой немой.

Но и Александр, смеявшийся над Кюхлей, был не лучше: наблюдая прыжки своего друга, он так был этим занят, что, не слушая команды старичка, несся вперед.

7

Интерес, возбужденный Фроловым, льстил ему. Целыми днями, дежуря в лицее, он курил длинный чубук и выпускал облака дыма.

— Сазонов, кремня! — кричал он.

А когда Сазонов не откликался, он кричал ему:

— Эй ты, фи́гура!

Важная черта: и полковник и ставленник его, дядька Сазонов, пропадали по ночам, но утром являлись всегда перед звонком. Иногда по утрам полковник был хмур и хрипел, как удавленный, иногда же был благосклонен. Тайна полковника скоро объяснилась: однажды он распекал дядьку Матвея, утратившего дисциплину, заложил палец за жилет, и вдруг засаленные карты посыпались. Полковник был игрок. Побагровев, он приказал Сазонову собрать карты, сунул их в карман и, круто повернувшись, исчез. Сазонов был всегда трезв и скучен: взгляд его был бесстрастен. Он редко оживлялся. Однажды движения его были особенно медленны, взгляд неподвижен, он долго стоял перед Александром, не слыша вопроса, и Александр заметил, что руки его дрожали. Увидев удивление Александра, он улыбнулся ему своей детской улыбкой.

Фролов забавлял Александра своей армейской хрипотой, частыми упоминаниями Алкорана и Эмилии.

Памятуя опасную насмешливость Пушкина, Фролов смотрел сквозь пальцы на важные упущения: незастегнутые пуговицы, частые утери носовых платков, прогулки в непоказанное время и проч. Впрочем, хрипун был в самом деле добродушен. С Вальховским он вел разговоры военные:

— Из наук ваших пригодится вам одна математика — для прицела. Я сам математиком был прежде.

По всему было видно, что статское их обучение считал он временным.

Иногда, собрав вокруг себя тех, кто поплоше: Мясоедова, Тыркова, Костенского, он рассказывал им о Наполеоне:

— ...И вот, сударь, получаю известие: авангард виднеется. Я командую, и что же? Оказалось, наши же. Ошибка! Прискорбно, но, как говорит Алкоран, — человек невольно может ошибиться.

Ненавидевший Фролова Чириков говорил о нем, что он бежал из своего именьица Лонки, под Смоленском, при первых слухах о появлении Наполеона и в чем был.

Фролов был артиллерист, и в этом была причина неожиданного его появления в лицее: сумев понравиться генералу Аракчееву, он был определен в лицей как воспитатель.

8

Всегда строгий, озабоченный, хмурый Малиновский исчез, оставив долгую память, — Вальховский, Малиновский, Матюшкин, Пущин осиротели. Кошанский, важный щеголь, был в белой горячке. Ждали его месяц, другой, а однажды явился заменять его человек толстый, медлительный, ничем на него не похожий, — Галич.

Они с нетерпением ждали его первой лекции. Они привыкли к недоверчивым взглядам Кошанского, к тому, как он постукивал пальцем по кафедре, выжидая тишины, к его коварным вопросам и смеху, к вытью и шипению — чтению стихов. Они приготовились ко всему.

Новый профессор медленно и удобно уселся в кресла, посмотрел сквозь очки без подозрительности и развернул, не торопясь, учебник Кошанского. Кошанский ста-

рался всегда поспевать за курсом и сообразоваться с программою. Новый профессор заглянул в учебник, долго, не обращая внимания на своих слушателей, глядел, потом вдруг усмехнулся и захлопнул учебник. Он отложил его в сторону, и более об учебнике речи не было.

Все так же, не торопясь, он попросил кого-либо прочесть другую книгу, которую привез с собою случайно. Это была драма Коцебу. Яковлев прочел первую сцену. Профессор остановил его и, так же не торопясь, спросил:

— Чем дурна эта сцена?

И они поняли, что он добр, ленив, лукав, не добивается быстрых успехов, директорского места и даже не многого от них ожидает. Начались споры о Коцебу.

Александр с удивлением смотрел на нового профессора: у Галича был вкус.

А потом профессор развернул истрепанную книжку, которую они узнали: это был Корнелий Непот, которого читал им Кошанский. Кошанский восхищался каждою его фразою и поэтому не успевал переводить.

— Потреплем старика, — сказал новый профессор.

С первой же встречи они его полюбили.

9

Строгости Фролова противоречили собственным его наклонностям и привычкам; армейские повадки его и некоторую придирчивость они научились обходить, и теперь никто не мешал им. Они гуляли со своими родителями во время свиданий, не так, как при Мартине, когда свидания были истинно тюремные.

Сергей Львович и Надежда Осиповна в Москву не вернулись, — открылось место в Варшаве, и Сергей Львович собрался туда. И путешествие, и отдаленность от столицы, его не оценившей, и самая Варшава со множеством прекрасных полек — все удовлетворяло Сергея Львовича в новом назначении. Он был занят приятною мыслью: хотя чином его не повысили, но назначение в отдаленный край, что ни говори, было если не почетное, то привлекательное. Впрочем, он нимало не торопился выезжать на окраину и не без

удовольствия и пользы употреблял полученные им подъемные деньги.

Он стал заметно реже писать сыну. Итак, на свиданья к Александру никто не ездил. Они украдкой гуляли теперь по парку в непоказанное время. Заходили тайком в кондитерскую, и Горчаков говорил беспечно:

— Какую мы ведем рассеянную жизнь!

Они подружились. Горчаков умел говорить обо всем легко, все сразу понимал и ничему не удивлялся. Честолюбие Горчакова было ничем не ограниченное; он любил славу и легко шел к ней. Все профессоры, даже угрюмый Кайданов, были уверены в блистательной его судьбе. Он с удовольствием теперь слушал стихи Пушкина и делал иногда замечания, довольно дельные. Он знал безошибочно, кому то или иное стихотворение понравится и почему оно будет иметь успех. Горчаков, столь блистательный, не ко многим снисходил, был вообще равнодушен, и расположение, которое он стал выказывать поэту, было лестно.

Времени было много: они не подвигались далее в изучении наук. Предстоял публичный экзамен. Торжественный экзамен хотел еще устроить покойный Малиновский. Ныне, при всеобщем разброде, предстоящий экзамен был единственною уздою и угрозою, способною сдержать лицейские страсти.

— Наипаче нужно опасаться полного их рассеяния, — говорил Кайданов, — а науки подождут.

10

Его адская поэма о монахе была почти окончена. Она была в самом бесовском насмешливом роде: шалости чертей, соблазняющих монахов, белая юбка, прельщающая монаха, монах, летящий на черте верхом. Он рисовал на листах старушечью, обезьянью голову в повязке: Вольтера. Это было достойно его «Девственницы». Фернейский старик, крикун, славными стихами навеки лишивший невинности Орлеанскую Деву, и мощные кабацкие звуки Баркова, из отцовского тайника, вспоминались ему. Он бы охотно, между строк, нарисовал бы и Баркова и Вильона, да портреты кабацких

висельников были ему неизвестны. Он воображал Баркова высоким детиною с крепкими кулаками.

Пример Василья Львовича его околдовал: он вспоминал дядин хохот, шипенье и свист, истинно бесовские. Да, и он был рожден для тайной славы, подспудного чтения, и его поэмы будут хранить потайные шкафы. Опасная, двусмысленная слава прельщала его.

Он мог предаваться полной свободе: его поэма никогда, он был в том уверен, не увидит печати. Он помнил картины, висевшие в квартире Дмитриева: неподвижные улыбки, косые масленые взгляды, полусвет, полутень, белые юбки в черной масленой мгле. Мутные поэмы Оссиана, которые не сделались ясными даже в переводе Парни, нравились ему: пещеры, молнии, седые волны.

Жуковский прославил победы двенадцатого года и себя самого поэмою небывалою, в новом роде: «Певец во стане русских воинов». Она по резким чертам напоминала Державина, по живописи — балладу, а по музыке, по стихам своим — модную песню. Звуки ее запоминались против воли, и все вдруг начали слагать стихи на эту стать. Батюшков, вслед за дядюшкой Васильем Львовичем, осмеял седого Шишкова и его «Беседу» стихами, которые повторяли славного «Певца» Жуковского. Поэма его, в шуточном роде, называлась «Певец во стане варягороссов». Это была как бы легкая насмешка не только над шишковским желтым домом, но и над самою певучею поэмою.

Стоило прочесть только первые четыре знаменитые стиха славной поэмы:

На поле бранном тишина.
Огни между шатрами.
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь свод небес над нами, —

и тотчас рифмы сами лезли. Это было как бы новое колдовство.

Сам певец не мог противостоять музыке своих стихов. Он написал на ту же стать «Певец в Кремле», а вслед за тем «Тульскую балладу», на свадьбу своей прекрасной племянницы:

В трактире тульском тишина,
И на столе уж свечки...

У них в лицее стала ходить песнь о Гауеншилде:

В лицейском зале тишина —
Диковинка меж нами, —
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.

Даже Кошанский, в белой горячке, бормотал неотвязные строки. Никому не ведомые поэты сочиняли на эту стать теперь тьмочисленных «Певцов», прославляя тех героев, коих не успел прославить Жуковский. Таково было оглушительное торжество новой, певучей поэзии.

Стихи привязались к нему, две первые строки мучили его. Слава Жуковского, громкая и чистая, благодаря этим двум строкам да еще «Певцу варягороссов» вдруг стала как бы слишком громка, немного смешна.

Какое-то беспокойство не давало ему спать по ночам; кровь стучала в виски, преувеличенные, дерзкие, буйные стихи снились ему. Он написал своего «Певца» в неделю. Его певец был детина, высокий, скуластый, с крепкими кулаками. Содом творился в монастыре, превращенном в кабак. Любовь и драка были в этой поэме истинно конские. Пощады не было никому, даже седой игуменье. Он был теперь поэт вполне отверженный. Девственное творение Жуковского, если его прочесть после этих исполненных отвратительной силы стихов, показалось бы чудовищным. Он никому не прочел своей поэмы и, спрятав под матрас, с бьющимся сердцем иногда проверял: не исчезла ли.

Он заболел. Горячка мешалась у него с горячкою поэтическою. Он лежал в лазарете с голыми стенками, и лицейский доктор Пешель лечил его. Доктор Пешель шутил и лечил наугад. При взгляде на больного лицо его омрачалось. Он долго смотрел на него с видом озадаченным и быстро прописывал из казенной аптеки лекарства, которые не могли никому повредить: девичью и бабью кожу, лакрицу и лавровишневые капли. Громким голосом он отдавал приказание дядьке Сазонову, который говорил: «Слушаю-с-!», — но потом все забывал. У доктора Пешеля были свои дела и заботы: вечером втыкал он цветок в петлицу и, лихо избочась на извозчичьих дрожках, скакал в Петербург. Все знали, что доктор — жрец Вакха и Венеры и скачет в Петербург к лихим красоткам.

Вместе с Александром в лазарет был помещен и дядька его, Сазонов, который ухаживал за больным. Постели их поставили рядом, чтобы дядька оказывал больному помощь и следил за болезнию.

В бреду Александр говорил об адской поэме и шарил по постели, как бы ища ее. Иногда он раскрывал глаза: дядька Сазонов подносил к губам его кружку и проливал воду на грудь. Лицо Сазонова казалось совершенно деревянным, рот полуоткрыт: он терпеливо совал кружку в зубы больному и не обращал внимания на льющуюся воду. Он был занят своими мыслями.

11

Надежда Осиповна и Сергей Львович, по пути в Варшаву, прибыли как раз в этот день в Петербург.

Александр бредил, был плох. Однажды он открыл глаза, увидел над собою лицо матери и снова закрыл, думая, что это ему пригрезилось, Надежда Осиповна сидела над ним постаревшая, желтая, в старомодном платье. Слеза ползла по ее увядшей щеке. Он заснул впервые крепко, без снов, подозрений, видений и проснулся наутро здоровый. Дядька Сазонов еще спал, открыв рот, громко храпя.

Сергей Львович на этот раз вел себя с Александром по-новому; он рассказывал ему об успехе Жуковского и сообщил, что дядюшка Василий Львович просил пересылать ему все, сочиняемое племянником. Жуковский во всем значении и силе, а Батюшков и дядя хоть и славны, да не так.

— Причина, друг мой, сильные завистники, — сказал он важно.— Да и то сказать: Жуковский терпелив, а они задорны.

Отец смотрел на него с некоторым уважением и даже рассказал о своих намерениях, чего еще в жизни не делал. В Москве Харитоньевский переулок не существовал — одни головешки.

— Мебели — ты помнишь, друг мой, кресла у камина? — Ныне прах и пепел. Мы — пустодомы, скитальцы, погорельцы, des vagabonds[1] во всем смысле

[1] Бродяги *(франц.)*.

этого слова. Я нищ и наг. Держись, друг мой. Нынче всякий за себя, и один только бог за всех. В Варшаве — поле деятельности широкое. Туда, туда! Мать вскоре последует за мною. Расходы неимоверные.

Надежда Осиповна дернула его за рукав.

Родители быстро с Александром простились: они, как всегда, спешили. Надежда Осиповна с удивлением смотрела на Сашку: на верхней губе пробивался у него пух. Когда три года назад он уезжал в лицей, он был хоть и дичок, но все же дитя. Теперь она с отчуждением и какой-то неловкостью смотрела на сына. Этот мальчик скоро начнет говорить грубым голосом, как все эти гвардейцы. Как, однако, внезапно кончилась ее молодость! Вот она и старуха. Она поцеловала сына в лоб и поторопила Сергея Львовича, который любил долгие объятия, вздохи и душистым платком отирал сухие глаза.

Александр выздоравливал медленно — и от болезни и от адских поэм. В лазаретное окно были видны верхушки деревьев. Он украдкой читал Батюшкова:

Мой друг, я видел море зла
И неба гибельные кары...
Я видел бледных матерей...
Я на распутье видел их...

Эти стихи о Москве, это повторение трогало его неизъяснимо, он не мог понять, почему, и долго потом лежал, уткнувшись в подушку; слезы текли у него — непонятные, ибо эти стихи были вовсе не чувствительны. Это была довольно точная картина сожженной Москвы, которую Батюшков впервые увидел.

Его навещали друзья: пришел Дельвиг и поцеловал его в лоб.

У Дельвига была страсть: *воспоминания*. Откуда они брались — бог весть. Всегда он был очевидцем событий, о которых рассказывал. Он рассказал теперь Александру об инвалиде, с которым давеча повстречался гуляя. Служивый был ранен в бою, долго лежал в гошпитале и брел издалека. Он рассказал Дельвигу, как однажды ночевал под Курском в поле. Пенье курских соловьев Дельвиг описал, впрочем, с подробностями, не оставлявшими сомнений, что и он их слышал.

Дельвиг был поэт изустный. Под конец он и сам верил всему, что наговорил. Стоило спросить его, как он спал,

и Дельвиг сразу рассказывал, что ему снилось. Сон придумывался тут же. Он не был болтлив. Живейшее его наслаждение было, прикорнув у печки, в уголке, слушать других и вставлять изредка словечко. Так он вставлял в куплеты, сочиняемые сообща, целые строки. Он любил слушать стихи Александра, слух у него был точный; он указывал все лишнее. Сам же писал песни и выдавал их за подлинные, будто бы слышанные им в детстве. Более всего, казалось, любил он есть. Стихи, кажется, доставляли ему такое же наслаждение. Он медленно, ни с кем не разговаривая, ел у дядьки Леонтия мороженое, и во взгляде у него было то же понимание, что и при чтении стихов.

У Кошанского он был первым по латыни и читал с упоением латинские стихи: глаза его туманились. Если кто просил перевести, он всегда увертывался, не зная латинских слов или не желая лишать стихи прелести. Он не дочитывал книгу, которая его занимала, наслаждаясь тем, что не дочел до конца и может сам назначить судьбу всем героям. Он питал отвращение к бумаге, гусиным перьям, скрипу их: труд был ему противен. Он с удивлением и тайным удовольствием часами следил за Александром из темного уголка, когда тот писал стихи: зачеркивал, стиснув зубы, смотрел потерянным взглядом вокруг и наконец с досадою бросал перо.

С улыбкою он простился: поцеловал в лоб Александра и пошел рассказывать все, что выдумал только что, Юдину. Юдин подшучивал над ним, а Дельвиг отвечал ему на недоверчивые вопросы со спокойствием, которое ставило шутника в тупик, а выдумщику доставляло удовольствие. Время у Дельвига было все заполнено.

Посетил его и Горчаков. Он рассказал о светских новостях: кажется, Толстой скоро дает спектакль и хочет пригласить всех лицейских. Скоро к нему в гости собирается его сестра Елена. Елена хороша, скоро выходит замуж, но так ленива, что, кажется, в жизни не исписала ни одного листка бумаги. Он охотно рассказывал о сестре. Сестра была не только ленива, но и проказлива. Дядюшка Пещуров имел слабость, которая теперь уж не часто встречается: нюхал табак. И что же? Елена пристрастилась к табаку. Ее наказали, но она невеста, и наказания на нее поэтому более не действуют. Каково? Нет ли новых стихотворений?

Александр, еще бледный, больной, слушал Горчакова — и вдруг побледнел еще больше: он вспомнил, что в его келье остались обе поэмы, правда спрятанные. Он просил приятеля взять обе поэмы себе.

Вечером, перед сном, Горчакову удалось к нему проникнуть. Дядька Сазонов куда-то исчез на ночь, и Александр лежал один в палате. Обе поэмы были у Горчакова. Он прочел их. Поэмы ужасны, пагубны и могут навлечь бедствие не на одного Пушкина. В «Тени Баркова» он не понимал даже многих слов. Если бы нашли такую поэму здесь, в здании дворца, под носом у императора, Пушкина отдали бы в солдаты.

Александр спросил, смутясь: неужели обе поэмы показались ему такими. «Тень Баркова» он и сам считал слишком вольной, но «Монаха» по окончании и отделке он хотел послать в печать. Так невзначай он выдал Горчакову свое тайное желание: он надеялся увидеть поэму напечатанною, за тайной подписью: 1. 14. 16.

Горчаков покачал головой. Он удивлялся опрометчивости приятеля. Обе поэмы ужасны. Он с тайным наслаждением следил за лицом приятеля: впечатление было полное. Он еще раз повторил: его, может быть, и не отдали бы в солдаты, но сослали бы в отдаленный монастырь. Его выходки против седых игумений и монахов преступны. Его послали бы в монастырь, где он спал бы на каменных плитах. А лицей разогнали бы, закрыли, и все проклинали бы самое его имя. Горчаков увлекся. Преступление Александра было велико, пропасть, открывшаяся перед ним, ужасна. Он, Горчаков, спасает его в последний раз, больше не удастся.

Обе поэмы он предлагает предать огню немедля: он сунет их в печь, как скоро дядька ее затопит.

Александр согласился, нимало не раздумывая. Картины, которые шепотом развивал перед ним Горчаков, полумрак, одиночество подействовали на него. Он был преступник. И не только потому, что смеялся над монахами, — он не терпел их, так им и надо, — не потому, что осмеял женщин, а потому, что смеялся над стихами, которые были прекрасны, только чуть навязчивы. Самая память его мутных поэм была ему тяжела. Горчаков был прав: его сослали бы. Он стал бы вторым Вильоном, его имя стало бы неприлично, как имя Баркова. Куда за-

влекло его любопытство, желания, воображение, потерявшее узду!

Горчаков, довольный, тихо удалился; Сазонова еще не было, и никто его не заметил.

Александр не спал в эту ночь. Глубокий мрак стоял за окнами, тишина окружала его. Ржавая свеча оплывала. Старые часы пробили полночь, шипя. Он не боялся ни тюрьмы, ни монастыря: он убежал бы. Но молчание кругом было слишком глубоко, друзья далеки, он был один на всем свете. Он стал читать французскую книжку, которую принес ему тайком Дельвиг: «Пролаз литературный, сборник самых забавных случаев, исторических событий и стихов», и нехитрая французская книжка успокоила его.

Он рано проснулся. Слуга его, Сазонов, сидел рядом на своей кровати и, не видя, что он проснулся, тихонько чистил свою одежду. Одежда его была в грязи, соре, он пристально, неподвижным взглядом приглядывался к ней, снимая длинными пальцами соринки, пушинки. Потом, все так же не замечая, что Александр проснулся, он ощупал свои рукава и, покончив с этим, стал смотреть на свои руки, пристально, водя по ладони пальцем, как бы желая стереть следы ночного путешествия. Александр прикрыл глаза. Сазонов вдруг на него поглядел и бесшумно улегся. Через минуту он спал.

12

Назавтра все было кончено. Горчаков явился свежий, веселый, розовый и важно сказал приятелю, что тот может спать спокойно. Обе поэмы преданы огню. Никто, кроме него, об этом не знает. Он нем, как смерть. Как любитель дел запутанных и негласных, Горчаков поступил так: поэму «Тень Баркова» он действительно бросил в печь; однако, чувствуя, что ему поручена важная тайна и что прелесть этого утратится, если никто, кроме него и Пушкина, не будет об этом знать, до того как сжечь, он под строгим секретом показал поэму Мише Яковлеву, паясу. Жадный взгляд паяса, изумление, восторг и ужас при чтении «Тени» вознаградили его. У Яковлева была чудесная память, но он взял с него клятву забыть

и стихи и самое имя автора и временного владельца поэмы. Так с этою поэмою было все покончено.

«Монаха» же, как более невинного, он завернул в толстую бумагу и запечатал собственным перстнем. Перстни не разрешали носить в лицее; но он хранил его, как дар тетушки, в бюро. Он ждал сестры. Сестре он собирался передать запретную поэму под видом секретных своих записок. Она должна была дать ему слово не распечатывать пакета и хранить у себя до его возвращения из лицея или смерти. Он обожал тайны. Впрочем, все было обдумано. Если бы тайна обнаружилась, опасность была бы не так велика: содержание второй поэмы было гораздо невиннее первой. Впечатление, произведенное на Пушкина рассказами о тюрьме, монастыре, будущей судьбе лицея, льстило ему. Всегда полезно хранить приятельские тайны: это дает какое-то влияние, какую-то власть над приятелем. Это очень приятно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Он проснулся счастливый и засмеялся от радости. Голые стены лицейского гошпиталя, по которым бродило солнце, окно, мимо которого звучали иногда шаги, — преимущество первого этажа,— все ему казалось прекрасным. Доктор Пешель, опрысканный духами, уехавший в город с розою в петлице приносить жертвы Бахусу и Венере; дядька Сазонов, искавший со вчерашнего вечера куда-то завалившийся четвертак, — все были забавны.

Дядька Сазонов был растерян.

— Четвертак, — бормотал он, — даром все дело пропало.

Ночные страхи более не существовали; Горчаков, сожжение преступной поэмы, вся эта ночь, в самом ужасном роде новых баллад, заставили его улыбнуться. Он тотчас задумал новое, легкое и без всякой злости стихотворение, в котором прощался с Жуковским; как певец делал смотр героям и каждому посвящал по куплету — так и он делал смотр своим товарищам,

друзьям. Он составил и список их: поэты — ленивец Дельвиг, любезный Илличевский, сиятельный повеса Горчаков, Броглио, давний друг Пущин, забавник Яковлев, хват, казак Малиновский, Корсаков, певший его «Измены», и под конец Вильгельм. Он воображал в голой комнате пир, лицейский пир, и две строфы были уже готовы. Они вполне вытеснили из его памяти злосчастную, отверженную, бешеную сатиру; он никогда ее не писал.

К вечеру пришли его проведать Пущин и Кюхельбекер.

Вольности лицейские продолжались, и Фролов с этим примирился. Он махнул рукой: заведение было статское, а не военное, и неизвестно, для чего молодые люди предназначались. У многих качества были хорошие: Пушкин фехтует изрядно, Вальховский держит строй, Матюшкин внемлет дисциплине. Из них, по мнению Фролова, со временем мог бы быть толк. Горчаков строя не держит, прирожденный штатский, шалбер, шенапан, но умен, как Алкоран. Дурного мнения он был только о Кюхельбекере.

— Помилуйте, — хрипел он, — да он к простому шагу неспособен. Последнее дело!

Пользуясь вольностями, теперь друзья навещали его в гошпитале без помех.

Пущин был все тот же, что и в первый раз, когда они увиделись на экзамене. Когда-то строгий Будри, питавший к нему слабость, назвал его Жанно. Жанно был толстый, румяный, с серыми глазами, увалень, созданный для удовольствия и ненавидевший огорчения, трудные положения, крайности и проч. Рассудок, смех, острое слово были для него превыше всего. Кошанский, витийствуя, всегда умолкал, встречая его взгляд. Горчаков переставал прихрамывать, завидя Жанно. Незаметно при ссорах стали обращаться к нему: он разбирал их с удовольствием.

Часто перед сном он толковал с Александром вполголоса, через перегородку: неожиданные колкости друга, неуместная застенчивость и внезапный гнев удивляли его. Александр всегда подчинялся его решениям, хотя и не отвечал на упреки.

С Кюхельбекером у Александра тоже была дружба, иная. Он с некоторым терпением переносил безумства

и припадки друга; к вечеру ссорясь насмерть, утром они встречались друзьями.

Кюхельбекер переносил насмешки и гонения с терпением Муция Сцеволы, сжегшего на огне собственную руку. Его боялся Корф, говоривший, что такой человек из безделицы может за столом зарезать ножом и проткнуть вилкою. Кюхля знал, что тайный сборник «Жертва Мому» написан его друзьями о нем, но уверенность в том, что поэты всегда были несчастливы, все росла в нем и утешала его. У него был список поэтов несчастливых: Камоэнс и Костров умирали с голоду. Жан-Батист Руссо, подвергавшийся изгнанию и умерший в нищете, был поэтом, коему он поклонялся. Оды Руссо любил старик Будри и, закатив глаза, покрикивая, читал славную Руссову оду «К счастью». Будри был в дружбе с матерью Кюхельбекера и опекал его. Оба не терпели Вольтера, насмешника, способствовавшего несчастью славного Жан-Батиста. Александр тайком раздобыл том запретных эпиграмм Жан-Батиста, сунутый когда-то Ариною и изъятый монахом Пилецким, и показал их Вильгельму. Поэт остолбенел: эпиграммы того самого мученика Жан-Батиста, которому он поклонялся, были самые бесшабашные. Вообще поэты, которые попадали в руки Кюхли и Александра, как бы раздваивались. Они поделили между собой, например, Буало: Александр взял у Чирикова из библиотеки первый том, Кюхле тогда же достался второй. В первом были сатиры и «Искусство поэтическое», во втором — трактат «О высоком» Лонгина. Кюхля стал учеником Лонгина: были переписаны главы о восторге; о том, что в высоком стихотворении необходимы пороки, слабости и падения, а ровное совершенство не нужно, ибо взволнованный дух познает в самом падении — высоту. Пущин говорил, что Кюхля сохранял теперь в своих стихах одни падения. Так, Вильгельм, наслушавшись насмешек над «славянороссами» деда Шишкова, сам стал «славянороссом». Он доказывал, что тот самый князенька Шихматов, которого, брызгая слюною, уничтожал Василий Львович, — гений, и также внес его в список пострадавших.

Поэма Шихматова «Петр Великий» была длинна, громка и полна внезапного сопряжения идей, но ее уважал и Чириков, творение коего «Герой Севера» было в том же роде. Кюхля переписал ее — труд немалый, и

охотно читал желающим. Завидев в руках друга поэму Шихматова, Дельвиг и Александр поспешно удалялись.

Эпиграмму Батюшкова все переписывали:

Какое хочешь имя дай
Своей поэме полудикой:
Петр Длинный, Петр Большой,
Но только Петр Великий
Ее не называй.

Чириков, которого поэма была не меньше Шихматовой, возражал; Кюхля негодовал на все эпиграммы.

Услышав вчера от Горчакова, что «Пушкину несдобровать», он, несмотря на то, что между ними были споры, почувствовал, что любит Пушкина больше, чем когда бы то ни было, простил «Жертву Мому» — и явился вместе с Пущиным. Они обнялись.

Всюду с собою Кюхля таскал толстую тетрадь: это был его знаменитый словарь. От А до Я Кюхля терпеливо переписывал все мысли, казавшиеся ему замечательными. Сначала, как всегда, Александр вместе с другими посмеивался, потом перестал, а там сам стал для Кюхли отмечать то и се, и, наконец, Кюхлин словарь стал его любимым чтением. Трудолюбец переписывал Жан-Жака, Саллюстия, Шиллера, Бернардена де Сен-Пьера, швейцарского вольнодумца Вейсса, и постепенно вольномыслие стало его привлекать. Были переписаны мнения Вейсса об аристократии, Руссо — о добродетели, Шиллера — о свободе. Впрочем, он не пренебрегал ничем: на букву Д поместил биографию генерала Дорохова, а о слове «дружба» — два мнения: Бэкона и Василья Львовича. Бэкон писал, что без дружбы жизнь была бы гробом, а Василий Львович: «Кто мечтает о дружбе, тот уже достоин иметь друга».

— Я беру свое добро везде, где его нахожу, — говорил Кюхля, повторяя Мольера.

Вальховский учил его справедливости.

Он и теперь принес свой словарь и тетрадь стихотворений.

Кюхля любил читать свои стихотворения. Читал он, сильно напрягаясь, доходя до визга в местах высоких, восклицаниях, и тотчас голос его падал: он задыхался.

Кюхельбекер переводил теперь гекзаметром с немецкого греческие гимны. Еще отец Кюхельбекера, который

был университетским товарищем Гете, внушил ему с детства любовь к важной поэзии. О гекзаметре только еще спорили, можно ли его употреблять в русском стихе. Шишковская братья утверждала, что можно. Кюхля избрал эту редкую меру. Он принес «Гимн Аполлону»; стихи Кюхлины были вообще тяжелы. Он прочел гимн, довольно длинный. Пущин терпеть не мог ни его стихов, ни чтения, но открыто того не говорил, боясь задевать уязвленное самолюбие. Однако он не удержался: закрыл глаза и притворился спящим. На второй странице дыхание его стало прерывистым. К концу он издал легкий храп, который Кюхля в увлечении не расслышал, и слава богу. Чтение кончилось. Александр был счастлив и охотно согласился с Бэконом, что без дружбы жизнь была бы гробом. Новая строфа пришла ему в голову, о Кюхле: пирующие друзья, студенты, просят Вильгельма прочесть свои стихи, чтоб поскорее заснуть.

Они критиковали друг друга. Но Кюхля почти никогда ни с чем не соглашался, спорил и отстаивал каждый свой стих до хрипоты и только исправлял ошибки противу языка. Напротив, Александр часто соглашался с мнением Кюхли, Жанно, Дельвига, но — странное дело — никогда почти не исправлял то, о чем они говорили.

Сегодня ему спорить не хотелось. Друг его пугал своим терпением и упрямством, которое в лицее называли ослиным. Илличевский был скромен. Яковлев беспечен, Дельвиг приучал себя к притворному равнодушию. Другой на месте Кюхли давно бросил бы и думать о стихах. Кюхля готовился к поэтической деятельности, как Геркулес к подвигам, и был готов на все.

Между тем после смерти Малиновского они все, не сговорясь, стали подумывать о будущем, их ожидающем. В корпусах готовили военных, в университетах — ученых. Назначение лицея было неясно. Ранее они об этом не думали. Никто из них не рассчитывал на отцовские поместья. Мать Кюхельбекера жила крохами. Он должен был бросить музыку; хотел стать славным музыкантом и учиться на скрипке, скрипку раздобыли и прислали, а на учителя денег не хватало. Он был вечно в долгу, и, посылая ему два или три рубля для уплаты долга Чирикову или Корфу, мать каждый раз давала ему понять, как гибельно в его положении делать долги. Кюхля запи-

сал в своем словаре перед изречением Василья Львовича о дружбе:

Долги. Лучшее средство, чтоб не иметь больших долгов, есть воздержание от малых. Сравнивают беспорядок с комками снега, которые увеличиваются по мере того, как их катят. — *Вейсс.*

Так все и происходило: он занимал по полтиннику, а в конце года писал письма домой, что задолжал три рубля.

Горчаков относился к делу легче: о долгах забывал. У Александра надежды на присылки были неверные.

Только Вальховский да Матюшкин знали свое будущее: Вальховский хотел быть военным, Матюшкин — моряком.

Кюхля, втайне влюбленный в молоденькую Вельо, комендантову дочку, готовился стать супругом и уже написал об этом домой. Получив ответ матери с требованием немедленно уняться и с указанием на то, что он еще слишком молод и, только кончив лицей и заняв положение, может думать о браке, — Кюхля утвердился в том, что будет поэтом и это даст ему со временем прочное положение. Несчастная участь поэтов, которая его занимала, нисколько его не останавливала. Так, с одной стороны, он готовился к поэтической деятельности, как единственно верной и прочной, с другой — был готов из-за нее на насмешки и унижения, шел как на костер.

Смеясь, как все, над Кюхлей, Александр незаметно для себя самого стал задумываться. Друг его писал стихи насильно, с ожесточением, упрямством, и Александр угадывал за разговорами о несчастье поэтов ничем не ограниченное честолюбие друга. Любовь к высокому и великому была его верой; буква В в его словаре была вся заполнена статьями о высоком и великом. Он искал его везде и так утешал себя в насмешках друзей. Лонгин был его требником. Он переписывал оды Пиндара и поэму Камоэнса, раздобыл и списал оду Лебрена на лиссабонское землетрясение, подражания Оссиану. Малиновский дал ему историю турецкой поэзии, и поэт Мизик стал его любимцем. Восточная поэзия привлекала его своим сильным и возвышенным,

но неправильным слогом. Постепенно он стал живым справочником для Дельвига и Александра.

Однажды он признался Александру, что у Лонгина есть одна фраза, которую он списал в словарь под знаком NB и которая противоречит убеждению в несчастии, ожидающем высоких поэтов: «Истинным и действительно высоким можно почитать то, что всегда и всем нравится». Александр, как и Кюхля, был поражен. Странное дело: Кюхельбекеру нравились его удивительные заблуждения и крайность мнений, он жадно цеплялся за них и, с какой-то радостью предугадывая в своих стихах будущие беды, которые ему грозили, не боялся признавать истину, для него неприятную. Александр не понимал несчастной гордости друга; сам он хотел, чтобы женские руки листали его стихи и глаза туманились. Кюхля думал, что истинные поэты остаются всегда непонятыми; а он хотел, чтобы его понимали все, от мала до велика. Когда говорили о славе, дядюшка Василий Львович и отец становились остроумнее, Куницын задумывался. «Гимн Аполлону» кончился.

Александр молчал. Пущин, встрепенувшись, как бы очнувшись от сна, потягивался. Кюхельбекер пристально вдруг на него воззрился. Он подозрительно вглядывался во все его движения. Жанно Пущин был поклонник здравого смысла, пресного, по мнению Кюхельбекера, любитель бонмо, лакомств и проч. Один из насмешников. Отчего он потягивался? Уж не спал ли он притворно во время чтения, как уже однажды старался это изобразить?

Чувствуя приближение гнева, Кюхельбекер скрипнул было зубами, но все обошлось: Пушкин спросил о его словаре, нет ли чего-нибудь нового? Интерес друзей к словарю льстил несчастливому поэту: Кюхля сказал, что в «Гимне» он изменит одно выражение при печатании. Он не сомневался, что его напечатают. И он раскрыл словарь.

Новые записи были на Р и на С: равнодушие, рабство, развращение, растение; сила, свобода гражданская и страсти. Пущин насторожился. Самые сильные страсти были те, которые зависят от устроения тела человеческого: например, любовь, приводящая кровь в волнение и затмевающая рассудок; или леность, ослабляющая все пружины деятельности.

Только шесть главных побудительных причин возбуждали страсти и производили большую часть великих перемен: любовь, страх, ненависть, своевольствие, скупость и фанатизм.

Александр слушал прилежно; он вспомнил вдруг, как искал Наташу по темным переходам и чуть не заблудился; мнение о лености как о страсти нужно было показать Дельвигу.

Кюхля брал добро, где находил: прелестница Нинон Ланкло лучше всех, по его мнению, изведала, что такое любовь. Уже старея, встретилась она с Вольтером, только что вышедшим из коллежа, и многому его научила. Он давеча взял том Вольтера в комнате у Александра и нашел в нем философию Нинон: «Преодолев все препятствия для любви, — остается самое трудное — не иметь никаких препятствий».

— Не понимаю, — сказал вдруг Жанно. Он смотрел на Кюхельбекера во все глаза.

Кюхля с удовольствием повторил.

— Любовь требует препятствий, — сказал он, — в противном случае начинается пресыщение.

— Откуда ты знаешь? — спросил испуганный Пущин.

— Из Вейсса, — ответил Кюхельбекер.

Они подозревали чудеса. Эта прелестница семнадцатого века, у которой было столько любовников, неверная и ветреная в любви, постоянная в дружбе, у которой в гостях бывал Мольер, рассказавший ей своего «Тартюфа», знала страшные вещи. Оказывалось, в любви случалось такое, о чем никто и не подозревал. Кюхельбекер прочел о равнодушии. Он только что записал мнение Жан-Жака: «Философское равнодушие сходно с спокойствием государства под деспотическим правлением: оно не что иное, как спокойствие смерти, оно гибельнее самой войны».

Все трое вполне согласились со статьей о равнодушии. Пущин сомневался в страстях, — можно ли говорить, что только страсти движут важными переменами. По его мнению, всем движет разум.

Кюхля улыбался с видом некоторого превосходства.

— Однако же поэзия, — сказал он, — порождается страстями, безумием и восторгом, а не разумом. В этом все согласны, и Батте и Лонгин.

— Нет, разумом, — сказал вдруг быстро Александр.

Все, что прочел Кюхля о страстях, его заняло, он уселся на больничной кровати, подогнув ногу, и закусил губу.

Любовь и пресыщение, скупость, своевольство — были страсти, которых он боялся. Восторг не был страстью, а когда он писал стихи, это, кажется, не было восторгом. Забвение, внезапный холод, рифмы, подтверждавшие верность всего, мгновенная радость знания, недовольство, все, что угодно, но не восторг.

Кюхля развернул словарь и стал спорить. Александр слабо возражал, и они приумолкли, каждый думая с радостью о судьбе, которая предстояла.

Друзья давно ушли, завтра предстояло ему идти в классы, — доктор Пешель сказал, что девичья кожа оказала свое действие и он исцелен.

Прелестница, неверная в любви, верная в дружбе, пророчила вскоре неверные радости. Эта страсть была сильнее всех других. Поэтическое упрямство Кюхли было ничто перед нею. Ему захотелось отговорить друга от его несчастной страсти к стихам. Вильгельм заблуждался. Стихи его возбуждали смех, и он был достоин лучшей участи.

На его больничном столике вместо лекарств теперь лежали том Буало и две книжечки Парни.

2

Он часто бродил теперь по парку, заходил в глубь липовой аллеи и полюбил эти места: здесь никто не обращал на него внимания.

Послание Кюхельбекеру было написано. Он чернил перед другом ремесло стихотворца, как Буало во второй сатире. Ни богатств, ни честей, ни славы Кюхля не должен был ждать от стихов. Он несколько дней прятал от друга свое Буалово послание. Деду Шишкову и его «Беседе», виновникам Кюхлиных удивительных заблуждений, доставалось в послании. Дельвиг восхитился. Наконец Александр прочел послание его герою. Кюхля не разъярился, как того ожидали, хотя о стихах его в послании говорилось без всякого уважения.

Он тоже бродил теперь по парку со своим словарем и листал какие-то книги. Вскоре ответ был готов. Кюхля

полагал, что он был тем сильнее, что принадлежал тому самому Пирону, шалости которого были всем известны и так нравились Александру. Ответ Кюхли был на П.

«Поэт. Геройство или дурачество стихотворцев, если они находятся в бедности, заставляет их говорить своей Музе точно так, как говорила Агриппина о своем сыне, когда ей предсказывали, что он будет царствовать, но что она умрет его рукою: «Moriar, modo regnet» — «Пусть умру, только б он царствовал».

Пирон. Пирон только что хотел войти в комнату знатного господина в то время, как сей отворил двери, чтоб сопровождать другого вельможу. Гость остановился из учтивости, чтоб пропустить Пирона. «Не останавливайтесь, сударь, — сказал хозяин, — этот господин не что иное, как поэт». — «Теперь знают, кто я такой, — ответил Пирон, — и я пойду вперед по своему чину».

Кюхля соглашался сравнивать стихотворцев, даже находившихся в бедности, только с царями и на уговоры не шел. Несмотря на разность мнений, дружба продолжалась.

3

Он просыпался теперь рано, с радостью, которая ему самому была непонятна, счастливый, сам не зная почему. Женские прелести являлись ему по утрам.

Весь день он бродил по парку, нетерпеливо ожидая чудес. Это было счастье, до сих пор незнакомое. Быстроглазая Наташа не попадалась более. Старуху Волконскую сопровождала другая горничная девушка. Дядька Фома сказал как-то, что Наташа не соблюла себя и за то изгнана. Сердце его заныло, и он вечером спросил дядьку, куда девалась Наташа. Фома посмотрел на него внимательно, нахмурился и пожал плечами:

— Нам ничего не известно.

К Горчакову приехала сестра Елена, которую Горчаков так охотно упрекал в лени. Он показал ей стихи Александра «Измены», которые всем полюбились. Александр видел, как красавица прочла его стихи. Ему хотелось, чтобы именно эти пальцы касались его листков, именно эти губы улыбались, а глаза туманились. Женская слава была слаще и страшнее Кюхлиной

гордости. Он смутился и убежал. Чтобы отомстить красавице за свое смущение, он написал ей послание не для печати: она нюхала табак из маленькой золотой табакерки. Он перечислял прелести, на которые рассыпавшийся табак мог попасть.

Друзья прочли его послание.

Кюхля восстал.

— Табак попадает в нос, — кричал он, торжествуя, — а в носу гадко. Вот и все. Стихи негодные.

4

Но счастье, казалось, было теперь везде. И дворец и сады обновились. Это не были пустынные леса Куницына. Русские войска были в Париже, и все кругом хотело славы. В парке он часто встречался с Галичем. Галич приезжал из Петербурга и разбивал свой шатер у эконома. Поэтому он чувствовал себя в парке как дома. Он не похож был на лицейских профессоров. У них бывали в лицее иезуиты, якобинцы, они отвечали за их познания и поведение, одни хотели образовать из них монахов, другие — добродетельных. Галич ничего не хотел, он временно замещал Кошанского. Лицейские дела не так уж занимали его, и он обращался с ними не как профессор, а как знакомый. Они больше говорили о поэзии и искусстве, чем готовились по книгам. У Куницына было беспокойство в глазах — след затаенных страстей, быть может неисполнившихся надежд. Галич смотрел на всех большими ясными близорукими глазами без печали. Кошанский был сухим и желчным Аристархом, а Галич был Аристиппом, пророком удовольствий, учителем Эпикура. Все ему, казалось, приносило наслаждение. Кошанский учил их, что главное в поэзии — чувства, которые она только и изображает. Кюхля списывал в свой словарь о восторге и слепоте поэтов. Галич говорил, что главный предмет поэзии — истина.

Они гуляли, — и сады, памятники, дворец вызывали у Галича восторг. Он был орловец, дьячков сын, помнил свою родину, учился в Геттингене, странствовал по Франции, Австрии, Англии, знал французский, немецкий, английский, испанский и итальянский языки и

литературы. Сады восхищали его как орловца, памятники — как европейца.

На липах уже были почки, листья на дубе развивались. Он помнил еще, что в Орле старики говорили, что это к щучьему лову. Лебеди целый день плавали по озеру, и лебяжий пух плыл по воде. Статуи под солнцем обновились.

— Здесь парк тем прекрасен, — говорил он, — что запущен: мрак от деревьев великолепный. В Версале не то — там как бы Эвклид строил сады.

Посматривая на дворец, он сравнивал его с веком Людовика XIV. Кровли, карнизы, статуи — все было некогда покрыто яркою позолотою; Екатерина велела выкрасить кровли зеленою краскою, но следы старого великолепия, остатки старинной роскоши еще сквозили на солнце. Петр, отдыхавший после побед, бродил, быть может, по лесу, где теперь была липовая аллея, которую они оба равно любили. Галич останавливался у Кагульского мрамора и читал, не торопясь, вздев очки, память молдавской победы. Он сильно нападал на описательные поэмы Делиля, где описание поглощало предмет. Средоточие всего был человек, и главное в поэзии — истина. Он любил элегии и простодушно радовался Александровым «Изменам», но находил стихотворение слишком быстрым. Походка его была неторопливая, он начинал тяжелеть, и в элегиях ему нравилась их медлительность, важность. Это не была важность поэм, о которых говорил, понижая из почтения голос, Кошанский: Мильтона, Камоэнса, которых жадно переписывал Кюхля, стремясь открыть секрет высокой славы певцов. Это была важность меланхолии, воспоминаний, вечерних прогулок.

Гуляя, они иногда подолгу молчали, не мешая друг другу, и Александр умерял шаги, следуя за слоновьею поступью Аристиппа.

Однажды вечером, помолчав, Галич сказал ему, что не знает лучшего предмета для поэзии, чем история, и что царскосельские места и связанные с ними воспоминания могли бы быть предметом элегии. Парк, памятники, мосты соединили память всех русских побед — от Петра, отдыхавшего в этих местах после победы над шведами, до Екатерины. Нынче эти старые воспоминания вызывают воспоминания новые: о двенадцатом

годе и гибели завоевателя вселенной — в Москве. А потом, с легкостью, не боясь неудач, наугад Галич сказал ему, что «Измены»» хороши, но важная элегия лучше. Скоро, может быть осенью, будут экзамены, на них чтения; будет и пир, все теперь только и ищут предлогов для праздника, вот бы ему и заняться этою элегиею для праздника. Будет чтение, съезд.

— Пора вам испытать себя в важном роде.

И, понизив голос, он попросил никому более не рассказывать: Разумовский хочет позвать Державина.

Он был крайне доволен своею мыслью и предложением и несколько раз с простодушием принимался себя хвалить.

— Нужно всегда думать о самом близком, о том, что под рукою, а это труднее всего.

Они уже расстались, когда Галич его снова догнал.

— Я позабыл вам сказать, что если хотите обнять весь этот парк, а потом и произвести отбор самого великого, нужно наблюдать его с разных точек зрения, при разных условиях, чтобы один памятник не походил на другой. Лучшее время для этого — темнота. Гуляйте в вечернюю пору, и вы увидите, как все крупные черты прояснятся. Только б вас не стали искать как беглеца. Вечер — время льготного хода для мыслей, утро — время проверки.

Глаза философа сияли, словно он наблюдал любопытный опыт.

— Такова дисциплина поэзии.

Уверенность Галича, всегда добродушного и беспечного, когда речь заходила об истине и воображении, была неколебима.

Александр и так гулял по вечерам, правда украдкой и не слишком удаляясь. Фролов теперь весьма мало обращал внимания на дисциплину, будучи всецело занят карточною игрою. Дядька Константин Сазонов попрежнему исчезал по ночам, и никто этого не замечал. Вместо фроловской дисциплины Александр знал теперь другую дисциплину — Галича, «дисциплину поэзии».

Поздно вечером, противу правил и не боясь Фролова, он прошелся по парку. В полутьме, как тени Оссиановы, стояли памятники побед. Не было стройных садов — угрюмые леса, как при Петре, темнели.

5

Дельвиг признался: он послал стихотворение для печати в «Вестник Европы». Стихотворение Дельвига было «На взятие Парижа», а подписал он его псевдонимом: Руской. Давнишнее запрещение министра сочинять и, подавно, печатать никем не было отменено. Важная поэзия всех теперь привлекала. Дельвиг был теперь горой за Державина и говорил, что никто так не воспевал побед, как он. Насмешек над Державиным он теперь не одобрял. Воспевать победы рифмованными, короткими и быстрыми строками было то же, что плясать в алтаре. Древний Пиндар и новейший Пиндар русский, Державин, были отныне его учители в новой важности. Он написал свою оду «На взятие Парижа» в тайной надежде, что она станет известна старику Державину. Он без рифм обращался в ней к Державину:

Пиндар Российский, Державин!
Дай мне парящий восторг!
Дай, и вовеки прославлюсь,
И моя громкая лира
Знаема будет везде.

Александр призадумался. Еще когда он был в Москве, у родителей, над важностью Державина и грубостью его походя смеялись и дядя и отец. Язык его обветшал, а смелость слишком похожа была на грубость. Все так, стихи были татарские, дядюшка Василий Львович был, кажется, прав, — но совсем другое была державинская *слава*. Казалось, все памятники в Царском Селе: розовые и синие камни, искусственные скалы, колонны, торчащие из воды, напоминали о его стихах. И он вспомнил о Малиновском. Директор никогда не говорил с ним о стихах его, — может быть, они ему не нравились или он не желал отличать его от прочих. Суета стихотворцев была светская болезнь, и он не любил ее. Но однажды он стал говорить с ним о словесности русской, — так называл он поэзию, — и вспомнил о Державине. Он широко вдруг улыбнулся.

— Гаврило Романыч, — сказал он медленно, с нежностью, растягивая звуки, любуясь простым именем поэта, и Александр поразился, как можно так любить

стихотворцев — этого старика, который так теперь в журналах упал и над которым смеялись и дядя и Карамзин.

Нынче старого поэта все вспомнили, как вспомнили старую славу, еще недавно позабытую. Еще сегодня, когда он проходил мимо любимого державинского монумента, чесменского, он подумал о славе этих садов: это была слава не Карамзина, не Батюшкова и не дядюшкина, это была слава тяжеловесная, звонкая, старая — державинская.

Безрифменные песнопения Дельвига ему, впрочем, не понравились. Они вдвоем порешили, что Александру также следует что-нибудь послать в «Вестник Европы», самый большой и самый важный журнал. Они выбрали послание к Кюхле, «Послание к другу-стихотворцу». Александр переписал его тем почерком, который одобрял Калинич, как почерк без кудрей, нажимов и лишнего полета, и называл почерком публичным, или, иначе говоря, официальным. Подписался он: Александр НКШП. Он послал его в журнал. Редактором «Вестника Европы» был теперь Измайлов, почитатель Карамзина и любитель молодежи. Дельвиг думал, что его не напечатают, а Александра должны напечатать, но ему было весело воображать, как получат журналисты их стихотворения, будут читать, критиковать и проч.

И он и Александр — оба тихо смеялись. Обоим было весело и жутко.

6

Лицей был нынче республикой, и в республике этой царил беспорядок. Разногласия патрициев, — так они теперь называли профессоров, — их распри и сильные интриги перед лицом министра, причем все приносили друг на друга приватные доносы, не прекращались. Только старик Будри, да Куницын, да свободный гражданин нелицейского мира — Галич не принимали во всем этом участия. Директора не было, Кошанский хворал, доктор Пешель, расфрантясь и замкнув лазарет, скакал в город — пленять прелестниц. Фролов приглашал теперь к обеду. То же стали делать Галич и другие. Сойдясь в комнате эконома, где останавливался

Галич, они поднимали бокалы, полные лимонада, за здоровье хозяина, которого единогласно выбрали в президенты своей республики, и добряк с важностью принимал этот титул. Никаких предметов они не проходили по причине предстоящих публичных экзаменов.

Даже Кюхельбекер, покорный общему закону вольности, дважды был замечен лакомящимся украдкою в немецкой кондитерской.

Царскосельские обитатели их заметили.

7

Граф Варфоломей Толстой был театрал и меценат. Он играл на виолончели как любитель и дилетант. В силе удара смычком полагал он главное достоинство игры. У него был собственный театр, где он был директором, диктатором, режиссером, барином, султаном. Оркестр его людей, очень порядочный, играл теперь по вечерам в саду.

Вскоре лицейские получили от него приглашение. Граф ставил оперу «Калиф на час». Александр до сей поры только по рассказам отца, по особому выражению его лица, да еще по опущенным глазам тетки Анны Львовны, да по тому, как брызгал во все стороны Василий Львович, говоря об актрисах, знал, что такое театр. Тетка Анна Львовна строго осуждала театр и, говоря об актерках содрогалась. Этого одного было довольно: он любил театр, еще ни разу его не видав.

Театр Толстого был невелик и роскошен. Места были построены амфитеатром, полукругом, в подражание Эрмитажу. Занавес тяжелый, шитый золотною вязью. В проходах стояли капельдинеры в ливрейных фраках с разноцветными воротниками: дворовые. Музыканты были тоже в особой форме, с витыми эполетами на плечах. Толстой ничего не жалел для театра, и главная его забота была в том, чтобы все у него было как в больших театрах. Графская ложа была у самой сцены, и он усадил лицейских поближе к себе. Он им покровительствовал; к тому же, дамы к нему в театр не хаживали, и было много свободных мест.

Были приглашены все лицейские поэты, Горчаков, — опера «Калиф на час» была писана его дядюшкою, — и Корсаков, игравший на гитаре и певший. Граф Варфоломей Толстой был дилетант и любитель, он чуял, что в лицее подрастают любители. В театре — он знал это лучше кого-либо другого — важнее всего в публике любители: смех, нечаянный хлопок, даже свист невпример лучше, чем молчание. Как хозяин, он наслаждался, когда кто-нибудь запаздывал, бранился с капельдинером, наступал в полумраке на ноги соседей и проч.

Таков был театр. Плошки чадили, масло шипело. Перед хозяином лежала в ложе открытая книга с белыми листами, в руке карандаш. Он хлопнул в ладоши, музыканты заиграли. Занавес, шумя, взвился. Все притихли.

Театр представлял ночь и багдадскую улицу: у дома был навес; красные и зеленые фонарики светили. Все декорации писаны были дворовыми. Толстой хвалился, что в театре все — собственное, никого и ничего со стороны; даже занавес шили девки. Жених Гассан в тюрбане со стеклярусным пером стоял на сцене. Вышла Роксана, и он понял, почему тетка Анна Львовна жмурила глаза и тихонько отплевывалась, говоря об актерках. Он тоже невольно зажмурился. Полногрудая, белая, с большими неподвижными глазами, в роскошных шальварах, которые не шли к покатым плечам, белому лицу и сильному дыханию, она беспомощно двигалась по сцене и с каким-то испугом глядела в сторону графской ложи, не обращая никакого внимания на своего жениха, простиравшего к ней руки.

Толстой тотчас что-то записал в свою книгу. Она была в коротком покрывале, вышитом золотыми лунками, рядом шла кормилица Фатьма, щуплая, немилосердно накрашенная. Роксана остановилась и запела нехотя, надтреснутым голоском, склонив голову, не зная, куда деть руки. Она сложила их у грудей, точно стыдясь. Потом, вспомнив роль, опустила правую, а левой попыталась избочиться, но рука скользнула по поясу, и она опять приложила обе руки к груди. Не глядя на Гассана, она прошлась, чуть не задев его, и без всякого выражения своим надтреснутым голоском спела,

поводя глазами в разные стороны, склонив голову к плечу:

Все сердце устрашает,
Все душу сокрушает,
Когда начнешь любить,
И кажется во страсти,
Что все спешат напасти
Драгова погубить.

Александр вдруг, неожиданно для себя, хлопнул. Она пела плохо, держалась неумело на сцене, стыдилась полуголой груди, была беспомощна, но самая неумелость ее была трогательна. Она была красавица.

Кто-то шикнул. Толстой оживился и стукнул карандашом. Она посмотрела на него, а потом при виде крадущегося незнакомца упала в штофные кресла, стоявшие на улице у самого дома, но перед тем, как упасть, подобрала покрывало, которым, видимо, дорожила.

Толстой записал что-то в свою книгу.

Она еще не кончила петь, как явился раньше времени калиф в золотом халате и чалме и произнес торопливо: «Какие прекрасные голоса!» Он был робок, суетился и шумно дышал. В зале хихикнули, а Толстой побагровел и что-то сказал капельдинеру. Капельдинер скрылся.

Первое действие кончилось. Лицейские захлопали, сзади зашикали, актеры выходили. Роксана кланялась низко. Только сейчас она овладела своею ролью, ролью актрисы. Поклоны ее были быстрые, покорные, лицо казалось озабоченным, дыхание прерывистое.

Александр хлопал и кричал:

— Браво! Фора!

Она и ему поклонилась.

Ее звали Натальей, она была первою актрисою у Толстого, а ранее была камеристкой.

Толстой предложил лицейским пройти за кулисы. Он хотел, чтобы все у него напоминало большие театры.

Театр был роскошен, а кулисы низки и тесны; уборные актеров похожи на конские стойла. Толстой был недоволен и хмур. Калиф в роскошном халате жался у стенки. Толстой отвесил ему звонкую оплеуху.

— Я тебе покажу, как выходить, — сказал он, — ты калиф, а держишься без всякого достоинства. Запомни, дурак, что ты калиф и выше всех.

Он погрозил пальцем Наталье, и она потупилась.

8

Толстой разорялся на свой театр, и пьеса не держалась у него долее трех-четырех раз; она ему приедалась, и он тотчас принимался ставить новую. В три месяца он поставил три пьесы. И Александр не пропускал ни одного представления. Он стал завсегдатаем театра, который сам хозяин называл воксгалом, перевидал все оперы, балеты: «Тунисского пашу», «Похищение из сераля», «Султанскую неволю», «Севильского цирюльника». Он знал все тайны и интриги толстовского театра и что ни вечер был за кулисами. Наталья была главной героиней, субреткой, плясуньей, певицей и метрессой хозяина. Она была в вечных хлопотах, тревоге, страхе. К нему она привыкла и гримировалась при нем. Она ему призналась, что любит, когда он приходит: с ним спокойнее. Говорила она это шепотом и оглядывалась, не слышит ли ее султан. Лицо ее было в вечном напряжении: она то припоминала роль, то притворствовала перед своим владельцем. Играть ей вовсе не хотелось.

Однажды после второго акта «Султанской неволи» антракт затянулся. Он пошел за кулисы и застал ее в слезах: ее только что отодрали за антраша, в котором она запнулась. Слезы текли у нее из глаз, и она не утирала их, чтоб глаза не покраснели, а чтоб не размазать краски на лице, наклонила голову. Она прижалась к Александру и всхлипнула. Через пять минут она плясала, изображая Земюльбу, любимую невольницу султана, и кружилась с арапами в белых домино, а подлинный владетель сераля сидел в ложе со своею страшною книгою, похожей на счетную. Лицо ее было без улыбки и испуганное, всего труднее было запомнить, когда нужно улыбаться. На этот раз она не сбилась.

С некоторых пор Толстой стал относиться к нему заметно холоднее и перестал покровительствовать. Александр предчувствовал разлуку: театр был недолговечен. Толстой слишком тратился на свой воксгал, а за Натальею теперь был учрежден более строгий надзор. Он написал ей послание, которое все читали. Эпиграф он взял из французского поэта, не побоявшегося писать фаворитке самого короля. У поэтов были, он знал, свои вольности и права. Это был вызов Натальину султану. Толстой негодовал на мальчишку. Наталья была раба, но прелести

ее действовали на ее господина. Как это ни было ему самому смешно, он ревновал. Одновременно он был польщен. Поэты нынче писали его актрисам мадригалы. Воксгал его возбуждал все больший шум.

Он решился было проучить слишком молодого поэта, зачастившего к нему в воксгал, научить его вести себя, как подобает младшему. Александр захлопал Наталье слишком бешено, Толстой шикнул. Но тут случилась неожиданная неприятность: публика, о которой Толстой и думать забыл, вдруг приняла сторону юнца, раздались крики:

— Браво!

Толстой, раздосадованный, хотел было приказать тушить плошки, а публике идти вон, да вдруг раздумал. Что ни говори, это была его актриса, его собственная. Он ограничился тем, что в антракте, встретив Александра за кулисами, велел тотчас дать звонок и приказал громко, так, что все слышали, не пускать в зал опаздывающих.

— Довольно шуму, — сказал он.

Александр засмеялся, что было неучтиво, но тотчас ушел из кулис.

Вернувшись в лицей, он пошел в келью к Кюхле и заставил его перечесть из словаря о Пироне.

— «Этот господин не что иное, как поэт», — прочел Кюхля сонным голосом. — «Теперь знают, кто я такой, — ответил Пирон, — и я пойду вперед по своему чину».

Александр поцеловал Кюхлю.

— Этот человек не знает, кто я такой, — сказал он радостно.

Кюхля предложил ему прочесть новую выписку — о добродетели, но Александр убежал.

9

Когда пришла запоздалая книжка «Вестника Европы», Александр притворился равнодушным. Он закусил губу и, бледнея, смотрел, как Горчаков с Корсаковым листали журнал. Он ждал удивления, восклицаний, — ничуть не бывало. Они перелистали журнал, и Горчаков спросил его, не хочет ли он посмотреть: журналы стали нынче скучны. Он, притворяясь равнодушным, перелистал книгу, сердце

его сильно билось. Не веря своим глазам, он смотрел на подписи поэтов, названия стихотворений: его и духу не было. Он закусил губу, перелистал еще раз: ничего. Его стихотворение провалилось в Лету, оно не существовало. Он швырнул книжку и забился в угол, кусая ногти. К нему не подходили, думая, что он сочиняет. Он не сочинял: он тосковал. Кюхля, кажется, был в самом деле прав, говоря о судьбе стихотворцев. Его оскорбляло это отсутствие стихов; их никто не заметил, над ними, может быть, потешались редакторы. Он возненавидел журнал; обложка его была пухлая, на негодной бумаге, журнал был скучный. Дельвига стихов тоже не напечатали. Однако Дельвиг не унывал, а, напротив, был весел.

Он ткнул ненавистную книжку журнала в руки Александру.

Мелким шрифтом, где-то в самом конце нумера, было напечатано объявление от издателя: «Просим сочинителя присланной в «Вестник Европы» пьесы под названием «К другу стихотворцу», как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом: не печатать тех сочинений, которых авторы не сообщают нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики».

Они тотчас же написали и стали ждать. Обещание редактора никому не сообщать имен и адресов подействовало на Дельвига успокоительно: строгое запрещение министра сочинять не было забыто, и о печати думать нельзя было. Дельвиг сожалел, что нельзя подписываться полным именем. Александр был смелее; его инициалы: НКШП, казалось ему, ничего не стоило разгадать.

Каждый нумер «Вестника Европы» они листали теперь небрежно и медленно, притворяясь спокойными. Наконец в нумере двенадцатом появилось стихотворение Дельвига. Нумер переходил из рук в руки. Александр сидел, кусая губы: о нем забыли. Он словно попал в неизвестную страну, где были свои законы и где очень быстро забывали друг о друге.

Теперь журналы более не были для него тем, чем ранее, — он сам в них участвовал. Он вдруг начал понимать Кошанского, который спился с круга: нравы журналов и уставы их хоть кого свели бы с ума.

Самолюбие его было оскорблено жестоко этими отсрочками, и он вдруг перестал говорить о стихах, о «Вестнике Европы». Дельвиг был счастлив счастьем, ему недоступным, хоть и близким. Подпись *Руской* под стихотворением, правда, не была его именем, а подпись *Александр НКШП* была гораздо прозрачнее и лучше, но послания Александра все не печатали, хотя он мог бы принять за обещание объявление, напечатанное в журнале. Он махнул рукой и весь предался театру.

10

В неурочный час он возвращался с Розового Поля в лицей и почти бежал, чтоб не опоздать к ужину. Он не узнавал знакомой дороги; все изменилось кругом, и полукруглые луны прудков и глубокое небо: все стало словно ближе.

Еще накануне вечером условился он встретиться с Натальею сегодня на Розовом Поле, в беседке, но когда шел туда, не верил, что она придет. Она едва ускользнула: ее султан и стража, к ней приставленная, следили теперь за нею. Она вначале боялась всякого шума, всякого шороха: барина. Ему было стыдно, что он в первый раз еще влюблен в женские прелести. Он давным-давно знал все наперечет по иносказаниям отцовского шкафа, дважды читал Овидия «Науку любви» и, как верный ученик, старался ей следовать, но все позабыл: он не знал, что от поцелуя лица у женщин мертвеют. Овидий об этом ничего не говорил. А потом он ожидал наслаждений бесконечных, прелестей преувеличенных. Но это не было похоже ни на «Соловья», ни на Пирона, ни на Баркова, ни на все, что было в шкафу у отца и на полках у дядюшки, а потом стало похоже на гибель.

Он помнил все, что Парни говорил своей Элеоноре, но и разговоры были другие: ей было некогда. Наталья убежала; она торопилась на репетицию, а он вернулся в лицей. Он встретил Вальховского, Корсакова и Мясоедова, которые шли ужинать. Они посмотрели на него, что-то ему сказали, и все вместе пошли ужинать. Он был удивлен: они ничего не заметили. Ужин тоже был такой же, как всегда. Голова его кружилась, ему ни за что не хотелось уходить от товарищей, он смеялся и болтал без

конца, гуляя с Пущиным, Малиновским, Дельвигом, Горчаковым. Все ему казалось лучше, чем всегда. Даже Кюхля был прекрасен. Он их любил за то, что они ничего не знали, ничего в нем не заметили нового. Между тем вся старая жизнь была кончена. А они все были такие же, как раньше. Он без умолку говорил, рассказывал, смеялся. Все продолжалось, как прежде: близость, братство, о которых он ранее не думал. Все разошлись по своим кельям, порядок ничем не был возмущен.

Дядька Сазонов приготовил ему постель и удалился.

Он походил по своей комнате и свесился из окна. Он посмотрел поверх крыши фрейлинского флигеля и ничего не увидел: там был воксгал Толстого. Еще сегодня он не любил ее; он вовсе не был занят ею, ее судьбой, сегодняшним спектаклем — ему была только мила ее неловкость. Теперь он воображал, как она появляется в этот час на сцене, и жалел, что не отправился вместе с нею. Он хлопнул в ладоши и пожелал ей успеха. Потом вообразил надменного Толстого, сидящего величаво в ложе, глядящего строго на сцену и вносящего свои замечания в толстую тетрадь, и вдруг захохотал.

— Что ты смеешься? — спросил из-за перегородки сонным голосом Пущин.

— Я вспомнил Мольерова рогоносца, — сказал Александр.

За перегородкой ничего не было слышно, но он почувствовал, как Пущин пожимает плечами, и снова засмеялся. Наконец и Пущин засмеялся, сам не зная чему. Окно было открыто.

Назавтра, после первых лекций, Кюхля показал ему свой словарь: он хотел прочесть ему мнение о счастии, которое ему посчастливилось отыскать у Бернардена де Сен-Пьера.

Александр взял Кюхлин словарь и развернул его.

«История любви: желания, старания, хитрости, охлаждение, отвращение, ссоры, ненависть, презрение, забвение».

Он прочел еще какой-то вздор, из Вейсса:

«Должно стараться, чтоб все, даже кошки и собаки, нам благоприятствовали».

Кюхля ничего не понимал, видимо, в любви.

И, наконец, Стерн:

«Живейшее наше наслаждение кончается содроганием почти болезненным».

Он еще вчера не понимал этого, как Кюхля. Обоим нравилась странность этой мысли. Теперь он был удивлен: не он один испытал это, но как можно об этом говорить, это наблюдать, писать об этом?

К вечеру привез из города де Будри для Кюхли тринадцатую книжку «Вестника Европы». Дельвиг, который первый завладел книгою, окликнул его. Он был бледен и смеялся. Он ткнул ему раскрытую книжку. На девятой странице было напечатано: «К другу стихотворцу».

Александр посмотрел на свое стихотворение, побледнел и убежал.

Сегодня у Толстого в воксгале шла опера «Американцы», и Наталья играла в ней невесту грубого американца. Он боялся опоздать.

11

В лицей прибыл полицейский поручик с тремя солдатами. Он отдал честь Фролову и тихонько о чем-то доложил. Фролов отшатнулся и разинул рот. Потом двери были закрыты, и дядька Матвей с бледным лицом прошел по галерее; они бросились к окну и увидели: полицейские солдаты, обнажив сабли, вели высокого человека со скрученными руками. Он шел, понурясь, но, услышав их голоса, запрокинул голову и закричал высоким голосом:

— Простите, православные!

Сторожевой солдат ткнул его тесаком в спину, и все прошли, свернув вправо. Человек со скрученными руками был дядька, прислуживавший Александру и ночевавший с ним в лазарете, — Сазонов, Константин.

Через неделю стало известно, что Сазонов во время ночных отлучек из лицея занимался грабежами и убийствами. Всего им было зарезано девять человек. Четвертак, который он так несчастливо искал некогда в лазарете, был взят им тою же ночью у извозчика, которого Сазонов нанял за полтинник; чтоб не платить извозчику, он зарезал его и ограбил. На мертвеце нашел он четвертак.

Сазонов любил слушать стихи, спорил однажды с Дельвигом. Но он не походил на разбойника, которого Александр воображал ранее по романам. Он был белокур,

недалек, угрюм. Если бы у Александра были деньги, злодей, конечно, прирезал бы его. Они спали рядом, и никого кругом не было. Он вспомнил, как поил его Сазонов чаем с блюдечка, и во всю ночь не мог сомкнуть глаз.

12

Все, казалось, переменились. У всех ломался голос, появился пух на подбородке, который они с гордостью подстригали; но дружба осталась все та же. Дружили с ним Дельвиг и Кюхля, поэты; Илличевский писал те же басни, все чище и мелочнее их отделывая, и Александру не о чем было с ним разговаривать. Друзьями его были еще Пущин да Малиновский. Вальховский был добродетелен и строго его осуждал. Он чтил память своего нареченного отца, директора Малиновского, и дал клятву всю жизнь блюсти чистоту нравов. Он жаловался Кюхельбекеру на упадок нравов и говорил, что, поживи Василий Федорович еще, он переделал бы самых ветреных, и Пушкин не стал бы гулякой. Кюхельбекер ему совершенно подчинился, но отчасти оправдывал друга страстями, с коими тот не мог совладать.

Александр пропадал теперь в парке. Стояла осень, и он бродил по липовым аллеям. Друзья подозревали тайные свиданья. «Он отбился от рук и свернул с доброго пути», — говорил о нем Вальховский, качая головою, и Кюхля слушал его с отчаянием.

Театральные страсти Александра хоть сходили ему даром перед Фроловым, но вызывали осуждение строгих праведников. Добродетельные его сторонились и смотрели на него с сожалением, над которым он посмеивался.

Однажды Будри, глядя на Александра, рассказал им, как брат его, врач и мудрец, хотел предохранить его от разврата в молодых годах. Брат как раз в это время писал трактат о жертвах Венеры. Он показал ему мучения, обнаженные язвы, полумертвых гуляк, лишившихся рассудка и движения.

Александр слушал его с любопытством. Будри рассказывал живо, язык его был сильный, голос хриповат; парижские гошпитали ужасны. Все не имело ни малейшего отношения к его условленным встречам с Натальею, к ее прелестям и к той радости, которая, по свидетельству

Стерна, всегда кончалась почему-то содроганиями, почти болезненными. Но встречи эти теперь прекратились; театр стоял заколоченный. Он не встречался с Натальею, друзья ошибались: он сочинял.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Он медленно взобрался по ступенькам на свой громадный диван и почти упал на него, взлез с ногами. Белая собачка, спавшая у него за пазухою, не проснулась. Зимний утренний блеск солнца, желтый, розовый и синий, был на коврах; в окне пылинки инея; далее везде, на всем дворе был снег. На диване же было тепло. Он подремал, шевеля губами. Колпак упал с головы, и он не заметил; голова его была голая, желтая, как бильярдный шар. Младенческий пух кое-где пробивался. Диван был его царство: здесь хранил он все, что написал, и здесь же спал. Он взлез на диван с мыслью и намерением: в шкафике, что налево, на котором он давеча забыл свою аспидную доску, лежал список его трагедии «Атабалибо», обещанный Разумовскому. Да и аспидную доску он вовсе не забыл, с этою целию и оставил давеча. Он суеверно на нее покосился. Вдруг возьмет грифель — и стихи пойдут: ведь так и бывало; всю жизнь бывало. Он взял, зажмурившись, грифель, взглянул на снег, на пушистую Фонтанку, написал слово, стер; написал другое, стер. Положил доску на шкафик. Собачка Тайка сидела у него за пазухою смирно и грела его сердце. Звали ее Горностайка, а нежнее и короче: Тайка.

Пока лошадей запрягают, перед одеванием надо бы исправить две строки в трагедии. И вдруг ему не захотелось их править и тем портить великолепнейший экземпляр. Более того: ему жалко стало отдавать его. И он решил не отдавать. Последнее свое творение считал он самым лучшим: гибель императора перуанского, затмение солнца удались ему. Все, что он написал в течение своей жизни, многочисленные оды, были безделки, пустошь по сравнению с «Атабалибо» и, насколько он помнил, не стоили такого труда. Иногда ему казалось, что он только

начинал. Сегодняшнее путешествие несколько пугало его. В жизни пришлось ему много ездить: ездил по Волге, скакал по Оренбургским степям, в Петрозаводск и обратно, в Могилев и обратно и в Калугу. Но это путешествие в Царское Село его всего более затрудняло: надевать сенаторский мундир, ленту; ноги в валенки, руки в варежки; лезть в шубу, ставить ворот и мчаться по снегу, нарушать день. Но нельзя иначе: все ждут его явления, ободрения, чай, далеко высматривают по дороге — едет ли. Когда была служба, никогда он присутствиями не пренебрегал, старался быть пораньше, сидеть подольше, вникать и всегда негодовал на удачи людей вертопрашных и быстрых, которые, дома сидя, все знают, роскошествуют и успевают.

Экзамены в губернской гимназии всегда посещал. Лицей миновать нельзя было: это быстрое заведение шумело. Малиновский, который был директором, был ему хорошо известен, да вдруг нечаянно умер; кто там теперь — он не знал. Множество смертей со всех сторон не огорчало его уже давно, но сильно раздражало. Словно назло, все сверстники поумирали, за ними и кто помоложе, все начиналось, да не кончалось. Он привык к этой неразберихе времен, да не согласен был с тем, что новизна — это главное, а он в отставке. Он не хотел бы встретить на экзаменах поэта Жуковского; почтительнейший в письмах, приятный в стихах, он обольстил его: попросил стихов в свой альманачный сборник, искусил, а потом взял да напечатал все главные его стихи в своей книжке. Теперь никто не хочет покупать настоящие издания, все берут сборник Жуковского, и он без трудов, сидя дома, клюет золотые зерна. Песнь его на двенадцатый год сомнительна: все на мотив романса, и заставил вальсировать героев. Впрочем, есть талант.

Всю жизнь у него с людьми было беспокойство, младшие теперь все его почитали, кажется, а на деле были двойственные. Смеялись, кажется, также многие мальчишки. Такова жизнь. Он теперь, кроме своих сочинений, которые лежали у него в шкафиках, составлявших обе стенки дивана, заботился и о людях. У него часа свободного не было: хлопоты о сочинениях, к которым только раздобыть гравюры хорошего художника, — уже и разорение и огорчение, хлопоты о доме, о Званке, о наследниках.

У него детей не было, в этом было его горе. Он ни в коем случае не хотел, чтоб прекращалась фамилия Державина: выбрал младшего племянника, наладил просить высочайшего изволения присовокупить к его фамилии свою, да тот отказался, будто бы чувствуя себя недостойным: не по плечам. Он не остановился: был у него родственник и земляк, полковник конногвардеец, — наладил женить его на племяннице и передать фамилию — племянница отказалась. С женским норовом совладать нельзя. Предлагал свою фамилию одному казанцу, хорошему — опять неуспех. Стал ходить к нему Блудов молодой, и ловкий, и умный, и хорошей родни. Хотел ему передать, Дарья Алексеевна, супруга, которую он обессмертил Миленою, — выжила Блудова из дому.

Старость была хлопотлива и печальна. Он ни за что и ни в коем случае не соглашался: во-первых, забыть женщин, во-вторых, не соглашался на смерть или, иначе, полное уничтожение. Милена с ним еще года два назад вздорила: он не мог видеть без биения сердца, как у женщин розовеет кровь сквозь голубые жилки. Он на все был согласен для красавиц. У них были права верховные. И когда женщины смотрели на него подолгу, он опять забывался, а если еще красавица играла на арфе или на тихогроме, Баха или Крамера, — он тут же, бывало, начинал писать на аспидной доске за столиком, что у окна. Все его покидали — он не замечал; только задерживал красавицу: чтоб сидела тихонько и не уходила. Молоденькие племянницы были для него всего необходимее в доме. И мысль о том, что его фамилия уничтожится, была ему несносна. Поэтому он любил бывать на людях, любил к ним присматриваться, примерять к ним свою фамилию. Он распорядился в завещании всем своим имением, и как никогда ему не давалось все сразу, много раз его переделывал.

И еще его тяготила мысль, что прекратятся без всякого следа его стихи. Смерть должна была их прекратить. Он писал теперь важные трагедии. Со стихами было как с картами, которые чуть в молодости не погубили, а теперь жена выдавала ему на маленькие проигрыши, и он проигрывал. Ни имения своего, ни славы растратить не мог.

Диван развалится, по листкам рассыплются из боковых шкафиков рукописи и копии, да тюк, что лежит в нижнем ящике. Пока живы наследники, хоть что-нибудь

да уцелеет, а коли их не станет? Нужно было хоть кому-нибудь передать и стихи, свой гений, не только что копии. Поэтому он и сердился на Жуковского, — Жуковский мог бы ему наследовать. Ходили к нему молодые люди, приносили свои произведения, читали, он, бывало, загорался надеждою, да быстро гас: много теперь переводили (занятие для стариков, не смели писать свое, что в голову войдет), и все были мельче, чем в его время, щекотливее, бегатели. Избрал одного — забыл, избрал другого — тоже забыл. Он не хотел прилепиться надеждою к поэту зрелому. Зрелые поэты большею частью уже все показали, на что способны, они не давали надежд на бессмертие, и как наследники не принимали его фамилии, так эти — не принимали и даже не понимали его славы.

И он нетерпеливо отыскивал таких, жадно их слушал, надеялся.

К сегодняшнему приглашению Разумовского приложена была программа. Экзамены в новом заведении были обширные: отроки переходили с младшего курса на старший. Тому четыре дня был первый экзамен, и он на него не поехал: закон божий, логика, география, история, немецкий язык и нравоучение не были любопытны, потому что везде одинаковы. На второй экзамен он тоже не поехал бы, будь там только латынь, французский язык, математика, физика, которых он и сам не знал. Но последним поставлен был российский язык, причем особо было отмечено, что воспитанники могут быть спрашиваемы и посетителями. Он собирался воспользоваться этим правом. На программу он уже сделал свои замечания, но, впрочем, остался ею доволен: разные роды слогов и украшения речи, а пункт последний и четвертый: чтение собственных сочинений.

Он любил несмелые, спотыкливые, петушиные голоса юнцов, выкрикивающих свои сочинения. И он когда-то путался в словах и покрикивал. Поэтому, запоздав на все предыдущие, он ехал к последнему экзамену. Он решил также остаться до самого конца, в коем будут показаны опыты воспитанников в рисовании, чистописании, фехтовании и танцевании.

Кондратий-кучер всегда запрягал лошадей необыкновенно долго. Хотел сребро-розовых, соловых, но всю жизнь так и не мог достать, и теперь цуг его был серый.

Он еще подремал. Супруга вошла, окликнула его:

— Ганюшка, Ганюшка, пора тебе ехать!

Сняли с него теплый, подбитый беличьим мехом шлафор, и ему жаль стало с ним расставаться. Натянули на ноги плисовые сапоги. Надели на него сенаторский мундир и ленту; он стоял. Камердинер Кондратий напялил ему на голую голову седой взбитый парик; он покачнулся. Потом завернули его в шубу, поставили ворот, свели вниз, усадили в возок, подоткнули со всех сторон и повезли в Царское Село.

2

Сергей Львович не любил рассказывать о Варшаве. Он с семьею жил теперь по Фонтанке, там же, где и Державин. Впрочем, не совсем там: в самом конце ее, в Коломне. Как в Москве, на Немецкой улице, так и здесь, в Петербурге, везло ему на мастеровых: все кругом были мастеровые, вдовы-салопницы да беднота. Сергей Львович говорил, что поселился здесь единственно из-за воздуха и из-за сада, который в Петербурге не так-то легко достанешь. Он опустился. Виною всему было честолюбие: не стремился бы за карьерою — теперь не о чем было бы сожалеть. Растеряв приятелей, он стал теперь тщеславиться детьми. Кто мог бы ожидать: Ольга похорошела. Он повез ее на свиданье к Александру и в этом убедился. Ранее он этого не замечал, как и ее. Но Александр ей обрадовался, удивился, его товарищи — Горчаков и другие, которых он не знал, — смотрели на Ольгу тем взглядом, который он очень знал у всей этой молодежи, которым и он сам некогда посматривал. Сергей Львович тоже посмотрел на Ольгу и впервые увидел, что она похорошела.

Он смотрел на все чужими глазами. Сашка напечатал в «Вестнике Европы» стихотворение, что никогда не случалось с Сергеем Львовичем. Он был доволен, показывал книжку «Вестника Европы» и жаловался на стеснительность правил лицея:

— Вместо того чтоб подписать — Пушкин, бедный Сашка, вообразите, принужден подписываться псевдонимом, анаграммой, шарадой, ребусом.

Пробежав Сашкино произведение, он засеменил к себе в кабинет и тотчас сам уселся за листок бумаги:

хотел припомнить свою небольшую давнишнюю элегийку, которую при переездах потерял. Вообще и библиотека его и шкаф оскудели: при переездах он все почти растерял.

Но вскоре он получил письмо Василья Львовича, полное восклицаний: Сашкино послание было блистательное начало, по его мнению. Сергей Львович перечел послание и убедился: точно, оно было блистательно и было, может быть, началом, а не просто посланием, напечатанным редакцией для поощрения.

Он получил, как и все другие родители, приглашение на экзамен. Не торгуясь с живодером-извозчиком, он нанял его за четвертной и поехал, пообещав на водку. Важные лица были приглашены на экзамен, и торговаться с извозчиком Сергей Львович почел бы на сей раз мелочной скаредностью.

3

Кондратий соскочил с запяток, отворил дверцу и помог ему сойти. Его немного укачало во время пути. Он велел Кондратию остаться, а сам прошелся, чтоб поразмяться. Постепенно, не думая ни о чем, он пошел знакомою дорогою и удивился, дойдя до дворца. Он часто жевал губами.

У мраморной лестницы он остановился. Громадные Геркулес и Флора стояли у входа. Снег лежал на них.

— Вишь, и ее занесло, — пробормотал он о Флоре.

Потом с опаскою взлез на ступени и еще поворчал.

Темнело уже, а освещение было бедное. Он вдруг захотел смести снег с Флоры. Потянувшись посошком, чтоб смахнуть его с богининой крутой бедры, он не дотянулся и до мизинца, да и снег настыл; он несколько раз постучал посошком по насту и перестал, потом сполз по ступенькам на дорожку и, заслонив глаза, посмотрел на колоннаду. Сквозь занесенные снегом тополя он ничего не увидел, но почувствовал старинную сильную зависть. Там стояли строем кумиры, мудрецы римские и греческие, все на одно лицо, из бронзы. Оказался у них в соседстве и Ломоносов. И вот после того, как он увидел там и Ломоносова, он месяца два дурно спал по ночам, — его мучило желание, чтобы и его кумир был рядом.

В надежде, что дело дойдет до этого, заказал он ваятелю Рашету себя и Плениру. Тот изваял, взяв большие деньги. Но на колоннаду он не попал, и нынче его истукан стоял у серпяного дивана Катерины Алексеевны, бюст же Пленирры вторая супруга уже спрятала в диван. То же предстояло и его истукану, когда он умрет.

Позавидовав, он вдруг понял, что не стоит: такое равнодушие было кругом. Верно уже в колоннаде и не все кумиры целы. То же было бы и с ним: посмотрели бы на его болван, пхнули бы по лестнице, и пошел бы он считать ступени головою. На этой самой ступеньке, где он сейчас стоял, он когда-то плакал: была неприятность, подстроенная секретарем; все обошлось, но чего ему это стоило! А теперь это было вполне безразлично.

Он вдруг позабыл об экзаменах и о том, что его ждут. Ему захотелось хоть что-нибудь в этом саду оттягать по тяжбе со временем, которого всегда боялся и которое теперь его со всех сторон обступило. Он не желал смотреть ни на монументы, ни на беседки, ни в сторону Китайской Деревни, все еще не достроенной, он не хотел воспоминаний. Он знал сад, как свой дом. Там встретил он Безбородку, шедшего в сильном гневе, здесь Орлов любил гулять и хвастал, как остановил на бегу падающую с горы колесницу, — все, в чем полагал он жизнь, вдруг ушло. Не стало более азиатских прохлад, ни роскошей, был голый и умственный Александров век. Да и победы были другие, и он их не понимал, как, бывало, понимал Суворова. Его «Гимн лиро-эпический на прогнание французов» был без огня, и его никто не заметил рядом с «Певцом» Жуковского. Он всегда писал о времени и смерти, о непрочности всего, но он никогда не ждал, что это в самом деле сбудется в кратчайший срок. Если б не ноги, он пошел бы сейчас на озеро, где в лодочке катался когда-то с Пленирою, и хоть озеро замерзло, он постучал бы в него посошком.

Он пошел к лицею; новые жильцы были теперь в фрейлинском флигеле.

Он очень устал и почувствовал, что даром и совсем даром поехал в Царское Село. Впрочем, директор Малиновский обиделся бы.

Войдя в двери и скидывая швейцару на руки свою куню шубу, он посмотрел на него задумчиво и стал сомневаться: точно ли жив директор Малиновский.

Уже бежали опрометью вниз люди в мундирах встречать его и бережно подхватили под руки. Он осердился и вырвал руку. Помешкав, взобрался он старательно по лестнице. В зале он вспомнил, что и директор этот умер.

Его усадили в кресла. Потом, тряся головою, он посмотрел кругом и посвежел: много молодых глаз смотрели на него, как на диво. Он вздремнул, но слышал все отчетливо, только как бы за дымкою и не придавая всему особого значения. Объявили чтение. Он подумал о том, что на фехтованье и танцы не останется, а завтрак отведает.

Вдруг стали произносить его имя, читать его стихи. Он повернулся в креслах и, покачивая головою, слушал. Читали его старые стихи, которые уж много лет, как зачитали. Но он все стал забывать, и собственные стихи тронули его, как чужие.

Потом звонкий голос раздался. Он вгляделся. Голос был звонкий, прерывчатый, гибкий, словно какую-то птицу занесло сюда ветром. Он стал шарить, беспокойно ища лорнет. Не было лорнета. И этот голос вдруг сказал ему, и никому другому:

— Воспоминания в Царском Селе.

Он вдруг задрожал, повторяя отвислыми, грубыми, солдатскими губами, без звука, без голоса, эти слова. Он всматривался в школяра, и школяр, казалось ему, смотрел на него. Зрение давно стало его предавать, но он все же видел его как бы в тумане: у школяра глаза были быстрые, горячие. Так никто не читал стихов: подвывая, на пресечениях медля. Так только музыканты играли. И, как слушая Бахову музыку, он протянул, не обращая внимания ни на кого и вполне от всех отрешась, указательный палец, жилистый, старый, и еле заметно стал отмечать такту. Он слушал воспоминания этого птенца, которому еще нечего было вспоминать, но который вспомнил все за него в этом саду: и старые победы и новые.

Чтец назвал его в стихах. В забвенье потянулся он за аспидной доской, и рука его повисла в воздухе. Он был не у себя дома, а на публичном заседании. Аспидной доски не было, да она, видно, и не нужна была более. Он хотел написать:

Навис покров угрюмой нощи...
...Не се ль Элизиум полнощный —
Прекрасный царскосельский сад?

Когда Александр кончил, только некоторые смотрели на него: большая часть смотрела на Державина.

Старик, костлявый, согнутый в три погибели, все выпрямлялся и теперь, откинув голову, стоял; лицо его было в бессмысленном старом восторге, который из сидящих здесь помнил только старик Салтыков. Слезы текли по его морщинистому грубому лицу. Вдруг он с неожиданною легкостью отодвинул кресла и выбежал, чтоб обнять чтеца.

Он не нашел никого: Александр убежал.

И все еще держась, не впадая в дремоту, которая обычно им в этот час поминутно овладевала, он стал с живостью разговаривать с Разумовским.

Разумовский ничего не разумел. Он сказал, что хотел бы образовать Пушкина в прозе.

— Оставьте его поэтом, — сказал ему Державин и отмахнулся неучтиво.

И все так же держась, только сильно тряся головою, он сидел за долгим обедом и ел на этот раз много и жадно, пользуясь отсутствием супруги, которая, наслушавшись медиков, отнимала у него за столом самые вкусные яства; отпил глоток вина, выслушал лепет Сергея Львовича и даже ответил ему; а отъезжая из Царского Села, повалясь на подушки возка, уже засыпая, пробормотал еле слышно старому кучеру, которого, как и камердинера, тоже звали Кондратием:

— Во весь опор!

Часть третья

ЮНОСТЬ

1

Когда дядька Фома сказал ему, что его дожидаются господин Карамзин и прочие, сердце у него забилось, и он сорвался с лестницы так стремительно, что дядька сказал, оторопев: «Господи Сусе».

Он никак не мог привыкнуть к быстрым переменам в лице, к движениям господина Пушкина, нумера четырнадцатого.

Его дожидались в библиотеке. Родителей пускали просто в общую залу.

Уже с месяц Карамзин жил в Петербурге, и все было полно слухами о нем: он приехал хлопотать об издании своей «Истории» перед царем. Толстая Бакунина передавала, что царь его принял с распростертыми объятиями, и все решено; впрочем, в другой раз сказала сыну и его

товарищам, что пока ничего не решено и даже ничего не известно. Вообще более о Карамзине она не пожелала говорить.

Только накануне приехал Куницын и рассказывал об успехе Карамзина: все на руках носят, и двор принужден был согласиться на издание. Говорили о каком-то празднестве, данном в честь его. А теперь вдруг он оказался в Царском Селе, в лицее.

Он был не один: заложив руки за спину, стоял посреди галереи дядюшка Василий Львович и еще третий — мешковатый, со вздернутыми плечами и в очках, — Александр его видел в первый раз и сразу догадался: Вяземский. Василий Львович обнял его, как всегда делал это при других: не глядя на него и косясь в сторону друзей.

Вяземский наблюдал исподлобья и переглянулся с Александром.

— Ваше превосходительство, — сказал он Василью Львовичу, напоминая, — староста арзамасский!

Дядя медлил.

— Вот! — сказал ему Вяземский.

— Помню, ваше превосходительство, — ответил дядя молодцевато. Рыжеватые мягкие волосы у Вяземского были всклокочены, и задорный чуб дыбом стоял на затылке. Он был похож на петуха, готового в любую минуту броситься в бой.

И они засмеялись, а Карамзин покачал головой.

Дядю никто никогда не называл превосходительством, да он им и не был, а Вяземский и подавно. Это дурачество было ново и ни на что не похоже. Это были арзамасские шалости. У Александра дух перехватило.

Все было ново для него.

Дядя вынул из кармашка лоскуток, откашлялся и одернул жилет, как всегда делывал перед чтением экспромта.

Нет, это вовсе не были стихи. Дядя, сбиваясь на каждом слове и брызгая, усердно читал не то церковно-славянскую грамоту, не то какое-то кляузное отношение приказного:

— «Месяца Лютого, Сечня в день двунадесятый — лето второе от Липецкого потопа, в доме Старушки бысть ординарный «Арзамас». Присутствовали их превосходительства: Громобой, Светлана и Вот. Ополченные

красным колпаком и гусиным пером против «Беседы» безумства... — ну, дальше о Шаховском, — ты сам прочтешь, — признали арзамасцем Сверчка. Его превосходительство Чу...»

— Словом, ты — арзамасец, — сказал дядя кратко. — Это о тебе, мой друг, сказано — Сверчок. А их превосходительства — это такой титул: их превосходительства, гении «Арзамаса».

«Арзамас» шумел. Шаховской вздумал было в комедии вывести жалкого вздыхателя, Фиалкина, и осмеял стихи Жуковского. Комедия — «Липецкие воды» — была весела и имела шумный успех, но все друзья вкуса ополчились против Шаховского. Эпиграммы посыпались на него дождем. Его иначе не называли, как Шутовским, а комедию его—Липецким потопом. Писались церковно-славянским штилем длинные и бессмысленные акафисты в честь безумной «Беседы»—этих косноязычных дьячков, у которых оказался столь сильный и колкий союзник, как Шаховской. Дядя Василий Львович разъезжал по обеим столицам, неистовствуя.

Постепенно самое пересмешничество понравилось; всем нравился этот как бы тайный сговор против «Беседы».

Как-то Блудов, случайно проезжая через город Арзамас и скучая в станционном домике, вздумал изобразить в штиле «Беседы» и Шаховского и все происшествие. «Видение в некоей ограде» — называлось его замысловатое произведение. Так все, воевавшие против Шаховского и «Беседы», стали арзамасцами, безвестными жителями Арзамаса; учредилось общество, назвавшееся «Арзамасом», и эмблемой его явился арзамасский гусь. Арзамас славился своими жирными гусями.

Сам Жуковский принимал во всем самое деятельное участие. Они начали собираться то в квартирах друг у друга, то в самых неподходящих местах — сиденье в колясках и партерах по двое и по трое также именовалось собранием. Они важничали и корчили из себя старых вельмож, совсем как в «Беседе». Они то и дело говорили друг другу «ваше превосходительство». А по вечерам заседали в красных колпаках. — «Беседа» звала их якобинцами за каждый перевод с французского. Писались длиннейшие и презабавные протоколы. Завелся, как всегда, секретарь — не кто иной, как сам Жуковский.

Протоколы писались штилем дьячков. Самые месяцы были переименованы по-славянски. Календарь изменился. Январь был теперь у них Просинец, февраль — Лютый и Сечень, март — Вресень, апрель — Березозол. Собственные имена и фамилии показались им скучны. Они взяли баллады Жуковского и стали переименовывать себя по его героям и по всему, что придется: Рейн, черный вран, дымная печурка, о которых говорилось в стихах, — все пригодилось. Теперь они прозвали его Сверчком, и он был истым арзамасцем.

Карамзин внимательно смотрел на Александра Пушкина — отныне Сверчка. Он уважал и ценил этот возраст, когда радость так переполняет все существо, что губы прыгают перед тем, как засмеяться. Улыбка его была, впрочем, грустная.

Вяземский, подняв палец, как уездный секретарь, читающий статью закона, привел текст:

С треском пыхнул огонек.
Крикнул жалобно сверчок,
Вестник полуночи.

Слово «пыхнул» он произнес с особым выражением, по-арзамасски.

— У нас, друг мой, у всех теперь такие имена, — сказал Василий Львович торопливо. — Вот Вяземского зовут Асмодеем, Батюшкова — Ахиллом, — это больше по росту; ты ведь с ним виделся — он маленький... Меня тоже прозвали: Вот.

Александр переспросил. Дядюшкино имя было ни на что не похоже.

— Вот, — повторил дядя неохотно, — вот и все.

— Не вот и все, а Вот, — поправил Вяземский.

— Я и говорю: Вот, — сказал дядя с неудовольствием.

Конечно, все было смешно: и Ахилл и Сверчок, но Вот было совершенно ни с чем не сообразно.

— Там есть у Жуковского такие стихи, друг мой, — пояснил дядя, внезапно омрачась: — Вот красавица одна... вот легохонько замком кто-то стукнул, и прочее. В конце концов, не все ли равно? Вот так Вот.

Он был явно недоволен своим именем.

— Дашков — Чу, а я Вот, — сказал он потом, повеселев.

— А Тургенев — «Две Огромные Руки», вот как.

Дядя слишком был занят своим именем.

Вяземский сказал Александру, уже не шутя:

— «Беседа» одна конюшня, а если члены ее выходят за конюшню, так цугом или четверкой заложены вместе. Почему же только дуракам можно быть вместе? Вот и мы заживем по-братски — душа в душу и рука в руку. Когда вы кончаете лицей? Мы собираемся по четвергам.

Потом он спросил его серьезно, и хохолок встал на затылке, читал ли он новую балладу Жуковского и критику на него Блудова. Критика очень замечательна.

Карамзин спросил Александра, не сыро ли в Царском Селе, особенно в Китайской Деревне, потому что он собирается сюда всею семьею на лето. Это была еще новость, он только вчера окончательно надумал, и теперь по пути в Москву они остановились осмотреть его домик.

Заглянул в двери быстрый Ломоносов, и дядя, вспомнив золотые дни, когда в каком-то вдохновении писал «Опасного соседа», а Ломоносов и Пушкин были невольными свидетелями этого, представил его Карамзину и Вяземскому.

Карамзин и его попросил быть у него гостем.

По дороге встретил их запыхавшийся директор. Он отирал фуляром пот с лица и объяснил, что примчался сюда так скоро, как мог. О, если бы юношеские ноги! Веселость его была чрезмерна. И все тотчас переменилось, — Вяземский посмотрел исподлобья на Александра; увидел потерянный взгляд и раздутые ноздри. Директор был рыхлый, бледный, широкозадый, с остзейскими голубыми глазами, которые он беспрестанно закатывал. Небесная доброта изображалась на его лице, а угодливость и развязность — во всех движениях. Он был в восторге от таких гостей, и прочее.

Шутки сразу прекратились. «Арзамаса» и следа не было. И Карамзин заторопился. Он попросил директора отпустить с ними Пушкина и Ломоносова — осмотреть Китайскую Деревню. Китайская Деревня была в двух шагах от лицея.

Они подошли к этим домикам, таким холодным, таким необитаемым, точно в них никогда и нельзя было представить ничего живого. Со странным чувством смотрел историк на Китайскую Деревню, в которой был обречен жить этим летом. Он постригся в историки, — сказал

о нем Петруша Вяземский, но иноки не живали в таких нарядных, таких холодных беседках. Василий Львович недоумевал:

— Тут, друзья мои, до кухни, ежели ее устроить вон в той палатке, далеко: все простынет.

Он называл эти домики по-военному — палатками.

Странная фигура вдруг вытянулась перед ними: страшной толщины старый генерал, запыхавшись, стоял у входа в Китайскую Деревню, как бы преграждая путь. Александр узнал его: комендант Царского Села Захаржевский явился приветствовать гостей. Впрочем, приветствия не было.

Генерал, представившись, пролепетал, что Китайская Деревня не в порядке и он просит отложить осмотр.

Он был бледен, и глаза его сверкали, словно у него отнимали эти дома и словно они принадлежали ему.

— Прикажите открыть двери, — спокойно сказал Карамзин, тоже бледнея. — Мы подождем здесь.

Генерал, потоптавшись, отдал приказание хриплым и сдавленным голосом полководца, принужденного отступить, — открыть двери.

Он удалился.

Заплесневелые стены представились им. Василий Львович сказал, впрочем, что здесь летом будет хорошо. Александр посмотрел на Карамзина, потом на Вяземского. Все было понятно: дворцовая челядь, ненавидящая чужих и свято оберегавшая все углы Царского Села от вторжения лицейских, встревожилась при появлении великого человека. Он закусил губу, раздул ноздри и тихо фыркнул. Вяземский исподлобья, поверх очков, посмотрел на него.

— Пыхнул жалобно сверчок, — сказал Карамзин, оглядел их и улыбнулся.

Герой-комендант отступил перед его войском.

Потом Пушкин с Вяземским по-братски, по-лицейски взялись за руки и пошли осматривать все углы новых владений. Василий Львович увязался за ними и делал хозяйственные замечания, весьма дельные. Он нашел подходящее место для погребца.

— В жару, друзья мои, вино любит скисать. Это нужно понимать.

Карамзин никогда не пил вина.

Все же Вяземский успел сказать Александру, что идет настоящая война: «Беседа» сильна, Шишков обо всех делах академии входит к Аракчееву; что Николая Михайловича враги чуть не съели в Петербурге, даром что все люди со вкусом носили его на руках; что комедия Шутовскова имеет сильный успех и что над Жуковским смеются. Ну, да не на таковских напали. Вкус, ум, «Арзамас»!

Он пришлет ему нечто вроде торжественной арзамасской песни: Венчанье Шутовскова.

2

Он только и жил теперь этими краткими встречами, посещениями.

Прошлым летом забрел в лицей и спросил Пушкина отставной поручик Батюшков, и этой встречи Александр еще не позабыл. Отставной поручик был мал ростом — «махонький», как сказал Фома. Тихим голосом он сказал Александру, что зашел поблагодарить его за послание. На нем была бедная одежда: серая военная куртка, картуз. Он грустно и рассеянно смотрел темно-серыми глазами на Александра и ничем не напоминал ленивца, мудреца, любовника, которым был в стихах, больше всего понравившихся. Александр напечатал послание именно этому ленивцу:

Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец...

Поэт теперь все реже появлялся в журналах. Александр в послании писал ему об этом:

Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец?

Теперь он жалел об этом. Задумчивый, рассеянный, Батюшков, казалось, заблудился здесь, в Царском Селе, и было непонятно, как он доберется до дому. Стихи о московском пожаре припомнились Александру:

Лишь углей прах и камней горы,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры.

Тихим голосом он сказал о дворцовом строении и пороках в размере достроенного флигеля. Потом сразу спросил Александра: зачем он назвал его в послании российским Парни?

Он когда-то писал обо всем этом, но больше никогда не станет.

«Воспоминания в Царском Селе», которые Александр читал на экзамене перед Державиным, было, по его мнению, лучшим его стихотворением. Почему не попробует он написать поэму обо всех этих важных делах, о подвигах? Довольно ведь написано посланий.

Нет, он не был похож ни на эпикурейца, ни на мечтателя.

Александр ответил ему, слегка уязвленный, что он пишет поэму, но только шуточную, сказочную — в самом болтливом тоне: о Бове. Бова это герой, а в сказке действуют еще хитрый король и даже тень его слабоумного отца.

Батюшков тихо сказал, что и сам думал о такой сказке, и вдруг попросил Александра:

— Отдайте мне Бову.

Он улыбнулся и сразу стал похож на свои старые стихи о лени, о роскошных мудрецах. Потом он пригорюнился, пожал ему руку и ушел, не оглядываясь, маленький, сухонький, прямой.

Александр долго потом бродил по лицейским коридорам, переходам и не находил себе места. Потом он тряхнул головой и опомнился.

Когда Дельвиг спросил его, о чем говорил с ним Батюшков, Пушкин ему не захотел рассказывать. А Дельвиг спросил потом еще как-то, понравилось ли послание. Но Пушкин ответил:

— Будь каждый при своем.

Он не хотел больше думать об этом.

Вечером он стал читать все, что написал за год. Многие строки показались ему вдруг лишними, и он их зачеркнул.

Потом Жуковский подарил ему книгу своих стихов. Жуковский был высок ростом, длинные волосы падали на лоб, он был сметлив и говорлив. Батюшков, казалось, не замечал людей, а только здания и размеры их; Жуковский, осмотревшись, тотчас сказал о директоре, что он

похож на кота. И в самом деле он был похож на кота — плавного, сытого и поэтому доброго.

Теперь Карамзин, Вяземский и дядя Василий Львович по пути в Москву остановились у него. Карамзин собирался на лето в Царское Село — уже до них дошли слухи, что великий историк будет царским советником. Вот как легко и просто шло просвещение, чего оно достигло!

Арзамасец-дядя был теперь, видимо, на верху славы — он был самым старым арзамасцем, все должны были помнить его бои с «Беседой» и с отверженными вкусом халдеями. Александр был в упоении, провожая их в Китайскую Деревню, в которой предложили жить летом Карамзину. Правда, самые домики — старая и незаконченная дворцовая затея — были сырые и более похожи на необитаемые беседки, чем на человеческое жилье. Карамзин, хмурясь, осматривал их. Потолки были низкие, домики тесные; он выбрал один, попросторнее — для семьи своей, другой, соединенный крытым переходом, для кабинета, третий для кухни и людей. Александру показалось, что он вздохнул. Он удивился бы, если бы ему сказали, что он всем им нужен, нужнее даже, чем они ему.

Карамзин был в тревоге и грусти. Он приехал в Петербург из Москвы, — которая отстроилась с такою быстротою, что чужой глаз мог и не приметить следов великого пожара, — где все почитали его. Труды двенадцати лет его жизни, большие и важные, подходили к концу. «История государства Российского» была почти вся написана — восемь томов. Нужно было их печатать, а для этого — разрешение государя и деньги. Он написал предисловие, красноречивое и сколько мог пламенное. Он со страхом собирался в Петербург: Екатерина Павловна — свыше естества обожаемая монархом сестра — на письмо не ответила. Вдруг — ничего не решится? Он приготовился, скрепя сердце, к случайностям, к терпению унижения. Действительность превзошла его ожидания. Шесть недель протомился он в Петербурге, — страстную пятидесятницу, — и монарх ничем не обнаружил желания принять его. Петербургские рассеянности его истомили, он исхудал. Только арзамасцы, молодые, умные, были приятны при встречах. Негодование их на недостойную игру с великим мужем, которую кто-то уподобил игре кошки с мышью, он принимал с грустным удовлетворением. Между тем пришлось ему покланяться. Был он —

смешно сказать — в гостях у самых больших своих литературных неприятелей — хмурых старцев «Беседы» и не получил одобрения. Ездил бить челом к гофмейстеру и обер-гофмейстеру, просил о приеме, — ответ был холоден.

Наконец согласен был уже ехать на поклон к Аракчееву, государеву другу и фавориту, но не мог себя осилить и воздержался. Друг Аракчеева, генерал, сказал, что государь, услышав о шестидесяти тысячах, которые будет стоить издание «Истории», сказал якобы: какой вздор! дам ли я такую сумму. Обедал, наконец, с личностью презренной — секретарем Пукаловым, жена которого была в наложницах у Аракчеева. Наконец, скрепя сердце и только что не стеня, поехал на поклон к Аракчееву — и вскоре был принят царем. Хотел прочесть предисловие, два раза начинал, не мог. Отпущено шестьдесят тысяч на печатание «Истории» и дано позволение жить — если он хочет — в Царском Селе.

Разбитый, униженный, чувствуя себя уничтоженным, приехал он в Царское Село, — и зашел с Васильем Львовичем в лицей, чтобы вспомнить молодость. Он любовался Александром. Семнадцать лет! Как в эти годы все нежно и незрело — о, как в эти годы не умеют кланяться, гнуть спину! Какие сны, стихи, будущее!

И еще более был он нужен дяде, Василью Львовичу, который отныне был Вот.

Дядюшка Василий Львович менее всех был весел. Он любил меру во всем. Между тем самое имя его как арзамасца было, что ни говори, неприлично. Ехал он к Александру с противоречивыми чувствами. В коляске он долго хвастал им перед друзьями.

— Последние его эпиграммы по соли решительно лучше многого другого, — сказал он Вяземскому, излишне склонному к насмешкам, — что не следовало забывать ни на минуту: Пушкины всегда писали эпиграммы. Подрастал его племянник — во всем ученик и последователь. Неприятно было дяде одно: Александр был как бы принят уже в «Арзамас» и наречен более или менее прилично — Сверчком, без всяких обрядов. Между тем эти обряды принятия дядя Василий Львович не мог вспомнить без сожаления. Было это в доме Уварова. Сначала все шло остроумно и скорее всего напоминало театр. Его облачили в какой-то хитон с ракушками, на голову напялили широкополую шляпу, дали в руки посох.

Он был пилигрим. Василий Львович хорошо понимал уместность этого наряда. «Пилигрим!», «Рассвет полночи!», «Мистика!» Это была пародия. Ему завязали глаза, это еще куда ни шло. Потом его повели куда-то в подвал. Это ему не понравилось. Дальше хуже. Его упрятали под шубы, уверяя, что это — «расхищенные шубы» Шаховского и какое-то «шубное прение». Он чуть не задохся. При этом — какие-то церковные возгласы:

— Потерпи, потерпи, Василий Львович!

Он всегда готов был терпеть, если видел в этом смысл. Здесь же он не видел смысла. Впрочем, это все и должно было изобразить бессмыслицу «Беседы». Потом его заставили стрелять в какое-то чучело, а чучело неожиданно и само в него выстрелило. Некоторые говорили ему потом, что это хлопушка. Но он упал — конечно, от неожиданности, а не от страха. Потом его купали в какой-то лохани, что вовсе не смешно, а опасно для здоровья, и провозгласили от имени «Беседы», что «Арзамас» есть вертеп, пристань разбойников и чудовищ, с чем Василий Львович почти был готов согласиться.

Потом, как бы в награду, его избрали старостой. Но до избрания Сверчка — Александра, староста, Вот, или, проще говоря, дядя, думал, по крайней мере, что все подвергаются этим утомительным обрядностям. Так вот же Сверчка избрали заглазно. Вот тебе и обряды!

Да, это было хоть и почетно, но как-то слишком молодо, не по летам и отзывалось шутовством.

И дядя в глубине души торжествовал, видя, как Карамзин, который, конечно, ничего не знал об его принятии, — а может быть, и знал, — смотрит на Александра благосклонно и с каким-то интересом. В мальчике будет толк; и как из его «Опасного соседа» и всех его боев с халдеями, что ни говори, появился на свет этот иногда чрезмерно шумный «Арзамас», так и мальчик есть плод его воспитания. Вот что не мешает не забывать.

8

К нему ездили в гости, у него побывали Батюшков, Вяземский, а комната была все та: № 14 — бюро, железная кровать, решетка над дверью. Он назвал ее в стихах кельею, себя — пустынником, а в другом стихотворе-

нии — инвалидом; графин с холодною водою он назвал глиняным кувшином. Теперь он был юноша-мудрец, писал о лени, о смерти, которая во всем была похожа на лень, о деве в легком, прозрачном покрывале. Он знал окно напротив, где являлась раньше торопливая тень — Наташа, лучше, чем свое собственное. Он написал стихи об этом окне. Окно разлучало унылых любовников или, напротив, тайно открывалось стыдливою рукою, — месяц был виден из этого окна. Он глаза проглядел, смотря в свое окно: напротив был флигель, где жили старые ведьмы, а девы в покрывале не было: Наташу давно куда-то прогнали. Друзья напишут на его гробе:

Здесь дремлет юноша-мудрец,
Питомец нег и Аполлона.

Он грыз перья, зачеркивал, бродил по лицею, вскакивал иногда по ночам с постели, чтобы записать стих — о лени.

Каждое утро, подбирая оглодки гусиных перьев, Фома удивлялся:

— Опять гуси прилетели.

Мудрец жил, наслаждался и умирал; с одинаковой легкостью, почти безразличием он играл на простой свирели или цевнице, по поводу которой поднялся у Александра с Кюхлей спор: что такое цевница? Поспорив, они с удивлением заметили, что никто из них хорошенько не мог себе представить, какой вид имеет цевница. Кюхля наотрез отказался считать ее простой пастушеской дудкой.

Мудрец любил; его любовь и томление кончались смертью, легкой и ничем не отличающейся от сна.

Когда он встретил в зале приехавшую к брату молоденькую, очень затянутую, очень стройную Бакунину, он понял, что влюблен.

Это было вовсе не похоже на то, что он испытывал, гоняясь за горничной Наташей или смотря на оперу, в которой пела надтреснутым голоском другая Наталья (которую он никогда не называл Наташей). Это была очень сильная любовь, но только издали. Горничную Наташу он так и называл в стихах: Наташа, а Наталью — Натальей. Бакунину же он назвал Эвелиной, как прекрасную любовницу Парни звали Элеонорой. Эвелине можно было писать только элегии.

Потребность видеть ее стала у него привычкой, — хоть не ее, хоть край платья, которое мелькнуло из-за деревьев. Раз он увидел ее в черном платье, она шла мимо лицея, с кем-то разговаривая. Он был счастлив три минуты, — пока она не завернула за угол. Черное платье очень шло ей. Ночью он долго не ложился, глядя на деревья, из-за которых она показалась. Он написал стихи о смерти, которая присела у его порога, — в черном платье. Он прочел их и сам испугался этой тоски, — он знал, что это воображаемая тоска и воображаемая смерть, — от этого стихи были еще печальнее. Он удивился бы, если бы обнаружил, что хочет ее только видеть, а не говорить с нею. Что бы он сказал ей? И чем дальше шло время, тем встреча становилась все более невозможной и даже ненужной. Он по ночам томился и вздыхал.

Однажды, вздохнув, он остановился.

За стеной он услышал точно такой же вздох. Пущин не спал.

Александр заговорил с ним. Жанно неохотно признался, что вот уже две недели как влюблен и это мешает ему спать. Через две минуты Александр узнал с удивлением, что он влюблен в ту же Эвелину, то есть Екатерину, в Бакунину.

Странное дело, он не рассердился и не подумал ревновать. С любопытством он слушал Жанно, который жаловался на то, что Бакунина редко показывается. Назавтра Пущин, весь красный, сунул ему листок и потребовал прочесть. Александр прочел листок. Это было послание, довольно легкое по стиху. В послании говорилось о том, что стихи впервые написаны по приказу — приказу прекрасной. Стихи были, конечно, не Кюхли: Кюхля писал только о дружбе и об осенней буре; и не Дельвига, который теперь называл себя в стихах стариком, старцем, Нестором. Пущин настаивал на том, что это был Илличевский, длинный, как верста. Пущина огорчали первые строки: написано по приказу — значит, они встречались?

Александр с удовольствием на него поглядел. Все трое любили одну и при этом одновременно. Это было удивительно. Илличевскому он ничего не сказал, но когда тот унылой тенью бродил по коридору, он подолгу следил за ним.

Потом они однажды столкнулись все трое, лбом ко лбу: Пущин, Илличевский и он. Илличевский остолбенел

и долго смотрел на них, разиня рот, пока не убедился, что открыт.

Потом он огорчился тем, что Пушкин и Пущин так громко и долго смеются.

Александр по-прежнему был счастлив, когда видел Бакунину, он подстерегал ее, но ночные вздохи стали все реже. Он спал теперь спокойно, ровно, не просыпаясь до утра. Однажды ему стало вдруг по-настоящему грустно; он так и не увиделся с нею; он больше не хотел и почти боялся встретить ее; может быть, он не любил ее и раньше. Он отложил стихи к ней и постарался как можно реже о ней вспоминать.

4

Он знал, что его стихи лучше дядюшкиных — Василью Львовичу такие стихи решительно не давались: от смерти, которая присела у порога, не отказался бы и сам Батюшков. Воображаемый глиняный кувшин с прозрачною водою — графин — стоял на простом столе-конторке, окно, дева; такова была любовь и смерть молодого мудреца, затворника, ленивца: сны, мечтания. Теперь он не был более инвалид с балалайкой или монах. Он был мудрец.

Все старшие хотели такой жизни. Этот мудрец и ленивец очень нравился Горчакову. Горчаков прилежно, высунув кончик розового язычка, переписывал теперь все его стихи. Глаза его слегка туманились; казалось, Горчакову льстят эти стихи. Этот мудрец, любимый Аполлоном, казался ему в меру весел, в меру холоден, ветрен, ни дать ни взять сам Горчаков. Александр не любил, когда Горчаков переписывал его стихи, похваливая.

Новый директор однажды протянул ему листок со стихами, который случайно ему попался: это были его стихи.

Директор одобрил эти стихи. Он улыбнулся ему, как сообщник, с видом слегка мечтательным, немного грустным, его бледно-голубые глаза стали томны, широкий рот осклабился.

Директор долго ждал этого случая и очень недурно прочел четверостишие, потом другое. Он запомнил: стихи лицейского поэта.

Пушкин вдруг скрипнул зубами, повернулся и зашагал от него. Директор посмотрел ему вслед; широкий рот сомкнулся, блаженные глаза остановились. Он заложил руку за спину и медленно проследовал к себе в кабинет.

Нет, он не был мудрец, ленивец.

После отъезда Карамзина, дяди, Вяземского он бродил целый вечер с раздутыми ноздрями, со странной решительностью, в самозабвении, и Данзас с карандашом в руке, сдержав дыханье, приглядывался к нему и быстро рисовал, но так и не мог совладать и бросил начатый рисунок. Подошел Миша Яковлев, и он объяснил ему: он хотел нарисовать Пушкина обезьяною, сочиняющей стихи, — и не вышло: получился Вольтер, не было никакого сходства. Но так как Пушкин — помесь обезьяны с тигром, то он хотел потом нарисовать его в виде тигра, готовящегося к прыжку: сходство было, все шло хорошо, но, к сожалению, получился настоящий тигр.

Он в самом деле как бы готовился к прыжку: со странной рассеянностью, внезапным и коротким смехом, с отсутствующими глазами. «Арзамас» ждал его. Он с жадностью угадывал тот миг, когда дядя — староста «Арзамаса» — предоставит ему слово. Он не знал еще, что скажет, но предчувствовал все, что ему ответят.

В эту ночь он просыпался с бьющимся сердцем — он чувствовал себя обреченным; Карамзин и Вяземский чего-то ждали от него. Кругом была война, война против *вкуса,* против поэзии, против ума, против Карамзина и Жуковского. Какие-то старики с варварским языком, с повадками сказочных дедов, приказные, дьячки копошились в «Беседе» и строили козни.

Он никого из них не знал. Самого страшного из этого собора, Шаховского, который осмеял в пиесе Жуковского, «Беседа» венчала лавровым венком. Дашков написал кантату «Венчанье Шутовскова». Вяземский прислал ему кантату. Александр всю ее списал. Этот Шутовской был немного другого склада, чем его товарищи по «Беседе» — тоже на букву Ш — Шишков и Шихматов. Он был остер, и Вяземский сказал, что ненавистная пиеса, в которой был осмеян Жуковский, была смешна и имела громкий успех у райка. Тем хуже для него! Его обвинили в том, что он — причина смерти благородного Озерова, он не принял

его пиесу, зарезал ее, будучи директором театра, и Озеров в безумии умер. Это было преступлением, требовавшим мести. Враги смеялись над элегиями Жуковского, над тонкостью Карамзина, над легкостью дяди Василья Львовича. Бородачи смеялись над здравым смыслом. Он не читал, да и не собирался читать их допотопные поэмы, их раскольничьи акафисты, их визгливые стихи, которые они называли одами. Он был потомственный враг дьячков, варваров, церковной славянщины. Война! Безбожно было держать его — со страстями, с сердцем — взаперти и не позволять участвовать даже в невинном удовольствии высмеивать эту «Беседу губителей русского слова!» (Любителей давно прозвали губителями.) И покойную Академию, в орденах, звездах и латах!

Война!

Здесь, в Царском Селе, он не мог участвовать на заседаниях «Арзамаса» кушать достославного арзамасского гуся. Но зато однажды он видел наклонную тень простого генерала, невзрачно одетого, уныло шедшего вдоль дворца вместе с тучным комендантом.

У генерала был мясистый нос, отвислые, разинутые губы штабного писаря; он остановился и гнусавым голосом дьячка что-то сказал коменданту. И по тому, как вытянулся и затрепетал тучный комендант, он понял: Аракчеев. Тусклыми глазами осмотрев все кругом, заложив руку за спину, не заметив, казалось, ни статуй, ни колонн, ни всего этого места с его старою славою, генерал, выпрямив грудь, проследовал во дворец.

В руках у Александра было перо, он, грызя его, писал стихи о прекрасной любовнице, которой не знал. И он посмотрел кругом: гнусавый генерал, комендант наполнили страшными буднями этот сад, кругом не было ни женщин, ни стихов. Он спрятал листок со стихами в карман.

Война!

Он, раздув ноздри, писал теперь о «Беседе губителей русского слова», о варварах, о гнусавых дьячках, о визге ржавых варяжских стихов. Он не знал никого из них, не видел ни седого деда Шишкова, ни монаха Шихматова, но ему казалось, что он их знал, видел.

Это они тайком слонялись мимо лицея. Он не разбирал теперь имен, — все старое мешало жить. Сумароков, которого Шишков произвел в гении, был карлик и завистник, Шутовской был злодей.

Галич неожиданно помог ему. Толстый, благосклонный, апостол неги или, попросту, лени, Галич был далек от предрассудков. Он прочел им лекцию о *сатире*.

Сатира делилась на сатиру личную (пасквиль), частную и общую. Пасквиль обнаруживал заразительный образ мыслей и поступков отдельного лица и жертвовал спорною его честью общему благу, карая только таких безумцев и порочных, коих пагубное влияние на общественную нравственность никакими другими средствами отвращено быть не могло... Сатира личная была своевольна, она обращалась без разбору и к дурачествам, и к странностям, и к порокам, не исключая *физических,* и любила оригиналы отечественные и современные.

С застывшей улыбкою, не дыша, не записывая, слушал Александр толстого мудреца.

Нет, поэзия была не только в этой жалобе, в этой музыке, которая называлась элегией, не в этой любви к деве, которую он назвал Эвелиной, она была не только в той безымянной сатире, которая осмеивала монахов и седых игумений — рядом со дворцом, — она была в сатире, общей, частной и личной. Он жаждал встречи с врагами. Недаром дядю принимали в якобинском колпаке. Война!

Пушкин, Пущин, Ломоносов получили приглашение на бал к Бакуниным.

Весь день Пушкин был в волнении: это был первый его выход в свет. Эвелина ждала его. Впрочем, он не знал, как встретится с Екатериной Бакуниной.

Ломоносов попросил дядьку Фому начистить мелом пуговицы на мундире и любовался: они теперь блестели. Жанно, попробовав растянуть панталоны, из которых вырос, отказался от своего намерения.

Они отправились на бал. Пушкин был сумрачен и неловок. Он слишком много написал стихов Бакуниной, чтоб радоваться этой встрече или чего-нибудь ждать.

Но окна у Бакуниных были освещены, женские тени мелькали, он вдруг задохнулся, засмеялся, взял за руку Жанно и сказал, что сегодня будет танцевать.

Жанно, второй влюбленный, тоже собирался.

Сотни свечей горели, на хорах музыканты настраивали скрипки.

Бледная, с покатыми плечами, с неровным румянцем, Бакунина встретила их с улыбкой, которой он боялся.

Может быть, она и не была так прекрасна. Она была похожа на свою мать, что он впервые заметил. Мать была окружена молоденькими бледными людьми, странно похожими друг на друга. Это все были дамские угодники, которых Пушкин не терпел. Старая Бакунина их пригревала. Двое гусар в свисающих с плеч ментиках подошли к ним: Соломирский, Чаадаев. Оба были знаменитые щеголи, слава об их щегольстве и соперничестве занимала всех царскосельских обывателей. Они любили появляться на балах вместе, почти не разговаривая друг с другом, почти не глядя друг на друга, провожаемые широко раскрытыми женскими глазами. Веера шевелились, красавицы переговаривались.

Подруги Эвелины чему-то засмеялись, и оба гусара, как по команде, двинулись к ним.

Танцы начались. Бакунина открыла бал с Соломирским.

Там, где был Чаадаев, там был прежде всего он, и только потом — другие. Бакунина это хорошо знала. А теперь еще стали поговаривать о близком назначении его.

Чаадаев стал танцевать мазурку.

И, как всегда, женщины подивились, — он не был красив, не был пылок, как приличествовало танцу. Он танцевал без молодечества, не топая. Эвелина сказала вдруг, что Чаадаев похож на статую. И все согласились.

Танцевал он ни скоро, ни медленно, и когда улыбался, его улыбка была медленной наградой всех женщин. И они улыбались. Пушкин смотрел на него как зачарованный.

Возвращались вдвоем. Чаадаев шел, осторожно ставя ноги, и ни разу не задел веток, ни разу не размахнул рукой. Чище его мундира не было. Стройней не было. Подходя к казармам, Пушкин почувствовал, что все это было чаадаевской мудростью. Не было рабства случайности.

5

Пушкин был самый трудный и непонятный для директора пример молодого человека, который во всем стремится против своей собственной пользы.

Получив это странное и противоречивое заведение в руки, директор постарался прежде всего уяснить его

цели и ввести всех в рамки. Он приготовился к укрощению, но только одним средством: добродушием.

Директор Егор Антонович Энгельгардт стремился во всем к правильности. Воспитанный в большом, но скромном лифляндском городе, он с самого начала, брошенный на государственную службу, поставил себе за правило не доискиваться ясного смысла событий, но к каждому шагу своему и других относиться с аккуратностью. Император Павел, во всем внезапный, сделал его секретарем Мальтийского ордена. Не очень понимая, зачем императору этот орден, Егор Антонович начал с того, что назубок выучил все его статьи и мог любой параграф ответить без запинки. Это произвело на императора сильное действие. Александр Павлович, наследник, не твердо знал параграфы; Энгельгардт добровольно, тишком, стал его репетитором и, случалось, выручал. Так открылись ему самые глубокие цели педагогики: научить человека избегать неприятностей, приучить его к порядку.

В 1812 году он стал директором Педагогического института. Он был образован, добродушен, толерантен.[1] Он читал избранные места из лучших философов, как древних, так и новых, и всегда извлекал крупицу пользы из самых непонятных или даже ненужных. Он был не прочь почитать и извлечь нечто даже и из вольнодумных философов, которые теперь опять входили в моду. Егор Антонович привык к изменению общественной атмосферы и привык уловлять новую моду. Философическое и нравственное мечтательное вольнодумство он вполне допускал.

Несмотря на эту его образованность, его любил граф Аракчеев. Привыкнув не пренебрегать никакими случайностями, Егор Антонович приобрел себе дачу в Царском Селе, вдали от дворца. Встречи с императором, незначительные, редкие, но тем более приятные, вскоре снова обратили на него внимание.

Однажды Егор Антонович был вызван к графу Аракчееву, и ему было объявлено о том, что он — директор лицея. Аракчеев привык приводить в порядок все грехи молодости императора. В кабинете же Аракчеева Егором Антоновичем была составлена записка о лицее. Лицей был в совершенном беспорядке, воспитанники разнузда-

[1] Отличался терпимостью.

лись. Самое заведение было сомнительно. Записка была умна и полна достоинства: он требовал освобождения директора от всякой мелочной зависимости, полагающей беспрестанные преграды его действию, потому что «директор должен быть в заведении как отец семейства и подобно ему управлять».

Это было как раз то, что нужно.

Аракчеев даже повторил:

— Отец, отец семейства.

И Егор Антонович, склонив голову, тихо согласился со своей собственной мыслью:

— Семейства.

Медленно, исподволь директор начал осматриваться, находить доступ к сердцам. Понимая, что только младшие, будущие курсы будут, так сказать, детьми его сердца, он по отношению к старшему курсу твердо понял одно: им осталось пробыть в лицее всего полтора года, и всякое, даже незначительное улучшение будет благом.

Он постепенно изучил их вкусы, наклонности, малые слабости. Большие слабости были проступками, с которыми надо было неуклонно бороться; а на проступки большие приходилось так или иначе закрывать глаза. Его поразило одно обстоятельство: при честолюбии воспитанников, иногда скрытом, иногда же пламенном и явном, которое всемерно поощрялось первым директором Малиновским и его приятелем Куницыным, при их несомненной уверенности, что они призваны к высоким делам, совершенно было неизвестно, какая карьера их ожидает, и даже вообще чем они займутся по окончании лицея.

Прежде всего он занялся тем, что начал изглаживать это пламенное и во многом вредное направление первого директора и постарался, чтобы самого директора позабыли. Затем он стал переводить беспредметное и потому опасное направление умов на более ежедневное, скромное честолюбие. Он часто беседовал с Корфом и хвалил его понятливость. Не служение отечеству, а карьера — вот что единственно могло составить счастье молодых людей. Горчаков, Ломоносов, Корсаков по своему обхождению, вежливости, наклонностям были способны к дипломатической службе. Он вспомнил, как в молодости начинал карьеру дипломатическим курьером,

и присел вместе с ними за клейку дипломатических конвертов. Клейка эта была делом вовсе не таким простым, ибо конверт для дипломатических бумаг должно было делать без ножниц. Он задавал им писать депеши, держать журнал, заставил понять, что такое различная форма пакетов. Ему было приятно вспомнить, а им приятно узнать, прежде чем вступить в должность, все эти мелочи.

Сидя с молодежью, он вспомнил с добродушием все случаи и анекдоты о королях, о дипломатах. Он был на Аахенском конгрессе и видел всех королей. Горчаков жадно его слушал. Так он стал их готовить к ловкости и житейской опытности на этом скользком и блестящем поприще.

Другие были еще проще: это были Вальховский, Матюшкин. Эти только по недоразумению попали в статское заведение, а не в военное. Строя и военных тонкостей Энгельгардт боялся по ранним воспоминаниям и не желал их вводить в лицей. Тогда бы во все стал вмешиваться Аракчеев. Нет, дело было много тоньше. Военных подготовить легко, но министров — трудно.

Он вовсе не отказался от начертаний Сперанского, о которых слышал, но все хотел ввести в русло скромное и практическое. Короче — он желал счастья воспитанникам. Луч же этого счастья озарил бы и его, директора-отца.

Третьи были всего труднее и опаснее: Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер — поэты. Кюхельбекер был до крайности прост и, несмотря на безумства, добр и отходчив. Но Дельвиг — холодный насмешник.

Пушкин же...

У Егора Антоновича были свои особые виды на то, как может быть устроено счастье этого воспитанника, сразу и, видимо, без трудов добившегося одобрения Державина на экзамене, пользовавшегося, без особых на то прав, расположением Карамзина и прочих. До времени же он должен был ввести его в границы.

Во-первых, Егор Антонович признавал, и очень, поэзию, но признавал ее как средство к образованию, как развлечение, как то, что нравится женщинам, наконец, как приятное меланхолическое занятие. Но он не признавал ее как страсть. Эти оглодки гусиных перьев, этот быстрый, острый и невидящий взор Пушкина, грызущего

перо, эта дикая улыбка — все это было страсть. Он попробовал было задеть струны его чувствительности, но однажды в зале он услышал грубый смех Пушкина над одной невинной и печальной тирадой старого стихотворца — и содрогнулся. Он понял: Пушкин был горд и бессердечен. Он не был добродушен. Ранние знакомства, поощрения, визиты всех этих писателей в лицей и тому подобное его надули и развратили гордостью. Между тем, по правде говоря, и стихи его были холодны, а стихи должны прежде всего быть теплы.

В глубине души Егор Антонович не хотел признаться: он бы с восторгом сблизился с Карамзиным; Карамзин же посетил Пушкина. Но когда Егор Антонович начинал говорить с Пушкиным о его стихах, он пугался этого молчания, холода, невнимания к похвалам, даже какого-то нежелания их, которые он получал в ответ на комплименты. Егор Антонович не был ни ловеласом, ни ханжой. Он вовсе не считал религию единственным времяпрепровождением. Но какие-либо насмешки над всем, принадлежащим церкви, он считал черным и чем-то преступным, пахнущим судом и следствием. Вспоминая свои ранние труды по Мальтийскому ордену, он вполне понимал, какое значение для карьеры, для прочного и приличного пути в жизни имела и религия со всеми ее частностями. Но до него дошел слух о каких-то стишках Пушкина, едва ли не преступных, о монахе, монахинях и прочем. Он не был ханжой и не желал этого знать. Оставался один только путь к сердцу этого молодого человека — женщины.

Егор Антонович был умудрен опытом и отлично знал, какой вес имеют в важных делах, как выдвигают иногда на первое место одна улыбка женщины, одно оброненное ею слово. Он и сам был вовсе не стар — человек приятного, среднего возраста — сорока лет. Он и сам еще танцевал не без ловкости. Трудно было, правда, представить себе, каким он был в двадцать лет, но зато невозможно, каким он будет в шестьдесят. Он был всецело за то, чтобы воспитанники обтесались, несколько умягчились в женском обществе. Он отлично понимал, откуда у Пушкина этот холодок к нему, эта внезапность и дерзость. Все это была гусарская казарма, в которую он бегал. Прекратить эти посещения директор, однако, не мог. И он решил ввести вечера у себя и приглашать

на них, с одной стороны, знакомых и бизких его семейству дам, а с другой — лицейских воспитанников. Быть может, это приблизит, приручит и Пушкина. Ему случалось видеть, как и не такие головорезы становились в обществе дам скромниками, мягкими, как воск.

В своем доме директор решительно изгладил все следы старого хозяина. Всюду были цветы, художник расписал стены цветами. Вечер бы удался, если бы не Пушкин.

Во время танцев он был невозможен. Прежде всего, он дурно танцевал; это бы ничего — кроме Горчакова, все они дурно танцевали, и это вызывало только смех. Но в семью Егора Антоновича приехала его дальняя родственница, Мария Смит. Судьба этой молодой дамы была трогательна: она была вдова. И вот Пушкин стал усиленно показывать, что тронут, — хорошо бы, если бы участью молодой вдовы, — нет, ее прелестями.

Он прижимался и задыхался во время танцев. Егор Антонович с изумлением заметил, что молодая дама, родственница его жены, весьма воспитанная особа, урожденная Шарон-Лероз, вдова, тоже не осталась безразличной к вниманию повесы: лицо ее пылало. Слабым взмахом руки директор прекратил музыку. Еще одно начинание по отношению к Пушкину дало вовсе не тот эффект, на который он рассчитывал. Более того — эффект был скандален. Резвый, почти светский круг молодых дам и юношей в директорском доме был низведен этим юнцом до степени какого-то шустер-клуба. Директор завидовал: он слышал уже о бале у Бакуниных и втайне уже перед своим вечером огорчался. Все же в глубине души он надеялся блеснуть — в конце концов, чем Мария хуже Бакуниной! Она будет у него скромною царицей бала! Так думал он перед своим вечером. И вот как все это обернулось. Директор опасался еще худшего: юнец и Мария куда-то исчезли, и *он сам* принужден был искать их в своем саду. Он их нашел. Пушкин более не будет приглашаться, но кто поручится, что негодник не назначил свидание где-нибудь тут же, неподалеку — завтра или через неделю?

Егор Антонович недаром был обеспокоен. Где был Пушкин, там были страсти. Он ненавидел страсти. Корф,

который обещал быть разумным и, кажется, понимал, что́ такое разумная карьера, был отличен доверием Егора Антоновича. И он после одного разговора с директором записал: «Пушкин бездушен. Вместо души есть у него две страсти: стихи и женщины».

Мария, столь уместное и даже нужное для воспитания женское существо, при Пушкине преображалась. Она более не нуждалась в утешениях. Добро же! Следя хозяйственным нравственным оком, он вскоре оказался принужденным указать молодой вдове двери. Она более не обращала внимания на сделанную так тщательно из картона самим директором надпись и рамочку.

О, эта уютная скорбь! Рамочка! Нет, молодая вдова обезумела. Она предалась на волю случая. В одну ночь она узнала все, о чем и не подозревала. Это был дьявол, учивший ее небывалому.

Егор Антонович, чуть не наткнувшийся на страсти, тотчас положил предел пребыванию в директорском доме молодой вдовы. Он был оскорблен. Рамочка, над которой он с такой трогательностью трудился, была в тот же день приспособлена директором для пакета: «Письма и замечания по службе». В алфавит лицейский он внес запись о Пушкине как о бездушном и беспамятном.

6

Двадцать четвертого мая приехали Карамзины. Приехали навсегда. Историограф покинул любимую Москву по одному любезному, шаткому слову царя, которого он дожидался всю жизнь. Он был историограф, будущий советник царя, но дом ему отвели неудобный и сырой. Китайская Деревня, деревенька на китайский вкус — с островерхими окнами, с замысловатыми изображениями на кровлях и стенах домиков, неподалеку от Малого Каприза, за рвом, была недокончена. Четыре домика были убраны фаянсовыми печами и каминами, стены выложены фаянсовыми плитками, а остальные недостроены, забыты, и в них гнездились летучие мыши.

Домики были малы, потому что предназначались для приезжих холостых придворных кавалеров. Миловидные садики окружали китайские хижины. В одной из них

Карамзин устроил свой кабинет, в другой поселилась жена с детьми, в третьей была кухня и жили слуги. С тайной горечью смотрел писатель на свои красивые домики. Он боялся себе сознаться в том, что домики — игрушечные, что они неудобны и что если ими приятно любоваться, то жить в них трудно. Он об этом никому не говорил. Тургенев, который их для него готовил и хлопотал, обиделся бы. Катерине Андреевне же всегда он показывал полное довольство. Труды всей его жизни были вознаграждены. Он был советник царя. И однако же, если бы не посетил Аракчеева, так бы и не был принят — всю жизнь. Посетив же его — был принят назавтра. Впрочем, царь полюбил теперь гулять мимо его домика и однажды поднес жене его букет цветов, им самим нарванных. Тайная горечь и тут не оставила Карамзина. Он был историограф, советник царя, посещал его. И однако же ни разу — ни разу с ним не побеседовал. Он побледнел, увидев, с каким выражением на обольстительном белом лице царь подносил цветы его жене. Его жена была прекрасна. Но нужно было издать «Историю государства Российского» и мудро, как он всегда делал в своей жизни, он решил покориться и ждать.

С утра в своем отдельном домике он просматривал рукописи, исписанные почерком крупным и ясным, и который раз исправлял погрешности. В три часа он надевал черный аглицкий дорожный костюм, и ему подавали серого аргамака. Он ехал верхом, а слуга шествовал впереди. По дороге он указывал слуге гриб, и слуга срывал его.

Это была прогулка.

Император пока не попадался, — быть может, не попадется до конца, — и Карамзин был этому почти рад.

Обед и вечерний чай.

Как была теперь, после окончания трудов, незанята, свободна его жизнь, как его ласкали при дворе, как мало думал о нем государь, остававшийся для него загадкою.

Искусственность теперешней его квартиры, искусственность самого положения его он переносил, как древний стоик, улыбаясь. Вот почему, когда он слышал быстрые, широкие шаги Пушкина, и не подозревавшего о его настоящей жизни, он сразу захлопывал журнал,

который перелистывал. Вот почему он прощал ему и тот взгляд, которым тот встречал Катерину Андреевну, — взгляд немой и умоляющий, значение которого стареющий историограф прекрасно понимал.

7

Впервые Пушкин видел это прекрасное спокойствие, это внимание серых глаз. Ломоносов, который вместе с ним пришел, не узнавал его. Он привык к молчаливости Пушкина, он знал, что Пушкин дичок, и приготовился блеснуть — рядом с сумрачным поэтом, с дичком. Ломоносов был остроумен, и это было нетрудно.

Но Пушкин не давал ему раскрыть рта. Он преобразился.

Он словно впервые почувствовал себя собою, впервые нашел себя. Через три минуты он добился своего: он услышал звонкий смех Катерины Андреевны и увидел удивление на лице Карамзина. Этого смеха Карамзин не слышал уже давно.

Назавтра он в неурочное время, наскоро пообедав, убежал к Карамзиным. Был час, когда историограф отправлялся гулять. Она вышивала в своем домике на пяльцах и удивилась, испугалась, увидя его. «Здесь все ходят мимо этой уединенной хижины и чуть не заглядывают в окна», — объяснила она недовольно.

Потом она заставила его разматывать шелк, и он, стоя на коленях, с необыкновенным прилежанием следил за длинными пальцами, ловко и спокойно бравшими шелк с его пальцев. Потом она прогнала его, сказав, что его будут искать и посадят на хлеб и на воду. Он не должен убегать от своего директора. Он ушел в отчаянии: она его считала школяром и более никем.

Он забыл самую дорогу к гусарам, к которым он так было привык, которые так к нему привыкли: участь его была решена. Теперь каждый день он будет ходить в Китайскую Деревню.

А молодая вдова? Лила?

Но это не имело никакого отношения к Китайской Деревне. Было бы преступно даже думать о ней здесь. В присутствии хозяйки он не думал решительно ни о ком более. А она считала его школяром и больше никем.

8

Он был школяром и притом, по мнению директора, способным на все.

Каждый вечер директор теперь осторожно поглядывал с балкона. Дважды замечал он Пушкина, поспешно уходящего. Будь это другой, он окликнул бы его, и начался бы разговор, более или менее задушевный. Прекратить поздние прогулки старших Егор Антонович не мог, предоставив себе не допускать их в будущем у младших. Он хмурился: замечено было, что Пушкин уходил в гусарские казармы. Можно легко себе представить плоды его воспитания там, рядом с конюшнями! Теперь — директер разузнал — эти похождения решительно кончились: он ходил каждый вечер к Карамзиным. Это было совсем другое дело. Все же директор машинально оборачивался — поглядеть, здесь ли молодая вдова. И часто, к своему неудовольствию, обнаруживал ее отсутствие. Тогда он начинал свою уединенную прогулку по царскосельским садам, втайне боясь наткнуться на что-то вовсе неожиданное; он не доверял молодой вдове: она только в день своего приезда, и то более из приличия, поплакала; она была молода, смешлива.

Молодая вдова скучала, — Егор Антонович не мог развлечь ее. Этот школяр был дурен собою, но она отличила его в первый же вечер, — может быть, именно потому, что она скучала. Поэтому и дыханье ее было прерывисто, румянец слишком жив во время танца, что тотчас было замечено директором и поставлено в счет Пушкину.

Бакунина была Эвелиной. Ее он сразу же назвал Лилой. Самое имя звучало как поцелуй.

Директор был прав, когда боялся наткнуться в саду на что-то непредвиденное, — быть может, поцелуй. У них были условленные свиданья. Она была беспомощна, покорна и жадна, виноватые поцелуи слишком долги. Он впервые узнал власть над женщиной, она предавалась ему безусловно. Да, он был школяром; быть может, то, что она была молодою вдовой, всего более ему нравилось. Тень ревнивца мужа, которая являлась из хладной замогильной стороны, чтоб отомстить любовникам, мерещилась ему во время этих свиданий. Впрочем, не

только покойный муж мерещился ему, но и другая тень: директор, который обладал верным чутьем, погуливал теперь по царскосельским садам, подстерегая любовников.

9

Впрочем, у Энгельгардта была и другая цель, другая надежда: встретить императора. Случайная встреча, небрежный кивок головы — и благоденствие его и лицея было бы обеспечено на долгие годы. Прогуливаясь, директор часто думал о будущем. Он хотел счастья своим воспитанникам, счастья, которое так легко, вечерком, могло перенестись из дворца в лицей, к воспитанникам и вместе к нему — их отцу. Успехи директора, которые для посторонних лиц казались легкими, стоили ему больших трудов.

Дружба и вместе надежда на будущность его детей, его питомцев росла. С ним были дружны теперь не только «дипломаты», которые были легки и в танцах и в мыслях, — Горчаков, Ломоносов, Корсаков, — он подружился с Пущиным, завоевав его приязнь справедливостью, с которой разобрал ссору Малиновского и Кюхли, и благожелательностью.

Только спартанец Вальховский, клеврет первого директора, без улыбки, хотя и вежливо, встречал его ласкательство. Вальховский был слишком преувеличенно добродетелен и честен. Не нужно увлекаться, ах, молодой человек!

И — крайности сходятся: его не любили самый добродетельный — Вальховский и самый порочный — Пушкин.

Он уже определил будущность обоих: Вальховский, со своей прямолинейной и страстной добродетелью, пойдет, конечно, по военной части, — статская служба для него слишком извилиста. И бог с ним! Думать более о нем пока не нужно, и на счастье, которое бы могло его озарить, рассчитывать нельзя.

Но Пушкин — дело другое.

Директор сумрачно ненавидел его за заносчивость и бессердечие и ничего для него не хотел в будущем, — но он — его воспитатель. Как могли из лицея выйти счастливые дипломаты — так, почем знать, могли выйти

и счастливые поэты. Дворец был близок, этого не надо было забывать. Ловя в саду пылкую — увы! может быть, слишком! — молодую вдову, директор и боялся и желал близости дворца.

10

Теперь каждое утро Пушкин просыпался с этою новою целью: он должен был быть уверен, что вечером будет сидеть за круглым столом, видеть ее, слышать ее нескорую речь, так не похожую на картавую, гортанную речь его матери, на лепет всех других женщин, которых он видел до сих пор. Все было спокойно и предсказано в этом доме, за этим столом, в ее присутствии. Скупые и тихие вопросы Карамзина, этого великого человека с горькой складкой у рта, тишина этой китайской храмины, в которой их поселили, редкие шалости детей, прибегавших сюда из своего домика, — и она, все она, ее серые умные глаза. Он не мог представить, чем была бы эта комната без нее. Эти две недели он забыл дорогу к гусарам — лицейское время было коротко! Хоть это и было трудно и она ему это запретила, он приходил в неурочное время, потому что не любил видеть их вместе. Китайская Деревня была в двух шагах от лицея. Однажды он пришел, когда ее не было дома. Лето было дождливое, пасмурное. Он нашел Карамзина одного. Кутаясь в плед, сидел он у камина, который для него растопил слуга. Он не был советником царя, а просто старым литератором, который был один среди своего холодного красивого домика-кабинета.

Он и сам был холоден или остыл. Ничего не возмущало, не должно было возмущать здесь мира: Вяземский говорил о нем, что он «постригся в историки», — о да, это был великий пóстриг. И как пришла бы по его советам к вожделенному покою вся страна, вся беспокойная история, в порядке, единственно возможном, хотя, может, и не столь утешительном, — так явно приходила к миру и вся его жизнь. Да, спокойствие всего в России было основано на мудрой системе права крепости над поселянами. Спорить против этого естественного закона, на котором все держалось, было неумно и

бесполезно. Спокойствие его жизни было основано на примирении со всем существующим — пусть иногда и неприятным. И, несмотря на уколы самолюбия, на некоторую пустоту, которую он вокруг себя иногда чувствовал, — он верил в это.

С опозданием приходило его счастье. Царь вдруг разрешил печатанье «Истории». Как ранее он принял его тотчас после визита к Аракчееву — так и теперь это было назавтра после того, как царь нарвал цветы для Катерины Андреевны. Сомнение томило его. Пусть! Но теперь началось самое горшее: его почему-то будут печатать в военной типографии. Начальник этой типографии, более приличной для приказов, чем для «Истории государства Российского», — генерал Захаржевский. И сегодня он получил от него обратно весь свой труд с требованием представить в цензуру. Но какая же цензура нужна для государственного историографа! Он подлежит цензуре царя — и более ничьей. Этот низкий генерал, завидующий его положению в Царском Селе, кажется заблуждается о пределах своей власти. А быть может, и не заблуждается? Молчание! Он вдруг почувствовал сильное желание пожаловаться Пушкину, этому Сверчку, и еле сдержался. Он знал, например, что и этот мальчик, который такими странными взглядами следует за женщинами, пишет страстные стихи, которому не сидится на месте в его лицее, — тоже скоро остепенится. Как была резка и необдуманна во всем деятельность Сперанского, основывавшего всюду эти учебные заведения без системы, без планов! Какие семена для будущего!

И, однако же, единственные люди, с кем теперь можно было отдохнуть в этом успокоившемся, полном придворных забот мире, были арзамасцы, да еще эти лицейские, с их пылом, вздором, торопливостью, вечным смехом и спорами. И, попросив Пушкина прочесть ему что-либо новое, он стал его слушать. Пушкин достал листок, вдруг вспыхнул и снова спрятал в карман. Карамзин, пожав плечами, тихим голосом попросил его читать. Он знал, что его тихим просьбам не отказывают. В замешательстве Пушкин стал читать, и постепенно голос его окреп.

Потом, слушая чтение лицейского поэта Сверчка, Карамзин вдруг понял, что Пушкин нес сюда, к нему

в дом, это стихотворение, чтобы прочесть его Катерине Андреевне.

Медлительно влекутся дни мои...
...Пускай умру, но пусть умру любя!

Как он прочел последнюю строку!

Кому он писал это?

Стихи были, впрочем, прекрасные. И, улыбнувшись, ничего не сказав поэту, только кивнув головой, Карамзин отпустил его дружески.

Да! Он боялся сознаться себе, что в Царском Селе он был бы один как перст, не будь здесь этих юнцов. Он кончил на днях предисловие к своему заветному труду, и некому было его прочесть. Тургенев был в хлопотах, давно не показывался. И вот однажды, когда у него сидели дипломат Ломоносов и поэт Пушкин, он улучил миг тишины, лист с предисловием оказался близко, и он прочел им — первым — свое предисловие, свое «верую». И с первой своей фразы, читая, он увидел, что нужны поправки, чего раньше не замечал. «Библия для христиан то же, что для народа история», — он стал читать и остановился, посмотрел на слушателей. О, умные глаза юнцов! Все слова, имеющие смысл высокий и туманный, здесь, в Царском Селе, приобретали свой истинный смысл. «Библия», «христиане»... Помилуй бог! Да ведь это то же, что сказал бы Голицын, который, верно, теперь сидит здесь неподалеку, во дворце, и, может быть, толкует и о библии и о христианах. И он, не чинясь, тут же, при молодых, исправил: «История есть священная книга народов».

Он читал и поглядывал на Пушкина. «Мы все граждане — в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любит его, ибо любит себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, и бедствиям. Но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона».

«...Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество...»

Пушкин сидел тихо, и только глаза его, как, бывало, у матери его, «прекрасной креолки», которую уже не раз вспомнил историограф, загорались и гасли, говорили. Тишина была такая, точно они не дышали. Да, это был его слушатель истинный, для которого он сидел в этой птичьей клетке, красивой китайской хижине. И когда он, кончив, захотел припомнить еще раз первую страницу, Пушкин быстро прочел ему по памяти. И в первый раз за все это время, когда приходилось униженно ждать высочайшего приема, приходилось скрывать от жены тоску, пустоту, старость, приходилось улыбаться, стареющий писатель почувствовал счастье.

Он встал и, пройдя мимо Пушкина, коснулся руки его. За дверью он отер слезы.

Он прочел этому юному забредшему к нему поэту лист, лежавший у него на коленях, для сличения с примечаниями — о златом беспечном времени, о пирах Владимира, которого народ прозвал Солнцем, — как Владимир приказал сварить триста варь меду и восемь дней праздновал с боярами в Василеве и как они упились крепким медом. «С того времени, — прочел он Пушкину, — сей князь всякую неделю угощал в *гриднице* бояр, гридней, сотников, десятских и людей именитых или нарочитых».

Пушкин рассеянно скользил взглядом по комнате, и вдруг оказалось, что он ищет карандаш и бумагу. Увидя их на столе, он тотчас ими завладел, стал грызть карандаш (дурная привычка!), отрывисто спросил, что такое гридница, что такое гридня, и, получив ответ, что гридница — род дворцовой прихожей, а гридня — княжеский меченосец, записал и стал покусывать губы (хорошо же его воспитал Сергей Львович!). Карамзин забавлялся и, впрочем, после этих вопросов внес объяснение в текст, ибо не всякий может спросить, читая книгу.

— Вот бы и написали поэмку в старом роде, шутливую, простенькую и изящную.

Но Пушкин смотрел мимо него и на совет Карамзина сморщил нос. Удивительная была своенравность Пушкина — точный Сергей Львович. Может быть, слово поэмка не понравилась ему? Но он и сам писал поэмки — «Илью Муромца», например, — и не думал считать

этого недостойным. Шутливость, пристойность, изящество — вот что требуется от этого рода поэзии, — и это вовсе не безделица. С убегающими глазами, Пушкин более его не слушал и грыз карандаш, так что в конце концов Карамзин тихо протянул руку и отнял у него карандаш. Нет, он, кажется, не обиделся, а просто мысль его блуждала. Наконец с ним можно было поговорить. Нет, это не Сергей Львович, — это блужданье мыслей было иногда и у его матери, «прекрасной креолки»; он и лицом напоминал ее. И он попросил поэта прочесть ему что-нибудь новое, новенькое. Пушкин достал листок.

11

В этот год их больше объединяли прогулки, чем уроки. Никто не требовал тишины; дисциплина была забыта безвозвратно, и профессоры заботились только об экзаменах, которые грозили в будущем как лицеистам, так, равно и им. За черным столом сидел теперь только иногда Мясоедов, который был не только безграмотен, но и груб. Куницын притих, сгорбился. Он стал строг, равнодушно спрашивал у Корфа лекции по тетрадке и поправлял его, если тот что-либо пропускал. Пушкина он никогда не спрашивал по тетрадке, и Пушкин почти никогда не записывал. Но он слушал — его одного из всех профессоров; казалось, он и этот профессор совершенно понимали друг друга. Корф тихо сжимал кулаки из-за этого пристрастия.

Только однажды он загорелся, как бывало, когда он объяснял им, что такое общественный договор.

— Тираны отменяют его, — сказал он, — а как верховная власть принадлежит народу — договор расторгается с обеих сторон бесповоротно.

Он вдруг замолчал, щеки его порозовели. Кюхля скрипел пером, записывая, чернильные брызги летели во все стороны.

И, успокоившись, Куницын тихо попросил записать, что это все относится к племенам давно минувшим.

Кюхля положил перо.

Теперь прогулки их были ограничены: двор был в Царском Селе. Нельзя было шуметь, а идти нужно

было чинно, строем: император любил чинный строй даже у статских и выходил из себя, если замечал непорядочно шагающих.

Раз и навсегда молчаливо сговорясь, Пушкин, Дельвиг и Кюхля отсутствовали на прогулке; рука об руку они шли позади всех и спорили о Горации, Руссо, о Парни, деде Шишкове, Шихматове и Шиллере, о женской неверности.

Теперь, когда они уже печатались, они читали все новое — даже Кюхле мать выписала из Москвы старомодный журнал «Амфион», заплатив за него пятнадцать рублей и отказавшись от одной поездки в лицей. Ломоносов завел даже свой особый книжный шкаф, у него было двести — триста книг. Будри привозил в лицей Кюхле книги — «Векфильдского священника», над которым Кюхля обливался слезами, Грессе, которого у него сразу же зачитал Пушкин. Кюхля был ярый спорщик, Дельвиг почти всегда был с ним не согласен, Пушкин наслаждался спорами. Каждый оставался при своем. Крайности мнений были удивительные. Так, однажды Кюхля назвал Горация самодовольным светским франтом, педантом вроде Кошанского, и все трое, пораженные, остановились. Другой раз Пушкин, возражая Кюхле, который всюду таскал теперь с собою Гомера по-гречески и пытался его заунывно читать, назвал Гомера болтуном, и они вместе с Дельвигом тихо обрадовались ужасу Кюхли.

Теперь, когда Пушкин был арзамасцем, он нетерпеливо слушал Кюхлины похвалы Шихматову-Рифматову и его песнопению о Петре.

Как-то Горчаков, который любил стихи легкие и отовсюду их переписывал, показал ему стишки из времен французской революции, где три фамилии осмеивались на все лады.

Через час Пушкин прочел Кюхле стихотворение, где осмеивались в том же порядке три князя на букву Ш.

Шишков, Шихматов, Шаховской.

Шихматов, Шаховской, Шишков.

Самые имена членов «Беседы» были созданы для эпиграмм и ложились в стих. Кюхля добивался, кто написал эти стихи, и нашел их, как все, впрочем, эпиграммы, не заслуживающими названия стихов.

Теперь, после лекции Куницына о племенах давно минувших, они долго молчали. Они привыкли к истории на прогулках. Чесменская ростральная колонна в озере, Кагульский обелиск имели для каждого из них свое, особое значение. Это и была, всего вернее, античная древность Дельвига, которую он любил в своих стихах. Проходя мимо холодного Кагульского чугуна, он всегда прикладывал к нему руку и всегда удивлялся холоду под рукою.

Кесарь вернулся после победы над Наполеоном в этот дворец. Все ждали от него чуда. Теперь то он, то императрица приезжали каждую неделю и оставались дня на три-четыре. Просто у него был досуг между двумя очередными конгрессами Европы. В лицее привыкли к особой, шаткой и торопливой, походке придворных дам, всегда торопившихся куда-то, мимо всех и всего.

Потом они несколько раз видели его, пухлого, белокурого, идущего грудью вперед небольшими мерными шагами по аллее. Они знали, что он идет в Баболово, что там во дворце опять назначено у него свидание с молоденькой дочкой коменданта. Горчаков, захлебываясь, рассказывал об этом. Он знал откуда-то решительно все о кесаре: когда он встает, когда молится, с кем обедает, много ли, мало ли говорит с дежурным офицером. Он считал это новостями политическими и сообщал их только избранным. Он знал все новые формы для полков, придуманные кесарем вместе с Аракчеевым.

Дворец был молчалив, как всегда, сторы почти во всех окнах приспущены. Кто обитал там? Полубог, победитель Наполеона? Полунощный кесарь? Или друг Аракчеева с пухлыми баками? Часовые у главной лестницы стояли как статуи, как монументы.

Вскоре стало известно, что они в лицее не задержатся: граф Разумовский отдал повеление ускорить их выпуск тремя месяцами. «В июне 1817 года чтоб нашего духу здесь не было», — сказал по-своему, по-казацки, Малиновский. Они стали гадать, кто их выживает. Горчаков неожиданно тонко предположил, что это директор.

— Почтенный и любезный директор старается нас поскорее выжить, — сказал он, — так как он не может

приписать себе чести нашего выпуска, если он будет удачен.

Это было встречено, однако, негодованием со стороны Матюшкина; Пущин, который верил директору, тоже возражал и вдруг коротко сказал:

— Царь выживает.

На робкий вопрос — почему? — Жанно ответил значительно:

— Очень шумим. И глазеем.

12

Она была женой знаменитого писателя. Жизнь ее была вполне спокойна, за исключением неудобств, связанных с некоторою полупридворною шаткостью их теперешнего положения. Зимой она будет появляться при дворе. Вскоре напечатают знаменитые, многолетние труды ее мужа. Первая корректура уже скоро должна прибыть, муж ждет ее не дождется, и она, как во всем и всегда, с тою внимательностью, заботой, которая, — она знала это, — всего более в ней нравилась, — будет ему помогать править. Теперь они каждый день будут встречаться за этим столиком, за этою работой, будут готовить листы в типографию, сверять с примечаниями, — у нее в китайской хижине, среди цветов. Цветов было много, слишком много, — их посылали каждый день из дворца. Она прекрасно знала, почему пришло долгожданное разрешение печатать «Историю» ее мужа. Он, кажется, это не вполне понял. Что ж, придется с тем умением, которое она знала у себя, знала в своей походке, глазах, голосе, быть — в который раз! — неприкосновенной. Здесь не было весело, в Царском Селе. Но вечерами приходили лицейские, — она любила их смех и споры. Пушкин, дичок, вертлявый, быстрый, так смирел при ее приближении, глаза его так гасли, что каждый раз нужно было его ободрить — улыбкой, словом. Боже, какие забавные фарсы об этой «Беседе» — смешных неприятелях ее мужа — сыпались у него с губ, когда она на него смотрела! Ему было семнадцать лет, — иногда страшно было подумать, как все они молоды. А ей — тридцать шесть.

Она была спокойна и счастлива.

И вот она была несчастна.

Никто не знал, чего ей стоило самое спокойствие. Уже несколько раз, чего давно не бывало, она теряла над собою власть, ссорилась с бедной падчерицей, плакала, кусала платочек, с утра стремилась уйти из этой оранжереи, теплицы, в которой жила, уйти от мудрого, знаменитого мужа, детей, быть одной. Вся жизнь ее представлялась ей иногда неудавшейся. Так повелось с детства. Она росла у тетки Оболенской, старой девы. По праздникам ее возили в большой дом, к Вяземским, и она целовала жилистую руку старого князя, который гладил ее по голове. Она знала, что это ее отец, и смутно догадывалась о каком-то непоправимом несчастье. Ее фамилия была вовсе не Вяземская, а Колыванова, и она не была княжной. Она долго спрашивала, какая это фамилия. Тетка объяснила ей, что это по городу Ревелю, где она родилась, — Ревель звался по-русски Колыванью, отсюда она и Колыванова. Однажды на гулянье тетка показала ей бледную красавицу и сказала, что это ее мать. На том знакомство с матерью кончилось. Она была безродная, — она слышала, как гувернантка тишком о ней сказала, что она натуральная дочь, незаконная дочь. Вот когда она научилась кусать платочек. Ей было двадцать два года, когда она полюбила бедного армейского поручика, тоже с невзрачной фамилией, Струкова. Но она его *так* полюбила, что ее скоро выдали замуж. Старый князь дал ей пышное большое приданое, она была богатая невеста. Выдали ее замуж хорошо, за человека умного, тонкого и известного, друга ее отца. Он был вдовец и старше ее на четырнадцать лет.

Она вдруг успокоилась, стала верною женою знаменитого мужа, добродетельной матерью его детей, доброю мачехой его дочери.

Нет, она не была доброй мачехою. Как она росла без матери и без отца и ее место было занято другими, ее братьями и сестрами, — вот хотя бы рыжеватым умным и смешливым Петром Вяземским, — так и теперь она нашла, что место занято. Оно было занято первою женою, Лизонькой, которая так и осталась в доме, — ее портрет висел над постелью падчерицы Сонюшки, и Катерина Андреевна знала особый редкий вздох своего мужа: это он вздыхал о ней. Она была спокойна и

еще прекрасна. Впрочем, она хоть и была стройна, но начинала тяжелеть. Плавная походка, внимательные ясные серые глаза, высокая грудь и эта начинающаяся тяжесть. Морщин еще не было. Жизнь ее проходила хорошо. Она читала каждый день с мужем газеты. Однажды она прочла о сумасшедшей храбрости поручика Струкова, который отбивался в крепости от сильного отряда горцев сам-друг и был тяжело ранен. В газете была статья о незаметных и отдаленных героях, как этот армейский поручик, произведенный в полковники. Она прочла мужу все иностранные известия и после этого заболела.

Петр Вяземский ее боялся как огня. Близким своим он тихо говорил, что у нее характер ужасный. Она начала замечать, что посторонние жалеют ее падчерицу. И в самом деле ее попреки были ужасны, она это знала. Она тоже жалела Соню — и делала ее жизнь невозможной.

Жизнь Катерины Андреевны была полна: у нее была семилетняя дочь, двое сыновей. Она читала с утра корректуры с мужем. Все же она вздыхала полною грудью, ровно и емко, когда он уезжал гулять на своем сером иноходце. Она вовсе не сердилась на Пушкина за то, что он напугал ее. Он был дичок, юнец, с отрывистым смехом и таким взглядом коричневых небольших глаз, что она начинала смеяться, чтобы не рассердиться.

Все же ей был лестен этот взгляд, — для этого отчаянного юнца словно не существовало ее тридцати шести лет. Этот взгляд был гораздо ей милее, чем белесоватый томный взгляд, которым всегда на нее смотрел император. Первым ее движением при этом императорском взгляде было — тотчас отсюда уехать, но муж, но его труды, но издание, но дети... Она осталась, решив не сдаваться.

Когда нужно было представиться императрице и ей уже привезли платье из Петербурга, она вдруг занемогла и проплакала всю ночь. Назавтра же император прислал справиться о здоровье. Принесли цветы. И когда ее с мужем позвали на придворный бал и они теснились у дверей, император, к великому смущению двора, встал и пригласил сесть на свое место. Ее, натуральную дочь Вяземского. Она знала, что́ о ней шепчут и как ее ненавидят. Комендант Царского Села Захаржевский бледнел от ненависти, когда встречал ее. А он заведовал военной

типографией, в которой будет печататься труд ее мужа. Она решила не сдаваться.

И странное дело — она почувствовала: у нее был союзник. О, конечно, не муж: он и не подозревал и был не в состоянии себе даже представить эти опасности. Он, который так много писал обо всех царях и властелинах, о темных деяниях истории, ее жертвах, который недавно кончил главу об Иоанне Грозном, — он томился тем, что царь его не приглашает. И она догадывалась: он не понимает царя. Она же, как женщина, тотчас его поняла: поняла лукавство и жестокость, женские слабости и мужской гнев.

Однажды они завтракали. Ее муж накануне узнал, что предстоит свидание с императором во дворце. Теперь слуга доложил, что пришли от императора. Карамзин был уже в ленте, вдруг лента отвернулась. Он стал ее поправлять у зеркала. Пушкин был тут же. И то, как взглянул ее муж искоса на школяра, поразило Катерину Андреевну. Это была знакомая ей тонкая усмешка, усмешка литератора над всеми этими лентами, анненскими кавалерами, представлениями и прочее. Пушкин ответил ему быстрым взглядом, и оба рассмеялись. Она покраснела от радости: ей почему-то очень понравилось, что ее муж — знаменитый человек, историограф — переглядывается с этим школяром, как равный с равным.

Впрочем, камер-лакей пришел не просить историографа, а принес из дворца корзину цветов жене его. Карамзин сухо велел благодарить и более ни о чем не разговаривал. Быть может, это и не было оскорблением, но все же почти назначенный визит был отменен.

Пушкин внезапно побледнел и, ничего не сказав, быстро простясь, убежал. После его ухода Карамзин посмотрел вслед ему и покачал головой.

Катерина Андреевна велела поставить цветы подальше, к дверям, — в комнате им было душно, — и стала кусать платочек.

13

В лицее завелись тайны. Теперь Пушкин явно скрывал что-то от Пущина, а Жанно был проницателен. Наконец все выяснилось. Жанно узнал, что у Александра тайные свиданья. С некоторых пор он не узнавал

Пушкина. Общая любовь к Бакуниной мало изменила их всех — Пушкин был весел, смеялся фарсам Миши Яковлева, хладнокровным проделкам Данзаса, и только когда начинались грызня перьев, неподвижный взгляд, уединения — начинались стихи, Жанно оставлял его в покое. Он привык к этому. Теперь другое: Пушкин стал рассеян, неузнаваем. И когда Жанно однажды увидел его близ сада с молодою вдовою, он обрадовался; причина всего была найдена: Пушкин был снова влюблен. Его немного удивило, что Пушкин вовсе не скрывал этого, — как гусар, охотно говорил об этой любви, об этой молодой вдове.

Молодая вдова не могла быть, кажется, причиной долгой печали и того, что характер его друга стал, по словам директора, невозможным. Жанно должен был с этим согласиться.

Раньше, когда он часто бывал у гусаров, он был веселее. Теперь он ходил только к Карамзиным и все забросил.

Зато и Пущин теперь таился от друга. И Александр замечал несколько раз, что почти одновременно, как по команде, скрывались из лицея: Жанно, Вальховский, Кюхля. Однажды ушел и Дельвиг. Любопытство мучило его: у них были, может быть, общие тайны, в которые его не посвящали?

Скоро, впрочем, он узнал об этом от Кюхли. Кюхля был стоик, но долго таиться не мог. Оказалось: как Александр бывал у гусаров, так они познакомились с гвардейцами, — в Царском Селе жили молодые гвардейцы. Они стали понимать, сказал Кюхля, что без знаний человек подобен скоту.Они живут здесь артелью, и главный у них — Бурцов. Кюхля сказал напрямки, что считает его мудрецом. Бурцова Александр вспомнил: он однажды видел его, когда был у гусаров. Бурцов был суховат, вежлив, говорил почти только с Чаадаевым и быстро удалился, когда начались гусарские песни. Он был штабной. Гусары не любили штабных. Когда он ушел, кто-то сказал о нем: сухарь.

Кюхля под строгим секретом рассказал, что Бурцов — друг Куницына, и Куницын читает ему за чаем лекции обо всех политических событиях и об Адаме Смите. Александр был удивлен, что гвардеец сделался почти лицейским. Это было ново.

Кюхля сказал ему, понизив голос, что ни у кого из них сомнений более не остается: Аракчеев и Голицын нарушили общественный договор; общественному договору изменили; рабство не отменено до сих пор, и это после побед двенадцатого года. Ждут год, ждут другой — а теперь, если к концу года не отменят, — значит, произошел какой-то обман.

Впрочем, человечество непрерывно совершенствуется. Все свидетельствует об этом. Однако со своей стороны аристократия всюду похищает власть в своих видах, — отсюда зло, и это совершенно несомненно доказано Бурцовым. Вальховский тоже может подтвердить. Не надо падать духом и быть равнодушным; пока это главное; человек в противном случае поглощается толпою, то есть придворными. Светские успехи — отрава. Кюхля еще много говорил.

Как он сказал *пока!*

Александр молчал. Так вот оно!

Его друзья были более посвящены во все, чем он. Он потерял столько времени! Он крепился и боялся, что слезы у него брызнут. Каково! Они таились от него, как от недоросля, или как от дитяти, или как от пропащего, отчаянного шалуна. Так вот, недаром же у арзамасцев красный колпак! Недаром дядю принимали в красном колпаке! Этот колпак якобинский. Оставалось немного меньше года торчать в этом лицее, — и он в первый же день напялит красный колпак.

Он — арзамасец! И потом у него есть Чаадаев, у которого в одном мизинце больше знаний, чем у всех его друзей, умников, педантов. Но Дельвиг, Дельвиг каков! Таится от него! Он плакал, сам себе в этом не сознаваясь. Сегодня же вечером он будет у гусаров, — пора условиться с Чаадаевым, который хочет с ним говорить наедине. Он подозревал: молчание дворца — измена! Прогулки кесаря — измена! Не общественному договору, который был заключен слишком давно и, впрочем, неизвестно кем, а тому молчаливому договору, что был в двенадцатом году. Он бросил, ни слова не говоря, Кюхлю и пошел к выходу. Через полчаса директор Энгельгард удалится к себе, а вечером он пойдет к гусарам. Ждать вечера слишком долго. Сколько времени потеряно! Он завтра же, сегодня же объяснится с Чаадаевым. А почему бы не сейчас?

И так он наткнулся на директора.

Директор шел за ним.

На лице его была блаженная улыбка, и голова закинута. Он был доволен. Тихим голосом, подняв брови, он сказал Александру, чтобы тот бросил все занятия и лекции на сегодня (как будто он ими был занят!) и шел тотчас к Карамзиным: приехал Нелединский-Мелецкий и хочет с ним говорить по особому делу, не терпящему никаких отлагательств.

14

В китайском домике был парадный стол. На почетном месте сидел гость, и Александра усадили рядом. Гость был приятен. Малого роста, коренастый, с бирюзовыми глазками, с белой косичкой, заплетенной лентою, старичок. Косы все обрезали шестнадцать лет назад. Мягким, певучим голосом, слегка дребезжащим, старый куртизан приветствовал молодого человека. Живот его в белом плотном камзоле колыхался от удовольствия: он ел. Ел и спорил с Катериною Андреевною, которая развеселилась: старый Нелединский был ее дальний родственник по отцу. Он не чуждался ее в молодости, знаменитый вздыхатель.

— Ангел хозяюшка, — говорил куртизан, — как прекрасны эти персики в своем собственном соку. И заметьте, сок их как дым, как туман, тогда как грушевый сок ясен, как солнце.

Карамзин улыбался, как, верно, улыбался лет тридцать назад при старших.

— Молодой человек, — сказал Александру куртизан, — учитесь здесь, в этом доме, наслажденью плодами. Не везде вкус, не везде понимание. Обедали мы вчера у генерала. Мне подают в глиняном горшочке мою любимую гречневую кашу. Признаюсь, я был растроган. Подают и щучину, — я преклоняюсь. Рубцы, гусь с груздями — преблагодарствую. Но затем... Затем... ах! соленую грушу, соленую дыню, соленый персик! Не святотатство ли это против природы? Унижать эти плоды до разряда огурца или капусты!

Бирюзовые глазки его светились, белый атласный живот подрагивал.

Старичок был обжора.

После обеда Катерина Андреевна оставила их одних, не желая мешать. Сели на диван. Юрий Александрович не спешил, однако, приступить к делу. Бирюзовыми глазками смотрел он на Пушкина, успел уже оценить некоторую сумрачность и пугливость юного, рекомендованного ему Карамзиным, поэта и решил, что нужно польстить и дать ему дохнуть воздухом Павловского. Он был главный затейщик, главный придворный поэт старого двора.

Они были без дам, и он тотчас об этом сказал.

— Говорят нам, на прошлой неделе, — стал он рассказывать, обращаясь к обоим, — появился штукарь с лошадью, которая все понимает. На все вопросы отвечает разными знаками. Сказано императрице. Решили дать приватный шпектакль. Введен в гостиную штукарь с лошадью, начинается представленье. Лошадь точно ли умна или штукарь плут, — но все идет превосходно. Посреди представления актриса вдруг вспоминает о природе. Воображаете ли? Мальчишка бежит за шляпой, чтоб подставить, а тем временем хозяин, штукарь, нимало не теряя головы, подскочил и кулаком все начал впихивать назад. Мальчишка носится с шляпой кругом, а хозяин, штукарь, заробел, раскланивается и задом к выходу, к выходу. Все дамы в хохот, а мне срам. Катенька Нелидова направила лорнет туды, сюды, ничего не видит. И пристает ко мне: «Юшинька, отчего смеются, что это такое?» Я отвечаю: «Природа, матынька, ничего более».

И он блаженно улыбнулся сочными губами. Карамзин, несколько опешив, пораженный простодушием куртизана, от души наконец смеялся.

Этот Шолье старого века, поэт, песенник, балагур незаметно снимал у него с плеч за тяжестью тяжесть.

Александр впервые слышал старый век.

— А теперь, друг мой, — обратился старик к Александру так же доверчиво, — я подышу немного в саду перед сном. Не хотите ли меня проводить?

И в саду, опираясь на посошок, он присел на скамью и совсем уж другим голосом, глядя прямо в глаза Александру, говоря медленно, тихо, без улыбки, не ожидая возражений, сказал ему следующее:

Здесь, без сомнения, слышали, что шестого июня в Павловске праздник. Во дворце зажгут шесть тысяч восковых свечей, будет пятьсот женщин, маскарад, сцены,

которые уже сочиняет Батюшков. Будут оба двора, император, две императрицы. Праздник дается в честь принца Оранского, мужа великой княгини. Они уезжают. Праздник поручено готовить ему. Вокруг всего дворца будут костры, пляски, песни поселян. Во время ужина хор будет петь куплеты, и слова заказаны ему же, Мелецкому. Принц любезен, скромен, умен и чувствителен. Он у Веллингтона дрался, бил Наполеона, ранен. Для принца стихи писать не стыдно. Он, Мелецкий, с удовольствием написал бы их и почел за честь, но молодой поэт видит: он одрях, нет огня, страсти, молодости.

Нахохлившись, как старый воробей, сидел старичок, и косичка его дрогнула. Карамзин указал на него, на Пушкина. Он, Мелецкий, и сам видит птицу по полету. Ему нужны стихи о принце. Но принц может быть лишь предлогом. Он дрался за лилии Бурбона — и нужно говорить о мире, о вновь воздвигшемся было и вновь упадшем навек Наполеоне.

— Если б жив был Гаврило Романович, он бы меня за это расцеловал, — сказал старичок.

Все — и быстрота перехода от какого-то дворцового случая к важному делу, и этот старый, важный, внезапный тон, и имя Державина — было как бы старым дворцовым рассказом, который Александр слышал уже когда-то в Москве от дяди.

— Ручательство Николая Михайловича и мой старый глаз обмануть не могут, — сказал старый куртизан. — Вы возьмите новое перо, лист бумаги, — и, пока я сосну, стихи будут готовы. Все важные дела делаются в час, не долее. Я уеду с ними, — так я говорил, так и будет, или я ничего не понимаю.

15

Пушкин не нашел ни Чаадаева, ни Раевского, один Каверин был дома.

Каверин ему необыкновенно обрадовался.

— Я, милый мой, о тебе пари держал и твоим явлением разорен. Я говорил, что ты бежал из лицея в Петербург и что тебя ловят по дорогам. Молоствов же говорил, что ты за кем-то волочишься и будто тебя видели в лесу, одичалого от любви. Теперь сажусь писать, чтоб рубили

дубки, нужно платить пари Молоствову, а тебе скажу прислать ягод из рощи. Сейчас придет Молоствов, он отсыпается с дежурства. Душа моя, посмотри на меня.

Он тихо свистнул.

— А ты и в самом деле нехорош. Вот я тебе завидую. Ты страдалец в любви, ты одними глазами красавицу измучишь, ни одна не устоит. А я ставлю горчишники, пью уксус, страдаю, а румянец во всю щеку. Никто не верит. Ты меня застал дома случайно, — у меня сильнейший пароксизм лихорадки, а завтра я должен скакать на Вихре в Павловск. Командирован. Конюшня Левашова приветствует принца Оранского.

Левашова, полкового командира, никто не любил. Эскадрон стоял в Софии, на каменном запасном дворе, а в каменном доме, что возле конюшни, жил командир, дом этот гусары звали заодно конюшней, и все приказы исходили из конюшни.

Каверин был сердит на дворцовую суету, придворные караулы, которыми их теперь донимали, на угодничество командира, на принца Оранского — и, кажется, в самом деле был болен. Он пил стаканами холодное шампанское, говоря, что оно должно помочь от лихорадки, назвал невесту принца Оранского, сестру кесаря, девою Орлеанскою и сказал на своей воображаемой латыни, что принц, наконец, уезжает.

— Deinde post currens — то есть: индюк путешествует на почтовых, — объяснил он.

Латынь Каверина славилась по всему Петербургу. Он пугал ею караульных. Deinde значило по-латыни: затем, но по-французски dinde значило: индюшка; post по-латыни значило: после, а по-французски: почта; только currens значило бегущий, а все вместе получалось: индюк путешествует на почтовых.

Он сидел, смотрел на Пушкина и все больше сердился.

— Хочешь, я помогу тебе выкрасть твою красавицу? Я затем рубился с Наполеоном, чтобы таскать рапорты конвою принца Оранского, камеристкам девы Орлеанской! Душа моя, ты не знаешь: как только получу деньги, расплачусь и иду в конюшню, пишу Левашову абшид. Где нам, дуракам, чай пить со сливками!

Он взял со стола какую-то бумагу, может быть приказ, и разжег свою пенковую трубку.

Александр сидел ни жив ни мертв и кусал губы. Каверин назвал бы его стихи рапортом принцу Оранскому. Он почти ненавидел великого Карамзина, который с рук на руки передал его старому куртизану. Сердце его билось.

«Дитя, ты плачешь о девице,
Стыдись!» — он мне сказал.

— Это я тебе сказал.

Каверин вызывал его на разговор.

Он удивительно угадывал его всегда по лицу.

— У тебя облака на лице. Хочешь, я изображу тебе гром и молнию?

И он изобразил гром и молнию: нос и рот пошли зигзагом. Он скосил глаза и засверкал ими.

Александр вдруг засмеялся.

— Очень похоже.

— Ну, наконец! — сказал Каверин.

— Прочти мне стихи, друг мой, — попросил он. — Только не элегию, я сегодня зол.

Каверин просил эпиграмму. Никто не умел так слушать эпиграммы, как он. Александр и писал их затем, чтобы ему прочесть.

Он стал было отговариваться, Каверин пристал.

Александр прочел, какую вспомнил:

«Больны вы, дядюшка? Нет мочи,
Как беспокоюсь я! Три ночи,
Поверьте, глаз я не смыкал». —
«Да, слышал, слышал: в банк играл».

Каверин зажмурил глаза, открыл белые зубы и схватился рукою за сердце. Так он посидел с минуту и только потом засмеялся.

— Да ты, друг мой, это обо мне, — сказал он тонким голосом.

Он обнял Александра.

— Умница моя, это мой с дядей будущий разговор. Ведь и впрямь, должно быть, болен дядя, откуда ты узнал?

Александр смотрел на него во все глаза.

Он ничего не знал о дяде Каверина. У Каверина была счастливая привычка: он тотчас все эпиграммы применял. И Александр всегда чувствовал, когда читал их

ему, что эпиграмма понята, что ее и записывать не нужно и что ее тотчас все узнают.

Он пожалел, что не написал эпиграммы о принце Оранском, и вздохнул.

— Красавица — твоя, помогу, — пообещал ему Каверин.

Вошли Молоствов, Сабуров, откуда-то с гулянья, в ментиках, доломанах, усердно звеня шпорами.

— Памфамир, — сказал Каверин Молоствову, — ты выиграл: Пушкин не бежал, все правда. И скитался одичалый. От любви. Ставлю своего солового, отыграю дубки.

Появились карты.

— Пушкин, тебе сегодня в карты счастье должно везти. Садись рядом. Ты снимаешь. Дубки наши. Да, слышал, слышал, в банк играл.

Сабуров, хладнокровный игрок, присматривался к счастью. Когда выигрывали, он ставил со стороны, примазывался.

Каверин этого терпеть не мог.

Каверин выиграл. Молоствов потемнел.

Сабуров поставил. Каверин через минуту все проиграл.

Началась игра. Молоствов, бледный, пасмурный, играл равнодушно, но отчаянно. Лицо его было помято, в оспинах, глаза тусклые, припухли.

Он был чем-то озлоблен или испуган.

Каверин озлился.

— Памфамир, решаю судьбу твою, — сказал он, — ставлю солового, три тысячи в долг и пущу с молотка всю твою новую сбрую. У тебя чепрак хороший. Игра кончается.

Молоствов был в новом ментике, новых чакчирах, весь с иголочки; Александр, раздув ноздри, следил за картами.

— Хлап! — сказал Каверин. Выпала червонная двойка.

Каверин проиграл и огорчился.

— Судьба твоя устроена, — сказал он Александру. — Красавица склонилась. Ты счастье карте принести более не можешь.

Посапывая, пил он холодное шампанское — свое лекарство, — и не пьянел. Отдышавшись, он стал петь

свою любимую, скучную песню, которую всегда певал, когда был в огорчении. Песня была жалобная:

Сижу в компании,
Никого не вижу,
Только вижу деву рыжу
И ту ненавижу.

Александр уже перенял ее от Каверина. При всех неудачах Каверин пел ее.

— Нет, не деву рыжу, — сказал вдруг Молоствов. — Это ты выдумал. Только вижу одну жижу. Это мы на кашу еще в корпусе пели. А рыжая дева сюда не идет.

Он был подозрителен. Его дразнили красоткою, действительно рыжею, которая ездила к нему из города, как говорили, *на постой.*

Каверин, по его мнению, метил на нее.

— Нет, деву рыжу. Ненавижу, — сказал Каверин и засмеялся.

— Скоро с вами прощусь, — сказал Молоствов. Все на него поглядели.

Молоствов, бледный, злой, говорил без улыбки и неохотно.

— Бегу.

— Куда? Подожди до дежурства, — сказал Сабуров.

Они шутили.

Каверин дымил трубкою.

Никто не смеялся.

Молоствов, понизив голос, хрипло сказал:

— Мне с вами не жить. Удаляюсь от приятных ваших мест. Перевожусь.

И, коротко взмахнув рукой, стал тихо рассказывать.

Гауптвахта, на которой он дежурил, выходила окном на царский кабинет.

Обыкновенно был на окнах занавес, но теперь его подняли. Окно светилось. Молоствов видел, как ушел Голицын из кабинета. Царь сидел за столом и читал. Вдруг он подошел к окну и стал смотреть.

Молоствов сказал:

— Взгляд недвижный, и любезности или улыбки на лице не было, — как смыло. Стоит и смотрит, не взмигнет. Потом подошел к столу, оперся кулаком и сначала тихо, потом все громче и громче: «Благочестивейшего... Александра Павловича...» и все до конца, и — аминь.

Тут я понял, что мне аминь. Думаю: нужно спать, крепко спать, — не ему, а мне. И стал спать. Ну, не спится. Пришел домой, и все не спится.

Все сидели молча.

— И вот теперь поеду по дорогам, может засну. А дежурствам моим — аминь!

Каверин сказал, бледнея:

— Это все Голицын. Это его песни.

Он посмотрел Пушкину в глаза, сжал руку:

— Ничего не вижу, ничего не слышу. Только вижу деву рыжу. И ту не-на-ви-жу, — сказал он раздельно и помолчал. — Я тебя провожу.

И проводил до самого лицея, напевая:

— Деву рыжу. Ненавижу.

16

Нет, Каверин был прав, напрасно он платил пари Молоствову, напрасно рубил дубки: царскосельский пустынник тоже не был рожден для того, чтобы писать рапорты принцу Оранскому; Пушкин не желал дворцовой мудрости. В ту же ночь он написал записку молодой вдове, и Фома, ставший во всем его потатчиком и клевретом, нашел случай незаметно ее доставить.

Назавтра, как стемнело, они встретились. У молодой вдовы было нежное имя — Мария. Она предавалась ему безусловно, дрожа от страха и радости. Он не хотел звать ее Марией и называл в глаза Лилой, Лидой. Она и этому подчинилась. Из двоих любовников она прежде всего была готова на безумства. Они вдвоем, не сговорясь, обманывали теперь директора, тень ревнивца, кого угодно.

Она узнала в этот месяц с этим мальчиком то, о чем и не подозревала, о чем только смутно догадывалась и что вслед за тетками привыкла называть адом и развратом. По утрам она смотрелась в зеркало с тайным страхом, ожидая, что все это уже видно.

Она не соглашалась на одно: впустить его к себе ночью. Комната ее была угловая, отделена от всех других комнат директорского дома и выходила в сад. Она содрогалась, она в самом деле дрожала перед этим безумством, которое передавалось ей. Нет, пусть лесок,

пусть берег озера, пусть тень старинного театра, пусть все эти места, которые она покидала в измятой одежде с приставшими листьями, при ежеминутной опасности быть здесь застигнутой, как девка, сторожем. Но только не ее комната, не ее белое покрывало, над которым директор повесил на стенке портрет ее мужа, в рамочке, которую сделал с редким искусством из картона.

Они условились, что он будет передавать ей записки через Фому. Записки должны быть кратки, никаких стихов — директор!

А она будет прятать свои, ответные, о времени и месте в директорском саду, в дупле старого дуба.

Он забывал о ней тотчас, когда они расставались.

Неделю он не был у Карамзиных.

И однажды ночью, проснувшись, понял, что не может более жить так и завтра же утром ускользнет во время прогулки или скроется с самого утра, чтобы увидеть косяк ее окна, угол дома. Все, что он писал теперь, он писал в тайной надежде, что стихи как-нибудь попадут в ее руки. Иначе он не написал бы и не переписал бы ни одной строки. Он понял наконец, что не может долее и дня прожить без этой женщины, которая была старше него и могла быть его матерью, что он должен видеть ее во что бы то ни стало, а те мученья, о которых он писал в стихах к Бакуниной, были только догадкой о настоящих мучениях, которые вдруг пришли теперь и только начинались. Она была жена великого человека, мудреца и учителя, недосягаема, неприкосновенна. Он вдруг возненавидел всякую мудрость и спокойствие. Самый звук ее имени не должен был быть никому известен. И он закусывал губу, когда говорил с Пущиным о том, что был сейчас у Карамзина, Карамзиных, чтоб не сказать: Карамзиной.

Она одна его понимала.

Только у ее ног, неподалеку от цветов, которые прислал ей кесарь и которые она безжалостно отодвинула к самой двери и не поливала, так что они засохли и оставалось их только выбросить, — только у ее ног он говорил, болтал, шутил. И она смеялась.

Кесарь уступал ей место, когда она входила в бальный зал, и — браво! — не имел никакого успеха.

А без нее он вдруг переставал отвечать на вопросы, не слышал Дельвига, Кюхли; он пугался участи, которая

предстояла: молчать всю жизнь, до конца, никогда не назвать ее по имени. Никому, даже Пущину. Бояться самого себя, чтобы никто не догадался.

Он чертил на песке вензель N. N. Это был теперь ее вензель. Он виделся с Лилой, пугал ее внезапностью, грубостью, ненасытностью, удушливым, гортанным смехом, тихим клекотом в такое время, когда никто не смеется. Жажда познаний увлекала его. И, возвращаясь ночью, он хотел увидеть узкий след на земле, чтоб его поцеловать, след той, которую отныне всю жизнь он должен будет звать N. N.

17

Кончалось время недомолвок, оскорбительного отсутствия приемов у императора, двусмысленных подношений цветов из царской теплицы. Вчера явился за ним камер-лакей. Свидание состоялось, и хотя во время свидания ничего еще не было сказано и самый разговор был со стороны хозяина беспредметный, хотя и заботливый, — он был позван. Начиналось то, к чему он уже не стремился, но все готовился, каждый раз наталкиваясь на равнодушие. Он призван быть советником царя. И в следующую же встречу он скажет просто и ясно: пора забыть молодость, пора править. Да, самовластие. Да, рабство. Ограда от конгрессов. И два государственных вопроса: о его дурных советниках и о гвардии. И хотя царь, с его улыбкой — у губ и у глаз — и с наморщенным белым лбом, сиповатым голосом сказал незначащую любезность, — приглашение жить в Китайской Деревне объяснилось: он — советник царя; сомнений более не было.

Только наверстать пропущенное время, только... Он принял с удовольствием молодых людей. Один — танцор, другой... другой огорчал его. Бог с ними, с лицейскими юными повесами! Катерина Андреевна придает мальчику значение, которого у него нет, — смеется над ним и, вместе, любит всю эту фанфаронаду, зелено, незрело, — и какая грусть, пустая, ни на чем не основанная, в стихах его, какая быстрота насмешек и приверженность к «Арзамасу». Арзамасцев, которые преклонялись перед ним, Николай Михайлович любил, это были

единственные люди в Петербурге, стоившие дружбы, но требовал одного — пристойности.

Брат Катерины Андреевны, милый Пьер Вяземский, — журналист природный. Но что за излишняя горячность. Он уже говорил с Блудовым о том, как все можно привести в вид приличный, без излишеств, и под конец заняться в «Арзамасе» тем, что нужно, — вкусом. Шутки милы, когда уместны и пристойны. Шутка с Васильем Львовичем была мила, хоть и непристойна, но игра разрасталась все далее, и было неизвестно, чем это кончится. Это отзывалось гусарством, разгулом, а вовсе не защитою его или даже Жуковского. Молодость права, что шутит. Но можно бы соединить приятное и смешное с важным. Блудов призывает к изданию журнала — пусть шуточного, но полного вкуса в шутках.

Чаадаев нравился ему. Пусть слухи о нем противоречивы: Авдотья Голицына говорит о нем как о танцоре, впрочем самом прелестном и даже удивительном, а Пушкин принимает таинственный вид и ничего не говорит. Они шумят — это молодость. Сегодня Пушкин попросил позволения прийти с Чаадаевым, и приглашение дано не без радости. Эта молодость нуждается в его уроках, но и он нуждается в этих молодых людях. Их разговоры не вовсе пусты, Чаадаева ценит Васильчиков, и уже появились, мелькнули признаки его блистательного карьера.

О! Сколько он уже видел, сколько провожал этих блистательных карьеров, так и не сбывающихся, этих лавровых венцов, так и не сплетающихся? Странно! Чаадаева уважают старики, жалеют за что-то женщины. Авдотья Голицына грустна, когда говорит о нем, и перед тем как говорить о математике, передала какую-то его фразу и посмотрела значительно. О, Эвдокси! Математика и красота! А Чаадаев — гусар и мудрец! Чудеса, новое время. Гордыню молодых людей он осуждал: она ни на чем не была основана. Они, видимо, считали себя судьями всех, — видимо, и его. Отчего поднята его правая бровь? Неужели от высокомерия? Авдотья сказала же о нем: мудрец. Он смотрит холодно, как власть имеющий.

И в самом деле, глядя на этого затянутого, как рюмочка, гусара, с такой еще молодой шапкой вьющихся волос и задорным носиком, Карамзин почувствовал

значение этого юноши: умен без неловкости, свободен и скуп в движениях и словах без развязности. Пушкин его обожает: смотрит на Карамзина, чуть ли не читая, какое впечатление произвел гусар. Смешно и молодо. Впечатление хорошее.

Чаадаев смотрел, улыбаясь пухлыми закушенными губами и не улыбаясь высоко поднятыми глазами. Карамзин с неудовольствием заметил, что эти глаза все увидели: засохшие ветки царского букета, которые он постеснялся выбросить, корректуры на двух столиках — второй был Катерины Андреевны. Потом Чаадаев присмотрелся к китайскому дому, ничего не сказав, и Николай Михайлович вынужден был сказать о случайности своего помещения и как нехорошо оно, несмотря на то, что Петр Андреевич старался: щекатурка лопается. Сегодня царь сделал выговор Захаржевскому. Это было совершенно точно. Но Чаадаев не удивился и ни о чем не спросил. Он заговорил о Китайской Деревне в Царском Селе, и оказалось, что знает все о ее постройке. Его занимали самые простые дела, как они занимают женщин. Вот почему Авдотья считала его, видно, мудрецом.

И в самом деле, говоря об этой ненужной постройке и небывалой деревеньке на китайский вкус, отданной Карамзиным (ибо ничего другого с Китайской Деревней делать было нечего), Чаадаев преобразился. Он сказал об единичности и отрывочности всех строений в Царском Селе, что все дома здесь недокончены и недолговечны; и таково их назначение. Выглянул в окно и поглядел на фреску: дракон, изображенный Камероном, мало напоминал Китай. Эти подражания Азии, взятые из Европы, казались ему забавны.

Карамзин ответил сухо, что более всего климат принудил его воспользоваться царским приглашением, — блестящая ошибка Петра: Петербург заставляет бежать в любое место, но жить далеко он не может, потому что ждет корректирования типографского. Итак, лучше жить в Селе, чем в подмосковной или на Волге. Он сказал о местах возле Симбирска: умеренный климат, благорастворенный воздух, суда на Волге; человек, который там живет, долголетен. Иноземцы и туда бы доехали, а здесь, на Неве, можно было заложить купеческий город для ввоза и вывоза товаров. Более чем достаточно.

Не было бы Петербурга, но зато не было бы слез и трупов.

Катерина Андреевна была занята и не вышла. Она могла бы выйти, но не захотела. Она хотела видеть и слышать их, когда ее не будет. И она за дверью внимательно глядела и слушала. Пушкин, как всегда бывало, когда ее не было, несколько раз вертелся волчком и непроизвольно оглядывался, искал ее. Она улыбнулась. Ее мучило другое любопытство, — она привыкла к этому безвоздушному величию своего мужа. Конечно, он был мудр. Он был самый великий писатель из всех, кого она знала. Но ее пугала эта его неприкосновенность, равнодушные и вежливые взгляды молчаливых камер-лакеев, которые приносили ей цветы. И она жадно слушала поэтому эти разговоры.

У нее создалось впечатление, что Николай Михайлович знает все; они молоды и даже представить не могут, какие горы книг и рукописей в каждом его слове. Но ее пугал Чаадаев. Вот он сидит и спокойно задает вопросы. Кто дал ему право так спокойно, терпеливо — и так, впрочем, почтительно — задавать вопросы, и кто заставляет ее знаменитого мужа так терпеливо на них отвечать?

Потом она всмотрелась.

Она знала славных франтов, она привыкла к щегольству гусаров, никто лучше не отдавал чести, чем Каверин, и она улыбалась этой бесстрашной и преданной вежливости, с которою он всегда широко и медленно касался кивера.

Здесь было щегольство, которого она еще не знала. Прежде всего, что за совершенство — этот ментик, перчатки! И это вовсе не смешно.

У Каверина такой вид, точно он сейчас готов сорвать с себя и бросить к женским ногам из вежливости лядунку. Здесь, у Чаадаева, в этом совершенстве, медленности, спокойствии она угадывала строгую, беспощадную, медленную религию вежливости. Любопытно, что всем гусарам, когда они ходили по Царскому Селу, словно мешала одежда, — так быстры и стремительны, а у него словно его одежда и все, что он говорит, и все, что старается делать, — одинаково важны. Этот тихий гусар — кто он таков? Пьер Вяземский рассказывал, что он был в карауле императора в самый день взятия Парижа, —

оно и видно. Но вот, — это дальше говорит Пьер, — он был в огне под Кульмом и под Лейпцигом, — этого не видно. А что у Бородина простоял у полкового знамени еще подпрапорщиком весь день, — это и сейчас видно. Встреча ее мужа и гусара, который пришел с Пушкиным, необыкновенно ее занимала.

Оглядев эти комнаты, которые с таким трудом привели в жилой вид Пьер и Тургенев, Чаадаев спросил Николая Михайловича, не сыро ли в стенах, так как стены дурно сложены.

Николай Михайлович о стенах ему сказать не мог, он их не замечал. Чаадаев сказал и о крыше, — она сложена была отвесно и дать тепла не могла. Николай Михайлович удивился, откуда он все это знает. Чаадаев ответил, что запомнил это, когда стоял с полком в Силезии, и что вообще война приучила его к тому, как надо жить. Он смотрел там на лица простонародья и убедился, что лица и дома простонародья имеют что-то общее — отсутствие равнодушия. Здесь же другое — равнодушие. Это от рабства.

Как они оба тихи — Николай Михайлович и гусар.

Россия ждала своей «Истории» — труда Николая Михайловича. Скоро ли ему описывать Петра и его время? Катерина Андреевна знала, что Петр не может играть столь важной роли в «Истории» мужа, что эта «История» должна быть важным уроком, и поэтому самый великий — Иоанн III — будет и самым главным и самым обширным. Да, но гусар сказал о Европе: Россия стала при нем Европою. Пушкин впился в гусара глазами. Николай Михайлович был слишком словоохотлив. Конечно, он был прав: новые математики, сказал он. Нельзя писать об истории как о задаче геометрической.

Однако пора ей показаться. Она вышла в сад, сорвала сирени, которая всему придавала вид Макаталемы, и вернулась. Гусар говорил о рабстве, говорил с тем властным видом, которого Катерина Андреевна не терпела. Рабство было везде, — самый хлеб, который они ели, был хлеб, взращенный рабами. Чаадаев говорил спокойно. А Николаю Михайловичу это приелось. Он отвечал заметно небрежно. В самом деле, здесь преувеличения. Она посмотрела в дверь, которая была незаметно для них открыта, — и поразилась. Гусар был бледен, даже губы его побледнели. Он говорил о рабстве

так, как другие гусары говорят только о людях, помешавших счастью с женщиной, с которыми завтра будут драться на дуэли. Губы были бледные, улыбки как не бывало. Что за страсти? Может быть, войти и прервать их? Нет, гусар продолжал. Это была его неподвижная идея — рабство. В рабстве он видел причину того, что Россия не может быть выше всех стран Европы, а уничтожить рабство мешало, говорил он, самовластие. Есть только степени рабов — различие только количественное. Россия вскоре после отмены всего этого должна стать первою страною. И начал доказывать это так, как будто это предстояло увидеть скоро.

Это уж было слишком. Преувеличение, новое и модное. Николай Михайлович сказал гусару со скукою в голосе, что в «степенях рабов» он ничего не видит, кроме смешения. Что разуметь под словом *раб?* Он говорил о хлебе, добываемом рабами. Но есть ли это рабство — самою природою поставленное правило, спорить с которым невозможно, а говорить о нем — детскость. Все это давным-давно доказано, подтверждено жизнью. Все установления этого рабства суть основы бытия и, значит, неприкосновенны; смягчать его, делать умным — вот что остается.

Да, это рабство будет, а непокорных нужно смирять, как детей. Как горько, что бесследно проходят все примеры древности и недавней истории. Франция щедро это доказала.

А самовластие — или, лучше, самодержавство — необходимо, и это тоже доказано временем, хотя можно, конечно, о многом ненужном, излишнем спорить. И он, Николай Михайлович, спорит до конца, — полезно это или вредно самому бытию Истории, а стало — основе их жизни? И вдруг Пушкин неприлично и коротко засмеялся своим странным лающим смехом и сразу же замолчал.

Это было, разумеется, от напряжения нервов. Тогда Николай Михайлович взял со стола листок с копией древнего наставления Владимира Мономаха детям и прочел параграф, относящийся к детям и женам: «И не уставай, бия младенца...» и прочее. Листок был только что прислан. Он давал этим понять, что занят. Только ли?

Катерина Андреевна поглядела в дверь. Чаадаев сидел с широкой улыбкою, Пушкин был весел. Лучше бы они обиделись, как дети. Чаадаев звякнул шпорами, и Пушкин со своим воспитателем, — как уже назвала про себя Катерина Андреевна гусара, — наконец удалились.

Николай Михайлович засмеялся тонко и коротко. Он был явно разочарован.

18

Ночью она долго не спала, прислушиваясь к притворному беззвучному сну мужа. Она знала: он лежал неподвижно, как мертвый, припоминая каждое слово Чаадаева, и не спал. И через полчаса она услышала его тихий, подавленный вздох. Притворяясь, что спит, он не верил ее сну. Она улыбнулась и заснула.

Утром она проснулась рано.

Она посмотрела искоса на своего знаменитого мужа, на своего просветителя и друга, и ужаснулась: неужто юнцы правы и неужто уже двадцать лет она верила напрасно, прельщенная его мудростью? И если все это новое монашество, — зачем она рядом, здесь; зачем дышит, сдерживается, стареет и все хороша?

Она выскользнула из постели и посмотрела на себя. Она вспомнила взгляд Пушкина, своего смешного мальчика. Он еще просто ребенок. Нет, не просто. Муж приучил ее к терпению, власти над собою, которую эти безумцы назвали вчера заодно рабством, а Николай Михайлович так просто и смело принял их вызов: да, рабство. Впрочем, был вовсе не этот разговор, не о ней.

Ей было немного жаль мужа. Он вчера говорил с обычной, только ему присущей, мудростью. Но его речь опять была не принята. И всего удивительнее было его заблуждение: он говорил как с младшими и с Чаадаевым и с Пушкиным; давно следует перестать так говорить. Величие более не в моде. Его следует скрывать, и тогда его простят. Может быть, и впрямь здесь что-то смешное? Как все просто стало. Она задала Чаадаеву вопрос: что заставило его перевестись в Ахтырский полк? И Чаадаев ответил ей по-гусарски: у Ахтырского форма гораздо лучше. А с Николаем Михайловичем о каких

только истинах не толковали. Николай Михайлович постарел. А ахтырская форма действительно лучше: выпушки, и потом не этот отвратительный селадоновый цвет, а синий. Он гусар — вот и все; и ответ его был гусарский. Он действительно прекрасно танцует мазурку, лучше всех. Раевскому далеко до него. А Пушкин вовсе не умеет танцевать: сопит и задыхается в вальсе. Он просто не может так близко быть от дамы. Надо его здесь подальше усаживать. О каких она смешных мелочах, гусарских, думает.

Она посмотрела на себя и беззвучно ступила голыми ногами на холодный пол, мимо ковра, к которому привыкла, на холодный пол, от чего предостерегал ее и столько лет отучал муж. Как до выхода за него, она почувствовала этот холод, который смолоду любила, от которого раз чуть не умерла.

Что с ней?

Она босая прошла по гостиной, где вчера сидел Чаадаев, тоже смешной, — как она знала этих великих танцоров, которые всегда выступают, как в своей последней мазурке; он прославился здесь этой последней мазуркой. Девушка взглянула из двери на нее, испуганная, и спряталась. Она опять, видимо, теряла власть над собой. «Рабство», — вспомнила она Чаадаева. Бродит неодетая по утрам и пугает девушек. Какой вздор — она не молода! Все это одиночество, нужно позвать Авдотью Голицыну погостить к ним. При Авдотье она не чувствовала ни робости, ни боязни каких-то мужниных ошибок.

Авдотьин певучий разговор имел такую власть, что, приди они, когда здесь была Авдотья, — они говорили бы другое, и не вышло бы неприятного разговора, не было бы гордости Чаадаева, сомнений Пушкина. Она отлично это поняла. Это был не только разговор о единовластии и рабстве, это был еще разговор об императоре, о муже и о ней. Странно, но это был разговор о ней. Николай Михайлович этого не понимал. А Авдотья поняла бы. Девушка принесла пуховую шаль и закутала ей ноги. Она ничего не сказала ей и улыбнулась. А муж все спал. И девушка подала ей письмо. Все разом пропало.

Письмо принес сторож. Девушка всегда сбивалась, путала и не знала, откуда, кому, от кого, какой сторож. Катерина Андреевна взглянула на грубый куверт без надписи — нет, не из дворца. И слава богу!

Потом велела дать нож и вскрыла письмо. Вскрыв, она посмотрела на девушку и вся покраснела: покраснело лицо, плечи, грудь. Она бросила письмо на стол и сказала девушке спокойно: не принимать ничего ни от кого без сказа. Потом заломила пальцы и протянула письмо Николаю Михайловичу; он уже входил, спокойный, готовый для труда и прогулок. Он с изумлением посмотрел на нее и пробежал письмо. Он помедлил только мгновение и сразу же засмеялся своим сухим, поверхностным, не доходившим до груди смехом. Потом улыбнулся, недоумевая. В письме было торопливо написано только о часе и о месте: 6 часов у театра. Так пишут о свиданиях. Таково было это письмо, переданное ей девушкой. Они смеялись над этим глупым письмом, по ошибке переданным глупым сторожем глупой девушке, несколько дольше, чем нужно было.

Потом Николай Михайлович стал размышлять: чье это письмо? И вдруг неожиданно сказал: Пушкина. Потом он очень ясно и с веселостью, к нему вернувшейся, восстановил, как историк, все обстоятельства: мальчишка написал какой-то своей деве о свидании, а сторож не расслышал, или не знал, и передал не туда. Ей так часто приходилось слышать от мужа объяснения исторических недоразумений и удивляться простоте этих объяснений, что она тотчас поняла все. Он был прав. Все объяснялось. Но вдруг, подняв голову, она спокойно сказала: следует его проучить. И Николай Михайлович подтвердил: да, следует проучить мальчишку. И вздохнул. Он назвал его теперь мальчишкой, чего раньше не было и что ее немного удивило. Они еще посмеялись и разошлись. Она забыла об этом письме и о Пушкине, которого Николай Михайлович звал теперь мальчишкой. Но вечером вдруг удивилась: кому он писал, этот мальчишка? Она рассердилась сама на себя за это любопытство и тяжело задышала.

Она была оскорблена и вдруг перестала верить в его будущее, в его стихи, верить его смущению. И ей было неприятно, что Николай Михайлович стал так часто звать его мальчишкой. Впрочем, ей было все равно.

А он?

Все как рукой сняло: и заботы о важном, любимом и вечном труде, который окончен и напечатан, будет жить, когда сам он давно истлеет; и та горькая правда

о древней России и новой России, которая дотлевала без ответа где-то, не то здесь, неподалеку, во дворце, не то в Твери, без ответа, которого он так и не дождался и без которого — он знал — Россия спокойствия не найдет, не найдет и счастья. Так он жил здесь, в Царском Селе: ни древней, ни новой России. И последнее, что гнело его и о чем он боялся и не желал думать: внезапная поздняя молодость жены, ее тревожное дыхание, все царскосельское их житье, без шуток и спокойствия, без старых друзей, которые одни существовали для него, — с этими непоседами лицейскими, милыми, но утомительными мальчиками. И, наконец, самое последнее: спор с Чаадаевым, даже не спор, а с его стороны спокойное вражеское молчание. Он привык к тому, что у него есть враги и есть друзья. Здесь было другое: его юные почитатели были горше всех врагов, горше Аракчеева, с природным грубым умом, коего он почти примирился потому, что это было все же лучше, чем змеиная лесть якобинца-поповича. Боже! С кем ему приходилось ладить! Они же были друзья, но до того чужие, что его пугала самая мысль о том, куда они ведут Россию! Ведут ли? Мальчишка, Сергей Львовича сынок, вертопрах, поэт — и гусар-танцор. Ведут! Не слишком ли пышно? И вежливость государя с мальчишками сплошь притворная, которую нужно не только допускать, но и ценить, ничего не означает. Он знал это лучше, чем кто-либо другой. Кесарь слушал его когда-то так, как будто ему дела не было ни до древней России, ни до новой. Эти юнцы хуже, — как будто знали и ту и эту.

А теперь вдруг все как рукой сняло.

Это была сущая мелочь, анекдот, о котором и говорить не стоило: мальчишка ошибся адресом и сунул какой-то billet doux[1] Катерине Андреевне. Но эта мелочь его заняла. Все начинается с мелочей. Как вспыхнула Катерина Андреевна! Мальчишке наконец укажут его место, и это будет для него полезно. Одно смущало его: неустроенность собственного дома. Конечно, это не его поместье, не Макаталема с простодушной, одинокой жизнью севера, но все же следует добиться большего порядка и здесь: нужно было взять с собою и уметь

[1] Любовную записку *(франц.)*.

выбрать не такую глупую девушку. Какими смешными мелочами приходится заниматься к концу жизни, дотлевающей, изредка только и напрасно вспыхивающей. Он сам знал: да, он был смешон намедни с этой речью перед юнцами, которые сидели здесь, в его кабинете, как судьи, перед ним. Он говорил так долго и горячо потому, что давно ни с кем не говорил, а начиная с тех трех дней в Твери, после которых потерял все, — и не перед кем было. Все почитали и молчали. Странно, но он говорил, как перед судьями, — тогда перед кесарем, а теперь — перед этими юнцами.

То, что к юнцу потеряла вдруг доверие Катерина Андреевна, было забавно и даже приятно.

Он так ласкал его, быстрого, болтливого, почти дитю, что и впрямь чуть не доверился излишне.

Мельчал мир. Вот она, новая Россия!

А она не смеялась, не улыбалась. Она теперь ждала его, как ждала только однажды в жизни — безвестного поручика, о котором вдруг вспомнила в этом году, прочтя в газете о подвиге поручика Струкова. Но у нее недаром кончилась молодость или, как она дважды в это лето сказала себе, без голоса, одними губами, глядя на пустынную ночь: жизнь.

Она тотчас о поручике забыла, — сказала себе забыть. И действительно, исчезла самая мысль об этом несчастном происшествии ее молодости. И не было никакой связи между всем этим и смешным происшествием с мальчиком и его глупым письмом. И все-таки, тяжело дыша и зачесывая волосы, она вдруг вспомнила и это.

Пушкин пришел. Он сидел в их китайском зале, круглом и маленьком, чужом. Пусть посидит. Она стала спокойна и ровна. Она прислушивалась. Николай Михайлович тоже не торопился. Пушкин быстро ходил, останавливался, срывался. Наконец она услышала: муж вошел. Она не даст говорить ему одному с Пушкиным. Его холодное спокойствие все погубит. Карамзин протянул записку Пушкину.

Катерина Андреевна вошла в тот миг, когда Пушкин, побледнев, держал свою записку машинально. Увидев ее, он еще больше побледнел. Он не смотрел на них. Николай Михайлович поддержал его и под руку отвел к дивану. Как он вдруг смирился, как стал жалок. Он, как в первое мгновение, держал еще этот billet doux и даже не

сунул в карман. Он был смешон. Она не ждала этого. Николай Михайлович заговорил; без злобы, без холода, без тонкости. Он говорил с ним, как говорил бы его отец. Он смеялся. Во-первых, он взял на миг у него снова записку, прочел ее и стал подробно, как бы в недоумении, ее разбирать. Краткость записки удивительна. Она заставляет предположить, что это не впервой. Но если не впервой, как можно быть таким неосторожным, не ценить своей страсти. Что могут подумать о той, которой эта записка предназначалась, безыменная, стремительная. А быть может, никому и не предназначалась, и все кипение страстей впустую, как пишутся многие стихи?

Пушкин слушал безучастно и вдруг машинально поднял на нее глаза.

Он до того потерялся, что не поздоровался.

Как умен, как мудр Николай Михайлович! Он просто поднял его на смех. Он сказал, что его заступничеству Пушкин обязан тем, что сидит на диване, а не поставлен в угол, что, впрочем, заслужил в полной мере. И потом стал говорить все горячее. Он говорил с горечью о жалости, которую внушает ему Пушкин. Он припомнил даже, что здесь он интересен только Александру Ивановичу Тургеневу, да вот в этой хижине встречали его стихи с гостеприимством, как надежду на стихи еще лучшие. Встречали, но впредь остерегутся. Он сказал, что самое смешное во всем этом смешном эпизоде это его годы.

Открыв рот, неподвижно смотрел в угол Александр. Тогда Николай Михайлович напомнил ему свой давешний разговор с Чаадаевым. Вот она, немецкая слобода, где юные петиметры, молодые люди, начинают распутствовать, думая, что они в Европе. Лицей — это подлинно немецкая слобода Петра, где начинается российское распутство. Нет, прелестны изречения Владимира Мономаха: «Не уставай, бия младенца». Бедный священник, которого зовут здесь попом, не смеет преподать и тень этих учений, — над ним смеются. Что делать со страстным Селадоном в шестнадцать или семнадцать лет? С Ловласом, который забывает своих друзей и до сих пор держит в руках свой манускрипт, по-видимому столь для него дорогой?

Он и вправду до сих пор нелепо держал в пальцах эту записку, как будто онемел и не понимал, что это

такое. Тут она засмеялась, — это действительно было смешно. Он опомнился, посмотрел на этот листок и скомкал. Наконец он поднял голову и посмотрел на нее с удивлением.

Но она смеялась все громче.

И тогда он понял, что его любовь, надежда, все его стихи, жизнь — все, что он о ней думал, будущее — все осмеяно, ничего нет, ничего не будет. Она смеялась над ним все громче. И, совершенно неожиданно для самого себя, он заплакал, неудержимо, без слов, держа в руке сложенную записку. Так не плакал он и ребенком. Он плакал, и слезы не струились, не текли, а прыгали у него, и темно-зеленая кожаная ручка дивана через минуту блестела, как омытая дождем.

Николай Михайлович тихо удалился. Это было совсем не то, чего он ожидал и желал. Пушкин поднялся, выпустил наконец из руки эту записку-комочек и убежал, не глядя, вперед, широкими, слепыми, легкими шагами, как убегают навсегда. Он не взглянул на нее. Она на него глядела, и если бы он увидел ее взгляд, он не плакал бы, как ребенок, и остался бы.

И в самом деле, не убежал же он навсегда.

19

Это были эпиграммы — каторжные, злодейские.

Карамзин судорожно сжал их в руке. Он прочел первую. В ней было какое-то добродушие, хоть и истинно разбойничье. «И, бабушка, затеяла пустое — докончи лучше нам Илью-богатыря!» Что за начало мужичье: «И, бабушка...» Так действительно говорили старые бабы где-нибудь в Коломне, возвращаясь с базара. Новое светило новой насмешливой поэзии. Новый Вольтер! Второй он не перечитывал. Он узнал свой разговор с Чаадаевым, искаженный, изувеченный, безбожно перетолкованный. Сомнений быть не могло. И ему стало скучно. Спасаться от докучливых визитов, жить в этом уединенном — между врагами и друзьями — царском поместье — и быть преданным со стороны... мальчика, Василья Львовича племянника. Лицейского! Катерина Андреевна всех их избаловала. Она ведет себя — это странно сказать о ней — моложе своих лет.

И он почувствовал, что этих стихов не прочтет Катерине Андреевне. Он боялся не того, что она не разделит его гнева, — об этом не могло быть и речи, — он боялся того, что она испугается. Он уже заметил у нее такое выражение, — после этого его разговора с гусаром, — ее слишком нежный, слишком ласковый взгляд. И она взяла тогда его руку в свои — и вдруг поцеловала. Да, она уже поцеловала раз его руку — когда он подписал первую корректуру «Истории государства Российского». Но почему же теперь?

И он ничего не сказал ей.

А Пушкина он просто позвал, увидев из окна, — это было в среду вечером, — положил перед ним эти эпиграммы и наслаждался втайне его видом. Как он побледнел! Вообще во всем этом было что-то детское, что его отчасти мирило со всем этим происшествием. Он приволокнулся, воображая себя, видимо, гусаром, за Катериной Андреевной, написал ей эпистолу, спутал с какою-то шалостью, о которой нужно бы просто сказать в лицее его директору, — как воспитываются в этом творении Сперанского юнцы! — спутал, выслушал заслуженную отповедь, заплакал, как ребенок, — удивительно! Ручка дивана, что у окна, была словно омыта водою, — а потом захотел отомстить. И вот конец!

Теперь он не плакал, теперь он побледнел, словно побелел, и ни слова не сказал, как и тогда. Но Николай Михайлович уже без этой легкой и снисходительной усмешки, как в первый раз, а сухо и кратко сказал: больше не бывать здесь, пока он не одумается, пока не научится понимать отечественную историю — или, по крайней мере, не привыкнет хоть к расстоянию между собою и важнейшими событиями и предметами этой истории. А чтобы он стал привыкать к этому расстоянию, необходимому для него и истории, — пусть он на первых порах соблюдает расстояние хотя бы между собою и этим китайским домом...

20

Он уже неделю ее не видел. Нет, не неделю — восемь дней: он был у них в среду, потом в воскресенье забежал, видел, как она подала Николаю Михайловичу

листы его «Истории», пахнущие терпкой печатью,—боже! Она держала корректуру «Истории», — что бы с ним ни было, эта «История» священна. Как бы он ее ни знал, ни знал в ней смешных сторон. Да ведь и Карамзин их знает небось. Дело не в этом, восемь дней он ее не видел. Он забыл, забыл навсегда свои слезы. Иначе, если б не забыл, он жить бы не мог и не должен был. И теперь он привыкал властвовать собою — после этих позорных слез, — он, не предаваясь им, искал утешения в неторопливом, скупом на слова, редком разговоре с Чаадаевым. После того разговора он как можно точнее записал отдельные слова этого разговора. Чаадаевские слова, которые были и его мнением: изящность, простота великого труда Карамзина. Изящность, простота, отсутствие пристрастья. Он стал записывать, рифмы сами пришли. Без пристрастья. Карамзин сказал о необходимости самовластья, неизбежности. Да, и молчание о рабстве. Как же, что же осталось?

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Без мечтательности. Эпиграммы точны, вот в чем соль.

Уже неделю он ее не видел. Побывав у гусаров, встретив там Шишкова, он ночью проснулся и весь день говорил о точности, днем вдруг сам со стороны посмотрел на свою судьбу — и удивился. Ужаснулся. С ужасом он подумал, что теперь должна была исчезнуть последняя правда — правда в разговоре с самим собой. Он должен был накрепко закрыть от всех — и от себя прежде всего — самое имя ее, самую возможность сказать о ней, назвать ее. Это его поразило. Он был приговорен. Не скажет и в стихах. Что же далее? Пройти эта любовь не может. Забыть ее невозможно. Сказать нельзя. Он начал уже лгать перед самим собою. И вдруг — руки его широко открывались. Об этом и подумать было страшно. Он и не думал. Только точность осталась. Он писал стихи, привычные. Быть может, они бы понравились Батюшкову. Да, его похвалил бы Батюшков! Бог с ним совсем!

И он увидел однажды — на восьмой день — ясно: он несчастен, и счастье невозможно. Что было бы, если бы он написал об этом?

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса сознаться смеет.

В страсти. И ему стало легче. Таков он был. Вовсе это не была лицейская любовь. Страсть. И он не смел признаться в ней. Самому себе. Кончились лицейские упражнения, страхи, тайна. Страсть владела им. И был страх перед страстью.

Она теперь сама себя не понимала. Она была недовольна собою, недовольна божеством, которому сама принесла в жертву свою жизнь, свою молодость. Увы, где она, эта молодость? Она стара, и только внимательность, прилежное терпение великого мужа оставляют ей молодые часы. Старость ее молода. Все бы хорошо, да сегодня она вспомнила взгляд Авдотьи, простой, без выражения, по которому она сразу увидела, что Авдотья обратила на мальчика внимание. И она вспомнила, как Пушкин вдруг, быстро и потерянно на Авдотью поглядел, почти так же, как тогда, как плакал. Ей просто жаль было его, как ребенка. Но мальчик удивительно горяч, без ума от внезапных, шалых страстей. И она почувствовала, что ни за что его Авдотье не отдаст. А поняв это, осердилась на себя. Пушкин вел себя вполне пристойно и даже под конец не шутил, что часто выходило у него неловко, бурно. И она придиралась к себе, заметила, что и этим недовольна.

Николай Михайлович ежедневно уезжал верхом по грибы. Она с почтением смотрела на его посадку в седле. Стоило только держаться в седле понебрежнее — все бы сказали, что он скачет как молодой, как гвардеец. Куда там! Он проезжал как умный, великий человек, он отвык, и его прекрасная посадка была хороша, но чуть смешна. Без него она уходила иногда. Здесь дворец ограничивал собою все. Она уходила из китайской хижины, из живописного, хоть и скудного места, смотрела памятники.

Пушкин после своего беспричинного громкого плача, которым вдруг себя осрамил, не смел к ним показаться.

Он бродил кругом, то здесь, то там. На седьмой день он стал задыхаться.

Между тем, шатаясь, пока Энгельгардт не показывался, занятый одною, только одною мыслью, он приучил себя с принужденным вниманием смотреть на царскосельские, или, как еще старики говорили, сарскосельские, памятники.

И однажды они встретились, столкнулись случайно, нечаянно. Он вдруг ее увидал. Она, привыкнув к корректурам мужа, увидела памятник, всем похожий на ее корректуры. Это был монумент Румянцеву-Задунайскому. Черный лист с выпуклыми буквами был памятью славной битвы Кагульской. И в этом листе говорилось, как в точной исторической памятке, которых столько она прочла и правила в «Истории государства Российского». Она прочла все с начала до конца и оперлась о чугун. Было жарко, а здесь холод от чугуна. Она коснулась его, провела пальцем по какому-то имени. Пушкин увидел ее вдруг — и вдруг рванулся к ней, как конь, стиснутый шпорой.

Она обрадовалась ему, немного сильнее, чем можно, чем сама ожидала.

Вдруг, задыхаясь, обняв ее стан, он стал опускаться и, упав, прижался губами к ее узкой стопе. Она закрыла глаза, кажется.

Он ничего не говорил, лежал у ее ног, и она не нашлась, как и что сказать ему. Он обезумел. Поднявшись, задыхаясь, он от нее не отрывался. Он не обнял ее. Он пал к ее ногам как подкошенный, как падают смертельно раненные.

Не раз и не два, днем и под вечер стал он приходить к Кагульскому чугуну. И прочел весь список Кагула — подробный список победных деяний, весь список героев Кагула. Среди них было имя Аннибала Ивана Абрамовича, которому он обрадовался. Он прочел весь лист назавтра. В этот день он ни о чем не думал. А возвращаясь от Кагульского чугуна, вдруг засмеялся. Он не умер, не сошел с ума. Он просто засмеялся какому-то неожиданному счастью. Чугун Кагульский, ты священ! И, пришед домой, он всю ночь писал быстро.

Она ничего не сказала своему великому мужу — его покой был слишком дорог. А Пушкин — мальчик, безумный. Ей было жаль его.

И она постаралась поскорее забыть о себе у Кагульского чугуна. Она вдруг поняла, что поступила верно — который раз? — когда решила не отдавать его Авдотье. Как он на нее взглянул тогда — сразу покорился! Он погиб бы. А давеча как упал к ее ногам! Точно раненный насмерть! Все же он не умер. И она засмеялась, как давно уже не смеялась, покраснев, полуоткрыв в смехе губы.

Как он упал к ее ногам! Точно раненный насмерть. Все же не умер, и стихи его живы. Так живы, что, когда давеча читали, она потупилась, точно прочли чье-то письмо, к ней написанное. Не умер, живехонек!

Она покраснела от радости.

Никто не мог бы, никто не посмел бы сказать, что он пропустил Карамзина. Разве стихи его остались бы теми же, не сделались бы другими? Но ведь они каждый день делались другими.

Однажды Карамзин спросил его, как пишется, готова ли его поэмка?

Увенчанный славой, первоклассный, уже ощущающий горечь на дне поэтической жизни, он спрашивал его просто о новой, только начавшейся поэме и явно интересовался ею, знал ее, потому что называл ее поэмкою.

Да, шаг за шагом, терпеливо, настойчиво шел он за Карамзиным и писал эту поэмку, умную, с этой легкою, мудрою усмешкою, вполне готовую к тому, чтобы сравниться с лучшими стихами, поэмами Карамзина. Он олицетворил эту тонкую усмешку в поэме в лице героини и назвал ее Зоей. Эта Зоя должна была быть совершенной умницей. Она вовсе не собиралася в ответ на благодарность героя погубить свою жизнь.

За спасибо в темну яму лечь.

Мудрость полурешений была в поэме лукавою и истинно милою.

Нет, он чутко внимал Карамзину и шел за ним. Он изгнал рифмы из поэмы, чтобы в стихах была честность прозы. И, доведя эту умную, эту умненькую сказку до поворота, не захотел ее читать и думать о ней.

Он вдруг научился пропускать. Рифма доказывала верность мысли. Кто писал без рифмы — писал, боясь проверки. Рифма была некогда богиней. Ум? Не ум, а разум. Самое высшее доказательство истины, самый ясный разум — была любовь. Не любовь, а несчастье

стерегло его. И все же. Все же да здравствуют музы, да здравствует разум! Уже пять дней и две ночи писал он новую поэму. Рифма, любовь — и не половинная — разум. А история русская — ее творили Карамзины для него.

Рифма. И любовь, как рифма. Не половинная, не мысленная любовь. Не усмешка ума, муза и разум да здравствуют!

История русская, родина русская, стародавняя. Рифма была проверкою верности мыслей. Проверкою верности событий, верности событий истории русской, родины — была любовь. Да, он у Карамзиных учился — у Катерины Андреевны Карамзиной. Как часто ворчал он на отечество, когда канцелярии свистом перьев писали о нем. Не поэмка, поэма началась. История земли русской — творение Катерины Карамзиной.

Когда он упал неожиданно к ее ногам, когда у Карамзиных плакал бурно, он вдруг понял и почувствовал: есть одно лекарство от этого. И, встав, пойдя долгим путем, задумался и вдруг засмеялся.

21

Настиг!

Он настиг эту пару — и где! — в своем жилище, в его собственном — увы! — столь скромном директорском доме, где он жил как хранитель этого места, этих лицейских! Ведь он, создатель лицея, заботившийся и добивающийся родства со всеми, он, пришедший сюда, как в собрание ждущих попечения, он, и только он, своими трудами добился этого! И какой скромностью он отвечал им всем. Когда Корф сказал, что эта мраморная доска, которую он сам поставил, — Genio loci,[1] — есть признание его заслуг, разве он не шикнул на него! Genio loci он воздвиг в честь императора — и даже не он, а лицей! Как бы то ни было, трудами он снискал.

Несчастье, как всегда, бродит там, где есть чужие! Словом, он настиг эту пару. В бесстыдном положении! Ему поручена эта молодость, он надзирает, печется и просит об одном — не мешать! Но этот Пушкин, который

---

[1] Божеству места *(лат.)*.

нападает, который всех совратил! Он тотчас же все привел в порядок и выяснил. Вдова Мария Смит уезжает. Вещи уложены. Фоме сказано, чтоб отвез. Сегодня же! Сейчас же! Ее уже отвезли. Он соблюдает или, вернее, блюдет память ее мужа. Не в этом дело! Он не знал этого мужа! Он просто повесил здесь паспарту, чтобы вдова помнила и соблюдала. И он настиг их. Ни слова об этом. Он, он сам его покрывает! Сам никому не рассказывает. Ибо — стыдно! У него будет о нем разговор. Там, где нужно.

Он сразу не хотел действовать. Он отложил на день. Как напрасно! Словом, кратко, случилось такое: директор Энгельгардт, действительный genius loci, настиг Пушкина с молодою вдовой. Тотчас распорядившись об отъезде вдовы, он решил на день, на один день, отложить дело о Пушкине. И тихо сказал по-лицейскому:

— Чтобы он, чтобы его — чтобы здесь не было его духу!

И этого духу более не было бы. Но в тот же день приезжает к нему старик Нелединский-Мелецкий и привозит от императрицы часы с надписью. Он, Егор Энгельгардт, рад и тому, что не изгнал молодчика на день раньше. Вот судьба! Он только сохранил в общем журнале отметку, которую сделал о Пушкине: «И ум и сердце его пусты». Пушкин, конечно, ликует, но сдержался, и когда все написали ему в альбом, написал и он — короче всех, но прилично: в лицее не было неблагодарных. Прилично. И вместе, как всегда, уклончиво. О нем ни слова. И директор так беззлобен, что по-настоящему огорчился бессердечностью Пушкина. Получив эти часы, он не умилился. Ни слова не сказал, хотя, конечно, и был доволен. С ним осторожнее! Его утешенье — другие. Корф говорил о нем, о Пушкине: у него пустота, холод во всем и только две страсти: женщины и стихи.

Многого не мог предугадать Энгельгардт.

Сказать, что дадут часы — императорский подарок? Кому? Пушкину. Не угодно ли? Холод и пустота в этом человеке. Вот и все. Корф, который сердечен, сказал ему, что́ он о Пушкине думает. Корф умен, много работает умишком и делает успехи. И формула Корфа о Пушкине: холод, пустота. И только две страсти: женщины и стихи. Каково! Корф — лицейский умник. Корф прав. О вдове ни слова. Она отбыла.

Но кто бы мог подумать, что его стихи — это сила! Насмешник остроумен, бог знает у кого учился из французов. Вольтер был давно. Бог с ним. Но знает ли он литературу? Поверхность. Немецкой литературы и не касался. Он хотел дать им в лицее общительность и светскость. И какая дьявольская насмешка!

А теперь — директор должен был и это униженье пережить — он получил часы. Бог с ним. Хоть не ему, так лицею все же приятно. Но он их не бережет. Вчера потерял. И он, старик Энгельгардт, должен еще об этом заботиться.

Он вздохнул. Надо сказать об этом.

А кроме того: ведь что в лицее за последний год приходится терпеть! Это все он. Кюхель, конечно, со странностями. Но ведь его отец почтенный. На все его странности нельзя смотреть. И вот Кюхель — несмотря на старую близость с ним, Энгельгардтом, почтенного отца — вдруг выступил! Нет сомнения, что это дело Пушкина.

Вдруг сказал, что директор только с теми водится, кто может быть многих мнений об одном. С таким трудом налажены редкие, но приличные по-прежнему отзывы — кого? Аракчеева! И он ему всех здесь заразил. Вдруг что-нибудь произойдет? Кюхель также выступал. Он всех лишит, то есть он лишит его — всех. Нужно еще смотреть, не потерял ли этот искусник — эти часы. Фома! Следи! За чем? Да за часами, Фома. Хе-хе...

22

Где он жил? Да нигде.

Никто никогда не знал, не мог сказать — где.

И наконец: кто он такой?

Почему и зачем появился? Почему, прежде чем добиться приема у государя, Карамзин должен был добиться приема у него?

Быть может, тайна?

В самом деле, как тут могло быть без тайны?

Женщины горячились. Тайна. Рассказывали, что он спас императора от смерти, когда тот тонул. Да император и не думал никогда тонуть. Да откуда эта дружба? Просто оттуда, что предан без лести. Ведь кругом него — лесть.

Говорили, что он грамоте не знает. Но это с удовольствием говорил и он сам. Нет, знал грамоте — не свыше того, что требовалось, однако и не ниже.

Он был артиллерист, знал артиллерию смолоду. Говорили, что он Сперанского в двенадцатом году упек, заслал. Нет, со Сперанским были, хоть редко, отношения.

Чем он держался столь крепко? Тем, что не знали. Фрунтом. Лучше, чем он, не знали фрунта.

Царь ездил на развод. Нужно было верить. Он верил во фрунт. Фрунт все спасет! В военных поселениях поселяне станут во фрунт. Ничего более. Будет и хлеб. В фрунте мог с ним равняться только император. Тоже, как узнал, поверил преданному без лести. Простой фрунтовой строй равнял совесть. Такого искусства во фрунте не знали и при императоре Павле. Стали иные говорить, что Наполеона не фрунтом победили. Лишние разговоры. Может, фрунтом и лучше бы было. Иные люди — молодые люди. В строй! Двадцать лет шагать — не день. Не рассуждать. Не кричать. Вздумали грамоте учить по разным методам. Одну привезли из Англии — взаимное обучение. Ланкастерские взаимные обучения. Друг друга учат. Скоро, говорят, научают. Но беда в том, что, того и гляди, и впрямь научат. Вся армия читать начнет!

Он ничего не говорил. Знал, что этого не будет. Ведь не то, что читать начнут, пускай читают, — да кто пишет?

Стали уж богомерзкие листки пускать. Вот, читайте. Сказано: в казармах все письменное и печатное также собирать, давать на проверку. Сегодня и ему выдано. И он препроводит. И он взял эту письменную и печатную кипку Перевязано веревочкой, простою, как он всегда делает. Без лести. И стал просматривать спешно—есть ли новость? Ничего нет. И слава богу. Без новостей. Он искал об одном военном поселении. Посещают лица. Может, отзывы есть, отношения? Так прилично это. Лести не любит, но нужен порядок. Пишут другим ведомствам. Пусть и этому.

Нет, это не было отношение, отзыв.

Это стишки. Теперь в ходу. Воспалятся и воркуют:

...Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он, «преданный без лести»?
Просто фрунтовой солдат.

Листки подметные. Ругатели. Смотри, Лавров, кто? Это твое дело. Просто фрунтовой солдат, прочел он еще

раз горько. Прост, прост, умники, — сказал он. Двадцать пять лет фрунтовым солдатом походи, тогда учи. Научишься. Прост фрунт. По швам! К ноге! Артикул! Держи.

23

Завелся у Пушкина друг и поклонник. Внезапный, как все у него было внезапно. Безумный кирасир. Он несся на коне, как всадник, стремящийся к скорой гибели. Самой скорой, — чем скорее, тем лучше. Пушкин встретил мчащегося во весь опор кирасира у гусаров. Кирасир, маленький, затянутый, в широчайших своих штанах, — новая форма, сменившая узкие, — в блестящей новой епанче, с кортиком, несся. Уже кричал будочник: «Стой! Пади!» и вдруг он остановился. Стал как вкопанный. Кобылица, белая, стройная, маленькая, подняв, вскинув кверху бешено тонкую голову, глубоко дышала, в пене. Пена падала с удил. Кирасир объяснил:

— Кобылица понесла.

И медленно, шаг за шагом, поехал. Пристал.

Он был в новой форме, которая только что была введена. Ясно было, что кобылицу он разогнал, что это был конец гоньбы, но никто бы и не подумал об этом сказать. Впрочем, впрочем, с ним было все коротко. О двух его дуэлях все знали. А спешившись, он оказался неописанной красоты мальчиком, очень тихим, приехавшим к Молоствову или Каверину, даже именно — к Каверину. По делу. Делом была та же дуэль. Его вызвал Юрьев. За что? Ни за что. Увидев Пушкина, он просиял. И тотчас бросился к нему.

Это был Шишков, поэт, уже давно искавший дружбы с ним.

Александр Ардалионович Шишков писал быстрые элегии, в самом деле напоминавшие его. А в последнее время стал писать эпиграммы. Он подражал так близко, что Пушкин стал хмуриться. Но Шишков и не думал ничего скрывать. Самое их знакомство было горячо, горяча немедленная дружба. Куря табак и задыхаясь от дыма, — он не терпел дыма, но как отчаянный должен был курить, не мог не курить, — он говорил с Пушкиным откровенно.

Даже слишком откровенно. Пушкин вначале оторопел. Шишков был племянник знаменитого адмирала — «сухопутного адмирала» Шишкова, старика, который был главою этой страшной «Беседы», воевавшей против Карамзина, который был занят корнесловием, столь раздражавшим дядю Василья Львовича, столь его вдохновлявшим. «Опасный сосед» не был бы написан без него. «Опасный сосед» был именно написан о его приспешниках.

Теперь время было другое. Двенадцатый год пронесся. Ждали. Не могло оставаться все по-прежнему. А все оставалось, как было. По-прежнему. Появились быстрые люди. У сухопутного адмирала завелся быстрый племянник. Знаменитый дядя, который о нем заботился, докучал ему. Он был не согласен со своим званием: второй. «Дядя второй, — говорил он, — а не я».

Взяв со стола карту, Александр Ардалионович другую сунул Пушкину. Пушкин играть сегодня не хотел. Шишков смотрел на него во все глаза, держа наготове карту. И звонким голосом, достав из обшлага два портрета и бросив их на стол, Шишков второй сказал:

— Дядю на дядю.

Все притихли. Александр смотрел на Шишкова второго во все глаза. Дядя Василий Львович против адмирала Шишкова! Давно ли — одни дядею клялись, другие дядю кляли. А сегодня — дядю на дядю. Оба врага стали смешны. Не слишком ли? Он бросил карты. Дядя Василий Львович был точно смешон, да этот смех ему не нравился. Смех был нехорош. Смеялись. Когда появлялся Шишков второй — все должно было кончаться либо смехом, либо выстрелом.

Каверин смешал карты. И Василья Львовича и адмирала.

— Отчаянный, — сказал он.

А отчаянный уже читал эпиграмму. Недаром он был в новой форме и прискакал на последние.

Эпиграмма была коротка. Видно было, что он читал все пушкинские. Все и впрямь скажут, что это его, Пушкина, эпиграмма.

Свобод хотели вы, свободы вам даны:
Из узких сделаны широкие штаны.

Прочел спокойно, ровно.

И, полюбовавшись гусарами в широких штанах, при-

жав руку к груди, когда смотрел на Пушкина, бросив непременную, но надоевшую трубку, шаркнул стройными ногами в широких штанах и умчался.

24

И изо дня в день, все чаще он начинал это чувствовать, — он чувствовал каждый день одно и то же, что будет весь день бродить, не доходя до китайской хижины, а иногда и минуя ее наискось по малому переходу. Однажды он вдруг услышал там голос Катерины Андреевны, она говорила с детьми. «Детёнки мои»,— услышал и замер. Когда она говорила по-французски, ему показалось, что опять в китайской хижине кесарь, и он постоял неподвижно, без дыханья, задохнувшись, пока не услышал важный, нежный голос Нелединского, и сразу тихо засмеялся. А с детьми, с малым Андреем, она всегда говорила по-русски. И так, здесь постояв, послушав это чуть певучее объяснение с детьми — детёнками, — его обезоруживали всегда ее грамматические ошибки, чего Кошанский уж, верно, боялся, как черт ладана, — так, простояв здесь третий день, третий раз послушав, как диво, эту ее речь, он вдруг сказал вслух, догадавшись, внезапно, разом:

— Ага!

Он вдруг понял, что всю историю русскую, от времен Владимира Красного Солнышка, он узнал точно здесь, у Карамзиных, да только не от него, а от нее, от Катерины Андреевны. Она была по отцу Вяземская, княжна, с головы до ног княжна, а говорила детям певуче: детёнки мои. Ведь так, почти так, только Арина говорить умела. Аминь! Аминь! Рассыпься!

И надо же было ему встретиться с нею! Здесь, возле лицея, в двух шагах, в этой китайской хижине, в небывалой Китайской Деревне.

Все чаще страсть находила, нападала на него.

Он по-настоящему задыхался; переводя дух, пыхтя, как во время драк с Малиновским, не сдаваясь, боясь, чтоб кто не заметил. И надо ж быть ее разговорам с детьми певучим, ее взгляду, смеху быстрым. А его стихотворения она слушала по-своему. Раз выслушала, не сказала ни слова, а потом, через неделю, вспомнила и ска-

зала строку за строкою, тихо, медленно, как бы убеждаясь в нем, уверяясь. Стало ясно в этом бережном внимании — его стихи ей дороги, ей милы. И он стал иначе слушать их, смотреть на себя. Одну строку она прочла по-другому. Он хотел напомнить, поправить и вдруг решил: быть так. С этим нечего было делать. Это было решено помимо него и уж, конечно, помимо нее, на всю жизнь. До конца. Что еще предстояло, он предвидеть не мог, бог с ним — да никому ни слова. Ни слова себе самому, все похоронить с самого начала — и страсти и неги. Запрет лежал на всем. С трудом кой-как добивался он того, что сам переставал сознавать себя и ее. Это было преступлением против Карамзина, великого писателя, против дяди Василья Львовича, против Вяземского, ее единородного брата — Пети, как она порой говорила о нем. Против отца и матери. Содрогнувшись, он подумал, что это на всю жизнь. Жизнь была решена, сразу. Он не ходил к Карамзиным, не смел — рана за раной — где и как увидит он ее в будущем году? И так всю жизнь.

У дяди Василья Львовича были неудачи в семейной жизни, он ездил в Париж от них спасаться, у деда несчастье, у прадеда тоже, но никому и присниться не могла эта любовь, упавшая на него, его пронзившая, как пуля. Тайна этой любви тяготила его, как вечная, неоплатная, не дающая разрешения ни на час, ни на миг.

Так все началось.

Он был готов на все — с самого начала.

Гений этих мест, бог Китайской Деревни, был ее мудрец. Он все знал, все видел, со всем мирился, не мог только помириться с одним — с тем, что она любит так глубокого старика. Она и портретов с себя писать не давала, — пусть не говорят о ее красоте. Карамзин был стар. И не то, что писания его, его «История» были вечны для нее, дороже всего когда-либо им написанного. Нет, она любила его, отменно тонкого мудреца, учителя, так, как любят красавицы, девушки. И он не постигал этого. Так вот какова эта скромность, самозабвение. Что за черное волшебство! Он видел рядом эти две головы — лукавую голову стареющего сказочника и эту прекрасную, вечно молодую. Ни слова, ни стиха об этой любви. А если вырвется — говорить о других. Лгать. И молчать. До конца.

Таково было начало.

Эта ежеминутная страсть, закупоренная, как вино, иногда отступала. Он вздыхал, начинал по-другому видеть ее, себя, всю жизнь. Оставались раны, оставалась память ран, глубоких ран любви.

Отступала она. Забывались эпиграммы.

Таков был Чаадаев. Одна мысль, все решавшая, одна тайна. Какая — не знал, но догадывался. Ничто не мучило его при Чаадаеве.

Самая любовь отступила от комнаты мудреца. Любовь была печальна либо смешна. Отступала здесь печаль, насмешка была невозможна. Самая мысль о любви, как мысль о болезни, — здесь исчезла.

Любовь и не переступала порога этой комнаты. Другая тайна была здесь. Было точное средство сразу достичь счастья. Не своего — всех, всей России.

И здесь, в комнате Чаадаева, такой строгой, наступало не успокоение, наступало знание, уверенность, — Чаадаев точно знал сроки всему. Несчастье, ничтожество должны были кончиться разом, в один день.

Никто не назвал бы его франтом, щеголем. Так обдуман был его вид, так лежал на нем, как изваянный, гусарский мундир. Нет, он далек был от щегольства. Ничего лишнего не было на нем. Никакого пристрастья. Молоствов навязал ему перстень. Ему дали за карточный долг.

Чаадаев долго смотрел на перстень и смахнул его со стола.

— Когда в Риме продавали раба,— сказал он, глядя на удивление Пушкина, — вместо оков проводили мелом черту вокруг ноги, ниже колена.

И так как удивление Пушкина не прошло, а росло, сказал серьезно:

— Я не ношу перстней. Они напоминают рабство.

Сегодня Пушкин его не узнавал.

Он нюхал хлеб, ломтик принесенного слугою к чаю, как знатоки нюхают вино, отличая лафит от шабли. И посмотрел своим прозрачным, знающим взглядом, спокойно, не торопясь.

— Эти рабы, которые нам прислуживают,— сказал он, глядя вслед уходящему слуге, — у него не было денщика, — эти рабы, разве не они составляют окру-

жающий нас воздух? А хлеб? Самые борозды, которые в поте лица взрыли другие, пахотные рабы, — сказал он, — разве это не та почва, которая всех нас носит?

Он оттолкнул ногою брошенный перстень. И, нисколько не повышая голоса, он сказал:

— Вот заколдованный круг, и в нем все мы тонем. Друг мой, ты не узнаешь ни себя, ни стихов своих, когда мы вырвемся. А это должно быть скоро, ты лучше всех понимаешь время, которое проходит, чувствуешь время, которое должно настать. И здесь самое главное — предузнать миг, который все разрешит. Друг мой, все, чего ждем, настанет, потому что само время над этим трудится. Ты не был в Швейцарии. Я видел там свободных крестьян. Они ходят иначе. У них другая походка. Главное, что мешает всему, — заразительность рабства. Вплоть до цезаря все им заражены. Нет уже деревни в военном поселении. Как? Но само собою. Рабство вдруг минет. Благодаря бога оно заразительно. Ты и сам не поймешь, как оно высоко ходит, как всем правит и влезает наконец на место рядом с кесарем. Кесарь видит его наконец, и рабство проходит, спадает, словно его никогда не было.

Пушкин слушал Чаадаева, как всегда, всем существом. Мало говорящий, еще меньше движущийся, не машущий руками, не улыбающийся Чаадаев так и должен был быть внимаемым. Вдруг Пушкин откинулся.

— Дело за Брутом, — сказал он радостно.

Чаадаев примолк.

— Ты сегодня неспокоен. Друг мой, ты почувствуешь, что такое свобода, — сказал он спокойно. — Как ты будешь сразу создавать стихи! Рабство вдруг исчезнет. Так бывает. Так будет.

Он вежливо спросил Пушкина, давно ли он видел Карамзиных. В его «Истории» он ценит более всего самые звуки, простоту, отсутствие пристрастия. Но Иван Третий хотя, кажется, и прекрасный царь, все же он напрасно считает его самым лучшим. Он мало обратил внимания на Петра. Что об этом думает Пушкин? Ведь все флаги вдруг посетили Россию при нем.

В этом доме, у Карамзиных, есть, однако, достоинства, которые трудно переоценить. Это — удивитель-

ный тон, самый воздух этого дома. Красота хозяйки удивительна. Разговор ее удивляет ровностью, знаниями, уверенностью в истине. Она прекрасна.

— Что с вами, друг мой? — спросил он тревожно.

Пушкин был бледен, вдруг густо покраснел. Он искал слов, сбивался, путался. Он вдруг стал жалок. Чаадаев внимательно на него смотрел. Он верил в Пушкина. Недоступный для любви, он понимал, однако, все ее тревоги, все неожиданности. Теперь, все видя, почти все поняв, он с вниманием, спокойствием налил Пушкину чашку черного благоуханного кофе, полученного им из Англии, занял его самым порядком всего, что делал. Чаадаев ни о чем его не спрашивал. Если б не он, Пушкин заплакал бы, как ребенок. Жизнь ему не давалась. Теперь он вдруг успокоился.

Прощаясь, Чаадаев обнял его.

26

Зорю бьют.

Рассветало. День еще не наступил. Все было как всегда, Пущин за стеной еще не просыпался.

Зорю бьют.

Первый звук трубы, унылый, живой и сразу потом — тонкий, точный, чистый голосистый звук сигнального барабана.

Зорю бьют.

Из рук его выпал ветхий том, который ночью он листал, — Данте.

Этот год миновал — как не было.

Зорю били.

Эта точность, голосистая и быстрая, снимала с него сон, — он уже не спал; снимала неверные, тлеющие сны. Его любовь была точна, как время, как военный шаг, марш. Как будущее. Больше всего, точнее всего будущее было предсказано прошлым, прошедшим.

История Российская, русская, Катерины Карамзиной, была в уме и сердце.

Зорю бьют.

Стремительно и точно.

Они кончили лицей на три месяца раньше положенного. Сами стены больше уже их не держали. 9 июня

1817 года явился государь в конференц-залу лицея с Голицыным, и назавтра они покинули лицей навсегда.

Зорю бьют.

Через три года государь прислал приказ отгородить лицей от дворца. Прислал спешно, с конгресса, из Европы: нет времени. Скорее! Точно, тонко, голосисто.

Зорю бьют. Лицейский марш на стихи Дельвига.

Зорю бьют. Смирно!

Явились все. Они определялись в службу. Как поразному все стали выглядеть после лицея, где все были на одну стать. Только после лицея появилась походка. Разная у всех. Небывалая — у Кюхельбекера. Куда такой пойдет?

Однако и он подписал свое имя.

Дали они подписку в том, что ни в каких обществах, тайных и секретных, не состоят. Все подписали с легким сердцем.

Первым явился Пущин. А потом пришли, приехали и свои и чужие, разные.

Все дали подписку. Были довольны. Они поступали в службу. Жизнь началась.

Пушкин решил, что вскоре поедет в свою вотчину — Михайловское.

Будут встречаться в лицейские годовщины. Простились все. Пушкин с Дельвигом обнялись. Куда? Когда? В этом доме с колоннами.

Подписался, что ни в каких обществах не состоит, и вдруг засмеялся. А лицейские? Ведь решили собираться каждый год в день открытия лицея, 19 октября, всем лицейским. Старостой выбрали Мишу Яковлева. «Скотобратцы» были все свои, это не было общество. А «Арзамас»? У него уже была арзамасская кличка: Сверчок, — нашли в балладе Жуковского, применили к нему — и дело: он, как сверчок, никому спать не давал. Нет, не пойдет его служба. Каждодневно, кроме воскресных и праздничных дней, будет он ходить в службу? Ничуть не бывало.

Нет, они не кончали лицея. Кончались лекции, кончалось царскосельское время, пробуждения на заре, блуждания с неотвязчивым стихом весь день, кончалось это все, а лицей не кончался. Не мог кончаться.

Семья? Семьи не было. Отец жил воображаемой жизнью. Мать была скора, загоралась и гасла без причин. Была Арина.

Была Арина и был лицей. Не кончался. Вот и все. Такова была жизнь. И ничто не прибывало. Кто был у него в лицее? Был Пущин, Дельвиг, был Кюхля — брат родной по музе, по судьбам. Считать ли? Много их было, — это была его истинная родня, кровная.

Уж, конечно, не начальство их роднило, не Энгельгардт. Директором был для него все тот же Малиновский. Таков он был.

Так и осталось Царское Село родиной, отечеством прежде всего.

Мыслитель скажет: но откуда же это братство, почему Царское Село — отечество? Потому, что они каждый день в один час вставали, ели одно и то же, по одному месту гуляли, у одних профессоров учились? Отсюда эта близость на всю жизнь? И мыслитель покачает головой. Он покачает головой и будет неправ: во-первых, не всем давали обед. Шалунам его вовсе не давали. А затем — жизнь привычная. Привычка к существованию такова и есть. Нужно единство, и кто его создает — не забывается. Энгельгардт его не создал, как бы ему этого ни хотелось. Сначала был Малиновский, потом отсутствие директора, и только к концу Энгельгардт. Кто же? — спросит строгий мыслитель, уж не Пушкин ли, который половину лицейских не помнил? Уж не Яковлев ли, Яковлев — «Двести нумеров», который изображал двести фигур?

Да. Пушкин и Миша Яковлев.

Они всех своих помнили.

Считать ли? Был Горчаков — с памятью, непонятной для него самого. Потом эта память прогремела по всем дипломатам мира. А с Пушкиным он встретился раз на большой дороге. Их земли были близки. Встретились и братски, по-лицейски, обнялись. Таков был лицей. Нет, директор Энгельгардт не совсем понимал его. Совсем его не понимал даже. А кто понимал?

Миша Яковлев — «Двести нумеров». Таково было его звание — он изображал двести персон, знакомых и встречных, будочника и Пушкина. А потом они выбрали его лицейским старостой.

Да здравствует лицей!

В другую же ночь он был у Авдотьи.

С удивлением убедился он, что всего новее была ее старорусская краса, всего страннее — ее старорусские чудачества. Ведь Авдотьею назвала она впервой себя сама. Никто бы и не подумал себя так называть. Ее звали бы Эвдокси, а старые — Евдокией, а она звалась теперь Авдотьей. Цыганка сказала ей, что умрет она ночью, во сне.

Назавтра же днем отказали всем гостям.

Ночью ее дом над Невой засветился. Съехались кареты. Кучеры с ночными факелами съезжались к дому на Неве. Звонкий скок лошадей раздавался перед домом. До утра входили, днем разъезжались. Сразу же модники прозвали ее princesse nocturne — ночною княгинею. День она превратила в ночь, зато ночь до утра — в день. В молодости она была влюблена без памяти; выдали ее за старика Голицына. Старый муж мало интересовался ее поступками и не мешал ей. Так она, превратив ночь в день, бежала от смерти и судьбы со спокойствием, отчаянием и какою-то храбростью.

Занялась она математикой и напечатала целую книгу. Вяземский, когда ночная княгиня с ним заговаривала о дугах и касательных, крестился тихонько.

С Катериной Андреевной Карамзиной была в дружбе. Одевалась она в голубой сарафан, который был ей к лицу. Пушкин русскую историю узнал у Карамзиных — Карамзиной. А когда думал о своей богатырской поэме, хотел видеть тотчас старорусскую Авдотью.

Приехал он далеко за полночь.

Извозчики были его новым мученьем, от которого он был избавлен в лицее. Сергей Львович, скупо отсчитывавший деньги, всегда торговавшийся с извозчиками, был для него судьбой. Торговаться с извозчиком ночью, едучи к ночной княгине, было трудно.

Долго смотрел на глубокую черную Неву.

Встретил его швейцар с тяжелой булавой: княгиня принимали.

Он вошел. Только что ушли кирасиры. Авдотья была в своем обычном платье в приемные дни: в сарафане. Тяжелой золотой ткани был ее сарафан. Убранный

дорогими камнями, сарафан был тяжел, скрывал ее знаменитые плечи. Опять он смутился от этой красы.

Серебристым, мелодическим голосом она говорила, что ей не по сердцу эта новизна, которую по-русски и не назовешь. Где уж тут богатырей поминать, как Катенин, который большую силу в театре взял, стал бесперечь теперь поступать.

Пушкин в смущении потупился.

Катенин действительно взял большую силу в стихах и театре, да о нем говорили неладно: словно недаром Катенин не любит стихов о любви. Говорили и то и это. А его стихи были не просты, хороши, сильны. Да ведь он был в явном восстании против Жуковского, Карамзина. Авдотье и горя было мало. Господи! Не продался он за ученье ни мудрому Карамзину, ни прекрасному упорному Жуковскому. Плохи его богатыри? Добро же! Недаром любил он напевать горькую солдатскую:

Шел солдат с ученья
Своего мученья,
При-то-мил-си.

Вот и он пришел с ученья — да к Авдотье. Будут богатыри! Будет стих! Завтра же пойдет к Катенину. «Поэмка», — вспомнил он и скрипнул зубами.

Серебристым, музыкальным голосом сказала ему Авдотья, что теперь мужики большую силу взяли, — и в песне и в математике — все они. А была в песне Шереметева Анютка, поначалу в девичьей, а потом в княжой спаленке, под конец и вовсе княгиней,— вот это песня! Всем песням песня! А ее математику в Париже издали, да не разумеют! Где уж им!

Пришел швейцар с булавой, доложил:

— Князь принять просят.

Явился к Авдотье сам старый муж!

Приказала сказать:

— Почивает. Нынче ночь. Просит с утра пожаловать.

Так и доложил:

— Почивают. Просят с утра.

Эта была злая насмешка. Старый князь всегда смеялся над ее причудами, и только крайняя нужда заставила его явиться до рассвета.

А Пушкина Авдотья оставила.

Она сбросила свой тяжелый, в драгоценных камнях голубой сарафан, как древние воины, верно, снимали доспехи. Ее старорусская речь была ясна, ее старорусские плечи были прекрасны, вечны. Авдотьина прелесть была в комнате.

— Потушите свечу, — сказала она.

28

Вольность!

Одною вольностью дорожил, только для вольности и жил. А не нашел нигде, ни в чем — ни в любви, ни в дружбе, ни в младости.

Полюбил и узнал, как томятся в темнице разбойники: ни слова правды, ни стиха.

Он не смел к ней прикоснуться, он все только следил, чтоб никто не догадался, чтоб никто не подумал и подумать не мог. Он был обречен на всю жизнь, до смерти.

Избрали его в вольный «Арзамас» Сверчком.

Не тут-то было. Вяземский преследовал Шаховского, призывал к мести. Он откликнулся, написал, что убили Озерова:

К вам Озерова дух взывает: други! месть!..

Он умер от безумия. Вяземский говорил, что он гений. И умер от зависти Шаховского.

В китайской хижине, где жили Карамзины, все ходили на цыпочках, как у тяжелобольного. Он должен был преклоняться.

Вольность!

Первым Чаадаев сказал ему о ней.

Он вовсе не любил арзамасца Блудова. Мало ли есть и поважней вельмож. И шутки его замысловатые и невеселые. Он нынче поехал в дипломатический вояж. Что ж! Он желает ему счастливого пути.

То, что совершил Карамзин, свято. Хвала Чаадаеву. Вольность и разум!

Жертвами встретили его дома. Сергей Львович, видя сына возросшим и давшим подписку в том, что он ни в каких обществах не состоит, пожаловался, что не только братец Василий Львович, но даже и маменька не поняли их, Пушкиных, то есть не поняли его, Сергея

Львовича. Он предоставляет сыну слугу Никиту. Он даже снисходительно смотрит на шалости. И пошел, и пошел.

Он и сам когда-то. Да и теперь еще. Сын пишет. Счастливые стихи. Он и сам когда-то.

Путешественник Ансело в прошлом году написал, что фамилия Пушкиных благоприятна для поэзии. Его дядя Василий Львович стал стареть. Александр желает взглянуть на родовое Михайловское? Он и сам не прочь. Никиту Александр получает навек. Такова его воля.

Так вот гнездо его отцов!

В этом продолговатом доме жил его дед, оставивший здесь долгую память. В доме распоряжалась Арина, и этот дедовский дом был удобнее, сытнее, даже красивей, чем отцовское пристанище в Петербурге.

Ранним утром он бросался к окошку, а там, миновав Арину, хлопотавшую над чаем, сбегал к озеру, озерам.

Озера были внизу. Озеро Маленец было в самом деле мало, с прихотливой излучиной. Он бросался в воду с самого пригорка. Конь верховой ждал его. Он ехал в Тригорское — соседственный замок, как он тотчас стал величать соседнее имение, — где жила все та же крепкая, как кряжистый дубок, Прасковья Александровна Осипова. Пушкин живо ее занимал. Она знала родителей его слишком давно и близко, и, слушая, как все наперерыв читают стихи его, она живо понимала, как не способна была оценить сына его мать. Она-то ее знала. Прасковья Александровна вовсе не желала, чтоб ее дочки окружали Пушкина. Молоды еще! А что он пишет вольно про любовь, так она на это запрета не кладет.

А дочки чего не поймут? Того, что она сама понимает лучше всех.

Сегодня шло по озеру судно. Четырехугольный толстый, весь в заплатах, ветром надутый парус медленно шел по озеру в сторону Петровского. Так ходили здесь суда, вероятно, и в те времена, о которых он теперь писал.

Это вовсе не было сказкой. Высоко, старой крепостью, старым замком, торчало Тригорское, непохожее на мирное поместье. Здесь Иван Четвертый, — он знал об этом, — сровнял с землей польскую крепость. Он приехал сюда тотчас, покончив с лицеем, потому что здесь было легкое дыханье. Он приехал сюда писать ту поэму, о которой думал, над которой сидел еще в лицее. Уже знали, что он пишет поэму, что поэма почти готова, что следует вскоре ждать... Чего?

Но именно этого никто не мог сказать. Прежде всего, ничего важного не приходилось ждать ни от кого из Пушкиных.

Русская древность, вольная жизнь! Он чинил себе легкое длинное перо, думая о ней. Холмы в Тригорском были прекрасны, Иван Четвертый, венчанный гнев, гнал здесь врагов. Русские древности были здесь. И это вовсе не было мирным стихом, древним русским миром Владимира. Нет, это было древней войной, русской войной. Он приехал сюда, еще ничего не забыв о Царском Селе. Нет, не мир, а война.

Такова была его первая поэма. Мира не было, и бог с ним. И думая о древней Руси, о баснословном царстве Владимира, думал о Руси, которая победно жила еще и в эти дни.

Да, она жила и в эти дни. Русь Владимира не была дряхлой, древней. Она была все та же. И те же богатыри скакали за нею, и он узнавал среди них *чужих*. Похожий толщиной и именем на Шекспирова Фальстафа — Фарлаф, жирный изменник, изменил его.

Нет, не кончилась древняя Русь. И богатыри не кончились. Бой шел все за нее, за Людмилу, за красу. Русь была та же, красота та же.

Родные места не менялись.

Вот и он здесь. И сейчас скачет в Тригорское.

29

Вернулся домой. Приехал. Сегодня ночью он не был дома. Изменницы занимали его. Он знал их с одного взгляда, с полувзгляда. Сегодня была неудача. Заметив эту стройную походку, увидев узкую ступню,

колеблющийся стан совсем близко, он шел быстро, он нашел дверь запертой.

Как успела? Это было почти невозможно. Но как легка! Добро же! И он стал ждать во дворе, прохаживаясь взад и вперед и никак не понимая, как мог так по-мальчишески быть обойденным. Узкая ступня жгла его. Он шел все быстрей, посапывая и задыхаясь. Он на все был готов. Скоро не стало терпенья. Он громко, быстро стукнул. Он застучал кулаком и понял, что сейчас сорвет двери. Ее узкая маленькая ступня все решала. Без нее эта ночь была невозможна. Как это сделалось? Куда, зачем ускользнула? Измена! Издевка! И с тихим бешенством, перед этой изменницей, перед этой запертой дверью, он стал ходить, как маятник, у этой двери. Во дворе никого не было. Так он походил час, два. Потом, решив не сдаваться, он никак не мог унять себя, крови, никак не мог, оскорбленный, бешеный, не стараться увидеть эту маленькую узкую ногу. Добро же! Он ходил, уже спокойный, готовый ждать до вечера. Не могло быть того, чтобы она не прошла по двору.

Он ходил, бешеный, спокойный, по двору. Ее не было. Никого! Ничего! Он ходил до вечера, проклиная изменниц, самого себя.

Он узнал ее имя. Имя было нерусское. Лиза Штейнгель. Много их теперь слеталось в Петербург. Изменницы хотели разбогатеть здесь во что бы то ни стало.

Он знал наизусть все таинства ночей, все уловки изменниц, а этой он не понял. Куда девалась эта Лаиса?

Любовь была похожа на тайную тихую войну. Презирал их, смеялся над ними, но жить без них не стал бы.

Что шум любовный, неожиданности?

Любовь грозила верной гибелью — болезнями.

Молодые изменницы, общие для всех, как круговые чаши, переносили болезнь любви, как птицы переносят письма на войне. И в этот день безвестная изменница, которую проклинал Пушкин, весь день ею так и не пущенный, не пустила его, потому что была больна.

Любовь была слепая, бешеная, иначе бы не случилось с ним то неизбежное поражение.

Над изменницами смеялся, слегка презирал иногда, не вспоминал. Досада, мысль — как мог бы любить и на кого жизнь уходила. А ненависти не было. Ненавидел он и нещадно смеялся над теми, кто ненавидел женщин, над теми презренными, которые были смешны; любви и смолоду не знали, а между тем были уже везде и на самом верху.

Казалось бы, изменницы, основою всей жизни которых была измена, должны были быть самыми пылкими в самой измене, самой страсти, должны быть бешены, неукротимы, без устали предаваться любви.

Ничуть не бывало. Холодны, умеренны. Странная это была умеренность. Любовь была их делом, а интересоваться делом было скучно, неуместно. Они придавали себе цену, относясь небрежно, поверхностно к объятиям, страсти их не согревали.

Они были расчетливы и очень самолюбивы. Ревность их была холодна — торговая ревность, — а самолюбие бешеное.

Однажды он попал к такой, которая знала стихи, читала последние журналы, вообще была образованна. Она была модница.

— Теперь Вольтера никто не читает, кому он нужен?

Пушкин прислушался.

— А кто нужен? — спросил он.

— Бассомпьер, — сказала модница.

Был и такой. Она и его читала. В объятиях она зевнула. Между делом дважды выбросила высоко ножку и сказала равнодушно:

— А теперь опять.

Равнодушье было удивительное.

Он спросил ее имя. Имя было нерусское, нарочитое: Ольга Масон. Все заблужденья с ней были нарочиты, порок невесел. И Оленька Масон и Лиза Штейнгель прибыли с разумной целью. Из недалеких мест, которыми бредили романтики, они приезжали не для страсти — ибо страсть крепка, — а для пользы вещественной. Ревнивые тетки со строгостью их сопровождали. Они умели быть незаметными. Они не мешали. Потом росли пуховики, прибавлялись вещи. И они уезжали для

семейного счастья, оставляя скуку и неосторожное раскаяние. Бедность охраняла от гибели. Все же, когда Пушкин брел раз в надежде на ночной приют и вдруг карман его оказался пуст, он вспомнил солдатскую песенку о бедном солдате: «Солдат бедный человек», до конца почувствовал бедность и забормотал:

Пушкин бедный человек,
Ему негде взять,
Из-за эфтого безделья
Не домой ему идтить.

30

Каждый вечер, без единого пропуска, стал он бывать в театре. Играла славная Семенова. Он не отрываясь слушал ее знаменитый голос.

Он привык к двум немигающим, двум неподвижным, каждый вечер сторожившим Семенову. Один был князь Гагарин, негласный, не смеющий об этом и слова проронить муж Семеновой, другой — одноглазый орел, хищный и верный, Гнедич. Семенова была крестьянка. Она родилась крепостной, а цариц играла как царица. Пушкин смотрел не только трагедию. Он смотрел на беспримерную театральную страсть — на живую трагедию. Он знал все о Гнедиче, о Семеновой. Обе сестры Семеновы, Екатерина и Нимфодора, будили жгучее любопытство, вызывали удивление. Нимфодора, певица, была роскошна, величава, спокойна. И в театре все, кто видели, понимали: ее певучий голос, ее стан были в театре верхом счастья. Какое счастье владеть певучим голосом, так петь!

А Екатерину, великую ее сестру, давно сопровождало несчастье. Быть может, такой и должна быть трагедия героическая? И в памятные дни, когда народным, единым и дружным, страшным по силе движением был уничтожен Наполеон, была в театре поставлена пиеса Озерова «Дмитрий Донской». И молоденькая, еще не расцветшая Семенова играла в пиесе главную роль. Это был вечер неслыханный. Освобожденный народ русский почувствовал себя освобожденным. Гром рукоплесканий, рыдания встретили Семенову.

Она стала великой русской артисткой в один этот вечер, бесспорной народной любовью. Рукоплескания услышала вся страна. Чудесный голос Семеновой стал голосом русской победы.

Такой она и осталась.

Но слава не стоит на месте, не ждет.

Славе Екатерины Семеновой стало тесно. Пусть Нимфодора наслаждается певческой славой. Певучий голос Екатерины Семеновой шел на победу небывалую. Росла ее слава.

В это время прославилась у французов артистка Жорж. Игра ее поразила весь мир. Она оторвала трагедию от страсти простой, от речи запоминавшейся. Страсть стала певучей.

Жорж приехала в Петербург. Семенова слышала ее. Судьба ее была решена. Она стала играть, убеждая певучим голосом. Певучая трагедия стала ее роком. Началось неслыханное состязание между царицей русской сцены и королевой сцены французской. И она победила. Не изгладилась еще память о народных слезах, о воинских рукоплесканиях «Дмитрию Донскому». И когда раздалась певучая речь Екатерины Семеновой, все перед ней склонились и единодушно приветствовали певучую трагедию.

Так для трагедии стали главными — начало и конец, первая и последняя речь героини. Трагедия стала владычествовать памятью отдельных стихов, отдельных главных слов. Как заклинание, как клятву, произносили их безумствовавшие поклонники. Забывался общий ход трагедии, даже смысл отдельных речей, столкновений. Была она, душа трагедии. Стали знаменитыми ее жесты, начинающие, прерывающие, кончающие. И стал не виден общий ход трагедии. Певучая речь победительницы все полонила. Трезвый смысл отступил, побежденный. Но память трагедии, память стихов и жестов, держалась именно на нем.

И здесь помощь великой артистке пришла.

Поэт Гнедич был ростом выше всех. Одноглазый орел, он мелкой поэтической памятью не жил. Великая «Илиада», прародительница поэм, привлекла его. Должна была создаться русская «Илиада». Гнедич знал русский стих, верил в него. Отныне его судьба была решена. Он стал день за днем изучать и переводить «Илиаду».

Русская «Илиада» должна была существовать. И порукой этому был для него русский стих, самый свободный, самый полнозвучный, способный принять в себя стих всех народов. Он верил в русский стих. Работа его шла день за днем, год за годом.

Гнедич знал только великие задачи. Он решил, что без Гомера поэзия жить не может. И громадными томами исписывал он перевод — труд монаха и книжника.

Русская поэзия могла быть спокойна — будет русский Гомер. Точность была его религией. Он ничего не делал наполовину. Когда одноглазый орел увидел и услышал Семенову, участь его была решена. Любовь книжника и монаха. Есть ли на свете что-нибудь тяжелее? И он нес свою любовь, как вериги, но без них жить не стал бы.

Когда была получена весть о парижской Жорж и началось у его Афродиты это беспримерное состязание, он стал работником во славу любви. Он ползал на коленях по сцене во время репетиций, поднимал руку в знак начала, в знак высоты голоса, понижал руку в знак понижения, протягивал в знак окончания И, слушая любимый голос, был зорок и настойчив, как во время перевода Гомера. Одноглазый орел во время представления молчаливо повторял Семенову.

Пушкин смотрел и слушал без отрыва. Понимала ли великая артистка все, что играла? Порою казалось, что она играет в чарах какого-то сна. Перерыв. Он бросался за кулисы, охваченный страстью, желанием схватить ее за руки, прекрасные, неживые, потрясти ее, сбросить с нее трагедию, как колдовство. Так великие актеры меняли игру. Так кончилась на сцене классическая трагедия.

И раз он не выдержал, он бросился к ее ногам и хрипло сказал ей что-то. Но она взглянула на него внимательно, без улыбки. Она не поняла его.

Тогда он взял ее руки в свои и поцеловал их — в первый и последний раз.

Забыть ее было невозможно, — как славу, как жизнь, гордость.

Всюду были страсти.

Голос Семеновой вязал и чаровал.

Не смысл был у слов, а власть и жизнь.

Ей хлопали, ее вызывали после одного какого-нибудь слова, после ответа.

Везде были страсти.

Он смотрел Семенову теперь, что бы она ни играла. В первом ряду сидел одноглазый Гнедич, одноглазый орел, и Пушкин невольно смотрел: нет ли следа на коленях поэта, ползком учившего началам, перерывам, концам стихов, произносимых славным голосом.

Везде были страсти, страсти любовные, страсти гражданские.

В Париже был убит наследник короля, герцог Беррийский.

Он шел в театр, чтобы опять, снова — в который раз? — увидеть трагедию русскую — Екатерину Семенову, услышать ее голос, без которого не было и не могло быть завтрашнего дня, — ту трагедию, которая будет у него целую ночь до утра одним неразрешенным восклицанием, трагедию, которая приводила в театр каждый вечер одноглазого Гнедича.

Странно — Семенова была подлинной страстью, но не любовной, а гражданской.

Он слушал ее, каждую минуту готовый рукоплескать. Но сегодня, после первого действия, он вынул с груди портрет и, не глядя, щедрым жестом протянул его соседу. И сосед, пронзительно посмотрев вперед и сразу же оглянувшись, сунул портрет соседу. В рядах зашевелились. Это был портрет Лувеля, убийцы герцога, и над ним было широко написано: «Урок царям».

И он стал неистово хлопать Семеновой.

31

Быть в ранней младости развратником — для него было слишком просто, нехитро. Не таков был знаменитый министр. Поучая, всего достигать — вот в чем мудрость.

Бока министра от его особых пристрастий становились все более пухлыми, улыбка все более умной, скрытной.

Он достиг величайшей власти, ибо касался вопросов веры, тонко касался. Фотий был его враг, но был ему не страшен пока.

От тонкости, которую он проповедовал во всем — и в просвещении и в религии, — от этой тонкости он толстел, вспухал все более. Вот какова тонкость.

Уже расширялась, раскидывалась его власть. Он пригрел людей, особо ему обязанных. И чем ничтожнее были, тем это было тоньше. Академия наук была пристанищем его выкормышей. Он был ими поддержан, ими защищен. Он никого не боялся. Библейское общество дало ему Бантыша-Каменского, мужа тонкого, перед которым Фотий казался просто дворником господа, более никем. Он никого не боялся. Дошел до него слух о мальчишках-непочетниках. А однажды фон Фок из Особой канцелярии сообщил ему листок, где писарем был чисто выведен стихотворный пасквиль на него. Фон Фок был немец, из балтийских, и эту любезность совершил не без удовольствия. Пусть высокий князь почитает. Голицын прочел и от волненья потряс боками. Он послал справиться, кто сей преступник. Ответ был: Пушкин. Пушкиных было много, но только один — Мусин-Пушкин — заслуживал, по мнению Голицина, внимания. Далее князь Голицын получил донесение, что сей Пушкин малолетний еще, только что кончил лицей в Царском Селе.

Князь Голицын прочел еще раз пасквиль. Это было писано бесом в самом кромешном штиле:

Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон.

К кому взывает сей Пушкин? К толпе босоногих, безыменной? Бди, канцелярия! Бди, фон Фок! И, наконец, страшный по явности конец:

Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он!

Князь невольно взялся двумя пальцами за застежку мундира и стал грудью вперед. Он не был бы Голицыным, если б не решал вопроса тотчас. Куда такого послать, как быть? Голубчик острит. С таким нужна острота, его, голицынская. Голубчик пишет в духе вольной черни. Он улыбнулся. Голицын принимал вызов. Он согласен. Будет тебе, Пушкин, вольность. Ты вольность возлюбил — получай ее!

Где возмущение? Где теперь сей дух? Где вольность?

Дух был в Испании. Там чернь восстала против законной власти — испанцы против австрийского короля, который явился ими править.

Завтра стало известно, что Пушкина высылают в Испанию!

Князь потирал руки.

Из страны, где идет пальба и резня, — король против чужеземного народа, а вернее, народ против чужеземного короля, — из такого путешествия не возвращаются. Не вернется умник! Урок царям? — Урок поэтам!

И назавтра к Пушкину явились мальчики-студенты и все рассказали. Пушкин увидел эти мальчишеские пылающие лица, пожал руки, ему протянутые, и вдруг засмеялся, негромко и весело, хрипло.

— Испанцы победят, — сказал он, — и я вернусь с праздником. Голицын в дураках!

Кто были эти мальчики? Под секретом, шипя и брызгаясь, назвались точно: воспитанники Благородного пансиона Педагогического института. Лучше всех лазают через забор. Поэтому здесь. Сейчас уйдут.

Откуда узнали голицынские секреты? Бог весть. У него была защита. В Благородном пансионе преподавал и учительствовал Кюхля. Мальчики почитали его как бога.

32

Однажды за ним пришел квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в главное полицейское управление и сдал начальнику всей полиции — самому Лаврову.

Впрочем, все это было не так просто. Это был первый шаг. Пушкина собственно должен был вызвать в Особую канцелярию фон Фок. Сам фон Фок. Этот немец был не прост. Вызвал Грибоедова, и тот, вернувшись домой, стал жечь все им написанное когда-либо. К вечеру у Грибоедова стало жарко. Печь накалилась. Лавров был просто полицией. Дело было слишком ясно для фон Фока.

Лавров заставил ждать Пушкина всего три часа. Пушкин ходил по полицейскому залу, подошел к окну, но окно было завешено. Наконец Лавров вышел. Он посмотрел на Пушкина и пожал плечами.

— Невелик ростом, — сказал он негромко, удивленный.

Пушкин сдержался.

Лавров был прост, — вот что было удивительно. Не чинясь, он показал на большой пузатый шкаф и сказал:

— Это все ваше, за нумером.

Шкаф был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него.

Выходило, что полиция давно была занята им. Лавров наконец объяснил, для чего здесь Пушкин.

В полицию его привели, потому что никто лучше не знал ни того, что говорилось недозволенного, ни тех, кто это говрил.

— Вот вы нам и станете докладывать, — сказал Лавров.

Пушкин засмеялся. Каков умник! Далеко до него Голицыну. Пусть поучится.

Тут его оставил Лавров, для размышлений.

Он был заперт.

Пушкин сидел в полицейском управлении уже долго. И вдруг загрустил. Он ничего не боялся. Полицейского — Лаврова — меньше всего.

И все же!

А когда вернулся к себе, уже темнело.

Лавров был тем известен, что признавал полицейскую старину, задумчиво смотрел на свой кулак, поросший волосом, и на арестованного. И арестант этот взгляд понимал. У него были свои привычки. Было особое, полицейское уважение к знаменитым ворам и крупным убийцам. Пушкина он счел преступником крупным, но не пойманным. Тем лучше. Пусть подумает. Время есть!

33

Спокойствие Федора Толстого стоило страстей. И молодые должны были это признать. А кто не признавал, тот скоро в этом убеждался волей или неволей. Он вовсе не стремился к дуэлям. Но и не бегал от них. Говорили уже, что до сотни жизней было за его дуэлями.

Он услышал, что Грибоедов в своей комедии о нем упомянул так:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист.

И про Камчатку было верно и про алеутов. И, встретив Грибоедова, Федор Толстой сказал, чтобы он исправил стих и написал: в картишки на руку нечист. Не то подумают, что он таскает серебряные ложки со стола. Это его бесстрастие было более убедительно, чем дуэли.

Федор Толстой терпеть не мог светской уклончивости. Решал он все быстро и прямо. Имя Пушкина его занимало. Как все о нем говорят!

Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера и что все разно об этом судят, что неизвестно, что там было и что с ним в полиции сделали, Федор Толстой сказал об этом просто и кратко:

— Выпороли.

У франтов словно глаза открылись. И как же они раньше не догадались!

Через час одна пожилая дама рассказывала об этом с подробностями:

—В комнате один стол и ничего более. И стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами — и все происходит как нельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает.

К вечеру все об этом знали. Рассказывали, судили, рядили. Появлялись все новые подробности. К вечеру, идя по улице, Пушкин встретил троих знакомых, они взглянули быстро и отшатнулись. Или ему показалось?

Фон Фок кончал присутственный день в Особой канцелярии.

Фон Фок был доволен днем.

Будучи знаменит, он добился такого дня, когда не был упомянут никем, нигде. О Пушкине говорили, что он выпорот, высечен в полиции. Высеченный поэт важных стихов, заразительных стихов более не пишет. Все помнят, что он высечен. Более он не опасен. Пока, разумеется, он не выслан еще, но высечен. Высылка? Это большой вопрос. Не торопиться. Фон Фок успеет.

Между тем высылка его затягивалась потому, что сразу оказалось несколько мест, несколько направлений. Да полно, только ли о высылке шла речь?

Нет, Фотий знал только одно место для Пушкина, гибельного по заманчивости стихов: Соловецкий монастырь. Там гибельные девки ему бы не снились, там нашли бы узду. Просидев десять лет, стал бы он бить

поклоны. А на большее неспособен. Пляски словесные навек бы забыл.

Аракчеев полагал крикуна поместить в Петропавловскую крепость или отдать в солдаты навечно.

Князь Голицын полагал послать любителя вольности в Испанию, как место для него подходящее. И хоть с Пушкиным было просто покончить, но единства во взглядах все же не было. И — что еще важнее — единства в бумагах о Пушкине. Да и самой бумаги еще не было. Как быть? Чему быть?

Чаадаев скачет.

И хоть ему нужно быть как можно скорее в столице, хоть его конь скорее всех и всего на дороге, — идет он бешеным шагом ровно.

Чаадаев скачет.

И если все же конь придет не скоро, если придется мчаться помедленнее, чтоб не задержала случайность, все же сегодня до вечера все будет сделано. Он застанет дома Карамзина и будет с ним говорить. Ждать нельзя. Ни одного случайного или ненужного жеста. Ровно дышит конь, мчится ровно. Сегодня же помчится он обратно. Он скажет Карамзину об опасности, которая грозит Пушкину. Поэт ненавистен любителям рабства. Самовластие в слепоте. Защитники рабства уже ополчились. Поэт им ненавистен. Час наступает. Без поэта нет будущего. Внимание!

Чаадаев скачет.

Тонкие конские ноздри дышат глубоко и ровно.

Не упадет конь, не оступится.

Без стиха страна бессловесна, народная память нема. Не изведут Пушкина рабы.

Прискакал Чаадаев, спешился, посмотрел в конские умные глаза. Конь был гордый и на людской взгляд ответил: закинул голову.

Начинали уже привыкать к пушкинскому неблагополучию, к ссылке его, которая не начиналась, к слухам о нем, которые все росли. Привыкали. Приезд Чаадаева все изменил. Точно, Пушкину грозила беда. Время не стало неподвижным. Что грозит? Но ведь что бы из всех

приговоров ни грозило, было ясно одно: пришла пора спасать.

Катерина Андреевна долго ничего не говорила. Чаадаев, как всегда, был спокоен, внимателен. И, конечно, он был прав. Николай Михайлович, как всегда, тонок и мудр. Она знала, что завтра предстоит главный разговор. И она решила, что скажет, как всегда, правду, и только правду: единственный человек, который может спасти Пушкина, это Николай Михайлович. Его голос перед государем все решит. Чаадаев прав. Она знала, как трудно это будет. Ну, что же, она опять будет хитрить, будет лукавствовать, будет спокойной.

У Николая Михайловича будет свидание с государем скоро. Как трудно говорить об этом! Но не погибать же Пушкину. Конечно, Пушкин безумец, а его эпиграммы тем ужасны, что смешны. И в каждой эпиграмме виден он сам, слышен он сам, — оттого и смешны, тем и страшны.

. . .

Так все и вышло. Самым важным оказался простой вопрос: если не крепость, если не Испания, то к кому и куда?

Император вдруг краем губ улыбнулся. Он не склонен был в этот день к грозным явлениям. У Карамзина была милая жена. И когда Карамзин сказал о юге, он вдруг ответил ученому:

— Инзов? Хорошо.

Это странное имя принадлежало главному попечителю колонистов южного края. Это был юг: Екатеринослав. И так это была Коллегия иностранных дел — это даже не ссылка. Перевод.

Императрица Екатерина играла именами. В одной пьесе она назвала авантюриста: Калифалкжерстон. Это был ряд имен многих авантюристов.

Так и это странное имя сочинила императрица.

У великого князя Константина Павловича был сын. Следовало его назвать так, чтобы все было неясно. Он назван был по-немецки: Константинс. Прибавлено окончание: ов и вычеркнуто имя: Инсов.

Катерина Андреевна ждала мужа с трепетом. Она боялась и за Пушкина и за всю затею, все эти хлопоты, такие непростые. Она почувствовала вину перед мужем.

Она была виновата в этих хлопотах. Катерина Андреевна даже заплакала. И когда Пушкин явился, она встретила его спокойно, молчаливо. Он будет говорить сейчас с Николаем Михайловичем.

Николай Михайлович не стал говорить о будущем, которое ему предстоит, ни о его поэме (он еще называл ее поэмкой).

Он был немногословен и просто сказал Пушкину, что он должен ему обещать исправиться. Обещает ли он? Дает ли обещание?

Пушкин сидел как на иголках. И вдруг сказал:

— Обещаю.

Катерина Андреевна вздохнула с облегчением. Точно гора свалилась. И вдруг Пушкин прибавил смиренно и точно:

— На два года.

Он обещался на два года. Катерина Андреевна вдруг засмеялась. Как точен! Хорошо хоть, что на два. Пушкин остался все тем же, собой, и если было б иначе, как стало бы скучно!

Однако куда же он все-таки поедет?

Нельзя же ехать в пустыню без имени, без названья, без воспоминанья.

Он едет в Крым. Что же это такое? Каков Крым? Она ничего об этом не знала.

И, стоя у новых книг Николая Михайловича, которые ему посылали из лавки, она стала привычной рукой перелистывать одну за другой эти книги. Пушкин должен знать, куда он едет.

И вдруг она остановилась. Из лавки прислали описание Черного моря и местностей близлежащих, сделанное в свое время в Париже по приказу Наполеона. Виды Крыма, видно, необычайно занимали Наполеона. Книга была не нова, но роскошна. На больших листах художник живо изобразил удивительные места. С отвесной скалы спускалась девушка в длинной одежде и несла на плече стройный кувшин. Горец сверху следил за ней.

Катерина Андреевна прочла название места: Эрзерум.

Катерина Андреевна посмотрела на Пушкина. Он внимательно смотрел на рисунок и вдруг сказал ей:

— Этого я не забуду.

Катерина Андреевна с удовлетворением убедилась, что Пушкин и впрямь не забудет и что занятия с ним по географии не меньше важны, чем ее занятия с Николаем Михайловичем по истории.

84

Левушка, Лев Сергеевич, наконец явился. И Пушкин сказал ему, что будет писать письма ему, и только ему. Они — друзья. И он будет писать ему все о себе, о своей жизни. Левушка будет его уведомлять о всех родных, где они, что говорят, что думают.

Пушкин действительно собирался писать обо всем брату. Не было вернее средства сделать свои письма известными всем. И вдруг, уезжая, пожалел, что так и не сблизился с Левушкой, — времени, что ли, не было. Лев был быстрый, ущемленный поэзией, невозможностью писать, имея его старшим братом. Итак, письма на имя Льва, — все будут знать, о чем он пишет.

В последние два дня все собрал, всем распорядился. «Руслан и Людмила» печатались. Смотрел Семенову, увидел Гнедича и сказал ему: печатается поэма, он уезжает, должен ехать. И Гнедич, который в него и в его судьбу верил и, встречая в театре, ценил его как зрителя, — склонил худую шею: поможет выйти в свет поэме, которая выходит в свет сиротою. И оба стали смотреть в последний раз Семенову.

Кончал новую книгу стихов и полюбовался толстой рукописью, своим свободным почерком. Он кончал свои дела. Времени оставалось немного. Была весна. Он хотел проститься со всеми.

Предпоследнюю ночь он был у Никиты Всеволожского. Без гусаров прощанья с жизнью, которая должна была измениться, — пусть на два года, по его словам, — прощанья не было.

Нужно было проститься по-настоящему. Никита Всеволожский был человек, понимающий размеры всему. Прощаться с Пушкиным нужно было с умом и полетом. Не расчетливым же, не скупым же быть!

Итак, шире и крепче гусарские объятья!

К утру штосс разгорелся. Всеволожский был крепок, как молодой дуб.

Никита Всеволожский был крупный игрок.

— Веньтэн? — спросил он.

Играли быстро, ставили крупно.

— Веньтэн врет, — сказал Никита, — верней штосс. Идет?

Деньги он подбрасывал, они звенели.

Наконец он взял разом целую кучку.

— Желай мне здравия, калмык, — сказал Никита.

Маленький калмык стоял за столом, разливал вино. Пробка хлопнула. Калмык поднял бокал.

Пушкин закусил губу.

Все деньги были проиграны.

Он взял свой новый том — рукопись в переплете; он все подготовил к печати.

Наконец игра выяснилась как нельзя более, его доля также.

— Сколько? — спросил он.

— Сочтемся, — сказал Никита. — Штосс твой.

Тогда он взял свой том и поставил его на стол боком.

— За мной старого больше. Все вместе. Ставлю.

Никита стал метать.

— Не ставь на червонную, — сказал он Пушкину, — твоя дама не та.

Пушкин заинтересовался необыкновенно.

— А моя какая? — спросил он Никиту. — Не бубновая же?

— Ты не можешь этого знать, — сказал Всеволожский. — Может, и бубновая. Она.

Пушкин и не думал смеяться.

Он был суеверен и роскошен, Всеволожский. Выражался он всегда с роскошью, бубнового валета звал бубенным хлапом.

— Хлапа в игре не считаю.

Хлапа не считал, но и на него выигрывал.

К утру Никита бил все карты с оника.

Том пушкинских рукописей он отложил с некоторым уважением.

Пушкин шел домой пешком.

Ночь была ясней, чем день.

Его шаги звучали.

Он снял шляпу и низко поклонился.

Кому? Никого не было видно.

Петербургу. Он уезжал на юг.

Здесь Нева катилась ровно, царственно. Как всегда. Как катилась при Петре, как будет катиться при внуках.

Он уезжал завтра на юг, незнакомый.

Он поклонился Петербургу, как кланяются только человеку. Постоял, скинул шляпу. Всмотрелся. И повернул.

35

Был он у генерала Раевского.

Генерал был не стар, суров и внимателен.

Он сказал Пушкину:

— Мой сын с вами дружен. Дочки малы. Вы едете с нами. Я еду в Крым. В Екатеринославе встретимся.

Генерал знал, что Пушкина высылают. Он смотрел на это как на неудачу по службе поручика или капитана.

И генерал прибавил неожиданно:

— Время пришло. Пора.

И кивнул головой.

И Пушкин понял, как генерал, быв героем народной Отечественной войны в 1812 году, ни одного дня не переставал быть отцом и теперь без малых дочек никак не мог ехать в Крым.

Сын его Николай был гусар и в Царском Селе привык его встречать, ждать его стихов.

А он сам, Пушкин? Он не был военным, а теперь был выслан и, стало быть, был беззащитен? Не тут-то было.

Нет, он не был беззащитен. Нет, он был воином, хотя и был только поэтом. Он был полководцем. Пехота ямбов, кавалерия хореев, казачьи пикеты эпиграмм, меткости смертельной, без промаха. Чем они были короче, тем страшнее, как пули. Генерал Раевский, генерал Отечественной войны, говорил с ним просто и кратко, как с младшим военным, поручиком или капитаном, другого вида оружия.

Он пережил Отечественную войну, никуда из Царского Села не уезжая. Он знал войну. Знал силу врагов.

И в первой поэме — о древних богатырях, о враге всего русского — Черноморе — он думал о войне другого времени — войне за русскую славу и прелесть — Людмилу, древней войне, которая вдруг кажется войной будущего, — Черномор, тщедушный и малый, летал и так похитил Людмилу.

Казалось ему, почем знать, может быть будет и такая война. И такая победа будет. Он думал о черной силе войны: измене. О Рогдае, о жирном Фарлафе.

Однажды Катерина Андреевна вдруг сказала ему, что он думает о Людмиле как о живой и что он, кажется, в нее, в Людмилу, влюблен. Он испугался, что сейчас упадет к ее ногам и признается, что в Людмиле, когда писал, всегда видел ее.

Так случалось с ним: думая о ней, он представлял себе, какой она была раньше. Поэтому, когда он писал о Людмиле, он писал о ней не без лукавства.

Все произошло, как и должно было произойти.

Он увидел в последний раз Арину. И простился как должно. Обнял ее.

— Прощай, мать, — сказал он ей.

И Арина диву далась. Посмотрела, не шутит ли. Нет, не шутил. Взглянула на все стороны. Никого не было, слава создателю.

— Что вы, Александр Сергеевич, — сказала она, оторопев, — есть у вас мать.

— Есть, — сказал он серьезно. — Ты и есть мать.

И слезы полились у Арины, тихие, скупые. Привычные.

Уезжал он на перекладных. Пришли провожать все, кого ожидал.

Пришел Пущин. Посмотрел лошадь, упряжь, остался недоволен.

— Перекладные небось, — сказал ямщик.

Малиновский пришел. Он всегда был нужен во время отъездов, приездов, перемен. Он носил еще в лицее звание казака, и память об этом у всех была жива. Уже далека была память лицейского начала, его отца, память Сперанского. Он был и остался казаком. И так как Пушкин в стихах звал его казаком, он любил и Пушкина и стихи.

— Садятся на коней ретивых, — сказал Малиновский, вспомнив кстати «Руслана».

И все заулыбались. Цитирующий Малиновский был лукав.

Кюхля, запыхавшийся, сказал:

— Малиновский читает на память «Руслана»? Каково!

И все замолкли. Да. «Руслана». Который еще не напечатан! «Руслана и Людмилу»! Каково!

С Царского Села начиналась его слава.

Его высылали. Куда? В русскую землю. Он еще не видел ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну страстей. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же! Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра.

Спокойствие. Ямщик ждет.

36

Подлинно, он узнавал родину во всю ширь и мощь на больших дорогах. Да полно, не так и не там ли нужно ее узнавать?

Так вот она какова, русская песня! Нетороплива, печальна, раздумчива. Он с жадностью слушал час, другой, третий. Так вот почему эта грусть величава, широка, нетороплива. Она поется на дорогах, ямщиками. А путь далек, без конца. Дремота сменяет песню. Его жизнь начиналась стремительно, а не поспешно, что не одно и то же.

Почтовый колоколец примолк. Ямщик исчез. Он был один в условленном месте — Екатеринославе. Никого с ним не было. Расправился, потянулся.

От дорожной тряски ноги отерпли. Высылка была именно высылкой, не ссылкой: никто не ждал, не встречал, да и остановиться было негде. Он сунулся в единственное подходящее место, открытую дверь.

Оказалась харчевня. Он ее проклял, — низкие потолки были теперь для него что гроб.

Купаться! В городе было наводнение. Днепр протяжно поревывал, потом стонал, наконец стихал. Харчевня была почти затоплена, вода подымалась над полом. Он не стал ничего ждать и тотчас бросился вниз, к раздутой, вздыхающей воде. Она переводила дух до нового приступа. Лодочник внизу посмотрел на него внимательно, не торопясь. Все же, услышав, что никуда точно везти не нужно, а нужно покататься, — подал.

Внимательный взгляд лодочника, чуть прищуренный, недоверчивый, его молчаливость Пушкин заметил. Он греб медленно, истово, только в конце налегая на весла и сразу же отдавая весла на волю волны, переставая грести. Пушкин спросил, поет ли он. Тотчас лодочник неторопливо запел. Пушкин послушал. Песня была хорошая, старая. Недаром лодочник щурился. Атаман с ружьем везет девицу. И вдруг Пушкин засмеялся, коротко и хрипло. Так вот куда он выслан для исправления. Песня была разбойничья. И он долго катался по Днепру, а потом сказал лодочнику подождать и стал купаться.

Тело было как сковано долгой тряской. Только плавая, только быстро плывя, оно опять становилось его телом, а он — собою. Ноги забывали усталость. Наконец лодочник устал ждать. Он привстал. Нет, он не устал. Он встал на резкий крик, идущий по Днепру:

— Оба! В кандалах! Держи!

Только к утру привез его гребец к харчевне. Бежали, уплыли два каторжника. Он слышал крики людей, слышал погоню за двумя.

Это было уже не воображение, не игра. Это не были еще стихи, это был он сам, это были чьи-то тела, чьи-то руки, бьющие воду, чьи-то плывущие в оковах ноги. Так началась его высылка.

Вечером, все в той же харчевне, стал его бить озноб, прерывисто, по-разбойному. Он стал в бреду спасаться от погони, стал задыхаться, требуя в пустыне ледяной воды, ничего не видя, ничего не слыша, не понимая. Наконец рука его поймала кружку, холодную как лед. В кружке была ледяная вода, которую добыла перепуганная насмерть девчонка.

Так он лежал на какой-то, чьей-то власянице, — откуда она взялась? — ничего не ожидая. Его руки и ноги

вспоминали дорожную тряску. Вдруг, неожиданно он вспомнил все — и лодочника с быстрым наметанным глазом и крик:

— Держи!

Их было двое. Они вдвоем вплавь бежали из неволи, скованные друг с другом, плечо к плечу. Свобода! Только за нею можно плыть в оковах, скованным еще с кем-то другим.

Еще день. Вечером у него не горел огонь. Вот его Соловецкий монастырь, — Фотий взял, чего хотел. Вот фрунт в лежку. И Аракчеев его одолел.

— Зажги лучину! — сказал вдруг суровый, приказывающий голос. — Почему здесь огня нет?

Еще никого не ожидая, ничего не помня, он понял, что свет, огонь должен быть. Он очнулся.

Перед ним стоял генерал Раевский.

Старый Раевский, сердито запретивший кому-то оставлять его в темноте и потребовавший у кого-то лучину, был старшим, родным. Он тотчас почувствовал себя защищенным и впервые вздохнул глубоко и ровно. С таким не пропадешь.

А Николай Раевский — сын его — был все тот же, не меняющий мнений и никогда их не скрывающий. Привыкший оборонять свои стихи, как сердце — солдаты, он читал их Николаю Раевскому со всей откровенностью, а Николай при стихе слишком напряженном просто и громко хохотал. Он привык уважать гусарскую прямоту и никак не мог забыть неодобрения Николая по поводу его горячего и прямого желания говорить с императором, когда речь шла о царском счастье, о Софии Вельо.

— Забудь, — сказал тогда просто гусар.

И теперь, после безумия в этой проклятой харчевне, он не знал, была ли в самом деле история с двумя разбойниками или это бред. Новая поэма мучила его. Он и бредил ею. Два разбойника, скованные вместе, вместе бежавшие, вместе плывшие за свободой, не покинули его. Ему нужен был, как разум, ясный и громкий смех Николая Раевского. Он вполне ему доверился.

Николай Раевский сказал ему, что этому не поверят, не могут поверить:

— Нет вероятия.

Правде, тому, что было на самом деле, что было словами тюремного протокола,— вот чему нельзя было поверить. Нельзя было верить стиху, который точнее прозы.

Решено. Они ехали на Кавказ и в Крым.

37

Молчаливая, суровая, недобрая, неживая очередь людей, которым изменяли то нога, то рука, то терпение, каждый день с утра толпилась у ям, наполненных непростой водой, и не просто ждала.

Притворно ничему не веря, они всему верили. Самое неверное дело была молодость, сила. Вдруг вернется?

Это было бы проще всего.

Нет надежды? Никакой? Все это ясно. И никто не верил. Как не так. Молодость, сила? Все, может быть, вернутся, все бывает. И все оказывалось тем, что уже было. Спокойствие! Ничего другого.

Он покорно лез в яму, полную теплой воды. Унылая, суровая очередь толпилась за ним, ранние старики, безмолвные, угрюмые. Они приехали с надеждою на случай и чудо, которые одни вернут им жизнь и силу. Не веря, сопровождаемый спокойным лекарем, пробовал он серные, горячие, кислые, холодные воды, и вот однажды, возвращаясь в одиночестве, не думая ни о чем,— внезапно засмеялся — ничему, никому, вдруг, и сам этому улыбнулся: не ждал. Горячие воды сказались. Он смеялся по их воле. Славный лекарь генерала Раевского распоряжался водами по-военному. Он вовсе не стремился к однообразию. Вначале он распорядился:

— Серную горячую. Недаром и зовут Горячеводском.

Через неделю распорядился:

— Сегодня теплую кисло-серную.

Потом, через неделю, подал мысль:

— Теперь железную. Без железа нельзя.

Вот после железной Пушкин и засмеялся.

Любимый лекарь генерала был бывалый и остро понимающий леченье. Прежде всего он знал, что самые болезни малопонятны. Затем, что малопонятны воды. И наконец, что они помогают, излечивают. Впрочем, у него был и собственный метод, может быть и правильный. В книгах он не копался.

От горячих вод — к холодным. Таков был его метод. И два месяца, по строгому приказу лекаря, он купался в водах, сначала в серной горячей, потом в теплой кисло-серной, потом в железной и, наконец, в кислой холодной.

Генерал одобрял своего лекаря.

— Без железа нельзя,— говорил он по поводу железных вод.

Нет, общество у него было теперь другое. Он нашел другую недвижность. Он по-настоящему знал теперь, что странные облака, разноцветные, седые, румяные, сизые, — это вовсе не облака, а вершины гор, ледяные под солнцем. Он знал их: пятиглавый, как собор, Бешту, Машук, Железная гора, Каменная, похожая на гадюку — Змеиная.

И когда, исполнив все наказы лекаря, он вдруг увидел свое лицо, наклонившись над чистым ключом, и почувствовал себя всего как есть, он понял: время пришло. И, садясь в седло рядом с Николаем Раевским, он долго с ним говорил. Николай был сын своего отца и помнил все, о чем толковал генерал. Они во всем сошлись. Раевский вспомнил химерический план Наполеона. План был похож на сказочные облака, бывшие вершинами Кавказских гор. План этот был еще во время внезапной дружбы с императором Павлом, которая столь же внезапно, вместе с императором, кончилась. И Пушкин сказал, что эти горы не только невиданной красотой нужны, эта сторона сблизит родину с персиянами торговой дружбою.

Они ехали с Николаем Раевским. Шестьдесят казаков с береговой кубанской сторожевой станции их провожали. И, любуясь их скачкой, их вольной посадкой, Пушкин сказал Николаю Раевскому, замерши в радости:

— Вечно верхом! Вечно готовы драться, в вечной предосторожности!

38

Его выслали по срочному приказу.

Не исполнился хитрый план быстрого, бесчестного Голицына, — он был выслан не прочь из России, не в Испанию, не туда, подальше, а в Россию; родная держава открылась перед ним. Он знал и любил далекие страны как русский. А здесь он с глазу на глаз,

лбом ко лбу столкнулся с родною державой и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля, родная держава.

Настоящим счастьем было, что руководил его высылкой не поэт, а генерал великого двенадцатого года, который вовсе не обособлял военного дела от семьи, от родства, а стало — от будущего. Он много в этот год думал об истории всех мест, по которым проезжал, не было, не могло быть немых мест, речь их была точна. Он был выслан на точную речь. Точен, как математика, был стих. И здесь была еще одна проклятая загвоздка: не верили. Чем точнее был стих, чем вернее и правдивее было то, о чем он рассказывал, он знал: не будут верить. Невероятно — скажут. Вся родная держава вызывала недоверие. Излишне было доказывать. Точность полицейского протокола не спасала. Следовало подчиниться. И он подчинился. Более того — нужно было этим законом воспользоваться, можно было писать подлинною кровью, писать о том и о той, писать то и так, как захочешь написать перед смертью. Словом, цензура для него не существовала. Не полицейская цензура, ее он знал и власть ее испытал, она его выгнала из столицы, эта цензура, а другая, страшная цензура — цензура собственного сердца и милых друзей. Он стал писать элегию так, как будто она была последними его стихами, последними словами. Жизнь двигалась, как могла и должна была. Николай Раевский был истинным, настоящим товарищем. Он был гусаром и понимал поэзию — не торопил ее.

Шел Крым, важное и запретное место родной державы. Из Керчи, громкой и хлопотливой, приехали в Кафу, уже принявшую самолюбивое имя Феодосии. Вечер падал слышный и явный в Кафе. Мимо крымских берегов проехали в Юрзуф, где ждал их генерал Раевский с малыми дочками. Ночью на фрегате, легком и быстрокрылом, который величали «Русалкой», он и писал элегию.

Ночь здесь падала весомо и зримо.

Он видел крымский берег. Тополи, виноградники, осанистые лавры и кипарисы, стройней которых не бывает в мире ничего, провожали их.

Берега шли близко. И он вспомнил наполеоновское издание о Крыме, как смотрела его Катерина Андреевна,

смотрела вместе с ним, и как он не мог и не хотел отделаться от мысли, что встретит ее там.

Он все вспомнил, вспомнил не туманно, не издали, а просто увидел ее здесь, в каюте этого фрегата, невдалеке от лавров и кипарисов, шедших по берегам с ними вместе. Он помнил, как хотел пасть к ее ногам тогда и как это осталось с ним навсегда. Теперь, ночью, под звездами, крупными и осязаемыми, не в силах более унять это видение, на которое был обречен навсегда, он здесь пал на колени перед нею.

Имя Катерины Андреевны никто не потревожит; спросят годы его безумной любви и, точно узнав, что она была вдвое старше его, махнут рукой, особенно если это будет женский вопрос, — в вопросе о годах они неумолимы. Красота? Но здесь на помощь придет сама Катерина Андреевна — скромность ее души уже давно непонятна. Она не имеет портретов.

Так началась его высылка.

Он был обречен на эту любовь, бывшую безумием.

Он знал, что — слава богу! — никто ни слова о ней не скажет. Слава богу! Хотя его первая вспышка, безумная, мальчишеская, идущая на смешную неудачу, эта вспышка, с детскими слезами, вдруг хлынувшими из глаз, неудержимыми, которые все умные запомнят, простая, детская выходка, что она имела общего с этими ранами, глубокими ранами любви?

Все это и была она.

Умным глазам были милы его стихи, она их знала, любила. Она их понимала, знала весь их ход, несбывшиеся, забытые им потом намерения. И смеялась над его дуэлями, как над мальчишеством.

Он писал эту элегию как последнее, что предстояло сказать.

Ничего другого он не скажет.

Ни о ком другом, ни о чем другом.

И то, что это было последним, делало каждое слово правдой. Элегия была заклинанием. Он смело мог писать всю правду, спокойствие Катерины Андреевны было нерушимо. Все же он напишет Левушке, чтоб послал печатать без подписи. В поэзии, как в бою, не нужно имя.

Он знал: когда будет писать о ней, свидетелем всегда будет ночная мгла или, как теперь, — угрюмое море. И эта его любовь, которую излечить было невозможно,

которая была с ним всегда, напоминала только рану, рану, которую лучше всего знал старый Раевский, любивший своего лекаря за то, что тот не тешит его надеждами на исцеление. И знает, когда к погоде рана заныват.

Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стихи.

...Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...

Недаром он выслан был на юг. Не на севере, а здесь, именно здесь, зачинался лицей. Много южнее мест его высылки, когда он еще ходить не умел, до лицея, служил здесь дипломатом, генеральным русским комиссаром Малиновский, защищая русские интересы. И здесь, наблюдая беглых и ссыльных, в этом краю, написал он, решился написать трактат об уничтожении рабства.

И теперь он, Пушкин, был выслан сюда, чтобы здесь, именно здесь, быть свидетелем жажды свободы, заставлявшей людей, скованных вместе, плыть со скоростью бешеной вперед!

Да здравствует лицей!

И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказало время. Как проклятый, не смея назвать ее имени, плыл он, полный сил, упоенный воспоминанием обо всем, что было запретно, что сбыться не могло.



ПРИМЕЧАНИЯ

ПУШКИН

Этот роман по замыслу Тынянова должен был стать завершающей частью трилогии, посвященной Кюхельбекеру, Грибоедову, Пушкину. Он был задуман и первые его две части писались в годы, предшествовавшие столетней годовщине со дня смерти великого поэта. Изучение творчества Пушкина и его эпохи приняло у нас тогда небывалый ранее размах. Большому коллективу советских ученых (Тынянов занимал здесь одно из первых мест) удалось не только обогатить науку о Пушкине многими новыми фактами первостепенной важности, но и дать новое, глубокое истолкование его творческого наследия. Работая над романом, Тынянов опирался на эти завоевания и достижения советской науки.

Книга была задумана весной 1933 года. Замысел отличался смелостью и широтой охвата материала: «Вся жизнь великого поэта, от самого его рождения, будет показана в романе «Пушкин». Даже смерть поэта не исчерпывает темы... я намереваюсь захватить и последующий период. Ведь и сам Пушкин как крупнейшее литературное явление прошлого века не кончается с его физической смертью», — говорил Тынянов корреспонденту газеты «Литературный Ленинград» в ноябре 1934 года. Если роман о Грибоедове фактически кончается смертью героя, то, как видим, новый роман Тынянов строил уже по-другому.

В той же беседе Тынянов коснулся и вопроса о том, что для романиста различные возрастные периоды Пушкина заключают в себе различной степени трудности. Наиболее «трудным» Тынянов тогда считал детство поэта — «о нем сохранилось меньше документальных и исторических данных, а имеющиеся представляют собой много еще не решенных загадок. Например, взаимоотношения с отцом, с матерью...» («Литературный Ленинград», 1934, № 58, 20 ноября).

Год спустя, когда первая часть «Пушкина» уже была опубликована, Тынянов на встречах с читателями в Москве говорил о своей концепции пути Пушкина. В основе этой концепции, «позволяющей предугадать и дальнейшее развитие нового романа Тынянова, — сообщал корреспондент «Литературной газеты», — лежит стремление снять «грим», наложенный на великого поэта усилиями комментаторов, развеять дым легенд, окружающих его имя. Живой Пушкин, а не «Пушкин в жизни» — вот что интересует Тынянова; в противном случае творческая судьба поэта выпадает из поля зрения читателя, остается в памяти лишь бытовая обстановка, бытовые аксессуары. Разве случайно то обстоятельство, что в известном труде Вересаева (имеется в виду его книга «Пушкин в жизни». См. об этом вступительную статью. — *Б. К.*) Пушкин как поэт почти не фигурирует? Возникает, естественно, вопрос: если жизнь Пушкина протекала именно так, как это представляет книга Вересаева, когда же поэт работал?»

Рассказывая о том, какой огромный, зачастую неизвестный материал привлекает Тынянов для того, чтобы по-новому осветить ряд важных моментов в жизни Пушкина, его взаимоотношения с друзьями и врагами, весь его путь, полный трагических противоречий и исканий, корреспондент «Литературной газеты» сообщает, что Тынянов воссоздает окружение поэта — «...попутно дается блестящая характеристика современников Пушкина: Энгельгардта (директора лицея), Катенина, Горчакова, Воронцова и др. И незаметно для самого себя слушатель ощущает, что он вплотную придвинут к эпохе, в которой жил, творил и страдал поэт...»

Тогда же, отвечая на упреки читателей в том, что в первой части романа центральный герой пока бездействует, молчит, что на переднем плане все время другие фигуры, Тынянов говорил о специфике, об отличительных особенностях разных литературных жанров, о различиях между историческим рассказом и историческим романом. В рассказе, в новелле центральный герой должен быть включен в действие с самого же начала, «а в романе, рассчитанном не на один том, он такой прием (когда главный герой не сразу становится одним из активных действующих лиц. — *Б. К.*) считает вполне целесообразным: в дальнейшем Пушкин займет в романе то место, которое обусловлено уже самим названием произведения» («Литературная газета», 1935, № 63, 15 ноября).

Прошло несколько лет. Две первые части романа были напечатаны. Во второй из них центральный герой уже выходит на первый план. Работая над третьей частью романа, «которая охватывает 1816—1820 годы», Тынянов следующим образом определял ее содержание: «Это — последние годы лицея, встречи с Чаадаевым,

период лицейского вольномыслия. В этой части романа Пушкин предстает уже как политический трибун, показана борьба реакции с Пушкиным» («Литературная газета», 1939, № 7, 5 февраля).

Снова и в творческой работе писателя и в беседах с читателями возникали вопросы о документальности и вымысле, о значении для писателя вновь найденных материалов. Тынянов сообщил читателям, что он получил доступ к личному архиву Кюхельбекера. Этот архив «разрушает старое представление о лицее»; благодаря новым материалам становится ясно, что лицейский период в жизни Пушкина был значительно более содержательным «и со стороны философской и со стороны политической», чем это представлялось ранее, говорил Тынянов («Литературный Ленинград», 1934, № 26, 8 апреля).

Возвращаясь к этому факту через несколько месяцев и напоминая, что ему «удалось натолкнуться на ценные для... беллетриста данные по истории лицея», Тынянов тут же сказал, что, по его мнению, «новизна документа... дела не решает». Исторический романист должен «ясно видеть» то, о чем он пишет. «Полная уверенность, что это было так, а не иначе, нужна для работы». Документ придает писателю такую уверенность. Но необходимое историческому романисту «ясное ви́дение» вовсе не должно опираться только на документ. Главное в работе художника — осмысление фактов и документов. Поэтому Тынянов подчеркивал, что «для романиста важнее всего с достаточной ясностью относиться к уже известному и опубликованному, уметь интенсивно использовать то, что обычно при чтении используется экстенсивно». Все дело в «отношении» к документу, в «его толковании». Именно здесь должна проявиться со всей силой творческая инициатива художника («Литературный Ленинград», 1934, № 58, 21 ноября).

В работе над романом «Пушкин» Тыняновым был использован огромный материал — воспоминания, опубликованная и неопубликованная переписка, сохранившиеся записи лекций лицейских профессоров и изданные ими труды («Право естественное» Куницына, «Риторика» Кошанского и др.), документы лицейского архива, архивов Кюхельбекера, Горчакова и т. д. Решающее значение писатель придавал при этом документам, дошедшим до нас от самого Пушкина (его плану автобиографии, относящемуся к 1830 году и публикуемому в собраниях сочинений под названием «Программа записок»), и произведениям поэта — наиболее ценным и достоверным свидетельствам о нем.

Но когда сопоставляешь роман, тот или иной его эпизод, с документальным материалом (ср., например, в пушкинской «Программе записок» заметки: «Охота к чтению» или «Мы прогоняем Пилецкого» и соответствующие страницы романа), то становится

ясно, что, говоря об «отношении» к документу, об «интенсивном использовании» и «толковании» его, Тынянов подразумевал при этом одно из главных слагаемых писательской работы — вымысел и художественную интуицию, основанную на глубоком «знании» героя и его эпохи.

Работа Тынянова над этим романом была одновременно трудом исследователя и художника. Если большинство литературоведческих исследований Тынянова о Кюхельбекере появилось после написания «Кюхли», то теперь творческий процесс протекал несколько по-иному. Ряд статей Тынянова о Пушкине (например, «Пушкин и Кюхельбекер» — «Литературное наследство», № 16—18, 1934; «Проза Пушкина» — «Литературный современник», 1937, № 9; «Безыменная любовь» — «Литературный критик», 1939, № 5—6) появился уже в период интенсивного труда над романом «Пушкин», причем исследователь как бы несколько даже «опережал» художника. И все же Тынянов не успел изложить в форме историко-литературных исследований все то новое в понимании литературной и художественной жизни первых десятилетий XIX века (истолкование эволюции Карамзина, борьбы на театральной сцене 10—20-х годов и т. д.), что отразилось в романе «Пушкин».

Особо следует сказать об условиях, в которых писалась третья часть романа. По своему поэтическому накалу и художественной силе многие ее страницы не только не уступают первым двум частям, но даже, быть может, и превосходят их. Надо, однако, иметь в виду следующее. В течение многих лет Тынянов был тяжело болен рассеянным склерозом. Третью часть «Пушкина» он закончил незадолго до смерти. Он писал ее в эвакуации (из Ленинграда его эвакуировали в Пермь), прикованный к постели и страшно измученный неизлечимой болезнью. Он был лишен возможности лично подготовить текст к печати и держать корректуру. Поэтому третью часть романа нельзя считать окончательно отделанной автором. И в первые части романа, писавшиеся в другом состоянии и в иных условиях, писатель вносил изменения уже после их опубликования. Если бы Тынянову довелось вновь вернуться к третьей части (хотя бы для подготовки книжного издания), она приобрела бы более цельную и законченную форму.

Роман начал печататься в 1935 году. В журнале «Литературный современник», №№ 1, 2, 3, 4 за 1935 год, была напечатана первая часть, под названием «Детство». В №№ 10, 11, 12 за 1936 год и №№ 1, 2 за 1937 год — вторая часть — «Лицей».

В книжном издании обе первые части «Пушкина» появились впервые в 1936 году и были переизданы в 1937 и 1938 годах.

Третья часть романа, под названием «Юность», была напечатана в журнале «Знамя», 1943, № 7—8.

Стр. 9. *Кригс-комиссариат* — учреждение, ведавшее денежным и вещевым снабжением войск.

Стр. 14. *Завит... а ля Каракалла.* — Каракалла — римский император Марк Аврелий Антонин (186—217). В письме к И. И. Дмитриеву от 13 декабря 1798 года Карамзин писал: «...естьли ты все еще не носишь парика ни à la Titus, ни à la Brutus, ни à la Caracalla, то голова твоя должна теперь очень зябнуть» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб., 1866, стр. 107). Во Франции в период революции подражание древнеримским модам не было случайностью. В эпохи революционных кризисов люди вызывают духов прошлого, заимствуя у них «...имена, боевые лозунги, костюм, и в освященном древностью наряде... разыгрывают новый акт всемирной истории... революция 1789—1814 гг. драпировалась поочередно в костюм римской республики и в костюм римской империи...» («К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1. М., «Искусство», 1957, стр. 130). В России же следование древнеримским образцам было в эти годы всего лишь копированием парижских мод.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837) — поэт; в 1810—1814 годах — министр юстиции.

Стр. 15. *Прическа а ля Дюрок.* — Дюрок, Жерар-Кристоф (1722—1813) — наполеоновский генерал. «В мае прибыл от первого консула Бонапарте молодой друг его Дюрок дипломатическим агентом и картинкой модного журнала», — пишет в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель и далее сообщает, какую это вызвало волну подражательности в среде русского дворянства. Василий Львович Пушкин тотчас поехал в Петербург, чтобы поскорее принять законы новой моды. «Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть, что тогда называлось à la Дюрок» (Ф. Ф. Вигель. Воспоминания, т. I, ч. 1. М., 1864, стр. 198).

...в гвардии ее звали «Цырцея». — В «Одиссее» Гомера волшебница Цирцея чарами завлекала на свой остров путешественников.

Неелов Сергей Алексеевич (1778—1852) — московский богач, автор шуточных и сатирических стихов, которые по их непристойности были рассчитаны на рукописное распространение.

Стр. 16. *В Марфине, у графа Салтыкова.* — Салтыков, Иван Петрович (1737—1805) — московский главнокомандующий, владелец подмосковной усадьбы Марфино, где ставились «драматические сельские идиллии» Карамзина, которые он сам называл «бездел-

ками». «Всего примечательнее была пьеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль, под названием «Только для Марфина»... Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами...» (Ф. Ф. Вигель. Воспоминания, т. I, ч. 1, М., 1864, стр. 194—195).

Стр. 17. *Жил с... Людовиком в Митаве.* — После казни Людовика XVI его брат, провозгласивший себя французским королем Людовиком XVIII, в конце 1797 года поселился, по приглашению Павла I, в Митаве. В 1800 году, в связи с наметившимся сближением между Павлом и Бонапартом, Людовик был из Митавы изгнан.

Стр. 19. *Теперь шла война с санкюлотами...* — Санкюлотами во время французской буржуазной революции XVIII века аристократы презрительно называли простой народ. Здесь речь идет о войне, которую в 1799 году вели Россия, Англия, Австрия и Турция против Франции.

Стр. 20. *Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был.* — Карамзин был дружен с семьей Алексея Александровича Плещеева. Этой семье он и писал из-за границы свои «Письма». У Карамзина были сложные отношения с женой Плещеева, Настасьей Ивановной, славившейся своим умом. Он женился впоследствии на ее младшей сестре, Елизавете Ивановне, скончавшейся в 1802 году.

«Письма русского путешественника». — В 1789—1790 годах Н. М. Карамзин совершил путешествие по Европе, о котором рассказал в своих «Письмах» (1791—1804), явившихся одним из значительнейших произведений русской прозы XVIII века.

...альманах, называвшийся женским именем «Аглая»... — Издание этого альманаха было предпринято Карамзиным в 1793 и 1794 годах. В основном альманах заполнялся произведениями самого Карамзина. Аглая — имя одной из граций (греч. миф.); так Карамзин называл Н. И. Плещееву.

Стр. 21. *Все невольно захлопали его катреню.* — Катрень — законченная по смыслу строфа из четырех строк.

Стр. 23. *Плавай, Сильфида, в весеннем эфире...* — Начало стихотворения «Сильфида», приписываемого Карамзину.

Оссиан — легендарный кельтский певец, которому поэт Джемс Макферсон (1736—1796) приписал сочиненные им самим поэмы (изданы в 1765 г.).

...все есть для счастья Филемона и нет одной Бавкиды. — В греческих сказаниях (и у Овидия в «Метаморфозах») Филемон и Бавкида символизируют супружеское счастье.

Гораций прославил Тиволи... — Тиволи — имение, подаренное римскому поэту Горацию (65—8 гг. до н. э.) богатым по-

кровителем искусств и поэзии Меценатом. В письме к Дмитриеву от 4 апреля 1799 года Карамзин пишет: «Гораций прославил Тиволи, а мы Самарову гору превратили бы в русский Геликон». («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 111). Геликон — лесистая гора, по греческой мифологии — место пребывания Аполлона и муз; находившийся здесь источник Ипокрена возбуждал поэтический дар.

Стр. 24. *...наподобие приюта Жан-Жака.* — Жан-Жак Руссо в 1756—1758 годах жил в уединенной вилле, называвшейся «Эрмитаж».

...из оды на смерть старика Бецкого. — Имеется в виду стихотворение Державина «На кончину благотворителя» (1795), посвященное екатерининскому вельможе Ивану Ивановичу Бецкому (1704—1795).

Стр. 31. *Кутайсов* Иван Павлович (род. ок. 1759 — ум. 1834) — фаворит Павла I.

Стр. 32—33. *...поручил... составить свою рефутацию.* — Буквально (лат.) опровержение. Здесь речь идет о документе, доказывающем знатность происхождения.

Стр. 33. *...Карамзину, ученику Лафатера.* — Лафатер, Жан-Каспар (1741—1801) — швейцарский богослов и писатель. Карамзин переписывался с ним и о своей встрече с Лафатером рассказывает в «Письмах русского путешественника».

Стр. 33. *Был креатурой императора* — любимцем, ставленником.

Стр. 34. *Этот бюрлескный тон...* — грубовато-шутливый тон (от итал. burla — шутка).

Стр. 42. *...шапка с мальтийским крестом была на преображенском солдате...* — В XVI веке остров Мальта попал в руки духовно-рыцарского ордена иоаннитов. В связи с революцией во Франции Мальтийский орден стал проявлять стремление сблизиться с Россией. В 1797 году Павел взял Мальту под свое покровительство, а затем был провозглашен великим магистром этого католического ордена. В связи с этим на головном уборе солдат Преображенского, Семеновского и Измайловского полков появился мальтийский крест.

Стр. 44. *Новая французская живописица Виже-Лебрень.* — Виже-Лебрен Элизабет-Луиз (1755—1842) была придворной портретисткой Марии-Антуанетты, в 1789 году эмигрировала из Франции; в 1795 году она приехала в Россию.

Стр. 49. *...о французских победах, о Бонапарте и консульше Жозефине, креолке.* — Вскоре после переворота 18 брюмера Бонапарт, ставший первым консулом, одержал победу над австрийцами при Маренго (1800 г.). Жозефина — по первому браку Богарне (1762—1814), первая жена Наполеона Бонапарта.

Стр. 49. *Кочубей* Виктор Павлович (1768—1834) — министр внутренних дел при Александре I.

Адам Чарторижский (1770—1861) — польский политический деятель, находившийся с 1795 года в России. Здесь он сблизился с будущим императором Александром I и в первую половину его царствования был среди его ближайших советников. С 1803 по 1804 год управлял министерством иностранных дел.

Батард (франц.) — ребенок, рожденный вне брака.

Стр. 58. *...называли его селадоном, фоблазом...* — Имя Селадона, героя романа «Астрея» (начало XVII в.) французского писателя Оноре д'Юрфе, стало нарицательным для сентиментального влюбленного, а имя героя романа «Приключения кавалера де Фоблаза» (1787) французского писателя Луве де Кувре стало обозначением ветреника, гуляки.

...обратился лично к тестю. — Имеется в виду Вышеславцев, Михаил Михайлович (1758—?) — литератор и переводчик.

Стр. 59. *Грекур* Жан-Батист (1683—1743) — французский поэт, в творчестве которого эротические мотивы сочетались с религиозным вольнодумством.

Стр. 60. *Тартюф* — герой комедии Мольера «Тартюф, или Обманщик» (1669) — ханжа, лицемер и распутник.

Стр. 66. *...какого-нибудь Шатобрианова Натчеза.* — Начезы — индейцы, описанные в пользовавшихся популярностью повестях французского писателя Франсуа-Рене де Шатобриана (1768—1848) «Атала» и «Рене».

Дорá Клод-Жозеф (1734—1780) — французский поэт, писал эротические и сентиментальные поэмы, острые эпиграммы, трагедии.

Барков Иван Семенович (1732—1768) — поэт и переводчик, автор ряда порнографических стихотворений.

Стр. 68. *Брат Василий... написал... послание к камину.* — Имеется в виду первое произведение Василия Львовича Пушкина «К камину», напечатанное в 1793 году в журнале И. А. Крылова «Санктпетербургский Меркурий».

Николай Михайлович печатает его письма из Парижа в своем журнале. — Имеется в виду «Вестник Европы», основанный Н. М. Карамзиным в 1802 году.

Жанлис Стефани-Фелисите (1746—1830) — французская писательница.

Стр. 69. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой» (1669).

«Школа мужей» — комедия Мольера (1663).

Эльмира — героиня комедии Мольера «Тартюф».

Стр. 71. *...понимал уже язык Расина...* — Жан Расин (1638—1699) — великий французский трагедиограф-классицист.

Стр. 73. *Рекамье* Жюли-Аделаида (1777—1849) — знаменитая красавица, жена банкира, в салоне которой собирались выдающиеся государственные деятели и литераторы.

Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский актер-трагик. Среди легенд, пущенных в ход роялистами — противниками Наполеона, была и легенда о том, что он брал уроки у Тальма, дабы обрести свойственную королю манеру речи и поведения. Тальма утверждал, что Наполеон не нуждался в его уроках для роли императора. Между ними сохранялись дружеские отношения еще с той поры, когда Бонапарт был молодым офицером, которому Тальма даже помогал деньгами.

Много говорил о соперничестве m-lle Жорж и m-lle Дюшенуа.— Жорж, Маргарита-Жозефина (1786—1867) — французская трагическая актриса. Дюшенуа, Катрин-Жозефина (1777—1835) — трагическая актриса, дебютировавшая почти в одно время с Жорж. Симпатии театралов и журналистов разделились, но длительная борьба кончилась тем, что обе дебютантки получили признание публики.

Стр. 74. *Шаликов* Петр Иванович (1768—1852) — подражатель Карамзина. Его слезливые стихи давали много поводов для насмешек противникам сентиментального направления в литературе.

Стр. 75. *Эпитимья* (епитимья) — греческое слово, означающее «наказание». В православной церкви епитимья (пост, паломничество, молитва и т. п.) налагается лицом духовного сана, являясь как бы нравственно-исправительной мерой.

Стр. 87. *...часы с Кроносом, который жрет младенца...* — По греческому мифу, Кронос низверг своего отца — бога неба Урана — и захватил вместе с братьями-титанами господство над миром. Получив предсказание, что он будет лишен власти одним из своих детей, Кронос стал пожирать их тотчас после рождения. Римляне отождествили Кроноса со своим богом времени Сатурном — отсюда изображения Сатурна, пожирающего своих детей.

Стр. 91. *...Лаиса, подруга жирного Аристиппа.* — Лаиса (V в. до н. э.) — греческая куртизанка, среди многочисленных ее любовников был философ Аристипп (род. ок. 430 до н. э.), видевший смысл жизни в наслаждении и посвятивший Лаисе два своих сочинения.

Он смеялся над королем Фредериком. — Прусский король Фридрих II (1712—1786), желая прослыть другом просвещения, пригласил в Пруссию Вольтера, который пробыл там с 1750 по 1753 год, а после отъезда высмеял в своих «Мемуарах» и прусский режим и самого Фридриха II.

Стр. 91. *...мадам Дезульер* Антуанет (1638—1694) — французская поэтесса.

Стр 93. *«Тарар»* — опера Сальери на текст Бомарше.

Стр. 97. *Вульф* Прасковья Александровна (1781—1859) — по второму браку Осипова, соседка Пушкина по Михайловскому. Пушкин был дружен с ее дочерьми Анной и Евпраксией, падчерицей Александрой и сыном Алексеем Николаевичем Вульфом.

Саллюстий Гай Крисп (86—35 до н. э.) — римский историк.

Стр. 104. *Каменский* Михаил Федотович (1738—1809) — фельдмаршал. В 1806 году, во время войны с Францией, он был назначен главнокомандующим. Престарелый, больной и давно уже отставший от руководства войсками, Каменский понял, что не способен командовать в новых для него условиях, и «бежал из армии», вслед за чем получил формальную отставку.

Стр. 105. *...начиная с маркиза Данжо.* — Маркиз де Данжо, Филипп де Курсильон (1638—1720) — приближенный Людовика XIV, оставил «Мемуары маркиза де Данжо, или Газета двора Людовика XIV». Они выходили с 1684 до 1720 года. Данжо занимали интимные подробности жизни королевской семьи и двора.

Стр. 106. *...книжка Лебреня...* — Лебрен, Понс-Дени (1729—1807) — французский поэт. Его оды пользовались большим успехом.

Стр. 108. *Скаррон* Поль (1610—1660) — французский писатель, автор «Комического романа» и бурлескной поэмы «Виргилий наизнанку».

Стр. 116. *Батюшков* Константин Николаевич (1787—1855) — поэт, оказавший большое влияние на развитие русской поэзии первой четверти XIX века, в особенности — на Пушкина.

Стр. 117. *...вздумал назвать Наполеона «Буонапарте»...* — Наполеон происходил из незначительного итальянского дворянского рода Буонапарте; назвать его так — значило выразить к нему презрение или ненависть, как к захватчику престола.

Иезуиты учили в петербургском пансионе молодых Гагариных, Голицыных... — Иезуиты, члены самого крупного монашеского ордена католической церкви, организовали в нескольких городах России учебные заведения, коллежи, с целью пропаганды католицизма и борьбы против враждебных католичеству социальных движений.

...к Хераскову, московскому Гомеру... — Херасков, Михаил Матвеевич (1733—1807), поэт, драматург и романист; автор героической эпопеи «Россиада» (1779), которая произвела на современников огромное впечатление и несколько десятилетий считалась величайшим достижением русской литературы.

Стр. 123. *Мартын Задека.* — Под этим именем выпускались «толкователи» снов: «Гадательный, древний и новый всегдашний оракул, найденный по смерти сташестилетнего старика Мартына Задеки» и другие.

Стр. 129. *...граф де Местр, философ и иезуит...* — Жозеф де Местр (1754—1821), реакционный французский писатель, монархист, поборник католицизма; был сардинским посланником в Петербурге.

Стр. 133. *Шишков* Александр Семенович (1754—1841) — адмирал, государственный деятель, с 1824 по 1828 год — министр народного просвещения, основатель «Беседы любителей русского слова», президент Российской академии (см. примеч. к стр. 216).

Четьи-Минеи — «ежемесячные чтения», описания жизни святых, сказания, поучения. Сборники составлены в порядке дней каждого месяца.

Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный и политический деятель, автор проекта государственного преобразования России (1809); считал необходимым ввести в России конституцию. Александр I, игравший в начале своего царствования роль сторонника либеральных реформ, после подписания Тильзитского мира поддерживал Сперанского и выдвинул его на место первого сановника в государстве, но затем, в связи с изменением политической обстановки, деятельность Сперанского была прервана, а он сам выслан из Петербурга (1812). В 1816 году был возвращен на службу.

Первый указ был о придворных званиях, второй — о гражданских чинах. — Еще до завершения всей работы по проекту государственного преобразования Сперанским были разработаны два указа, изданные в 1809 году. С екатерининских времен существовало положение, согласно которому придворные звания давали право на чины. Определяясь на службу, лицо, имевшее придворное звание, сразу же могло занять высшую государственную должность. По новому указу придворные звания превращались в отличия, а чины можно было получать лишь при постепенном прохождении действительной гражданской или военной службы. По второму указу для гражданских чинов предусматривалась необходимость образовательного ценза: начиная с чина коллежского асессора надо было иметь университетское образование.

Перекусихина Мария Саввишна (1739—1824) — статс-дама Екатерины II. Отбирала для императрицы фаворитов.

Стр. 137. *Боннет* (правильнее — Боннэ) Шарль (1720—1793) — французский естествоиспытатель и философ.

Стр. 138. *Феокрит* (III в. до н. э.) — греческий поэт.

Стр. 139. *Иогель* — известный всей Москве содержатель танцкласса.

Стр. 142. *Дюпор* Луи (1782—1853) — парижский танцовщик, жил в Петербурге с 1803 по 1812 год, автор ряда балетов.

Стр. 142—143. *...в Геттингенском университете.* — В этом университете (Пруссия) обучалось много русских дворян.

Стр. 143. *...он, как и все, уважал старика Тургенева.* — Имеется в виду Иван Петрович Тургенев (1752—1807), видный деятель русского масонства в конце XVIII века, директор Московского университета.

Тургенев Александр Иванович (1785—1846) — по специальности историк, один из образованнейших людей своего времени, воспитанник Московского благородного пансиона и Геттингенского университета; был близким другом Карамзина, Жуковского и других выдающихся представителей русской литературы. В жизни Пушкина играл важную роль; он и похоронил поэта в Святогорском монастыре.

Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — в молодости был настроен либерально, являлся одним из учредителей «Арзамаса» (см. примеч. к стр. 445). Он был близок ко многим из декабристов, но это не помешало ему деятельно участвовать в следственной комиссии, судившей их. Благодаря политической угодливости и ловкости сделал блестящую карьеру — стал министром внутренних дел, а затем — юстиции; впоследствии — председатель Государственного совета и Комитета министров.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — литератор; в молодости член «Арзамаса», впоследствии, в 1833—1849 годах, крайне реакционный министр народного просвещения. Пушкин относился к нему резко отрицательно.

Дашков Дмитрий Васильевич (1784—1839) — «арзамасец», активный участник литературных боев с Шишковым и его единомышленниками; впоследствии — министр юстиции.

Стр. 144. *Штейн! Предводитель пруссаков!..* — Штейн, Генрих (1757—1831), прусский государственный деятель. Он отстаивал ряд реформ, направленных к ликвидации средневековых учреждений в Пруссии. Вызвал недовольство прусских помещиков, усматривавших в этом покушение на их права. Но и Наполеон, видевший в деятельности Штейна средство подготовки к борьбе Пруссии с Францией, тоже был им недоволен, в результате чего Штейн был вынужден в 1809 году эмигрировать из Германии.

«Монитер» — журнал, основанный в Париже в 1789 году. При Наполеоне стал официозом.

Анакреонт (правильнее — *Анакреон,* VI—V вв. до н. э.) — греческий поэт-лирик.

Стр. 144. *...когда открылась война с турками...* — Имеется в виду русско-турецкая война 1806—1812 годов.

Стр. 147. *Граф Хвостов* Дмитрий Иванович (1757—1835) — сенатор, бездарный поэт.

Стр. 154. *Вестрис-старший* — Гаэтано Вестри (1729—1808), известный танцовщик, родом из Флоренции, автор балетов.

Стр. 160. *...и явив, таким образом, Лаокоона с сыновьями...* — Речь идет о знаменитой мраморной группе (работы трех греческих скульпторов I в. до н. э.), изображающей гибель троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей, задушенных змеями за нарушение воли богов.

Стр. 165. *Эмфаза* (греч.) — выразительность.

Стр. 178. *«Утренник прекрасного пола»* — сочинение Я. А. Галинковского (адресованный женщинам сборник разных «занимательных» произведений, «гражданских» сведений, анекдотов, СПб., 1807).

Поппея (I в.) — жена римского императора Нерона.

Фульвия (I в.) — римлянка, прославившаяся своей неустрашимостью.

Клеопатра (69—30 до н. э.) — египетская царица.

Цезония, или *Милония* (I в.) — любовница римского императора Калигулы.

Стр. 178—179. *...и среди них императрица Катерина I, пожертвовавшая для выкупа своего супруга из плена от турков все свои украшения.* — Во время турецкого похода (1711) русская армия во главе с Петром I попала в неприятельское окружение. Существует легенда, что Екатерина, бывшая в походе, пожертвовала все свои драгоценности, присоединив к ним и то, что она выпросила у других русских, для подкупа турецкого визиря, дабы тот согласился на заключение мира. Этот поступок Екатерины всячески прославляли, ибо Петр, готовясь гласно жениться на ней, хотел привести к алтарю женщину, окруженную ореолом спасительницы отечества.

Стр. 179. *Грессе* Жан-Батист-Луи (1709—1777) — французский поэт, драматург и автор новелл антиклерикального содержания.

Стр. 186. *Нарышкина* Мария Антоновна (1779—1854) — фрейлина, имевшая большое влияние на Александра I в первые годы его царствования.

Стр. 187. *Указ об обложении дворянства налогами.* — Имеется в виду обложение дворянства «единственно на... 1810 год» по 50 копеек с каждой ревизской души, числившейся во владении.

Стр. 188. *Тильзитский мир возмутил дворянство...* — Война 1806—1807 годов между Францией и Россией закончилась подписанием мирного трактата в Тильзите (1807). Отдельные пункты

договора должны были, по замыслу Наполеона, привести к международной изоляции России, превратить ее в охранителя французских интересов. Цель эта не была достигнута, но многие современники, воспринимая Тильзитское соглашение как капитуляцию Александра, выражали свое недовольство этим миром и в частных домах и в публичных собраниях.

Стр. 188. *...следил Санглен из тайной канцелярии.* — В подготовке предлогов к опале Сперанского (задуманной Александром I) важную роль играл чиновник тайной полиции, близкий в это время к императору, Я. И. Санглен.

Стр. 192. *...генерал-губернатор Пестель управлял на расстоянии...* — Пестель, Иван Борисович (1765—1843), отец известного декабриста, был с 1806 по 1819 год сибирским губернатором, но с 1809 года жил в Петербурге.

Стр. 195. *Плутарх* (ок. 48—120) — греческий писатель и историк, автор «Биографий» замечательных римских и греческих деятелей.

Стр. 197. *Мартынов* Иван Иванович (1771—1833) — переводчик и журналист, занимал должность директора департамента народного просвещения.

Куницын Александр Петрович (1783—1841) — профессор нравственных наук (права) в Царскосельском лицее и в Петербургском университете. В лицее читал курсы: «Право естественное» и «Изображение системы политических наук», в которых доказывал, что «все люди... имеют одинаковую природу, из которой проистекают общие права человечества», что «люди, вступая в общество, желают свободы и благосостояния, а не рабства и нищеты». В 1821 году уволен из университета за курс «Право естественное», так как, по мнению попечителя Петербургского учебного округа, автор призывал в нем к «ниспровержению всех связей семейственных и государственных».

Стр. 203. *...он и сам когда-то был воспитан в особой, игрушечной «академии»...* — К. Г. Разумовский, не желая посылать своих малых детей за границу и стремясь оградить их от влияния матери, купил на 10 линии Васильевского острова дом, в котором было создано специальное учебное заведение, где с княжеской роскошью жили и получали образование шестеро мальчиков (трое из них были сыновьями Разумовского).

Стр. 204. *Мармонтель* Жан-Франсуа (1723—1799) — французский писатель. *Лагарп* Жан-Франсуа (1739—1803) — французский поэт, драматург и критик; теоретик классицизма, автор многотомного курса истории литературы. *Кондорсе* Жан-Антуан (1743—1794) — французский политический деятель и ученый.

Стр. 210. *Ламздорф* Матвей Иванович (Густав-Матиас, 1745—1828) — генерал от инфантерии, воспитатель императора Николая.

Глинка Григорий Андреевич (1774—1818) — воспитатель великих князей; профессор русского языка и словесности Дерптского университета.

Стр. 216. *Шихматов-Ширинский* Сергей Александрович (1783—1837) — поэт шишковского направления, член «Беседы»; был предметом насмешек современников.

Это был словарь Шишкова. — Адмирал Шишков составлял разного рода словари в подкрепление своих «теорий» о происхождении русского языка от церковнославянского. Здесь речь идет о сочинении Шишкова «Словопроизводство», в котором автор поставил себе задачей «открытие в словах того первоначального понятия, от которого они произведены».

Вот что такое его «Беседа»! — «Беседа любителей русского слова» — литературное общество, основанное в 1811 году, тесно связанное с реакционными правительственными кругами. Стоявший во главе «Беседы» адмирал Шишков еще в 1803 году выпустил «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», в котором он резко напал на Карамзина и его последователей с их «новым слогом». Выступая против литературного языка карамзинистов, против их стремления сблизить литературный язык с разговорным, Шишков отстаивал «старый слог», образцом которого он считал язык церковных книг. Шишков и его единомышленники придирчиво улавливали и резко критиковали манерность, эстетизм, в которые впадали карамзинисты (критику этих и других сторон карамзинизма вели также и некоторые поэты-декабристы, но у них эта критика приобрела иную политическую направленность); однако основная тенденция «Беседы» была глубоко реакционной: по существу, там выступали против единого национального литературного языка, против новых идей, новых тем и понятий, огульно восхваляя все старое в литературе и языке, считая необходимым сохранить «издревле принятые и многими веками утвержденные понятия». «Беседа» существовала до 1816 года.

Стр. 218. *«Европейский музей»* — журнал, в котором перепечатывались материалы из иностранных журналов. Издавался в Петербурге в 1810 году Н. Гречем и Ф. Шредером.

Стр. 219. *Коленкур* Арман-Огюст-Луи (1772—1821) — французский посол в России, вынужден был подать в отставку в 1811 году, так как старался уладить разногласия между Наполеоном и Александром.

Стр. 222. ...*Фемиды с завязанными глазами...* — У древних греков богиня правосудия Фемида изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия) и с весами в руке.

Стр. 223. *Завадовский* Петр Васильевич (1739—1812) — с 1802 по 1810 год занимал пост министра народного просвещения.

Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — государственный деятель. С 1810 года был назначен членом Государственного совета.

Стр. 226. *Ришелье* Арман (1766—1822) — французский государственный деятель; ряд лет находился на русской службе.

Капуцины, францисканцы и кармелиты — названия католических монашеских орденов.

Стр. 228. *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик; в молодости деятельный «арзамасец», друг Пушкина; впоследствии занимал реакционную позицию.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, перевел «Илиаду» Гомера. Первый издал поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник».

Стр. 232. *Пущины.* — Имеется в виду семья Пущина, Ивана Ивановича (1798—1859), лицеиста, верного и преданного друга Пушкина. Пущин еще лицеистом был привлечен к деятельности первого тайного общества декабристов, а затем стал одним из самых активных участников декабристского движения. Оставил «Записки о Пушкине» — обстоятельный и достоверный документ о Пушкине-лицеисте, проникнутый глубокой любовью к поэту.

Дюмарсе Сезар (1676—1756) — французский грамматик и писатель.

Бюффон Жорж-Луи (1707—1788) — французский натуралист, автор знаменитой «Естественной истории».

Поп Александр (1688—1744) — английский поэт.

Гюм (правильно Юм) Давид (1711—1776) — английский философ и историк.

Фонтенель Бернарден ле Бувье (1657—1757) — французский писатель и философ.

Стр. 234. *Ломоносов* Сергей Григорьевич (1799—1857) — лицеист, служил в коллегии иностранных дел.

Стр. 234. *Данзас* Константин Карлович (1800—1870) — офицер; был секундантом Пушкина на дуэли с Дантесом.

Стр. 238. *Есаков* Семен Семенович (1798—1831) — лицеист; офицер, служил в Варшаве. В 1831 году был полковником, принимал участие в подавлении польского восстания.

Корф Модест Александрович (1800—1876) — лицеист; служил в министерстве юстиции; с 1827 года — управляющий делами Комитета министров. С этого времени Корф стал приближенным Ни-

колая I. Написал по его поручению книгу — «Восшествие на престол императора Николая I» — лженаучную и клеветническую. Столь же лживы и его заметки о лицее и о Пушкине, к которому он всегда относился с резкой враждебностью.

Стр. 239. *Брата твоего директора я очень знаю...* — Имеется в виду Малиновский, Алексей Федорович (1760—1840), сенатор, писатель и переводчик.

Стр. 240. *Горчаков* Александр Михайлович (1798—1883) — лицеист; сделал блестящую карьеру на дипломатическом поприще; с 1856 по 1882 год — министр иностранных дел. Впоследствии Горчаков делал вид, будто гордится былой дружбой с поэтом. На деле он отказывался от каких бы то ни было действий, связанных с увековечением памяти Пушкина. Он даже не счел нужным содействовать достоверному воспроизведению обращенных к нему посланий Пушкина, хранившихся в его архиве.

...именем Горчакова был подписан «Соловей»... — Речь идет о незначительном поэте-сатирике и переводчике Горчакове, Дмитрии Петровиче (1758—1824), который был членом «Беседы любителей русского слова» и активно участвовал в борьбе с «Арзамасом».

Малиновский Иван Васильевич (1796—1873) — лицеист; служил в гвардии. В 1825 году уволился в чине полковника. Косвенно был причастен к декабрьскому восстанию.

Вальховский Владимир Дмитриевич (1798—1841) — лицеист; офицер, член союзов Спасения и Благоденствия, привлекался по делу декабристов, но осужден не был.

Броглио (правильнее — Брольо) Сильверий Францевич (1799 — ум. в 1820-х гг.) — итальянец по происхождению. Окончив лицей, уехал в Пьемонт, где участвовал в революции 1821 года, после подавления которой уехал в Грецию. Боролся за освобождение греков из-под турецкого владычества. Там и умер.

Стр. 241. *Шаховской шумит безбожно и всем в театре правит, как тиран.* — Шаховской, Александр Александрович (1777—1846) — драматург, был фактическим руководителем русского театра в Петербурге, с 1802 года заведовал его репертуарной частью, первый профессиональный русский режиссер. В 1811 году примкнул к «Беседе любителей русского слова» (см. примеч. к стр. 216).

...хваленую Семенову меньшую. Как и большая, недурна... — Семенова, Екатерина Семеновна (1786—1849) — выдающаяся трагическая актриса. Ее старшая сестра Нимфодора была певицей.

Бобров... потирал рука об руку... — Бобров, Елисей Петрович (1778—1830), актер, долгое время игравший совершенно не соответствовавшие его дарованию роли героев и лишь впоследствии нашедший в комических ролях свое подлинное призвание.

Стр. 244. *Кошанский* Николай Федорович (1781—1831) — профессор, преподавал русскую и латинскую словесность в Царскосельском лицее с 1811 по 1828 год.

Стр. 245. *Тургенев* Николай Иванович (1789—1871) — брат Александра Ивановича, служил в министерстве финансов, участник и один из крупнейших идеологов декабристского движения на первом его этапе. Во время самого восстания находился за границей и был заочно приговорен к смертной казни.

Галич Александр Иванович (1783—1848) — профессор Петербургского университета, преподаватель русской и латинской словесности в Царскосельском лицее (с 1814 по 1815 г.).

Карцов Яков Иванович (1784—1836) — профессор. С 1811 по 1836 год преподавал физико-математические науки в лицее.

Кайданов Иван Козьмич (1782—1843) — профессор; в лицее преподавал историю.

Стр. 246. *Ордонанс-хауз* — комендантское управление.

Стр. 249—250. *...политический журнал наподобие «Moniteur».* — См. примеч. к стр. 144.

Стр. 255. *...Ромм стал по приезде в Париж председателем Конвента.* — Ромм, Шарль-Жильбер (1750—1795), в 1779—1786 годах жил в России. Когда началась французская революция, уехал на родину, где в 1791 году был избран в Законодательное собрание, а в 1792 году — в Конвент. Занимался вопросами народного образования. По его предложению был введен республиканский календарь. В 1795 году Ромм был приговорен к смертной казни и покончил с собой.

Стр. 256. *...видел однажды самого Жан-Жака* — то есть Руссо.

Стр. 259. *Диоген* (ок. 404—323 до н. э.) — греческий философ.

Стр. 260. *...Толстой* Варфоломей Васильевич — богач, содержал крепостной театр в Царском Селе.

Стр. 263. *...к концу о стоике Зеноне.* — Зенон Китионский (336—264 до н. э.), греческий философ, основатель философской школы стоиков.

Левек Пьер-Шарль (1736—1812) — историк и знаток греческой литературы и искусства. С 1773 по 1780 год жил в России по приглашению Екатерины II. Написал «Историю России» (1782).

Стр. 264. *Саврасов* Петр Федорович (1799—1830) — лицеист, гвардейский офицер, к 1827 году был уже полковником, принимал участие в войне с Турцией (1828—1829).

Тырков Александр Дмитриевич (1799—1843) — учился в лицее худо, вышел офицером в армию. Прослужил до 1822 года и подал в отставку. Жил сначала в Петербурге, а потом в Новгородской губернии у брата, где и умер душевнобольным.

Стр. 264. *Мясоедов* Павел Николаевич (1799—1869) — лицеист, недолго служил в армии, потом в министерстве юстиции.

Костенский Константин Дмитриевич (1797—1830) — по выходе из лицея служил в министерстве финансов.

Матюшкин Федор Федорович (1799—1872) — лицеист, ученый моряк-путешественник.

Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) — поэт, издатель «Литературной газеты».

Кандид — герой философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759).

Стр. 265. *Яковлев* Михаил Лукьянович (1798—1868) — по выходе из лицея был чиновником; впоследствии — тайный советник и сенатор. Певец и композитор-любитель.

Он внук знаменитого актера Дмитревского. — Дмитревский, Иван Афанасьевич (1733—1821) был не только великим актером, но и драматургом.

Стр. 266. *...привел мнение Вейса...* — Вейс, Франсуа-Рудольф (1751—1802) — швейцарский военный и политический деятель, философ, последователь Руссо, примкнувший в 1789 году к французской революции. Его книга «О принципах философских, политических и моральных» была популярна среди декабристов.

...быть спартанцем, когда невозможно быть Сатрапом. — В Спарте (город-государство в древней Греции) мужчины с детских лет приучались вести суровый образ жизни и стойко переносить лишения. Сатрапы в древней Персии — деспотические правители.

Стр. 268. *...сапфической строфой.* — Сапфическая строфа — стихотворный размер, преобладавший в творчестве древнегреческой поэтессы Сапфо (конец VI в. до н. э.).

...Сперанский взят и как злодей скрыт неизвестно куда. — 17 марта 1812 года Сперанский был выслан в Нижний-Новгород, а затем в Пермь.

Стр. 272. *...«Отец семейства».* — Имеется в виду пьеса Дидро «Отец семейства» (1758).

Стр. 275. *...старый лебедь...* — По греческому мифу, Зевс, влюбившись в дочь этольского царя Леду, предстал перед ней в образе лебедя.

Стр. 277. *...поэму о налое.* — Имеется в виду комическая антиклерикальная поэма Буало «Налой».

...по закоцитной стороне... — то есть в царстве мертвых. Коцит — река в Греции; по греческой мифологии, перенесена была в подземное царство теней — Тартар.

Стр. 280. *Корсаков* Николай Александрович (1800—1820) — лицеист, служил в коллегии иностранных дел.

Стевен Федор Христианович (1797—1851)—после окончания лицея служил чиновником в Финляндии, был губернатором Выборга.

...краткое стихотворение о Фрероне... — Имеется в виду следующая эпиграмма на врага Вольтера, журналиста и критика Фрерона Элие (1719—1776): «Был, восходя на Геликон, ужален змеем Жан Фрерон. И что ж, друзья, — кто б думать мог? Не Жан Фрерон, а змей издох».

Стр. 281. *...память морской победы, которую Федор Орлов одержал некогда у Мореи.* — Речь идет о памятнике в виде украшенной корабельными носами колонны, который был сооружен в Царском Селе в память о воинских подвигах Федора Григорьевича Орлова (1741—1796), одного из военачальников в русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Морея — полуостров на юге Греции, на котором в 1770 году, когда в Средиземном море появилась русская эскадра, вспыхнуло восстание против турецкого владычества.

Стр. 288. *Юдин* Павел Михайлович (1798—1852) — лицеист; служил в коллегии иностранных дел.

Стр. 289. *...«Завещание». Отрывки принадлежали... Франсуа Вильону...* — Вильон (правильнее Вийон, 1431 — ок. 1465), первый по времени крупный лирический поэт Франции.

Стр. 295. *Путешествие юного Анахарсиса в Афины...* — Речь идет о романе французского писателя аббата Бартелеми (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788).

Стр. 296. *Читал стихи Опица...* — Опиц, Мартин (1597—1639), немецкий поэт, реформировавший метрику немецкого стиха.

Стр. 297. *Ямщик Елеся, герой одной крепкой поэмы...* — Речь идет о поэме В. А. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх».

Стр. 299. *Лежит сенат в пыли...* — В начале царствования Александра I в центре внимания оказался вопрос о сенате, при Павле I утратившем какое бы то ни было значение. Представители сановной оппозиции предлагали расширить права сената и его функции как исполнительного органа. Против этого резко возражали «молодые друзья» Александра из «Негласного комитета». В итоге все улучшения государственного устройства выразились в принятии указа о правах сената и учреждении министерств. Сенат, по существу, остался в том же положении, в котором он был ранее, — его члены назначались и смещались по личному произволу императора, и никаких возможностей для действенного контроля над работой министерств у сената не было. Первые же робкие попытки сената вмешаться в прерогативы верховной власти были Александром решительно пресечены.

Стр. 301. *Венчанна класами хлеб Волга подавала — Рифей, нагнувшися, лил в кубки мед...* — неточная цитата из «Описания

потемкинского праздника в Таврическом дворце», написанного Державиным в 1791 году. Рифей — старинное название Уральского хребта.

Стр. 304. *...перевод из «Грозы» Сен-Ламберта...* — Сен-Ламберт, Жан-Франсуа (1716—1803), французский поэт, автор «Времен года». Друг энциклопедистов.

Стр. 309. *...поэму Шапелена о девственнице Иоанне д'Арк...* — Шапелен, Жан (1595—1674) — французский поэт, теоретик и критик, написавший длинную эпическую поэму «Девственница, или Освобожденная Франция».

...на трагедию Корнеля «Агесилай». — Трагедия «Агесилай» (1666) великого французского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684) была написана им уже в годы упадка его творчества.

Стр. 314. *Дяденька Пещуров, — говаривал Горчаков...* — Пещуров, Алексей Никитич (1779—1849), помещик, имевший вотчину в Псковской губернии. На Пещурова как на опочецкого уездного предводителя дворянства было возложено наблюдение над Пушкиным, когда он находился в ссылке в селе Михайловском. В 1825 году Горчаков посетил село своего дяди, где с ним встретился ссыльный Пушкин. Свидание с лицейским товарищем не доставило Пушкину радости.

Стр. 320. *Ростопчин* Федор Васильевич (1763—1826) — государственный деятель, назначенный в 1812 году главнокомандующим Москвы; автор ряда литературных произведений, реакционер по своим убеждениям.

Стр. 331. *Гревениц* Павел Федорович (1798—1847) — лицеист; по выходе из лицея служил в коллегии иностранных дел.

Стр. 332. *...и ставил свидетелями тому Сен-Пьера, Делиля, Фонтана...* — Бернарден де Сен-Пьер (1737—1814), французский писатель, автор известного романа «Поль и Виржини» (1787). Делиль, Жак (1738—1813) — французский поэт. Фонтан, Луи (1757—1821) — писатель и политический деятель.

Стр. 334. *...метит в Сийесы или первые консулы...* — После контрреволюционного переворота, произведенного Наполеоном в 1799 году, исполнительная власть была передана трем консулам. Одним из них был Сийес. Наполеон же был провозглашен первым консулом Франции.

Стр. 335. *...или Барклае, которого он... сильно порицал за тактику отступления.* — Барклай де Толли, Михаил Богданович (1761—1818), генерал, главнокомандующий русскими войсками на первом этапе Отечественной войны 1812 года, был заменен Кутузовым.

Стр. 337. *...отрывок из «Маленького Грандисона»...* — Речь идет о сокращенном французском переводе романа Ричардсона «Грандисон», сделанном французским писателем, аббатом Прево (1755).

Стр. 342. *...Психея, Душенька, ведомая Прозерпиною.* — В «Золотом осле» Апулея (II в.) повествуется о том, как в поисках Амура Психея спускается в подземное царство мертвых, по которому ее ведет Прозерпина, жена Плутона, властителя этого царства. Психея (душа. — греч.) изображалась обычно прелестной девушкой.

Кагульский мрамор — памятник, установленный в память о блестящей победе, одержанной в русско-турецкой войне 1768—1774 годов при городе Кагуле русскими войсками под командованием Петра Александровича Румянцева-Задунайского (1725—1796).

Чесменская колонна — мраморная ростральная колонна, сооруженная в царскосельском парке в память о Чесменской битве (1770), в которой русская эскадра одержала победу над превосходящими силами турецкого флота.

Орловские ворота — мраморные триумфальные ворота, воздвигнутые в царскосельском парке в честь приближенного Екатерины II, графа Григория Григорьевича Орлова (1734—1783), удачно выполнившего в 1771 году поручение императрицы по прекращению эпидемии чумы в Москве.

Стр. 343. *Ныне греческие и римские имена стали воинской славой: Багратион был Эпаминонд, Кульнев — Деций, Раевский и Коновницын — совместники древней Спарты.* — *Багратион* Петр Иванович (1765—1812), генерал, участвовал в войнах против Франции в 1799 году, в 1805—1807 и 1812 годах. *Эпаминонд* (ок. 420—362 до н. э.), полководец и политический деятель древней Греции. *Кульнев* Яков Петрович (1763—1812), генерал, прославившийся во время шведской войны 1808—1809 годов и в войне 1812 года. *Деций* Гай (200—251), римский император. Вел борьбу со вторгшимися во Фракию и Македонию готами, в битве с которыми и погиб. *Раевский* Николай Николаевич (1771—1829), генерал, герой Отечественной войны 1812 года; пользовался симпатиями декабристов. *Коновницын* Петр Петрович (1764—1822), генерал, в 1815 году военный министр.

Совместники древней Спарты. — В Спарте одновременно было всегда два царя.

Стр. 345. *...надежду внушали ему действия Витгенштейна.* — Витгенштейн, Петр Христианович (1768—1842), генерал русской армии. Имеются в виду военные действия 1812 года на петербургском направлении, где русские войска одержали победу под Клястицей.

Стр. 347. *Теперь к Аристарху в классы.* — Аристарх (III—II вв. до н. э.), александрийский грамматик, занимавшийся истолкованием греческой поэзии. Его имя стало нарицательным для строгого критика.

Стр. 349. *...атаман донских казаков Платов.* — Платов, Матвей Иванович (1751—1818), герой войны 1812 года, генерал.

Стр. 350. *Сулла* Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский полководец и государственный деятель.

Стр. 351. *...Жан-Батист Руссо* — французский лирический поэт, автор од, пользовавшихся большой известностью (1670—1741).

Стр. 370. *...Велизарий* (505—565) — византийский полководец. Согласно легенде, император Юстиниан, недовольный Велизарием, приказал ослепить его. Эта легенда послужила сюжетом для ряда прозаических, драматических и оперных произведений.

Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1762—1851) — сенатор, русский посланник в Мадриде, автор книги «Путешествие по Тавриде» (1823); отец двух видных деятелей декабристского движения, один из которых — Сергей Иванович — был повешен.

Стр. 377. *Он нашел книжку Парни, где все это было названо. Сады назывались лесами Морвена, пещера — пещерою Фингала.* Парни, Эварист (1753—1814) — французский поэт, перевел на французский язык песни Оссиана (см. примеч. к стр. 23). — Фингал — герой этих песен, властитель страны Морвен в Шотландии.

Стр. 384. *...томик Лагарпова лицея...* — Лекции, читанные Лагарпом и составившие курс французской литературы.

Стр. 387. *О, память сердца...* — строки стихотворения Батюшкова «Мой гений».

Стр. 395. *Фролов* Степан Степанович — отставной подполковник; человек крайне необразованный, он был по протекции всесильного Аракчеева определен в лицей «надзирателем по учебной и нравственной части», одно время был даже фактическим директором лицея, а затем, при директоре Энгельгардте, — инспектором.

Стр. 396. *Эмилией называл он Эмиля...* — Речь идет о герое романа Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

Стр. 401. *Это была драма Коцебу.* — Коцебу, Август (1761—1819), немецкий реакционный писатель и публицист. Пропагандировал идеи Священного союза. Был убит студентом Карлом Зандом.

Корнелий Непот (I в. до н. э.) — римский писатель, историк культуры и биограф.

Стр. 402. *Его адская поэма о монахе была почти окончена.* — Речь идет о поэме «Монах», опубликованной лишь в 1928 году. Это сатирическая, антимонашеская поэма. Написана, вероятно, в 1814 году.

Это было достойно его «Девственницы». — Имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница», в которой легенда о Жанне д'Арк излагается в сатирическом духе. Пушкин в «Монахе» обращается к Вольтеру, упоминая эту его антирелигиозную поэму.

Стр. 402. *Фернейский старик* — то есть Вольтер, живший с 1758 года в поместье Ферней близ Женевы.

Стр. 406. *Мой друг, я видел море зла...* — строки из стихотворения Батюшкова «К Дашкову».

Стр. 412. *Камоэнс* Луис (1524—1580) — португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиада» о путешествии Васко да Гамы в Индию.

Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796) — поэт и переводчик, автор первого перевода «Илиады» Гомера на русский язык.

...трактат «О высоком» Лонгина. — Лонгин, Дионисий Кассий. (III в.) — греческий философ и критик.

Стр. 413. *Бэкон* Френсис (1561—1626) — английский философ и государственный деятель.

Стр. 415. *Пиндар* (ок. 518—442 до н. э.) — греческий лирический поэт.

Стр. 417. *Нинон Ленкло* (правильнее де Ланкло, 1620—1705) — француженка, знаменитая своим умом и красотой. Ее салон посещали самые известные люди XVII века.

Батте Шарль (1713—1780) — французский теоретик искусства.

Стр. 419. *Агриппина* (16—59) — мать римского императора Нерона.

Стр. 420. *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.

Стр. 421. *Эвклид* (ок. 330—275 до н. э.) — великий греческий математик.

Мильтон Джон (1608—1676) — английский поэт и публицист.

Стр. 424. *Редактором «Вестника Европы» был теперь Измайлов...* — Измайлов, Александр Ефимович (1779—1831), поэт и баснописец, редактировал этот журнал после Карамзина.

Стр. 428. *...сам хозяин называл воксгалом.* — Первоначально слово «вокзал» в России означало место прогулок, театральных представлений, празднеств. Происходит от названия села Воксхолл подле Лондона, где в XVIII веке был устроен сад для высшего общества.

Стр. 431. *...читал Овидия «Науку любви».* — Овидий Публий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — знаменитый римский поэт.

Стр. 432. *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель, родоначальник сентиментального направления в литературе, автор романов «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие».

Стр. 437. *...Дарья Алексеевна, супруга, которую он обессмертил Миленою...* — В стихах Державин называл свою вторую жену, Дарью Алексеевну, Миленою.

Стр. 437. *Крамер* Жан-Батист (1771—1858) — известный пианист и композитор. Жил большей частью в Англии.

Стр. 440. *Кумир* — здесь в смысле скульптурное изображение.

Стр. 441. *Рашет* Жан-Доминик (1744—1809) — скульптор. *Пленира.* — Так Державин называл в стихах свою первую жену, Екатерину Яковлевну.

Стр. 444. *...хлопотать об издании своей истории...* — Над «Историей государства Российского» (в 12 томах) Карамзин работал с 1803 года. Рукопись первых восьми томов Карамзин в начале 1816 года привез в Петербург для представления Александру I. Они вышли в свет в 1818 году.

Стр. 445. *Староста арзамасский...* — «Арзамасское общество безвестных литераторов» возникло в 1815 году. Деятельность этого литературного общества была направлена против Российской академии и «Беседы». В «Арзамасе» объединялись сторонники так называемого карамзинского направления в литературе, наиболее яркими представителями которого были Жуковский и Батюшков. В отличие от бюрократической торжественности заседаний «Беседы», собрания «Арзамаса» носили полушутливый характер. В «Арзамас» входили Жуковский, Батюшков, Вяземский, В. Л. Пушкин; будущие декабристы — Н. Тургенев, Н. Муравьев, М. Орлов; будущие реакционные государственные деятели — Уваров, Блудов и др. В 1818 году «Арзамас» прекратил свое существование вследствие обострившихся идейных и литературных разногласий внутри кружка. «На суде над декабристами лучше всего выяснилось, что борьба шла не только между «Беседой» и «Арзамасом», но и внутри каждого литературного направления». Среди судей находился «арзамасец Блудов, заседавший рядом с членом суда, председателем «Беседы» Шишковым, а среди подсудимых были два сына одного из председателей разряда «Беседы» Муравьева-Апостола, и только случайность спасла от соседства с ними арзамасца Николая Тургенева» (Ю. Тынянов, В. Кюхельбекер. — «Литературный современник», 1938, № 10, стр. 185).

...в доме Старушки... Присутствовали... Громобой, Светлана и Вот... Его превосходительство Чу... — Члены «Арзамаса» получали при вступлении в общество прозвища, заимствованные из баллад Жуковского: Старушка — Уваров; Громобой — Жихарев; Светлана — Жуковский; Вот — В. Л. Пушкин; Чу — Дашков и т. д.

Стр. 445—446. *Ополченные красным колпаком...* — Каждый очередной председатель заседаний «Арзамаса» облекался в красный колпак — головной убор якобинцев во время французской революции конца XVIII века.

Стр. 446. *Шаховской вздумал было в комедии вывести жалкого вздыхателя, Фиалкина, и осмеял стихи Жуковского.* — В своей комедии «Новый Стерн» (1805) Шаховской осмеял Карамзина, а в комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1813, поставлена на сцене в 1815 г.) в лице «балладника» Фиалкина высмеял Жуковского.

«Видение в некоей ограде» — памфлет Д. Н. Блудова, послуживший поводом к основанию «Арзамаса» (см. примеч. к стр. 445).

Стр. 447. *С треском пыхнул огонек...* — строки из «Светланы» Жуковского.

Асмодей — злой демон.

Ахилл — по греческому мифу, главный герой греков в Троянской войне.

Стр. 449. *Захаржевский* Я. В. (1780—1866) — начальник царскосельского управления.

Стр. 450. *Венчанье Шутовскова* — шуточный гимн, написанный Д. В. Дашковым и направленный против Шаховского.

Философ резвый и пиит... — строки из стихотворения Пушкина «К Батюшкову» (1814).

Стихи о московском пожаре припомнились Александру. — Далее следуют строки из стихотворения Батюшкова «К Дашкову».

Стр. 451. *...О Бове.* — Вслед за «Монахом» Пушкин пытался написать еще одно большое произведение — «Бова» (1814). Эта поэма наполнена политическими намеками, цари изображены здесь сатирически: один — тиран, другой — глуп и слабоволен. Поэма осталась неоконченной.

Стр. 452. *...и с отверженными вкусом халдеями.* — «Арзамасцы» называли своих врагов халдеями, то есть грубыми, невежественными людьми.

Стр. 454. *«Расхищенные шубы»* — комедия Шаховского, направленная против карамзинистов.

Стр. 458. *...он — причина смерти благородного Озерова, он не принял его пиесу...* — Враги Шаховского обвиняли его в том, что как руководитель театра он не проявляет должного беспристрастия к чужим произведениям, что по его вине не получила признания последняя трагедия Озерова «Поликсена» (впавший в нужду драматург сошел с ума и умер).

Стр. 459. *...высмеивать эту Беседу губителей русского слова... И покойную Академию...* — Адмирал Шишков был президентом Российской академии, занимавшейся изучением русского языка и словесности. «Беседа любителей русского слова» была как бы неофициальным филиалом академии. Поэтому противники шишковистов в своих нападках на них объединяли «Беседу» и Академию. «По-

койной» Академия названа потому, что, по уставу «Арзамаса», каждый вступающий в члены общества должен был читать надгробную речь своему предшественнику, но «все члены нового „Арзамаса“ бессмертны, — и так за неимением собственных готовых покойников ново-арзамасцы... положили брать напрокат покойников между халдеями «Беседы» и Академии, дабы им воздать по делам их...»

Стр 459. *Сумароков* Александр Петрович (1718—1777) — поэт и драматург.

Стр. 461. *Соломирский* Павел Дмитриевич (ум. в 1884 г.) — офицер гвардейского гусарского полка.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — писатель и философ, автор «Философических писем». В момент знакомства с Пушкиным был лейб-гусаром. Оказал на молодого поэта большое влияние, а в 1820 году хлопотал о том, чтобы за свои вольные стихотворения Пушкин был сослан не в Сибирь или Соловецкий монастырь, а переведен на службу в Кишинев. Чаадаев впоследствии писал, что время дружбы с Пушкиным принадлежит к лучшим годам его жизни.

Стр. 462. *Директор Егор Антонович Энгельгардт* (1775—1862) — педагог и писатель. С 1816 по 1823 год был директором Царскосельского лицея.

Стр. 464. *Он был на аахенском конгрессе...* — Первый конгресс Священного союза происходил в прусском городе Аахене в 1818 году.

Стр. 474. *Медлительно влекутся дни мои...* — из стихотворения Пушкина «Желание» (1816).

Фемистокл (ок. 525 — ок. 461 до н. э.) — государственный деятель и полководец древней Греции.

Стр. 475. *«Илья Муромец».* — Речь идет о «богатырской сказке» Карамзина (1803), написанной размером старинных русских песен, который благодаря Карамзину получил большое распространение в русской поэзии.

Стр. 477. *«Амфион»* — ежемесячный литературный журнал, издававшийся в 1815 году в Москве А. Мерзляковым.

...«Векфильдский священник» — повесть английского писателя Оливера Голдсмита (1728—1774).

Шихматову... и его песнопению о Петре. — Речь идет о поэме Шихматова-Ширинского «Петр Великий» (1810).

Стр. 483. *...молодые гвардейцы... живут здесь артелью, и главный у них — Бурцов.* — Речь идет о созданной в 1814 году «Священной артели», в которую входили Бурцов, А. и М. Муравьевы и другие офицеры. Это был «мыслящий кружок», настроенный антикрепостнически. Его члены изучали общественные науки и ино-

странные языки с помощью лицейских преподавателей. В 1816 году некоторые члены артели явились инициаторами первой декабристской организации — «Общества истинных и верных сынов отечества», или Союза спасения. Четверо лицеистов: И. Пущин, В. Кюхельбекер, В. Вальховский, А. Дельвиг непосредственно участвовали в этом «мыслящем кружке», а Пушкин, как об этом писал Тынянов, был осведомлен о его деятельности.

Стр. 483. *Адам Смит* (1723—1790) — английский экономист.

Стр. 485. *Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752—1828) — поэт, занимал важные должности при дворе.

Стр. 486. *Нелидова* Екатерина (1758—1839) — любовница Павла I.

Шолье Гильом (1639—1720) — французский поэт, автор «легких» анакреонтических стихотворений, которому подражали многие русские поэты в конце XVIII — начале XIX века.

Стр. 487. *Праздник... в честь мужа великой княгини.* — Речь идет о празднике по случаю бракосочетания сестры Александра I Анны Павловны с принцем Оранским.

Веллингтон Артур Уэлсли (1769—1852) — английский военный и политический деятель.

Раевский Николай Николаевич (1801—1843) — сын героя войны 1812 года, был связан с декабристами.

Молоствов Памфамир Христофорович (1793—1828) — офицер гвардейского гусарского полка, частый посетитель лицея.

Стр. 488. *Левашов* Василий Васильевич (1783—1848) — генерал-лейтенант, впоследствии — председатель Государственного совета и Комитета министров.

Стр. 495. *Авдотья Голицына* — Голицына, Евдокия Ивановна (1780—1850), одна из наиболее образованных женщин своего времени, хозяйка блестящего салона, в котором в 1817—1820 годах постоянно бывал Пушкин.

Стр. 496. *Камерон* Чарльз (1740—1820) — архитектор, работал в России в 1799—1811 годах.

Стр. 498. *...в огне под Кульмом и под Лейпцигом...* — В битвах под Кульмом (август 1813) и Лейпцигом (октябрь 1813) союзные войска (русские, австрийские, прусские и шведские) одержали победы над армиями Наполеона.

Стр. 502—503. *...горькая правда о древней России...* — В 1811 году в Твери Н. М. Карамзин вручил Александру I через его сестру Екатерину «Записку о древней и новой России», в которой с реакционных позиций резко критиковалась политика Сперанского. Прямого ответа на «Записку» не последовало. Хотя программа Карамзина вполне соответствовала настроениям самого царя и легла в основу нового правительственного курса, Карамзин все же

не получил того административного назначения (пост государственного секретаря или министра народного просвещения), на которое он рассчитывал.

Стр. 505. *Вот она, немецкая слобода, где юные петиметры...* — Имеется в виду немецкая слобода в Москве, где во время Петра I русские дворяне общались с немцами. Петиметр — щеголь.

Стр. 506. *И, бабушка, затеяла пустое — докончи лучше нам Илью-богатыря!* — заключительные строки одной из эпиграмм Пушкина на «Историю государства Российского» Карамзина. Пушкин имеет здесь в виду стихотворную сказку Карамзина «Илья Муромец».

Стр. 508. *В его «Истории» изящность, простота...* — Эпиграмма Пушкина на «Историю государства Российского» Карамзина датируется предположительно 1818—1819 годами.

Стр. 509. *Счастлив, кто в страсти сам себе...* — начало элегии, написанной Пушкиным в 1816 году. При жизни поэта не была напечатана.

Стр. 511. *Он олицетворил эту тонкую усмешку в поэме в лице героини и назвал ее Зоей.* — Речь идет о ранней поэме Пушкина «Бова», от которой сохранился только отрывок (см. примеч. к стр. 451).

Стр. 514. *...оттуда, что предан без лести.* — Подчеркивая свою преданность царю, Аракчеев для своей личной печати избрал девиз: «Без лести предан». Пушкин ненавидел Аракчеева, по идее которого с 1816 года в России были введены военные поселения (к концу царствования Александра I, заявившего, что военные поселения «будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами всю дорогу от Петербурга до Чудова», уже треть русской армии была обращена в поселенцев). Поэт написал на Аракчеева две эпиграммы: «Всей России притеснитель», строки из которой цитируются на стр. 515, и «Холоп венчанного солдата». В свою очередь и Аракчеев ненавидел Пушкина и в 1820 году, когда поэт уже был на юге, с раздражением писал Александру I о том, что в журналах печатают «известного вам Пушкина».

Стр. 515. *Ланкастерские взаимные обучения* — система взаимного обучения, введенная английским педагогом Ланкастером (1771—1838), заключавшаяся в том, что лучшие из старших учеников принимали участие в обучении младших, тем самым полученные знания быстро передавались большому числу учащихся. Декабристы создали «Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения», добиваясь просвещения солдатской массы, «нижних классов народа». В ланкастерских школах декабристы вели агитационную работу.

Стр. 515. *Лавров* Иван Савич — директор исполнительного департамента в министерстве полиции.

Стр. 516. *Юрьев* Федор Филиппович (1796—1860) — офицер, член общества «Зеленая лампа», собиравшегося в доме Всеволожских. Здесь читались литературные произведения, в том числе и антиправительственные, обсуждались политические новости и театральные представления. Пушкин был членом кружка.

Шишков Александр Ардалионович (1799—1832) — поэт, племянник А. С. Шишкова.

Стр. 526. *Катенин* Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург и критик; член Союза благоденствия. Катенин был в вопросах драматического искусства единомышленником Шаховского и сторонником «классического» стиля актерской игры. Холодное искусство декламации школы Катенина (из среды его воспитанников вышли известные актеры Е. И. Колосова, В. А. Каратыгин) было прямой противоположностью взволнованной, страстной декламации Гнедича, воспитывавшего Е. С. Семенову.

А была в песне Шереметева Анютка... — Графиня Прасковья Ивановна Шереметева (1768—1803) по происхождению была крепостной крестьянкой. В песне, сочиненной самой Шереметевой, и в ряде вариантов этой песни излагается история крепостной девушки, ставшей госпожой.

Стр. 527. *К вам Озерова дух взывает: други! месть!* — из стихотворения А. С. Пушкина «К Жуковскому» (1816).

Стр. 531. *Бассомпьер* Франсуа (1579—1646) — французский маршал, автор записок «Дневник моей жизни».

Стр. 532. *...была в театре поставлена пиеса Озерова «Димитрий Донсксй».* — В 1807 году, в самый разгар войны с Францией, на сцене Большого театра в Петербурге была поставлена патриотическая трагедия Озерова «Димитрий Донской». Постановка имела громадный успех. «Всякий стих, относившийся к славе русского оружия, был сопровождаем рукоплесканиями публики... Последний монолог Димитрия... вызвал исступленные рукоплескания и крики, которые потрясли театр». Семенова, игравшая роль Ксении, была «идеально прелестна: ее голос, осанка, поступь и русское боярское одеяние с набросанным на плечи покрывалом, все это было истинное очарование» (П и м е н А р а п о в. Летопись русского театра. СПб., 1861, стр. 177—178).

Стр. 533. *Страсть стала певучей... началось неслыханное состязание между царицей русской сцены и королевой сцены французской... Поэт Гнедич... мелкой поэтической памятью не жил... отныне его судьба была решена.* — В 1808 году в Петербурге дебютировала актриса Жорж. Ее дикция была «гармоническая, протяжная, можно

сказать несколько певучая». Певучая дикция появилась и у Екатерины Семеновой, выступавшей в тех же ролях, что и Жорж. Но, как утверждает П. Арапов, это не было следствием подражания: дикция в то время «была вообще певучая». Многое, однако, Семенова усвоила от Жорж и наконец, в 1809 году, вышла на сцену в присутствии Жорж, в роли Аменаиды из «Танкреда» — одной из главных ролей в репертуаре французской актрисы. Семенова была «превосходна». С этой поры ее слава утвердилась. В этом соревновании между Жорж и Семеновой большую роль сыграл поэт Гнедич, считавшийся лучшим чтецом. Шаховской «не жаловал» Семенову и стремился утвердить славу актрисы М. И. Вальберховой, которую он одно время противопоставлял Семеновой. Семенова добилась успеха и всеобщего признания после того, как «передалась наставлениям умного и понимающего дело писателя Н. И. Гнедича» (там же, стр. 180—192).

Стр. 535. *Фотий* — Спасский, Петр Никитич (1792—1838), митрополит, крайний изувер и реакционер, боровшийся с Голицыным, как пропагандистом мистических идей.

...портрет Лувеля. — Лувель, Луи-Пьер (1783—1820) — французский ремесленник, совершивший из ненависти к династии Бурбонов убийство возможного наследника французского престола — герцога Беррийского. Был казнен.

Стр. 536. *Библейское общество.* — Деятельность реакционного Священного союза, разгром революции в Испании, Неаполе и Пьемонте сопровождались в России поворотом к откровенной реакции в области внутренней политики. Этот поворот, начавшийся арестом Сперанского, нашел, между прочим, свое выражение и в широко развернувшейся с 1813 года деятельности Библейского общества, председателем которого был реакционер Голицын. Библейское и другие мистические общества объединяли представителей различных религиозных верований и были призваны противопоставить идеям буржуазной революции космополитический религиозный фанатизм. Архимандрит Фотий боролся с мистическим направлением во имя сохранения господства официальной православной церкви.

Бантыш-Каменский Николай Николаевич (1737—1814) — археограф, вице-президент московского отделения Библейского общества, воинствующий мистик.

Фон Фок Максим Максимович (1777—1831) — управляющий тайной политической полицией.

Стр. 537. *Дух был в Испании.* — В 1820 году в Испании вспыхнула революция.

Стр. 538. *В Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист* — из «Горя от ума», о Толстом-американце.

Стр. 541. *Инзов* Иван Никитич (1768—1845) — генерал, наместник Бессарабской области.

Стр. 543. *Всеволожский* Никита Всеволодович (1799—1862) — богач, увлекался театром и музыкой, переводил пьесы; в его доме происходили заседания «Зеленой лампы».

Стр. 545. *Раевский* Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, герой войны 1812 года. Вместе с младшим сыном Николаем, дочерьми Марией (впоследствии жена декабриста Волконского) и Софьей, с домашним врачом отправился на кавказские минеральные воды в 1820 году.

Стр. 549. *...речь шла о царском счастье, о Софии Вельо...* — Александр I посещал дом придворного банкира Иосифа Вельо ради его дочери Софии. Здесь однажды Пушкин встретился с императором.

Стр. 551. *...вспомнил химерический план Наполеона... План этот был еще во время внезапной дружбы с императором Павлом...* — В 1800 году в связи с крахом русско-англо-австрийской коалиции, а также в связи с переворотом 18 брюмера (9 ноября) 1799 года, превратившим Наполеона в полного властелина Франции (Павел I надеялся, что благодаря этому завоевания французской революции будут ликвидированы самим Наполеоном), началось сближение между Россией и Францией. Был задуман план (он носил следы французского происхождения) совместного похода на Индию, как удар по наиболее уязвимому месту английского могущества. Уже были предприняты шаги к осуществлению этого плана, но убийство Павла I в 1801 году приостановило его реализацию.

Стр. 552. *...Уже принявшую самолюбивое имя Феодосии.* — По-гречески Феодосия означает «божий дар».

Стр. 554. *Но прежних сердца ран...* — из элегии Пушкина «Погасло дневное светило».

И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказало время. — Говоря о замысле своего романа, Тынянов, между прочим, заявил, что в его книге о Пушкине «не будет места и легендам о нем как о светском льве, как о ветреном любовнике, цинично относившемся к женщинам». Тынянов восставал против этой общепринятой версии («Литературная газета», 1935, № 63, 15 ноября). В статье Тынянова «Безыменная любовь» анализируется весь последующий цикл произведений, связанных, по мнению исследователя, с «утаенной любовью» поэта к Е. А. Карамзиной. Это «Бахчисарайский фонтан», «Отрывки из путешествия Онегина», Посвящение «Полтавы», элегия «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Тынянов утверждал, что «необычайная по силе, длительности, влиянию на всю жизнь и им никогда не на-

званная» любовь Пушкина относилась не к М. А. Голицыной или М. Н. Раевской, как предполагали ранее исследователи (М. Гершензон, П. Щеголев). «Не было никаких оснований таить любовь к М. Арк. Голицыной, ни к М. Раевской. Были все основания скрывать всю жизнь любовь и страсть к Карамзиной», — писал Тынянов. Он выдвинул свое объяснение не только многих остававшихся загадочными намеков и обращений в поэзии Пушкина, но и некоторых засвидетельствованных современниками фактов в отношениях между Пушкиным и Карамзиными, в том числе последнего свидания Пушкина с Карамзиной, когда смертельно раненный поэт спрашивал: «Карамзина? Тут ли Карамзина?» Тынянов приходил в итоге к выводу, имеющему принципиальное значение для наших представлений о Пушкине: «Становится ясным, как ложно долго державшееся, одно время даже ставшее ходячим представление о Пушкине как о ветреном, *легкомысленном*, беспрестанно и беспечно меняющем свои привязанности человеке: мучительная и страстная любовь семнадцатилетнего «лицеиста» заставила его в последний час прежде всего позвать Карамзину. Эта «утаенная», «безыменная» любовь прошла через всю его жизнь» (см. «Литературный критик», 1939, № 5—6, стр. 160—180).

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

ТОМ I

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
V	5-я сверху	Пятнадцать	Через пятнадцать
X	12-я сверху	политичскими	политическими
XXVII	3-я снизу	«Горе от ума»	«горе от ума»
L	11-я сверху	газетах	реляциях
411	15-я сверху	фонтаж	фонтанж
442	4-я снизу	в ноздях	в ноздрях
537	16-я сверху	«Ки-ж	Ки-ж
539	7-я снизу	1932	1931

ТОМ II

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
529	5-я снизу	эриваньского	эриванского

Юрий Николаевич
ТЫНЯНОВ

Сочинения, т. 3

Редактор *Р. Софронова*

Художественный редактор
Л. Чалова

Технический редактор
Э. Марковская

Корректоры *Т. Сушкова*
и *Э. Урицкая*

Сдано в набор 1/X 1958 г.
Подписано к печати 4/IV 1959 г.
Бумага 84×108[1]/32 — 18,5 печ. л.=
=30,34 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,77.
Тираж 150 000 экз. Зак. № 3521.
Цена 10 р. 75 к.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 2
им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград,
Измайловский пр., 29.